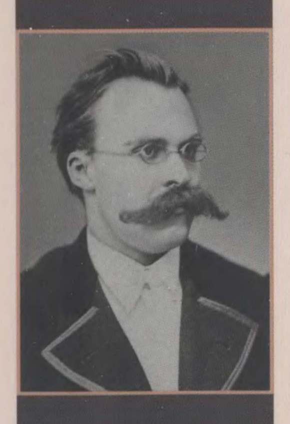
Фридрих Ницше



2

полное собрание сочинений


РЕВОЛЮЦИЯ
КУЛЬТУРНАЯ

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений в тринадцати томах

Издательство
«Культурная Революция»
Москва

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений

Второй том

Человеческое, слишком человеческое

Перевод с немецкого
В.М. Бакусева

Издательство
«Культурная Революция»
Москва 2011

ББК 87.3 Герм
Н70

Перевод В.М. Бакусев
Научное редактирование И.А. Эбаноидзе
Подготовка примечаний В.М. Бакусев, И.А. Эбаноидзе
Оформление И. Бернштейн

Ницше, Фридрих.
Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии.– М.: Культурная революция, 2005–
Т. 2: Человеческое, слишком человеческое. В двух томах. / Пер. с нем. В.М. Бакусев. – 2011. – 672 с.
ISBN 978-5-250-06094-3.

Одно из главных произведений Ф. Ницше «Человеческое, слишком человеческое» впервые выходит на русском в своем полном виде – одним томом со своими приложениями «Смешанные мнения и изречения» и «Странник и его тень», а также другими текстами, входившими в первые немецкие издания этой книги. Новый перевод был специально подготовлен В. Бакусевым для данного собрания сочинений.

Часть текстов публикуется на русском впервые.

Этот, а также 10-й тома Полного собрания сочинений Ф. Ницше подготовлены при поддержке Д. Фьюче и сайта www.nietzsche.ru.

Содержание

Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов

Том первый

Эта книга-монолог, возникшая во время пребывания в Сорренто (зимою 1876 и 1877), не была бы предана общественности сейчас, если бы приближение 30 мая 1878 не возбудило слишком сильного желания в должный час засвидетельствовать свое личное преклонение перед одним из величайших освободителей ума.

[Указание Ницше в первом издании (1878)]

Вместо предисловия

«— некоторое время я размышлял о различных занятиях, коим люди предаются в этой жизни, и пытался понять, какие из них получше. Но нет нужды рассказывать здесь о том, к каким мыслям я при этом приходил; достаточно сказать следующее: что касается меня, то лучше всего мне казалось строго держаться моего намерения, то есть потратить всю отпущенную мне жизнь на совершенствование моего разума и идти по следам истины таким способом, какой я себе наметил. Ибо плоды, каковые я уже отведал на этом пути, были такого рода, что, по моему мнению, в этой жизни нельзя найти ничего более приятного и невинного; к тому же с той поры, как я начал пользоваться таковым образом мышления, каждый день открывал мне что-то новое, всегда обладавшее некоторой важностью и вовсе не общеизвестное. И тогда, наконец, душа моя преисполнилась такой радости, что все иное уже не могло помешать мне своей тщетностью.»

Картезий, перевод с латыни.

[К первому изданию 1878 г.]

Предисловие

1

Мне уже не раз и неизменно с большим недоумением говорили, что всем моим сочинениям, начиная с «Рождения трагедии» и вплоть до недавно опубликованного «Пролога к философии будущего», свойственно нечто общее и притом характерное: все они, уверяли меня, содержат в себе ловушки и сети для беспечных птиц и чуть ли не постоянное тайное требование перевернуть вверх ногами привычные оценки и ценимые привычки. Как же так? Неужели *все на свете* – только человеческое-слишком человеческое? С этим-то вздохом читатели, мол, и выбираются из моих сочинений, не без некоторой робости и недоверия по отношению к самой морали, мало того, они делают это, испытывая немалое искушение и поощрение сыграть как-нибудь роль заступника сквернейших вещей, поскольку спрашивают себя: а может, такие вещи всего лишь превосходно очернялись? Называли мои сочинения и школою подозрительности, более того – презрения, но, к счастью, и мужества, даже дерзкой отваги. Честно говоря, я и сам не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь смотрел на мир со столь же глубоким подозрением, и не просто как адвокат дьявола по случаю, но и в такой же степени, говоря на языке теологии, как супостат, призывающий Господа к ответу; и кто хоть немного догадывается о последствиях всякого глубокого подозрения, об ознобе и трепете уединения, на которые охваченный им осуждается любым решительным *отклонением во взглядах*, тот поймет и другое: как часто я пытался укрыться где-нибудь, чтобы отдохнуть от себя, чтобы словно на время забыть себя, – укрыться, к примеру, в почитании, или во вражде, или под маскою научности, или в легкомысленном поведении, или в глупости; а еще поймет – почему, когда я не находил того, что мне *требовалось*, я бы-

вал вынужден вымучивать его себе, добывать его ложью и выдумкой (а чем же еще занимались все поэты? и на что иначе нужно искусство вообще?). Но что всегда было мне нужнее всего для исцеления и восстановления сил, так это вера в то, что я *не настолько* одинок, что *вижу* не один, – волшебное предчувствие родства и равенства во взгляде и жажде, отдохновение в доверии дружбы, когда можно не мерить друг друга взглядом, не питать взаимных подозрений, не задаваться вопросами, а наслаждаться передними планами, поверхностями, всем доступным, самым доступным, всем, что имеет цвет и кожу, всем, что кажется. Возможно, в этом смысле меня и можно упрекнуть то ли в «искусстве», то ли в изощренной двуличности: к примеру, за то, что я совершенно сознательно закрывал глаза на Шопенгауэрово слепое влечение к морали, – в ту пору, когда мои собственные глаза были уже достаточно на нее открыты; как и за то, что я обманывал себя насчет Вагнерова неисцелимого романтизма, будто этот романтизм был началом, а не концом; как и насчет греков, как и насчет немцев и их будущего, – и, может быть, из всего этого выстроится целый длинный список? – но если даже это, положим, и правда, а упреки в мой адрес совершенно справедливы, то что́ *вы* знаете, что́ вы *можете* знать о том, сколько в подобном самообмане хитрого самосохранения, сколько в нем расчета и высшей бдительности, – и сколько лживости мне еще *понадобится*, чтобы я все вновь мог позволять себе роскошь *своей* правдивости?... Но хватит – я еще жив, а жизнь-то ведь не выдумана моралью: она *жаждет* обмана, она *живет* обманом... но что это? неужто я уже снова принимаюсь за свое – и, старый имморалист и птицелов, – делаю то, что всегда и делал: говорю неморально, внеморально, с территории «за пределами добра и зла»? –

2

– Вот на такой-то лад я однажды, когда меня заставила нужда, *изобрел* для себя и «свободные умы», которым посвящается эта меланхолически-мужественная книга, названная «Человеческое, слишком человеческое»: таких «свободных

умов» не существует и не существовало, но тогда, повторяю, они были нужны мне для компании, чтобы оставаться веселым посреди всего унылого (болезни, уединения, чужбины, *acedia*[1], бездеятельности): нужны как отважные компаньоны и призраки, с которыми можно болтать и смеяться, когда охота болтать и смеяться, и которых можно послать к черту, если они наскучат, – как компенсацию за отсутствие друзей. Что некогда подобные свободные умы *смогут* появиться, что среди завтрашних и послезавтрашних сыновей нашей Европы *будут* такие веселые и отчаянные парни, во плоти и наяву, а не в виде призраков и актеров театра теней, который устроил для себя отшельник, – в этом *я* хотел бы сомневаться менее всего. Я вижу, как они уже *подходят*, медленно, медленно; и, быть может, я сделаю кое-что, дабы ускорить их приход, если заранее опишу, какими судьбами они возникнут, какими путями они, как я *вижу*, придут? – –

3

Можно предположить, что центральным событием для ума, которому суждено некогда достичь полной зрелости и сладости в типе «свободного ума», станет *великое развязывание*, и что дотоле он тем более был умом связанным и казался навсегда прикованным к своему углу и столбу. Что вяжет всего сильней? Какие путы порвать почти невозможно? Для людей высокой и отборной души это будут обязанности – глубокое почтение, свойственное юности, податливая робость перед всеми объектами традиционного преклонения, перед всем достопочтенным, благодарность за почву, из которой они выросли, за руку, которая их вела, за святилище, в котором они научились боготворить, – и сильнее всего их будут вязать, прочнее всего обязывать сами моменты их экстаза. У связанных на такой лад великое отвязывание приходит внезапно, подобно сотрясению почвы: юная душа бывает потрясена, оторвана, вырвана с корнем, – и сама не знает, что с нею происходит. Какой-то порыв, какой-то натиск овладевают ею с неодолимою силой приказа; в ней про-

---

1 мрачного настроения (*лат.*).

буждается воля и желание уйти прочь, куда-нибудь и любою ценой; все ее чувства воспламеняются и полыхают в сильнейшей опасной жажде познания какого-то неизведанного мира. «Лучше умереть, чем жить *здесь*» – так звучит повелительный соблазн внутреннего голоса: а ведь это «здесь», это «дома» – все, что она до сих пор любила! Внезапный ужас и подозрение относительно всего, что она любила, молния презрения ко всему, что звала своим «долгом», мятежное, своенравное, вулканически сотрясающее стремление к странствию, к чужбине, к отчуждению, охлаждению, отрезвлению, оледенению, ненависть к любви, возможно, святотатственный замах и взгляд *назад*, туда, где она дотоле благоговела и любила, возможно, жар стыда за то, что́ она совсем недавно делала, и в то же время ликование оттого, что она это *делала*, пьяное, глубокое, ликующее содрогание, в котором обнаруживает себя победа, – победа? над чем? над кем? – странная, полная вопросов, сомнительная победа, но все-таки *первая* победа: такими вот бедствиями и болями полна история великого отвязывания. В то же время оно – болезнь, способная разрушить человека, этот первый прорыв силы и воли к самоопределению, установлению ценности самого себя, эта воля к *свободной* воле; и сколько же болезненного выносят наружу необузданные эксперименты и странности, в которых освобожденный, отвязанный пытается теперь доказать себе свою власть над вещами! Он бродит в ярости, полный неудовлетворенного вождения; то, что он добывает, должно поплатиться за опасное напряжение его гордости; он разрывает в клочья то, что его привлекает к себе. Со злобным смехом он переворачивает вверх дном то, что находит прикрытым, защищенным какой-то стыдливостью: он хочет посмотреть, как эти вещи выглядят, *если* перевернуть их вверх дном. И когда он, возможно, дарит свою благосклонность тому, что дотоле пользовалось плохой репутацией, когда он с любопытством и исследовательским пылом подкрадывается к самому запретному, – то это проявляет себя его отвязанная воля и тяга к отвязанной воле. А на заднем плане его зуда и блужданий – ибо идет он беспокойно и бесцельно, словно по пустыне, – стоит вопросительный знак все более опасного любопытства. «А нельзя ли опрокинуть вверх дном *все* цен-

ности? И тогда, может быть, добро обернется злом? А Бог станет всего лишь изобретением и ухищрением дьявола? Может быть, все в конце концов лживо? И если мы обмануты, то не обманщики ли мы сами именно поэтому? Не *обязаны* ли мы быть и обманщиками?» – такие мысли вращаются в нем и совращают его, заводя все дальше прочь, все дальше в сторону. Одиночество окружает его и обвивает кольцами – оно все опаснее, оно все больше душит, стесняет сердце, эта ужасная богиня и *mater saeva cupidinum*[1]; но кто нынче знает, что это такое – *одиночество*?...

4

От этого болезненного уединения, от пустыни таких лет искушения лежит еще далекий путь до той чудовищной, бьющей через край уверенности в себе и того здоровья, которому потребна и сама болезнь – как средство и рыболовный крючок познания, – до той *зрелой* свободы ума, которая в той же мере означает самообуздание, дисциплину сердца и разрешает выбирать множество даже противоположных образов мышления, – до того внутреннего богатства и неги сверхизобилия, что исключает для ума опасность затеряться на своих путях, влюбившись в них, и, опьяненная, останется сидеть в каком-нибудь уголке, до того преизбытка пластических, целительных, воспроизводящих и восстанавливающих способностей, который является как раз признаком *великого* здоровья, – этот преизбыток и дает свободному уму опасную привилегию жить *на удачу* и быть способным не уклоняться от авантюр: привилегию мастерства свободного ума! А в промежутке могут быть долгие годы выздоровления, годы, полные пестрых, болезненно-волшебных метаморфоз, ведомых и обузданных упорною *волей к здоровью*, которая часто уже отваживается выглядеть как здоровье и рядиться под него. Есть в этом во всем какое-то промежуточное состояние, о котором человек такой судьбы позже вспоминает не без умиления: ему свойственно

---

1 Дикая матерь страстей (*лат.*). – У Горация (*Carmina* I, XIX) это Венера.

счастье блеклого, тихого света и солнца, ощущение птичьей свободы, птичьего обзора, птичьего задора, что-то среднее, в чем переплелись любопытство и ласковое презрение. «Свободный ум» – это прохладное слово в таком состоянии действует благотворно, оно чуть ли не согревает. Жизнь теперь идет, освобожденная от оков любви и ненависти, от *да* и *нет*, живущий ею человек по собственной воле подпускает близко к себе или держит на расстоянии, но предпочитает ускользнуть, уклониться, упорхнуть, все снова стремясь прочь, все снова улетая вверх; он избалован, как тот, кто некогда увидал *под* собою какое-то чудовищное многообразие, – и сделался антиподом тех, что заботятся о вещах, не имеющих к ним никакого отношения. Честно говоря, свободный ум отныне затрагивают только те вещи – а их страшно много! – которые его больше *не волнуют*...

5

Еще шаг по пути выздоровления – и свободный ум снова идет навстречу жизни, правда, медленно, словно бы нехотя, словно бы недоверчиво. Вокруг него все снова теплеет, как бы наливается желтизною; чувство и сочувствие обретают глубину, его обвевают всякого рода весенние ветра. Его охватывает ощущение, будто глаза его только теперь открылись на все *близкое*. Он застывает в изумлении: да где же его *носило* раньше? Это близкое и ближайшее – каким преображенным оно ему кажется! каким волшебным пухом оно между тем обросло! Он с благодарностью бросает взгляд назад – с благодарностью за свои скитания, за свою суровость и отстраненность от себя, за свои птичьи перспективы и птичьи полеты в холодные выси. Как хорошо, что он не остался навсегда «дома», навсегда «у себя», словно изнеженный и тупой бездельник! Он был *вне себя* – в этом нет никакого сомнения. Лишь теперь он видит себя – и что за неожиданности он при этом находит! Каким неиспробованным холодным потом его прошибает! Какое счастье он обнаруживает даже в усталости, в застарелой болезни, в отступлениях выздоровления! Как ему нравится замирать в боли, вынашивать терпеливость, лежать на солнце! Кто,

кроме него, умеет находить счастье зимой, эти солнечные пятна на стене! Они – самые благодарные животные на свете, а заодно и самые скромные, эти снова наполовину повернувшиеся к жизни выздоравливающие, эти ящерицы: и есть среди них такие, что не провожают ни одного дня, не прицепив к тянущемуся за ним шлейфу маленькой благодарственной песни. А если говорить серьезно, то заболеть на манер этих свободных умов, побыть изрядное время больным и потом еще дольше, еще дольше выздоравливать – я хочу сказать, становиться «здоровее», – это значит пройти основательное *лечение* от всякого пессимизма (как известно, главной язвы застаревших идеалистов и врунов). Мудрость, житейская мудрость состоит в том, чтобы долгое время прописывать себе только в малых дозах даже здоровье. –

6

В такое время – при внезапных вспышках еще порывистого, еще переменчивого здоровья – может, наконец, случиться, что свободному, все более свободному уму начнет открываться загадка того великого отвязывания, которая доселе ждала в его памяти смутно, сомнительно, почти неприкасаемо. Если он долго не осмеливался задать вопросы: «Почему я так далеко в стороне? Так одинок? Почему отрекаюсь от всего, что почитал? Отрекаюсь и от самого почитания? Откуда во мне эта суровость, подозрительность, эта ненависть к собственным добродетелям?», – то теперь осмеливается, теперь он задает вопросы громко и даже начинает слышать что-то вроде ответов на них: «Ты должен был стать себе хозяином, хозяином даже над своими добродетелями. Прежде *они* были твоими хозяевами; но им позволено быть лишь твоими инструментами наряду с другими инструментами. Ты должен был получить власть над своими *за* и *против* и научиться пускать их в ход и снова отменять, сообразуясь со своей высшей целью. Ты должен был научиться понимать перспективистский принцип всякой высокой оценки – смещение, искажение и мнимую телеологию горизонтов, да и все, что относится к перспективности; а кроме того, и добрую долю глупости в отношении противоположных ценностей

и все интеллектуальные потери, которыми приходится оплачивать каждое *за* и *против*. Ты должен был научиться понимать *неизбежную* несправедливость в каждом *за* и *против*, несправедливость, неотъемлемую от жизни, саму жизнь как *обусловленную* перспективностью и ее несправедливостью. Но прежде всего ты должен был воочию убедиться, где несправедливость всегда бывает сильнее: как раз там, где жизнь развита меньше всего, ограниченнее всего, скуднее всего и примитивнее всего – и все-таки не может не понимать *себя* в качестве цели и меры вещей, в угоду своему сохранению исподтишка, мелочно и неустанно дробя и ставя под сомнение все более высокое, более объемное, более богатое, – ты должен был воочию увидеть проблему *иерархии* и совместного роста ввысь власти, права и широты перспективы. Ты должен был...» – достаточно, теперь свободный ум уже *знает*, какому «ты должен» он был послушен, равно как и то, на что он теперь *способен*, что́ лишь теперь – *смеет*...

7

На такой вот лад свободный ум дает себе ответ на загадку отвязывания и заканчивает тем, что обобщает свой случай, подытоживая свои переживания следующим образом. «Что довелось испытать мне, – скажет он, – должен испытать всякий, в ком стремится обрести плоть и “явиться на свет” какое-либо *задание*». Тайная власть и необходимость этого задания начнет править всей его судьбой и отдельными ее проявлениями, подобно бессознательной беременности, – задолго до того, как он заметит это задание и узнает, как оно называется. Наше предназначение располагает нами, даже если мы еще не знаем о нем; это – будущее, дающее закон нашему сегодня. Положим, что *нашей* проблемой мы осмелимся назвать *проблему иерархии*, мы, свободные умы, – лишь теперь, в полдень нашей жизни, мы понимаем, какие подготовительные ступени, обходные пути, эксперименты, искушения, переоблачения понадобились проблеме, прежде чем она *смогла* встать перед нами, и каким образом вышло, что сначала нам пришлось испытать телом и душою самые разнообразные и самые разнородные беды и отрады – в

качестве авантюристов и кругосветных путешественников того внутреннего мира, что зовется «человеком», в качестве измерителей всякой более высокой ступени, всякого следующего уровня, которые тоже зовутся «человеком», всюду проникая, почти без страха, ничем не пренебрегая, ничего не утрачивая, все пробуя на вкус, все очищая от случайного и как бы просеивая, – пока, наконец, мы, свободные умы, не смогли сказать: «Вот она – *новая* проблема! Вот она, длинная лестница, на перекладинах которой мы сами сидели и взбирались по ним, – мы, какими мы некогда *были*! Вот перекладина повыше, вот перекладина пониже нас, а вон те – под нами, и это чудовищно длинный порядок, иерархия, которую мы *различаем*: вот она – *наша* проблема!» – –

8

– Ни от одного психолога и прорицателя ни на мгновение не укроется, на каком месте изображенного здесь процесса стоит (или на какое *поставлена* –) настоящая книга. Да где же теперь психологи? Во Франции, разумеется; возможно, в России; но уж точно не в Германии. Нет недостатка в причинах, по которым нынешние немцы могли бы даже поставить это себе в заслугу: очень неудобно для того, кто в этом пункте уродился и получился совсем не немцем! Эта *немецкая* книга, которая сумела найти своих читателей в широком кругу стран и народов – она в пути уже приблизительно десять лет, – и которая, кажется, знает толк в коекакой музыке и игре на флейте, заставляющих напрячься даже косный слух иностранцев, – как раз в Германии эту книгу прочли очень небрежно, *расслышали* ее совсем уж скверно: а отчего так вышло? – «Она слишком многого требует», отвечали мне, «она не обрушивает на людей бедствие грубых обязанностей, она рассчитана на тонкие и изнеженные чувства, она нуждается в избытке, избытке времени, света небес и сердца, в *otium*[1] в самом отважном смысле слова: – в сплошь отличных вещах, коих у нас, нынешних нем-

1 праздном покое (*лат.*) (один из идеалов правильной жизни согласно римским стоикам).

цев, нет, а потому мы не можем их и давать.» – Выслушав столь учтивый ответ, моя философия советует мне умолкнуть и не задавать больше вопросов; тем более что в некоторых случаях, как дает понять пословица, можно *остаться* философом лишь одним способом – замолчав.

Ницца, весна 1886

Первый раздел
О первых и последних вещах

1

Химия понятий и ощущений. Философские проблемы нынче вновь почти по всем позициям принимают ту же форму вопрошания, что и две тысячи лет тому назад: как что-либо может возникнуть из своей противоположности, к примеру, разумное из неразумного, ощущающее из мертвого, логика из бессмыслицы, бесцельное созерцание из страстного желания, жизнь ради других из эгоизма, истина из заблуждений? Метафизическая философия до сих пор справлялась с этим затруднением, отрицая возникновение одного из другого, а для вещей высшего разряда предполагая их чудесное происхождение прямо из недр и сущности «вещи самой по себе». Историческая же философия, которая вообще немыслима в отрыве от естествознания, этот новейший из всех философских методов, в отдельных случаях (и, вероятно, к такому же результату она придет во всех случаях) обнаруживала, что нет никаких противоположностей, кроме как в привычном раздувании популярной или метафизической точки зрения, и что в основе такого противопоставления лежит заблуждение разума: согласно ее объяснению, не существует, строго говоря, ни неэгоистических поступков, ни совершенно бесцельного созерцания, то и другое – всего лишь сублиматы, в которых субстрат предстает почти испарившимся и обнаруживает свое присутствие разве что только для самого пристального наблюдения. – Все, что нам нужно и что мы можем получить лишь при нынешнем высоком уровне развития отдельных наук, – это *химия* моральных, религиозных, эстетических представлений и ощущений, а также всех тех побуждений, которые мы переживаем, вступая в крупные и мелкие куль-

турные и общественные сношения, да и в одиночестве: и может быть, такая химия приведет к выводу, что и в этой сфере самые великолепные краски были получены из низменных, даже презренных веществ? Многим ли достанет охоты заниматься подобными исследованиями? Человечество любит выбрасывать из головы вопросы о происхождении и началах вещей: неужели надо чуть ли не лишиться человеческого образа, чтобы почувствовать в себе противоположную склонность? –

2

Наследственный изъян философов. – Всем философам свойствен один изъян – они исходят из представления о современном человеке и думают достичь своей цели, подвергнув его анализу. Перед ними непроизвольно витает мысль о «человеке» как некоей *aeterna veritas*[1], как о чем-то неизменном во всех водоворотах, как о надежной мере всех вещей. Но все, что бы ни сказал философ о человеке, – это, в сущности, не более чем свидетельство о человеке одного *очень ограниченного* временного промежутка. Нехватка чувства истории – вот наследственный изъян всех философов; некоторые даже неожиданно воспринимают совокупность новейших черт человека, возникших под влиянием определенных религий, а то и определенных политических событий, как устойчивую форму, из которой и следует исходить. Они не желают понять, что человек прошел через некоторый процесс становления, что через него же прошла и познавательная способность; а между тем кое-кто из них позволяет себе выводить из этой познавательной способности весь мир. – А ведь все *главное* в человеческом становлении произошло в первобытные времена, намного раньше того четырехтысячелетнего отрезка истории, который нам кое-как известен; за этот срок человек не мог измениться слишком сильно. Но вот философ усматривает в современном человеке «инстинкты» и полагает, что они относятся к числу неизменных фактов человеческого существо-

1 вечной истине (*лат.*).

вания, а потому способны дать ключ к пониманию мира вообще: вся телеология зиждется на том, что о человеке последних четырех тысячелетий говорят как о чем-то *вечном*, на которое естественным образом ориентировано все в мире с самого его начала. Но все прошло через становление; нет *никаких вечных фактов* – так же как нет никаких абсолютных истин. – Из всего этого следует, что отныне *философствовать необходимо в историческом ключе*, а, значит, требуется и добродетель скромности.

3

Уважать невзрачные истины. – Признак высшей культуры – оценивать мелкие, невзрачные истины, найденные по строгому методу, выше, нежели блаженные и ослепительные заблуждения, идущие от метафизических и художнических эпох и людей. Поначалу над первыми издевались, словно те и другие никак не сопоставимы в качестве равноценных: тут стоят эти, такие скромные, простые, трезвые, такие будто бы обескураживающие, а там – те, такие красивые, роскошные, упоительные, а не то даже и приводящие в восторг. И все-таки выше стоит то, что добыто с трудом, надежное, долговечное и потому далеко ведущее любые дальнейшие шаги познания; держать его сторону – это признак мужества, признак смелости, простоты, сдержанности. Мало-помалу до такой мужественности дорастут не только отдельные люди, но и все человечество, – это произойдет, когда они приучатся, наконец, ценить выше стойкие, долговечные познания и утратят всякую веру в инспирацию и чудодейственное внушение истин свыше. – Конечно, почитатели *форм* с их мерилом прекрасного и возвышенного поначалу будут иметь хорошие основания для издевательств, пока уважение к невзрачным истинам и дух научности только еще начнут возобладать: но лишь потому, что либо их глаза пока не открылись на очарование *простейшей* формы, либо потому, что воспитанные в упомянутом духе люди еще долго не проникнутся им вполне и до глубины души и будут по-прежнему слепо подражать древним формам (а это будет удаваться им довольно плохо, как и всякому, кто больше не

придает делу слишком большого значения). Прежде ум еще не занимался строгим мышлением – ему было интересно выдумывать символы и формы. Это изменилось; названный интерес к символике сделался признаком низшей культуры. Подобно тому как даже наши искусства становятся все более интеллектуальными, а наши чувства – все более умными, и как, к примеру, теперь о гармоничности чувств судят совершенно иначе, чем 100 лет тому назад, так и формы нашей жизни становятся все более *умственными* – с точки зрения прежних эпох, возможно, *безобразными*, но лишь потому, что ей не дано увидеть, как постоянно углубляется и расширяется царство внутренней красоты ума и насколько для нас для всех исполненный ума взгляд может значить теперь больше, чем самое прекрасное телосложение и самое возвышенное сооружение.

4

Астрология и тому подобное. – Вполне вероятно, что объекты религиозных, моральных и эстетических чувств тоже относятся только к поверхности вещей, а человек предпочитает верить, что в них он прикасается по меньшей мере к сердцу мира; он обманывается, потому что эти предметы вызывают у него сильный восторг и глубокое уныние, и, значит, проявляет здесь такую же гордыню, как и выслушивая астрологов. Ведь те думают, будто звезды вращаются вокруг человеческого жребия; моральный же человек полагает, будто то, что ему всего дороже, составляет и суть вещей.

5

Превратное понимание сновидения. – Во времена грубой первобытной культуры человек думал, будто в сновидении знакомится со *вторым реальным миром*; отсюда и берет начало всякая метафизика. Без сновидения не было бы никакого побуждения разделить мир пополам. С древнейшим пониманием сновидения связано и разложение человека на душу и плоть, как и вера в существование эфирного тела, а,

стало быть, и происхождение всякой веры в духов и, вероятно, веры в богов. «Усопший продолжает жить; *ведь* он является живому во сне»: такой вывод делали прежде, на протяжении многих тысяч лет.

6

Дух науки могуч в ее частях, а не в целом. – Отдельные *самые узкие* области науки излагают свои проблемы исключительно объективно: всеобщие же великие науки, взятые в целом, ставят вопрос, и вопрос совершенно необъективный, – «для чего? для какой выгоды?». Из-за этой-то оглядки на пользу они излагаются в целом не так безлично, как их отдельные части. А уж по поводу философии как вершины пирамиды знания вопрос о пользе познания вообще возникает непроизвольно, и всякая философия бессознательно стремится признать за ним *высочайшую* пользу. Поэтому во всех типах философии есть так много заносчивой метафизики и такая боязнь перед результатами физики, которые кажутся малозначащими; ведь значимость познания для жизни *должна* казаться как можно большей. В этом и состоит антагонизм между отдельными областями науки и философией. Последняя стремится, как к этому стремится и искусство, дать жизни и деятельности максимальную глубину и значимость; первые заняты поиском познания, и ничего больше, каков бы ни был результат. Не было до сих пор еще ни одного философа, в руках которого философия не превратилась бы в апологию познания; по крайней мере в этом пункте каждый из них питает оптимистическую веру в то, что за познанием следовало бы признать величайшую полезность. Все они ходят под ярмом логики: а уж она есть оптимизм по самой своей природе.

7

Нарушитель спокойствия в науке. – Философия отошла от науки, когда поставила вопрос: каково то познание мира и жизни, обладая которым человек ведет наиболее счастли-

вую жизнь? Произошло это в сократических школах: точка зрения *счастья* закупорила кровоток научного исследования – она делает это и по сей день.

8

Духовное объяснение природы. – Метафизика толкует текст природы как бы *духовно*, подобно тому, как прежде церковь и ее ученые делали это с Библией. Нужно очень много рассудительности, чтобы применять к природе такого же рода строгое интерпретаторское искусство, какое нынешние филологи разработали для всех книг: надо стремиться понять то, что хочет сказать текст, просто, а не подозревать и тем более не предполагать в нем наперед никакого *двойного* смысла. Но если скверное интерпретаторское искусство еще отнюдь не полностью преодолено даже в том, что касается книг, и в высших кругах образованного общества еще то и дело наталкиваешься на пережитки аллегорического и мистического толкования, то точно так же дело обстоит и в том, что касается природы, – только гораздо хуже.

9

Метафизический мир. – Это верно, какой-то метафизический мир существовать мог бы; абсолютную возможность этого оспорить невозможно. Мы смотрим на все вещи сквозь человеческую голову и не можем отрезать эту голову; но все же не решен вопрос – что осталось бы от мира, если бы ее все-таки отрезали. Это проблема чисто научная – она не слишком подходит, чтобы заботить людей; но все, что до сих пор делало для них метафизические гипотезы *ценными – ужасающими или притягательными*, – что их порождало, есть страсть, заблуждение и самообман; в них приучали верить наихудшие методы познания, а не наилучшие. Если разоблачить такие методы в качестве фундамента всех существующих разновидностей религии и метафизики, это даст возможность их опровергнуть! Правда, тогда названная выше возможность все еще не исчезнет; но делать с ней со-

вершенно нечего, не говоря уж о том, что могла бы возникнуть зависимость от паутины такой возможности счастья, блага и жизни. – Ведь метафизический мир нельзя охарактеризовать иначе, чем инобытие, недоступное и непонятное нам инобытие; это был бы предмет с негативными качествами. – А если бы было достоверно доказано, что такой мир существует, то все равно осталось бы несомненным одно: его познание – это наиболее безразличное из всех видов познания, еще более безразличное, чем познание химического состава воды для моряка, терпящего бедствие.

10

Безвредность метафизики в будущем. – Как только возникновение религии, искусства и морали будет описано так, что можно будет полностью объяснить их себе, не прибегая к гипотезе о *метафизических вмешательствах* в начале и в ходе процесса, исчезнет и ревностный интерес к чисто теоретической проблеме «вещи самой по себе» и «явления». Ведь дело с ними может обстоять как угодно: но в религии, искусстве и морали мы не соприкасаемся с «сущностью мира самой по себе»; мы находимся в сфере представления, и никакому «предчувствию» не сдвинуть нас с места. Вопрос о том, каким образом наша картина мира может так сильно расходиться с реконструированной сущностью мира, будет невозмутимо предоставлен физиологии и истории развития организмов и понятий.

11

Язык как мнимая наука. – Значение языка для развития культуры состоит в том, что в нем человек строил наряду с другим миром свой собственный, место, которое считал настолько устойчивым, чтобы, стоя на нем, перевернуть весь остальной мир и сделаться его хозяином. Длительное время веря в понятия и названия вещей как в *aeternae veritates*, он развил в себе ту гордость, с помощью которой смог возвысится над животным: он мнил, будто в языке и впрямь

заключено познание мира. Ваятель языка был не настолько скромен, чтобы думать, будто он только именует вещи, – нет, ему мнилось, что он выражает словами высшее знание о вещах; язык и впрямь есть первая ступень овладения наукой. И здесь тоже из *веры в то, что истина найдена*, забили обильнейшие ключи силы. Только задним числом, лишь сейчас, люди начинают смутно догадываться, что своею верой в язык они разносили чудовищное заблуждение. К счастью, уже слишком поздно – эволюцию разума, основанную на такой вере, не повернуть вспять. – *Логика* тоже зиждется на предпосылках, которым в реальном мире не соответствует ничего, к примеру, на предпосылке тождества вещей, идентичности вещи себе самой в разные моменты времени: но эта наука возникла благодаря противоположной вере (что нечто подобное безусловно существует в реальном мире). Так же дело обстоит и с *математикой*, которая, конечно, не возникла бы, если бы люди с самого начала знали, что в природе нет совершенно прямых линий, правильных окружностей, абсолютных единиц измерений.

12

Сновидение и культура. – Деятельность головного мозга, более всего нарушаемая сном, – это память: она, правда, не пресекается совсем, но низводится до состояния несовершенства, до уровня, на каком она, видимо, была в древнейшие эпохи человечества у каждого днем, не во сне. Произвольное и спутанное, сновидение постоянно смешивает вещи на основе их мимолетного сходства: но с тою же произвольностью и спутанностью народы сочиняли свои мифологии, да и в наши дни путешественники обыкновенно наблюдают, что дикари очень склонны к забывчивости, что после краткого напряжения памяти ум их начинает колебаться и они говорят ложь и бессмыслицу просто от утомления. Но в сновидении все мы подобны этим дикарям; скверное различение вещей и ошибочное их отождествление – причина плохих умозаключений, в которых мы повинны во сне; и вот, хорошенько припомнив свое сновидение, мы пугаемся самих себя, потому что видим, что в нас кроется

столько глупости. – Полная отчетливость всех картин сновидения, предпосылка которой – безусловная вера в их реальность, еще раз напоминает о состоянии древнейшего человечества, неимоверно часто впадавшего в галлюцинации, которые порою поражали одновременно целые общины, целые народы. Итак: во сне и в состоянии сновидения мы заново проделываем обычную работу древнего человечества.

13

Логика сновидения. – Во сне наша нервная система постоянно возбуждается многообразными внутренними стимулами, почти все органы выделяют секреты и совершают работу, кровь с напором льется по сосудам, положение спящего производит давление на отдельные члены тела, одеяло вызывает разнообразные ощущения, желудок переваривает и своими движениями беспокоит другие органы, кишечник сокращается, положение головы обусловливает необычные локации мышц, ноги без обуви, не касающиеся подошвами земли, дают необычное чувство, так же как и непривычная одежда на теле, – и все это, в зависимости от своих ежедневных перемен и интенсивности, возбуждает своей непривычностью всю систему вплоть до деятельности головного мозга: значит, для ума существует великое множество поводов удивляться и отыскивать *основания* такового возбуждения: сновидение и есть *поиск и попытки представить себе* причины вызванных этими возбуждениями ощущений, а это значит – мнимые причины. К примеру, тому, кто завяжет на своих стопах два ремешка, может присниться, что его стопы обвиты двумя змеями: поначалу это будет гипотезой, потом станет верой, сопровождаемой наглядным представлением и выдумкой: «Эти змеи, наверное, и есть *causa*[1] того ощущения, что владеет мною, спящим», – такое суждение выносит ум спящего. Так определенное, ближайшее прошлое становится для него благодаря взволнованной фантазии настоящим. Например, любой из опыта знает, как быстро сновидец вплетает в свое сновидение

---

1 причина (*лат.*).

доходящий до него громкий звук, скажем, колоколов или пушечных выстрелов, то есть создает себе из него объяснение *задним числом*, так что ему *кажется*, будто сначала он пережил побуждающие обстоятельства, а уж потом тот самый звук. – Как же получается, что ум сновидца все время настолько плошает, когда тот же самый ум в бодрствующем состоянии столь трезв, осмотрителен и обыкновенно столь скептичен по отношению к гипотезам? – так что для объяснения чувства ему уже достаточно первой попавшейся гипотезы, чтобы сразу поверить в его реальность? (Ведь в сновидении мы верим, будто сон – это и есть реальность, то есть считаем свою гипотезу полностью доказанной.) – Я думаю об этом вот что: человек еще и сейчас мыслит в сновидении точно так же, как человечество мыслило *и в бодрствующем состоянии* на протяжении многих тысячелетий: первая же *causa*, приходившая на ум, была ему достаточна для объяснения того, что нуждалось в объяснении, и считалась истиной. (По рассказам путешественников, дикари ведут себя так и сегодня.) В сновидении в нас продолжает работать эта древняя часть человеческого естества, ведь это основа, на которой развился и все еще развивается в каждом человеке более высокий разум: сновидение снова переносит нас назад, в далекие состояния человеческой культуры, и дает нам средство лучше их понять. Мыслить в сновидении дается нам сейчас так легко потому, что на протяжении чудовищных периодов развития человечества мы оказались так хорошо вымуштрованы именно на эту форму фантастического и общепонятного способа объяснения, исходящего из первой подвернувшейся на ум мысли. В этом отношении сновидение – отдых для головного мозга, который днем должен удовлетворять более строгим требованиям к мышлению, выставляемым более высокой культурой. – Родственный процесс мы можем наблюдать при еще не уснувшем рассудке прямо-таки в качестве входной двери и вестибюля сновидения. Когда мы закрываем глаза, мозг начинает производить множество световых и цветовых феноменов, вероятно, как своего рода эпилог и эхо всех тех световых впечатлений, которые он воспринял днем. И вот рассудок (в союзе с фантазией) тотчас перерабатывает эти сами по себе бесформенные сочетания красок в опреде-

ленные фигуры, очертания, ландшафты, движущиеся группы. Подлинная суть этого процесса – опять-таки своего рода заключение от следствия к причине; ум, задаваясь вопросом: «Откуда эти световые феномены и цвета?», в качестве причин предполагает названные фигуры и очертания: для него они – настоящие стимулы этих цветовых и световых феноменов, ведь днем, при открытых глазах, он привык находить движущую причину каждого цвета, каждого светового впечатления. Значит, здесь фантазия постоянно подсовывает ему образы, опираясь в своей работе на дневные зрительные впечатления, и точно так же действует фантазия сновидения: иными словами, из следствия выводится мнимая причина и возникает представление, будто причина была *после* следствия: все это совершается с неимоверной скоростью, так что здесь, словно от маневров фокусника, суждение может быть сбито с толку, а последовательность – выглядеть как одновременность и даже как обратная последовательность. – Наблюдая эти процессы, мы можем сделать вывод, *как поздно* развилось точное логическое мышление, строгий переход от причины к следствию, если *даже теперь* деятельность нашего разума и рассудка непроизвольно прибегает к этим первобытным формам умозаключений, и мы проводим в таком состоянии примерно половину своей жизни. – Поэты и художники тоже *выдумывают* совершенно нереальные причины своих настроений и состояний; в этом смысле они напоминают древнейшее человечество и могут помочь нам его понять.

14

Резонанс. – Все *интенсивные* настроения вовлекают в резонанс родственные ощущения и настроения: они как бы будоражат память. В таком состоянии что-то в нас вспоминается, и нам уясняются подобные состояния и то, что их породило. Так образуются усвоенные моментальные пучки чувств и мыслей, а в конце концов, когда они начинают молниеносно следовать друг за другом, они ощущаются уже даже не как комплексы, а как *единства.* В этом смысле говорят о моральном чувстве, о религиозном чувстве так, будто это

исключительно единства: а на самом деле это реки с великим множеством истоков и притоков. Вот и тут, как это часто бывает, единство слова не гарантирует единства вещи.

15

У мира – ни ядра, ни оболочки. – Если Демокрит перенес понятия верха и низа на бесконечное пространство, где они не имеют никакого смысла, то философы вообще перенесли понятие «внутреннее и внешнее» на сущность и явление мира; они думают, будто с глубокими чувствами можно дойти до глубин внутреннего, поближе к сердцу природы. Однако эти чувства глубоки лишь в том отношении, что едва заметно регулярно возбуждают определенные сложные группы мыслей, которые мы называем глубокими; чувство глубоко потому, что мы считаем глубокой сопровождающую его мысль. И тем не менее глубокая мысль может быть очень далека от истины, как, к примеру, любая метафизическая мысль; но если из глубокого чувства вычесть примеси в виде элементов мысли, то останется *сильное* чувство, а в познании оно не ручается ни за что, кроме себя самого, так же как сильная вера доказывает только свою силу, а не истинность своего предмета.

16

Явление и вещь сама по себе. – Философы обыкновенно встают перед жизнью и опытом – перед тем, что они называют миром явлений, – в позе, в какой стоят перед картиной, раз и навсегда прикрепленной к раме и абсолютно неизменно изображающей одно и то же событие: вот это-то событие, думают они, нужно правильно истолковать, чтобы сделать вывод о существе, создавшем картину, то есть о вещи самой по себе, на которую всегда привыкли смотреть как на достаточное основание мира явлений. Однако те логики, что построже, четко установив понятие метафизического как понятие безусловного, а, значит, и не обусловливающего, отвергли всякую связь между безусловным (метафизическим миром) и миром, нам известным: поэтому-то в явлении

является *вовсе не* вещь сама по себе, а всякое умозаключение от него к ней следует отклонить. Но обе стороны упустили из виду одну возможность: что эта самая картина – та, что нынче зовется нами, людьми, жизнью и опытом, – *складывалась* постепенно, мало того, еще целиком и полностью охвачена *становлением*, а потому не может рассматриваться как величина постоянная, исходя из которой можно сделать или на худой конец отвергнуть вывод об авторе (достаточном основании). Благодаря тому, что мы уже тысячи лет смотрим на мир с моральными, эстетическими, религиозными требованиями, со слепой симпатией, страстью или страхом, прямо-таки купаясь в блаженстве безобразий нелогического мышления, этот мир мало-помалу *сделался* столь чудесно-многоцветным, ужасающим, полным глубинного смысла, волнующим, он обрел краски – а колористами были мы: именно человеческий разум дал явлению явиться и перенес на вещи свои ошибочные принципы. Он приходит в себя – поздно, очень поздно: и вот мир опыта и вещь сама по себе кажутся ему столь разительно отличными и отделенными друг от друга, что он отвергает умозаключение от него к ней – или же на жутко-мистический лад требует *отказаться* от нашего разума, нашей личной воли, дабы прийти к бытийному, *сначала* самому *сделавшись бытийным*. Другие, в свой черед, нахватали в охапку все характерные черты нашего мира явлений – то есть представления о мире, выделанного из ошибок разума и оставленного нам в наследство, – и *вместо того, чтобы объявить виновным разум*, овиноватили сущность вещей как причину этой фактически наличной и очень жуткой природы мира и принялись проповедовать избавление от бытия. – Со всеми этими воззрениями покончит постоянный и неустанный процесс развития науки, который когда-нибудь в конце концов справит свой величайший триумф в *истории становления мышления* и итог которого сведется, возможно, к такому тезису: то, что нынче мы называем миром, есть результат множества заблуждений и фантазий, которые постепенно накапливались в общей эволюции органического мира, срастались и теперь унаследованы нами как совокупное богатство всего прошлого: как богатство, поскольку на нем зиждется ценность нашей человеческой природы. Строгая наука, по прав-

де говоря, в состоянии избавить нас от этого мира представления лишь в незначительной степени – да этого не стоит и желать, – поскольку она не в состоянии решительно сломить власть исконных привычек ощущения; но она может очень понемногу, шаг за шагом, разъяснить историю возникновения этого мира как представления – и хотя бы на несколько мгновений поднять нас над процессом в целом. Может быть, тогда мы узнаем, что вещь сама по себе заслуживает гомерического хохота: ведь она *казалась* столь значительной, даже исчерпывающей, а на самом деле пуста, точнее, не имеет никакого смысла.

17

Метафизические объяснения. – Молодой человек ценит метафизические объяснения, поскольку они раскрывают ему нечто в высшей степени многозначительное в вещах, которые он нашел неприятными или презренными; а если он недоволен собою, то это чувство слабеет, когда он узнаёт глубинную мировую тайну или мировую скорбь в том самом, что с такою силой презирает в себе. Чувствовать себя менее ответственным и к тому же видеть вещи более интересными – это он ценит как двойное благодеяние, коим обязан метафизике. Конечно, позже в нем разовьется недоверие ко всему метафизическому способу объяснения; тогда он, возможно, поймет, что вышеназванных эффектов можно добиться с таким же успехом, только более научно, на другом пути: что объяснения физические и исторические сообщают по меньшей мере такое же чувство безответственности и что при этом интерес к жизни и ее проблемам разгорается, может быть, еще сильнее.

18

Основные вопросы метафизики. – Если некогда будет написана история возникновения мышления, то и следующее положение одного выдающегося логика предстанет освещенным новым светом: «Изначальный всеобщий закон для познаю-

щего субъекта заключается во внутренней необходимости познавать каждый предмет сам по себе, в его собственной сущности, как тождественный себе, а, значит, самостоятельно существующий и в своей основе всегда остающийся одним и тем же, неизменным, короче говоря, как субстанцию». Но и этот закон, названный здесь «изначальным», прошел через становление: когда-нибудь будет показано, как постепенно, в низших организмах, возникает эта склонность: как глупые кротовьи глаза на этих ступенях организации поначалу не различают ничего, кроме всегда одного и того же; и как потом, когда становятся более заметными различные стимулы наслаждения и страдания, мало-помалу начинают различаться разные субстанции, но каждая – только с *одним* атрибутом, то есть с одним-единственным отношением к такому организму. – Первая ступень логики – это суждение: а его суть состоит, по определению самых лучших логиков, в вере. В основе всякой веры лежит *ощущение приятного или причиняющего боль* ощущающему субъекту. Новое, третье ощущение как результат двух предшествующих отдельных ощущений есть низшая форма суждения. – Нас, органических существ, в каждой вещи изначально интересует только ее отношение к нам с точки зрения наслаждения и боли. Между моментами, когда мы осознаём это отношение, состояниями ощущения, находятся моменты пустоты, неощутимости: тогда мир и всякая вещь в нем лишены для нас интереса, и мы не замечаем в нем никаких изменений (так и теперь страстно увлеченный чем-нибудь человек не замечает, что кто-то проходит мимо). Для растений обычно все вещи неподвижны, вечны, и каждая вещь тождественна себе. От периода низших организмов человек унаследовал веру в то, что бывают *одинаковые вещи* (этому положению противоречит только опыт, добытый высокоразвитой наукой). Исконная вера всего органического с самого начала гласит даже, возможно, что весь остальной мир един и неподвижен. – Идея *причинности* максимально далека от этой первой ступени логики: ведь мы, в сущности, и сейчас считаем, будто все ощущения и поступки суть проявления свободной воли; обращая внимание на себя, ощущающий индивидуум считает каждое ощущение, каждое изменение чем-то *изолированным*, то есть безусловным, ни с чем

не связанным: что-то всплывает из нас без всякой связи с предшествующим и последующим. Мы испытываем голод, но в первый момент не думаем, что организм стремится к самосохранению, – это чувство кажется заявившим о себе *без причины и цели*, оно изолируется и считает себя *произвольным.* Итак: вера в свободу воли – изначальное заблуждение всего органического, столь древнее, что в нем заключены первые проблески логики; равным образом изначальна и вера в абсолютные субстанции и тождественные вещи, – это тоже древнее заблуждение всего органического. Однако поскольку всякая метафизика занималась преимущественно субстанциями и свободою воли, то позволительно назвать ее наукой, которая изучает основные заблуждения человечества, но так, словно они – основные истины.

19

Число. – Законы чисел были открыты на основе уже изначально царившего заблуждения, будто существует множество одинаковых вещей (хотя на самом деле нет ничего одинакового), по крайней мере – будто существуют вещи (хотя нет никакой «вещи»). Признание множественности всегда уже заранее предполагает, что существует *нечто* встречающееся неоднократно: но как раз тут уже заправляет заблуждение, уже тут мы воображаем сущности и <идеальные> единства, которых нет. – Наше ощущение пространства и времени ложно, поскольку, как показывает дотошная проверка, ведет к логическим противоречиям. При всех научных утверждениях мы всегда неизбежно принимаем в расчет некоторые ложные величины: но поскольку эти величины по крайней мере *постоянны*, как, к примеру, наше ощущение времени и пространства, то результаты научных исследований в своей взаимосвязи все-таки обладают полною строгостью и достоверностью; на их основе можно продолжать исследования – вплоть до того предела, где ошибочный исходный принцип, упомянутые постоянные погрешности, вступает в противоречие с результатами, к примеру, в учении об атомах. В таких случаях мы все еще чувствуем себя вынужденными принимать гипотезу «вещи» или матери-

ального «субстрата», приводимого в движение, – а ведь вся научная работа преследовала цель превратить в движение все предметное (материальное): наше ощущение даже здесь еще отделяет движущееся от движимого, не выходя из этого круга, поскольку вера в вещи издревле прочно связана с нашею природой. – Когда Кант говорит: «Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей», то это совершенно верно в отношении *понятия природы*, которое мы вынуждены с нею связывать (природа = миру как представлению, то есть как заблуждению), но которое является суммой множества заблуждений рассудка. – Законы чисел абсолютно неприменимы к миру, который *не* является нашим представлением: они действительны только в мире людей.

20

Спуститься на несколько перекладин. – Одна, конечно же, очень высокая ступень образования достигается, когда человек оставляет под собою суеверные и религиозные представления и страхи и перестает верить, скажем, в ангелочков или наследный грех, да и о спасении души говорить отвыкает: если он уже на этой ступени освобождения, то ему предстоит с величайшим напряжением всей своей осторожности преодолеть еще и метафизику. Но *тогда* ему потребуется несколько *отойти вспять*: он должен понять историческую, а равно и психологическую оправданность таких представлений, должен узнать, что оттуда до нас доходит величайшая поддержка человечеству и что без такого отхода вспять мы лишили бы себя лучших достижений прежнего человечества. – В рассуждении философской метафизики я вижу сейчас все большее число тех, что достигли негативного результата (что любая позитивная метафизика – это заблуждение), но еще не много тех, что спустились на несколько перекладин вниз; ведь надо, конечно, заглянуть за последнюю перекладину лестницы, а не вольготно расположиться на ней. Самые просвещенные доходят только до того, чтобы освободиться от метафизики и с чувством превосходства взирать на нее сверху вниз: а ведь и здесь, как на ипподроме, нужно завернуть за конец дорожки.

21

Вероятная победа скепсиса. – Стоит разок попробовать занять скептическую исходную позицию: положим, нет никакого иного, метафизического мира, а все заимствованные из метафизики объяснения единственного известного нам мира для нас непригодны: какими глазами мы смотрели бы тогда на людей и вещи? Это можно себе представить, это полезно, даже если обойти вопрос о том, получили ли Кант и Шопенгауэр научным путем доказательства каких-нибудь метафизических положений. Ведь согласно исторической вероятности, весьма возможно, что в этом отношении люди когда-нибудь сделаются в общем и целом *скептиками*; поэтому, стало быть, спрашивается: какие черты приобретет тогда человеческое общество под воздействием подобного умонастроения? Может быть, *научное доказательство* какого-либо метафизического мира уже само по себе настолько *затруднительно*, что человечеству уже никогда не избавиться от недоверия к нему. А когда есть недоверие к метафизике, то его последствия принципиально те же, что и в случае, если она прямо опровергнута и верить в нее уже *нельзя*. В обоих случаях исторический вопрос о неметафизическом умонастроении человечества остается тем же.

22

Неверие в «monumentum aere perennius»[1]. – Большой ущерб, который несет с собою устранение метафизических воззрений, состоит в том, что индивидуум слишком серьезно относится к краткости своей жизни и не получает никаких более сильных стимулов создавать прочные, рассчитанные на столетия институты; он сам хочет срывать плоды с дерева, которое сажает, а потому уже не желает сажать те деревья, что требуют постоянного ухода на протяжении столетий и предназначены осенять собою длинные вереницы поколений. Ведь метафизические воззрения сообщают

1 Памятник вековечнее меди (*лат.*), слова из знаменитого стихотворения Горация («Послания» 3,30).

веру в то, что в них заложен последний и окончательный фундамент, на который отныне вынуждено водрузиться и на котором вынуждено строиться все будущее человечества; отдельный человек способствует своему спасению, когда, к примеру, жертвует на строительство церкви или основывает монастырь, потому что, как он считает, это зачтется ему и воздастся в грядущей вечной жизни души, это – работа для спасения души навеки. – Может ли наука пробуждать такую же веру в свои результаты? По правде говоря, сомнение и недоверие нужны ей, они – ее вернейшие союзники; несмотря на это, со временем сумма заповедных, то есть выдерживающих все бури скепсиса, все попытки разложения истин возрастет настолько (например, в диететике здоровья), что созреет решение создавать «вечные» творения. А покуда *контраст* нашего возбужденного существования мух-подёнок с пространным покоем, которым полна метафизическая эпоха, бросается в глаза слишком сильно, поскольку обе эпохи разошлись во времени еще недалеко; даже отдельный человек проходит сейчас слишком многими внутренними и внешними путями развития, чтобы отважиться устроить хотя бы свою собственную жизнь прочно и окончательно. Вполне современный человек, решивший, скажем, построить себе дом, делает это с таким ощущением, словно ему предстоит заживо похоронить себя в мавзолее.

23

Компаративистская эпоха. – Чем слабее люди связаны традицией, тем сильнее становится внутренняя активность их мотивов и соответственно тем сильнее, в свой черед, внешняя обеспокоенность, перемешивание людских потоков, полифония целей. Для кого теперь еще действительно строгое принуждение привязать себя и свое потомство к одному месту жительства? Для кого вообще есть еще что-нибудь строго обязательное? Вперемешку воспроизводятся все стилистические направления в искусстве – и точно то же происходит со всеми ступенями и разновидностями нравственности, обычаев, культур. – Значительность такой эпо-

хе придает то, что в ней могут быть сличены и опробованы рядом друг с другом различные миросозерцания, нравы, культуры; прежде, при постоянно локализованном господстве каждой культуры, это было несбыточно, чему соответствовала и привязанность всех стилистических направлений в искусстве к определенному месту и времени. Нынче рост эстетического чувства будет бесповоротно выбирать между столь многими предлагаемыми для сравнения формами: и бóльшую их часть – а именно, все те, которые оно отвергнет, – обречет на смерть. Точно так же нынче происходит отбор среди форм и привычек высшей нравственности, целью которой не может быть ничего, кроме гибели более низких форм нравственности. Вот она, компаративистская эпоха! Она может этим гордиться – но по справедливости от этого же и страдает. И пусть нас не пугает это страдание! Наоборот, давайте воспримем задачу, которую ставит перед нами эпоха, как можно более серьезно: за это нас благословят потомки – потомки, которые будут ставить себя выше замкнутых самобытных народных культур, так же как и выше компаративистской культуры, но с благодарностью оглядываться на оба вида культуры как на достопочтенные древности.

24

Возможность прогресса. – Когда ученые старой культуры зарекаются иметь дело с людьми, верующими в прогресс, они правы. Ведь величие и доброкачественность старой культуры для нее в прошлом, а познания в истории заставляют признать, что она никогда не вернется в первозданной свежести; требуется невыносимое тупоумие или столь же нестерпимое горячечное мечтательство, чтобы этого не признать. Однако люди могут *сознательно* решиться развивать в себе новую культуру, в то время как прежде их развитие было бессознательным и случайным: сейчас они могут создать лучшие условия для рождения людей, их питания, воспитания, обучения, хозяйски распоряжаться всей планетой, взаимно оценивать и использовать силы людей вообще. Эта новая культура убьет старую, которая, взятая в целом,

вела бессознательную животную и растительную жизнь; она убьет и недоверие к прогрессу – таковой *возможен*. Я хочу сказать: было бы опрометчиво и чуть ли не абсурдно верить, будто прогресс должен наступить *непременно*; можно ли, однако, отрицать, что он возможен? Зато прогресс в духе и на путях старой культуры даже немыслим. Пусть даже романтическое фантазерство тем не менее применяет слово «прогресс» к своим целям (например, замкнутым самобытным народным культурам): все равно оно заимствует его образ из прошлого; в этой сфере оно развивает совершенно неоригинальные идеи и представления.

25

Мораль личная и всемирная. – С тех пор как умерла вера в то, что Бог ведет судьбы мира в целом и, несмотря на все кажущиеся искривления дороги человечества, все же отлично выводит его в нужную сторону, людям приходится самим ставить перед собою экуменические, охватывающие всю землю, цели. Старая мораль, в особенности Кантова, требует от каждого поступков, желательных с точки зрения всех: это была прекраснодушная наивность; как будто каждый точно знает, от какого образа действий будет процветать все человечество, то есть какие поступки вообще желательны; эта теория, подобно идее свободной торговли, подразумевает, что всеобщая гармония *должна* установиться сама собою по врожденным законам улучшения. Возможно, будущая картина потребностей человечества отнюдь не покажет, что желательны одинаковые поступки всех, – наоборот, ради экуменических целей для целых отрезков развития человечества могут ставиться специальные, а в зависимости от обстоятельств даже скверные задачи. – Во всяком случае, если человечество не хочет обречь себя на гибель от такого осознанного всемирного управления, оно должно сначала добыть превосходящее все прежние масштабы *знание об условиях культуры* как научное мерило для достижения экуменических целей. В этом и состоит чудовищная задача великих умов следующего столетия.

26

Реакция как прогресс. – Порою появляются умы резкие, насильственные и порывистые, но несмотря на это ретроградные, еще раз вызывающие к жизни уже прожитую фазу истории человечества: они служат доказательством того, что новые направления, которым они противодействуют, еще недостаточно сильны, что им чего-то не хватает: иначе они не поддавались бы этим воскрешателям с такой легкостью. Так, например, Реформация Лютера – свидетельство в пользу того, что все первые порывы свободы ума в его столетии были еще зыбкими, мягкими, юношескими; наука еще не умела поднять голову. Да и весь Ренессанс выглядит, как ранняя весна, почти целиком снова засыпаемая снегом. Но и в нашем столетии Шопенгауэрова метафизика показала, что научный дух недостаточно крепок даже теперь: поэтому в учении Шопенгауэра, несмотря на то, что все христианские догмы были уже давно уничтожены, еще раз смогло отпраздновать свое воскрешение полное средневековое христианское миросозерцание и ощущение человека. Его учение впускает в себя много отзвуков науки, но не наука им овладевает, а старая, хорошо известная «метафизическая потребность». Конечно, одна из величайших и совершенно бесценных выгод, какую мы получаем от Шопенгауэра, состоит в том, что он вовлекает на какое-то время наше чувство в старые, мощные картины мира и человека, подход к которым в любом ином случае не был бы для нас столь легким. Выигрыш для исторической науки и справедливости очень велик: я думаю, что сейчас без помощи Шопенгауэра никому не удалось бы с такой легкостью отдать должное христианству и его азиатским родственникам: а особенно это невозможно сделать, стоя на почве еще сохраняющегося христианства. Лишь после этого великого *успеха справедливости*, лишь после того, как мы скорректировали в столь важном пункте исторический подход, который принесла с собою эпоха Просвещения, мы вновь смеем нести дальше знамя Просвещения – знамя, на котором начертаны три имени: Петрарка, Эразм, Вольтер. Из реакции мы сделали прогресс.

27

Замена религии. – Люди думают, будто говорят за спиной философии что-то хорошее, объявляя ее заменою религии для народа. В умственном хозяйстве и впрямь иногда бывают необходимы переходные ряды идей; так, скажем, переход от религии к научному подходу – это насильственный и опасный скачок, и лучше его избегать. В этом смысле указанная вначале рекомендация оправданна. Но в конце концов приходится все-таки признать и то, что потребности, какие удовлетворяла религия, а теперь призвана удовлетворять и философия, не являются неизменными; сами эти потребности можно *ослабить* и *искоренить*. Тут на ум приходит, к примеру, бедственное положение христианских душ, сокрушение об их глубокой испорченности, попечение об их спасении – все это представления, идущие лишь от заблуждений разума и заслуживающие совсем не удовлетворения, а уничтожения. Философию можно использовать либо так, чтобы она тоже *удовлетворяла* эти потребности, либо так, чтобы она их *устраняла*; ведь эти потребности – усвоенные, исторически ограниченные, они зиждутся на предпосылках, противоречащих научным предпосылкам. Для перехода здесь куда больше пригодно *искусство* – оно может дать облегчение перегруженной ощущениями душе; ведь оно гораздо меньше, чем метафизическая философия, поддерживает названные потребности. А уж от искусства потом легче будет перейти к действительно освободительной философской науке.

28

Презренные слова. – Долой до тошноты затертые слова «оптимизм» и «пессимизм»! Ведь день ото дня становится все меньше поводов ими пользоваться; сейчас они еще позарез нужны разве только болтунам. Ведь с какой это стати нужно быть оптимистом, если не надо защищать Бога, который *должен был* создать лучший из миров, раз уж сам воплощает собою добро и совершенство, – а какой же мыслящий человек еще нуждается в гипотезе Бога? – Но нет никакого повода и для пессимистического кредо, если нет горячего

желания позлить адвокатов Бога, богословов или богословствующих философов, нарочно выставляя противоположное утверждение: что всем правит зло, что страдание перевешивает наслаждение, что мир сделан халтурно и являет собою недобрую волю к жизни. Но кому сейчас нужны богословы – кроме самих богословов? – Если оставить в стороне всяческое богословие и атаки на него, то совершенно очевидно, что мир ни добр и ни зол и уж подавно не может быть ни добрее, лучше, ни злее, хуже и что понятия «добрый» и «злой» имеют смысл, только когда речь идет о человеке, да и тогда, может быть, не оправданны при обычном словоупотреблении: в любом случае нам надо избавляться от бранного или хвалебного миросозерцания.

29

Опьяненность запахом цветов. – Корабль человечества, гласит общее мнение, сидит в воде тем глубже, чем больше груза в себе несет; чем глубже люди мыслят, гласит всеобщая вера, чем тоньше чувствуют, чем выше себя ценят, чем больше дистанция, отделяющая их от других животных, – тем заметней человек предстает гением среди животных – и тем ближе он оказывается к подлинной сущности мира и к его познанию: это он и вправду делает, занимаясь наукой, но *мнит*, будто большего достигает здесь в религии и искусстве. Таковые, конечно, суть цвет мира, но они отнюдь не *ближе к корню мира*, нежели стебель: они вовсе не дают возможности лучше понять суть вещей, хотя так думает почти всякий. Это именно *заблуждение* сделало человека настолько глубокомысленным, тонко чувствующим, изобретательным, чтобы изгнать такой цвет, как религия и искусство. Чистое познание на подобное неспособно. Тот, кто раскрыл бы нам сущность мира, самым неприятным образом разочаровал бы всех. Столь полон смысла, столь глубок и чудесен, столь чреват счастьем и бедою не мир как вещь сама по себе, а мир как представление (как заблуждение). Такой итог ведет к философии *последовательного мироотрицания*: впрочем, ее с таким же успехом можно соединить с практическим миро-утверждением, как и с его противоположностью.

30

Скверные привычки в умозаключении. – Наиболее привычные для людей ошибочные заключения таковы: если вещь существует, то она имеет на это право. Здесь заключение совершается от жизнеспособности к целесообразности, от целесообразности к правомерности. Далее: такое-то мнение дарит счастьем, следовательно, оно истинно, его следствия благотворны, а следовательно, оно и само благотворно и истинно. Здесь следствию приписывается предикат «благотворный, хороший» в смысле пользы, а потом и причину снабжают тем же предикатом «хороший», но теперь уже в смысле логической законности. Обращение этих положений гласит: такое-то дело сделать, отстоять невозможно, следовательно, оно неправильное; такое-то мнение мучает, приводит в смятение, значит, оно ложное. Свободный ум, слишком часто встречающий эту манеру делать заключения и вынужденный страдать от ее последствий, нередко поддается соблазну делать противоположные заключения, которые в целом, естественно, столь же ошибочны: такое-то дело несбыточно, следовательно, оно хорошо; такое-то мнение несет с собою одни неприятности, причиняет хлопоты, значит, оно верно.

31

Такая нужная нелогичность. – К вещам, способным довести мыслителя до отчаяния, относится познание того, что людям необходима нелогичность и что из нелогичности проистекает много хорошего. Оно так прочно укоренено в страстях, в языке, в искусстве, в религии и вообще во всем придающем жизни ценность, что его невозможно вычеркнуть, не нанеся тем самым этим прекрасным вещам непоправимого ущерба. Только очень наивные люди могут думать, будто человеческая природа способна преобразиться в чисто логическую; а если бы существовали степени приближения к этой цели, то чего только не пропало бы на таком пути! Даже самому разумному человеку время от времени потребно возвращение к природе, то есть к своему коренному *нелогичному положению среди всего на свете.*

32

Такая нужная несправедливость. – Суждения о ценности жизни появились на свет нелогическим путем, а потому несправедливы. Неточность суждения связана, во-первых, с качеством его предмета – он весьма неполон, во-вторых, со способом его обобщения и, в-третьих, с тем, что каждая отдельная часть предмета суждения – это результат опять-таки неточного познания, и это последнее совершенно фатально. К примеру, никакое наше знание о человеке, пускай даже очень близком нам, не может быть полным, а потому не дает нам логических оснований для его оценки в целом; все наши оценки опрометчивы, да такими им и надлежит быть. И наконец, мерило, каким мы пользуемся для измерения, – наш собственный склад души, – вовсе не что-то неизменное, потому что мы подвержены настроениям и шатаниям, а ведь чтобы справедливо определять, в каком отношении то или иное дело к нам находится, нам надо было бы понимать себя как точное мерило. Возможно, из всего этого последует, что выносить суждения не стоит вообще; ах, если б только *жить* можно было, не вынося оценок, без симпатий и антипатий! – ведь всякая антипатия связана с оценкой, равно как и всякая симпатия. Влечения к чему-либо или от чего-либо, но без ощущения того, что человек желает полезного и избегает вредного, влечения без своего рода познавательной оценки ценности своей цели, у человека не существует. Мы изначально существа нелогические, а потому несправедливые, *и в состоянии это понять*: вот один из самых резких и неразрешимых диссонансов нашего существования.

33

Такое нужное жизни заблуждение о себе. – Всякая вера в ценность и достоинство жизни зиждется на неточном мышлении; и возможна она исключительно благодаря тому, что в людях плохо развито сочувствующее участие в общей жизни и страданиях человечества. Даже те редкие люди, что привыкли выходить мыслью за свои пределы, направляют

свое внимание не на эту общую жизнь, а на ее отдельные фрагменты. Если человек приучился иметь в виду главным образом людей исключительных, я хочу сказать – ориентироваться на высокие дарования и чистые души, если он понимает их появление на свете как цель всего мирового процесса и восхищается их деятельностью, то он может поверить в ценность жизни, именно потому что при этом *упускает из виду* других людей: иными словами, он мыслит неточно. Точно так же, если хотя и иметь в виду всех людей, но признавать в них только *один* вид влечений, тех, что не так уж эгоистичны, и прощать им все остальные влечения, – тогда опять-таки можно чего-то ждать от человечества в целом и потому верить в ценность жизни: стало быть, и в этом случае – благодаря неточности мышления. Однако как тут ни действуй, все равно эти действия будут *исключительными* среди людей. Но как раз бóльшая-то часть людей переносит жизнь, не слишком ропща, и, значит, *верит* в ценность своего существования, но именно благодаря тому, что каждый хочет и утверждает только себя, не выходя за свои пределы, подобно названным исключениям: а все сверхличностное для них не существует вовсе или в лучшем случае существует лишь как бледная тень. Так вот, для обыкновенного, живущего со дня на день человека ценность жизни основана исключительно на том, что он считает себя более важным, чем мир. Из-за большой нехватки воображения, которой он страдает, он не умеет вчувствоваться в другие создания и потому почти никак не делит с ними их судьбу и страдания. И напротив – *тот*, кто и впрямь сумел бы делить их с ними, неизбежно разочаровался бы в ценности жизни; а если бы ему удалось впустить в себя и ощутить совокупное сознание человечества, он рухнул бы с проклятьем жизни на устах – ведь у человечества в целом нет *никаких* целей, а, значит, наблюдая ход событий в целом, человек может найти в нем не утешение и ободрение, а отчаяние. Если во всем, что такой человек делает, он смотрит на полную бесцельность человеческого существования, то собственная деятельность обретает в его глазах характер расточительства. Но чувствовать *расточение* себя как человечества (а не только как индивидуума) точно так же, как мы видим расточение отдельных цветов природой, – это чувство превы-

шает все остальные чувства. – Кто же на такое способен? Понятно, что только поэты: а поэты всегда умеют утешиться.

34

По поводу умиротворения. – Но разве наша философия не превратится на такой лад в трагедию? Разве истина не станет враждебной жизни, лучшему будущему? Язык наш, кажется, становится неповоротливым, чтобы во всеуслышание задать один вопрос: да *можно* ли сознательно удерживать себя во лжи? Или, если уж это *неизбежно*, то не лучше ли тогда умереть? Ведь больше не будет никакого долга; мораль-то, в той мере, в какой она была долгом, уничтожена нашим подходом к вещам точно так же, как и религия. Познание сможет допустить в качестве мотивов лишь наслаждение и страдание, пользу и вред: а как же эти мотивы уживутся с чувством истины? Ведь и они граничат с заблуждениями (поскольку, как уже сказано, наше наслаждение и страдание по большей части определяют симпатии и антипатии с их очень несправедливыми мерками). Вся человеческая жизнь глубоко погружена в ложь; отдельному человеку не под силу вытащить ее из этой ямы, не возненавидев при этом своего прошлого до глубины души, не находя вздорными свои нынешние мотивы, каково, скажем, чувство чести, и не относясь к страстям, влекущим к будущему и к счастью в будущем, с насмешкою и презрением. Неужто правда, что остается только один образ мыслей, последствия которого – отчаяние как личный итог и философия разрушения как теоретический? – Я думаю, последствия познания зависят от *темперамента* человека: не хуже описанных и вполне возможных у отдельных натур последствий я могу представить себе и другие последствия, в силу которых жизнь стала бы много более простой, более чистой от аффектов, нежели нынешняя: тогда, правда, по старой наследственной привычке поначалу еще сохраняли бы силу старые мотивы сильных страстей, но они мало-помалу утихали бы под воздействием очистительного познания. В итоге человек жил бы с другими и наедине с собою, как живут в *природе*, без одобрений, упреков, горячки, наслаждаясь, словно на представлении,

многим из того, что прежде только вызывало в нем страх. Он избавился бы от эмфазы и перестал бы ощущать стрекало мысли о том, что является чем-то помимо природы или сверх природы. Правда, для этого, как уже сказано, нужен хороший темперамент – душа закаленная, не порывистая и, в сущности, веселая, характер, при котором не нужно все время быть начеку, избегая козней и внезапных аффектов, и который никогда не проявляется в ворчании и озлобленности, этих известных тягостных качествах старых собак и людей, долгое время живших на цепи. Скорее, человек, с которого обычные оковы жизни спали настолько, что он продолжает жить лишь ради того, чтобы все глубже погружаться в познание, должен уметь без зависти и раздражения отказываться от многого, даже почти от всего ценимого другими, и в качестве наиболее желательного состояния ему должно *хватать* упомянутого вольного и бесстрашного парения над людьми, нравами, законами и традиционными оценками вещей. Ему по нраву делиться радостью от этого состояния, да, может статься, он и не *способен* поделиться ничем иным, как только ею, и это само по себе, конечно, еще одна нужда и еще одно самоотречение. А уж если от него потребуют большего, то он, благожелательно покивав головою, укажет на своего брата – свободного человека дела, возможно, не скрывая тонкой усмешки: ведь со «свободою» последнего дело обстоит особенным образом.

Второй раздел
К истории нравственных чувств

35

Преимущества психологического наблюдения. – Что размышление о человеческом, слишком человеческом – или, выражаясь на более научный лад, психологическое наблюдение, – относится к средствам, с помощью которых можно облегчить для себя бремя жизни, что опытность в этом искусстве дает присутствие духа в тяжелых ситуациях и развлекает, когда окружающее наводит тоску, более того, что можно собирать нравоучения с самых колючих и безотрадных мест своей жизни и чувствовать себя при этом не так уж и плохо: так думали, об этом знали – в прежние столетия. Почему обо всем этом забыло нынешнее столетие, когда по крайней мере в Германии, а то и в Европе появилось множество признаков того, что психологическое наблюдение скудеет? И ведь происходит это не в жанре романа, новеллы и философского трактата – дела людей исключительных, а все больше в обсуждении общественных событий и личностей: но главным образом не хватает искусства психологического расчленения и обобщения, не хватает во всех сословиях общества, где так любят порассуждать о людях, но только не *о человеке.* Отчего же внимание проходит мимо наиболее богатого и безвредного материала для беседы? Отчего больше не читают даже великих мастеров психологической сентенции? – ведь, говоря без всякого преувеличения, в Европе редко встречаются образованные люди, читавшие Ларошфуко и родственных ему мыслителей и художников слова, а еще реже – те, что их знают и не хулят. Но и такой необычный читатель, вероятно, получит от них куда меньше удовольствия, чем должен был бы получать, наслаждаясь формальной стороною творчества этих писателей; ведь да-

же самый тонкий ум не в состоянии должным образом оценить искусство огранки сентенций, если сам не был воспитан в его духе, если не состязался в нем с другими. Без такого рода практических занятий это созидание и огранку читатели считают чем-то более легким, чем они есть, и не могут развить в себе достаточно ясное ощущение их меткости и прелести. Поэтому нынешние читатели сентенций получают от них сравнительно небольшое удовольствие, не говоря уж о наслаждении для уст, и очень похожи на посредственность, разглядывающую камеи, а в том, как эти читатели их восхваляют, они очень похожи на посредственность, разглядывающую камеи: не умея их полюбить, они сразу готовы ими восхититься, но еще скорее готовы сбежать а в том, как эти читатели их восхваляют, они очень похожи на посредственность, разглядывающую камеи: не умея их полюбить, они сразу готовы ими восхититься, но еще скорее готовы сбежать.

36

Возражение. – А может быть, против того тезиса, что психологическое наблюдение относится к приманивающим, исцеляющим и облегчающим средствам в жизни, имеются какие-нибудь встречные соображения? Может быть, было достаточно оснований убедиться в неприятных последствиях этого искусства, чтобы теперь намеренно отводить от него взгляд тех, кто получает образование? И ведь правда, что некая слепая вера в доброту человеческой природы, привитое отвращение к анализу человеческих поступков, своего рода стыдливость перед обнаженностью души действительно могут быть более благодетельными для общего счастья того или иного человека, нежели упомянутая психологическая проницательность, помогающая в отдельных случаях; и, возможно, вера в добро, в добродетельных людей и добродетельные поступки, в мир как кладезь безличной благожелательности улучшила людей, поскольку снизила степень их недоверчивости. Истово подражая героям Плутарха и питая отвращение к мнительному расследованию мотивов их поступков, истины, правда, не получить, но зато это полезно для благополучия человеческого обще-

ства: ошибки в психологии и общая тупость в этой сфере развивают гуманность, а вот познание истины, может быть, больше выиграет благодаря движущей силе гипотезы, формулировку которой Ларошфуко предпослал первому изданию своих «Sentences et maximes morales»: «Ce que le monde nomme vertu n'est d'ordinaire qu'un fantôme formé par nos passions à qui on donne un nom honnête pour faire impunément ce qu'on veut»[1]. Ларошфуко и другие французские мастера испытания утробы (к коим недавно присоединился и один немец, автор «Психологических наблюдений») подобны метким стрелкам из лука, неизменно попадающим в черное яблочко – но это чернота человеческой природы. Их удачливость возбуждает удивление, но в конце концов зритель, руководимый не научностью, а человеколюбием, клянет искусство, которое будто бы внедряет в человеческие души вкус к преуменьшению и подозрительности.

37

И все-таки. – Как бы ни обстояло дело с соображением и встречным соображением, при нынешнем состоянии некоей определенной отдельной науки сделалось необходимым воскрешение морального наблюдения, и человечеству не избежать жестокого зрелища стола для психологического вскрытия с его ножом и щипцами. Ведь здесь хозяйничает та наука, которая задает вопрос о происхождении и истории так называемых нравственных чувств и которая, продвигаясь вперед, должна будет ставить и решать сложные социологические проблемы: прежней философии они совсем неизвестны, и она неизменно уклонялась от исследования происхождения и истории нравственных чувств, делая убогие отговорки. Каковы были последствия, очень ясно можно различить сейчас, когда на множестве примеров показано, что исходным пунктом заблуждений вели-

1 «Моральных изречений и максим»: То, что называют добродетелью, – обыкновенно не более чем фантом, образованный нашими страстями, коему дают почтенное имя, дабы безнаказанно вытворять все что угодно (*фр.*).

чайших философов обыкновенно оказывалось неверное объяснение определенных человеческих поступков и ощущений, что на основе ошибочного анализа, к примеру, так называемых неэгоистических поступков, строится ложная этика, а потом в угоду ей на помощь в свой черед призываются религия и мифологическое бесчинство – и наконец тени этих мрачных привидений падают даже на физику и общую картину мира. Если же твердо установлено, что самые опасные ловушки для человеческой способности судить и умозаключать подложила и продолжает постоянно подкладывать поверхностность психологического наблюдения, то теперь требуется та терпеливая работа, что не устанет собирать камень к камню, камушек к камушку, требуется сдержанная смелость, чтобы не стыдиться столь скромной работы и отстаивать ее перед лицом любого пренебрежения к ней. Нет сомнений: бесчисленные отдельные наблюдения о человеческом и слишком человеческом были впервые сделаны и высказаны в тех кругах общества, которые привыкли приносить жертвы всякого рода не научному познанию, а остроумному кокетству; и запах этой древней родины моральной сентенции – запах весьма обольстительный – почти неотвязно пристал ко всему жанру: и из-за него-то человек науки и проявляет некоторое непроизвольное недоверие к этому жанру и его серьезности. Но достаточно указывать на эти последствия: ведь уже сейчас начинает выясняться, какие плоды самого серьезного свойства произрастают на почве психологического наблюдения. Каково же главное положение, к которому в итоге своих разительных и рассекающих анализов человеческих поступков пришел один из самых отважных и холодных мыслителей, автор книги «О происхождении нравственных чувств»? «Моральный человек, – говорит он, – отнюдь не ближе к интеллигибельному (метафизическому) миру, чем человек физический». Это положение, ставшее жестким и резким под молотом исторического познания, в некотором будущем превратится, может быть, в секиру, положенную при корне «метафизической потребности» людей, – и как знать, будет ли это *больше* благословением или проклятьем для общего блага? – но в любом случае оно останется положением, влекущим за собою самые серьезные следствия, одновременно

плодотворным и устрашающим, обращенным к миру тем двойным лицом, какое всегда бывает у великого познания.

38

Насколько оно полезно. – Так вот: пусть даже останется неизвестно, больше пользы или больше вреда приносит людям психологическое наблюдение, но совершенно определенно, что оно необходимо, поскольку наука без него обойтись не может. А наука не считается с последними целями, точно так же как не считается с ними природа: напротив, как эта последняя иногда непроизвольно реализует вещи величайшей целесообразности, так и подлинная наука, *будучи подражанием природе в понятиях*, станет иногда, да что там, даже очень часто, содействовать пользе и процветанию человечества и добиваться целесообразности, – но тоже *совершенно непроизвольно*. Ну а если кто продрогнет от дуновения подобного образа мыслей, то это, должно быть, оттого, что в нем не хватает огня: пусть он тогда поглядит вокруг себя – и обнаружит болезни, для лечения которых нужно прикладывать лед, и людей, которые настолько крепко «замешаны» на жаре и уме, что никакой воздух не бывает для них достаточно холодным и пронизывающим. Мало того: если слишком серьезные люди и народы испытывают потребность в легкомыслии и если другим, чересчур возбудимым и подвижным, время от времени для здоровья нужны тяжелые, придавливающие к земле грузы, – то разве не стоит нам, *в большей степени умственным* людям эпохи, явно все сильнее сгорающей в пожаре, хвататься за все угашающие и охлаждающие средства, которые бывают, чтобы по крайней мере оставаться столь же стойкими, безвредными и сдержанными, каковы мы еще суть, и потому, может быть, некогда оказаться пригодными для этой эпохи на роль зеркала и способа опамятоваться? –

39

Сказка об интеллигибельной свободе. – История чувств, в силу которых мы делаем кого-то ответственным за что-либо, то

есть так называемых нравственных чувств, состоит из следующих основных фаз. Сначала отдельные поступки называют добрыми или злыми, никак не учитывая их мотивы, а делая это исключительно из-за их полезных или вредных последствий. Но вскоре о происхождении таких характеристик забывают и воображают, будто свойство «добрых» или «злых» присуще поступкам самим по себе, без учета их последствий: ошибка здесь та же, какую совершает язык, обозначая сам камень как твердый, само дерево как зеленое, – иными словами, возникающая благодаря тому, что следствие воспринимается как причина. После этого доброе или злое качество приписывается мотивам, а действия сами по себе рассматриваются как морально двузначные. Дело идет еще дальше – предикатом «добрый» или «злой» наделяются уже не отдельные мотивы, а человек как целостное существо, из которого мотив произрастает, словно растение из почвы. Таким-то образом человека по очереди делают ответственным за последствия своих действий, потом – за свои поступки, потом – за свои мотивы и, наконец, за все свое существо. А в конце концов обнаруживается, что и это существо не может быть ответственным, поскольку оно целиком и полностью является необходимым следствием, произрастая из отдельных элементов и воздействий прошлого и настоящего: тут уж человека невозможно сделать ответственным ни за что – ни за собственный характер, ни за мотивы, ни за поступки, ни за их последствия. Тем самым люди пришли к познанию того, что история нравственных чувств есть история одного заблуждения – заблуждения насчет ответственности: а уж оно основано на заблуждении насчет свободы воли. – Шопенгауэр же сделал такой вывод: поскольку определенные поступки влекут за собою *подавленное настроение* («сознание вины»), то должна существовать ответственность; ведь для подавленного настроения не было бы *никаких причин*, если бы не только все человеческие действия совершались с необходимостью – а так оно на самом деле и есть, в том числе и согласно идее этого философа, – но и сам человек с тою же необходимостью обретал свой *характер* в целом, что Шопенгауэр отрицает. Из факта наличия названного подавленного настроения Шопенгауэр думает вывести некую свободу, которой чело-

век должен быть каким-то образом наделен, правда, в отношении не поступков, а сущности своего характера: стало быть, свободу *быть* таким-то или таким-то, но не *действовать* так-то или так-то. Из *esse*[1], сферы свободы и ответственности, вытекает, согласно его мнению, *operari*[2], сфера строгой причинности, необходимости и безответственности. Подавленное настроение, далее, только мнимо относится к *operari* – и в этом смысле оно ошибочно, – а на самом деле – к *esse*, каковое являет собою действие свободной воли, основную причину существования индивидуума: человек, по Шопенгауэру, становится тем, чем *хочет* стать, а его воление предшествует его же существованию. – Здесь совершается ошибочное умозаключение: из факта подавленного настроения выводится право, разумная *санкция* на это подавленное настроение; и, исходя из такого ошибочного умозаключения, Шопенгауэр приходит к своей фантастической дедукции так называемой интеллигибельной свободы. Но подавленному настроению, возникшему после совершенного действия, вовсе не обязательно быть разумным: мало того, оно, безусловно, неразумно, поскольку зиждется на ошибочной предпосылке, гласящей, что деяние как раз *не* должно было вытекать с необходимостью. Следовательно, человек переживает раскаяние и угрызения совести, потому что считает себя свободным, а не потому что действительно свободен. – Кроме того, от этого подавленного настроения можно отучиться, а множество людей и вообще не испытывает его в отношении поступков, вызывающих его у множества других людей. Оно – дело очень изменчивое, связанное с эволюцией нравов и культуры, и, возможно, имеет место лишь в пределах сравнительного короткого периода мировой истории. – Никто не несет ответственности за свои действия, никто – за свой характер в целом; судить – значит быть несправедливым. Это верно, даже если индивидуум судит самого себя. Положение это ясно, как свет солнца, но люди все равно предпочитают отойти тут назад, в тень и неправду – они боятся последствий.

---

1 бытия (*лат.*).

2 совершение действий (*лат.*).

40

Сверхживотное. – Нужно постараться обмануть живущего в нас хищника; мораль – это ложь во спасение, чтобы хищник нас не разорвал. Без заблуждений, заключенных в гипотезах о морали, человек оставался бы животным. А так он счел себя чем-то высшим и возложил на себя более строгие законы. Потому-то он так ненавидит те стадии своего развития, которые в нем ближе к животному: этим надо объяснять презрение прежних эпох к рабам, которых считали не людьми, а вещами.

41

Неизменный характер. – Что характер неизменен – верно, да не совсем. Скорее, этот популярный тезис выражает лишь тот смысл, что за короткую жизнь человека воздействующие на него мотивы не могут врезаться в него достаточно глубоко, чтобы стереть письмена, напечатленные в нем за многие тысячелетия. А вот если представить себе человека, живущего уже восемьдесят тысяч лет, то можно увидеть, что его характер прямо-таки в абсолютной степени изменчив: мало-помалу в нем выработался целый сонм различных индивидуумов. Краткость человеческой жизни соблазняет делать множество ошибочных утверждений о качествах человека.

42

Систематизация благ и мораль. – Принятая некогда иерархия благ, к тому или иному из которых люди стремятся в зависимости от своего малого, среднего или большого эгоизма, сейчас определяет статус моральности или неморальности. Благо более низменное (к примеру, чувственное наслаждение) предпочитать ценимому выше (к примеру, здоровью) считается неморальным, так же как житейское благополучие предпочитать свободе. Но иерархия благ отнюдь не остается тою же самой во все эпохи; когда кто-то ставит месть

выше справедливости, то по меркам древних культур это морально, а по меркам нынешней – неморально. Стало быть, «быть безнравственным» означает, что кто-то еще не воспринимает или недостаточно ясно воспринимает мотивы более высокие, тонкие, духовные, каждый раз привносимые новою культурой: это слово означает человека отсталого, но всегда только в смысле разницы в степени. – Сама иерархия благ не устанавливается и не переустанавливается в соответствии с моральными точками зрения; а решение о том, морален или неморален поступок, принимается в зависимости от того, какою она всякий раз оказывается.

43

Об отсталости жестоких. – На людей, ныне проявляющих жестокость, нам следует смотреть как на сохранившиеся до сих пор ступени *прежних культур*: геологическая система человечества вдруг раскрывает в них глубинные пласты, которые иначе остались бы невидимыми. Это люди отсталые, чей мозг развился недостаточно дифференцированно и всесторонне в силу всевозможных случайностей в процессе наследования признаков. Они показывают нам, чем мы все *были*, и заставляют нас ужаснуться: но сами они так же мало отвечают за себя, как кусок гранита – за то, что он гранит. В нашем головном мозге, вероятно, есть желобки и извилины, соответствующие такому складу души, так же как форма отдельных человеческих органов воспроизводит, видимо, стадии развития, свойственные рыбам. Но эти желобки и извилины больше не являются руслом, по которому идет сейчас поток наших ощущений.

44

Благодарность и месть. – Причина, по которой человек могущественный проявляет благодарность, такова. Его благодетель как бы посягнул своим благодеянием на сферу могущественного и вторгся в нее: и вот теперь он совершает воздаяние, в свой черед посягая актом своей благодарности на

сферу благодетеля. Это смягченная форма мести. Не дав удовлетворения в виде благодарности, могущественный человек показал бы себя бессильным, слывя таковым и впредь. Вот почему любое общество людей благородных, то есть в изначальном смысле – могущественных, ставит благодарность в число первейших обязанностей. – Свифт обронил фразу, гласящую, что благодарность свойственна людям в той мере, в какой они лелеют чувство мщения.

45

Двойная предыстория добра и зла. – У представления о добре и зле двойная предыстория: *во-первых,* разыгравшаяся в душе господствующих родов и каст. Тот, кто имеет возможность отплачивать и действительно отплачивает за добро – добром, за зло – злом, а, значит, проявляет благодарность и мстительность, называется хорошим; тот, кто бессилен и не может отплатить, считается плохим. Хорошие принадлежат к «благородным», к общности, объединенной одним настроением, поскольку все ее члены связаны друг с другом чувством воздаяния. Плохие принадлежат к «черни», к толпе подчиненных, бессильных людей, у которых нет никакого общего настроения. Благородные, хорошие – это каста, плохие – масса наподобие пыли. «Хороший» и «плохой» долгое время значат то же, что «благородный» и «низкий», господин и раб. А вот на врага не смотрят как на злого: он в состоянии отплатить. У Гомера хорошие – и троянцы, и ахейцы. Плохим считается не тот, кто причиняет нам вред, а тот, кто презрен. Добротность в обществе хороших наследуется; плохой никак не может уродиться на столь хорошей почве. А если, несмотря на это, благородный совершит что-то недостойное благородного, то прибегают к уверткам; к примеру, вину сваливают на какого-нибудь бога, говоря так: он поразил благородного слепотою и безумием. – *Во-вторых,* в душе угнетенных, бессильных. Здесь любой *не такой* человек считается враждебным, беззастенчивым, хищным, жестоким, коварным – все равно, благороден он или низок. «Злой» – слово, характеризующее человека и даже любое живое существо, о котором

можно говорить, к примеру, того или иного бога; человечность, божественность равнозначны дьявольскому, злому. Проявления доброты, готовности помочь, сострадания боязливо воспринимаются как козни, как прелюдия к чему-то ужасному, как одурманивание и одурачивание, короче говоря, как злобность усовершенствованная. При таком состоянии индивидуальной души никакая общность возникнуть не сможет – в лучшем случае ее наиболее грубая форма: поэтому всюду, где господствует такой подход к добру и злу, он грозит гибелью индивидов, их родов и пород. – Нынешняя наша нравственность выросла из почвы *господствующих* родов и каст.

46

Сострадание сильнее страдания. – Бывает, что сострадание оказывается сильнее собственно страдания. К примеру, когда кто-то из наших друзей совершает что-то постыдное, мы переживаем это куда сильнее, чем когда совершаем это сами. Ведь, во-первых, мы верим в чистоту его души больше, чем он сам; во-вторых, наша любовь к нему – наверное, как раз из-за этой веры – сильнее, нежели его любовь к себе. Хотя его эгоизм и впрямь страдает при этом больше, чем наш собственный, поскольку ему приходится нести более тяжкий груз скверных последствий своего проступка, но неэгоистическое начало в нас – это слово не следует понимать в строгом смысле, оно только усиливает возможность донести суть дела – все-таки страдает от его провинности сильнее, чем неэгоистическое начало в нем самом.

47

Ипохондрия. – Есть люди, заболевающие ипохондрией от сочувствия и заботы о другом человеке; возникающий при этом вид сострадания – не что иное, как болезнь. Но тогда существует и христианская ипохондрия, овладевающая теми одинокими, истово верующими людьми, у которых всегда перед глазами стоят картины страстей и умирания Христа.

48

Экономия доброты. – Доброта и любовь, самые целительные зелья и энергии в человеческом общении, – столь бесценные сокровища, что возникает сильнейший соблазн пользоваться этими бальзамами как можно более экономно: но такого быть не может. Экономия доброты – греза наиболее отчаянных утопистов.

49

Благожелательность. – К вещам мелким, но попадающимся на каждом шагу и потому очень действенным, вещам, на которые наука должна обращать больше внимания, нежели на вещи крупные и редкие, надо отнести и благожелательность; я имею в виду те проявления дружелюбия в общении, те лучащиеся улыбкою глаза, рукопожатия, сердечность, которыми обыкновенно бывает пронизано чуть ли не все человеческое поведение. Любой учитель, любой служащий сдабривает этою приправой то, что делает по обязанности; это постоянное подтверждение человечности, как бы волны ее света, дающие всему произрастать; только благодаря этой благожелательности жизнь зеленеет и цветет в наиболее интимном кругу – в семье. Добродушие, дружелюбие, сердечная учтивость – неиссякающие истоки неэгоистического влечения, участвовавшие в созидании культуры куда больше, нежели те много более именитые его проявления, которые называют состраданием, милосердием и самоотверженностью. Но их обыкновенно недооценивают – да в них и впрямь не слишком-то много неэгоистического. Однако *сумма* этих мелких доз огромна, а их совокупная сила входит в число наиболее мощных сил. – Точно так же люди находят в мире гораздо больше счастья, чем его видит в нем омраченный взгляд: если только не ошибиться в счете и не забывать обо всех тех приятных моментах, которых достаточно в каждый день каждой, даже самой тяжкой человеческой жизни.

50

Желание возбуждать сострадание. – В интереснейшем месте своей автобиографии (впервые опубликованной в 1658 году) Ларошфуко, разумеется, высказывает правду, предостерегая от сострадания всех, кто наделен разумом, и советуя предоставить его простонародью, которому страсти нужны (поскольку им не движет разум), чтобы наводить на мысль о помощи страждущему и в беде бросаться со всех ног на выручку; сострадание же, по его (и Платона) мнению, обессиливает душу. Сострадание, говорит он, конечно, надо *обнаруживать*, но надо остерегаться *иметь* его: ведь люди несчастные настолько *глупы*, что проявления сострадания у них – величайшее в мире благо. – Можно, наверное, предостеречь от чувства сострадания еще энергичнее, если понимать эту потребность несчастных как раз не как глупость и интеллектуальный изъян, как своего рода душевное расстройство, которое несет с собою несчастье (а Ларошфуко, кажется, так ее и понимает), а как нечто совсем иное, причем более опасное. Лучше понаблюдать за детьми – они плачут и вопят, *чтобы* их пожалели, и ради этого выжидают момента, когда их состояние бросится в глаза; пожить, общаясь с больными и страдающими депрессией, и задаться вопросом: а что, если красноречивые жалобы и бессловесные стенания, что, если выставленное напоказ несчастье призваны на самом деле *причинять боль* свидетелям? Ведь сострадание, проявленное этими последними, утешает слабых и страждущих в том смысле, что, видя его, они убеждаются: несмотря на всю их слабость, одна *сила* у них все-таки еще *есть* – это *способность причинять боль*. В этом ощущении своего превосходства, которое несчастный испытывает благодаря проявлениям сострадания к нему, он черпает какое-то наслаждение; у него разыгрывается воображение – он все-таки еще достаточно важен, чтобы причинять всем огорчение. Значит, жажда возбуждать сострадание – это жажда ощущения собственной ценности, и притом за счет окружающих; человек проявляет в ней всю беззастенчивость своего драгоценного «я» – но отнюдь не свою «глупость», как думает Ларошфуко. – В светских разговорах три четверти всех вопросов задают, всех ответов получают, чтобы

сделать немного больно собеседнику; поэтому великое множество людей так жаждет общества: оно дает им испытать ощущение своей силы. В таких бесчисленных, но очень мелких дозах, в каких проявляется злоба, она оказывается мощным стимулятором жизни: точно так же благожелательность, в той же роли всюду встречающаяся среди людей, представляет собою целительный бальзам, который всегда имеется в кармане. – А много ли найдется людей честных, признающих, что причинять боль доставляет им удовольствие? Что нередко развлекаются, и хорошо развлекаются, хотя бы мысленно чиня людям обиды и посылая в них дробинки мелкой злобы? Большинство слишком нечестно, а немногие слишком хороши, чтобы догадываться об этом *pudendum*[1]; поэтому они, наверное, все-таки будут отрицать, что Проспер Мериме прав, говоря: «Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de faire le mal pour le plaisir de le faire»[2].

51

Как иллюзия становится реальностью. – Законченный актер, даже испытывая глубочайшую боль, не может не думать, какое производит впечатление и каков будет общий сценический эффект – например, на похоронах собственного ребенка; он будет оплакивать свою боль и ее внешние проявления, как свой собственный зритель. Ханжа, неизменно разыгрывающий одну и ту же роль, в конце концов перестает быть ханжой; к примеру, священники, которые в молодости обычно сознательно или бессознательно бывают ханжами, в конце концов становятся естественными, а уж тогда и впрямь превращаются в настоящих священников, без всякой аффектации; или, если отец не реализует чего-то до конца, то, возможно, это сделает сын, который подхватит отцовские наработки, наследуя его обыкновение. Если человек очень долго и упорно стремится чем-то *казаться*, то в конце концов ему оказывается трудно *быть* чем-

1 *Здесь*: постыдном обстоятельстве (*лат.*).

2 «А еще знайте: самая обычная вещь на свете – причинять боль ради удовольствия это делать» (*фр.*).

то другим. Профессиональная деятельность почти каждого человека, даже художника, начинается с ханжества, с усвоения извне, с копирования того, что эффективно. Тот, кто никогда не снимает маску дружеских выражений лица, в конце концов, получит, видимо, власть над благожелательным настроем, без которого не выдавишь из себя дружеский вид, – а в итоге сам этот настрой получает власть над ним: человек *становится* благожелательным.

52

Кусочек честности при обмане. – Все великие обманщики демонстрируют один интересный феномен, которому и обязаны своим успехом. В процессе самого обмана, его подготовки с помощью замогильного голоса, выражений лица, жестов, в окружении впечатляющих декораций ими овладевает *вера в себя*: и именно она воздействует на присутствующих с такою силой убедительнейшего чуда. Основатели религий отличаются от этих великих обманщиков тем, что не выходят из такого состояния самоослепления, – или иногда, очень редко, у них случаются просветления, и тогда ими овладевает сомнение; но обычно они утешаются, приписывая такие просветления дьявольской злобе супостата. Но чтобы те и другие добивались *реального эффекта*, им требуется самообман. Ведь люди верят в истинность объекта всякой явной для них сильной веры.

53

Мнимые градации истины. – Одно из распространенных ошибочных заключений гласит: если человек с нами правдив и открыт, значит, он говорит правду. Так ребенок верит словам родителей, христианин – в утверждения основателя церкви. И по той же причине никто не хочет признать: все, что люди отстаивали в прежние века, жертвуя своим счастьем и жизнью, было не более чем заблуждениями: только заявят, возможно, что это были градации приближения к истине. А если кто-то свято верил во что-то, сражался и умер

за свою веру, то, по сути, думают так: уж слишком это было бы *несправедливо*, если воодушевляло его на самом деле всего лишь заблуждение. Такое дело кажется противоречащим вечной справедливости; поэтому сердце чувствительных людей все снова провозглашает, вопреки их разуму, положение: между моральными поступками и интеллектуальным знанием, разумеется, должна быть какая-то необходимая связь. Дело, увы, обстоит иначе, поскольку никакой вечной справедливости не существует.

54

Ложь. – Почему в будничной жизни люди по большей части говорят правду? – Разумеется, не потому, что некий бог запретил ложь. А потому, что, во-первых, так удобнее; ведь ложь требует изобретательности, притворства и памяти. (По каковой причине Свифт и говорит: кто лжет, тот редко замечает, какой тяжкий груз на себя взвалил; ведь чтобы отстаивать одну ложь, ему приходится изобретать двадцать других.) Во-вторых, потому что в простых обстоятельствах выгоднее прямо заявить: я хочу того-то, я сделал то-то, и тому подобное; иными словами, потому что путь нажима и авторитета надежней, чем путь хитрости. – Но уж если ребенок вырос в сложных семейных обстоятельствах, то он столь же естественно орудует ложью и всегда непроизвольно говорит то, что отвечает его интересам; любовь к правде, отвращение к всяческой лжи чужды и недоступны ему, а потому и лжет он совершенно невинно.

55

Сомневаться в моральности из-за веры. – Невозможно отстоять никакую власть, если ее представляют исключительно лицемеры; какое бы великое множество «мирских» элементов ни входило в католическую церковь, ее сила держится на тех и до сих пор еще многочисленных священнических натурах, которые делают себе жизнь тяжелой и полной глубокого смысла и глаза, а также изнуренная плоть которых

говорят о ночных бдениях, постах, пламенных молитвах, а может быть, даже об умерщвлении своей плоти бичеванием; такие потрясают людей до глубины души и внушают им ужас: а что, если и всем *нужно* жить именно так? – вот ведь какой жуткий вопрос вертится на языке, стоит их только завидеть. Сея в душах такого рода сомнение, они все вновь и вновь укрепляют свою власть; даже люди свободных убеждений не смеют скрестить с подобным героем самоотверженности суровое оружие правдолюбия, воскликнув: «Обманут сам, так не обманывай других!». – Их отделяет от него только разница во взглядах, но не разница в благородстве или подлости; однако с тем, что не по нраву, обычно обходятся несправедливо. Поэтому говорят о хитрости и гнусном искусстве иезуитов, но не обращают внимания на то, какие вериги самообуздания налагает на себя каждый отдельный иезуит и на то, что избавленный от ограничений образ действий, рекомендуемый иезуитскими учебниками, по их замыслу идет на пользу отнюдь не самим иезуитам, а сословию мирян. Можно даже задаться вопросом, а смогли бы мы, просвещенные люди, при той же тактике и организации стать столь же совершенными орудиями, столь же достойными восхищения благодаря самообузданию, неутомимости, самоотверженности.

56

Торжество познания над радикальным злом. – Тому, кто хочет умудриться, будет очень полезно на какое-то время занять точку зрения о существовании людей, до основания злых и испорченных: она неверна, как и противоположная ей; но она господствовала на протяжении длительных исторических периодов, и отростки ее корней дотянулись до нас и нашего мира. Чтобы понять себя, мы должны понять *ее*; однако чтобы подняться выше, мы должны подняться над нею. Тогда мы узнаем, что не бывает никаких грехов в метафизическом смысле слова и что в том же смысле слова не бывает и никаких добродетелей, а также что вся эта сфера нравственных представлений постоянно колеблется и что бывают более высокие и более низменные понятия о добре

и зле, нравственном и безнравственном. Кто хочет добиться от вещей не более чем их познания, тот без труда придет к покою в своем сознании и будет ошибаться (погрешать, как обычно говорят) разве что от неосведомленности, но вряд ли от алчности. Он больше не станет клеймить страсти, желая их искоренения; но его единственная и полностью владеющая им цель – всегда *познавать* как можно лучше – сделает его холодным и уймет всякое буйство в его характере. А кроме того, он избавится от целой уймы мучительных представлений и перестанет что-либо чувствовать при словах «наказание в аду», «греховность» и «неспособность к добру»: в них он будет познавать только растворяющиеся в воздухе фантомы иллюзорных представлений о мире и жизни.

57

Мораль как саморасчленение человека. – Хороший автор, действительно радеющий за свое дело, будет желать, чтобы появился кто-нибудь, кто уничтожит его, представив тот же предмет в более ясном виде и исчерпывающе ответив на все связанные с ним вопросы. Любящая девушка стремится, чтобы нерушимая верность ее любви подтвердилась, даже если возлюбленный ей неверен. Солдат хочет пасть на поле битвы ради победы своей отчизны: ведь его высшее желание соучаствует в победе его отчизны. Мать дает ребенку то, что отнимает у себя: сон, лучшую пищу, а если надо, то здоровье и имущество. – Так что же, всё это проявления неэгоистического начала? Неужто эти достижения нравственности – *чудеса*, поскольку они, по выражению Шопенгауэра, «невозможны, но происходят»? Неужто не ясно, что во всех этих случаях человек любит *какую-то часть себя* – мысль, потребность, труд – больше, чем какую-то *другую часть себя*, и что на такой лад он *расчленяет* свое существо на части, принося в жертву одной части другую? Неужто это чем-то *сильно* отличается от ситуации, в которой упрямец говорит: «Да пусть меня лучше пристрелят на месте, но этому человеку я не уступлю ни пяди»? – Во всех приведенных случаях имеется *какая-то склонность* (желание, влечение, потребность); и в том, чтобы поддаться ей со всеми выте-

кающими последствиями, в любом случае нет ровно ничего «неэгоистического». – В качестве существа морального человек ведет себя не как individuum[1], а как dividuum[2].

58

Что можно обещать. – Можно обещать действия, но не ощущения; ведь эти последние непроизвольны. Тот, кто обещает кому-то всегда любить его, или всегда ненавидеть, или всегда хранить ему верность, обещает то, что не в его власти; но, разумеется, он может обещать такие действия, которые, правда, обычно бывают проявлениями любви, ненависти, верности, но могут совершаться и по другим мотивам: ведь к одному действию подводят разные пути и мотивы. Обещание всегда любить означает, таким образом: покуда я тебя люблю, я буду совершать действия, свойственные любви; если же я тебя разлюблю, ты неизменно будешь получать от меня все то же самое, но продиктованное уже другими мотивами; а окружающим будет по-прежнему казаться, будто любовь жива и все та же. – Стало быть, когда человек без самообмана клянется кому-то в вечной любви, он обещает сохранять видимость любви.

59

Интеллект и мораль. – Чтобы сдержать данное обещание, нужно обладать хорошей памятью. Чтобы сострадать, нужно обладать хорошо развитым воображением. Вот насколько тесно мораль связана с добротностью интеллекта.

60

Месть в мыслях и на деле. – Лелеять месть и отомстить – значит пережить мощный приступ лихорадки, который, од-

1 индивидуум (*лат.*), букв. «нераздельное».
2 разделенное (*лат.*).

нако, скоро проходит; но лелеять месть, не имея ни сил, ни мужества отомстить, значит хронически болеть, носить заразу в теле и душе. Мораль, принимающая во внимание только намерения, уравнивает оба случая; обычно же первый случай оценивают как худший (из-за скверных последствий, которые, возможно, повлечет за собою акт мести). И обе оценки близоруки.

61

Умение ждать. – Умение ждать дается так трудно, что величайшие поэты не избегали делать неумение ждать драматическою пружиной своих творений. Так поступили Шекспир в «Отелло», Софокл в «Аяксе»: как намекает оракул, Аякс не пошел бы на самоубийство, если б дал остыть своему аффекту хоть на день раньше. Тогда он, вероятно, увернулся бы от страшных внушений уязвленного самолюбия, сказав себе: «Да кто ж, будучи на моем месте, не принимал уже овцу за героя? Неужто это дело столь уж чудовищное? Нет же, это всего лишь дело для людей обычное». Такими словами Аякс сумел бы себя утешить. Страсть ждать не желает; трагизм в жизни великих людей нередко заключается не в их конфликте с эпохой и подлости ближних, а в их неспособности подождать со своим делом еще год-другой; ждать они не умеют. – Когда затеваются дуэли, друзья-советчики обязаны определить, могут ли противники подождать еще; если нет, то дуэль оправданна, ведь каждый из них рассуждает так: «Либо мне жить дальше, но тогда другой должен немедленно умереть, либо наоборот». Ждать в таком случае означало бы и дальше страдать от ужасной пытки оскорбленной чести перед лицом оскорбившего ее; а это может принести с собою больше страдания, чем того стоит жизнь вообще.

62

Блаженство мщения. – Когда люди грубые чувствуют себя оскорбленными, они обычно воспринимают оскорбление как совершенно ужасное и передают все происшествие,

сильно преувеличивая, только чтобы на славу поблаженствовать в наконец пробудившемся от такого преувеличения чувстве ненависти и мести.

63

Чем ценно умаление. – Немалому числу, а может быть, и подавляющему большинству людей бывает позарез нужно унизить и умалить в своем представлении всех известных им людей, чтобы сохранить самоуважение и хоть какую-то порядочность. Но поскольку ничтожества встречаются чаще всего, и очень многое зависит от того, сохранят или потеряют они эту порядочность, то –

64

Разбушевавшийся. – Человека, который бушует против нас, надо остерегаться, словно он уже покушался на нашу жизнь: ведь *если* мы еще живы, то только потому, что у него нет власти нас убить; если бы для этого было достаточно одних взглядов, то мы давно уже погибли бы. Заставить кого-нибудь замолчать, демонстрируя грубую физическую силу, запугивая, – это признак первобытной культуры. – Тот холодный взгляд, который аристократы шлют слугам, – это тоже пережиток кастовых границ между людьми, элемент первобытной древности; женщины, хранительницы старины, сумели лучше сохранить и этот survival[1].

65

До чего может довести честность. – Была у человека скверная привычка при случае совершенно честно раскрывать мотивы своих поступков – мотивы, которые были ни лучше, ни хуже, чем у всех людей. Сначала он вызывал смущение, потом – подозрения, а со временем подвергся прямо-таки

1 пережиток (*англ.*).

остракизму и был изгнан из общества, пока, наконец, правосудие – по поводам, на которые оно вообще-то не обращало внимания или закрывало глаза, – не вспомнило о столь порочном существе. Нехватка умения умалчивать о том, о чем молчат все, и безответственная склонность замечать то, чего не желает замечать никто, – самого себя, – довели его до темницы и преждевременной смерти.

66

Это наказуемо, но не наказывается. – Наше преступление против преступников заключается в том, что мы обращаемся с ними как с негодяями.

67

Sancta simplicitas[1] *добродетели.* – У каждой добродетели есть свои привилегии: к примеру, подкладывать свою вязанку дров в костер осужденного.

68

Нравственность и успех. – По успеху нередко оценивают нравственность или безнравственность поступка не только его свидетели: нет, это делает сам его автор. Ведь мотивы и намерения редко бывают достаточно однозначными и простыми, и подчас сама память кажется помраченной успехом поступка: тогда человек приписывает своему поступку ложные мотивы или несущественные мотивы рассматривает как существенные. Успех часто придает поступку яркий и необманный блеск спокойной совести, а неудача бросает тень угрызений совести на самое доброчестное действие. В этом и состоят причины известного образа действий политиков, рассуждающих так: «Только дайте мне успех: с его помощью я перетяну на свою сторону даже всех честных

---

1 святая простота (*лат.*).

людей – да и сам сделаюсь честным в собственных глазах». – На такой-то лад успех мнимо заменяет собою более добросовестные мотивы. Даже сейчас многие образованные люди думают, будто победа христианства над греческой философией доказывает бóльшую истинность первого, – хотя тут просто более грубое и насильственное взяло верх над более одухотворенным и утонченным. Как дело обстоит с бóльшей истинностью, видно из того, что пробуждающиеся науки мало-помалу примыкали к философии Эпикура, а христианство мало-помалу отвергали.

69

Любовь и справедливость. – Отчего любовь переоценивают в ущерб справедливости, восхваляя ее до небес, будто она – нечто много более высокое, нежели та? Ведь она заметно глупее справедливости? – Так оно и есть, но именно потому-то она куда *приятнее* для всех. Она глупа и держит в руках богатый рог изобилия; из него она осыпает своими дарами всех и каждого, даже если он этого не заслужил да и не проявляет к ней никакой благодарности. Она не принимает ничью сторону, подобно дождю, который, согласно Библии и опыту, промочит до нитки не только грешников, но иногда и праведников.

70

Казнь. – Почему выходит так, что каждая казнь оскорбляет нас больше, нежели смерть? Потому что мы видим ледяную непреклонность судей и душераздирающие приготовления, потому что понимаем: человека тут используют как способ устрашения других. Ведь кара не настигнет вину, даже если бы та существовала на свете: вина лежит на воспитателях, на родителях, на окружении, на нас, но только не на преступнике: я разумею побудительные обстоятельства.

71

Надежда. – Принесла Пандора сосуд с бедами и открыла его. То был дар богов людям, внешне – красивый, соблазнительный дар, прозванный «сосудом счастья». И вылетели оттуда всевозможные беды, живые крылатые твари: с тех пор так они и летают кругом, причиняя людям вред что днем, что ночью. Одна только беда не успела вылезти из сосуда: ведь захлопнула Пандора по Зевсовой воле крышку – так беда эта и осталась внутри. А люди взяли тот сосуд счастья в свой дом, думая, будто владеть таким сокровищем – чудесная для них удача; сосуд всегда наготове, как только придет к нему охота; ведь не ведают люди, что сосуд, Пандорою принесенный, был сосудом зол, а оставшееся в нем зло считают величайшим своим счастливым достоянием – а это надежда. – Зевс же хотел, чтобы человек, пусть даже несказанно казнимый другими бедами, не бросал все же жизнь, а продолжал мучиться все снова. Для того и дал он человеку надежду: она на деле худшее из зол, ведь продлевает она муку людскую.

72

Точка кипения нравственных чувств неизвестна. – От того, были или не были в жизни человека некоторые потрясающие душу картины и переживания, к примеру, образы несправедливо казненного, убитого или замученного отца, неверной жены, жестокого вражеского нападения, зависит, дойдут ли наши страсти до точки кипения и будут ли они направлять нашу жизнь или нет. Никто не знает, до чего могут довести его обстоятельства, сострадание, возмущение, – никому не известна точка своего кипения. Убогие, мелочные условия делают человека убогим; подлость и благородство человека в добре и зле обычно зависят не от качества переживаний, а от их количества.

73

Мученик поневоле. – Состоял в одной партии человек, который был слишком робок и малодушен, чтобы перечить своим товарищам: его использовали для любых услуг, он делал все, чего от него потребуют, потому что пуще смерти боялся оказаться на плохом счету у товарищей; душа у него была убогая, слабая. А те это разглядели и на основе названных его качеств сделали из него героя, а в конце концов так и вовсе мученика. И хотя наш трус в душе всегда говорил *нет*, уста его всегда произносили *да*, в том числе и на эшафоте, когда он принимал смерть за позиции своей партии: ведь рядом стоял один из его старых товарищей, настолько подавивший его словом и взглядом, что на деле он самым пристойным образом принял смерть и с той поры слывет мучеником и человеком возвышенным.

74

Общее мерило. – Вряд ли кто-то ошибется, отнеся поступки крайние к тщеславию, обычные – к привычке и ничтожные – к страху.

75

Недоразумение по поводу добродетели. – Тот, кто познал порок в связи с удовольствием, как, к примеру, человек, который провел юность в погоне за наслаждениями, воображает, будто добродетель непременно связана со страданием. А вот тот, кого вконец истерзали собственные страсти и пороки, страстно жаждет найти в добродетели покой и блаженство. Поэтому может случиться так, что двое добродетельных не поймут друг друга никоим образом.

76

Аскет. – Аскет из доблести делает необходимость.

77

Переносить честь с лица на дело. – Общепризнанно почтение к поступкам, продиктованным любовью и самопожертвованием в пользу ближнего, в чем бы те ни проявлялись. Тем самым дается преувеличенная *оценка вещам*, которые так любят или ради которых жертвуют собой – а ведь сами по себе они, возможно, этого не так уж и заслуживают. Смелое воинство склоняет мнение в пользу дела, за которое сражается.

78

Честолюбие как суррогат нравственного чувства. – Натуры, не имеющие честолюбия, могут иметь нравственные чувства. Честолюбцы обходятся и без таковых – почти с тем же успехом. – Поэтому дети из скромных, сторонящихся честолюбия семей, если уж лишатся нравственных чувств, обычно скоро и уверенно превращаются в совершеннейших негодяев.

79

Тщеславие делает богатым. – Как обнищал бы человеческий дух без тщеславия! А с ним он похож на изобилующий товарами и постоянно пополняющий свое изобилие магазин, манящий покупателей любого рода: они могут найти там чуть ли не все, могут купить все – конечно, если у них есть с собой имеющая хождение валюта (восхищение).

80

Старик и смерть. – Не говоря уж о требованиях, выдвигаемых религией, позволительно, конечно, задать вопрос: почему для состарившегося человека, ощущающего упадок сил, похвальнее безвольно ждать медленного истощения и разложения, чем в полном сознании покончить с собой? Самоубийство в этом случае – поступок вполне естественный, само собою разумеющийся; будучи торжеством разу-

ма, оно по справедливости должно вызывать почтение. Оно его и вызывало – в те времена, когда столпы греческой философии и славнейшие римские патриоты имели обыкновение принимать смерть от своей руки. Куда менее почтенна мания со дня на день влачить существование, слушаясь боязливых врачебных консультаций и ведя самый мучительный образ жизни, не имея сил подойти еще ближе к подлинной цели жизни. – Религии изобилуют отговорками перед лицом вызова, какой являет собою самоубийство: тем самым они вкрадываются в доверие к тем, кто влюблен в жизнь.

81

Заблуждения о претерпевающем страдание и причиняющем его. – Когда богатый отнимает имущество у бедняка (к примеру, князь – возлюбленную у плебея), в уме бедняка возникает заблуждение; он думает, что тот должен быть законченным подлецом, чтобы отнять у него то немногое, чем он владеет. А тот ощущает ценность какого-то *отдельного* достояния далеко не столь остро, потому что привык владеть множеством достояний: поэтому он не умеет войти в положение бедняка и творит куда меньшую несправедливость, чем думает тот. Оба они неверно представляют себе друг друга. Несправедливость людей могущественных, чаще всего вызывающая возмущение при взгляде на историю, далеко не так велика, как кажется. Уже врожденное ощущение себя как высшего существа с повышенными притязаниями делает их достаточно холодными, а их совесть – спокойной: да и все мы, если различие между нами и другим существом очень велико, уже не ощущаем никакой несправедливости и, к примеру, убиваем комара без малейших угрызений совести. Поэтому когда Ксеркс (которого даже все греки изображают как человека, наделенного большим благородством) отнимает у отца сына и велит его разрубить на части, поскольку тот проявил трусливую, возвещающую недоброе неуверенность относительно всего военного похода, то это отнюдь не признак его подлости: индивид в этом случае устраняется, как неприятное насекомое, – он стоит слишком низко, чтобы сметь вызывать у властелина мира сколько-

нибудь длительные мучительные чувства. Надо признать: всякий, кто проявляет жестокость, жесток не в *такой* степени, как думает его жертва; представлять себе боль – не то же самое, что претерпевать ее. Точно так же дело обстоит с несправедливыми судьями, с журналистами, вводящими в заблуждение общественное мнение посредством мелких недобросовестных сообщений. Причина и следствие во всех этих случаях сопровождаются совершенно различными группами ощущений и мыслей, в то время как люди обычно непроизвольно предполагают, что причиняющий страдание и претерпевающий его думают и чувствуют одинаково, и в соответствии с этим предположением вину одного оценивают по боли другого.

82

Кожа души. – Подобно тому, как кости, мышцы, внутренние органы и кровеносные сосуды заключены в оболочку из кожи, которая придает человеку сносный вид, душевные движения и страсти тоже окружены оболочкою тщеславия: оно являет собою кожу души.

83

Сон добродетели. – Поспав, добродетель встанет освеженной.

84

Изощренность стыда. – Люди не стыдятся иметь грязные мысли, но им стыдно думать, что их считают способными на такие грязные мысли.

85

Злоба – качество редкое. – Большинство людей слишком сильно заняты собою, чтобы проявлять злобу.

86

Стрелка весов. – Люди хвалят или хулят смотря по тому, хвала или хула дадут им больше возможности блеснуть умственными способностями.

87

Лука 18,14 в исправленном виде. – Унижающий себя хочет возвыситься.

88

Предотвращение самоубийства. – Существует право, по которому мы отнимаем у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть: это всего лишь жестокость.

89

Тщеславие. – Доброе мнение людей важно для нас, во-первых, потому что люди нам полезны, во-вторых, потому что мы хотим доставить им радость (дети – родителям, ученики – учителям, доброжелательные люди вообще – всем остальным людям). О тщеславии мы говорим лишь тогда, когда доброе мнение людей важно кому-то не ради своей выгоды или собственного желания доставить радость. В таком случае человек хочет доставить радость себе, но за счет ближних, либо подбивая их к ложному мнению о себе, либо даже покушаясь на такую степень «доброго мнения», чтобы оно стало неприятным для всех других (путем возбуждения зависти). Через мнение других человек обыкновенно хочет удостовериться в своем мнении о себе и утвердить его в собственных глазах; но властная привычка к авторитету – привычка старая, как само человечество, – побуждает многих и к тому, чтобы подпирать авторитетом собственную веру в себя, то есть получать ее только из чужих рук: чужому уму они доверя-

ют больше, чем собственному. – Заинтересованность в себе самом, желание развлечься достигает у человека тщеславного такой силы, что он подбивает других к ложной, завышенной оценке себя, но потом все-таки опирается на авторитет других: иными словами, вводит в заблуждение, но тем не менее в него верит. – Стало быть, надо признать, что люди тщеславные стремятся понравиться не столько другим, сколько себе, и заходят в этом так далеко, что пренебрегают при этом своей выгодой; ведь нередко для них важно настроить против себя ближних, вызвав их отвращение, враждебность, зависть, то есть невыгодные для себя чувства, только чтобы доставить себе радость от самих себя и наслаждаться собою.

90

Предел гуманности. – Всякий, кто выразил мнение, что другой – глупец, скверный товарищ, злится, когда тот в конце концов доказывает, что не таков.

91

Moralité larmoyante[1]. – Сколько удовольствия доставляет нравственность! Вспомним только о том, какое море отрадных слез пролито хотя бы во время рассказов о благородных, великодушных поступках! – Эта отрада жизни исчезла бы, если бы верх взяла вера в полную безответственность.

92

Происхождение справедливости. – Справедливость (правомерность) зародилась среди людей примерно *одинаково могущественных*, как это верно понял Фукидид (в ужасной беседе афинских и мелосских послов): там, где нет всем понятного превосходства в силах и борьба привела бы только к обоюдному урону без победы, появляется идея объясниться и

---

1 Трогающая до слез нравственность (*фр.*).

договориться о взаимных притязаниях: изначально справедливость обладает характером подобной *мены*. Каждый удовлетворяет другого, получая то, что ценит больше, чем этот другой. Каждому дают то, чего он хочет и отныне получает в собственность, а за это берут то, чего хотят сами. Справедливость есть, таким образом, возмещение и обмен при условии приблизительного равенства в могуществе: к примеру, месть изначально входила в сферу справедливости, поскольку является обменом. Точно так же и благодарность. – Справедливость естественным образом восходит к позиции благоразумного самосохранения, а, стало быть, к эгоизму такого рассуждения: «Зачем мне причинять себе вред без толку, рискуя все равно не добиться своей цели?». – Все это было сказано о *происхождении* справедливости. Поскольку люди по привычке своего разума *забыли* об изначальной цели так называемых справедливых, правомерных поступков, а главным образом потому, что в течение тысячелетий дети приучались восхищаться такими поступками и подражать им, то мало-помалу возникла видимость того, что справедливый поступок неэгоистичен: но на этой-то видимости и зиждется его высокая оценка, каковая, кроме того, как и все оценки, все время только растет – ведь того, что высоко ценится, домогаются, жертвуя собою, ему подражают, его повсюду разносят, и его рост обусловлен тем, что к стоимости ценимой вещи каждый добавляет еще стоимость затраченных усилий и рвения. – Каким не слишком-то нравственным выглядел бы мир без этой забывчивости! Иной поэт, пожалуй, сказал бы, что Бог поставил забывчивость в качестве привратницы у входа в храм человеческого достоинства.

93

О праве более слабого. – Когда кто-то на некоторых условиях подчиняется более сильному, к примеру, осажденный город, то встречным условием с его стороны было бы уничтожить себя, спалить город и таким образом нанести более сильному большой ущерб. Поэтому тут складывается своего рода *равновесие*, на основе которого могут быть определены права. В сохранении одного противника другой находит

свою выгоду. – В этом смысле есть права и в отношениях между рабами и господами, причем точно в той степени, в какой обладание рабом полезно и важно его господину. Изначально *право* существует *постольку, поскольку* один *кажется* другому ценным, важным, необходимым, непобедимым и тому подобным. В этом смысле права есть даже у более слабого – только более скромные. Отсюда и знаменитое выражение «unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet» (или, вернее, «quantum potentia valere creditur»[1]).

94

Три фазы всей прежней нравственности. – Первым признаком превращения животного в человека было то, что его действия соотносятся уже не с сиюминутным благополучием, а с долгосрочным, и что, стало быть, человек становится существом, знающим *пользу, целесообразность*: здесь-то впервые внезапно устанавливается свободное владычество разума. Более высокой ступени он достигает, когда действует, исходя из принципа *чести*; в силу этого принципа он вписывается, он подчиняется строю общих ощущений, и это поднимает его высоко над тою фазой, в которой им руководила только полезность, понятая персонально: он уважает и хочет, чтобы уважали его, иными словами, он понимает пользу как зависимую от того, чтó он сам думает о других, а другие о нем. Наконец, на высшей ступени *всей прежней* нравственности он действует, сообразуясь со *своим* мерилом для вещей и людей, – он сам определяет для себя и других, чтó почтенно, чтó полезно; он сделался законодателем мнений в соответствии с постоянно развивающимся пониманием полезного и почтенного. Познание делает его способным самое полезное, то есть всеобщую и долгосрочную пользу, предпочитать личной, а почтительное признание всеобщей долгосрочной значимости – сиюминутной: он живет и действует в качестве коллективного индивидуума.

---

1 «Каждый обладает правом настолько, насколько обладает могуществом» (...) «насколько его считают могущественным» (*лат.*) (Спиноза, «Богословско-политический трактат», 2, VIII).

95

Мораль зрелого индивидуума. – Доподлинным признаком морального поступка до сих пор считался его безличный характер; и было доказано, что все безличные поступки вначале восхвалялись и награждались именно ввиду их ориентации на всеобщую пользу. Не следует ли ожидать значительного изменения этих воззрений – теперь, когда становится все яснее, что в как можно более *личностной* ориентации как раз больше всего заключается и всеобщая польза, так что нынешнему пониманию нравственности (как общей пользы) соответствует именно строго личностное поведение? Сделать из себя законченную *личность* и во всем, что делаешь, иметь в виду ее *высшее благо* – это продвигает вперед дальше, чем упомянутые порывы сострадания и поступки в пользу других. Все мы, конечно же, до сих пор страдаем от недостаточного внимания к собственному личностному началу, оно плохо развито в нас – признаемся же себе в этом: наше сознание, наоборот, насильно отбили от него и предложили в жертву государству, науке, всем, кто нуждается в помощи, будто это личностное начало настолько скверно, что требуется им пожертвовать. Мы и теперь стремимся работать на благо ближних – но лишь в той мере, в какой в этой работе видим собственную высшую пользу, не более и не менее. Весь вопрос только в том, что понимать под *своей пользой*; и примитивнее всего ее поймет именно незрелый, неразвитый, примитивный индивидуум.

96

Нравы и то, что нравственно. – Быть моральным, нравственным, этичным означает оказывать послушание установленному в старину закону или традиции. Подчиняется ли им человек через силу или с охотой, при этом безразлично – достаточно того, что он это делает. «Хорошим, добрым» называют того, кто как бы от природы, по давней наследственности, то есть легко и охотно совершает нравственные поступки, в зависимости от того, что это такое (к примеру, мстит, если мщение, как у самых древних греков, относится

к сфере добрых нравов). Он называется хорошим, добрым, потому что хорош «для чего-то»; но поскольку благожелательность, сострадание и тому подобное в переменчивой истории нравов всегда ощущались как «хорошие для чего-то», как полезные, то в наши дни «хорошим, добрым» называют главным образом человека благожелательного, готового помочь. Быть злым – значит быть «не нравственным» (безнравственным), совершать безнравственные поступки, идти вразрез с традицией, сколь бы разумной или глупой она ни была; нанесение же ущерба ближнему во всех установлениях нравственности разных эпох ощущалось преимущественно как нечто вредное, и именно слово «злой» вызывает у нас теперь представление о намеренном нанесении вреда ближнему. Истинной парой противоположностей, заставившей людей различать нравственное и безнравственное, доброе и злое, являются не «эгоистическое» и «неэгоистическое», а привязанность к традиции, закону и разрыв с ними. Как *возникла* традиция, при этом все равно, во всяком случае она возникла без оглядки на добро и зло или какой-нибудь имманентный категорический императив, а прежде всего – для сохранения *общины*, народа; любой суеверный обычай, возникший на основе превратно истолкованной случайности, неизбежно порождает традицию, следовать которой – нравственно; ведь отступать от нее опасно, а для *сообщества* – еще более пагубно, чем для отдельного человека (поскольку за злодеяние и любое нарушение своих прав божество карает все сообщество и лишь поэтому – индивидуума). И вот всякая традиция мало-помалу становится тем почтенней, чем глубже в прошлое погружаются ее истоки и чем прочнее они забыты; оказанное ей почтение накапливается от поколения к поколению, а в конце концов традиция становится священной и вызывает благоговение; потому-то мораль, основанная на пиетете, всегда бывает более древней, нежели та, что требует неэгоистических поступков.

97

Обычай как удовольствие. – Привычка порождает немаловажную разновидность удовольствия, а, следовательно, и один

из источников нравственности. Привычное совершается легче, лучше и, значит, охотней, человек чувствует при этом удовольствие и знает из опыта, что привычное себя оправдывает, то есть полезно; жизнеспособный обычай оказывается благотворным, помогает на деле – в противоположность всем новым, еще не доказавшим свою оправданность экспериментам. Стало быть, обычай есть союз приятного и полезного, да и, кроме того, следуя ему, не надо думать. Как только человек может применить силу, он ее применяет, чтобы утвердить и ввести свои *обычаи*, ведь для него они – оправдавшая себя на деле житейская мудрость. Точно так же сообщество индивидов принуждает каждого из них следовать одному и тому же обычаю. Тут совершается ошибочный вывод: поскольку, следуя тому или иному обычаю, человек чувствует себя хорошо или на худой конец утверждает благодаря ему свое существование, то такой обычай необходим – ведь он считается *единственной* возможностью, при которой можно чувствовать себя хорошо; благополучие в жизни воспринимается как порожденное исключительно им. Такой подход к привычному как условию существования реализуется вплоть до мельчайших подробностей обычая: поскольку понимание действительных причинных связей у народов и культур, стоящих на низких ступенях развития, очень невелико, то люди с суеверным страхом следят за тем, чтобы все шло, как заведено; даже там, где следовать обычаю трудно, обременительно, где он суров, он соблюдается ради своей мнимой величайшей полезности. Люди не понимают, что ту же степень хорошего самочувствия могут обеспечить и другие обычаи и что с ними можно достичь даже лучшего самочувствия. Они, наоборот, ощущают, что все обычаи, даже самые суровые, со временем становятся более приятными и смягчаются и что даже самый строгий образ жизни может превратиться в привычку, а, значит, в удовольствие.

98

Удовольствие и инстинкт социальности. – Из своих отношений к другим людям человек извлекает новый вид *удоволь-*

ствия в дополнение к тем ощущениям удовольствия, которые он получает от себя самого; благодаря этому он значительно наращивает объем сферы ощущений удовольствия вообще. Возможно, он заимствовал кое-что из того, что сюда относится, уже у животных, которые явно получают удовольствие, когда играют друг с другом, а это главным образом матери и детеныши. Вспомним, кроме того, об отношениях между полами, отношениях, в смысле удовольствия возбуждающих интерес каждого самца чуть ли не к каждой самке и наоборот. Ощущение удовольствия на основе человеческих отношений в целом делает человека лучше; общая радость, совместно пережитое удовольствие увеличивает его сумму, внушает индивиду уверенность в себе, делает его добродушнее, устраняет недоверчивость, зависть, поскольку каждый чувствует себя хорошо и видит такое же хорошее самочувствие другого. *Схожие проявления удовольствия* пробуждают фантазию сопереживания, ощущение своего сходства с другими: тот же самый эффект дают и общие беды, одни и те же невзгоды, опасности, враги. Вот на этой-то основе и зиждется, вероятно, древнейший на земле союз: его смысл – совместное устранение надвигающихся неприятных ощущений и защита от них в пользу каждого индивида. Таким-то образом из удовольствия произрастает инстинкт социальности.

99

Невиновность в так называемых злонамеренных поступках. – Все «злонамеренные» поступки мотивированы инстинктом самосохранения или, точнее говоря, желанием индивидуума получить удовольствие и избежать неудовольствия; именно так они и мотивированы, но они не злонамеренны. «Замышлять причинение боли вообще» – *вещь несуществующая*, кроме как в мозгу философов, точно так же как и «замышлять получить удовольствие вообще» (сострадание в смысле Шопенгауэра). В *догосударственную* эпоху мы убиваем существо, будь то обезьяна или человек, которое хочет сорвать плод с дерева прежде нас, а нам как раз приспичило поесть и мы подбегаем к дереву: так же мы поступили бы с

животными и сейчас, путешествуя в диких местностях. – Злонамеренные поступки, которыми мы так сильно возмущаемся теперь, основаны на заблуждении, будто другой, тот, кто их совершает с нами, располагает свободной волей, и что, стало быть, от его *произвола* зависело не причинить нам этого зла. Такая вера в произвол возбуждает ненависть, мстительность, коварство, общее снижение способности воображения, а вот на животное мы сердимся куда меньше, потому что считаем, что оно не несет за себя ответственности. Причинять страдание не из инстинкта самосохранения, а в качестве расплаты – следствие ошибочного суждения и потому тоже не несет на себе вины. В догосударственном состоянии индивид поступал с другими существами сурово и жестоко с целью *устрашения*: для того, чтобы обезопасить свое существование посредством таких устрашающих демонстраций своей силы. Так ведут себя люди, применяющие насилие, люди могущественные, первые основатели государств, подчиняющие себе тех, кто послабее. Они имеют на это право – так и сейчас государство присваивает себе это право; точнее говоря, нет права, которое этому препятствует. Почва для всякой нравственности может быть подготовлена, только если индивидуум покрупнее или коллективный индивидуум, к примеру, общество, государство, подчиняет себе отдельных людей, то есть устраняет их изолированность и сплачивает их в союз. Нравственности предшествует *принуждение*, мало того, она и сама еще долго остается принуждением, которому покоряются, чтобы избежать неприятностей. Позже она становится обычаем, еще позже – добровольным послушанием, и наконец чуть ли не инстинктом: тогда она, как и все закоренелые привычки и естественные потребности, начинает сочетаться с удовольствием – и отныне зовется *добродетелью*.

100

Стыд. – Стыд существует повсюду, где бывает какое-нибудь «таинство»; но понятие это религиозное, в ранние эпохи человеческой культуры обладавшее большой емкостью. Повсюду были обнесенные границею области, доступ к кото-

рым сакральное право запрещало всегда, кроме как на определенных условиях, и прежде всего чисто пространственных, поскольку на известные места не должна была ступать нога непосвященного, – такие люди вблизи этих мест ощущали трепет и страх. Это ощущение на разные лады переносилось и на другие отношения, к примеру, на отношения между полами, каковые, будучи привилегией и адитоном более зрелого возраста, должны были укрываться от взоров юности для ее же пользы: отношения, ради защиты и почитания которых, согласно ходячим представлениям, действовало множество богов – их изображения выставлялись в супружеских покоях в качестве привратников. (Поэтому такой покой по-турецки называется гаремом, «святилищем», то есть обозначается тем же словом, которое употребляется относительно переднего двора мечетей.) Так царская власть как средоточие, излучающее силу и блеск, представляется подданным таинством, исполненным прикровенности и стыда: множество пережитков этого настроения можно ощутить и сейчас, находясь среди народов, которые вообще-то никак не отнесешь к застенчивым. Точно так же весь мир внутренних состояний, так называемая «душа», и в наши дни всем нефилософам представляется таинством: ведь на протяжении нескончаемых эпох люди верили в ее божественное происхождение, в то, что она достойна общаться с божеством; поэтому она – адитон и возбуждает стыд.

101

Не судите. – Следует остерегаться несправедливой брани при оценке прошлых эпох. Не нужно мерить нашими мерками несправедливость, заключенную в рабстве, в жестоком подчинении людей и народов. Ведь инстинкт справедливости не проявлялся тогда так широко. Можно ли упрекать женевца Кальвина в сожжении врача Сервета? Это был последовательный поступок, порожденный его убеждениями, – точно так же инквизиция была в своем праве; просто господствующие воззрения были ошибочными и привели к результатам, которые кажутся нам жестокими, потому что эти воззрения сделались чуждыми нам. Да что значит со-

жжение одного человека в сравнении с вечною адской мукой чуть ли не для всех! И все же это представление господствовало тогда повсюду, не нанося представлению о Боге сколько-нибудь серьезного ущерба своим куда большим ужасом. С политическими сектантами и у нас поступают сурово и жестоко, но поскольку мы приучены верить в необходимость государства, жестокость не ощущается в их случае так остро, как там, где мы просто отвергаем их взгляды. Жестокость по отношению к животным у детей и итальянцев объясняется неосведомленностью; животные оказались поставлены слишком далеко позади человека главным образом интересами церковного учения. – Но много ужасного и бесчеловечного в истории, во что с трудом верится, смягчается благодаря воззрению, согласно которому тот, кто отдает приказы, и тот, кто их исполняет, суть разные лица: первый не видит всей картины, а потому неспособен толком ее себе представить, второй слепо повинуется начальству и чувствует себя безответственным. Из-за нехватки фантазии большинство князей и военачальников легко вообразить жестокими и суровыми, хотя они не таковы. – *Эгоизм не зол*, поскольку у нас слишком смутные представления о «ближнем» – это слово христианского происхождения и не соответствует истине – и мы чувствуем себя по отношению к ближним свободными и безответственными почти так же, как по отношению к растениям и камням. Что другой страдает – надо *учиться понимать*; и полностью научиться этому невозможно.

102

«Все человеческие поступки хороши». – Мы не обвиняем природу в безнравственности, когда она насылает на нас грозу и мы мокнем: почему же мы называем безнравственным человека, причиняющего нам вред? Потому что в этом случае мы думаем о распоряжающейся по своему усмотрению, свободной воле, а в том – о необходимости. Но проводить такое различие – заблуждение. Далее: даже намеренное причинение вреда мы называем безнравственным не всегда; к примеру, комара мы намеренно убиваем без колебаний про-

сто потому, что нам не нравится его жужжание, мы намеренно наказываем преступника и причиняем ему страдания, чтобы защитить себя и общество. В первом случае зло намеренно причиняет индивидуум, чтобы сохранить себя или даже чтобы избежать досадных ощущений; во втором это государство. Любая мораль разрешает намеренное причинение вреда при *вынужденной самообороне*, то есть тогда, когда речь идет о *самосохранении*! Но этих двух точек зрения *достаточно*, чтобы объяснить все злонамеренные поступки, совершаемые человеком с другими людьми: человек стремится получить удовольствие или предотвратить неприятность; в каком-нибудь смысле речь всегда идет о самосохранении. Сократ и Платон правы: что бы человек ни делал, он всегда делает хорошее, а это означает – то, что кажется ему хорошим (полезным) в зависимости от уровня его интеллекта, наличного объема его сознательности.

103

Безобидное в злых поступках. – Злые поступки нацелены не на само по себе страдание другого человека, а на наше собственное наслаждение, коим может быть, к примеру, чувство мщения или щекотка для нервов. Уже любое подтрунивание показывает, какое удовольствие доставляет проявлять нашу власть над другим, получая восхитительное ощущение превосходства. Так *безнравственно* ли получать *удовольствие за счет неудовольствия других*? Дьявольской ли природы злорадство, как говорит Шопенгауэр? Ведь, бывая на природе, мы доставляем себе удовольствие, ломая ветки, разбрасывая камни, вступая в борьбу с дикими животными, – и все для того, чтобы ощутить при этом свою силу. А *знание* о том, что из-за нас страдает кто-то другой, – может быть, это оно превращает тут в безнравственное то самое, в отношении чего в других случаях мы чувствуем себя безответственными? Но если бы об этом не было известно, то никто и не получал бы удовольствия от собственного превосходства, а оно может *обнаружиться* как раз в страдании другого, к примеру, при подтрунивании. Всякое удовольствие само по себе не связано ни с добром, ни со злом; и откуда взялось

установление, что нельзя возбуждать чужое неудовольствие, дабы наслаждаться собою? Лишь точка зрения пользы, то есть учет *последствий*, возможного неудовольствия, когда от обиженного либо от представляющего его государства можно ждать кары и мести: только это изначально и могло дать основания для того, чтобы удерживаться от таких поступков. – Сострадание столь же мало имеет целью доставить удовольствие другому, как и злонамеренные поступки – причинить другому боль как таковую, о чем уже говорилось. Ведь в нем скрыто по меньшей мере два (а может быть, и гораздо больше) элемента личного удовольствия, и потому оно является наслаждением от себя: во-первых, удовольствие от эмоции, каково сострадание в трагедии, и, во-вторых, когда оно побуждает к действию как удовольствие, связанное с удовлетворением от употребления власти. А если к тому же страдающий человек очень нам близок, то, совершая сострадательные поступки, мы сводим на нет собственное страдание. – Кроме некоторых философов, люди всегда ставили сострадание довольно низко в шкале моральных чувств: и с полным на то основанием.

104

Самооборона. – Если самооборону в принципе признавать делом нравственным, то нужно признавать и почти все проявления так называемого безнравственного эгоизма: люди причиняют страдание, грабят и убивают в целях самосохранения или самозащиты, чтобы отвести от себя беду; люди лгут, когда хитрость и притворство бывают подходящими способами самосохранения. *Намеренно причинять вред*, когда речь идет о нашей жизни или безопасности (сохранении нашего благополучия), – это признается нравственным; с такой точки зрения вред причиняет и само карающее государство. В ненамеренном причинении вреда, естественно, не может быть ничего безнравственного, тут всем заправляет случай. А существует ли такой вид намеренного причинения вреда, когда речь идет *не* о нашей жизни, *не* о сохранении нашего благополучия? Причиняется ли вред из чистой *злобы*, скажем, по жестокости? Когда человек не

знает, какую боль причиняет его поступок, то такой поступок не продиктован злобой; например, дети не злобствуют на животных, они не злонамеренны: дети исследуют животное и разрушают его, словно оно – игрушка. А разве кто-нибудь *осознает* полностью, какую боль его поступок причиняет другому? Насколько хватает возможностей нашей нервной системы, мы стараемся уклониться от боли: если бы таких возможностей было больше, то есть если бы они охватывали и наших ближних, то мы никому не причиняли бы боли (кроме тех случаев, когда мы причиняем ее самим себе, то есть когда мы режем себя, чтобы исцелиться, и стараемся, делаем усилия ради своего здоровья). По аналогии мы *делаем вывод*, что кому-то может быть от чего-то больно, а если мы обратимся к памяти и напряжем воображение, то плохо при этом может стать и нам самим. А разве нет никакой разницы между зубной болью и душевной болью (состраданием), которую вызывает в нас картина чужой зубной боли? Стало быть: нам в любом случае остается неизвестной *степень* боли, причиненной при нанесении вреда из так называемой злобы; но поскольку поступок доставляет *удовольствие* (дает ощущение нашей власти, нашего возбуждения), то такой поступок совершается, чтобы сохранить благополучие индивидуума, а, значит, относится к позиции, подобной самообороне, вынужденной лжи. Нет жизни без удовольствия; борьба за удовольствие – это борьба за жизнь. Ведет ли человек эту борьбу так, что остальные называют его *добрым*, или так, что они называют его *злым*, – это зависит от уровня и качеств его *интеллекта*.

105

Вознаграждающая справедливость. – Кто полностью усвоил учение о совершенной безответственности, тот никогда больше не будет подводить так называемую карающую и вознаграждающую справедливость под понятие справедливости – если таковая состоит в том, что каждому воздается своею мерой. Ведь тот, кого карают, кары не заслуживает: он просто используется как средство отпугивания от определенных поступков; точно так же тот, кого награж-

дают, не заслуживает этой награды: ведь он и не мог действовать иначе, чем действовал. Стало быть, награда имеет лишь смысл поощрения для него и других, чтобы таким образом создать мотивацию для последующих действий; возгласы подбадривания звучат в адрес того, кто бежит по дорожке, а не того, кто уже добежал до финиша. И кара, и награда – не та мера, которая может кому-то *причитаться*; ему воздают ими из соображений пользы, и по справедливости он, совершая свои поступки, притязать на них не мог. Следует сказать: «Мудрый не награждает за хорошие поступки» – на тех же основаниях, на каких было сказано: «Мудрый карает не за плохие поступки, а для того, чтобы впредь не поступали плохо». Если бы исчезли кара и награда, то исчезли бы и самые сильные мотивы, заставляющие отказываться от определенных поступков и выбирать другие определенные поступки; польза в человеческом обществе требует их непрерывного существования; а поскольку кара и награда, порицание и похвала наиболее чувствительны в рассуждении тщеславия, то та же самая польза требует и непрерывного существования тщеславия.

106

У водопада. – Глядя на водопад, мы думаем, будто в изгибах, извивах и преломлениях его струй видим свободу воли и произвол; но все в нем необходимо, и любое движение можно вычислить математически. Так же обстоит дело и с человеческими поступками; если бы существовало всеведение, то можно было бы вероятно, наперед вычислить любой отдельный поступок, а равным образом и любой шаг вперед в познании, любое заблуждение, любое раздражение. Иллюзия произвола уже владеет, разумеется, тем, кто совершает поступок; если бы колесо вселенной в один прекрасный момент остановилось и существовал бы всеведущий вычисляющий рассудок, чтобы воспользоваться этою паузой, то он смог бы поведать о будущем любого существа вплоть до отдаленнейших времен и указать любую колею, по которой предстоит катиться этому колесу. А чтобы рассчитать движение этого механизма, понадобилось бы учитывать и самообман совершающего поступок – гипотезу свободной воли.

107

Безответственность и невинность. – Полная безответственность человека за свои действия и свой характер – горчайшая капля, которую приходиться проглотить познающему, если в ответственности и чувстве долга он привык видеть жалованную грамоту своего человеколюбия. Она обесценивает и обращает в ложь все его оценки, одобрения и антипатии: чистейшее чувство, которое он питал к страстотерпцу, к герою, оказалось заблуждением; он больше не смеет ни хвалить, ни порицать, ведь не имеет ровно никакого смысла хвалить или порицать природу, необходимость. Как он любит хорошее произведение искусства, но не хвалит его, потому что оно не способно действовать само по себе, как глядит на растение, так же должен глядеть и на человеческие поступки, в том числе и на свои собственные. Он может восхищаться их силой, красотой, смысловым богатством, но не имеет права видеть в них заслуги: химические процессы и битвы стихий, мучения больного, жаждущего выздоровления, столь же мало можно назвать заслугами, как и те душевные терзания и плачевные состояния, в которых человек становится игрушкою различных мотивов, покуда наконец не решается на самый сильный из них – как говорится (а на самом деле – покуда за нас не решит самый сильный из них). Но все эти мотивы, какие бы торжественные имена мы им ни давали, выросли из того же корня, который кажется нам обиталищем губительных ядов; поступки добрые и злые различаются не видом, а самое большее степенью. Добрые поступки суть сублимированные злые; злые поступки суть огрубленные, оглупленные добрые. Единственное страстное желание индивидуума – получать от себя наслаждение (вкупе со страхом лишиться его) – удовлетворяется во что бы то ни стало, человек может поступать как угодно, то есть так, как придется, будь то в поступках, связанных с тщеславием, местью, наслаждением, корыстью, хитростью, будь то в тех, что связаны с самопожертвованием, состраданием, познанием. Различные умственные способности определяют, к чему кого приводит это страстное желание; каждому обществу, каждому индивиду всегда соответствует своя иерархия благ, по которой он опреде-

ляет, какие поступки совершать и как судить о чужих поступках. Но это мерило беспрестанно изменяется, множество поступков расцениваются как злые, в то время как они всего лишь глупы, потому что интеллектуальный уровень, отвечавший за их выбор, был очень низок. Мало того, в определенном смысле *все* поступки глупы и сейчас, ведь высшая степень человеческой разумности, достижимая теперь, будет, разумеется, когда-нибудь превзойдена, и уж тогда люди, оглядываясь назад, увидят все *наши* поступки и суждения настолько же ограниченными и незрелыми, насколько ограниченными и незрелыми кажутся нам сейчас поступки и суждения отсталых, диких племен. – Понимание всего этого может вызвать сильные боли, но есть утешение и на такой случай: эти боли означают родовые схватки. Бабочка хочет взломать свою оболочку, она ее дергает, она ее разрывает: и вот незнакомый ей свет, царство свободы, слепит и смущает ее. В людях, *способных* на такую тоску – как же их мало! – воплощается первая попытка решить вопрос о том, *сможет ли человечество из морального превратиться в мудрое.* Солнце какого-то нового евангелия бросает первый луч на высочайшую вершину в душах таких одиночек: туманы сгущаются там сильнее, чем где бы то ни было, а самое яркое сияние соседствует с самыми мрачными потемками. Всюду царит необходимость – так говорит это новое познание: и само это познание есть необходимость. Всюду царит невинность: и познание есть путь к постижению этой невинности. Если наслаждение, эгоизм, тщеславие *необходимы* для возникновения моральных феноменов и их высшего цвета – вкуса к правде и справедливости в познании, если заблуждение и заплутавшее воображение – единственное средство, благодаря которому человечество оказалось способным мало-помалу подняться до такой степени самопросветления и самоспасения, – то кто посмеет отнестись к этим средствам с презрением? Кто имеет право скорбеть, завидев цель, к которой ведут те пути? В сфере морали все случайно, все изменчиво, все колеблется, все еще не завершено – это правда; *но все также направляется единым потоком* к единой цели. Пускай нами все еще правит наша наследственная привычка ошибочно оценивать, любить и ненавидеть, но она будет ослабевать под воздействием растуще-

го познания: новая привычка – понимать без любви, без ненависти, привычка обозревать – постепенно укоренится в нас на той же самой почве и за тысячелетия, возможно, укрепится настолько, чтобы придать человечеству силы порождать мудрых, невинных (не знающих за собою вины) людей так же регулярно, как сейчас оно порождает людей немудрящих, несправедливых, отягощенных сознанием вины – *то есть необходимую подготовительную ступень, а не противоположность тех, первых.*

Раздел третий
Религиозная жизнь

108

Двоякая борьба с бедой. – Когда нас постигает бедствие, можно выбраться из него, либо устраняя его причину, либо изменяя его воздействие на наше восприятие, то есть посредством перетолкования бедствия в благо, пользу от которого мы поймем не сейчас, а когда-нибудь потом. Религия и искусство (а также метафизическая философия) стараются воздействовать на изменение восприятия, с одной стороны, путем изменения нашего отношения к пережитому (к примеру, с помощью сентенции «Кого Бог любит, того и наказывает»), с другой – возбуждая удовольствие от страдания, от эмоции вообще (откуда и берет свое начало трагическое искусство). Чем сильнее кто-то склонен перетолковывать и объяснять себе случившееся, тем меньше он будет замечать и устранять причины постигшего его бедствия; мгновенного утоления боли и наркотизации, какие употребляются, к примеру, при лечении зубной боли, ему будет достаточно даже при более серьезном страдании. По мере того, как слабеет господство религий и всякого искусства наркоза вообще, люди все точнее учитывают реальное избавление от бедствий: правда, при этом туго приходится сочинителям трагедий, ведь для трагедий находится все меньше сюжетов, поскольку царство неумолимой, необоримой судьбы постепенно тает, – но еще туже приходится священникам: ведь они доселе только и жили, что наркотизацией человеческих бедствий.

109

Скорбь – знание. – Как хотелось бы заменить лживые уверения священников, будто есть какой-то бог, который требу-

ет от нас добра, который является стражем и свидетелем каждого нашего поступка, каждого мгновения, каждой мысли, который нас любит и во всех бедах желает нам блага, – как хотелось бы заменить их истинами, которые были бы столь же целительными, успокоительными и благотворными, как и названные заблуждения! Но таких истин не существует; философия может противопоставить тем заблуждениям самое большее опять-таки метафизические мнимости (по сути дела, тоже лживые уверения). Но в том-то и трагедия, что невозможно *верить* в эти догмы религии и метафизики, если человек до глубины души и ума проникнут строгим методом истины, а, с другой стороны, благодаря эволюции человеческого рода сделался настолько ранимым, возбудимым, болезненным, чтобы нуждаться в самых сильных средствах исцеления и утешения; поэтому отсюда для человека проистекает опасность истечь кровью, познав истину. Байрон говорит об этом в бессмертных стихах:

Sorrow is knowledge: they who know the most
must mourn the deepst o'er the fatal truth,
the tree of knowledge is not that of life[1].

Против таких скорбей ни одно средство не поможет лучше, по крайней мере в самые скверные часы жизни и солнечные затмения души, чем обратиться к торжественному легкомыслию Горация и вместе с ним сказать себе:

quid aeternis minorem
consiliis animum fatigas?
cur non sub alta vel platano vel hac
pinu jacentes[2] –

---

1 Скорбь – знание, и тот, кто им богаче,
Тот должен был в страданиях постигнуть,
Что древо знания – не древо жизни.

2 Зачем же душу ты терзаешь
Думой, чтó ей не под силу будет?
Пока есть силы, здесь вот под пинией
Иль под чинарой стройной прилечь бы нам...

Но легкомыслие или уныние любой степени определенно лучше, чем романтическое отступление и дезертирство к христианству, сближение с ним в какой бы то ни было форме: ведь с ним при нынешнем уровне познания уже решительно невозможно связаться так, чтобы не запятнать и не погубить в собственных и чужих глазах свою *интеллектуальную совесть* необратимо. Скорби, о которых идет речь, могут оказаться довольно мучительными: но без скорбей нельзя стать вождем и воспитателем человечества; и горе тому, кто захотел бы попробовать это сделать без названной чистой совести!

110

Истина в религии. – Значение религии не было оценено должным образом в период Просвещения, в этом сомневаться не приходится: но столь же несомненно, что последовавшее затем полное превращение Просвещения в нечто противоположное снова сильно вышло за пределы должного в оценке, поскольку стало относиться к религиям с любовью, даже с влюбленностью, приписывая им, к примеру, углубленное, а то и самое глубокое понимание мира; с какового наука-де должна совлечь догматическое одеяние, дабы затем обладать «истиной» в ее немифической форме. Поэтому религии – таково было утверждение всех противников Просвещения – несомненно, выражают исконную мудрость sensu allegorico[1], с оглядкою на понимание толпы, – ту мудрость, что является мудростью как таковой, поскольку всякая подлинная наука новейшего времени всегда вела к ней, а отнюдь не от нее: а посему-де между древнейшими и всеми более поздними мудрецами человечества царит гармония, даже тождество взглядов, прогресс же знания – если о таковом позволительно говорить – затрагивает не сущность, а способы ее выражения. Весь этот подход к религии и науке насквозь ошибочен; и никто нынче не отважился бы к нему присоединиться, если бы красноречие Шопенгауэра не взяло его под защиту – красноречие, такое звуч-

1 в аллегорическом смысле (*лат.*).

ное, но доходящее до своих слушателей лишь спустя поколение. Если несомненно, что из религиозно-морального толкования мира и человека, какое дал Шопенгауэр, можно извлечь очень многое для понимания христианства и других религий, то так же несомненно и то, что он заблуждался относительно *ценности религии для познания.* Здесь он сам был просто послушным учеником ученых наставников своей эпохи, всем своим сонмом преклонявшихся перед романтизмом и отрекавшихся от духа Просвещения; если б он родился в нашу теперешнюю эпоху, он ни за что на свете не завел бы речь о sensus allegoricus[1] религии; наоборот, он воздал бы честь истине, как обычно и делал, такими словами: *еще никакая религия, ни прямо, ни косвенно, ни как догма, ни как аллегория, не содержала в себе истины.* Ведь все они порождены страхом и нуждою, все они прокрались в существование кривыми дорогами разума; возможно, некогда, ощущая угрозу со стороны науки, они ложью привнесли в свои системы какое-нибудь философское учение, дабы затем его в них обнаружили: но это – трюк теологов той эпохи, когда религия уже начинает в себе сомневаться. Эти трюки теологии, которые, разумеется, уже очень рано начали практиковаться в христианстве как религии ученой, насыщенной философией эпохи, подводили к упомянутому суеверию относительно sensus allegoricus, но еще больше в этом была виновна привычка философов (сугубо двойственных созданий – поэтов-философов и философствующих художников) трактовать все ощущения, какие они находили в *себе,* как природу человека вообще, а, стало быть, позволять собственным религиозным чувствам оказывать заметное влияние на идейные конструкции своих систем. Философы, с лихвой философствуя в русле религиозных привычек или по крайней мере под издавна унаследованной властью «метафизической потребности», пришли к аксиомам, в действительности очень похожим на догмы иудаизма, христианства или индуизма, – похожим так, как обыкновенно дети бывают похожи на матерей, разве что в этом случае отцы, как, безусловно, случается, не были осведомлены относительно такого материнства, а с невин-

---

1 аллегорический смысл (*лат.*).

ным изумлением фантазировали о семейном сходстве всякой религии и науки. На самом деле между религией и подлинной наукой не бывает ни родства, ни дружбы, ни даже вражды: они обитают на разных планетах. Всякая философия, которая впускает во мрак своих последних выводов зарево кометного хвоста религии, делает подозрительным в себе все то, что выполняет в качестве науки: и это «все» – вероятно, тоже религия, хотя и разукрашенная под науку. – Кстати: если бы все народы обнаруживали единодушие в понимании определенных религиозных мотивов, к примеру, в вопросе существования Бога (каковое единодушие касательно этого пункта, между прочим, не имеет места), то это было бы как раз только *контраргументом* против соответствующих утверждений, к примеру, против существования Бога: consensus gentium и hominum[1] вообще по справедливости может считаться всего лишь глупостью. Зато не существует никакого consensus omnium sapientium[2] относительно чего бы то ни было, за исключением того, о чем говорят строки Гёте:

Все мудрецы всех времен и народов
хором единым, с улыбкой, гласят:
ждать поумненья тупиц – безрассудно!
Чада ума, дураков вам нетрудно
как надлежит, дураками считать!!

Или, в применении к нашему случаю, говоря без метра и рифмы: consensus sapientium заключается в том, что consensus gentium равнозначен глупости.

111

Происхождение религиозного культа. – Если мы перенесемся назад, во времена, когда религиозная жизнь цвела самым пышным цветом, то обнаружим там фундаментальное убеждение, которого мы теперь уже не разделяем, в силу чего

1 согласие (общее мнение) народов <и> людей (*лат.*).
2 общее мнение всех мудрецов (*лат.*).

врата, ведущие к религиозной жизни, захлопнуты перед нами раз и навсегда: это убеждение относится к природе и к общению с нею. В те времена еще ничего не знали о законах природы; никакая необходимость не управляла ни землею, ни небом; время года, сияние солнца, дождь могли явиться, а могли и не явиться. Никакого представления о *естественной* причинности не было. Когда гребут веслами, то не весла движут судном: гребля – только магическая церемония, посредством которой можно принудить какого-нибудь демона двигать судном. Все болезни, сама смерть – результат магических воздействий. Когда люди заболевают и умирают, это никогда не происходит естественным путем; отсутствует всякое понятие о «естественном процессе» – оно смутно проглядывает лишь в архаичной Греции, то есть на очень поздней стадии развития человечества, в концепции царящей над богами Мойры. Когда кто-то стреляет из лука, в деле всегда участвует еще чья-то иррациональная рука и сила; когда источники внезапно иссякают, в первую очередь думают о подземных демонах и их проделках; если человек вдруг падает без сил, то это, должно быть, от незримого воздействия стрелы какого-нибудь бога. В Индии (согласно Лаббоку) столяры имеют обыкновение приносить жертву своему молотку, топору и другим инструментам; таким же образом брахманы обращаются со своей палочкой для письма, солдаты – с оружием, которым пользуются в битве, каменщики – с кельмой, пахари – с плугом. Вся природа в представлении религиозных людей – это сумма действий сознательных, наделенных волею существ, чудовищный комплекс *произвольных действий*. Относительно всего окружающего нас никак нельзя делать вывод, что нечто *станет* таким или иным, что оно *должно* происходить таким или иным образом; более или менее достоверная, поддающаяся учету сторона – это мы: человек есть *правило*, природа – *отсутствие всякого правила*, – такое положение содержит в себе фундаментальное убеждение, господствующее в грубых, первобытных культурах, порождающих религию. Мы, нынешние люди, испытываем совершенно противоположное ощущение: чем более внутренне богатым чувствует себя сейчас человек, чем полифоничнее его субъект, тем сильнее воздействует на него гармония

природы; все мы вместе с Гёте видим в природе великое средство успокоения для современной души, мы со страстным желанием обрести покой, почувствовать себя в родной тишине выслушиваем бой величайших маятниковых часов – так, словно впитываем в себя эту гармонию и лишь благодаря этому можем наслаждаться собою. Прежде все было наоборот: мысленно обратившись к первобытным, архаичным фазам развития наших народов или вплотную наблюдая нынешних дикарей, мы обнаружим, что их жизнь со всею силой определяется *законом, традицией*: индивид почти автоматически привязывается к ним и движется с однообразием маятника. Природа – непонятая, ужасная, таинственная природа – должна являться ему как *царство свободы*, произвола, высшей власти, более того, как словно бы сверхчеловеческая ступень бытия, как Бог. И вот каждый человек таких времен и фаз развития чувствует, что от этих произвольных действий природы зависят его жизнь, его счастье, счастье семьи, государства, удача во всех начинаниях: одни природные процессы должны в свое время наступать, другие – в свое время не наступать. Каким образом можно оказать воздействие на этих ужасных незнакомцев, как обуздать царство свободы? – вот какие вопросы задает он себе, робко пробуя отвечать на них: а нет ли какого-нибудь способа с помощью традиции и закона сделать эти силы такими же упорядоченными, как и сам человек? Ход мысли людей, верящих в магию и чудеса, сводится к тому, что необходимо *наложить на природу закон*: и, коротко говоря, религиозный культ – это результат такого хода мысли. Проблема, которую пытаются разрешить люди тех времен, близко родственна следующей: каким образом *более слабое* племя может все-таки навязать законы *более сильному*, вертеть им, направлять его действия (в отношении этого более слабого)? Для начала вспоминают о наиболее безобидном способе принуждения, того принуждения, которое применяют, когда уже завоевали чью-нибудь *симпатию*. Значит, просьбы и мольбы, демонстрации покорности, обязательства регулярно приносить дань и дары, льстивые славословия – это тоже возможные способы оказывать давление на силы природы в той мере, в какой люди склоняют ее к себе: любовь обязывает и дает обязательства. Затем можно переходить

к заключению *договоров*, в которых стороны обязуются взаимно соблюдать определенный образ действий, устанавливают залоги и обмениваются клятвами. Но куда важнее более насильственная разновидность принуждения – через магию и колдовство. С помощью колдуна человек может причинить вред и более сильному врагу, удерживая его в страхе перед собою; любовные чары действуют на расстоянии – вот так и слабый человек думает, будто сможет подчинить себе даже более могущественных, нежели он, духов природы. Главный способ всякого колдовства – получить в свое распоряжение нечто принадлежащее другому человеку: его волосы, ногти, немного пищи с его стола, а не то даже его изображение, его имя. Тогда, имея в руках подобное приспособление, можно приступать к колдовству; ведь основная предпосылка гласит: во всем духовном есть что-то телесное; с его-то помощью человек способен наложить узы на духовное начало другого, навредить ему, уничтожить его; телесное начало предоставляет средство, пользуясь которым можно ухватить начало духовное. И так же, как человек подчиняет себе человека, он подчиняет себе и того или иного природного духа; ведь и у него есть телесное начало, за которое его можно ухватить. Дерево и рядом с ним семя, из которого оно выросло, – это загадочное соседство как будто бы доказывает, что в обеих формах воплотился один и тот же дух, в одном случае большой, в другом маленький. Неожиданно покатившийся камень – это плоть, в которой действует какой-то дух; если в чистом поле лежит огромная глыба, невозможно и помыслить себе, что она была водружена здесь человеческою силой, а, значит, камень, должно быть, пришел сюда сам: иными словами, он, видимо, служит жилищем какому-нибудь духу. Все, что имеет плоть, подвластно колдовству – ну так, значит, и природные духи тоже. Если какой-нибудь бог привязан к своему изображению, то к нему можно применять и совершенно непосредственное принуждение (не давая ему жертвенной пищи, наказывая бичом, накладывая на него оковы и т. п.). Простые китайцы, чтобы добиться от своего бога не оказанной им благосклонности, обматывают веревками его, оставившего их без поддержки, статую, валят ее на землю и таскают по улицам через кучи грязи и нечистот: «Ско-

тина ты духовная, – говорят они, – мы тебя поселили в роскошном храме, мы тебя как следует вызолотили, хорошенько кормили тебя, жертвы приносили тебе, а ты все равно такой неблагодарный». Похожие насильственные меры, направленные против икон святых и Богоматери, если те не пожелали выполнить свою повинность во время мора или засухи, предпринимались в католических странах даже в нынешнем столетии. – Все эти способы магического отношения к природе вызвали к жизни бесчисленные церемонии: и наконец, когда их путаница сделалась слишком велика, начали стараться упорядочить, систематизировать их, думая обеспечить себе благоприятный ход всех природных событий, в особенности великое круговращение времен года, посредством соответствующей системы процедур. Смысл религиозного культа – чарами склонить природу в пользу человеческого блага, то есть *навязать ей закономерность, которой в ней априори нет*, в то время как в нынешнюю эпоху люди стремятся *познать* закономерность природы, чтобы устроить жизнь в соответствии с нею. Короче говоря, религиозный культ зиждется на представлениях о колдовстве, которое один человек осуществляет в отношении другого; колдун – фигура более древняя, чем жрец. Но *равным образом* он зиждется и на других, более благородных представлениях; он предполагает симпатию человека к человеку, наличие благожелательности, благодарности, внимания к просьбам, договоров между врагами, предоставления залогов, прав на защиту собственности. Человек и на очень низких ступенях культуры не стоит перед природой как бессильный раб, он вовсе *не* обязательно должен быть ее безвольным слугою: на греческой ступени религии, особенно в отношении олимпийских богов, можно думать даже о сосуществовании двух каст – более благородной и могущественной и менее благородной; однако по своему происхождению обе они каким-то образом составляют единое целое, они однородны, и им не нужно стыдиться друг перед другом. В этом заключается благородная черта греческой религиозности.

112

При взгляде на некоторые предметы античных жертвенных культов. – Скольких ощущений мы лишились, можно видеть на примере сочетания шутовского, даже непристойного, с религиозным чувством: исчезает ощущение того, что такое смешение возможно, – мы только из истории и знаем, что оно существовало во время празднеств в честь Деметры и Диониса, во время христианских пасхальных представлений и мистерий вообще: но даже нам еще известен союз возвышенного с бурлескным и тому подобными вещами, сплав трогательного и смешного: следующей эпохе они, вероятно, будут уже непонятны.

113

Христианство как древность. – Когда воскресным утром мы слышим звон древних колоколов, то спрашиваем себя, как подобное возможно: ведь это относится к какому-то еврею, распятому две тысячи лет тому назад, который утверждал, что он Сын Божий. Доказательство такого утверждения отсутствует. – В наше время христианская религия, безусловно, является анклавом древности, дошедшим до нас из далекой доисторической эпохи, и тот факт, что в названное утверждение верят – а между тем в остальных случаях проявляют такую строгость, проверяя справедливости претензий, – есть, вероятно, древнейшая часть этого наследия. Бог, производящий детей со смертною женщиной; мудрец, требующий от людей, чтобы они бросили работать, бросили творить суд, а всматривались в признаки грядущего светопреставления; справедливость, глядящая на невинного как на заместительную жертву; некто, заставляющий своих учеников пить свою кровь; молитвы о чудесной помощи; грехи, совершенные перед Богом и искупаемые Богом; страх перед тем, что по ту сторону жизни, вратами к чему служит смерть; образ креста как символ в разгар эпохи, которой уже неизвестно присуждение к распятию и позор креста, – от всего этого на нас, словно из могилы древних времен, веет чем-то зловещим. Как можно поверить в то, что в нечто подобное до сих пор верят?

114

Негреческая сторона христианства. – Греки видели гомеровских богов над собою не хозяевами, а себя под ними – не рабами, подобно евреям. Они видели в них как бы только зеркальное отражение наиболее удачных экземпляров своей собственной касты, то есть идеал, а не противоположность собственного естества. Греки чувствовали, что между ними и богами существует взаимное родство, обоюдный интерес, своего рода симмахия. Человек, создавая таких богов, относится к себе на аристократический лад, он занимает такую же позицию, какую низшая знать занимает в отношении высшей; в это же время у италийских народов процветает настоящая крестьянская религия с никогда не проходящей боязнью перед злыми и капризными властителями и мучителями. Там, где олимпийские боги оттеснялись, и сама греческая жизнь становилась более мрачной и боязливой. – Христианство же полностью раздавило и разбило человека, оно словно погрузило его в глубокое болото: а потом в ощущение собственной глубокой порочности человека оно одним махом впустило луч божественного милосердия, и он, оглушенный нежданной милостью, испустил вопль восторга, на один краткий миг поверив, что носит в себе все небеса. На этом болезненном эксцессе чувства, на необходимой для него глубокой испорченности ума и души сказались все психологические новинки христианства: оно хочет уничтожать, разламывать, оглушать, опьянять, оно не хочет только одного – *меры*, а потому в глубочайшем смысле слова оно есть нечто варварское, азиатское, неблагородное, негреческое.

115

Как выгодно быть религиозным. – Есть люди трезвые и работящие, к которым религия пришита, словно каемка высшей человечности: им идет быть религиозными, это их красит. – Все люди, несведущие в каком-нибудь воинском ремесле – а к нему относится и владение языком и пером, – становятся раболепными: христианская религия для них очень

полезна, ведь раболепие приобретает в ней видимость одной из христианских добродетелей и на диво хорошеет. – Люди, которым их будничная жизнь кажется слишком уж пустой и однообразной, с легкостью становятся религиозными: это понятно и простительно, только у них нет права требовать религиозности от тех, чья жизнь проходит отнюдь не в пустоте и однообразии.

116

Обыкновенный христианин. – Если бы христианство было право со своими положениями о карающем Боге, всеобщей греховности, спасении по благодати и угрозе вечного проклятья, то *не* делаться священником, апостолом или отшельником, в страхе и трепете работая исключительно над своим спасением, было бы признаком слабоумия и бесхребетности; было бы абсурдом настолько игнорировать свою вечную выгоду, глядя только на комфорт во времени. Положим, люди вообще во что-нибудь *верят*, – тогда обыкновенный христианин будет фигурою жалкой, человеком, и впрямь не умеющим считать до трех, но, впрочем, именно из-за своей умственной невменяемости не заслуживающим такой жестокой кары, какую сулит ему христианство.

117

О благоразумии христианства. – Трюк христианства – так громогласно проповедовать полное ничтожество, греховность и презренность человека вообще, что после этого становится уже невозможно презирать ближних. «Да, он грешит напропалую, – но все равно ничем особенным от меня не отличается: я-то ведь совершенно ничтожен и презрен», – говорит себе христианин. Но и это ощущение утратило свое самое острое жало, поскольку христианин не верит в свою личную презренность: в качестве человека вообще он плох, но немного успокаивает себя сентенцией «все мы из одного теста слеплены».

118

Перемена лиц. – Как только та или другая религия становится господствующей, ее противниками оказываются все те, кто мог бы быть ее первыми последователями.

119

Судьба христианства. – Христианство явилось на свет, чтобы облегчать души; но сейчас ему пришлось бы для начала обременить души, чтобы получить возможность потом облегчить их. Следовательно, оно погибнет.

120

Доказательство от удовольствия. – Приятное мнение принимается как верное: это доказательство от удовольствия (или, как говорит церковь, доказательство от силы), которым так гордятся все религии, – а ведь они должны бы его стыдиться. Если бы вера не давала ощущения блаженства, все от нее отвернулись бы: так мало в ней, стало быть, ценности!

121

Опасная игра. – Тому, кто в наши дни снова дает в своей душе место религиозным переживаниям, придется только позволять им крепнуть, иначе у него не получится. Тогда мало-помалу изменяется и все его естество, оно отбирает все присущее религиозности, все близкое ей, вся сфера суждения и ощущения заволакивается тучами, покрывается религиозной тенью. Ощущения не могут быть неизменными; вот поэтому-то стоит поберечься.

122

Слепые ученики. – Пока человек очень хорошо знает сильные и слабые стороны своего учения, своего жанра искусства, своей религии, их сила еще невелика. Поэтому ученик и апостол, не замечающий слабых сторон учения, религии и так далее, ослепленный авторитетом учителя и своим пиететом перед ним, обыкновенно более силен, нежели учитель. Влияние человека и его дела еще никогда не росло без слепых учеников. Содействовать победе той или иной идеи часто означает всего лишь породнить эту идею с глупостью так, чтобы большой вес последней проложил путь к победе первой.

123

Снос церквей. – Религиозности в мире недостаточно даже для того, чтобы по крайней мере уничтожить религии.

124

Безгрешность человека. – Если нам сделалось понятно, каким образом «грех пришел в мир», а именно благодаря заблуждениям разума, в силу которых люди воспринимают друг друга, да и отдельный человек – себя, куда более грязными и скверными, чем есть на самом деле, то на душе становится много легче, а люди и мир порою предстают в ореоле невинности, отчего становится совсем уже хорошо. Человек посреди природы всегда – сущее дитя. И это дитя вдруг видит иногда тяжелый, страшный сон, но стоит ему открыть глаза, как он снова чувствует, что вокруг него рай.

125

Нерелигиозность людей искусства. – Гомер настолько чувствует себя среди своих богов как дома, а в качестве поэта получает от них такое удовольствие, что, несомненно, он был

человеком глубоко нерелигиозным; с тем, что предоставляли ему поверья – с убогими, грубыми, отчасти зловещими суевериями, – он обращался так же свободно, как ваятель с глиной, то есть с тою же непринужденностью, какой обладали Эсхил и Аристофан и какою в новое время отличались великие художники Возрождения, а также Шекспир и Гёте.

126

Искусство и сила лжеинтерпретации. – Все видения, искушения, умерщвления плоти, восхищения святых – это известные болезненные состояния: они просто совершенно иначе, а именно не как болезни, *толкуются* святыми на основе укоренившихся религиозных и психологических заблуждений. – Например, возможно, и даймон Сократа – это заболевание слуха, которое в силу преобладавшего в Сократе морального образа мысли он просто *интерпретирует* иначе, чем это сделали бы сейчас. Не иначе дело обстоит с безумием и бредовыми речами пророков и жрецов-прорицателей; многозначительными их всегда *делает* уровень знаний, воображения, внимания, нравственности в умах и душах *интерпретаторов.* Сильнейшее влияние, исходящее от тех людей, которых называют гениями и святыми, объясняется в том числе и тем, что они добиваются для себя интерпретаторов, *превратно понимающих* их на благо человечества.

127

Почитание безумия. – Заметив, что возбужденное состояние нередко проясняло ум и вызывало удачные наития, люди стали считать, будто, входя в самые возбужденные состояния, можно причаститься самых удачных наитий и озарений: по этой-то причине и начали почитать сумасшедших как мудрецов и прорицателей. В основе такого почитания лежит ложный вывод.

128

Что обещает наука. – Современная наука ставит перед собою такую цель: добиться того, чтобы страданий было как можно меньше, а жизнь была как можно более долгой, – это своего рода вечное блаженство, конечно, весьма скромное в сравнении с обещаниями религии.

129

Недопустимая щедрость. – В мире не так много любви и доброты, чтобы расточать их еще и на воображаемых существ.

130

Религиозный культ продолжает жить в душе. – Католическая церковь, а до нее все античные культы, овладели полным набором способов повергать человека в необычные душевные состояния и прекращать в нем процесс холодного исчисления выгоды или чистого разумного мышления. Пространство церкви, сотрясаемое басовыми звуками, глухие, беспрестанно повторяющиеся, сдержанные восклицания священнослужителей, невольно сообщающих свою увлеченность общине верующих и заставляющих ее вслушиваться чуть ли не со страхом, словно вот-вот произойдет какое-то чудо, дыхание архитектуры церковного здания, этого жилища Бога, которое простирается в безбрежность и заставляет бояться, что он сам ворочается там, во всех неосвещенных углах, – зачем нужно возвращать людям все подобные переживания, если в их предпосылки никто уже не верит? Но, несмотря на это, воздействие таких предпосылок не прекращается: внутренний мир настроений возвышенных, полных растроганности, предчувствий, глубокой подавленности, блаженной надежды вырос в людях главным образом благодаря культу; то, что из всего этого еще продолжает жить в душе, было широко засеяно в ней тогда, когда он зарождался, рос и давал цвет.

131

Религиозные послеродовые схватки. – Как бы нам ни казалось, что мы уже отвыкли от религии, это произошло далеко не в такой степени, чтобы мы не получали удовольствия, встречаясь с религиозными чувствами и настроениями, освобожденными от своего понятийного наполнения, к примеру, в музыке; и когда та или иная философия вскрывает для нас оправданность метафизических чаяний, исходящей от них глубокой душевной удовлетворенности, говоря, например, о «целом подлинном Евангелии во взоре Рафаэлевых мадонн», то мы воспринимаем подобные сентенции и выводы с особенной душевной теплотою: доказательство дается тут философам легче, ведь то, что они хотят внушить, соответствует тому, что так жаждет услышать душа. Отсюда нетрудно понять, почему не слишком осторожные свободные умы негодуют, по сути, только по поводу догм, но очень хорошо знакомы с очарованием религиозного чувства; им бывает досадно отказываться от последнего ради первых. – Научной философии стоит проявлять большую осторожность, чтобы на почве этой потребности – потребности возникшей, а, стало быть, и преходящей, – в нее контрабандой не закрались заблуждения: даже логики говорят о «предощущениях» в морали и искусстве (к примеру, о предощущении того, что «суть всех вещей одна»): а ведь, кажется, это им запрещено. Между истинами, полученными путем тщательных умозаключений, и подобными «предощущаемыми» вещами остается непреодолимая пропасть: первые идут от интеллекта, вторые – от потребности. Голод не доказывает, что *есть* пища для его удовлетворения, но он хочет пищи. «Предощущать» не значит в какой-то степени познавать бытие вещи, а значит считать ее возможной, поскольку она вызывает желание или страх; «предощущение» не дает сделать ни шагу в страну достоверного. – Люди невольно думают, будто религиозно окрашенные разделы философии обоснованы лучше, чем другие; но, по сути дела, все наоборот, просто у них есть глубокое желание, чтобы, *уж пожалуйста*, так было, то есть чтобы приятное заодно было истинным. Это желание соблазняет нас покупать плохие основания, думая, что они хороши.

132

О христианской потребности в спасении. – По тщательном размышлении можно, наверное, получить свободное от мифологии, то есть чисто психологическое, объяснение процесса, происходящего в христианской душе и называемого потребностью в спасении. Правда, доселе на психологические объяснения религиозных состояний и процессов поглядывали искоса, поскольку в этой сфере прикладывала свои бесплодные усилия теология, называющая себя свободной: ведь она, как позволяет предположить общая позиция ее основателя Шлейермахера, была изначально нацелена на сохранение христианской религии и дальнейшее существование христианских теологов; причем в психологическом анализе религиозных «фактов» эти последние должны были получить новую возможность закрепиться якорем, но прежде всего – новое занятие. Не смущаясь такими предшественниками, мы рискнем предложить следующее объяснение названного феномена. Человек знает за собою определенные поступки, занимающие низкое место в обычной иерархии поступков, мало того, он обнаруживает в себе склонность к таким поступкам, представляющуюся ему столь же неизменной, как и весь его характер. А уж как ему хочется испробовать себя в другом роде поступков, по общепринятым оценкам признанных более высокими и прекраснейшими, как хочется обрести чувство хорошей самооценки, которая должна сопровождать бескорыстный образ мысли! Увы, на этом желании все и кончается: недовольство от неспособности удовлетворить его добавляется ко всем другим видам недовольства, которые в нем возбудили выпавший ему в жизни жребий вообще и последствия совершенных им поступков, называемых плохими; тогда в его душе рождается глубокое отчаяние, а с ним и поиски врача, способного устранить и отчаяние, и его причины. – Такое состояние не воспринималось бы столь ожесточенно, если бы человек непредвзято сравнивал себя только с другими людьми: ведь тогда у него не было бы оснований в особенной мере испытывать недовольство собою, он нес бы только часть общего бремени человеческой неудовлетворенности и несовершенства. А он сравнивает себя с суще-

ством, способным лишь на те поступки, которые называются неэгоистическими, – оно все время живет, оценивая свой образ мысли как бескорыстный, в мире с Богом; и когда он глядится в это светлое зеркало, собственный образ видится ему сугубо мрачным, сильно искаженным. Тогда мысль об этом существе его пугает, поскольку оно витает перед его воображением в виде карающей справедливости: человеку кажется, будто во всевозможных больших и малых переживаниях он распознает его гнев, исходящую от него угрозу, он даже заранее предчувствует удары плети, которые оно нанесет ему, будучи судьей и палачом. Кто поможет ему в этой опасности, которая ввиду неизмеримых сроков наказания по жестокости превосходит все другие ужасы, содержащиеся в человеческом представлении?

133

Прежде чем представить читателю это состояние в его дальнейших проявлениях, сознаемся все же в том, что человек оказался в таком состоянии не из-за «вины» и «греха», а из-за целого ряда заблуждений разума, что если собственный образ показался ему настолько мрачным и отвратительным, то это была погрешность зеркала, и что это зеркало было *его, человека,* собственным творением, весьма несовершенным творением человеческой фантазии и мысли. Во-первых, существо, способное исключительно на чисто неэгоистические поступки, еще более баснословно, чем птица Феникс; его даже невозможно точно себе представить – уже хотя бы потому, что все понятие «неэгоистический поступок» при ближайшем рассмотрении растворяется в воздухе. Ни один человек никогда не делал того, что было бы сделано исключительно ради других, без всяких личных мотивов; да и как он *смог бы* сделать то, что не имело бы к нему никакого отношения, то есть без внутреннего принуждения (а ведь, кажется, оно основано на личной потребности?). Как *эго* смогло бы совершать поступки без *эго*? – А вот бог, эта, как порою считают, *сплошная* любовь, не был бы способен ни на один неэгоистический поступок, что заставляет вспомнить об одной мысли Лихтенберга, прав-

да, относящейся к более низкой сфере: «Мы не можем *чувствовать* за других, как обыкновенно говорят; мы чувствуем только за себя. Эта мысль звучит сурово, но коли толком вдуматься, то она не такова. Мы любим не отца, не мать, не жену, не детей, а приятные впечатления, которые они нам доставляют», или, как говорит Ларошфуко, «si on croit aimer sa maîtresse pour l'amour d'elle, on est bien trompé»[1]. Почему поступки, совершенные из любви, *ценятся* выше других, а именно не в силу их сути, а в силу их *полезности*, – об этом смотри уже упоминавшиеся выше исследования «о происхождении нравственных чувств». Но если бы, скажем, человек захотел, совсем как бог, всецело быть любовью, делать, желать все для других и ничего для себя, то последнее невозможно уже потому, что для того, чтобы вообще быть способным совершать поступки в угоду другим, он должен *очень многое* делать для себя. Во-вторых, идея такого существа предполагает, что другой достаточно эгоистичен, чтобы все снова и снова принимать жертвы, принесенные ради него, жизнь, положенную за него: поэтому люди любви и самопожертвования заинтересованы в сохранении безлюбых и неспособных на самопожертвование эгоистов, и чтобы могла существовать высшая нравственность, она должна была бы буквально *требовать* существования безнравственности (чем, разумеется, и упразднила бы самое себя). – Далее: представление о Боге беспокоит и принижает людей до тех пор, пока в него верят, но вот относительно того, как оно *возникло*, при нынешнем уровне развития этнографии не может быть больше никаких сомнений; а с пониманием его возникновения рушится и вера в него. В душе христианина, сравнивающего свою природу с божественной, творится то же, что в душе Дон-Кихота, недооценивающего собственную храбрость, поскольку у него в голове – легендарные подвиги героев рыцарских романов; мерка, которую прикладывают в обоих случаях, относится к области басни. Но если упразднится представление о Боге, то с ним вместе исчезнет и ощущение «греха» как преступления против божественных предписаний, как пятно на тва-

---

1 «Если кто-то думает, что любит свою возлюбленную из любви к ней, то он жестоко ошибается» (*фр.*).

ри, посвященной Богу. Тогда, вероятно, еще останется та подавленность, которая сильно срослась со страхом перед карами земного суда или презрением окружающих и им родственна; и все-таки подавленность от угрызений совести, острейшее жало в чувстве вины, прекращается, если человек понимает, что своими поступками он, конечно, прегрешил перед человеческими традициями, человеческими установлениями и порядками, но еще не поставил этим под угрозу «вечное благо души» и ее связь с Божеством. А если человеку напоследок еще удастся приобрести философское убеждение в безусловной необходимости всех поступков и их полной безответственности, восприняв его плотью и кровью, то исчезнет и этот остаток угрызений совести.

134

Если христианин, как уже говорилось, в силу кое-каких заблуждений, то есть в силу ложного, ненаучного истолкования своих поступков и ощущений, оказался втянутым в чувство презрения к себе, то с величайшим изумлением он невольно замечает, что это душевное состояние презрения, угрызений совести, недовольства вообще, не удерживается в нем, что иногда бывают часы, когда все это сдувается с души прочь, и он снова чувствует себя свободным и смелым. На самом деле здесь одержало победу удовольствие от себя, наслаждение собственною силой в союзе с неизбежным ослаблением всех сильных возбуждений; человек снова любит себя, он это чувствует, – но как раз эту-то любовь, эту возобновленную гордость за себя он встречает с недоверием, он может видеть в ней только совершенно незаслуженный поток благодатного света свыше. Если раньше во всех событиях он видел предостережения, угрозы, кары и все разновидности знамений Божьего гнева, то теперь он *толкует* свои переживания как связанные с проявлениями Божьей милости: одно событие кажется ему знаком благосклонности, другое – указующим перстом помощи, третье, а в особенности все его радужное настроение, – доказательством того, что Господь милостив. Если прежде, в состоянии подавленности, он превратно истолковывал прежде

всего свои поступки, то теперь – прежде всего свои переживания; он воспринимает свое умиротворенное настроение как следствие силы, правящей где-то вне его, а любовь, которую он, в сущности, испытывает к себе сам, предстает перед ним как божественная любовь; то, что он называет милостью и прологом к спасению, на самом деле есть самопомилование, самоспасение.

135

Подведем итог: определенного рода превратная психология, известного сорта фантастика в истолковании мотивов и переживаний – необходимая предпосылка для того, чтобы человек стал христианином и ощутил потребность в спасении. Поняв это заблуждение разума и воображения, он перестанет быть христианином.

136

О христианской аскезе и святости. – Как бы отдельные мыслители ни старались выставить чудом редкие явления нравственности, обычно называемые аскезой и святостью, чудо, подносить к лику которого светоч разумного объяснения – чуть ли не святотатство и кощунство, искушение совершить такое святотатство все-таки очень велико. Мощное побуждение *природы* во все времена приводило к протесту против таких явлений вообще; наука, поскольку она, как уже говорилось, представляет собою подражание природе, позволяет себе возражать по крайней мере против утверждений об их необъяснимости, даже недоступности. Правда, до сих пор ей это не удавалось: такие явления все еще не объяснены, к вящей радости упомянутых почитателей моральных чудес. Ведь, вообще говоря, необъясненное должно быть совершенно необъяснимым, необъяснимое – совершенно неестественным, сверхъестественным, чудесным: таково требование, звучащее в душах всех верующих и метафизиков (в том числе людей искусства, если они одновременно выступают как мыслители); человек же научного

склада видит в этом требовании «порочный принцип». – Первое общее предположение, к которому прежде всего приходишь при рассмотрении аскезы и святости, гласит, что их природа *сложна*: ведь почти всюду, и в физическом мире, и в моральном, мнимые чудеса успешно объяснялись сложностью и многократной обусловленностью. Так рискнем же для начала выделить отдельные побуждения в душе святых и аскетов, а в заключение представить их себе в органическом единстве.

137

Существует стремление поступать *наперекор себе*, к наиболее сублимированным проявлениям которого относятся определенные формы аскезы. У некоторых людей бывает такая настоятельная потребность обнаруживать свою силу и властолюбие, что за неимением других объектов или поскольку иначе это никогда им не удавалось, им в голову в конце концов приходит проявлять насилие над некоторыми частями собственной души, как бы над ее фрагментами или уровнями. К примеру, одни мыслители исповедуют воззрения, явно не предназначенные для укрепления и умножения их репутации; иные прямо-таки намеренно вызывают на себя презрение других, хотя без труда могли бы остаться уважаемыми людьми, просто кое о чем умалчивая; третьи отказываются от своих прежних мнений, не страшась, что отныне прослывут непоследовательными: они, наоборот, хлопочут об этом и ведут себя подобно безрассудным всадникам, которым конь по нраву, лишь если он понес, покрылся пеной, не слушается узды. Так человек по опасным тропкам поднимается в высочайшие горы, чтобы поиздеваться над своей робостью и дрожащими коленями; так философ исповедует аскезу, самоуничижение и святость, в сиянии которых его собственный облик ужасно обезображивается. Это саморазрушение, это глумление над собственной природой, это *spernere se sperni*[1], столь важное для религий, – на самом деле есть высшая степень тщеславия. Сюда относится

---

1 презирать <чужое> презрение к себе (*лат.*). См. прим.

вся мораль Нагорной проповеди: человек получает настоящее наслаждение в том, чтобы насиловать себя чрезмерными требованиями, а потом обожествлять эти тиранические требования в своей душе. В любой аскетической морали человек поклоняется одной части себя самого как Богу, а для этого вынужден дьяволизировать все остальное в себе. –

138

Известно, что человек не бывает постоянно моральным в одной и той же степени: если он судит о своей нравственности по способности к великой жертвенной решимости и самоотречению (каковая, будучи постоянной и превратившись в привычку, становится святостью), то наиболее нравственным он бывает в *аффекте*; более сильное возбуждение дает ему совершенно новые мотивы, на которые он, может быть, даже не считал себя способным в обычном, трезвом и холодном состоянии души. Откуда все это берется? Вероятно, от соседства всего величественного с сильным возбуждением; оказавшись в состоянии чрезвычайного напряжения, человек с равным успехом может решиться и на ужасную месть, и на ужасную ломку своей потребности в мщении. Под воздействием мощной эмоции он непременно стремится ко всему великому, огромному, чудовищному, а случайно приметив, что самопожертвование приносит ему такое же или еще большее удовлетворение, чем принесение в жертву других, он его и выбирает. Значит, на самом деле для него важна только разрядка своей эмоции; тогда, чтобы снять напряжение, он того и гляди соберет воедино вражеские копья и разом вонзит их в свою грудь. Что нечто величественное заключено не только в мщении, но и в самоотречении, человечество должно было усвоить лишь в результате длительного привыкания; наиболее сильным и эффективным символом такого рода величия было божество, приносящее себя в жертву. Победою над самым неодолимым врагом, внезапным торжеством над аффектом – вот чем *предстает* это отречение; и в таком смысле оно признается вершиною всякой нравственности. В действительности это отречение означает подмену одного

представления другим, в то время как чувство остается на той же самой высоте, на той же самой отметке прилива. Люди отрезвевшие, отдохнувшие от аффекта уже не понимают нравственности таких мгновений, но их заставляет оставаться в строю восхищение всех тех, кто пережил такие моменты вместе с ними; гордость – их утешение, когда аффект расходится с пониманием совершенного ими в аффекте. Итак: неморальны, по сути дела, и поступки, продиктованные самоотречением, поскольку они совершены не точно по отношению к другим людям; скорее, другой человек только дает сильно напряженному чувству возможность испытать облегчение – посредством названного отречения.

139

В некотором отношении и аскет пытается облегчить себе жизнь – обычно через полное подчинение себя чуждой воле или всеобъемлющему закону и ритуалу; так поступает брахман, который вообще ничего не делает по собственному усмотрению, а каждую минуту подчиняет себя священному предписанию. Это подчинение – мощное средство держать себя в руках; человек занят, то есть не скучает, но при этом не ощущает побуждений, продиктованных своеволием и страстью; сделав дело, он не испытывает чувства ответственности, а, значит, и мук раскаяния. Человек раз и навсегда отказался от собственной воли, а это легче, чем отказываться от нее лишь от случая к случаю; так же как легче совсем отречься от желания, чем соблюдать в нем меру. Если мы вспомним о нынешнем отношении человека к государству, то и тут обнаружим, что безусловное послушание удобней, чем ограниченное. Итак, святой облегчает себе жизнь таким полным отказом от собственной личности, и тот, кто восхищается этим феноменом как наивысшим героическим достижением нравственности, обманывает себя. В любом случае труднее реализовать свою личность без колебаний и тумана, чем подобным образом избавлять себя от нее; кроме того, для этого требуется куда больше решимости и ума.

140

Обнаружив проявления наслаждения *эмоцией как таковой* во множестве труднообъяснимых поступков, я хочу и в презрении к себе, относящемся к признакам святости, а равным образом и в различных формах самоистязания (голодом и самобичеванием, вывихами рук и ног, симуляцией сумасшествия) разглядеть способ, которым такие натуры борются с общим истощением своей воли к жизни (своих нервов): они пользуются самыми болезненными возбуждающими средствами и лютыми приемами, чтобы хоть иногда выныривать из состояний тупости и скуки, в которые святых так часто повергает их огромная умственная инертность и упомянутое подчинение чуждой воле.

141

Самый обычный способ, который аскеты и святые употребляют, чтобы сделать свою жизнь сносной и интересной, заключается в ведении войн и перипетиях побед и поражений в них. Для этого они нуждаются в противниках, находя их в виде так называемого «врага внутри себя». Чтобы получить возможность смотреть на свою жизнь как на непрекращающуюся битву, а на себя – как на поле битвы, где с переменным успехом бьются духи добра и зла, они используют главным образом свою склонность к тщеславию, честолюбию и властолюбию, а также свои чувственные страсти. Известно, что чувственные фантазии утишаются, а то и почти подавляются благодаря регулярной половой жизни, – и наоборот, становятся необузданными и беспутными из-за воздержания или нарушений. Фантазия многих христианских святых была чрезвычайно грязной; при этом они не слишком-то чувствовали себя ответственными за нее в силу теории, гласящей, что подобные страсти суть подлинные демоны, бесчинствующие в них; такому ощущению мы обязаны весьма поучительной откровенности их признаний. В их интересах было то, что эта битва поддерживалась более или менее постоянно, ведь благодаря ей, как уже упоминалось, их безотрадная жизнь становилась содержатель-

ной. А чтобы битва казалась достаточно важной для возбуждения устойчивого внимания и восхищения со стороны не-святых, надо было все сильнее очернять и клеймить чувственность, ведь угроза вечного проклятья была так тесно привязана к этой сфере, что, скорее всего, на протяжении целой эпохи христиане зачинали детей с нечистой совестью; а это, разумеется, нанесло человечеству большой ущерб. Но истина здесь полностью поставлена с ног на голову: для истины же это положение сугубо неприличное. Правда, христианство говорило: каждый человек зачат и рожден во грехе, а в невыносимом суперлативном христианстве Кальдерона эта идея связалась в узел заново, так что в известных строках он осмелился на самый извращенный парадокс, какой только бывает:

человека величайший грех
в том, что он на свет родился.

Во всех пессимистических религиях акт зачатия воспринимается как скверна в чистом виде, но это восприятие никоим образом не является общечеловеческим; даже не все пессимисты говорят об этом одинаково. Эмпедокл, например, не замечает во всем эротическом ровно ничего постыдного, дьявольского, греховного; напротив, на великом лугу злополучья он видит одно-единственное благодатное и многообещающее явление – Афродиту; она в его глазах – ручательство за то, что вражда будет длиться не вечно, а скипетр когда-нибудь перейдет к более милосердному демону. Практикующие христианские пессимисты, как уже говорилось, заинтересованы в том, чтобы продолжало господствовать другое мнение; чтобы сохранять уединение и духовную пустыню своей жизни, они нуждаются во всегда свежем враге, и притом враге общепризнанном: борясь с ним, одолевая его, они всякий раз заново изображают себя перед толпою не-святых существами наполовину непостижимыми, сверхъестественными. Если этот враг – вследствие их образа жизни и разрушенного здоровья – наконец навсегда обращался в бегство, они тотчас же научались *видеть* глубины своей души населенными новыми демонами. Колебания чаш весов, называемых высокомерием и само-

уничижением, так же хорошо развлекали их погруженные в самокопание умы, как и перипетии чувственности и душевного покоя. Психология в те времена использовалась для того, чтобы не только презирать все человеческое, но и порочить, бичевать, распинать его; люди *хотели* видеть себя как можно более скверными и злыми, они искали состояний страха ради спасения души, отчаяния в собственных силах. Все естественное, с чем человек связывает представление о скверном, греховном (от чего он не отучился даже в наши дни в отношении эротической сферы), обременяет, омрачает его воображение, заставляет робко опускать глаза, вступать с собою в разлад, делает его неуверенным и недоверчивым; даже его сновидения приобретают некоторый привкус истерзанной совести. Но ведь это болезненное переживание всего естественного не имеет ничего общего с реальностью вещей: оно есть просто эффект мнений *относительно* вещей. Не составляет труда понять, каким образом люди становятся сквернее оттого, что считают скверным все неизбежно-естественное, а потом всегда именно таким его и воспринимают. Это уловка религии и тех метафизиков, которые стремятся выдать человека за злого и греховного от природы, *сделать* природу подозрительной для него, а его самого таким образом – скверным: ведь на такой лад он приучается ощущать себя скверным, поскольку не может сбросить с себя одеяние природы. Мало-помалу, долгое время живя в естестве, он начинает чувствовать себя придавленным тяжким бременем грехов, так что для избавления от этого бремени становятся нужны сверхъестественные силы; и вот на сцене появляется уже обсуждавшаяся потребность в спасении, относящаяся не к реальной, а лишь к воображаемой греховности. Проверим различные моральные идеи, содержащиеся в первоисточниках христианства, – повсюду мы обнаружим в них чрезмерные требования, такие, чтобы человек *не мог* им соответствовать; цель тут заключалась не в том, чтобы он *становился* более нравственным, а в том, чтобы он чувствовал себя *как можно более грешным*. Если бы это чувство не было *приятно* человеку, то зачем тогда он породил подобное представление и так долго был ему привержен? Если в эпоху античности неимоверные силы ума и изобретательности

были потрачены, чтобы посредством культовых празднеств приумножить радость жизни, то в эпоху христианства столь же неизмеримые запасы ума были пожертвованы ради другой цели: человека надо было любым способом заставить чувствовать себя грешным, а благодаря этому он вообще должен был оказаться более возбужденным, оживленным, одушевленным. Возбуждение, оживление, одушевление, и любою ценой, – разве не это девиз истощенной, перезрелой, переразвитой эпохи? Круг всех естественных ощущений был пройден сто раз, душа уже устала от них: и тогда святые и аскеты изобрели новый вид прелестей жизни. Они выставили их на всеобщее обозрение, и не столько в качестве образца для подражания многих, сколько как отвратительное, но все же восхитительное представление, разыгранное на тех границах между этим миром и потусторонним, где в те времена каждому мнились то лучи света небесного, то жуткие, пылающие из глубин языки пламени. Взор святых, обращенный на страшный в любом отношении смысл краткой земной жизни, на близость последнего суда над бесконечными новыми жизнями, этот прожигающий насквозь взор из полуистлевшей плоти, заставлял людей древности трепетать до глубины души; внимательно глядеть туда, содрогаясь, отводить глаза, снова ощущать всю прелесть представления, отдаваться ему, насыщаться им, пока душа не задрожит от жара и мороза, словно в лихорадке, – вот каково было *последнее наслаждение, изобретенное античностью*, когда она сделалась равнодушной даже к зрелищу борьбы между животными и между людьми.

142

Подытожим сказанное: то состояние души, которое свойственно святым или стремящимся к святости людям, складывается из элементов, хорошо нам всем известных, с тою только разницей, что под влиянием других, нерелигиозных представлений они приобретают другую окраску и тогда обычно порицаются людьми с тою же силой, с какой в обрисованном выше сращении с религией и конечным смыслом существования могут рассчитывать на восхищение, даже

поклонение, – по крайней мере, могли рассчитывать на них в прежние времена. Святой то проявляет упомянутое стремление поступать наперекор себе, каковое близко родственно властолюбию и даже самому одинокому дает ощущение власти, то его разбухшее чувство под сильным напором гордой души внезапно переходит от потребности дать волю своим страстям к потребности заставить их покориться, словно диких жеребцов, то хочет полного прекращения всех вызывающих беспокойство, мучительных, возбуждающих ощущений, хочет спать наяву, хочет постоянной праздности в лоне тупой, животной и растительной бесчувственности, то ищет битвы и разжигает ее в себе, потому что скука кажет ему свое зевающее лицо: он бичует свое самообожествление презрением к себе и жестокостью, он ликует от дикого мятежа своих страстей, от острой боли греха, даже от мысли о своей вечной гибели, он знает толк в ловушках для своих аффектов, к примеру, для аффекта крайнего властолюбия, так что тот превращается в аффект крайнего самоуничижения, и этот контраст валит с ног его затравленную душу; и напоследок: когда он страстно жаждет видений, бесед с покойниками и божественными существами, то жаждет он, по сути дела, какого-то редкостного вида вожделения – вероятно, того вожделения, в котором переплелись узлом все другие его виды. Новалис, в силу опыта и инстинкта один из авторитетов в вопросах святости, однажды с наивной радостью выдал всю ее тайну: «Достаточно странно, что связь вожделения, религии и жестокости уже давно не обратила внимания людей на их внутреннее родство и общую направленность».

143

Всемирно-историческое значение придает фигуре святого не ее суть, а ее *значение* в глазах не-святых. Необычайную силу, с помощью которой она завладела воображением целых народов, целых эпох, эта фигура получила благодаря тому, что люди ошибались относительно нее, неверно объясняя себе душевные состояния святых и насколько возможно дистанцируясь от них как от чего-то выходящего за

все рамки и чужеродно-сверхчеловеческого. Сами святые себя не знали; сами они понимали письмена своих настроений, склонностей, поступков, пользуясь искусством истолкования, столь же сумасбродным и неестественным, как и пневматическое истолкование Библии. Странность и болезненность их натуры, в которой соединялись их духовная нищета, скверные познания, испорченное здоровье, взвинченные нервы, остались скрытыми и от их собственных глаз, и от глаз зрителей. Они не были людьми необычно добрыми, а еще того менее – необычно мудрыми: зато они *воплощали в себе* что-то выходящее за человеческие рамки доброты и мудрости. Вера в них поддерживала веру в божественное и чудесное, в религиозный смысл всего сущего, в предстоящий Судный день. В вечернем солнечном свете мирового заката, бросавшего свои лучи на христианские народы, химерическая фигура святого разрослась до чудовищных размеров: мало того, до такой высоты, что даже в нашу эпоху, которая уже в Бога не верит, еще существует достаточно мыслителей, верящих в святых.

144

Само собою понятно, что этой схематической характеристике святых, набросанной как усредненный портрет всего типа, можно противопоставить другие характеристики, которые могут вызвать более приятные ощущения. Выделяются отдельные исключения из этого типа: либо великим милосердием и человеколюбием, либо волшебством необычной энергии; другие в высшей степени привлекательны потому, что все их существо заливает поток света, идущий от известных иллюзорных представлений: таков, к примеру, случай знаменитого основателя христианства, считавшего себя единорожденным сыном Божьим, а потому чувствовавшего себя безгрешным, так что посредством воображения – которое не стоит судить слишком сурово, ведь вся античность кишит сынами божьими, – он достиг той же самой цели, ощущения полной безгрешности, полной безответственности, к какому теперь всякий может прийти посредством науки. – Я не рассмотрел здесь и ин-

дийских святых, находящихся на промежуточной ступени между христианскими святыми и греческими философами, а потому не представляющих чистый тип: познание, наука – уж какой она тогда была, – вознесенность над другими людьми, достигнутая благодаря логической дисциплине и выучке мышления, были у буддистов настолько же необходимым признаком святости, насколько в христианском мире те же самые качества отвергаются и порицаются как признаки чего-то противоположного святости.

Четвертый раздел. О внутреннем мире художников и писателей

145

Совершенство, будто бы упавшее с небес. – Перед лицом всякого совершенства мы приучены забывать о вопросе его происхождения – и просто наслаждаться моментом, словно волшебная палочка заставила его выскочить из земли. Тут мы, вероятно, все еще испытываем на себе воздействие древнейшего мифологического восприятия. На душе у нас все еще *почти* так (к примеру, в греческом храме наподобие пестумского), будто однажды утром какой-то бог играючи выстроил себе жилище из таких вот чудовищных тяжестей – а иной раз, будто какую-то душу вдруг заколдовали в камень, и вот ей захотелось из этого камня говорить. Художники знают, что их творения оказывают полное воздействие, только если вызывают веру в импровизацию, в чудотворную внезапность их возникновения; а потому они, разумеется, поддерживают эту иллюзию, внедряя в свое искусство соответствующие элементы вдохновенной взволнованности, слепого хаотического нащупывания, чуткой грезы, предваряющей творчество – эти миражи нужны ему, чтобы настроить душу зрителя или слушателя на веру во внезапно явившееся совершенство. – Наука об искусстве должна, как само собою понятно, самым решительным образом опровергнуть эту иллюзию, показав ошибочные заключения и избалованность интеллекта, в силу которых он попадает в сети художников.

146

Чувство правды художника. – В отношении познания истин художник нравственно более слаб, нежели мыслитель; он отнюдь не желает отказываться от блестящих, глубокомысленных толкований жизни и отвергает трезвые, простые методы

и выводы. Он только по видимости борется за высшее достоинство и значение человека; на самом же деле он не хочет расстаться с предпосылками, *наиболее эффективными* для своего искусства, то есть от всего фантастического, мифического, неясного, крайнего, от вкуса к символическому, от переоценки личности, от веры в чудесную природу гениальности: стало быть, он считает сохранение своего вида творчества более важным, чем научная преданность правде во всех ее формах, пусть даже эта преданность кажется уж очень невзрачной.

147

Искусство как заклинание духов. – Искусство, помимо всего прочего, выполняет задачу консервации, а также, при случае, легкого подкрашивания потерявших силу, поблекших представлений; решая эту задачу, оно накладывает оковы на различные эпохи и заставляет их духов явиться вновь. Правда, благодаря этому мы видим только призрачную жизнь, какая бывает над могилами или какую ведут вернувшиеся к нам любимые усопшие в наших сновидениях, но хотя бы на мгновения вновь оживает старое чувство и сердце бьется на такой лад, который воскресает в памяти лишь тут. Так вот, самому художнику ради общей пользы искусства следует прощать, если он не стоит в первых рядах просвещения и поступательного *омужествления* человечества: он во всю свою жизнь остается ребенком или отроком, задерживаясь на той позиции, на которой был застигнут своим влечением к искусству; но ощущения первых шагов жизни, как известно, гораздо ближе ощущениям прежних времен, нежели ощущениям нынешнего столетия. Его задачей волей-неволей становится погружение человечества во младенчество; в этом его слава и его ограниченность.

148

Когда поэты облегчают жизнь. – Поэты, поскольку они тоже хотят облегчить жизнь людям, либо отвращают их взор от тягостного настоящего, либо, высекая свет из прошлого, сооб-

щают настоящему новые краски. Чтобы суметь это сделать, они и сами должны быть в некоторых отношениях существами, обращенными вспять: поэтому ими можно пользоваться как мостами, ведущими к очень далеким эпохам и представлениям, к отмирающим или уже отмершим религиям и культурам. По сути дела, они всегда и неизбежно – *эпигоны*. Правда, об их способах облегчать жизнь можно сказать кое-что для них неприятное: утишают и исцеляют они только временно, только на мгновенье; они даже мешают людям трудиться над реальным улучшением условий своей жизни, поскольку упраздняют или паллиативно разряжают как раз страстное состояние неудовлетворенности, побуждающее к действию.

149

Медлительная стрела красоты. – Благороднейший вид красоты – тот, который пленяет нас не вдруг, который захватывает нас не бурным, упоительным натиском (такая красота вызывает легкое отвращение), а другой – это красота, медленно просачивающаяся в нас, которую почти нечувствительно уносишь с собою, а потом однажды снова находишь в сновидении, и которая, наконец, после того, как она долго и со всею скромностью ютилась в нашем сердце, совершенно овладевает нами, наполняя наши глаза слезами, а сердце тоской. – Так по чему же мы тоскуем, глядя на прекрасное? По тому, чтобы быть прекрасными: нам мнится, будто с этим связано огромное счастье. – Но это заблуждение.

150

Когда искусство наливается жизнью. – Искусство подымает голову там, где слабеют религии. Оно наследует множество порожденных религией чувств и настроений, усваивает их и само становится глубже, сердечней, обретая способность сообщать воодушевление и восторг, которою дотоле еще не владела. Огромный запас религиозного чувства, вздувшийся рекою, то и дело переливается через край, стремясь захватить новые сферы: но крепнущее просвещение уже

потрясло догмы религии, внушив фундаментальное недоверие к ней, и тогда чувство, вытесненное просвещением из религиозной сферы, перекидывается на искусство, а в отдельных случаях и на политическую жизнь, мало того, даже прямо-таки на науку. Всюду, где в человеческих устремлениях обнаруживаются возвышенно-мрачные нотки, можно предположить, что в них остаются следы страха перед духами, запах ладана и тени церквей.

151

Чем приукрашивает размер. – Стихотворный размер окутывает действительность пеленой; он вызывает некоторую искусственность речи и туманность мышления; тень, которую он бросает на мысль, то скрывает, то резко выделяет ее содержания. Как тень нужна, чтобы приукрашивать, так «смутность» нужна, чтобы разъяснять. – Искусство делает зрелище жизни выносимым, окутывая его пеленою туманного мышления.

152

Искусство, творимое безобразной душой. – Требовать от искусства, чтобы оно давало возможность выразить себя только нормальной, нравственно уравновешенной душе, – значит загонять его в слишком узкие рамки. В музыке и поэзии, как и в изобразительных искусствах, наряду с искусством прекрасной души есть искусство безобразной души; и, быть может, именно этому искусству лучше всего удавались наиболее сильные эффекты – оно потрясало души, заставляло двигаться камни и очеловечивало животных.

153

Как искусство удручает мыслителей. – Насколько сильна метафизическая потребность и с какими мучениями расстается с нею в конце концов природа, можно видеть на примере того, что даже в свободном уме, уже избавившемся от всего

метафизического, самые возвышенные эффекты искусства без труда заставляют звучать в унисон давно умолкшую, даже порвавшуюся метафизическую струну; к примеру, когда он, слушая одно место из Девятой симфонии Бетховена, чувствует себя парящим над землею в каком-то звездном соборе, грезя в душе о *бессмертии*: ему кажется, будто все звезды сияют вокруг него, а земля уходит все глубже вниз. – Если он сознает свое состояние, то ощущает колющую боль в сердце и томится по человеку, который вернул бы ему утраченную возлюбленную, называй ее религией или метафизикой. В такие мгновения проходит проверку качество его интеллекта.

154

Игра в жизнь. – Непринужденность и легкомыслие гомеровской фантазии были нужны, чтобы унять и на время отключить чрезмерно страстный нрав и слишком острый рассудок греков. А когда рассудок начинает в них говорить – какой горькой и жестокой кажется им тогда жизнь! Они не обманываются, но намеренно обыгрывают жизнь ложью. Симонид советовал своим землякам воспринимать жизнь как игру; серьезность была слишком хорошо знакома им в виде боли (ведь человеческие беды – та тема, песнь на которую так любят слушать боги), и они знали, что только искусство может превратить в наслаждение даже беду. В наказание за такое понимание их так донимало удовольствие сочинять сказки, что в повседневной жизни им стало трудно удерживаться от обмана, – вот как и все племя поэтов получает такого рода удовольствие от лжи, да еще вдобавок наслаждается чистой совестью. Видимо, порой это доводило соседние народы до отчаяния.

155

Вера в инспирацию. – Художники заинтересованы в том, чтобы люди верили во внезапное вдохновение, в так называемую инспирацию, как будто идея произведения искусства, поэзии, основная мысль философской системы нисходит с не-

бес, словно луч благодатного света. На самом же деле фантазия хорошего художника или мыслителя постоянно производит хорошее, посредственное или плохое, а его *разум*, до предела отточенный и опытный, отбрасывает, отбирает, связывает; скажем, сейчас по записным книжкам Бетховена стало ясно, что самые чудесные мелодии он подбирал постепенно, в определенной степени выбирая их из множества набросков. Тот, кто отбирает не так строго и любит предаваться воспроизводящей памяти, иногда может сделаться великим импровизатором; но художественная импровизация стоит куда ниже художественной мысли, проделавшей серьезный и трудный отбор. Все великие художники были великими тружениками, неустанными не только в изобретениях, но и в отборе, отсеве, реорганизации, организации.

156

И снова инспирация. – Если творческая сила долгое время скапливалась и что-то мешало ей свободно излиться, то в конце концов она прорывается настолько внезапно, что создается впечатление прямой инспирации, которой не предшествовала никакая внутренняя подготовка, то есть свершившегося чуда. Это порождает известную иллюзию, в сохранении которой, как уже сказано, несколько чрезмерно заинтересованы все художники. Но здесь речь идет именно только о *скоплении* капитала – он вовсе не падает с неба вдруг. Такого рода мнимая инспирация встречается, кстати, и в других сферах, к примеру, в сферах доброты, добродетели, порока.

157

Страдания гения и их ценность. – Художественный гений хочет доставлять людям радость, но если он стоит на очень высокой ступени, то его радостью часто некому наслаждаться; он предлагает яства, но их никто не хочет. Иногда это придает его творчеству забавно-трогательный пафос; ведь, в сущности, у него нет никакого права принуждать людей к удовольствию. Он играет на дуде, но никто не желает плясать; может

ли это быть трагичным? – Все-таки, наверное, да. В конечном счете в виде компенсации за такую нужду он получает от своего творчества куда больше удовольствия, чем остальные – от любых других родов деятельности. Его горе воспринимается как преувеличенное, потому что жалобы его звучат громче, а уста красноречивей; а *порою* страдания его и впрямь неимоверны, но только оттого, что столь неимоверны его тщеславие и зависть. Гении знания, какими были Кеплер и Спиноза, обычно бывают не столь алчными и не поднимают такой шумихи вокруг своих действительно чрезмерных страданий и лишений. Они с большею уверенностью могут положиться на мнение потомков, отвернувшись от современников; а вот если так поступает художник, то он всегда ведет отчаянную игру, которая может надорвать ему душу. В исключительно редких случаях – когда в одном человеке гений творчества и познания сплавлен воедино с нравственным гением – к упомянутым страданиям добавляется еще тот род страданий, который следует считать самым странным исключением на свете: это ощущения вне- и сверхличные, обращенные на народ, на человечество, на всю культуру, на все страдающее бытие; они обретают свою ценность благодаря связи с особенно труднодоступными познаниями (само по себе сострадание мало чего стоит). – Каким же мерилом, на каких весах для золота можно определить их подлинность? Ведь, кажется, чуть ли не обязательно проявлять недоверие к каждому, кто *говорит* об ощущениях такого рода у себя?

158

Роковое влияние величия. – Вслед за любым великим явлением идет вырождение, особенно в сфере искусства. Великие образцы побуждают более мелкие души к внешнему подражанию или к попыткам превзойти их; да и все великие дарования несут в себе роковую способность подавлять множество более слабых сил и зародышей и словно бы опустошать природу вокруг себя. Самая удачная комбинация в развитии искусства – та, при которой несколько гениев взаимно сдерживают друг друга; во время такой борьбы немного света и воздуха обычно достается и натурам более слабым, хрупким.

159

Искусство, опасное для людей искусства. – Искусство, со всею силой овладев индивидом, влечет его назад, к воззрениям тех времен, когда искусство цвело самым пышным цветом, – тогда оно вызывает регресс. Художник начинает все больше почитать внезапные приливы волнения, верит в богов и демонов, одушевляет природу, ненавидит науку, становится переменчивым в настроениях, как люди древности, и жаждет уничтожения всех условий, неблагоприятных для искусства, причем этого последнего – с горячностью и несправедливостью, свойственных детям. Человек искусства уже и сам-то по себе – существо отсталое, ведь он застыл в состоянии игры, присущем юности и детству: а тут еще к тому же он постепенно захватывается регрессивным движением к иным эпохам. Поэтому в конце концов возникает сильнейший антагонизм между ним и современными ему сверстниками – и печальный конец; вот так, по рассказам древних, Гомер и Эсхил доживали свою жизнь и умерли в меланхолии.

160

Сотворенные люди. – Когда говорят, что драматурги (и художники вообще) по-настоящему *творят* характеры, то это красивый обман и преувеличение, существование и распространение которого означает один из невольных и как бы непредусмотренных триумфов искусства. На самом деле мы не слишком-то хорошо понимаем реального живого человека и, приписывая ему тот или иной характер, обобщаем весьма поверхностно: так вот, этой нашей *весьма несовершенной* точке зрения на человека соответствует художник, создавая настолько же поверхностные эскизы человека («творя» его в этом смысле), насколько поверхностно наше знание человека. В таких сотворенных художниками характерах много иллюзорного; это совсем не полнокровные продукты природы, а, подобно нарисованным людям, нечто уж слишком бледное: они не выдерживают крупных планов. А уж когда говорят, что характер обычного живого человека часто бывает противоречив, зато сотворенный драматургом харак-

тер – прообраз, по которому творит природа, то это совсем неверно. Реальный человек – нечто абсолютно *необходимое* (даже со своими так называемыми противоречиями), просто эту необходимость мы не всегда можем познать. Выдуманный человек, призрак, призван означать что-то необходимое – но лишь для того, кто и реального человека понимает только в грубом, неестественном упрощении: его ожиданиям полностью соответствуют несколько выпуклых, не раз проведенных черт, залитых ярким светом и окруженных густою тенью и полутенью. Поэтому он с такой легкостью готов принять художественный призрак за реального, необходимого человека – ведь он приучен воспринимать в реальном человеке призрачное, схематичное, результат произвольного сокращения как его полную реальность. – А уж то, что живописцы и ваятели выражают «идею» человека, – просто пустая выдумка и обман чувств: если кто-то утверждает подобное, значит, он поддался тирании зрения, ведь во всем человеческом теле оно видит только поверхность, кожу; но внутреннее тело относится к сфере идеи в точно такой же мере. Изобразительные искусства стремятся воплотить характеры на коже; словесное искусство для той же цели использует слово – оно отображает характер в звуке. Искусство исходит из естественной *неосведомленности* человека о собственных глубинах: оно существует на свете не для физиков и философов.

161

Преувеличенная самооценка у верящих в художников и философов. – Все мы думаем, что если уж художник, его творение нас захватывает, потрясает, то это говорит о его высоком достоинстве. Но говорить-то это должно бы лишь о *высоком достоинстве нашего собственного* суждения и восприятия: а его нет и в помине. Кто захватывал и восхищал в сфере изобразительных искусств больше, чем Бернини, кто воздействовал на души сильнее, чем тот ритор, который после Демосфена ввел азианский стиль, господствовавший два столетия? Это господство на протяжении целых столетий ничего не говорит в пользу высоких достоинств и долговеч-

ной ценности стиля; поэтому не стоит быть слишком уж крепким в своей вере в того или другого художника: ведь это вера не только в правдивость нашего восприятия, но и в непогрешимость нашего суждения, однако суждение или восприятие либо то и другое вместе сами могут оказаться слишком грубыми или слишком тонкими, слишком эксцентричными или слишком поспешными. Об их верности ничего не говорят и благословения, одобрения со стороны какой-нибудь философии, какой-нибудь религии: точно так же счастье, которое сумасшедший получает от своей навязчивой идеи, не доказывает, что эта идея разумна.

162

Тщеславие как источник культа гения. – Мы о себе высокого мнения, но отнюдь не считаем себя способными создать что-нибудь равноценное наброску картины Рафаэля или сцене из Шекспировой драмы, а потому внушаем себе, что такая способность – выходящее из ряду вон чудо, редчайшая случайность или, если мы все еще в плену религиозного чувства, – благословение свыше. Так наше тщеславие, наше самолюбие поощряют культ гения: ведь чужая гениальность для нас не оскорбительна, только если между гением и нами – огромное расстояние, если он для нас – miraculum[1] (даже Гёте, лишенный зависти, называл Шекспира своей звездой далекой высоты; при этом на память приходит такая строка: «Звезды, по которым не томятся»). Но если отвлечься от этих нашептываний нашего тщеславия, то деятельность гения по своей природе решительно ничем не отличается от деятельности изобретателя механизмов, ученого-астронома или историка, мастера тактики. Все эти виды деятельности объяснимы, если уяснить себе людей, чье мышление работает в одном и том же направлении, – людей, которые все используют как материал, которые ревностно следят за своей и чужой внутренней жизнью, которые во всем усматривают примеры и вызовы, которые не устают комбинировать способы своей работы. Гений ничего и не

---

1 нечто чудесное (*лат.*).

делает, как только учится сначала класть камни, потом строить, постоянно ищет материал и постоянно перерабатывает его. На удивление сложна любая деятельность человека, а не только деятельность гения: но ни одна из них не являет собою «чуда». – Так откуда же берется вера в то, что гениальными бывают только художники, ораторы и философы? что только у них имеется «интуиция»? (Эта вера приписывает им своего рода магические очки, через которые они смотрят прямо в «сущность».) Люди явно говорят о гении только там, где им наиболее приятны результаты деятельности крупного интеллекта, а сами они, со своей стороны, отказываются от зависти. Когда кого-то называют «божественным», это означает «нам с ним все равно не тягаться». Далее: все готовое, законченное вызывает изумление, все становящееся недооценивается. И никто не хочет присмотреться, как *возникло* произведение художника; это только ему на руку, ведь всюду, где можно заметить становление, зритель расхолаживается. Законченное искусство изображения отклоняет всякую мысль о становлении; оно подавляет, будучи наличным совершенством. Поэтому гениальными слывут главным образом мастера изобразительности, но не представители науки. На самом деле и первая оценка, и вторая недооценка – всего лишь ребячество разума.

163

Ремесло – дело важное. – Только не говорите о даровании, о прирожденных талантах! Можно назвать великих людей всех видов деятельности, которые не были высоко одаренными. Однако они *обрели* величие, стали «гениями» (как говорится) благодаря качествам, в нехватке коих не любит признаваться всякий, кто сознает их в себе: всем им свойственна прилежная серьезность ремесленника, который сначала учится в совершенстве обрабатывать части и только потом отваживается создать из них какую-то большую вещь; этому они уделяли много времени, ведь гораздо большее удовольствие они получали, доводя до ума мелочи, все второстепенное, чем глядя на эффектный блеск готового изделия. К примеру, легко дать рецепт того, как сделаться хорошим новел-

листом, но сама процедура предполагает качества, которые игнорируют, когда говорят: «Мне не хватит таланта». Надо только написать сотню или больше набросков новелл, каждый не больше двух страниц, но они должны быть настолько ясными, чтобы каждое слово в них было незаменимым; надо во всякий день записывать анекдоты, пока не нащупаешь их наиболее точную, эффектную форму; надо без устали собирать и прорисовывать человеческие типы и характеры, а главным образом надо как можно чаще рассказывать и слушать рассказы, пристально всматриваясь и вслушиваясь в реакции других присутствующих, надо путешествовать, подобно пейзажистам и рисовальщикам костюмов, надо конспектировать для себя из книг по разным наукам все то, что при хорошем изложении может произвести художественное впечатление, надо, наконец, размышлять о мотивах человеческих поступков, не пренебрегая ни одним поучением на этот счет, и коллекционировать подобные вещи и днем и ночью. Пусть в этих разнообразных упражнениях пройдет лет десять: а тогда созданное в мастерской не стыдно будет показать и на улице. – А что же делают почти все? Они начинают не с частей, а с целого. Иногда им, может быть, и удается ловкий прием, они привлекают к себе внимание, но потом все больше начинают фальшивить – по хорошо понятным и естественным причинам. – Порою, когда человеку не хватает ума и характера, чтобы разработать такой художнический план жизни, их место занимает судьба и нужда, шаг за шагом знакомя будущего мастера со всеми необходимыми предпосылками его ремесла.

164

Опасность и польза от культа гения. – Вера в великие, выдающиеся, плодотворные умы не обязательно, но еще очень часто бывает связана с целиком или частично религиозным суеверием, гласящим, будто эти умы – сверхчеловеческого происхождения и обладают некоторыми чудесными способностями, с помощью которых получают свои знания совсем иным путем, нежели остальные люди. Им даже приписывают прямое проникновение в суть мира, словно сквозь проре-

ху в оболочке явления, и верят, что благодаря такому чудесному ясновидению они без трудов и обуздывающих строгостей науки способны рассказать о человеке и мире нечто окончательное и решающе важное. Покуда чудо в области познания еще находит верующих, можно, наверное, согласиться с тем, что сами верующие извлекают из своей ситуации пользу, поскольку благодаря своему безусловному подчинению великим умам они приобретают для собственного ума наилучшую дисциплину и выучку на время его развития. Зато по меньшей мере сомнительно, полезно ли самому гению суеверие о гениях, об их привилегиях и особых способностях, когда оно пускает в нем корни. Как бы там ни было, когда человека охватывает трепет перед самим собой, будь то пресловутый трепет мании величия или рассматриваемый здесь трепет перед гением, когда дым от жертвоприношений, по справедливости причитающийся только Богу, проникает в мозг гения и тот начинает пошатываться, считая себя существом сверхчеловеческим, то это опасный признак. Мало-помалу в нем проявляются последствия: ощущение безответственности, своих исключительных прав, вера в то, что уже только знакомство с ним – милость для людей, безумная ярость при попытках сравнивать его с другими, а не то даже и ставить ниже их, и вытаскивать на свет Божий огрехи его творений. Он перестает применять критику к себе самому – и в итоге из его оперения одно за другим выпадают маховые перья: названное суеверие подтачивает корни его силы, а когда сила его покидает, то и вовсе превращает его, что вполне вероятно, в лицемера. Стало быть, для самих же великих умов, видимо, полезнее получить представление о своей силе и ее происхождении, то есть понять, какие чисто человеческие качества слились в них, какие благоприятные для них условия сложились: а это, во-первых, неиссякаемый запас энергии, решительная устремленность к определенным целям, великое личное мужество, и, во-вторых, удачное воспитание, уже в ранние годы предоставившее им лучших учителей, лучшие примеры для подражания, лучшие методы. Правда, если они ставили перед собою цель оказывать как можно более сильное *воздействие*, то для них всегда многое значило туманное представление о себе с придачей того полубезумия, о котором шла речь; ведь во все вре-

мена ими восхищались и завидовали им как раз из-за той силы, благодаря которой они подчиняли себе людей, зажигая их бредовой идеей, будто они следуют за вождями сверхъестественного происхождения. Действительно, людей укрепляет и воодушевляет вера в то, что кто-то обладает сверхъестественными способностями: и в этом смысле исступление, как говорит Платон, принесло людям величайшие блага. – В отдельных редких случаях эта доля безумия могла, видимо, быть и средством, удерживавшим подобные абсолютно эксцессивные натуры в твердых границах: в жизни индивидов бредовые представления и впрямь часто служат лекарством, хотя сами по себе они – яды; но в конце концов в каждом гении, который верит в свою божественность, яд действует в той степени, в какой этот «гений» стареет: в качестве примера можно вспомнить о Наполеоне, чей характер кристаллизовался, став мощным монолитом, безусловно, именно под воздействием его веры в себя и свою звезду и вытекающего из такой веры презрения к людям – этот-то сплав и отличает его от всех современных людей, – пока, наконец, та же самая вера не перешла у него в чуть ли не безумный фатализм, не отняла у него быстрый ум и проницательность и не стала причиной его гибели.

165

Гениальность и ничтожество. – Вещи абсолютно пустые и поверхностные иногда могут получаться как раз у оригинальных художнических умов, тех, что черпают все из себя, в то время как натуры более зависимые, так называемые таланты, набитые воспоминаниями обо всем хорошем в искусстве, создают что-то сносное даже в состоянии слабости. А вот если оригинальные умы расстаются с собственной природой, им не поможет никакое воспоминание: они становятся пустыми.

166

Публика. – От трагедии народ на самом деле не хочет ничего, кроме того, чтобы на славу растрогаться: надо ведь как-

нибудь и поплакать; а вот артист, который смотрит трагедию впервые, наслаждается остроумными техническими нововведениями и приемами, ходом и развитием темы, новыми поворотами старых мотивов, старых идей. Его точка зрения – это эстетическая точка зрения творческого человека на произведение искусства; первая же из названных, та, для которой важен только сюжет, – это точка зрения народа. О каком-то среднем случае нечего и говорить: такой человек – ни народ, ни артист и сам не знает, чего хочет, а потому и наслаждение его неопределенно и невелико.

167

Артистическое воспитание публики. – Если один и тот же мотив не разрабатывается на сто ладов различными мастерами, то публика не приучается к иным интересам, кроме сюжета; но в итоге она и сама сможет воспринять нюансы, тонкие новые находки в трактовке этого мотива и насладиться ими, если давно знает мотив по многочисленным обработкам и притом уже не чувствует прелести новизны, не испытывает напряженного интереса.

168

Художник и его присные должны идти в ногу. – Переход от одной ступени стиля к другой должен совершаться настолько медленно, чтобы не только художники, но и слушатели, зрители участвовали в нем, хорошо понимая, что тут происходит. Иначе между художником, творящим свои произведения на отдаленной вершине, и публикой, которой уже не добраться до той вершины и которая в конце концов с досадой снова опускается еще ниже, разверзается огромная пропасть. Ведь если художник больше не поднимает свою публику, то она быстро опускается, причем падение ее тем глубже и опасней, чем выше вознес ее гений: художник подобен в этом орлу, из когтей которого падает, на свою беду, черепаха, вознесенная им под облака.

169

Происхождение комического. – Если принять в соображение, что на протяжении нескольких сотен тысяч лет человек был животным, в высшей степени подверженным страху, и что все внезапное, неожиданное заставляло его быть готовым к борьбе, а то и к смерти, мало того, что даже позднее, в условиях общественной жизни, вся безопасность покоилась на ожидаемом, на традиционном в словах и поступках, то не покажется удивительным, что человек расслабляется, переходит к противоположности страха, при виде всего внезапного, неожиданного в слове и деле, если оно вдруг появляется, не неся с собою угрозы и вреда: тогда дрожащее от страха, сжавшееся в комок существо вскакивает на ноги, расправляется – человек смеется. Этот переход от временного страха к кратковременному веселью называют *комическим.* Напротив, в феномене трагического человек от великого, длительного веселья быстро переходит к великому страху; но поскольку великое длительное веселье среди смертных встречается куда реже, чем поводы для страха, то на свете куда больше комического, чем трагического; люди много чаще смеются, чем испытывают потрясение.

170

Художническое честолюбие. – Греческие художники, к примеру трагики, творили, чтобы побеждать; все их искусство немыслимо вне соревнования: Гесиодова добрая Эрида, воплощение честолюбия, давала крылья их гению. И это честолюбие требовало в первую очередь, чтобы их творчество сохраняло свое высшее великолепие *в их собственных глазах*, а, значит, в соответствии с тем, как понимали великолепие *они*, не считаясь с господствующим вкусом и общепринятым мнением о великолепии в произведениях искусства; потому-то Эсхил и Еврипид долгое время не имели успеха, пока, наконец, не *воспитали* для себя критиков, которые оценивали их творения по меркам, заданным ими самими. Значит, победы над соперниками они домогаются по своим собственным правилам, перед своим собственным судом, –

они и на самом деле хотят *быть* более великолепными; а после они требуют, чтобы извне одобрили эти их правила, подтвердили их суждения. Домогаться чести означает тут «стараться стать выдающимися и желать, чтобы так казалось и публике». Если нет первого, но несмотря на это есть жажда второго, то говорят о *тщеславии*. Если нет последнего, но его отсутствие нарочно игнорируют, то говорят о *гордости*.

171

Необходимое в произведении искусства. – Те, что так много рассуждают о необходимом в произведении искусства, преувеличивают, если сами они художники, in majorem artis gloriam[1], или же по невежеству, если они профаны. Формы художественного произведения, выражающие заложенные в нем идеи, то есть представляющие собою его способ говорить, всегда несут в себе что-то необязательное, как и язык во всех своих видах. Ваятель может добавить множество мелких черт или опустить: то же касается исполнителя, будь он актером или, если говорить о музыке, виртуозом либо дирижером. Эти многочисленные мелкие нюансы и тонкости полировки сегодня доставляют ему наслаждение, а завтра нет, они делаются больше ради художника, чем ради художества, ведь и ему, при всей строгости и самодисциплине, которых требует от него выражение основной идеи, порою хочется полакомиться да поиграть, чтобы не сделаться сычом.

172

Заставить забыть об авторе. – Пианист, исполняющий произведение того или иного композитора, сыграет лучше всего, если заставит забыть об авторе и если будет казаться, что он рассказывает какую-то историю из своей жизни или переживает что-то прямо сейчас. Конечно, если сам он не *является* чем-то значительным, то любой слушатель освищет болтливость, с какой он рассказывает нам что-то из своей жизни. Значит, он

1 к вящей славе искусства (*лат.*).

должен суметь завладеть воображением слушателя. Сказанное еще раз объясняет все изъяны и глупости «виртуозничанья».

173

Corriger la fortune[1]. – В жизни великих художников бывают злосчастные случайности, вынуждающие, к примеру, живописца главную свою картину набросать в виде мимолетной идеи или, к примеру, вынудившие Бетховена оставить миру в некоторых своих великих сонатах (скажем, в великой си-бемоль-мажорной сонате) лишь черновой клавираусцуг какой-то симфонии. Тогда более позднему художнику приходится пробовать задним числом исправлять жизнь великого: так, например, поступил бы тот, кто, будучи мастером всевозможных оркестровых эффектов, пробудил бы для нас к жизни ту самую симфонию, обреченную на мнимую смерть в фортепиано.

174

Миниатюризация. – Некоторые вещи, события или лица не переносят перспективного сокращения. Невозможно уменьшить группу Лаокоона до размеров фарфоровой безделушки; без своих собственных размеров она обойтись не может. И куда реже случается, что от природы мелкая вещь переносит увеличение; по этой-то причине биографам все-таки скорее будет удаваться уменьшенный портрет великого человека, чем увеличенный – малого.

175

Чувственность в современном искусстве. – Нынешние художники часто совершают промах, делая ставку на чувственное воздействие своих произведений, ведь у их слушателей и зрителей нет уже всей полноты чувств, и произведение,

---

1 Исправлять судьбу (*фр.*).

совершенно вразрез с замыслом художника, подводит их к «безгрешным» переживаниям, очень близким к скуке. – Их чувственность, может быть, начинается как раз там, где заканчивается чувственность художников, и, стало быть, сходятся те и другие самое большее в одном пункте.

176

Шекспир как моралист. – Шекспир много размышлял о страстях и, вероятно, благодаря своему темпераменту был очень близко знаком со многими из них (драматурги в общем-то – люди довольно злые). Но он не мог говорить о них, подобно Монтеню, а только вкладывал в уста страстных персонажей наблюдения *о* страстях: это, правда, противоречит природе, но делает его драмы столь содержательными, что все остальные кажутся в сравнении с ними пустыми и с легкостью вызывают всеобщее отвращение. – Сентенции Шиллера (в основе которых почти всегда лежат мысли неверные или незначительные) суть как раз сентенции театральные и как таковые воздействуют очень сильно: сентенции же Шекспира делают честь его образцу, Монтеню, поскольку в отточенной форме содержат в себе вполне глубокие мысли, но оттого они слишком далеки и слишком тонки для глаз театральной публики, то есть не оказывают воздействия.

177

Искусство быть услышанным. – Надо хорошо владеть не только исполнительским искусством, но и искусством быть услышанным. Если зал слишком велик, скрипка издаст только жалкий писк даже в руках величайшего мастера; тогда легко спутать мастера с первым попавшимся халтурщиком.

178

Неполнота как сильнодействующее средство. – Фигуры на рельефах воздействуют на воображение так сильно потому,

что словно собираются выйти из стены, но какое-то внезапно появившееся препятствие мешает им это сделать: вот так же иногда подобное рельефу, неполное представление идеи, целой философской системы воздействует сильнее, чем их исчерпывающее изложение, – здесь больше дела предоставлено работе зрителя, он получает стимул продолжить, додумать до конца то, что выступает перед ним в резкой светотени и самостоятельно преодолеть то препятствие, которое пока мешало выйти наружу всей картине целиком.

179

Против оригиналов. – Искусство наиболее ярко проявляется там, где облачается в одежды самых избитых тем.

180

Коллективный ум. – Хороший писатель располагает не только собственным умом, но и умами своих друзей.

181

Двоякая недооценка. – Беда глубоких и ясных писателей в том, что их принимают за поверхностных и потому не тратят на них усилий: а счастье неясных – в том, что читатель бьется над ними и засчитывает в их пользу радость, которую ему доставляет собственное рвение.

182

Отношение к науке. – Настоящего интереса к той или иной науке нет у тех, кто начинают испытывать к ней энтузиазм, лишь когда сами сделали в ней открытия.

183

Ключ. – Та одна мысль, которой, на осмеяние и поношение людей незначительных, придает большой вес человек значительный, представляет собою для последнего ключ к потайным сокровищницам, для первых же – не более чем кусок старого железа.

184

Непереводимое. – То, что в книге переводу не поддается, – ни самое лучшее в ней, ни самое худшее.

185

Парадоксы у автора. – Так называемые авторские парадоксы, от которых коробит читателя, часто находятся вовсе не в книге автора, а в голове читателя.

186

Остроумие. – Самые остроумные из авторов вызывают едва заметную улыбку.

187

Антитеза. – Антитеза – узкие врата, сквозь которые заблуждению легче всего прокрасться в истину.

188

Мыслители как стилисты. – Мыслители, как правило, пишут плохо, потому что передают нам не только свои мысли, но и способ, каким они их мыслили.

189

Идеи в поэзии. – Поэты торжественно подвозят нам свои идеи – на колеснице ритма: обыкновенно потому, что те не умеют ходить пешком.

190

Грех против ума читателя. – Когда автор отрекается от своего таланта только для того, чтобы стать на одну доску с читателем, то совершает единственный смертный грех, которого тот ему никогда не простит: конечно, в случае, если заподозрит хоть что-то подобное. Вообще-то о человеке можно говорить что угодно плохое, но в способе, *каким* это говоришь, надо уметь снова поставить на ноги его тщеславие.

191

Предел честности. – Даже самый честный писатель употребляет на одно слово меньше, чем надо, когда хочет закруглить период.

192

Лучший автор. – Лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем.

193

Драконовский закон против писателей. – К любому писателю следовало бы относиться как к преступнику, который лишь в редчайших случаях заслуживает оправдания или помилования: вот это был бы способ справиться с растущим избытком книг.

194

Шуты современной культуры. – Средневековым придворным шутам соответствуют наши фельетонисты; это все та же порода людей – они живут вполразума, они остроумны, они не знают меры, они придурковаты, порой они нужны лишь для того, чтобы первыми подвернувшимися под руку идеями и болтовней смягчить пафос настроения и заглушить воплями слишком мрачный и торжественный колокольный звон великих событий; прежде они прислуживали монархам и знати, теперь прислуживают партиям (так в партийном духе и партийной дисциплине все еще продолжает жить добрая доля старого верноподданнического духа, присущего общениюя народа с монархами. Но и все сословие современных литераторов ушло от фельетонистов очень недалеко – это «шуты современной культуры», которых можно судить не так строго, если смотреть на них как на не вполне вменяемых. Идея писательства как профессии по справедливости должна бы считаться своего рода сумасшествием.

195

Вслед за греками. – В наше время большая помеха познанию – то, что все слова сделались туманными и надутыми из-за многовековой преувеличенности чувства. Высшая ступень культуры, подчиняющаяся господству (но не тирании) познания, нуждается в великом отрезвлении чувства и большой сжатости языка; пример такой сжатости нам оставили греки эпохи Демосфена. Преувеличенность свойственна всем современным сочинениям; и даже если они написаны просто, их слова все равно *переживаются* как чересчур эксцентричные. Строгая рассудительность, сжатость, холодность, простота, даже преднамеренно доводимые до предела, вообще сдержанность чувства и молчаливость – только все это и может тут помочь. – Кстати, в качестве контраста эта холодная манера писать и чувствовать сделалась сейчас весьма привлекательной: правда, в этом заключена другая опасность. Ведь жгучий холод может служить возбуждающим средством не хуже, чем высокая температура.

196

Хорошие рассказчики – плохие разгадчики. – Изумительная психологическая достоверность и последовательность, насколько она может проявляться в поступках персонажей хороших рассказчиков, нередко находится в прямо-таки смехотворном противоречии с неопытностью психологического мышления этих последних: поэтому их культура кажется настолько же замечательно высокой в один момент, насколько плачевно низкой – в следующий. Уж слишком часто им случается явно *неверно* объяснять собственных героев и их поступки, – это просто бросается в глаза, настолько невероятной звучит в их устах суть дела. Величайший пианист, возможно, не слишком-то много за свою жизнь думал о технике игры, о специальных добродетелях, пороках, полезности и возможностях воспитания каждого пальца (о дактилической этике), а, говоря о подобных вещах, делает грубые ошибки.

197

Сочинения наших знакомых и их читатели. – Мы читаем сочинения знакомых (друзей и недругов) надвое, в том смысле, что наше знание о них постоянно нашептывает нам сбоку: «Это его сочинение, это знак его внутренней жизни, его жизненного опыта, его дарования», а другой вид знания при этом в свой черед пытается установить, каков же итог произведения сам по себе, какой оценки оно заслуживает вообще, независимо от своего автора, насколько оно обогащает знание в целом. Оба эти способа чтения и оценки, естественно, только мешают друг другу. Да и беседа с другом даст хорошие плоды познания лишь в том случае, если оба в конечном счете думают только о сути дела, позабыв, что они друзья.

198

Ритмические жертвы. – Хорошие писатели изменяют ритм некоторых периодов просто потому, что не признают за обычным читателем способности понимать изначальное

тактовое строение периода: потому-то они и облегают участь читателя, отдавая предпочтение более знакомым ритмам. – Эта оглядка на ритмическую тупость нынешних читателей исторгла уже немало стенаний, ведь многое уже пало жертвой ради нее. – А хорошие композиторы – разве с ними не происходит чего-то подобного?

199

Неполнота как эстетическое возбуждающее средство. – Неполнота часто воздействует сильнее, чем законченность – главным образом, например, в панегириках: в них нужна именно некоторая возбуждающая неполнота (как иррациональный элемент, преподносящий воображению слушателя мираж моря и, подобно туману, скрывающий противолежащее побережье), то есть ограниченность восхваляемого. Подробные и масштабные упоминания об известных заслугах человека всегда оставляют простор подозрению в том, что этим его заслуги и исчерпываются. Тот, кто хвалит сполна, ставит себя над хвалимым, и кажется, будто он смотрит на него *сверху вниз.* Поэтому полнота создает эффект ослабления.

200

Сочинять и учить с предусмотрительностью. – Тот, кто написал впервые и вошел во вкус сочинительства, почти из всего, чем занимается и что переживает, усваивает лишь то, о чем можно профессионально рассказать. Он думает уже не о себе, а о писателе и его публике; он стремится понимать, но не для собственного употребления. Тот, кто учит, как правило, неспособен заниматься чем-то особенным для собственного блага, он постоянно думает о благе своих учеников, и любое новое знание радует его лишь в той мере, в какой он может передать его им. Под конец он смотрит на себя как на кладезь всяческого знания и вообще как на средство, махнув рукой на себя как человека.

201

Плохие писатели нужны. – Плохие писатели должны быть всегда, ведь они удовлетворяют вкусы неразвитых, незрелых возрастных категорий, у которых тоже есть свои потребности, как и у более взрослых людей. Будь человеческая жизнь длиннее, число созревших индивидов оказалось бы большим или по крайней мере равным числу незрелых; а так намного больше людей умирают слишком молодыми, иными словами, неразвитые умы с плохим вкусом всегда в большинстве. Вдобавок они с куда большим напором, свойственным юности, жаждут удовлетворения своей потребности – и *добывают себе* плохих авторов.

202

Недолет и перелет. – Читатель и автор часто не понимают друг друга оттого, что автор слишком хорошо знает свою тему и считает ее чуть ли не скучной, а потому избавляет себя от примеров, которые ему известны сотнями; читателю же предмет незнаком, и если ему не предоставляют примеров, он с легкостью поддается соблазну думать, что тема трактуется не слишком удачно.

203

Исчезнувшая подготовительная школа искусства. – Наиболее ценным, чем занимались в гимназиях, были упражнения в латинской стилистике: ведь они-то и были *упражнением в искусстве*, в то время как целью всех остальных занятий было всего лишь получение знаний. Ставить на первое место немецкое сочинение – варварство, ведь у нас нет образцового, взращенного на публичном красноречии немецкого стиля; но уж если целью немецкого сочинения ставить помощь в развитии мышления, то, разумеется, будет лучше до поры до времени игнорировать при этом стиль вообще, то есть разделить между собой упражнения в мышлении и упражнения в изложении. Последние должны состоять в

том, чтобы на разные лады варьировать заданное содержание, а не в том, чтобы самостоятельно выдумывать его. Простое изложение заданного содержания было задачей латинской стилистики, на которую у прежних учителей был давно утраченный тонкий слух. Тот, кто раньше выучивался хорошо писать на каком-нибудь современном языке, был обязан этим таким упражнениям (теперь поневоле приходится идти учиться к старым французам); и более того: он получал представление о высотах и сложностях формы и приобретал подготовку к искусству вообще единственно правильным способом – через практику.

204

Темнота и избыток света вперемешку. – Писатели, которые в общем не умеют ясно излагать свои мысли, в частностях питают пристрастие к самым сильным, преувеличенным характеристикам и суперлативам: благодаря чему возникают эффекты освещения, какие бывают на запутанных лесных тропинках при свете факелов.

205

Живопись в литературе. – Предмет значительный лучше всего изображать, беря для картины краски от самого предмета, подобно химику, а затем пользуясь ими, подобно артисту: тогда рисунок проступает из границ и переходов красок. При таком методе картина обретет прелесть природной стихии, придающей значительность самому предмету.

206

Книги, которые учат плясать. – Есть писатели, которые, представляя невозможное как возможное и говоря о нравственности и гениальности так, будто то и другое зависит лишь от настроения, от желания, порождают в читателе чувство веселой свободы, словно человек поднялся на цыпочки и

пустился в пляс исключительно от одного только душевного удовольствия.

207

Недозревшие мысли. – И недозревшие мысли обладают своей ценностью, подобно тому как ценны *сами по себе* не только зрелый возраст, но и юность и детство, вовсе не заслуживающие оценки лишь как переходы и мосты. Поэтому не стоит мучить того или иного поэта утонченными толкованиями – надо радоваться смутности его горизонта, словно для него еще открыт путь к другим мыслям. Тут стоишь на пороге; ждешь, словно из земли сейчас покажется клад: и на душе у тебя так, будто вот-вот повезет, и раскроются какие-то глубины мысли. Поэты отчасти предвосхищают радость мыслителей, ухватывающих нить главной идеи, и тем самым разжигают наше любопытство, отчего мы начинаем гоняться за ней: а та порхает над нашею головой, показывая красивейшие крылья мотылька, – и все-таки ускользает от нас.

208

Почти вочеловечившаяся книга. – Всякий писатель каждый раз заново поражается тому, как книга, только от него отделившись, начинает жить собственной жизнью; ему так и чудится, будто оторванная ножка какого-то насекомого отныне идет себе своим путем. Бывает, что он почти забывает о ней, бывает, что поднимается над изложенными в ней взглядами, а бывает, что и сам больше не понимает ее, потеряв те крылья, на которых летал, сочиняя эту книгу: а она меж тем ищет себе читателей, заново воспламеняет жизнь, внушает ощущение счастья или страх, порождает новые творения, становится душою замыслов и поступков – короче говоря, она живет, словно существо, наделенное разумом и душой, не будучи все же человеком. – Счастливейший жребий вытянул тот автор, который в старости может сказать, что все жизнетворные, дающие силу, поднимающие ввысь, просветляющие мысли и переживания, ка-

кие в нем были, продолжают жить в его сочинениях, а сам он – не более чем седой пепел, в то время как огонь не угас нигде и передается дальше. – Если же и вовсе рассудить, что любой человеческий поступок, а не только книга, на какой-то лад становится поводом к другим поступкам, решениям, мыслям, что все происходящее связано нерушимою скрепой со всем, чему еще только суждено произойти, то возникнет понимание настоящего *бессмертия*, какое только и бывает, – бессмертия в движении: то, что однажды приводило в движение, уже включено в целостную связь всего сущего, подобно насекомому в янтаре, и увековечено.

209

Найти радость в старости. – Мыслители, равно как и люди искусства, укрывшие лучшие стороны своей личности в произведениях, ощущают чуть ли не злорадство, наблюдая, как время медленно подтачивает и разрушает их тело и ум: они словно видят сквозь щель вора, вскрывающего их шкатулку для денег, но сами-то знают, что шкатулка пуста, а все ценности укрыты в надежном месте.

210

Плодотворный покой. – Прирожденные аристократы духа не слишком усердны; их творения появляются и падают с дерева в тихий осенний вечер, а новые приходят без торопливой алчности и усилий стряхнуть их. Жажда во что бы то ни стало сотворить что-нибудь – вещь пошлая, говорящая о ревности, зависти, честолюбии. Если человек что-то собою представляет, то он, в общем-то, не горит желанием что-нибудь сделать – и все-таки делает очень многое. Есть порода людей, стоящая еще выше «продуктивных».

211

Ахилл и Гомер. – Тип связи между Ахиллом и Гомером воспроизводится постоянно: один переживает и ощущает, дру-

гой это *описывает*. Подлинный писатель лишь облекает в слова чужие аффекты и опыт жизни; на то он и художник, чтобы на основании своих ограниченных ощущений догадываться о многом. Художники – отнюдь не люди сильных страстей, но нередко они *выдают* себя за таких, бессознательно чувствуя, что нарисованным ими страстям будет больше веры, если собственная их жизнь подтвердит их опыт в этой области. Ведь стоит только дать себе волю, потерять контроль над собой, спустить с цепи свой гнев, свое вожделение, как все немедленно завопят: какие страсти в нем играют! Совсем иное дело – со страстью глубоко укрытой, гложущей и часто поглощающей личность: кто ее переживает, тот уж точно не описывает ее в драмах, музыке или романах. Художники часто бывают *распущенны* – в той мере, в какой они как раз не художники: но это уже другая тема.

212

Древние сомнения в действенной силе искусства. – Неужто сострадание и страх и впрямь, как считал Аристотель, находят свою разрядку в трагедии, и слушатель возвращается домой более холодным и спокойным? Неужто истории с привидениями делают людей менее боязливыми и суеверными? Для некоторых физических процессов, к примеру, для удовлетворения любовной страсти, верно, что с утолением потребности наступает успокоение и временное отступление влечения. Но страх и сострадание – не потребности определенных органов в этом смысле, требующие своего облегчения. А в принципе и удовлетворение каждого влечения можно *усилить* упражнением, несмотря на его периодические ослабления. Сострадание и страх в каждом отдельном случае могли, вероятно, смягчаться и находить разрядку в трагедии: но в целом под общим воздействием трагедии они, видимо, возрастали, и Платон все-таки оказался прав, полагая, что слушатель трагедии в общем становился более боязливым и сентиментальным. Тогда сам трагик неизбежно был наделен мрачным, исполненным ужаса миросозерцанием и мягкой, возбудимой, слезливой душою, и если трагические поэты, равно как и население целых горо-

дов, особенно сильно ими восхищавшееся, вырождались, становясь все более неумеренными и невоздержанными, то это вполне соответствовало бы мнению Платона. – Но какое вообще право имеет наша эпоха давать ответ на великий вопрос Платона о моральном воздействии искусства? Даже если бы у нас и было искусство – то откуда мы взяли бы воздействие, хоть *какое-нибудь* воздействие искусства?

213

Радость от бессмыслицы. – Может ли человек радоваться бессмыслице? Но ведь он радуется ей, с тех самых пор на свете и смеются; мало того, можно утверждать, что почти всюду, где есть счастье, есть и радость от бессмыслицы. Если жизненный опыт выворачивается наизнанку, целесообразное обращается в бесцельное, необходимое – в произвольное, но только так, чтобы такая операция не вредила, а была лишь шаловливым представлением, то это приводит нас в восхищение, потому что разом освобождает от давления всего необходимого, целесообразного и сообразного с опытом, в чем мы обычно видим своих неумолимых хозяев; мы играем и смеемся, когда ожидаемое (которое почти всегда внушает робость и заставляет напрягаться) так и не происходит, но нам это ничем не вредит. Это радость рабов во время сатурналий.

214

Облагораживание действительности. – В любовном влечении люди видели божество и чувствовали на себе его воздействие с благоговейной благодарностью – и с ходом времени этот аффект оказался пронизанным высокими представлениями, а, значит, фактически сильно облагородился. Таким путем некоторые народы, пользуясь этим искусством идеализации, сделали болезни великими вспомогательными силами культуры: к примеру, греки, в раннюю эпоху страдавшие от крупных нервных эпидемий (вроде эпилепсии и пляски святого Витта) и создавшие себе из этой ситуации великолепный тип вакханки. – Ведь греки вовсе не были

наделены мужицким здоровьем: их секрет заключался в том, что они почитали как бога даже болезнь, если только в ней крылась *сила*.

215

Музыка. – Музыка сама по себе имеет не столь уж большую значимость для глубин нашей души, она не так уж глубоко волнует, чтобы считаться *непосредственным* языком чувства; все дело в том, что ее древнейшая связь с поэзией вложила в ритмику, то есть в усиление и ослабление тона, так много символики, что теперь мы *воображаем*, будто она обращается прямо *к* душе и исходит *из* души. Драматическая музыка возможна лишь в том случае, если музыкальное искусство освоило огромную область символических средств, работая с жанрами песни, оперы и разнообразнейшими экспериментами из сферы звукоподражания. «Абсолютная музыка» – это либо чистая форма – для грубого музыкального восприятия, где удовольствие доставляет звучание, в принципе подчиненное такту и динамике, либо символика форм, сделавшаяся доступной пониманию уже без поэзии в результате длительного развития обоих искусств, связанных между собою, когда, наконец, музыкальная форма оказалась насквозь пронизанной нитями понятий и чувств. Люди, отставшие в своем музыкальном развитии, могут воспринять чисто формалистически ту же самую пьесу, которую более развитые поймут как целиком символическую. Музыка как таковая никогда ни глубока, ни полна значимости, она не говорит ни о «воле», ни о «вещи самой по себе»; такое интеллект мог вообразить лишь в эпоху, захватившую для музыкальной символики всю совокупность внутренней жизни. Сам же интеллект и *вложил* эту многозначительность в звук, совершенно так же, как в пропорции архитектурных линий и масс он вложил значительность, в принципе абсолютно чуждую законам механики.

216

Жест и язык. – Древнее языка – подражание жестами, происходящее непроизвольно; оно еще и сейчас, когда язык жестов повсюду оттеснен на задний план и цивилизованные люди владеют своими мускулами, настолько сильнó, что мы не в состоянии глядеть на движения чужого лица без иннервации собственного (можно подметить, как симуляция зевка вызывает настоящий зевок у того, кто это видит). Подражательный жест вызывал у подражающего то же ощущение, какое этот жест выражал в лице или теле того, кому подражали. Таким образом люди учились понимать друг друга: так и дитя учится понимать свою мать. В общем болезненные ощущения, вероятно, могли выражаться и жестами, которые сами вызывали боль (скажем, когда рвут на себе волосы, бьют себя в грудь, через силу искривляют и напрягают лицевые мышцы). И наоборот: жесты удовольствия сами доставляли удовольствие и потому хорошо годились для сигнализации о понимании (смех как проявление чувства щекотки, доставляющего удовольствие, в свою очередь служил выражением других доставляющих удовольствие ощущений). – Как только люди научились понимать друг друга с помощью жестов, в свою очередь появилась *символика* жеста: иными словами, люди сумели договориться о языке ударений – сперва звук *и* жест (который он символически замещал) производились одновременно, а потом остался только звук. – Вероятно, в древности в этом смысле часто делалось то же самое, что происходит нынче перед нашими глазами и ушами в развитии музыки, главным образом драматической: если изначально музыка без интерпретирующего ее танца (жестикуляции) – просто шум, то благодаря длительному привыканию к упомянутому соседству музыки и движений слух приучается к мгновенному истолкованию звуковых рисунков и, наконец, взбирается на высоту быстрого понимания, где уже вовсе не нужно видеть движение глазами, а можно *понимать* композитора и без этого. Тогда говорят об абсолютной музыке, то есть о музыке, в которой все тотчас понимается символически без посторонней помощи.

217

Утрата высшим искусством чувственной конкретности. – Наш интеллект благодаря художественному развитию музыки в новое время приобрел исключительную опытность – и наш слух становился все более интеллектуальным. Поэтому сейчас мы спокойно воспринимаем куда большую звучность, более сильный «шум», ведь мы научились прислушиваться к *разумному началу в нем* гораздо лучше, нежели наши предки. И вот все наши чувства фактически несколько притупились именно потому, что тотчас интересуются разумом, то есть тем, «что это значит», а не тем, «что это такое»: такое притупление можно усматривать, к примеру, в безусловном господстве темперации тонов; ведь слух, которому еще доступны более тонкие различия, скажем, между до-диез и ре-бемоль, теперь составляет исключение. В этом отношении наш слух огрубел. Кроме того, музыке покорилась безобразная, изначально враждебная чувствам сторона мира; вместе с этим на удивление расширилась сфера ее власти, в особенности способность выражать все возвышенное, ужасное, таинственное; наша музыка наделяет теперь даром речи те вещи, что прежде были немыми. На такой же лад некоторые живописцы сделали более интеллектуальным наше зрение, выйдя далеко за пределы того, что раньше считали удовольствием от цвета и формы. И здесь та сторона мира, которая всегда слыла безобразной, оказалась освоена художественным рассудком. – Так к чему же все это привело? Чем более тренированными в мышлении становятся зрение и слух, тем ближе они подходят к той границе, за которой утрачивают чувственную конкретность: удовольствие перемещается в головной мозг, а сами органы чувств становятся невосприимчивыми и слабыми, и символическое все больше заступает место сущего, – вот этим-то путем мы так уверенно подходим к варварству, как подходили бы и каким-нибудь другим. Покамест всё еще твердят: мир абсолютно безобразен, но *означает* он некий более прекрасный мир, чем любой из существовавших. Но чем больше рассеивается и улетучивается аромат амбры, исходящий от значения, тем реже встречаются те, которые еще воспринимают его: остальные же в конце концов обра-

щаются лицом к безобразному, пробуя вкушать его непосредственно, что, однако, никогда им, видимо, не удается. Например, в Германии поток развития музыки – сдвоенный: на одной стороне десятитысячная толпа с все более высокими и утонченными запросами, все внимательнее вслушивающаяся в «это означает», на другой – неимоверное количество людей, которые с каждым годом все менее способны понимать значимое хотя бы в виде наглядно-чувственного безобразия, а потому с возрастающим наслаждением научаются хвататься за безобразное и отвратительное в музыке само по себе, то есть за низменно-чувственное.

218

Камень – больше камень, чем прежде. – Мы в целом уже не понимаем архитектуру, по крайней мере далеко не так, как понимаем музыку. Мы переросли символику линий и фигур, так же как отвыкли от звуковых эффектов риторики, и этот вид материнского молока образования уже не был для нас тем, что мы всасывали с первых мгновений своей жизни. В греческом или христианском здании все изначально что-то означало, и притом в отношении некоего высшего порядка вещей: и это ощущение неисчерпаемой значительности словно окутывало здание волшебным покрывалом. Красота входила в общее целое лишь мимоходом, но не наносила существенного ущерба основному ощущению жуткой возвышенности, освященной близостью богов и магии; красота самое большее смягчала *ужас*, – но этот-то ужас и был фундаментом всего. – Что для нас нынче означает красота здания? То же, что красивое лицо бездушной женщины: нечто сходное с маской.

219

Религиозное происхождение музыки нового времени. – Музыка чувства возникла в недрах восстановленного католицизма, после Тридентского собора, благодаря Палестрине, который выразил в звуках вновь пробудившийся сердечный, полный

глубокого волнения дух; позже, в лице Баха, – и в протестантизме, насколько последний был углублен пиетистами и избавился от своего изначально догматического характера. Предпосылкой и необходимой предварительной ступенью того и другого процесса возникновения были музыкальные штудии в эпоху Ренессанса и Проторенессанса, и главным образом – распространенные тогда ученые занятия музыкой и, в сущности, научное удовольствие от трюков гармонии и голосоведения. С другой стороны, ее предшественницей была, видимо, и опера: профаны выражали в ней свой протест против музыки, ставшей уж чересчур ученой и холодной, и хотели вернуть душу Полигимнии. – Без такой глубоко религиозной перенастройки, без музыкального излияния глубоко взволнованной души музыка осталась бы в ученом или оперном русле; дух контрреформации – это дух современной музыки (ведь упомянутый пиетизм в музыке Баха – тоже своего рода контрреформация). Вот как глубоко мы увязли в долгу перед религиозной жизнью. – В сфере искусства музыка была *Контрренессансом*, сюда же относится несколько более поздняя живопись Мурильо, а, вероятно, и барочный стиль вообще – во всяком случае, больше, чем зодчество Ренессанса или древности. И в нашу эпоху позволительно спросить так: если бы наша новейшая музыка могла двигать камни, то сложила бы она из них что-нибудь в стиле античной архитектуры? Сильно сомневаюсь в этом. Ведь движущая сила этой музыки – аффект, наслаждение от повышенных, надрывных настроений, желание любой ценой подхлестнуть себя, сильный эффект рельефной светотени, сочетание экстатического и первобытного, – все это уже однажды было движущей силой изобразительных искусств и породило новые каноны стиля: но этого не было ни в античности, ни в эпоху Ренессанса.

220

Потустороннее в искусстве. – Не без глубокой боли начинаешь понимать, что художники всех эпох на высшем подъеме своего творчества возносили до ранга мистического преображения как раз те представления, которые сегодня мы

признаем ложными: они возвеличивали религиозные и философские заблуждения человечества, и делать это они не смогли бы без веры в их абсолютную истинность. А если вера в такую истинность вообще приходит теперь в упадок, если радужные краски по краям полосы человеческого познания и фантазий выцветают, то никогда больше не расцвести тому роду искусства, который, подобно divina commedia[1], картинам Рафаэля, фрескам Микеланджело, готическим монастырям, предполагает не только космическую, но и метафизическую значимость объектов искусства. Это когда-нибудь породит трогательную легенду, будто были на свете подобное искусство, подобная художественная вера.

221

Революция в поэзии. – Строгая узда, которую французские драматурги наложили на себя в отношении единства действия, места и времени, в отношении стиля, стихосложения и синтаксиса, отбора слов и мыслей, была столь же важной школой, как школа контрапункта и фуги в становлении современной музыки или как Горгиевы фигуры в греческом красноречии. Такая тугая узда может показаться абсурдом; тем не менее нет другого способа выбраться из натурализма, кроме как сперва до крайности (возможно, до степени крайнего произвола) ограничивать себя. На такой лад мало-помалу люди искусства учились с изяществом продвигаться даже по самым узким мостикам, перекинутым через головокружительные бездны, и в виде добычи приносили домой величайшую гибкость движений: очевидное доказательство этого предоставляет любому ныне живущему история музыки. Здесь-то и видно, как оковы шаг за шагом слабеют, пока, наконец, не кажутся сброшенными совсем: эта *видимость* – наивысший результат необходимого развития искусства. В современной поэзии не было столь удачного выпутывания из добровольно наложенных на себя оков. Французский образец формы, то есть единственный современный образец формы в искусстве, Лессинг сделал в Германии

1 «Божественной комедии» (*ит.*).

посмешищем, а ссылался на Шекспира; таким-то образом оказалась утрачена постепенность упомянутого высвобождения и сделан скачок к натурализму – иными словами, назад, к первоистокам искусства. Гёте попробовал освободиться от него, найдя в себе силы все снова на разный лад себя связывать; но раз уж нить развития однажды оборвалась, то и у самого одаренного художника дело доходит лишь до беспрестанного экспериментирования. Большей или меньшей точностью своих формальных средств Шиллер был обязан модели французской трагедии, модели, которую он бессознательно чтил, хотя и отрицал, и держался довольно независимо от Лессинга (чьи опыты в драме он, как известно, не признавал). У самих французов после Вольтера в одночасье исчезли крупные таланты, которые сумели бы продолжить развитие трагедии от необходимости к упомянутой видимости свободы; позже они по немецкому образцу тоже переметнулись к своего рода руссоистскому естественному состоянию искусства, взявшись за эксперименты. Стоит время от времени перечитывать хотя бы Вольтерова «Магомета», чтобы со всею ясностью представить себе, что́ оказалось раз и навсегда утраченным для европейской культуры в результате названного внезапного прекращения традиции. Вольтер был последним из великих драматургов, который обуздал греческою мерой свою многоликую, не поддающуюся даже величайшим трагическим бурям душу, – ему по плечу оказалось то, что еще не бывало по плечу ни одному немцу, поскольку французская натура много родственнее греческой, нежели натура немецкая; был он и последним великим писателем, в обращении с прозаической речью обладавшим греческим слухом, греческой художнической добросовестностью, греческой прелестью и простотой; мало того, он был одним из последних людей, способных сочетать в себе величайшую свободу ума с безусловно нереволюционным умонастроением, не будучи переменчивыми и трусливыми. С той поры во всех сферах возобладал современный склад ума с его метаниями, с его ненавистью к мере и границам, сначала разнузданный революционной лихорадкой, а потом, когда им овладел страх и ужас перед собою, снова наложивший на себя узду, – но это была уже узда логики, а не эстетической меры. Правда, благодаря

названному развязыванию уз мы можем наслаждаться поэзией всех народов, всем, что выросло в потаенных местах, всем первозданным, дикорастущим, экзотически-прекрасным и исполински-произвольным, начиная с народной песни и заканчивая «великим варваром» Шекспиром; мы, смакуя, лакомимся местным колоритом и костюмами эпохи, – эти удовольствия до сих пор были чужды всем эстетически развитым народам; мы обильно пользуемся «преимуществами варварства», свойственными нашей эпохе, которые Гёте пускал в ход против Шиллера, чтобы выставить в наиболее благоприятном освещении бесформенность своего «Фауста». Но надолго ли все это? Ведь прорвавшийся поток поэзии всех стилей всех народов мало-помалу *неизбежно* смоет ту почву, на которой еще был бы возможен тихий сокровенный рост; ведь все поэты *неизбежно* сделаются экспериментирующими подражателями, очертя голову копирующими прежнее, какой бы огромной ни была их изначальная сила; наконец, публика, разучившаяся видеть настоящее достижение художника в *обуздании* изобразительной способности, в организующем овладении всеми средствами искусства, *неизбежно* будет все больше ценить силу ради силы, цвет ради цвета, идею ради идеи, мало того, вдохновение ради вдохновения, а потому отнюдь не станет наслаждаться исходными принципами и условиями художественного произведения, если они не будут представлены ей *в изолированном виде*, а напоследок выдвинет естественное требование, чтобы сам же художник *непременно* преподнес их ей в изолированном виде. Да, «бессмысленные» оковы французско-греческого искусства сброшены, но незаметно мы привыкли считать бессмысленными любые оковы, любые ограничения, – и вот искусство прямиком движется к разложению, затрагивая при этом (что, правда, в высшей степени поучительно) все фазы своих начатков, своего детства, своего несовершенства, своих былых авантюр и эксцессов: оно, разрушаясь, интерпретирует свое зарождение, свое становление. Один из великих художников, на чей инстинкт можно положиться со спокойной совестью и чьей теории не хватило всего лишь *еще* тридцати лет практики, лорд Байрон, изрек однажды: «Что касается поэзии в целом, то чем больше я над этим размышляю, тем крепче во

мне такое убеждение: все мы идем по ложному пути, все без исключения. Все мы следуем до основания ложной революционной системе, – наше или следующее поколение еще придет к тому же убеждению». И это тот самый Байрон, который говорит: «Шекспир для меня – самый скверный образец, хотя и самый выдающийся из поэтов». А разве зрелое эстетическое сознание Гёте второй половины его жизни не свидетельствует, в сущности, о том же самом? То сознание, которое позволило ему настолько опередить целый ряд поколений, что в общем и целом можно сказать: влияние Гёте еще и не начиналось, его время еще впереди? Именно потому, что его натура долгое время удерживала его в русле революции в поэзии, именно потому, что он в полной мере испытал на себе, сколько новых находок, перспектив, вспомогательных средств было косвенно обнаружено и словно выкопано из-под руин искусства вследствие упомянутого крушения традиции, его преображение и обращение в зрелые годы оказались столь весомыми: они означают, что он ощутил в себе глубочайшую потребность снова найти традицию в искусстве и силой своего воображения заставить снова увидеть в сохранившихся развалинах и колоннадах храма по меньшей мере древнее совершенство и полноту, если уж силы рук было слишком мало, чтобы строить там, где для одного только разрушения понадобилось такое неимоверное могущество. Поэтому он жил в искусстве, как в воспоминании об истинном искусстве: его поэтическое творчество сделалось подмогой воспоминанию, пониманию древних, давно исчезнувших эпох искусства. Конечно, его требования к силам новой эпохи были невыполнимы; но печаль по этому поводу с лихвою умерялась радостью от того, что некогда они *были* выполнены и что даже мы еще способны участвовать в этом выполнении. Не индивидуальные характеры, а более или менее идеализированные маски; не реальность, а аллегорическая абстракция; приметы времени, местный колорит, выцветшие чуть ли не до неразличимости, сделавшиеся мифическими; нынешние настроения и проблемы нынешнего общества, втиснутые в простейшие формы, лишенные своего возбуждающего, тревожащего, патологического качества, ставшие *пассивными* во всех отношениях, кроме эстетического; никаких новых

сюжетов и характеров, а только старые, давно обжитые – и их беспрестанное оживление и перелицовка: вот искусство, каким его *понимал* Гёте в поздние годы, каким его *созидали* греки, да и французы тоже.

222

Что остается от искусства. – Верно, что если стоять на точке зрения определенных метафизических предпосылок, то ценность искусства сильно возрастает, – к примеру, если верить в неизменность характера и в то, что глубинные основы мироздания беспрестанно выражаются во всех характерах и поступках: тогда творение художника становится образом *постоянно пребывающего* начала, в то время как для наших глаз художник всегда может придавать своему образу значимость лишь на какой-то срок, ведь человек как род подвержен становлению и изменчив, да и отдельный человек не бывает чем-то застывшим и неизменным. – Таким же образом дело обстоит и при другой метафизической предпосылке: положим, наш зримый мир – только явление, как считают метафизики, тогда искусство оказалось бы стоящим довольно близко к реальному миру: ведь между миром явлений и миром сновидений было бы тогда слишком много общего; а остающееся различие делало бы значимость искусства большей, нежели значимость природы, поскольку искусство изображает неизменную форму, типы и образцы природы. – Но обе предпосылки ложны: какое же место остается еще теперь для искусства, если это признать? Прежде всего, оно тысячелетиями учило с интересом и удовольствием глядеть на жизнь в любом ее проявлении и давать нам такое ощущение жизни, чтобы мы в конце концов воскликнули: «Какой бы ни была жизнь, она хороша!». Эта заповедь искусства – получать от своего существования удовольствие и воспринимать человеческую жизнь как часть природы, но без чрезмерного сочувствия, просто как закономерно развивающийся объект, – эта заповедь глубоко пустила в нас корни, а нынче она снова является на свет дня в виде всемогущей потребности познания. Можно было бы отречься от искусства, но это не нанесло бы ущерба

заповеданной им способности: точно так же отказ от религии не привел к потере приобретенных благодаря ей подъемов чувств и воспарений духа. Как изобразительное искусство и музыка служат мерилом эмоционального богатства, действительно добытого и приумноженного религией, так же и привитые искусством интенсивность и многообразие жизнерадостных ощущений все еще будут, вероятно, требовать своего удовлетворения и после его исчезновения. Человек научный – эволюционная ступень, которая придет на смену человеку эстетическому.

223

Вечерняя заря искусства. – Как старость, вспоминая о своей юности, справляет праздники памяти, так и все человечество вскорости станет относиться к искусству – оно послужит поводом для трогательных воспоминаний о радостях юности. Возможно, никогда прежде искусство не понималось так глубоко и прочувствованно, как теперь, кода так и кажется, что вокруг него витают чары смерти. Вспомним о том греческом городе на юге Италии, который раз в году еще справлял свои греческие празднества в скорби и слезах оттого, что иноземное варварство все больше торжествует над его традиционными нравами; никогда, верно, люди так не смаковали эллинское начало, нигде не упивались этим золотым нектаром с таким сладострастием, как эти вымирающие эллины. Пройдет немного времени, и на художника будут смотреть как на великолепный пережиток и оказывать ему почести, словно какому-то дивному чужеземцу, сила и красота которого излучают счастье ушедших эпох, – почести, какие мы неохотно воздаем таким же, как мы сами. Быть может, лучшее в нас – наследие строя чувств прежних эпох, получить прямой доступ к которым мы теперь уже не умеем; солнце уже зашло, но небеса нашей жизни еще пылают и светятся его светом, хотя мы больше и не видим его.

Пятый раздел
Признаки высшей и низшей культуры

224

Облагораживание через вырождение. – История учит, что у всех народов лучше всего сохраняется *то* племя, где у большинства людей есть ярко выраженное чувство солидарности, возникшее вследствие тождества привычных для них и непререкаемых принципов, то есть вследствие общей для них веры. Здесь крепнут хорошие, дельные нравы, здесь индивид учится подчинению, а его характер получает стойкость уже в виде подарка, который потом закрепляется воспитанием. Такие крепкие, построенные из однородных, норовистых индивидов сообщества подвержены опасности постепенно закрепляемого наследованием отупения, подобно тени сопровождающего любого рода стабильность. *Интеллектуальный прогресс* в подобных сообществах – дело индивидов более распущенных, более ненадежных и морально менее стойких: это те люди, которые пробуют все новое и вообще разнообразное. Огромное их множество гибнет по своей слабости, не оказав заметного влияния; но в общем, особенно если такие люди оставляют потомство, они вызывают ослабляющее воздействие, а время от времени наносят стабильному элементу сообщества рану. Как раз в размякшем месте этой раны обществу как бы *окулируется* что-то новое; но чтобы впустить эту новизну в свою кровь и ассимилироваться к ней, совокупная сила общества должна быть достаточно большой. Всюду, где назревает прогресс, величайшее значение получают вырождающиеся натуры. Частичное ослабление в целом должно предшествовать всякому прогрессу. Самые сильные натуры *сохраняют* тип, а слабые содействуют его *развитию.* – Что-то похожее на это относится и к отдельному человеку; вырождение, уродство,

даже порок и вообще телесный или нравственный изъян редко не сказываются преимуществом в каком-нибудь другом отношении. К примеру, хворый человек, живущий в воинственном и беспокойном племени, возможно, получит больше стимулов для уединения и потому станет спокойнее и мудрее, у одноглазого будет лучше видеть уцелевший глаз, слепец станет глубже глядеть в душу и уж во всяком случае острее слышать. Поэтому пресловутая борьба за существование кажется мне не единственной точкой зрения, с которой можно объяснить развитие или усиление человека, целой породы людей. Скорее, должно иметь место сочетание двух факторов: это, во-первых, рост стабильной силы благодаря связыванию умов в вере и чувстве солидарности; во-вторых, возможность продвижения к высшим целям благодаря тому, что появляются выродившиеся натуры и вследствие этого – локальные ослабления и ранения стабильной силы; всякое продвижение вперед делает вообще возможным именно натура более слабая как более тонкая и свободная. Народ, который где-то дает трещину и слабеет, но в целом еще силен и здоров, может получить инфекцию новизны, усвоив ее себе на пользу. Задача воспитания отдельного человека гласит: сделать его настолько твердым и уверенным в себе, чтобы уже ничто не могло сбить его с пути в целом. Но в таком случае воспитатель должен наносить ему раны или использовать раны, наносимые ему судьбой, и вот когда его уже гложет боль и он чувствует нужду, тогда-то и можно окулировать в его раны что-то новое и первосортное. Его целостная природа воспримет их в себя, а позднее даст почувствовать облагораживание в своих плодах. – Что касается государства, то Макиавелли говорит, что «как устроено правление, совсем не так-то уж и важно, хотя люди полуобразованные мыслят иначе. Великой целью искусства управления государством должна быть *долговечность*, которая компенсирует все другое, поскольку она куда важнее, нежели свобода». Неуклонное развитие и облагораживающая окулировка могут зиждиться только на прочно заложенном фундаменте гарантированной величайшей долговечности. Правда, этому, как водится, будет противиться опасный напарник всякой долговечности – авторитет.

225

Свободный ум – понятие относительное. – Свободным умом называют того, кто мыслит иначе, чем от него ждут на основании его происхождения, среды, его сословия и должности, или же на основании господствующих воззрений эпохи. Он – исключение, а умы пленные – правило; последние упрекают его в том, что его свободные принципы либо порождаются маниакальным стремлением поражать, либо и вовсе говорят о свободном образе действий, то есть о таком, который несовместим с пленной моралью. Еще иногда утверждают, что те или иные свободные принципы надо выводить из чудаковатого и сумасбродного склада ума; но это говорит только злоба, которая и сама не верит в то, что говорит, а просто хочет этим уязвить: ведь признаки превосходящей добротности и проницательности интеллекта обыкновенно написаны на лице свободного ума столь отчетливо, что умы пленные довольно хорошо их читают. Но оба других объяснения свободомыслия добросовестны; многие свободные умы в действительности и появляются первым или вторым путем. Но потому-то принципы, к которым они приходят этими путями, могут все же быть более верными и надежными, чем принципы пленных умов. В познании истины важно ее *получить* и не важно, каким мотивом руководствовался ищущий и на каком пути он ее нашел. Если свободные умы правы, то пленные не правы, и это верно независимо от того, что первые пришли к правде, исходя из своей безнравственности, а другие, исходя из нравственности, до сих пор коснели в неправде. – И вообще суть свободного ума не в том, что он придерживается более верных взглядов, а скорее в том, что он отрешился от общепринятого, все равно, одержал ли он при этом победу или потерпел поражение. Но все-таки, как правило, на его стороне окажется истина или по крайней мере дух исследования истины: ведь он доискивается причин, а остальные – веры.

226

Откуда берется вера. – Выбирая ту или иную установку, пленный ум руководствуется не причинами, а привычкой; к примеру, он христианин – не потому, что получил знания о различных религиях и на этом основании сделал свой выбор; он англичанин – не потому, что принял решение в пользу Англии; просто быть христианином и быть англичанином – состояния, которые он нашел в готовом виде и согласился жить в них без всякой причины, подобно тому как человек, родившийся в винодельческой местности, приучается пить вино. Потом, побыв христианином и англичанином, он, возможно, даже разыскал кое-какие причины держаться своей привычки; эти причины можно опровергнуть, но общая его установка все равно останется прежней. Давайте, скажем, заставим пленный ум привести свои основания против бигамии – тут-то мы и узнаем, зиждется ли его истовая защита моногамии на причинах или на привычке. Привычка к умственным принципам без всяких на то оснований и называется верой.

227

Обратный вывод от следствий к причинам и беспричинности. – Все государства и общественные институты – сословия, брак, воспитание, право – все они сильны и устойчивы только благодаря вере в них пленных умов, то есть благодаря отсутствию причин, по крайней мере благодаря активному неприятию вопросов о причинах. Признаваться в этом пленные умы не любят, хорошо чувствуя, что есть тут нечто постыдное. Христианство, в большой мере невиновное в своих интеллектуальных находках, совсем не замечало этой постыдности, требовало веры и ничего, кроме веры, и страстно отвергало потребность в причинах; оно указывало на успешные результаты веры: уж вы на себе почувствуете все выгоды веры, давало оно понять, вы непременно достигнете с ее помощью блаженства. Фактически так же поступает и государство, и каждый отец подобным же образом воспитывает сына: ты просто считай это истиной, говорит

он, и тогда на себе узнаешь, как будет от этого хорошо. Но это означает, что личная *польза* от такого-то мнения должна доказывать его *истинность*, а благотворность такого-то учения должна гарантировать его интеллектуальную надежность и обоснованность. Это все равно как если бы обвиняемый сказал судьям: мой адвокат говорит безусловную истину, а потому уж давайте учтите, что́ следует из его речи, – а именно, что я безусловно должен быть оправдан. – Пленные умы выбирают себе принципы ради их полезности – вот они и предполагают, что и свободный ум тоже пытается извлечь для себя пользу с помощью своих взглядов и считает истинным только то, что наверняка идет ему впрок. Но поскольку ему, кажется, полезно как раз нечто противоположное тому, что полезно его землякам и товарищам по сословию, то они думают, будто его принципы для них опасны; они говорят или ощущают так: он не смеет быть правым, поскольку он для нас вреден.

228

Сильный, хороший характер. – Пленные взгляды, благодаря привычке ставшие инстинктом, ведут к тому, что называют силою характера. Когда человек действует, исходя из немногих, но неизменно одних и тех же мотивов, его поступки приобретают большую энергию; а если эти поступки созвучны принципам пленных умов, то они признаются ценными и заодно вызывают у того, кто их совершает, ощущение чистой совести. Немногочисленность мотивов, большая энергия поступков и чистая совесть и есть то, что называют силой характера. У человека с сильным характером отсутствует знание о многообразных возможностях и направлениях поступков; его интеллект несвободен, пленен, поскольку для одного данного случая показывает ему только, может быть, две возможности; между ними-то ему тогда и приходится неизбежно выбирать в соответствии со всей своей натурой, и он делает это легко и быстро, потому что ему не надо выбирать одну из пятидесяти возможностей. Воспитующая среда стремится из каждого человека сделать невольника, поскольку всегда показывает ему минимальное

число возможностей. Воспитатели обращаются с индивидом так, словно он – хотя и нечто новое, но обязан сделаться *повторением*. Если человек вначале предстает перед ними как что-то незнакомое, никогда не бывавшее, то они должны сделать его знакомым, бывавшим. Хорошим характером у ребенка называют проявление плененности бывавшим; ребенок, становясь на сторону плененных умов, первым делом демонстрирует пробуждающееся чувство солидарности; а позже на почве этого чувства солидарности он и становится полезным своему государству или сословию.

229

Мера вещей у плененных умов. – Плененные умы говорят о четырех родах оправданных вещей. Во-первых, оправданны все долговечные вещи; во-вторых, оправданны все вещи, которые нам не досаждают; в-третьих, оправданны все вещи, которые нам полезны; в-четвертых, оправданны все вещи, ради которых мы пошли на жертвы. Последнее объясняет, к примеру, почему война, начатая против воли народа, продолжается с воодушевлением, как только приводит к первым жертвам. – Свободные умы, выносящие свое дело на суд плененных умов, обязаны доказать, что свободные умы были всегда, то есть что свободомыслие долговечно, далее, что они не хотели бы никому досаждать, и, наконец, что в целом они приносят плененным умам пользу; но поскольку они не в состоянии убедить плененные умы в этом последнем, то доказательства в пользу первого и второго пунктов ничего им не дадут.

230

Esprit fort. – В сравнении с тем человеком, на стороне которого традиция и который поэтому не нуждается ни в каких основаниях для своих поступков, свободный ум всегда слаб, особенно, когда надо действовать; ведь ему известно слишком много мотивов и точек зрения, а потому рука его неуверенна, неопытна. Какие же есть способы сделать его все-таки *относительно сильным*, чтобы он по крайней мере смог

добиться успеха, а не сгинуть без следа? Как появляется сильный ум (esprit fort)? В частном случае это вопрос о происхождении гениальности. Откуда берется энергия, несгибаемая сила, упорство, с которыми человек страстно стремится добыть себе совершенно индивидуальное понимание мира вопреки традиции?

231

Возникновение гениальности. – Находчивость узника, с какой он ищет способов вырваться из плена, самое хладнокровное и терпеливое использование любой мельчайшей зацепки могут показать, к каким возможностям прибегает подчас природа, чтобы создать гения – это слово я прошу понимать без всякого мифологического и религиозного привкуса: она бросает его в тюрьму и до крайней степени разжигает в нем жажду свободы. – Можно выразить это и с помощью другого образа: человек шел по лесу своим путем и окончательно заплутал, но с неимоверной энергией стремится выбраться, взяв какое-нибудь одно направление, – иногда такой человек обнаруживает новую дорогу, которой никто доселе не знал: так возникают гении, которых превозносят за оригинальность. – Уже упоминалось, что стимул для этого часто дает увечье, уродство, заметный дефект какого-нибудь органа, что тогда на удивление хорошо развивается какой-нибудь другой орган, поскольку ему приходится выполнять и свою собственную работу, и, заодно, чужую. Отсюда можно догадаться о происхождении некоторых случаев блистательных дарований. – Пусть читатель приложит эти общие соображения о возникновении гениальности к специальному случаю – к возникновению полностью свободного ума.

232

Догадка о происхождении свободомыслия. – Как растут в размерах глетчеры, когда солнце в местностях близ экватора посылает вниз, на моря, больший жар, чем прежде, так же, вероятно, и ярко выраженное, распространяющееся сво-

бодомыслие может говорить о том, что где-то необычайно усилился жар чувств.

233

Глас истории. – В общем история, *кажется*, выдает относительно того, как возникает гениальность, следующую рекомендацию: истязайте и мучайте людей, – взывает она к страстям зависти, ненависти и соперничества, – со страшной силой натравливайте их, человека на человека, народ на народ, и притом на протяжении целых столетий, и тогда, возможно, словно от отлетевшей в сторону искры зажженной всем этим ужасающей энергии вдруг возгорится светоч гения; тогда воля, словно скакун, понесший от шпоры всадника, разбушуется и перекинется на какую-нибудь другую сферу. – Тот, кто уяснит себе вопрос о возникновении гениальности, а также захочет на практике применить способ, каким обыкновенно пользуется тут природа, поневоле окажется как раз в точности таким же злым и беззастенчивым, как природа. – Но, быть может, мы ослышались.

234

Чем ценна середина пути. – А может быть, право порождать гениальность принадлежит человечеству лишь на протяжении какого-то ограниченного исторического периода. Ведь от будущего человечества нельзя ожидать сразу всего того, что были способны произвести только совершенно определенные условия какой-нибудь эпохи прошлого; нельзя, например, ожидать поразительных эффектов религиозного чувства. Для этого последнего было свое время, и много чего очень хорошего никогда не вырастет снова потому, что могло вырасти только из него. Например, никогда больше не бывать религиозно ограниченному горизонту жизни и культуры. Вероятно, даже тип святого возможен лишь при известной пристрастности интеллекта, с которой, видимо, уже раз и навсегда покончено. Вот и высокая разумность, быть может, была припасена для одного этапа

истории человечества: она возникла – и возникает, поскольку мы еще живем в этот период, – когда необычайная, долгое время скапливавшаяся энергия воли в виде исключения переключилась на *умственные* задачи наследственным способом. С этой высокой разумностью будет покончено, когда такая необузданность и энергия перестанут взращиваться. Человечество, возможно, на середине своего пути, в среднюю эпоху своего существования, подходит к подлинной своей цели ближе, чем в конце. Силы, которые, к примеру, вызывают к жизни искусство, могут прямо-таки перевестись; наслаждение ложью, неточностью, символикой, опьянением, экстазом может стать презренным. Мало того, как только жизнь будет упорядочена в совершенном государстве, настоящее перестанет предоставлять стимулы для выдумки, и лишь отсталые люди станут жаждать поэтических небывальщин. Тогда уж они, конечно, будут с тоскою всматриваться в прошлое, во времена несовершенного государства, полуварварского общества – в *наши* времена.

235

Гениальность и идеальное государство противоречат друг другу. – Социалисты жаждут добиться благополучия для как можно большего числа людей. Как только они и впрямь доведут людей до неизменной родины такого благополучия – идеального государства, благополучие разрушит ту почву, из которой вырастает большой интеллект и развитая личность вообще: я имею в виду могучую энергию. Когда появится такое государство, человечество станет слишком слабым, чтобы производить гениальность. Так не стоит ли желать, чтобы жизнь сохранила свой насильственный характер и чтобы постоянно все снова нарождались необузданные силы и энергии? А вот душа теплая, сердобольная хочет как раз *устранения* этого насильственного и необузданного характера, и именно этого будет со всей страстью жаждать теплейшая душа, какую только можно себе представить: а ведь как раз этот-то необузданный и насильственный характер жизни и дал ее страсти огонь, теплоту, да и само существование; следовательно, теплейшая душа хочет устране-

ния своего фундамента, своего собственного уничтожения: но это означает, что она хочет чего-то нелогичного, что она неразумна. Высший разум и теплейшее сердце не могут ужиться в одной личности, и мудрец, выносящий жизни приговор, занимает позицию и над добротой, рассматривая ее лишь в качестве того, что следует учесть при подведении общего баланса жизни. Мудрец должен сопротивляться названным распутным желаниям неразумной доброты, поскольку для него важно сохранение его собственного типа, а в конечном счете – возникновение высочайшего разума; по крайней мере, он не станет содействовать появлению «совершенного государства», поскольку в таковом найдется место лишь для ослабевших индивидов. А вот Христос, которого мы должны считать теплейшим из сердец, требовал оболванивания людей, принял сторону нищих духом и препятствовал появлению величайшего разума: и это было с его стороны только логично. Его антипод, совершенный мудрец – это, вероятно, можно утверждать заранее, – столь же логично будет помехой появлению очередного Христа. – Государство – это умное учреждение для защиты индивидов друг от друга: если совершенствовать его чрезмерно, то оно в конце концов ослабит, даже разрушит индивида – иными словами, окончательно сорвет достижение изначальной цели государства.

236

Климатические пояса культуры. – Метафорически можно утверждать, что эпохи культуры соответствуют различным климатическим поясам, с тою только разницей, что они расположены последовательно друг за другом, а не рядом, как географические пояса. В сравнении с умеренным поясом культуры, перебраться в который – наша задача, пояс прошлого в общем и целом производит впечатление *тропического* климата. Насильственные антагонизмы, резкая смена дня и ночи, жар и буйство красок, почтение ко всему внезапному, таинственному, ужасному, быстро надвигающиеся бури, повсюду расточительный преизбыток рогов изобилия природы: а тут, в нашей культуре, светлое, но не

сияющее небо, чистый, довольно неподвижный воздух, свежесть, а порою и холод: так два эти пояса контрастируют друг другу. Если мы поглядим, как там метафизические представления со страшной силой швыряют на землю и растаптывают самые бешеные страсти, то нам покажется, будто на наших глазах кольца чудовищных змей раздавливают в тропических зарослях ревущих тигров; такие события не происходят в нашем духовном климате, наше воображение умеренно, и нам даже во сне не снилось то, что народы прошлого видели наяву. Но не стоит ли нам ощущать счастье от такой перемены, даже если признать, что художники претерпели серьезный ущерб от исчезновения тропической культуры и считают нас, нехудожников, немного слишком трезвыми? В этом смысле у художников, вероятно, есть право отрицать «прогресс», ведь и в самом деле: можно по меньшей мере сомневаться в том, что последние три тысячелетия демонстрируют поступательное развитие искусств; совершенно так же у какого-нибудь философа-метафизика наподобие Шопенгауэра не будет оснований признать прогресс, оглядываясь на четыре последних тысячелетия с точки зрения развития метафизической философии и религии. – Для нас же и само *существование* умеренного пояса культуры – это уже прогресс.

237

Ренессанс и Реформация. – В итальянском Ренессансе уже крылись все позитивные властные силы, которым мы обязаны современной культурой: это освобождение мысли, презрение к авторитетам, торжество образованности над аристократическим чванством, горячий интерес к науке и к прошлым научным достижениям человечества, раскрепощение личности, пафос правдивости и отвращение к видимости и пустому эффекту (каковой пафос воспылал в целом сонме артистических натур, с величайшею нравственной чистотой требовавших от себя совершенства в творчестве и ничего, кроме совершенства); мало того, в Ренессансе были позитивные силы, которые *до сих пор* так и не достигли столь великой мощи в нашей культуре. То был золотой

век нынешнего тысячелетия – несмотря на все его пятна и пороки. Зато немецкая Реформация выделяется как энергичный протест ретроградных умов, еще отнюдь не насытившихся средневековым мировоззрением и с глубоким недовольством, а не с ликованием, как подобало бы, воспринявших признаки его разложения – необычайное обмеление и уплощение религиозной жизни. Они со своей северной силой и жестоковыйностью отбросили людей назад, жестокостями осадного положения вызвали к жизни контрреформацию, то есть католическое христианство в состоянии самообороны, и на два-три столетия насколько задержали полное пробуждение и торжество наук, настолько же, может быть, навсегда сделали невозможным слияние античного и современного типа мышления. Великая задача Ренессанса не была решена окончательно – этому помешал протест отставшего тем временем немецкого нрава (у которого в средние века хватало ума постоянно ходить за Альпы себе на благо). Случайное и чрезвычайное стечение политических условий позволило тогда Лютеру уцелеть, а названному протесту набрать силу: ведь император его защитил, чтобы использовать его реформу как орудие давления на папу, а с другой стороны, ему тайком покровительствовал папа, чтобы использовать протестантских имперских князей в качестве противовеса императору. Без такого редкостного наложения намерений Лютера сожгли бы, как Гуса, – и тогда заря Просвещения взошла бы, наверное, несколько раньше и в более прекрасных лучах, чем мы можем себе представить сейчас.

238

Справедливое отношение к Богу в становлении. – Когда вся история культуры предстает перед нашими глазами как хаос подлых и благородных, истинных и ложных представлений, и при виде этого волнующегося моря мы близки к ощущению морской болезни, становится ясно, насколько утешительным может быть представление о *Боге в становлении*: таковой все больше открывается в перемене декораций и судеб человечества, и все это не слепая механика, бессмыс-

ленное, бесцельное и беспорядочное взаимодействие сил. Обожествление становления – метафизическая перспектива, подобная виду с маяка вниз, на море истории, – которой утешалось поколение слишком ревностно историзирующих ученых; и не стоит на это досадовать, каким бы ошибочным ни было названное представление. Лишь тот, кто подобно Шопенгауэру отрицает развитие, не почувствует, насколько убого это морское волнение истории, а поскольку он ничего не ведает о Боге в становлении и не ощущает никакой потребности в его признании, по праву может разразиться язвительными насмешками.

239

Плоды не по сезону. – Любое лучшее будущее, которого желают для человечества, в некотором отношении по необходимости есть заодно и худшее будущее: ведь думать, будто новая, более высокая ступень в развитии человечества объединит в себе все преимущества прежних ступеней и, к примеру, должна породить в том числе высшую форму искусства, – это болезненное мечтательство. Наоборот, у всякого времени года есть свои преимущества и прелести, которые исключают преимущества и прелести других сезонов. То, что выросло из религии и рядом с нею, не сможет вырасти снова, если она разрушена; самое большее – ее сбитые с толку, запоздалые потомки могут соблазнять к заблуждению на этот счет, так же как и время от времени прорывающиеся воспоминания о древнем искусстве: такое состояние говорит, конечно, об ощущении утраты, нужды, но не служит свидетельством силы, способной породить новое искусство.

240

Растущая серьезность мира. – Чем выше культура человека, тем большее число сфер оказывается недоступным для шутки, насмешки. Вольтер выражал небесам горячую благодарность за изобретение брака и церкви – и тем отменно нас повеселил. Но он и его эпоха, а до них семнадцатое столе-

тие, высмеяли все эти темы до предела; все, о чем в этой области еще пытаются острить, запоздало, но главное – слишком уж банально, чтобы соблазнить возможных покупателей. Нынче интересуются причинами; настал век всего серьезного. Теперь уже никому неохота шутить над различиями между действительностью и притязательной видимостью, между тем, что́ человек есть, и тем, чем он хочет казаться; ощущение этих контрастов совершенно изменяется, как только возникает интерес к причинам. Чем глубже человек понимает жизнь, тем меньше он будет шутить, разве что еще пошутит, может быть, самое большее над «глубиной своего понимания».

241

Гений культуры. – Если попробовать представить себе гения культуры, то каким он будет? Он настолько уверенно, как свои орудия, использует ложь, насилие, самое беззастенчивое корыстолюбие, что заслуживает только имени злобного демонического существа; но цели его, которые угадываются там и сям, велики и добры. Это некий кентавр, полуживотное, получеловек – а вдобавок у него на голове ангельские крылья.

242

Чудотворное воспитание. – Интерес к воспитанию резко возрастает лишь с того момента, когда человек отказывается от веры в Бога и в его попечение, так же как медицина расцвела лишь тогда, когда исчезла вера в чудотворные исцеления. Но все еще до сих пор верят в чудотворное воспитание: ведь люди видели, как наиболее плодотворные и могущественные представители человеческого рода появлялись на фоне величайшей путаницы, неразберихи целей, неблагоприятных условий, – так разве это могло быть естественным процессом? – Теперь, скоро и в таких случаях, они будут присматриваться внимательнее, проверять тщательнее: но никаких чудес при этом не обнаружат. Великое множество

людей в тех же самых обстоятельствах беспрестанно гибло, зато отдельные спасшиеся индивиды обыкновенно становились от этого сильнее, поскольку переносили эти плохие условия благодаря несокрушимой врожденной силе, только закалив и приумножив свою силу: вот и все объяснение чуда. Воспитание, которое больше не верит в чудеса, должно учитывать три вещи: во-первых, сколько энергии унаследовал воспитанник? во-вторых, каким образом можно разжечь в нем дополнительную энергию? в-третьих, как приспособить индивида к неимоверно разнообразным требованиям культуры, так, чтобы они не сбивали его с толку и не разрушали его своеобразия? Короче говоря, как включить индивида в контрапункт личной и общей культуры, чтобы он смог одновременно и вести тему, и быть побочною темой?

243

Врач в будущем. – Сейчас нет другой профессии, предполагающей такой большой профессиональный рост, как профессия врача: это в особенности сделалось актуальным после того, как духовным врачам, так называемым духовникам, стало уже нельзя практиковать свое заклинательское искусство при общественном одобрении, и люди образованные их уже избегают. Высшая стадия умственного формирования современного врача еще не достигнута, если он изучил наилучшие, новейшие методы лечения, приобрел в них опыт и научился делать те мгновенные заключения от следствий к причинам, которыми так славятся диагносты: он должен, сверх того, владеть красноречием, подходящим к каждой личности больного и способным его убедить, мужеством, уже один вид которого изгонял бы малодушие (червоточину всех больных), дипломатической гибкостью в посредничестве между теми, кому для выздоровления нужна радость, и теми, кто должен (и может) давать радость, чтобы помочь в выздоровлении, ловкостью полицейского агента и адвоката, позволяющей выведать душевные тайны, не разглашая их, – одним словом, хорошему современному врачу нужны приемы и достижения искусств всех других родов профессий: с таким снаряжением он ока-

жется в состоянии сделаться благодетелем всего общества, приумножая добрые дела, умственные наслаждения и творческие способности, предотвращая дурные мысли, намерения, махинации (отвратительным источником коих так часто бывает нижняя часть живота), помогая сложиться умственно-телесной аристократии (когда благословляет или предотвращает браки), благожелательно пресекая все так называемые душевные терзания и угрызения совести: лишь таким путем из «знахаря» он превратится в спасителя, и ему не нужно будет творить чудеса – так же как не нужно будет принимать распятие на кресте.

244

По соседству с безумием. – Сумма ощущений, знаний, переживаний, то есть все бремя культуры, настолько возросла, что чрезмерное возбуждение нервных и умственных сил сделалось опасным для всех и что, более того, цивилизованные классы в европейских странах сплошь подвержены неврозам, и почти в каждой многочисленной семье найдется человек, близкий к сумасшествию. Правда, люди сейчас всячески идут навстречу здоровью, но, по существу, необходимостью остается уменьшение этого напряжения чувств, этого давящего бремени культуры, уменьшение, которое, если оно будет приобретено даже ценою тяжких потерь, все-таки даст нам возможность для великой надежды на *новый Ренессанс.* Надо быть благодарными христианству, философам, поэтам, композиторам за избыток глубоко волнующих чувств: но чтобы они нас не захлестнули, нам следует призвать на помощь дух науки, который в целом дает более холодную и скептическую установку, а в особенности остужает раскаленный поток веры в окончательные истины; последний же разбушевался преимущественно благодаря христианству.

245

Отливка колокола культуры. – Культура возникла подобно колоколу, в оболочке из более грубого, низменного веще-

ства: этою оболочкой были неправда, насилие, безграничное расширение всех индивидуальных «я», всех отдельных народов. Не пора ли уже снять ее? Застыло ли жидкое ядро, сделались ли хорошие, полезные влечения, привычки благородного строя души настолько надежными и всеобщими, чтобы исчезла нужда в опоре на метафизику и религиозные заблуждения, в жестокостях и насилиях как сильнейшем связующем звене между человеком и человеком, между народом и народом? – Для ответа на этот вопрос нам уже не в помощь указания кого-нибудь из богов: тут все должна решать наша собственная проницательность. Управление земной жизнью человека в целом человек должен взять в свои руки, и его «всеведение» должно бдительно охранять дальнейшие судьбы культуры.

246

Циклопы культуры. – Кто видит те покрытые складками горные котловины, в которых лежат глетчеры, не может себе и представить, что придет время, когда на этом же самом месте водворятся долины с лугами, лесами и ручьями. Так же и с человеческой историей; в ней пробивают себе дорогу самые необузданные силы, поначалу разрушительно, но все-таки оказывается, что их деятельность была необходимой, чтобы потом здесь поселилась более мягкая цивилизованность. Ужасающие энергии – то, что называют злом, – это циклопические архитекторы и путепрокладчики гуманности.

247

Круговорот человечества. – Может быть, все человечество – лишь фаза развития определенного вида животных с ограниченным сроком существования: человек возник из обезьяны и в обезьяну же обратится, причем не существует никого, кто был бы хоть как-то заинтересован в столь странном конце комедии. Как вместе с упадком римской культуры и его важнейшей причиной, распространением христианства, верх в Римской империи взяло всеобщее обезображи-

вание человека, так же в силу грядущего упадка всей земной культуры может наступить куда большее обезображивание и в конце концов озверение человека вплоть до обезьяноподобия. – Будучи в состоянии учитывать такую перспективу, мы, возможно, как раз и окажемся в силах предотвратить подобный исход в будущем.

248

Утешительное слово безнадежного прогресса. – Наше время производит впечатление переходного состояния; старые миросозерцания, старые культуры еще частично сохранились, новые еще некрепки, не сделались привычными и потому лишены законченности и последовательности. Дело выглядит так, словно все превратилось в хаос, старое погибло, новое не годится и все больше хиреет. Но именно это происходит и с новобранцем, впервые отправившимся в поход; какое-то время он более неуверен и неуклюж, чем обычно, потому что его мускулы приводятся в движение то по старой системе, то по новой, и ни одна из них еще не может решительно взять верх над другой. Нас пошатывает, но этого не стоит пугаться и, скажем, отказываться от новых достижений. Кроме того, мы *не в состоянии* вернуться к старому, мы *сожгли* корабли; нам остается только быть посмелее, и будь что будет. – Так давайте же *шагать*, давайте хоть сдвинемся с места! Возможно, наш образ действий все-таки когда-нибудь будет выглядеть как *прогресс*; а если нет, то пусть слова Фридриха Великого окажутся сказаны и нам, причем в утешение: «Ah, mon cher Sulzer, vous ne connaissez pas assez cette race maudite, á laquelle nous appartenons»[1].

249

Болеть от прошлого культуры. – Кто уяснил себе проблему культуры, испытывает потом болезненное ощущение, как

---

1 «Ах, мой дорогой Зульцер, плохо Вы знаете эту проклятую породу, к которой мы принадлежим!» (*фр.*).

человек, унаследовавший добытое неправедным путем богатство, или как монарх, оказавшийся у власти в результате насильственных действий своих предков. С горечью думает он о своем происхождении, то устыженный, то озлобленный. Весь запас силы, жизненной воли, радости, который он прилагает к своему достоянию, нередко компенсируется глубокой усталостью: он не может забыть о своем происхождении. На будущее он глядит с унынием: его потомки – он уже предвидит это – станут болеть от прошлого, как и он сам.

250

Манеры. – Хорошие манеры исчезают в той мере, в какой уменьшается влияние придворных кругов и замкнутой аристократии: хорошо заметить, как оно слабеет каждое десятилетие, может тот, у кого наметанный глаз на публичные церемонии: видно, как они становятся все более вульгарными. Никто уже не умеет тонко преклоняться и льстить; этим объясняется тот смехотворный факт, что в случаях, когда в наши дни *приходится* выражать почтение (к примеру, в адрес крупного политического деятеля или художника), то от смущения, от нехватки ума и грации ораторы заимствуют язык глубочайших чувств, чистосердечной, беспорочной добропорядочности. Поэтому общественные торжественные собрания людей кажутся все более неуклюжими, но зато сердечными и добропорядочными, не будучи таковыми. – Так, значит, дело с манерами обстоит все хуже и хуже? Скорее, мне кажется, манеры идут глубоко вниз по кривой, и мы приближаемся к ее низшей точке. Лишь когда в обществе окончательно закрепятся его цели и принципы, став формообразующими (в то время как теперь усвоенные через подражание манеры прежних его формообразующих состояний наследуются и усваиваются со все большим трудом), появятся манеры общения, жесты и выражения межчеловеческих отношений, которые, вероятно, окажутся столь же необходимыми, простыми и естественными, как и эти цели и принципы. Все это принесут с собою лучшее распределение времени и труда, гимнастические упражнения, приспособленные так, чтобы сопровождать всякий

хороший досуг, усиленное и более строгое мышление, даже телу придающее ум и гибкость. – Здесь, конечно, можно бы вспомнить о наших ученых с некоторой насмешкой: правда ли, что они, как-никак претендующие на роль отцов этой новой культуры, отличаются тонкими манерами? Это, кажется, не так: хотя умом они довольно сознательно к этому стремятся, но плоть их слаба. Прошлое еще слишком сильно в их мускулах: ученые все еще находятся в зависимом положении, будучи наполовину светским духовенством, наполовину наемными воспитателями аристократов и аристократии, а помимо того, педантизм науки, устаревшие бездарные методы искалечили их, отняли жизненную силу. Стало быть, они, во всяком случае своей плотью, а нередко на три четверти и умом, все еще остаются придворными старой, даже дряхлой культуры, а потому и сами дряхлы; новый дух, который порою потрескивает в этих старых скорлупках, покамест годится лишь для того, чтобы внушать им неуверенность и робость. В них бродят и призраки прошлого, и призраки будущего: так что ж удивительного, если они при этом не умеют придать своему лицу любезность, не владеют приятными манерами?

251

Будущее науки. – Много удовольствия доставляет наука тому, кто в ней трудится и исследует, и совсем мало – тому, кто *усваивает* ее результаты. А поскольку все важные научные истины мало-помалу поневоле становятся будничными и общераспространенными, то исчезает даже такое небольшое удовольствие: вот так мы давным-давно перестали радоваться, выучивая наизусть столь восхитительную таблицу умножения. Если же наука доставляет все меньше радости, отнимая все больше удовольствия своими подозрениями в адрес утешительной метафизики, религии и искусства, то иссякает тот величайший источник наслаждения, которому человечество обязано чуть ли не всей своей человечностью. Поэтому высшая культура должна дать человеку двойной головной мозг, как бы два мозговых желудочка, один для восприятия науки, а другой – для восприятия

всего ненаучного: и пусть они лежат рядом, но не смешиваются друг с другом, пусть будут отдельными, изолированными; этого требует здоровье. В одной сфере помещается источник энергии, в другой – регулятор: в растопку пойдут иллюзии, однобокие мнения, страсти, а предотвращаться злокачественные и опасные последствия перегрева будут с помощью познающей науки. – Если это требование высшей культуры выполнено не будет, то дальнейший ход развития человечества можно предсказать с почти полной уверенностью: интерес к истине станет исчезать по мере того, как она будет давать все меньше наслаждения; иллюзия, заблуждение, фантастика, поскольку они связаны с наслаждением, шаг за шагом отвоюют себе принадлежавшую им некогда землю: ближайшим следствием этого будет упадок науки, обратное погружение в варварство; человечеству придется заново ткать свою ткань, распущенную им за ночь, как это делала Пенелопа. Но кто поручится нам за то, что оно всегда будет находить в себе силы для этого?

252

Радость познания. – Отчего познание, эта родная стихия исследователей и философов, связано с наслаждением? Во-первых и главным образом, оттого, что человек ощущает при этом свою силу, то есть по той же самой причине, по какой гимнастические упражнения доставляют удовольствие даже без зрителей. Во-вторых, потому что, познавая, человек поднимается над прежними взглядами и их представителями, побеждает их или хотя бы думает победить. В-третьих, потому что даже благодаря совсем незначительному новому знанию мы поднимаемся над *всеми*, чувствуя себя единственными, кто тут разбирается. Это три важнейших причины наслаждения, но в зависимости от натуры познающего имеется еще множество побочных причин. – Немаленький их список – в том месте, где никто не ожидает его найти, – дает мое паренетическое сочинение о Шопенгауэре: ее формулировками сможет довольствоваться любой бывалый слуга познания, пусть даже ему будет неприятен налет иронии, лежащий, кажется, на упомянутых

страницах. Ведь если верно, что для появления ученого «нужно, чтобы слилось воедино множество весьма человеческих влечений и влеченьиц», что ученый – правда, весьма благородный, но отнюдь не чистый металл, «состоящий из запутанного сплетения совершенно разных побуждений и импульсов», то это точно так же относится к появлению и характеру художников, философов, гениев нравственности и всех прославленных в упомянутом сочинении великих имен. *Все* человеческое в отношении его *возникновения* заслуживает иронического подхода: потому-то ирония так *мало* пользуется у людей почетом.

253

Доверие как доказательство обоснованности. – Совершенно достаточный признак добротности теории – то обстоятельство, что ее автору на протяжении *сорока лет* не выказывали никакого недоверия к ней; я же утверждаю, что не бывало еще философа, который не смотрел бы свысока, а под конец и с пренебрежением, по меньшей мере с подозрением, на систему, созданную им в юные годы. – Возможно, однако, что публично он не говорил об этой смене своих убеждений – из тщеславия или, что вероятнее у натур благородных, из милосердного стремления щадить своих приверженцев.

254

Прирост интересного. – В ходе своего высшего образования человеку становится интересным все, он умеет быстро находить в каждой теме ее поучительную сторону и указывать ту точку, где она способна заполнить брешь в его мышлении или подтвердить его идею. При этом скука все больше исчезает, исчезает и чрезмерная возбудимость чувства. Тогда он начинает ходить среди людей, как ботаник – среди растений, а себя самого воспринимает как феномен, который сильно возбуждается только своим влечением к познанию.

255

Синхронность как предмет суеверия. – Люди думают, будто между синхронными событиями есть какая-то связь. Где-то вдалеке умирает родственник и в это же время мы видим его во сне – ну так, значит... Но бесчисленные родственники умирают, а во сне мы их не видим. Так терпящие кораблекрушение творят обеты – а в храме потом что-то не видно вотивных табличек тех, что погибли. – Человек умирает, сова кричит, часы останавливаются – и все это в один и тот же ночной час: так неужто тут нет никакой связи? Такого рода фамильярные отношения с природой, которые предполагает это ощущение, льстят людям. – Подобный вид суеверия, только в утонченной форме, можно обнаружить у историков и жанровых живописцев – они обычно испытывают своего рода водобоязнь перед всеми бессмысленными совпадениями, которыми как-никак столь богата жизнь людей и народов.

256

Наука развивает умение, а не знание. – Ценность того, что человек какое-то время строго занимался какой-нибудь *строгой наукой*, определяется как раз не полученными от этого результатами: ведь они будут бесконечно малой каплей в сравнении с морем всего достойного познания. Нет, итогом бывает прирост энергии, способности делать выводы, упорного терпения; человек научился *целесообразно достигать цели.* Поэтому очень полезно побыть человеком научного склада в отношении всего, чем станешь заниматься позже.

257

Юношеская привлекательность науки. – Поиски истины сейчас все еще привлекательны потому, что всюду сильно контрастируют с заблуждением, ставшим серым и скучным; однако эта привлекательность все больше сходит на нет. Правда, мы пока еще живем в эпоху юности науки и имеем обыкно-

вение преследовать истину, словно молодую красавицу; а что будет, если в один прекрасный день она превратится в стареющую, угрюмую бабу? Исходный принцип почти во всех науках либо обнаружен в самое последнее время, либо еще не найден; наука привлекает совсем иначе, если все самое важное найдено, и исследователю осталось подобрать только жалкие осенние паданцы (с каковым ощущением можно познакомиться благодаря некоторым историческим дисциплинам).

258

Статуя человечества. – Гений культуры ведет себя, подобно Челлини, когда тот отливал своего «Персея»: расплавленного металла не хватало, но его *должно было* хватить – тогда мастер бросил в огонь блюда, тарелки и все, что попало ему под руки. Точно так же этот гений бросает в огонь заблуждения, пороки, надежды, химеры и другие вещи – из металла и похуже, и получше; ведь статуя человечества должна получиться, отливка должна быть безупречной; и что за дело, если там и сям в ход пошел материал более низкого сорта?

259

Культура мужчин. – Греческая культура классической поры – это культура мужчин. Что касается женщин, то Перикл в своей надгробной речи сказал о них все словами: они лучше всего, если среди мужчин разговор о них заходит как можно реже. – Эротическое отношение мужчин к юношам – в степени, недоступной нашему пониманию, – было единственной и необходимой предпосылкой всякого мужского воспитания (примерно так же, как у нас долгое время всякое приличное женское воспитание было основано только на любовных отношениях и браке), все идеальные представления о силе, свойственные греческой натуре, были ориентированы на это отношение, и, вероятно, с молодыми людьми никогда больше не обращались с таким вниманием, с такой любовью, с такою заботой о лучшем в них

(virtus[1]), как в шестом и пятом столетиях, – иными словами, в соответствии с прекрасными словами Гёльдерлина «ведь смертный может души своей богатство расточать с любовью щедрой». Чем более высоким воспринималось это отношение, тем на более низкую ступень сходили сношения с женщинами: здесь учитывались только деторождение и телесное наслаждение, больше ничего; никакого умственного общения с ними не было, не было даже настоящих любовных отношений. Если же, кроме того, вспомнить, что их не пускали даже ни на какие соревнования и представления, то единственным необыденным развлечением для женщин остается только их участие в религиозных обрядах. – Но когда в трагедии выводилась фигура Электры или Антигоны, то в искусстве это было еще *терпимо*, хотя в жизни неприемлемо: вот так и мы сейчас не выносим никакой патетики в *жизни*, а в искусстве любим на нее смотреть. – У женщин не было никакой другой задачи, кроме как рожать прекрасные, могучие тела, в которых характер отца сохранялся бы как можно более неизменным, и тем самым противостоять растущей нервной перевозбужденности столь высокоразвитой культуры. Это сравнительно долго поддерживало молодость греческой культуры; ведь греческий гений все снова возвращался к природе в греческих матерях.

260

Предрассудок работает на величие. – Люди явно переоценивают все большое и поражающее воображение. Происходит это от их сознательной или бессознательной убежденности в том, что очень полезно, когда кто-то бросает все свои силы на какое-нибудь одно дело, как бы превращая себя в один чудовищный орган. Для самого же этого человека, несомненно, полезнее и благотворнее *равномерное* развитие его сил; ведь любой талант – это вампир, высасывающий кровь и силу из всех других сил, а чрезмерная продуктивность способна довести самого одаренного человека чуть ли не до безумия. Да и в искусствах крайние натуры привлекают

---

1 доблесть (*лат.*).

к себе слишком много внимания; но чтобы плениться ими, нужна и гораздо более низкая культура. Люди по привычке подчиняются всему, что стремится к власти.

261

Тираны мысли. – Жизнь греков освещена лишь там, куда падает луч мифа; в других местах она мрачна. А греческие философы как раз этого-то мифа себя и лишают: не выглядит ли это так, словно они хотели уйти от солнечного света в тень, во мрак? Но ни одно растение не избегает света; эти философы, по сути дела, просто искали *более светлого* солнца, миф был для них недостаточно чистым и сияющим. Этот свет они находили в своем познании, в том, что каждый из них называл своей «истиной». Тогда, однако, познание сияло ярче; оно было еще юным и мало что знало обо всех тяготах и опасностях на своем пути; тогда оно еще могло надеяться одним махом попасть в средоточие всего бытия и оттуда разгадать мировую загадку. Эти философы свято верили в себя и свою «истину», ниспровергая ею всех своих соседей и предшественников; каждый из них был воинственным *тиранном*-насильником. Может быть, никогда на земле счастье верить в обладание истиной не было бо́льшим, но никогда не бывали более сильными и грубость, высокомерие, самодурство и злобность, подогреваемые такой верой. Они были тираннами, то есть тем, чем хотел быть каждый грек и чем он и бывал, когда *мог.* Исключение составляет, пожалуй, только Солон; в своих стихах он рассказывает, как отверг личную тираннию. Но он сделал это из любви к своему творению – законодательству; а быть законодателем – это утонченная форма тирании. Парменид тоже давал законы, а, вероятно, и Пифагор с Эмпедоклом; Анаксимандр основал город. Платон был воплощенным желанием стать величайшим законодателем в философии и основателем государств; он, видимо, ужасно страдал от того, что не реализовал главное в себе, и душа его под конец жизни была полна самой черной желчи. Чем больше греческое философствование теряло власть, тем больше внутренне страдало этой желчностью и озлобленностью; когда же различные секты вышли от-

стаивать свои истины на улицах, души всех этих женихов истины оказались целиком залитыми тиной ревности и бешенства, а стихия самодурства теперь ядом полыхала в их телах. Эти многочисленные мелкие тиранны готовы были сожрать друг друга живьем; в них не осталось ни следа любви, а собственное познание доставляло им слишком мало радости. – Да и вообще тот принцип, который гласит, что тиранны, как правило, гибнут насильственной смертью, а жизнь их потомства коротка, относится и к тираннам мысли. Их история недолга и полна насилия, их влияние быстро прекращается. Почти обо всех великих эллинах можно сказать, что они будто родились слишком поздно, – таковы Эсхил, Пиндар, Демосфен, Фукидид; для следующего поколения они уже полностью не существуют. Все это – тревожная и жуткая сторона греческой истории. Сейчас, правда, не нарадуются на евангелие от черепахи. Мыслить исторически сейчас означает примерно то, что история во все времена делалась согласно положению: «Как можно меньше событий за как можно большее время!». Ах, греческая история так быстротечна! Жизнь никогда не была столь расточительной, столь безудержной, как в ней. Я не могу заставить себя поверить, будто история греков протекала *естественно*, чем она так славится. Их одаренность была слишком многообразна, чтобы идти вперед медленными шажками, *постепенно*, как черепаха идет в состязании с Ахиллом: а ведь именно это и называется естественным ходом развития. У греков все быстро движется вперед, но так же быстро движется и вспять; работа всей машины так ускорена, что стоит в ее колеса попасть хоть одному камню, и она разлетится вдребезги. Таким камнем был, к примеру, Сократ; развитие философской науки, дотоле шедшее на диво равномерно, хотя, правда, слишком поспешно, за одну ночь было разрушено. Напрашивается отнюдь не праздный вопрос: нашел бы Платон еще более развитый тип человека-философа, навсегда для нас потерянный, если б остался неподвластным чарам сократизма? На доплатоновскую эпоху можно глядеть, как на мастерскую ваятеля таких типов. Но шестое и пятое столетия, кажется, обещали все же нечто еще большее и более высокое, чем дали в действительности; дело, однако, не пошло дальше обещаний и предвозвестий. И все-

таки нет потери более тяжелой, нежели потеря некоторого типа – новой, так и не изведанной *высочайшей возможности философской жизни.* Даже большая часть более древних типов известна нам плохо; всех философов от Фалеса до Демокрита, мне кажется, понять необычайно затруднительно; но тот, кому удастся воссоздать эти фигуры, окажется посреди картин самого сильного и чистого типа. Правда, такая способность встречается редко, ее не было даже у греков позднейшей поры, занимавшихся историей своей более древней философии; в особенности Аристотель глядел мимо, стоя перед названными фигурами. Вот и складывается впечатление, что эти великолепные философы прожили свою жизнь напрасно, а не то и вообще, что их предназначением была только подготовка задиристых и болтливых толп сократических школ. Здесь, как уже говорилось, зияет брешь, разрыв в ткани развития; видимо, стряслась какая-то большая беда, и единственное изваяние, по какому можно было бы понять смысл и цель упомянутого великого ваятельского эскиза, разбилось или не удалось: что случилось на самом деле, навсегда осталось тайной цеха. – То, что сбылось у греков – а именно, что всякий крупный мыслитель становился тираном, веря в обладание абсолютною истиной, почему и вся история мысли у греков приобрела тот же насильственный, поспешный и опасный характер, который демонстрирует их политическая история, – такой тип событий этим еще не исчерпан: много подобного совершалось вплоть до самого последнего времени, хотя и все реже, а теперь уже – вряд ли с чистой, наивной совестью греческих философов. Ведь в целом сейчас опровергающие теории и скепсис заявляют о себе с большей силой и громче. Период тираннов мысли закончился. Правда, в сферах высокой культуры, видимо, кто-то всегда будет господствовать – но отныне такое господство находится в руках *олигархов мысли.* Несмотря на все пространственные и политические границы, они образуют сплоченное сообщество, члены которого *знают* и *признают* друг друга, какие бы благосклонные или неблагосклонные оценки ни пускали в оборот общественное мнение и суждения влиятельных среди масс газетчиков и журналистов. Умственное превосходство, прежде разделявшее мыслителей, заставлявшее их враждовать, теперь обычно *связывает:* ведь как иначе

одиночки смогли бы держаться на волнах, плывя по жизни собственным путем вопреки всем течениям, если бы там и сям не видели подобных себе в тех же обстоятельствах и не брались с ними за руки в борьбе как против охлократического характера полудуховности и полуобразованности, так и против иногда имеющих место попыток установить тираннию посредством массового влияния? Олигархи друг другу нужны, они как нельзя более рады друг другу, они понимают друг друга с полуслова – но несмотря на это, каждый из них свободен, он сражается и побеждает на *своем* месте и предпочитает погибнуть, но не подчиниться.

262

Гомер. – И все-таки величайшим фактом греческой образованности остается то, что Гомер так рано стал панэллинским. На этом факте зиждется вся умственная и человеческая свобода, которой достигли греки. Но в то же время это было настоящим роком греческой образованности, ведь Гомер, сведя все воедино, все нивелировал – и тем самым разрушил более глубокие инстинкты независимости. Время от времени из глубочайших недр эллинской натуры поднимался протест против Гомера; но последний неизменно выходил победителем. Всякая большая духовная власть наряду с освободительным воздействием оказывает и порабощающее; правда, есть разница в том, кто порабощает людей – Гомер, Библия или наука.

263

Дарование. – В столь высокоразвитом человечестве, каково наше нынешнее, каждый получает от природы доступ к множеству талантов. У всякого есть *врожденный* талант, но лишь у немногих врожденность и привитость приводят к такой степени упорства, выдержки, энергии, что они и впрямь становятся талантами, а, стало быть, *становятся* тем, чем *являются*: то есть разряжают свой талант в произведениях и поступках.

264

Переоценка или недооценка умственной одаренности. – Люди, далекие от науки, но одаренные ценят любой признак ума, все равно, идет ли он по верному или по неверному пути; от человека, с которым они общаются, эти люди прежде всего ждут, чтобы он был занимателен для них, чтобы он их побуждал, воодушевлял, увлекал серьезной беседой или шуткой и уж во всяком случае защищал их от скуки, словно мощнейший амулет. Люди же научного склада знают, что дар всевозможных озарений должен быть строжайшим образом обуздан духом науки; не то, что блистает, имеет вид, возбуждает, а истина, нередко бывающая невзрачной, – вот тот плод, который он жаждет снять с древа познания. Он не имеет права проводить, подобно Аристотелю, различия между «скучным» и «занимательным», его даймон ведет его и по пустыням, и по тропическим зарослям, чтобы повсюду он наслаждался только реальным, прочным, подлинным. – Отсюда у третьеразрядных ученых возникает пренебрежение и подозрительность в отношении умственной одаренности вообще, а умственно одаренные люди, в свой черед, нередко испытывают отвращение к науке: пример тому – почти все люди искусства.

265

Научение разумности. – У школы нет более важной задачи, чем научить строгому мышлению, осторожному суждению, умению делать логические выводы: поэтому она обязана отказаться от всего, что непригодно для этих операций, к примеру, от религии. Ведь ей приходится считаться с тем, что человеческая непонятливость, привычка и нужда потом снова ослабят слишком сильно натянутый лук мышления. Однако насколько хватает ее возможностей, она должна добиваться того, что является в человеке существенным и определяющим: «ум да знанья светлый луч – все высшее, чем человек могуч», как по крайней мере считает Гёте. – Великий естествоиспытатель фон Бэр считает, что превосходство всех европейцев над азиатами состоит в привитом

школою умении первых приводить основания для своих мыслей, на что последние попросту неспособны. Европа ходила в школу логического и критического мышления, Азия все еще не научилась отделять правду от вымысла и не понимает, идут ли ее убеждения от собственных наблюдений и правильного мышления или же от фантазий. – Европу сделало Европой научение разумности: хотя в Средние века она чуть было снова не сделалась частью и привеском Азии, – то есть чуть было не лишилась духа науки, которым обязана грекам.

266

Недооценка воздействия гимназического образования. – Ценность гимназии редко видят в тех вещах, которым там действительно научаются и прочно усваивают: ее видят, скорее, в том, чему там обучают, но что гимназисты усваивают с отвращением, а потом как можно быстрее избавляются от усвоенного. Чтение классиков – с этим согласится каждый, кто получил образование, – в том виде, в каком оно практикуется повсюду, процедура просто чудовищная: с молодыми людьми, ни в каком отношении к этому не готовыми, ее проделывают учителя, которые каждым своим словом, а часто уже одним своим появлением делают хороших авторов тошнотворными. Но в этом и заключается ценность, которой обычно не признают: что эти учителя говорят на *абстрактном языке высокой культуры*, который сам по себе тяжеловесен и труден для понимания, но зато представляет собою высокую гимнастику для ума; что в их языке постоянно встречаются понятия, специальные выражения, методы, аллюзии, которых молодые люди почти никогда не слышат в семейных и уличных разговорах. Пускай ученики их только *слышат* – разум их уже невольно принимает в себя семена научного подхода. После такой дрессировки невозможно остаться чистым продуктом природы, нисколько не прикосновенным к абстрактному мышлению.

267

Изучение иностранных языков. – Изучение нескольких языков заполняет память словами, а не фактами и мыслями, а ведь это такой ларец, который у каждого человека может вместить лишь ограниченное количество содержимого. В итоге изучение языков вредит в том смысле, что внушает веру в приобретение навыков, да и на самом деле придает человеку некоторую сбивающую с толку авторитетность в общении с другими; но косвенно оно вредит еще и тем, что препятствует приобретению основательных знаний и стремлению заслужить уважение людей честным путем. Наконец, оно пагубно для тонкого языкового чутья в собственном языке: благодаря изучению иностранных языков таковое необратимо портится и гибнет. Два народа, давшие величайших мастеров стиля, греки и французы, не изучали чужих языков. – Но поскольку общение между людьми будет, вероятно, все более космополитичным, а, к примеру, уже сейчас заправский лондонский купец должен уметь объясняться на восьми языках письменно и устно, то изучение иностранных языков – это неизбежное *зло*; однако, дойдя в конце концов до крайней степени, оно вынудит человечество найти и соответствующее лекарство: в каком-нибудь отдаленном будущем у всех будет некий новый язык, поначалу – язык торговли, а потом и язык духовного общения вообще, и это так же верно, как то, что когда-нибудь появится воздухоплавание. Зачем же иначе филология на протяжении целого столетия изучала законы языка, определяя в каждом отдельном языке все необходимое, ценное, удавшееся?

268

К военной истории индивида. – В отдельной человеческой жизни, проходящей через несколько культур, мы в сжатом виде обнаруживаем битву, которая вообще-то разыгрывается между двумя поколениями, между отцом и сыном: близкое родство *обостряет* эту битву, поскольку каждая сторона беспощадно вовлекает в нее столь коротко ей знакомую внутреннюю жизнь другой стороны; поэтому такая битва

в отдельном индивиде будет всего ожесточенней; здесь каждая новая ее фаза перешагивает через предыдущие с лютой несправедливостью, не признавая их средств и целей.

269

На четверть часа раньше. – Время от времени можно увидеть человека, который опередил в своих взглядах эпоху, но всетаки лишь настолько, что предвосхищает вульгарные воззрения следующего десятилетия. Он обладает общественным мнением прежде, чем оно сделалось общественным, то есть он на четверть часа прежде других пал в объятия воззрения, заслуживающего сделаться тривиальным. Но и слава его обыкновенно громче, чем слава людей истинно великих и опередивших эпоху.

270

Искусство читать. – Всякое сильное направление одностороннее; оно похоже на направление прямой линии и, подобно ей, исключительно, то есть не соприкасается с множеством других направлений, как делают слабые партии и натуры, волнообразно шатаясь туда-сюда: а потому и филологам надо простить, что они односторонни. Восстановление и содержание в чистоте текстов, равно как и их объяснение, практиковавшееся столетиями в пределах цеха, теперь, наконец, привело к верным методам; все средневековье было абсолютно неспособно к строго филологическим объяснениям, то есть к простому желанию понять, что говорит автор, – найти эти методы было сложнейшей задачей, и надо оценить ее выполнение по достоинству. Наука в целом обрела качества последовательности и непрерывности лишь благодаря тому, что искусство правильно читать, иначе говоря, филология, оказалось на высоте положения.

271

Искусство делать выводы. – Величайший прогресс, который проделали люди, заключается в том, что они учатся *правильно делать выводы.* Это далеко не что-то естественное, как считает Шопенгауэр, говоря: «делать выводы способны все, строить суждения – немногие»: научиться делать выводы людям удалось не так уж и давно, да и сейчас это умение еще не возобладало. Неверные выводы были правилом в прежние эпохи: и неиссякаемым источником доказанности этого тезиса служат мифологии всех народов, их магия и суеверия, их религиозные культы, их системы права.

272

Годовые кольца индивидуальной культуры. – Сила и слабость умственной продуктивности зависят далеко не столько от наследственной одаренности, сколько от данной человеку величины *энергии.* Большинство молодых образованных людей тридцатилетнего возраста в этот первый солнцеворот своей жизни идут вниз и потом уже питают отвращение к новым умственным поворотам. Поэтому-то в интересах постоянно нарождающейся культуры всегда тотчас требуется новое поколение, которое, однако, тоже уходит недалеко: ведь чтобы *наверстать* культуру отца, сыну приходится почти целиком израсходовать унаследованную энергию, какой сам отец обладал в том возрасте, когда произвел на свет сына; если у него есть небольшой избыток энергии, он продвинется дальше (поскольку здесь путь проделывается во второй раз, дело идет вперед немного скорее; чтобы выучить то же, что усвоил отец, сыну нужно уже не так много сил). Люди очень энергичные, как, к примеру, Гёте, проделывают путь, какой не проделать и четырем поколениям подряд; но поэтому они слишком скоро забегают вперед, и другие люди догоняют их только в следующем столетии, и, может быть, даже не вполне, поскольку целостность культуры, непрерывность развития оказываются нарушенными из-за частых перерывов. – Люди все скорее наверстывают обычные фазы мыслительной культуры, достиг-

нутые в ходе истории. Сейчас они начинают свое приобщение к культуре религиозно настроенными детьми, и примерно на десятом году жизни эти настроения доходят в них до своего пика, а потом переходят в смягченные формы (пантеизм) по мере того, как они знакомятся с наукой; они вконец порывают с Богом, бессмертием и тому подобными вещами, но подпадают чарам метафизической философии. В конце концов и она становится для них недостоверной; зато искусство кажется им все более обещающим, а метафизика еще на какое-то время остается и сохраняется разве что преобразившись в искусство или в виде художественно просветленного настроения. Но дух науки все громче заявляет о себе – и уводит человека к естествознанию и истории, а особенно к наиболее строгим методам познания, в то время как искусство довольствуется все более второстепенной и скромной ролью. Все это обыкновенно разыгрывается в первые тридцать лет жизни. И все это – повторение урока, над которым человечество работало, может быть, тридцать тысяч лет.

273

Отступить, но не отстать. – Кто нынче все еще начинает свое развитие с религиозных чувств, а потом, возможно, долгое время продолжает жизнь в метафизике и искусстве, тот, безусловно, проделал добрую часть попятного пути и вступает в гонку с другими современными людьми в неблагоприятных условиях: он словно проигрывает в пространстве и времени. Но благодаря тому, что он побыл в тех сферах, где вольно лучатся жар и энергия и где из неиссякаемого источника вулканическим потоком постоянно извергается сила, он, если только вовремя отошел от этих сфер, тем быстрее продвигается потом вперед, его ноги становятся стремительными, его грудь научилась дышать спокойно, ровно, выносливо. – Он отошел назад лишь затем, чтобы как следует разогнаться для прыжка: потому-то в таком регрессе может крыться даже что-то устрашающее, грозное.

274

Фрагмент нашего «я» как художественный объект. – Признак высшей культуры – сознательно удерживать в себе и быть способными нарисовать точную картину тех фаз своего развития, которые люди более низкие проживают почти бездумно, а потом стирают с доски своей души: ведь это и есть высший вид живописного искусства, доступный лишь немногим. Для этого необходимо искусственно изолировать такие фазы. Занятия историей вырабатывают способность к подобной живописи, поскольку, приковывая наше внимание к какому-то отрезку истории, жизни народа или человека, постоянно побуждают нас сосредотачиваться на совершенно определенном горизонте мыслей, на определенной интенсивности чувств, на преобладании одних, отступлении назад других. Чувство истории заключается в умении быстро реконструировать такие системы мыслей и чувств на основании имеющихся данных – вот как от вида случайно уцелевших одиночных колонн да остатков стен в уме складывается картина разрушенного храма. Ближайший результат этого – то, что мы начинаем смотреть на наших ближних как на подобные, совершенно определенные, системы, как на представителей различных культур, то есть как на нечто необходимое, но изменчивое. А, с другой стороны, – то, что мы выделяем фрагменты истории нашего собственного становления и научаемся рассматривать их самостоятельно.

275

Киники и эпикурейцы. – Киники распознают связь между учащением и усилением страданий цивилизованных людей и умножением их потребностей; значит, они понимают, что избыток мнений о прекрасном, приличном, подобающем, отрадном должен порождать изобильные источники наслаждения, но равным образом и источники отвращения. В соответствии с этим пониманием они умаляют себя, отказываясь от множества таких мнений и уклоняясь от некоторых требований культуры; тем самым они обретают ощуще-

ние свободы и прилива сил; и мало-помалу, когда привычка делает их образ жизни выносимым для них, чувство отвращения в них и впрямь начинает встречаться реже и бывает слабее, нежели у цивилизованных людей, и они уподобляются домашнему животному; кроме того, все их ощущения сопровождаются прелестью контраста – да и глумиться они тоже умеют от сердца, так что благодаря этому они снова высоко поднимаются над сферой ощущений, свойственных животным. – У эпикурейцев та же позиция, что и у киников; обычно те и другие отличаются только темпераментом. Но эпикурейцы используют свою более высокую культуру, чтобы добиться независимости от расхожих мнений; они возвышаются над этими мнениями, в то время как киники ограничиваются своим негативизмом. Они как бы идут по безветренным, надежно закрытым, полутемным проходам, а над ними, на ветру, шумят верхушки деревьев, давая им понять, какой бурный мир находится снаружи. А киники словно расхаживают там, снаружи, на бурном ветру, голыми, закаляясь до бесчувственности.

276

Микрокосм и макрокосм культуры. – Лучшие открытия относительно культуры человек делает в себе самом, когда обнаруживает, что в ней правят две разнородные силы. Положим, кто-то настолько же сильно любит изобразительное искусство или музыку, насколько увлечен духом науки, и не видит возможности разрешить это противоречие, уничтожив одну силу и дав полную свободу другой: тогда ему останется только выстроить из себя такое большое здание культуры, чтобы в нем могли обитать обе эти силы, хотя и в разных его концах, а между ними гостили примиряющие, посредничающие силы, много большие, нежели те, поскольку в случае необходимости им предстоит уладить вспыхнувшую ссору. Но такое здание культуры в отдельном человеке будет обладать величайшим сходством со строением культуры в целые эпохи истории и постоянно давать полезные сведения об этом последнем путем аналогии. Ведь всюду, где расцветала великая архитектура культуры, ее задачей

было принуждать к согласию противоборствующие силы путем еще более могущественного сосредоточения остальных, не столь непримиримых сил, благодаря чему противоречия в ней не подавляются и не сковываются.

277

Счастье и культура. – Вспоминая обстановку своего детства, мы бываем потрясены: летний домик, церковь с кладбищем, пруд и лес – на все это мы смотрим снова, страдая. Нас охватывает жалость к себе – ведь чего только мы не выстрадали с тех пор! А тут все вещи еще полны такого покоя, такой вечности: мы сами так изменились, так далеко ушли; мы встречаем даже кое-кого из тех, над кем время поработало не *больше*, чем над каким-нибудь дубом: крестьян, рыбаков, лесных жителей, – они все те же. – Потрясение, жалость к себе при виде более низкой культуры есть признак культуры более высокой; откуда следует, что счастья эта последняя отнюдь не прибавила. Кто хочет снять с жизни именно урожай счастья и удовольствия, тому достаточно всего лишь неизменно уклоняться от высокой культуры.

278

Аллегория танца. – Нынче надо считать главным признаком большой культуры вот что: когда человек обладает такой силой и гибкостью, чтобы, с одной стороны, сохранять чистоту и строгость в познании, а с другой, в иные моменты, – уметь признать как бы преимущество в сто шагов за поэзией, религией и метафизикой и глубоко ощущать их властную силу и красоту. Занимать подобную позицию между двумя столь различными интересами – дело очень трудное, ведь наука требует абсолютного господства своего метода, а если это требование не удовлетворять, то возникает другая опасность – безвольных шатаний между двумя различными побуждениями. Так вот: можно на мгновение приоткрыть решение этой трудной проблемы хотя бы с помощью аллегории: для этого надо припомнить, что *танец* – не то

же самое, что вялое шатание между двумя различными побуждениями. Высокая культура будет выглядеть подобной отважному танцу: потому-то, как уже говорилось, для нее и нужно так много силы и гибкости.

279

Об облегчении жизни. – Главный способ облегчить себе жизнь – идеализация всех ее событий; но на примере живописи стоит уяснить себе, что значит идеализация. Живописец ждет, что зритель не станет вглядываться в картину слишком дотошно, слишком детально, он принуждает его отойти несколько назад и смотреть уже оттуда; живописец поневоле рассчитывает на совершенно определенное расстояние между зрителем и картиной; мало того, ему приходится предполагать даже столь же определенную остроту зрения у этого последнего; он не может себе позволить ни малейших колебаний в оценке таких вещей. Стало быть, всякий, кто стремится идеализировать свою жизнь, не должен стремиться так уж пристально в нее вглядываться – ему надо всегда удерживать взгляд на известном расстоянии от нее. Этим приемом владел, к примеру, Гёте.

280

Осложнение как облегчение и наоборот. – Многое из того, что на некоторых ступенях развития человека осложняет ему жизнь, на более высоких ступенях служит к ее облегчению, потому что такого рода люди познали в жизни осложнения и похуже. Но бывает и обратное: так, например, у религии два лица, что зависит от того, смотрит ли на нее человек снизу вверх, ожидая от нее облегчения своего бремени и нужды, или же сверху вниз, как на оковы, надетые на него, чтобы он не поднялся в воздух слишком высоко.

281

Неизбежное непонимание высшей культуры. – Тот, кто оснастил свой инструмент лишь двумя струнами, подобно ученым, у которых кроме влечения к знанию есть только еще привитое воспитанием *религиозное* влечение, не понимает людей, способных играть больше чем на двух струнах. Таково уж свойство более высокой, более *многострунной* культуры, что культура более низкая всегда истолковывает ее превратно; это, к примеру, имеет место, когда искусство считают скрытой формой религиозных переживаний. А люди, у которых кроме религии нет за душой ничего, даже науку понимают как поиск религиозных переживаний, – так глухонемые не знают, что такое музыка, если не зримое движение.

282

Жалобные песни. – Возможно, к преимуществам наших времен относится то, что они приносят с собою отступление в тень, а подчас пренебрежение к vita contemplativa[1]. Однако приходится признать, что наше время бедно великими моралистами, что Паскаля, Эпиктета, Сенеку, Плутарха уже почти не читают, что труд и прилежание – вообще-то сопровождающие великую богиню здоровья – порой, кажется, свирепствуют, словно болезнь. У людей нет времени на раздумье и на задумчивый покой – поэтому они больше не оценивают взгляды, отличные от собственных: им достаточно такие взгляды ненавидеть. При нынешнем чудовищном ускорении жизни ум и глаза привыкают смотреть и судить только наполовину или неверно, и каждый становится похожим на пассажиров железной дороги, которые знакомятся со страной и народом, не выходя из вагона. Самостоятельная и осторожная позиция в познании расценивается чуть ли не как своего рода сумасшествие, свободный ум дискредитирован, и в особенности учеными, которые не чувствуют, что его искусству подходить к вещам свойственны их основательность, их муравьиное прилежа-

---

1 созерцательность, созерцательная жизнь (*лат.*). См. прим.

ние, а потому больше всего на свете хотели бы загнать его в какой-нибудь отдельный уголок науки: а ведь его задача другая и более высокая – стоя на отдельном месте, командовать всем войском научных работников и просто ученых людей и указывать им пути и цели культуры. – Время для жалоб, подобных спетой здесь, еще впереди: но однажды, когда со всею силой вернется дух созерцательности, они умолкнут сами собою.

283

Главный недостаток активных людей. – У людей активных обычно нет высшего вида активности: я имею в виду активность личностную. Они активны в качестве служащих, купцов, ученых, то есть как существа видовые, а отнюдь не в качестве совершенно определенных, отдельных и единственных людей; в этом смысле они лентяи. – Беда людей активных в том, что их активность почти всегда несколько бессмысленна. Не стоит, к примеру, спрашивать у накопителя денег банкира, какова цель его неустанной активности: она бессмысленна. Активные люди катятся, как катятся камни, согласно глупости законов механики. – Все люди во все времена, да и сейчас тоже, делились и делятся на рабов и свободных; ведь тот, кто не использует две трети своего времени для себя, – это раб, и тут вообще не важно, кто он такой: государственный деятель, купец, чиновник или ученый.

284

В пользу праздных. – Ученые нынче состязаются с активными людьми в своего рода торопливом наслаждении – и, значит, кажется, ценят этот род наслаждения выше, нежели тот, который для них в действительности естествен и который на самом деле много более интенсивен: это признак того, что созерцательную жизнь ценят все меньше. Ученые стыдятся otium[1]. Но досуг и праздность – дело благородное. –

---

1 праздности, покоя (*лат.*).

Если праздность и впрямь есть *мать* всех пороков, то, стало быть, она находится по меньшей мере в ближайшем родстве со всеми добродетелями; однако человек праздный все-таки получше, чем человек активный. – Вы, надеюсь, не думаете, что словами о досуге и праздности я метил в вас, ленивцы?

285

Неупокоенность современного человека. – Чем дальше на запад, тем все сильнее современная непоседливость, и американцам обитатели Европы в целом представляются лежебоками и сластолюбцами, а ведь те и сами жужжат роями, словно пчелы и осы. Эта непоседливость растет так быстро, что плоды высшей культуры уже не успевают созреть; кажется, будто времена года стали сменять друг друга слишком скоро. Из-за нехватки покоя наша цивилизация выкипает в новое варварство. Еще ни в одну эпоху люди активные, то есть неупокоенные, не имели такого большого веса. Поэтому одной из необходимых поправок, которые надо внести в характер человечества, будет очень серьезное усиление его созерцательных качеств. Ведь уже каждый отдельный человек, в уме и душе которого царят покой и неизменность, имеет право думать о себе, что обладает не только хорошим темпераментом, но и общеполезной добродетелью, а храня эту добродетель, даже выполняет более высокую задачу.

286

В каком смысле активные люди ленивы. – Я думаю, что каждый человек должен иметь свое собственное мнение по поводу любого предмета, о котором возможно иметь мнение, ведь он и сам – особый, совершенно уникальный предмет, занимающий по отношению ко всем другим предметам новую, небывалую позицию. Но леность, лежащая на дне души деловитых людей, мешает им черпать воду из собственного колодца. – Со свободою мнений дело обстоит так же, как со здоровьем: то и другое индивидуальны, то и другое не

может быть предметом общепринятых суждений. То, что одному человеку необходимо для здоровья, для другого – уже причина болезни, а некоторые пути к свободе ума для натур более развитых могут оказаться путями к неволе.

287

Censor vitae[1]. – Смена любви и ненависти устойчиво характеризует внутреннее состояние человека, стремящегося к свободе в суждениях о жизни; он ничего не забывает и припоминает вещам все, и хорошее, и плохое. В конце концов, когда вся доска его души оказывается целиком покрыта письменами опыта, у него уже нет ни презрения, ни ненависти к существованию, но нет и любви к нему: он парит над ним, глядя то с радостью, то с печалью, и, подобно природе, настроен то по-летнему, то по-осеннему.

288

Побочный результат. – Кто всерьез хочет стать свободным, утратит при этом заодно и склонность к заблуждениям и порокам без всякого принуждения; даже раздражение и досада будут одолевать его все реже. Ведь его воля ни к чему не стремится настойчивей, чем к познанию и ведущим к нему путям, иными словами: к устойчивому состоянию, в котором он познает наиболее эффективно.

289

Ценность болезни. – Человек, лежа в кровати и болея, иногда догадывается, что болен большей частью своею службой, делами или своим обществом и что благодаря им-то и потерял всякую осмотрительность в отношении себя: эту мудрость ему дает праздность, на которую он обречен своей болезнью.

---

1 Строгий судья жизни (*лат.*).

290

Загородные ощущения. – Если горизонт жизни человека не ограничен твердыми, спокойными линиями, подобными очертаниям гор и лесов, то глубинный исток его воли и сам становится беспокойным, рассеянным и алчным, как характер горожанина: он не испытывает счастья и не дает счастья.

291

Осторожность свободных умов. – Свободомыслящие люди, живущие только познанием, очень скоро начинают считать достигнутыми цель своей внешней жизни, свою окончательную позицию в отношении общества и государства и, к примеру, охотно довольствуются мелкой должностью или доходом, которого хватает только на жизнь; ведь они приноравливаются жить так, что заметные изменения в системе внешних благ, даже перевороты в политической жизни не могут сильно повлиять на их жизнь. На все это они тратят как можно меньше энергии, чтобы, собрав все свои силы и словно надолго задержав дыхание, погрузиться в стихию познания. Тогда у них появляется надежда погрузиться глубоко, а то и достать до самого дна. – Такие умы предпочитают брать происходящее лишь за край, им не по нраву вещи во всю их ширь и с растянутыми складками: ведь в этих складках можно запутаться. – Знакомы им и будни неволи, зависимости и подчинения. Но время от времени у них должны выпадать воскресные дни свободы, иначе жизнь станет для них невыносимой. – Вполне возможно, что даже их любовь к людям станет осмотрительной и немного одышливой, ведь с миром симпатий и слепоты они стремятся соприкасаться только в той мере, в какой их принуждают к этому задачи познания. Им приходится полагаться на то, что когда обвиняющие голоса назовут их безлюбыми, то гений справедливости заступится за своих учеников и подопечных. – Есть в их образе жизни и мышления какой-то *утонченный героизм*, не считающий нужным домогаться поклонения толп, как это делает его более грубый брат, и при-

выкший идти по миру и уходить из мира без шума. Какими бы лабиринтами они ни пробирались, сквозь какие бы скалы ни просачивался временами ток их жизни, – выходя на открытое место, они идут своей дорогой светло, легко и почти бесшумно, давая солнцу пронизать себя до дна.

292

Вперед. – А потому вперед, по тропе мудрости, бодрой поступью, с верою в душе! Каким бы ты ни был, будь для себя источником знаний сам! Отбрось недовольство собственным характером, прости себе собственное «я», ведь в любом случае лестница с сотней перекладин, по которым ты можешь взобраться к познанию, – в тебе самом. Эпоха, в которую ты с сожалением чувствуешь себя заброшенным, считает тебя беспредельно счастливым этим счастьем; она призывает тебя пока не поздно приобщиться к знаниям, которых, вероятно, будет недоставать людям позднейших эпох. Не презирай себя за то, что одно время еще был верующим; выясни полностью, почему ты еще нашел верный подход к искусству. Разве ты не можешь с большею ясностью понять чудовищные этапы пути прежнего человечества как раз с помощью этого рода познаний? Разве множество великолепнейших плодов прежней культуры не произросло как раз на *той* почве, которая иногда так тебе претит, – на почве нечистого мышления? Нужно было полюбить религию и искусство, как мать и кормилицу, – иначе обрести мудрость нельзя. Но нужно уметь смотреть и за их пределы, перерасти их; оставаясь под их чарами, их не поймешь. Так же близка должна быть тебе история и осторожная игра с чашами весов, которые называются «с одной стороны – с другой стороны». Иди вспять, ступая по следам, которые человечество оставило в своем злосчастном великом шествии через пустыню прошлого: тогда ты вернее всего научишься понимать, куда не сможет или не будет иметь права зайти снова все будущее человечество. А раз ты изо всех своих сил стремишься разглядеть издали, в каком месте еще только завязывается узел будущего, то твоя собственная жизнь обретает ценность инструмента и способа познания.

Ты должен добиться, чтобы все пережитое – попытки, тупики, ошибки, иллюзии, страсти, твоя любовь и твоя надежда – без остатка растворились в твоей цели. Цель эта – самому сделаться необходимою цепью из колец культуры и, исходя из этой необходимости, сделать вывод о необходимости в развитии всеобщей культуры. Если твой взгляд стал достаточно зорким, чтобы разглядеть дно в темном колодце своего характера и познания, то хотя бы на его поверхности для тебя, быть может, окажутся различимыми далекие созвездия будущих культур. Ты думаешь, что такая жизнь, снабженная такою целью, слишком утомительна, слишком очищена от всяческих приятностей? Значит, ты еще не понял, что нет меда слаще, чем мед познания, и что нависшие над тобою тучи скорби еще послужат тебе выменем, из которого ты надоишь себе молока, чтобы подкрепиться им. И лишь когда придет старость, ты заметишь, что был послушен голосу природы, той природы, которая властвует над всем миром через наслаждение: та самая жизнь, что достигает своей вершины в старости, достигает ее и в мудрости, в мягком солнечном сиянии нескончаемого умственного восторга; то и другое, старость и мудрость, ты встретишь на одном горном хребте жизни – так уж распорядилась природа. Тогда настает пора надвинуться туману смерти, но нет причин досадовать на это. К свету – вот твое последнее побуждение; радостный возглас познания – твой последний звук.

Шестой раздел
Человек в общении

293

Благожелательное притворство. – Общаясь с человеком, нам часто приходится благожелательно притворяться, будто мы не видим насквозь мотивов его поведения.

294

Копии. – Копии людей выдающихся можно встретить нередко; большинству и здесь, как и в картинах, копии нравятся больше оригиналов.

295

Оратор. – Можно говорить в высшей степени убедительно, но так, что все будут против: это бывает, когда оратор обращается не ко всем.

296

Нехватка доверительности. – Нехватка доверительности между друзьями – ошибка, которую невозможно порицать, не делая ее неисправимой.

297

Кое-что об искусстве дарить. – Если нам приходится отвергнуть дар только потому, что преподнесен он не так, то это озлобляет нас против дарителя.

298

Самый опасный член партии. – В каждой партии есть человек, который, слишком истово высказывая основные принципы партии, склоняет остальных к отпадению.

299

Дающий советы больному. – Тот, кто дает советы больному, приобретает чувство превосходства над ним, все равно, приняты советы или отвергнуты. Поэтому ранимые и гордые больные ненавидят советчиков больше, чем свою болезнь.

300

Двоякое равенство. – Страсть к равенству может проявляться так, что человек хочет либо низвести всех других до себя (умаляя их, замалчивая их, ставя им подножку), либо подняться вместе со всеми (путем признания, помощи, радости от чужих удач).

301

Против смущения. – Лучший способ прийти на помощь очень стеснительным людям, успокоить их, заключается в их откровенном восхвалении.

302

Пристрастие к отдельным добродетелям. – Обладание такой-то добродетелью становится для нас особенно ценным не раньше, чем мы убедимся в ее полном отсутствии у нашего противника.

303

Отчего люди возражают. – Люди часто возражают против чужого мнения, хотя на самом деле им неприятен только тон, каким оно высказано.

304

Доверие и доверительность. – Тот, кто умышленно пытается установить доверительные отношения с другим человеком, обычно не уверен в том, пользуется ли его доверием. Тот, кто не сомневается в доверии, придает доверительности мало значения.

305

Равновесие дружбы. – В нашем отношении к другому человеку иногда бывает так, что полное равновесие дружбы устанавливается снова, когда на нашу собственную чашу весов мы кладем несколько крупиц несправедливости.

306

Самые опасные из врачей. – Самые опасные из врачей – это те, что, будучи прирожденными актерами, подражают прирожденным врачам, в совершенстве владея иллюзионистским искусством.

307

Когда уместны парадоксы. – Подчас, чтобы убедить умных людей в справедливости какой-нибудь мысли, бывает достаточно просто представить ее в виде чудовищного парадокса.

308

Как повлиять на мужественных. – Мужественных людей можно подтолкнуть к определенному поступку, изобразив его более опасным, чем он есть.

309

Любезности. – Любезности, оказанные нам несимпатичными людьми, мы засчитываем им как прегрешения.

310

Заставить себя ждать. – Верное средство вывести людей из себя и посеять в них озлобление – заставить их долго ждать себя. Это делает их безнравственными.

311

Против доверчивых. – Люди, дарящие нас своим полным доверием, думают таким путем получить право на наше доверие. Это ошибочное заключение; подарки не наделяют правами.

312

Способ загладить ущерб. – Чтобы доставить личное удовлетворение человеку, которому нанесен ущерб, чтобы даже

настроить его в нашу пользу, часто бывает достаточно дать ему возможность отпустить остроту на наш счет.

313

Тщеславие языка. – Скрывает ли человек свои скверные качества и пороки или откровенно в них признается, в обоих случаях его тщеславие все равно хочет получить свою выгоду: стоит только обратить внимание на то, как тонко он различает, перед кем ему эти самые качества скрывать, а перед кем быть честным и искренним.

314

Предупредительность. – Желание никого не обидеть, никому не навредить с равным успехом может свидетельствовать и о справедливом, и о робком складе души.

315

Что необходимо в спорах. – Кто не умеет класть свои мысли на лед, не должен выходить на пекло спора.

316

Круг знакомств и самонадеянность. – Человек забывает о самонадеянности, когда постоянно находится среди людей заслуженных; одиночество внушает высокомерие. Молодые люди самонадеянны, потому что вращаются в кругу равных себе, и все они ничего из себя не представляют, но хотят быть значительными.

317

Повод для нападения. – Нападения совершаются не только для того, чтобы причинить кому-то боль, одолеть его, но и, возможно, только чтобы убедиться в своих силах.

318

Лесть. – Люди, стремящиеся усыпить нашу бдительность в общении с ними с помощью льстивых заверений, используют опасное средство, как бы снотворное: но если оно не усыпляет, то тем сильнее укрепляет бдительность.

319

Хорошо писать письма. – Тот, кто не пишет книг, много мыслит и живет в условиях нехватки общения, обычно становится автором хороших писем.

320

Всего отвратительней. – Сомнительно, чтобы человек много поездивший по свету, нашел где-нибудь более отвратительные местности, чем те, что бывают на человеческом лице.

321

Сострадательные. – Натуры сострадательные и всегда готовые помочь в беде редко бывают в то же время способны радоваться вместе с другими: когда другие испытывают счастье, им делать нечего, они не нужны, они не ощущают своего превосходства и потому склонны выказывать свое неудовольствие.

322

Родственники самоубийцы. – Родственники самоубийцы ставят ему в вину, что он не остался жить из уважения к их репутации.

323

Предвидеть неблагодарность. – Тот, кто дарит что-то большое, не встречает благодарности; ведь одаренному слишком тяжело даже взять этот дар в руки.

324

В обществе скучных людей. – Никто не испытывает благодарности к умному человеку за учтивость, когда он встает на одну доску с обществом, в котором невежливо обнаруживать ум.

325

Присутствие свидетелей. – На помощь утопающему бросаются вдвойне охотней, если рядом люди, которые на это не отваживаются.

326

Молчание. – Самый неприятный для обеих сторон способ возражать в ходе полемики – надуться и молчать: ведь атакующий обычно толкует молчание как знак презрения.

327

Секреты друзей. – Мало найдется таких, которые не выложили бы секреты своих друзей, когда нет темы для разговора.

328

Гуманность. – Гуманность прославленных умов состоит в том, чтобы, общаясь с умами безвестными, из любезности держаться ошибочных мнений.

329

Смущенные. – Люди, которые чувствуют себя в обществе неловко, используют любую возможность, чтобы публично, перед всеми, показать свое превосходство над соседом, над которым они чувствуют свое превосходство, – показать, к примеру, насмешкой.

330

Благодарность. – Душу тонкую удручает сознание того, что кто-то обязан ей благодарностью; грубую душу – что кому-то обязана благодарностью она сама.

331

Признак отчужденности. – Сильнейший симптом отчужденности во взглядах двух людей – то, что в разговоре они подшучивают, но никому из них при этом не смешно.

332

Высокомерие заслуженных. – Высокомерие людей заслуженных оскорбляет больше, чем высокомерие людей без заслуг: ведь оскорбительны уже сами заслуги.

333

Опасность, скрытая в голосе. – Бывает, что во время разговора нас заставляет смутиться звук собственного голоса – и подталкивает нас к утверждениям, вовсе не соответствующим нашему подлинному мнению.

334

В разговоре. – Считать в разговоре другого в основном правым или в основном неправым – исключительно дело привычки: имеет смысл и то и другое.

335

Страх перед ближним. – Мы боимся враждебного настроения нашего ближнего, потому что опасаемся, как бы благодаря этому настроению он не распознал наши тайны.

336

Упрек как отличие. – Люди весьма уважаемые даже упрек преподносят так, что заметно их желание нас отличить. Это должно показать нам, как внимательно они нами занимаются. Мы понимаем их совершенно неверно, когда воспринимаем их упрек по существу и начинаем оправдываться; тем самым мы раздражаем их и вызываем у них охлаждение к себе.

337

Досада, вызванная чужой благожелательностью. – Мы ошибаемся относительно степени, в какой нас ненавидят или боятся: ведь хотя нам самим хорошо известно, насколько сильно мы расходимся с человеком, направлением, партией, но они-то знают нас очень поверхностно, а потому и ненави-

дят нас очень поверхностно. Мы часто встречаем в людях благожелательность, для нас необъяснимую; но если мы поймем ее причины, такое понимание будет для нас оскорбительно, потому что покажет, что нас воспринимают не вполне всерьез, как людей не слишком-то значительных.

338

Тщеславие против тщеславия. – Когда сходятся двое, чье тщеславие одинаково по силе, оба производят друг на друга скверное впечатление, ведь каждый был так занят впечатлением, которое хотел оставить в другом, что другой не произвел на него никакого впечатления; наконец, оба замечают, что их усилия оказались бесплодными, и каждый сваливает вину за это на другого.

339

Невоспитанность как хороший признак. – Человек высокого ума радуется, видя что-то бестактное, заносчивое, даже враждебное в отношении к себе честолюбивых юношей; это невоспитанность норовистых коней, на которых еще не садился всадник, но которые вскоре с гордостью дадут ему сесть на себя.

340

Когда лучше остаться неправым. – Лучше всего без возражений принимать предъявленные обвинения, даже если они несправедливы, в случае, если обвиняющий увидел бы еще большую несправедливость с нашей стороны в том, что мы ему противоречим, а не то даже и опровергаем. Правда, если следовать этому правилу, кто-то всегда будет неправым, но всегда будет оказываться правым, а в конце концов с самой чистой совестью на свете сделается самым несносным тираном и мучителем; при этом то, что относится к отдельному человеку, может произойти с целыми классами общества.

341

Слишком мало почтения. – Люди очень чванные, получив от других знаки меньшего внимания, чем ожидали, долго стараются вводить на этот счет в заблуждение себя и других и становятся изощренными психологами, чтобы выжать из себя вывод: другой все-таки почтил их достаточно; если же они своей цели не достигают и пелена иллюзии рвется, то они впадают в тем более сильное бешенство.

342

Отзвуки древнейших душевных состояний в речи. – В манере современных мужчин делать заявления на людях, часто можно расслышать отзвук тех времен, когда они лучше, чем в чем-нибудь другом, разбирались в оружии: то они орудуют своими заявлениями, словно прицеливающиеся ружейные стрелки, то кажется, будто слышишь скрежет и звон клинков; а у иных мужчин заявление падает со стуком, точно крепкая дубина. – А вот женщины говорят так, как говорили бы существа, тысячи лет просидевшие у ткацкого станка, или шившие иглою, или сюсюкавшие с детьми.

343

Рассказчик. – По рассказчику нетрудно заметить, рассказывает ли он потому, что его интересует событие или потому, что хочет вызвать интерес к своему рассказу. В последнем случае он будет преувеличивать, пользоваться суперлативами и делать тому подобное. Тогда его рассказ обычно бывает плохим, ведь думает он не столько о сути дела, сколько о себе.

344

Чтец-декламатор. – Тот, кто публично читает драматические произведения, совершает открытия о своем характере: он обнаруживает, что его голос звучит для выражения опре-

деленных настроений и сцен естественней, чем для выражения других, скажем, для выражения всего патетического или гротескного, – просто в обычной жизни у него, может быть, не было случая проявить свойственную ему склонность к патетическому или гротескному.

345

Сцена из комедии, разыгранная в жизни. – Человек придумывает умное замечание на какую-то тему, чтобы потом высказать его в обществе. Тогда, словно перед нами разыгрывается комедия, можно видеть и слышать, как он на всех парусах несется к намеченному пункту, стараясь направить общество туда, где мог бы сделать свое замечание; как он мало-помалу подталкивает беседу к одной цели, то и дело теряет направление, снова выходит на курс и, наконец, дожидается нужного момента: он уже открывает рот – и вдруг кто-то из присутствующих высказывает его собственное замечание. Что тут прикажете ему делать? Опровергать свое же мнение?

346

Невольная невежливость. – Когда кто-нибудь невольно обходится с другим невежливо, скажем, не здоровается с ним, потому что не узнал, ему бывает досадно, хотя упрекнуть он себя за это не может; ему обидно, что он стал причиной плохого мнения о себе у этого другого, или он боится последствий вызванного им дурного настроения того человека, или его огорчает, что он его задел, – стало быть, тут в нем могут проявиться тщеславие, страх или сострадание, а, может быть, и все это вместе.

347

Шедевр предательства. – Высказать оскорбительное подозрение в предательстве против одного из соучастников заговора как раз в тот момент, когда клеветник сам соверша-

ет предательство, – шедевр злобы, ведь это связывает оклеветанного лично и заставляет его какое-то время вести себя так, чтобы не навлечь на себя подозрений, совершенно открыто: а настоящий предатель развязывает себе руки.

348

Наносить оскорбления и получать оскорбления. – Куда приятней оскорбить, а потом попросить прощения, чем получить оскорбление и дать прощение. Тот, кто делает первое, проявляет свою силу, а после – добрый нрав. Оскорбленный *обязан* простить, если не хочет прослыть бесчеловечным; из-за такого принуждения наслаждение от унижения другого невелико.

349

В ходе диспута. – Когда оспаривают чужое мнение и в то же время излагают свое собственное, то постоянное внимание к чужому мнению обычно сбивает естественную позу собственного: оно предстает более нарочитым, более угловатым, может быть, несколько преувеличенным.

350

Прием. – Тому, кто хочет добиться от другого чего-то трудновыполнимого, вообще не следует излагать свое дело как проблему, а просто представить свой план, будто он – единственно возможный; ему надо уловить момент, когда в глазах партнера мелькнет возражение, несогласие, а тогда сразу оборвать изложение, не дав тому времени на них.

351

Угрызения совести по возвращении из общества. – Почему нас мучает совесть, когда мы возвращаемся домой из обыкно-

венного общества? Потому что легкомысленно отнеслись к серьезным вещам, потому что в разговоре об определенных лицах высказались без полной откровенности или потому что смолчали, когда должны были говорить, потому что не вскочили и не кинулись вон, когда для этого была причина, короче говоря, потому что вели себя в обществе так, словно к нему принадлежали.

352

Быть неверно оцененным. – Тем, кто постоянно старается понять, как о нем судят, постоянно владеет досада. Ведь уже самые близкие к нам люди (которые нас «знают лучше всех») судят о нас неверно. Даже наши добрые друзья порой дают волю своей досаде в недоброжелательных словах; так остались бы они нашими друзьями, если б знали нас до дна? – Суждения людей, к нам равнодушных, для нас болезненны, потому что звучат очень непредвзято, чуть ли не объективно. А уж когда мы замечаем, что человек, настроенный к нам враждебно, знает один из тайных уголков нашей души не хуже нас самих, то насколько же тогда это для нас мучительно!

353

Тирания портрета. – Художники и государственные деятели, которые быстро составляют себе полную картину человека или события из его отдельных черт, как правило, впадают в заблуждение, задним числом требуя, чтобы событие или человек и впрямь оказались такими, какими они его себе нарисовали; они прямо требуют, чтобы человек был таким талантливым, таким хитрым или таким неправым, каков он по их представлениям.

354

Родственник как лучший друг. – Греки, так хорошо знавшие, что такое друг, – а они одни из всех народов занимались

глубокими и многосторонними философскими исследованиями дружбы, и друг для них первых и доселе последних предстал проблемой, достойной решения, – эти самые греки называли *родственников* тем же словом, которое является суперлативом от слова «друг». Это остается для меня загадкой.

355

Непризнанная честность. – Когда кто-то в разговоре цитирует себя («я тогда сказал», «я обычно говорю»), то это производит впечатление высокомерия, хотя чаще всего порождается прямо-таки противоположной причиной, – по меньшей мере честностью, которая не хочет украшать и прихорашивать настоящие мгновения находками, сделанными в какие-то из прошлых.

356

Паразит. – Если человек предпочитает жить в зависимости, за чужой счет, лишь бы не работать, и обычно со скрытой злобой к тем, от кого зависит, то это говорит о полном отсутствии у него душевного благородства. – Такой строй души чаще встречается у женщин, чем у мужчин, но это и куда простительней для первых (по историческим причинам).

357

На алтарь примирения. – Бывают обстоятельства, когда от человека можно требовать какой-то вещи только в форме, для него оскорбительной и означающей ссору: ощущение того, что перед ним враг, настолько мучительно для него, что первый же признак более мягкого отношения к себе он с радостью использует для примирения и кладет на алтарь этого примирения ту самую вещь, которая раньше была для него настолько важна, что он никогда не расстался бы с нею.

358

Требование сострадания как признак наглости. – Встречаются люди, которые, оскорбляя других в припадке ярости, требуют при этом, во-первых, чтобы на них не сердились, и, во-вторых, чтобы их пожалели – за то, что они подвержены таким сильным припадкам. Вот как далеко заходит человеческая наглость.

359

Наживка. – «У каждого человека своя цена» – это неправда. Но, пожалуй, для каждого найдется наживка, на которую он должен клюнуть. Например, чтобы привлечь человека к какому-то делу, достаточно придать этому делу блеск человеколюбия, благородства, милосердия, самопожертвования, – а какому же делу нельзя его придать? – Это сласти и лакомства для *их* душ; у других людей – свои сласти и лакомства.

360

Чем отвечать на похвалы. – Когда хорошие друзья хвалят человека одаренного, он – из вежливости и благожелательности – частенько показывает, что рад этому, хотя на самом деле ему это безразлично. Его внутреннее существо совершенно нечувствительно к этому, и похвалами его ни на шаг не вытащишь из света или из тени, в которых оно лежит; но люди хотят похвалою доставить удовольствие, и зачем же их огорчать, не показывая им своей радости от похвалы?

361

Что узнал Сократ. – Если человек стал мастером в каком-нибудь деле, то обыкновенно именно поэтому в большей части всех других дел он останется полным профаном; но сам думает об этом прямо противоположное, что и узнал уже Сократ. Вот то зло, которое делает неприятным общение с мастерами.

362

Способ озвереть. – В борьбе с глупостью самые справедливые и мягкосердечные люди в конце концов звереют. Для них это, возможно, подходящий метод обороны; ведь для медных лбов естественным образом в качестве аргумента нужен сжатый кулак. Но поскольку, как уже сказано, характером первые мягкосердечны и справедливы, то сами получают от этого способа необходимой обороны больше боли, чем тот причиняет боли глупцам.

363

Любопытство. – Если бы не было на свете любопытства, мало что можно было бы сделать на благо ближнего. Но любопытство прокрадывается в дом несчастных и нуждающихся под именем долга или сострадания. – Может быть, даже в пресловутой материнской любви есть добрая доля любопытства.

364

Просчеты в обществе. – Этот хочет вызвать к себе интерес своими суждениями, тот – симпатиями и антипатиями, третий – своими связями, четвертый – своим одиночеством: и все их расчеты неверны. Ведь тот, для кого разыгрывается представление, сам думает быть единственно важной персоной в этом представлении.

365

Дуэль. – В пользу всяческих дел чести и дуэлей можно сказать: когда человек настолько раздражителен, что и жить не захочет, если такой-то скажет или подумает о нем то-то и то-то, то он имеет право поставить на карту жизнь и смерть – свою или другого. С тем, что он настолько раздражителен, ничего не поделаешь, тут мы – наследники прошлого, как

его величия, так и его излишеств, без которых не было бы и величия. И если уж существует закон чести, по которому пролитие крови равнозначно смерти, так что если дуэль состоялась по всем правилам, то душа испытывает облегчение, и это великое благодеяние, ведь иначе множество человеческих жизней оказалось бы в опасности. – Такого рода установление вообще внушает людям осторожность в поведении и делает общение с ними возможным.

366

Благородство и благодарность. – Благородная душа с радостью почувствует себя обязанной кому-то благодарностью и не станет трусливо избегать обстоятельств, связанных с такой обязанностью; и в изъявлениях благодарности она будет умеренной; низкие же души противятся всякой обязанности или, проявляя потом благодарность, делают это чрезмерно и чересчур усердно. Кстати, это последнее встречается и у лиц низкого происхождения или зависимого положения: оказанная по отношению к *ним* благосклонность кажется им чудом милосердия.

367

Уроки красноречия. – Одному, чтобы говорить хорошо, нужен кто-то превосходящий его решительно и общепризнанно, другому по-настоящему раскрепощенная речь и удачные ораторские приемы даются только в присутствии того, кого превосходит он: в обоих случаях причина одна и та же; каждый из них говорит хорошо только тогда, когда говорит sans gêne[1], один – потому что в присутствии вышестоящего не чувствует побуждения к конкуренции, соперничеству, с другим то же самое происходит в присутствии нижестоящего. – Но есть и совсем иная порода людей, которые говорят хорошо, лишь если говорят, соревнуясь, – с целью победить. Так какая же из этих пород честолюбивей: те люди,

1 без стеснения (*фр.*).

что говорят хорошо, побуждаемые тщеславием, или те, что как раз из этого же побуждения говорят плохо или вообще не говорят?

368

Талант к дружбе. – Среди людей, обладающих особенной одаренностью к дружбе, выделяется два типа. Один находится в постоянном росте и для каждой фазы своего развития находит подходящего к ней друга. Друзья из числа тех, которых он приобретает таким образом, редко бывают связаны друг с другом тесными узами, порой между ними царят разлад и раздор: в полном соответствии с тем, что более поздние фазы развития отменяют или ущемляют более ранние. Такого человека в шутку можно назвать *лестницей*. – Другой тип представляет человек, обладающий способностью притягивать к себе очень разные характеры и дарования: пользуясь этой способностью, он приобретает целый круг друзей; а благодаря этому они и сами вступают во взаимные дружеские отношения несмотря на все свои несходства. Назовем такого человека *кругом*: ведь такая сопряженность столь различных склонностей и натур должна каким-то образом содержаться в нем заранее. – Кстати, дар иметь хороших друзей у некоторых людей сильнее дара быть хорошим другом.

369

Тактика в разговоре. – После разговора с кем-нибудь человек лучше всего отзывается о своем собеседнике, если воспользовался случаем блеснуть перед ним своим умом, своей любезностью. Люди смышленые, стремящиеся вызвать чье-то расположение, пользуются этим, во время разговора создавая для него наиболее удобные ситуации, в которых тот смог бы удачно пошутить и т. п. Можно вообразить потешную беседу двух очень смышленых людей, каждый из которых стремится расположить другого к себе, а потому подбрасывающих друг другу в разговоре там и сям такие пре-

красные возможности, но при этом ни один их не использует: вот вся беседа так и протекает без ума и без любезности – как раз потому, что каждый предоставляет другому случай показать ум и любезность.

370

Разрядка недовольства. – Человек, у которого что-то не ладится, предпочитает отнести эту незадачу к злой воле другого, но только не к случайности. Его возбужденное состояние смягчается, если причиною своей неудачи он считает лицо, а не положение дел; ведь лицам можно отомстить, а бесчинства случая приходится проглатывать. Поэтому присные монархов, когда у тех что-то не ладится, обычно указывают им в качестве мнимой причины неудачи на какого-нибудь человека, жертвуя им в интересах всего двора, поскольку иначе монарх выместил бы свое недовольство на них на всех, раз уж он не может отомстить самой богине судьбы.

371

Принять цвета окружения. – Почему ощущения симпатии и антипатии так заразительны, что невозможно жить рядом с человеком сильных чувств, не наполняясь, словно сосуд, всеми его *за* и *против*? Во-первых, очень трудно, а порой прямо-таки невыносимо для нашего тщеславия полностью удерживаться от оценок: оно принимает тогда тот же цвет, что скудость мыслей и ощущений или робость, немужественность; и вот нас по меньшей мере тянет выступить, может быть, против линии окружающих, если такая позиция доставляет нашей гордости больше удовольствия. Но обычно – и это *во-вторых* – мы вообще не осознаем перехода от равнодушия к симпатии или антипатии, а мало-помалу приучаемся воспринимать так же, как окружающие, а поскольку нам так приятны одобрительная симпатия и взаимопонимание, то вскоре мы начинаем носить все эмблемы и партийные цвета нашего окружения.

372

Ирония. – Ирония как педагогический метод уместна только со стороны учителя в любого рода общении с учениками: ее цель – унизить, пристыдить, но таким целебным способом, чтобы разбудить хорошие устремления и побудить нас к почтению и благодарности в отношении того, кто нас таким образом полечил, словно он и впрямь врач. Употребляющий иронию разыгрывает неосведомленность, да так ловко, что вводит в заблуждение беседующих с ним учеников, а те, будучи полностью уверены в своем превосходстве, смелеют и всячески обнаруживают свое невежество; они теряют осторожность и раскрываются до нутра, – пока в один прекрасный момент светильник, который они подносили к лицу учителя, не начинает очень унизительно для них бросать лучи на них же самих. – Там, где нет таких отношений, как между учителем и учениками, ирония становится невоспитанностью, пошлым аффектом. Все писатели-ироники рассчитывают на глупую породу людей, которым очень нравится чувствовать свое превосходство над всеми другими вместе с автором, а на него смотрят как на рупор своего высокомерия. – Привычка к иронии, а равным образом и к сарказму, вообще портит характер, она мало-помалу вырабатывает в человеке постоянное злорадное ощущение своего превосходства: в конце концов он уподобляется кусачей собаке, которая научилась не только кусаться, но и смеяться.

373

Высокомерие. – Нет ничего более опасного, чем прорастание того сорняка, что зовется высокомерием и губит все добрые плоды наших усилий; есть ведь высокомерие в сердечности, в демонстрациях почтения, в благожелательной искренности, в ласке, в дружеских советах, в признании своих ошибок, в сочувствии к другим, и все эти прекрасные вещи возбуждают отвращение, если между ними растет этот сорняк. Человек высокомерный, то есть тот, кто хочет означать нечто большее, чем он есть *или считается*, неизменно делает ложный расчет. Да, он пользуется минутным успехом, по-

скольку люди, с которыми он высокомерен, обычно из страха или по инерции оказывают ему тот почет, которого он от них требует; но за это они жестоко ему мстят, вычитая из значительности, которой до сих пор его наделяли, как раз столько, сколько он требовал для себя сверх меры. Нет ничего, за что люди заставляют расплачиваться с собой дороже, чем унижение. Высокомерный человек может поставить под сомнение и умалить в глазах других свои действительно большие заслуги настолько, что те станут втаптывать их в грязь. – Даже гордое поведение следует разрешать себе лишь в том случае, если есть полная уверенность, что его поймут правильно, не считая высокомерием, к примеру, в общении с друзьями и женами. Ведь нет в обхождении с людьми большей глупости, чем стяжать себе славу человека высокомерного; это еще хуже, чем не уметь вежливо лгать.

374

Диалог. – Разговор двух людей – это разговор совершенный, ведь все, что говорит каждый из них, получает свою определенную окраску, свое звучание, свой сопровождающий жест *в точном расчете на другого* собеседника, а, значит, в соответствии с тем, что происходит при обмене письмами, когда один и тот же человек демонстрирует десяток разных выражений души в зависимости от того, к кому пишет. В диалоге лучи мысли преломляются лишь одним-единственным образом: это-то преломление собеседник и ставит перед нами, словно зеркало, в котором нам хочется увидеть отражение своих мыслей как можно более красивым. А как обстоит дело, если в разговоре участвуют два, три и больше других собеседников? Тогда беседа неизбежно теряет в тонких индивидуальных нюансах, различные расчеты скрещиваются и упраздняют друг друга; оборот, приятный слуху одного, не укладывается в образ мыслей другого. Поэтому в беседе с участием нескольких людей человек вынужден сдерживать себя, излагать факты без прикрас и потому лишать предметы той дымки гуманности, которая делает диалог одной из приятнейших вещей на свете. Стоит только прислушаться к тону, в каком мужчины обычно говорят в

общении с целыми группами мужчин, – он таков, будто басовый голос всей речи гласит: «Это *я*, это говорю *я*, а там думайте что угодно!». Вот причина, по какой глубокомысленные женщины вызывают недоумение, чувство неловкости и отторжения у того, кто видел их в обществе: они обращаются к множеству, вещают перед множеством, что напрочь лишает их учтивости ума и только бросает яркий свет на их сознательное упорство в своем мнении, их тактику и расчет на публичную победу: а ведь в диалоге те же самые женщины снова становятся просто женщинами и вновь обретают свойственную им прелесть ума.

375

Посмертная слава. – Расчет на признание в отдаленном будущем имеет смысл лишь при допущении того, что человечество существенно не изменится и что все великое непременно будет считаться великим не в одну эпоху, а во все. Но это заблуждение; человечество очень сильно меняется в своих ощущениях и суждениях о том, что прекрасно и хорошо; нелепо фантазировать о том, будто мы опередили остальных на милю пути и будто все человечество идет именно *нашей* дорогой. Кроме того, непризнанный ученый сейчас определенно может рассчитывать на то, что его открытие повторят и другие и что в лучшем случае какой-нибудь историк потом признает: да, ему тоже было известно о том-то и о том-то, но он не сумел внушить другим веру в свое утверждение. Непризнанность всегда истолковывается потомками как слабость. – Короче говоря, не стоит так уж сразу бросаться на защиту высокомерного одиночества. Впрочем, тут бывают исключения; но признанию наших великих достоинств, как правило, мешают наши собственные ошибки, слабости и глупости.

376

О друзьях. – Порассуждай-ка однажды с самим собой о том, насколько различны оценки, насколько розны мнения даже

в кругу ближайших знакомых; о том, что даже те же самые мнения в умах твоих друзей занимают совсем другое место или обладают иной силой, чем в твоем собственном уме; о том, сколь многообразны причины для превратного толкования, для враждебного разлада. Закончив, ты скажешь себе: как же зыбка почва, на которой строятся все наши союзы и дружеские связи, как близки холодные ливни или непогода, как одинок всякий человек! Если человек понимает это, а к тому же еще и то, что все мнения его ближних, их своеобразие и сила столь же неизбежны и не влекут за собою ответственности, как и их поступки, то начинает видеть, что эти *мнения с* внутренней *неизбежностью* выросли из нерасторжимого сочетания характера, рода деятельности, дарований, среды, – и вот тогда-то он, возможно, избавится от горечи и острого жала того чувства, с которым некий мудрец воскликнул: «Друзья, друзей не бывает!». Он, напротив, признается себе: да, друзья бывают, но их привело к тебе заблуждение, иллюзия о тебе; и чтобы остаться твоими друзьями, им понадобилось научиться молчанию; ведь такие человеческие связи почти всегда основаны на том, что о некоторых вещах никогда не говорят, мало того, их даже не затрагивают; а если эти камешки приходят в движение, то вся дружба катится за ними и терпит крушение. Существуют ли на свете люди, которые не ощутили бы смертельную рану, узнав, что́ думают о них в глубине души ближайшие друзья? – Познавая себя, учась воспринимать собственное наше существо как изменчивую сферу мнений и настроений, а, значит, в какой-то мере относиться к ним пренебрежительно, мы восстанавливаем свое равновесие с остальными людьми. У нас, несомненно, есть хорошие основания не считать важным никого из наших знакомых, даже самых значительных из них; но есть и столь же хорошие основания обратить такое ощущение на себя самих. – Так давайте же держаться этого во взаимных отношениях, если уж держимся этого в отношении к себе самим; тогда, возможно, для каждого настанут и более светлые часы, когда он сможет сказать себе:

«Друзья, друзей не бывает!» – воскликнул мудрец, умирая;
«Враги, не бывает врага!» – кричу я, безумец живой.

Седьмой раздел
Брак и семья

377

Совершенная женщина. – Совершенная женщина – более высокий человеческий тип, нежели совершенный мужчина: зато и нечто куда более редкостное. – Естественная наука о животных предоставит способ сделать это положение достоверным.

378

Дружба и брак. – Человеку, больше других умеющему быть другом, достанется, вероятно, и лучшая супруга, ведь хороший брак основан на таланте к дружбе.

379

Продолжение родителей. – Неразрешенные диссонансы в характере и умонастроении родителей продолжают звучать в глубинах души ребенка и образуют ее крестный путь.

380

С материнской стороны. – Каждый носит в себе образ женщины, воспринятый с материнской стороны: этот образ и предопределяет, будет ли он уважать женщин вообще, презирать их или в целом относиться к ним равнодушно.

381

Подправить природу. – Если у человека нет хорошего отца, ему следует раздобыть себе такого.

382

Отцы и сыновья. – Отцам надо много потрудиться, чтобы искупить свой грех – рождение сыновей.

383

Заблуждение знатных дам. – Знатные дамы думают, будто вещи не существует в природе, если нельзя говорить о ней в обществе.

384

Мужская болезнь. – Самое верное средство от мужской болезни, от презрения к себе, – это любовь умной женщины.

385

Разновидность ревности. – Матери очень склонны ревновать своих сыновей к их друзьям, когда те демонстрируют особые успехи. Мать обычно больше любит в сыне *себя*, чем самого сына.

386

Разумное безрассудство. – Когда человек достигает зрелой поры своей жизни и разума, его охватывает чувство, что отец ошибся, дав ему жизнь.

387

Материнская ласка. – Иным матерям нужны дети счастливые, уважаемые, иным – несчастные: иначе не сможет проявиться их ласка как матерей.

388

Такие разные вздохи. – Некоторые мужчины вздыхали о том, что их жен умыкнули, но большинство – о том, что умыкнуть их так никто и не захотел.

389

Брак по любви. – Браки, которые заключаются по любви (их называют женитьбой по любви), порождаются отцом-заблуждением и матерью-нуждой (потребностью).

390

Дружба с женщинами. – Женщины прекрасно могут вступить в дружбу с мужчиной; но вот чтобы ее сохранить, безусловно, требуется легкая физическая антипатия.

391

Скука. – Многие люди, особенно женщины, не чувствуют скуки, потому что так толком и не научились работать.

392

Составляющая часть любви. – В любой разновидности женской любви всегда бывает и что-то от материнской любви.

393

Единство места и драма. – Если бы супруги не жили вместе, то счастливые браки встречались бы чаще.

394

Обычные последствия брака. – Любое общение, которое не возвышает, тянет вниз, и наоборот; поэтому женившиеся мужчины обычно немного опускаются, а их жены немного поднимаются. Мужчины, ведущие напряженную умственную жизнь, настолько же нуждаются в браке, насколько отталкивают его, как противное лекарство.

395

Учить приказывать. – Воспитывая детей из скромных семей, следует так же строго учить их приказывать, как других детей – учить повиноваться.

396

Желание влюбиться. – Женихи и невесты, которых свели вместе соображения удобства и пристойности, часто стараются *сделаться* влюбленными, чтобы избегнуть упрека в холодной, рассудочной расчетливости. Совершенно так же те, что свернули к христианству из соображений выгоды, искренне стараются стать набожными; ведь так им легче удается религиозная мимика.

397

Любовь не ведает застоев. – Музыкант, который *любит* медленный темп, с каждым разом будет воспринимать одни те же пьесы как все более медленные. Так что никакая любовь не ведает застоев.

398

Застенчивость. – Чем женщина красивее, тем, как правило, она и застенчивее.

399

Брак с запасом прочности. – Вполне прочным бывает брак, в котором каждый хочет достичь своей индивидуальной цели через другого, к примеру, когда жена хочет добиться через мужа известности, а муж благодаря жене хочет быть любимым.

400

Протеевская натура. – Из любви женщины целиком становятся такими, какими живут в воображении мужчин, которые их любят.

401

Любить и обладать. – Женщины, как правило, любят значительного мужчину на такой лад: они хотят владеть им одни. Они с удовольствием заперли бы его на замок, если б этому не противилось их тщеславие, которое хочет, чтобы он предстал значительным и перед другими.

402

Проба на добротный брак. – Брак докажет свою добротность, если разок выдержит «исключение из правил».

403

Способ довести всех до чего угодно. – Любого можно так измотать и ослабить неурядицами, страхами, избытком работы

и мыслей, что он перестает грудью встречать дело, имеющее хоть видимость сложного, а начинает отступать перед ним, – это известно дипломатам и женщинам.

404

Честь и честность. – Те барышни, которые думают обеспечить себя благосостоянием на всю жизнь благодаря только блеску своей молодости и чье лукавство поддерживает еще и шепот опытных матерей, хотят совершенно того же, что и гетеры, разве что они хитрее и бесчестнее этих последних.

405

Маски. – Есть женщины, у которых, как в них ни ищи, нет собственной глубины; они – исключительно маски. Можно только пожалеть мужчину, который связывается с такими почти призрачными, неизбежно разочаровывающими существами, но именно они в состоянии возбудить в мужчине самое сильное желание: он ищет в них душу – и продолжает искать ее без конца.

406

Брак как долгий разговор. – Вступая в брак, следует спросить себя: думаешь ли ты, что до конца жизни сможешь говорить с этою женщиной по душам? Все иное в браке преходяще – ведь большая часть общей жизни приходится на разговоры.

407

Девичьи грезы. – Неопытные девушки льстят себе мыслью, будто в их власти осчастливить собою мужчину; позже они начинают понимать, что это означает: считать, что для сча-

стья мужчине нужна только девушка, значит не уважать его. – Тщеславие жен требует, чтобы муж был чем-то большим, нежели просто счастливым супругом.

408

Фауст и Гретхен вымирают. – По весьма проницательному замечанию одного ученого, в современной Германии образованные мужчины уподобляются некоей помеси Мефистофеля и Вагнера, но только не Фауста: наши деды (по крайней мере в молодости) еще чувствовали в себе его урчанье. Но тогда – чтобы достроить это положение – им по двум причинам никак не подходят представительницы типа *Гретхен*. А поскольку этих последних никто не домогается, то, по всей видимости, они вымирают.

409

Девушки как гимназисты. – Ни в коем случае нельзя распространять на девушек еще и наше гимназическое образование! Которое часто превращает умных, жаждущих знания, пламенных юношей – в копии их учителей!

410

Без соперниц. – Женщины без труда замечают, взято ли уже в плен сердце мужчины; они не терпят в любви соперниц и ставят мужчине в вину устремления его честолюбия, его политические интересы, его занятия наукой и искусством, если он питает страсть к подобным вещам. Но, положим, он в них блистает, – тогда они надеются, что, вступив с ним в любовную связь, заодно усилят *свой* блеск; если так оно и получается, то они дарят поклонника благосклонностью.

411

Женский разум. – Интеллект женщин проявляется как полное самообладание, присутствие духа, использование всех преимуществ. Они передают его детям как основное свое качество, а уж отец добавляет к нему более темный задний план воли. Ее воздействие как бы задает ритм и гармонию, с которыми будет звучать новая жизнь; но мелодия этой жизни порождается женщиной. – А вот это для тех, кто коечто смыслит: женщины обладают разумом, мужчины – душой и страстью. Этому не противоречит то соображение, что фактически столь многого добиваются своим разумом именно мужчины: их движущие силы более глубоки и могущественны; они-то и придают столь сильные импульсы их разуму, который сам по себе есть нечто пассивное. Женщины втихомолку часто удивляются тому огромному преклонению, с каким мужчины относятся к женской душе. Если при выборе будущего партнера по браку мужчины ищут для себя прежде всего существо, наделенное глубокою душой, а женщины – существо смышленое, рассуждающее хладнокровно и выдающееся, то это, по сути дела, ясно показывает, что мужчина ищет идеализированного мужчину, женщина – идеализированную женщину, а, стало быть, не дополнения своих ведущих качеств, а их доведения до совершенства.

412

К подтверждению одной мысли Гесиода. – Свидетельство смышлености женщин – то, что они чуть ли не всюду умели заставлять себя кормить, словно трутни в пчелином улье. Но подумаем, что́ это, в сущности, значит и почему мужчины не заставляют женщин себя кормить. Разумеется, потому, что мужское тщеславие и честолюбие больше, чем женская смышленость; ведь женщинам удалось, подчинившись, всетаки обеспечить себе преобладающее преимущество и даже господство. Женская смышленость изначально сумела даже заботу о детях использовать как предлог, чтобы по возможности избежать работы. И в наши дни, если женщины дей-

ствительно работают, например, домохозяйками, они умеют поднимать вокруг этого так много сбивающего с толку шума, что мужчины, как правило, ценят заслугу их занятости раз в десять выше, чем следует.

413

Влюблены близорукие. – Подчас бывает довольно только дать влюбленному очки посильнее, чтобы излечить его от влюбленности; а если у человека хватило бы фантазии, чтобы представить себе фигуру, лицо любимой такими, какими они будут через двадцать лет, то ему, наверное, жилось бы много спокойнее.

414

Женская ненависть. – Впадая в ненависть, женщины бывают опаснее мужчин; первым делом, потому, что их не сдерживают соображения справедливости или несправедливости вдруг вспыхнувшего в них чувства враждебности, и они без помех дают вырасти своей ненависти до крайних пределов, а кроме того, потому что они поднаторели находить уязвимые места (которые есть у каждого человека, у каждой стороны спора) и растравливать их: а уж в этом деле им прекрасно служит их острый как бритва рассудок (в то время как мужчины при виде ран ведут себя сдержанно и часто настроены великодушно или примирительно).

415

Любовь. – Идол, в которого женщины превращают любовь, – это в своей основе и изначально изобретение хитрого ума, в том смысле, что они благодаря всем упомянутым идеализациям любви усиливают свою власть и рисуют себя в глазах мужчин все более желанными. Но в силу закреплявшейся веками привычки к такой чрезмерной оценке любви вышло так, что женщины попались в собственные сети и

забыли ее источник. Нынче они сами обманываются еще больше, чем мужчины, а потому и больше страдают от разочарования, которое почти неизбежно наступает в жизни каждой женщины – если у них вообще достанет воображения и ума, чтобы обманываться и разочаровываться.

416

О женской эмансипации. – Могут ли женщины вообще быть справедливыми, если они так привыкли любить, сразу проникаться чувством «за» или «против»? Потому-то они и реже питают интерес к вещам, а чаще – к лицам: а уж если они питают его к вещам, то немедля становятся их горячими сторонницами и тем самым портят их чистое, невинное воздействие. Отсюда возникает немалая опасность в случае, если им будут вверены политика и отдельные отрасли науки (к примеру, история). Разве есть на свете что-то более редкостное, чем женщина, которая и впрямь знает, что такое наука? Лучшие из них даже испытывают к ней тайное презрение, словно в чем-то превосходят ее. Может быть, все это еще изменится, но пока что дело обстоит именно так.

417

Вдохновение в суждениях женщин. – Те внезапные решения за и против, которые обычно принимают женщины, молниеносные разъяснения личных отношений, даваемые благодаря вдруг прорвавшимся в них симпатиям и антипатиям, короче говоря, доказательства женской несправедливости любящие мужчины окружили неким сиянием, будто все женщины обладают наитиями мудрости, даже без дельфийского треножника и лаврового венка: а их изречения еще долго после интерпретируются и объясняются, словно сивиллин оракул. Однако если подумать о том, что для любого человека, для любой вещи можно найти доводы за, но с равным успехом и кое-что против, что у всех вещей есть не только две, а три и четыре стороны, то выйдет, что, принимая такие внезапные решения, довольно трудно уж во-

все промахнуться; мало того, можно, пожалуй, даже сказать: такова уж природа вещей, что женщины всегда оказываются правыми.

418

Заставить себя любить. – На том основании, что в любви одна из сторон обычно любит, а другая любима, сложилась вера, будто во всякой любовной сделке существует некоторая неизменная мера любви: чем больше любви одна сторона берет себе, тем меньше достается на долю другой. В виде исключения бывает и так, что тщеславие убеждает каждую сторону, будто она и есть та, которая должна быть любима; поэтому обе стороны хотят заставить себя любить: а отсюда, особенно в браке, возникает множество наполовину забавных, наполовину абсурдных сцен.

419

Противоречия в женском уме. – Женщины до такой степени настроены больше на лица, чем на вещи, что в круге их мышления уживаются направления, находящиеся во взаимном логическом противоречии: обычно они увлекаются по очереди всеми представителями этих самых направлений и огульно принимают их системы, но делают это так, что в них возникает пустое пространство повсюду там, где когда-нибудь потом получит перевес какая-то новая личность. Вероятно, бывает и так, что целая философия в голове какой-нибудь пожилой дамы состоит исключительно из такого рода пустых пространств.

420

Кто страдает сильнее? – После ссоры и перебранки между женою и мужем одна сторона больше другой страдает от мысли, что причинила боль другой, а другая больше той страдает от мысли, что причинила ей недостаточно боли,

а потому слезами, всхлипываньями и расстроенным выражением лица старается испортить ей настроение еще и задним числом.

421

Повод для женского великодушия. – Оградив однажды мысли от притязаний обычая, можно, пожалуй, задуматься о том, не толкают ли мужчину природа и разум на несколько последовательных браков, скажем, таким образом, что сперва он в возрасте двадцати двух лет женится на девушке старше себя, которая превосходит его в умственном и нравственном отношении и может стать его водительницей через опасности, подстерегающие его до тридцатилетнего возраста (честолюбие, ненависть, презрение к себе, всевозможные страсти). Позже ее любовь могла бы стать целиком подобной материнской и не только стерпела бы, но и самым благотворным образом помогала бы ему в случае, если бы между тридцатью и сорока годами он вступил в связь с совсем юной девушкой, теперь уже сам взяв в свои руки ее воспитание. – Между двадцатью и тридцатью брак – институт необходимый, между тридцатью и сорока – полезный, но не обязательный: а для всей оставшейся жизни он часто бывает пагубным и ускоряет умственную деградацию мужчины.

422

Трагедия детства. – Вероятно, не так уж редко случается, что людям, стремящимся к благородству, стремящимся ввысь, приходится выдерживать самую жестокую битву своей жизни в детстве: это бывает, скажем, если они вынуждены отстаивать свой образ мыслей в противостоянии с низменным образом мыслей отца, с его привычкой к ложному блеску и вранью, или, как лорд Байрон, жить, постоянно сражаясь с инфантильной и подверженной вспышкам ярости матерью. Если человеку довелось пережить что-то подобное, то во всю оставшуюся жизнь он не забудет о том, кто на самом деле был ему величайшим, самым опасным врагом.

423

Родительская глупость. – Оценивая человека, наиболее грубые ошибки делают его родители: это факт, но как его объяснить? Может быть, у родителей избыток впечатлений от своего ребенка, и им не удается свести эти впечатления в единство? Известно, что путешественники, оказавшиеся среди незнакомых народов, верно подмечают общие отличительные особенности каждого народа только в самом начале; а чем ближе знакомятся с народом, тем больше разучиваются видеть в нем типическое и отличительное. Как только они начинают разглядывать народ вблизи, глаза их теряют способность глядеть издалека. Так может, родители неверно судят о ребенке потому, что никогда не отходили от него подальше? – Совсем другое возможное объяснение таково: люди обычно уже не рассуждают обо всем наиболее близком, а просто принимают его как должное. Возможно, вошедшая в привычку бездумность родителей и есть причина того, что если уж им приходится судить о своих детях, то судят они так криво.

424

Кое-что о будущем брака. – Благородным, либерально настроенным дамам, ставящим своей задачей воспитание и возвышение женского пола, стоило бы не упустить из виду такую точку зрения: брак в его высоком понимании, как душевный союз двух людей разного пола, то есть в том виде, в каком он задуман для будущего, как заключаемый в целях рождения и воспитания нового поколения, – такой брак, который использует чувственность как бы лишь в качестве редко, от случая к случаю употребляемого средства для достижения цели, более высокой, чем он сам, будет, вероятно, как следует опасаться, нуждаться в естественной подмоге – в *конкубинате*; ведь если жена в интересах здоровья мужа должна будет одна и удовлетворять его половую потребность, то при выборе супруги решающей будет уже неверная, противоречащая заявленным целям точка зрения: получение потомства будет случайным, его удачное воспи-

тание – в высшей степени невероятным. Хорошая супруга, которая должна быть подругой, помощницей, родительницей, матерью, главой семьи, домоправительницей и которой, мало того, возможно, придется отдельно от мужа вести собственное дело и службу, не может одновременно быть наложницей: это значило бы в целом требовать от нее слишком многого. Стало быть, в будущем может появиться нечто противоположное тому, что творилось в Афинах эпохи Перикла: мужчины, которые тогда рассматривали своих жен как нечто не намного большее, чем наложниц, ходили еще и к Аспазиям, поскольку жаждали прелестей общения, облегчающего ум и душу, а дать его могли только грация и умственная гибкость женщин. Все человеческие институты, как и брак, допускают лишь умеренную степень практической идеализации, в противном же случае незамедлительно требуются спасательные меры.

425

Женский период бури и натиска. – В трех или четырех цивилизованных европейских странах из женщин за несколько столетий путем воспитания можно сделать все что угодно, даже мужчин, – конечно, не в половом отношении, но уж во всяком случае в любом другом. Под таким воздействием они когда-нибудь воспримут все мужские добродетели и сильные стороны, но при этом, разумеется, им придется заодно взять на себя и их слабые стороны и пороки: всего этого, повторю, можно добиться. Но как нам выдержать вызванный этим процессом переходный период, который и сам может продлиться, наверное, несколько столетий, когда женская глупость и кривые суждения, этот их исконный дар, все еще будут преобладать над всем полученным и привитым через воспитание? То будет период, когда гнев станет главным мужским аффектом, гнев на то, что все искусства и науки затоплены и забиты илом неслыханного дилетантизма, философия погублена сводящей с ума болтовней, политика сделалась более химерической и партийной, чем когда-либо, общество дошло до полного разложения, потому что блюстительницы старинных нравов стали

смешными сами себе и во всех отношениях стремятся стать вне нравов. Ведь если величайшая власть женщин доселе заключалась *в* нравах, то за что им теперь схватиться, чтобы снова обрести подобную полноту власти после того, как они упразднили нравы?

426

Свободный ум и брак. – Будут ли свободные умы жениться? В целом, я думаю, они, подобно вещающим истину птицам античности, будучи теми, кто мыслит истину, высказывает истину для современности, предпочтут, должно быть, *летать в одиночку.*

427

Счастье брака. – Все привычное затягивает нас во все более тугую паучью сеть; и скоро мы замечаем, что нити стали веревками, а мы сами сидим в середине, подобно пауку, связавшему себя здесь и вынужденному пить собственную кровь. Поэтому свободный ум ненавидит всякое привыкание и все правила, все прочное и окончательное, поэтому он все снова с болью разрывает сеть вокруг себя: хотя в результате он будет страдать от многочисленных мелких и крупных ран – ведь эти нити ему приходится отрывать *от себя*, от своей плоти, от своей души. Он должен научиться любить то, что доселе ненавидел – и наоборот. Мало того, для него не может быть ничего невозможного в том, чтобы сеять драконовы зубы на то же самое поле, на которое прежде он изливал рога изобилия своей доброты. – Отсюда можно понять, создан ли он для счастья брака.

428

Слишком близко. – Если мы ведем совместную жизнь с человеком в излишней близости, то получается так, словно мы все снова трогаем пальцами хорошую гравюру на меди: в

один прекрасный день в наших руках окажется плохая испачканная бумага, и больше ничего. Вот и душа человеческая в конце концов пачкается от беспрестанных прикосновений; она по крайней мере *предстает* перед нами такой в конце концов, – мы уже больше не увидим ее изначальный рисунок и красоту. – В излишне доверительных отношениях с женщинами и друзьями мы всегда теряем; и порой мы теряем здесь жемчуг своей жизни.

429

Сладкая колыбель. – Свободный ум всегда вздохнет с облегчением, решившись наконец избавиться от материнской заботы и попечения, которыми его подавляют женщины. Какой ему будет вред от более крепкого сквознячка, который от него с такою опаской отводили, и чуть больше или чуть меньше будет в его жизни реального ущерба, утрат, несчастья, болезней, долгов, обольщения – разве это так уж важно в сравнении с неволей сладкой колыбели, опахала из павлиньих перьев и гнетущего ощущения, что он, сверх того, еще и должен быть благодарным, раз уж за ним ухаживают, балуют его, словно грудного младенца? Вот почему молоко, которое ему достается от материнского настроя окружающих женщин, с такой легкостью может превратиться в желчь.

430

Добровольная жертва. – Выдающиеся женщины больше всего облегчают жизнь своим знаменитым и великим мужьям, если становятся как бы сосудом для всеобщей неблагосклонности и временного недоброжелательства остальных людей. Современники обычно прощают великим людям своей эпохи много промахов и глупостей, даже откровенно несправедливых поступков, если только находят себе кого-то, кого для облегчения своей души могут истязать и заклать в качестве самого настоящего жертвенного животного. Женщины нередко находят в себе достаточно често-

любия, чтобы предложить себя для такого жертвоприношения, и тогда уж, конечно, мужчина может быть очень доволен, – если у него хватает эгоизма терпеть возле себя подобные добровольные громо-, буре- и дождеотводы.

431

Приятные противницы. – Естественная склонность женщин к спокойному, ровному, удачно слаженному существованию и общежитию, масляная гладь и умиротворение, изливаемые их действиями на житейское море, даже помимо их воли идут вразрез с более героической внутренней тягой свободного ума. Сами того не ведая, женщины ведут себя так, как если бы убирали камни с дороги путешественника-минеролога, чтобы он не споткнулся, – а он-то как раз затем и вышел в путь, *чтобы* на эти камни наткнуться.

432

Когда два консонанса не в ладу. – Женщины хотят служить и находят в этом свое счастье; свободный ум не хочет, чтобы ему служили, и находит в этом свое счастье.

433

Ксантиппа. – Сократ нашел себе такую жену, какая была ему нужна, – но и он не искал бы ее, если б только узнал ее получше: так далеко не зашел бы даже героизм этого свободного ума. Фактически Ксантиппа все больше загоняла Сократа в его специфическое ремесло, превращая для него дом в нежилой, а очаг в неуютный: она приучила его жить на улицах и везде, где можно было болтать в праздности, а тем самым сформировала из него величайшего в Афинах уличного диалектика, который напоследок и сам был вынужден сравнить себя с назойливым оводом, посаженным каким-то богом на загривок прекрасному коню – Афинам, чтобы не давать ему покоя.

434

Не видеть вдали. – Как матери по-настоящему понимают и видят только понятные и очевидные страдания своих детей, так и жены мужей с большими притязаниями не могут заставить себя увидеть своих супругов страдающими, нуждающимися, а тем более презираемыми, – а ведь, может быть, все это – не только приметы верного выбора их жизненного пути, но уже и ручательство в том, что их высокие цели когда-нибудь *непременно* будут достигнуты. Женщины всегда втайне интригуют против высших частей души своих мужей; они хотят обманом отнять у этих частей будущее в угоду безбольному, уютному настоящему.

435

Власть и свобода. – Как бы высоко ни почитали жены своих мужей, но еще больше они все равно почитают признанные обществом правящие силы и представления: тысячелетия истории приучили их приближаться ко всему господствующему согнувшись, прижав руки к груди, и порицать всякий протест против публичной власти. Поэтому они, даже нимало не отдавая себе в этом отчета, скорее как бы инстинктивно, подобно тормозному башмаку, виснут на колесах вольной тяги свободных умов, а иногда доводят своих супругов до белого каления, и тем более, если те еще и внушают себе, что, в сущности, это любовь заставляет женщин так себя вести. Отвергать женские способы, но великодушно уважать мотивы этих способов, – вот особенность мужчин, но довольно часто и отчаяние мужчин.

436

Ceterum censeo[1]. – Смеху подобно, когда общество голодранцев заявляет об отмене наследственного права, и не меньше смеху подобно, когда бездетные работают над практиче-

---

1 См. прим.

ским законодательством страны: – ведь в их судне не хватает балласта, чтобы уверенно выйти на парусах в океан будущего. Но столь же нелепо выглядит дело, когда тот, кто выбрал своим заданием наиболее общее познание и оценку бытия как такового, обременяет себя личными соображениями по поводу семьи, питания, обеспечения, хорошей репутации членов семьи, и натягивает перед своим телескопом ту мутную завесу, сквозь которую с трудом могут просочиться отдельные лучи из мира дальних светил. Вот и я склонен утверждать, что в вопросах высших разделов философии все женатые внушают подозрение.

437

Напоследок. – Есть на свете много видов цикуты, и обычно судьба находит возможность поднести к губам свободного ума чашу с этим ядовитым зельем – чтобы, как принято говорить в таких случаях, «наказать» его. А что в таких случаях делать рядом с ним женщинам? Рыдать и причитать, и, может быть, нарушить закатный покой мыслителя: именно это они и делали в афинской темнице. «Критон, вели же кому-нибудь увести отсюда прочь этих женщин!» – сказал напоследок Сократ. –

Восьмой раздел
Вид на государство

438

Просить слова. – Демагогический характер и цель – повлиять на массы – нынче суть общие свойства всех политических партий: все они ради названной цели вынуждены превращать свои принципы в великие глупости в стиле альфреско и размалевывать ими стены. Тут уж ничего не поделаешь, мало того, не стоит ради этого и пальцем шевельнуть; ведь к этой сфере целиком и полностью относятся слова Вольтера: quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu[1]. С тех пор как разразилась эта беда, приходится мириться с новыми условиями, как мирятся с последствиями землетрясения, передвинувшего старые межи и форму участка и изменившего ценность земельного надела. Сверх того, если уж во всякой политике речь идет о том, чтобы сделать сносной жизнь для как можно большего числа людей, то пусть тогда по крайней мере это как можно большее число и определит, что оно понимает под сносной жизнью; если оно считает, что способно с помощью собственного ума найти еще и правильные способы для достижения такой цели, то что толку ставить это под сомнение? Эти люди так или иначе *хотят* быть кузнецами своего счастья и несчастья; и если это чувство самоопределения, гордость за те пять-шесть понятий, которые прячет и обнаруживает их ум, и впрямь делают их жизнь настолько приятной, что они с легкостью переносят фатальные последствия своей ограниченности, – то на это мало что можно возразить, полагая, что их ограниченность все же не доходит до требований, чтобы *все* стало в этом смысле политикой, чтобы

1 Когда чернь пускается в умствования, все пропало (*фр.*).

каждый жил и действовал по такому мерилу. Ведь, во-первых, некоторым должно быть более чем когда-либо дозволено воздерживаться от политики и стоять несколько в стороне от нее: их тоже влечет к этому отрада самоопределения, да и небольшая гордость может быть связана с удовольствием молчать, когда говорят слишком многие или вообще только многие. Во-вторых, этим немногим следует прощать, что они не придают такого уж большого значения счастью многих, понимать ли под ними целые народы или слои населения, там и сям позволяя себе ироническую мину; ведь они серьезны в другом, и счастье для них – понятие иное, а их цель не ухватить каждой грубой руке, в которой только и есть, что пять пальцев. Наконец – что, правда, признают за ними с наибольшим трудом, но что тоже должно быть за ними признано, – время от времени наступает момент, когда они выходят из своих молчаливых одиноких жилищ, чтобы еще раз испытать силу своей глотки: а уж тогда они окликают друг друга, словно заплутавшие в лесу, желая назваться друг другу и приободрить друг друга; конечно, при этом получает огласку кое-что звучащее скверно для ушей, для которых оно не предназначено. – Ну а вскоре в лесу опять становится тихо, так тихо, что снова можно хорошо различить посвисты, жужжанье и трепетанье бесчисленных насекомых, живущих в нем, над ним и под ним. –

439

Культура и каста. – Культура более высокого типа может сложиться лишь там, где в обществе есть две разных касты: работающих и праздных, способных правильно использовать свободное время, или, в более энергичных выражениях, каста людей принудительного труда и каста людей свободного труда. Точка зрения распределения благ несущественна, когда речь идет о созидании более высокой культуры; но во всяком случае люди праздной касты лучше переносят страдание, более терпеливы, они находят в наличном существовании меньше удовольствия и ставят себе более высокую цель. А уж если имеет место диффузия двух каст,

когда менее восприимчивые и одухотворенные семьи и индивиды из высшей касты перемещаются в низшую и наоборот, более свободные люди из низшей получают доступ в высшую, то наступает состояние, открывающее вид на целое открытое море самых разных возможностей. – Вот о чем говорит нам затихающий голос древности; да где же теперь уши, чтобы его услышать?

440

Родовитые. – Превосходство родовитых мужчин и женщин над другими и то, что дает им неоспоримое право на более высокий статус, заключается во владении двумя искусствами, которое становится все более изощренным благодаря наследованию: это искусство приказывать и искусство повиноваться, не теряя лица. – И вот теперь всюду, где приказания отдаются ежедневно (например, в мире крупной торговли и промышленности), появляется нечто похожее на эти семьи «хорошего рода», но тут нет благородства в повиновении, каковое у тех составляет наследие феодальных порядков, а в климате нашей культуры никак не растет.

441

Субординация. – Субординация, столь высоко ценимая в военном и чиновничьем государстве, скоро станет для нас такой же невероятной, какой уже стала единая тактика иезуитов; а когда эта субординация станет уже невозможной, то будет недостижимо и великое множество самых удивительных результатов, и мир обеднеет. Она обречена на исчезновение, потому что исчезает ее фундамент: вера в безусловный авторитет, в окончательную истину; даже в военных государствах ее поддерживает не физическое принуждение, а врожденное преклонение перед монархией как чем-то сверхчеловеческим. – В государствах *более либеральных* люди подчиняются лишь на определенных условиях, вследствие обоюдного соглашения, иными словами, со всеми оговорками своекорыстия.

442

Народные ополчения. – Величайший вред от столь превозносимых нынче народных ополчений состоит в напрасной растрате наиболее цивилизованных людей; такие вообще существуют только при благоприятном стечении всех обстоятельств, – и как же бережно и осторожно следует с ними обращаться, ведь чтобы создались случайные условия для возникновения таких тонко организованных умов, нужны большие периоды времени! Но как греки купались в крови греков, так теперь европейцы – в крови европейцев: причем жертвами сравнительно чаще всегда бывают люди наиболее образованные, те, что обеспечивают обильное и хорошее потомство; они-то во время сражения стоят на переднем крае, будучи командирами, да и, кроме того, больше всех подвергают себя опасности из-за своего повышенного честолюбия. – Грубый патриотизм на римский лад нынче, когда выдвинуты другие задачи, более высокие, нежели patria и honor[1], становится либо ложью, либо признаком отсталости.

443

Надежда как самонадеянность. – Наш общественный порядок медленно растает, как это было со всеми прежними порядками, едва лишь светила новых мнений с новым жаром засияют над людьми. *Желать* такого таяния можно только с надеждой: а надеяться, будучи в здравом уме, можно, лишь признавая за собой и себе подобными бóльшую силу души и ума, нежели за представителями статус-кво. Стало быть, эта надежда в общем случае будет *самонадеянностью, завышенной самооценкой.*

444

Война. – Не в пользу войны можно утверждать: победителя она оглупляет, побежденного – озлобляет. В пользу войны:

---

1 Родина <и> честь (*лат.*).

обоими только что названными следствиями она варваризирует, а тем самым сообщает большую естественность; для культуры она – состояние сна или зимней спячки, человек выходит из нее более сильным и для хороших дел, и для плохих.

445

Служа монарху. – Чтобы действовать совершенно бесцеремонно, государственным деятелям лучше всего делать свое дело не для себя, а для монарха. Глаза наблюдателя будут ослеплены блеском этого общеполезного бескорыстия, и он не заметит тех козней и жестокостей, которые сопровождают дела политиков.

446

Вопрос силы, а не права. – Когда речь идет о социализме – если он *и впрямь* есть восстание тысячелетиями угнетавшихся, подавлявшихся против своих угнетателей, – то для людей, во всяком деле имеющих в виду высшую пользу, не существует проблемы *права* (сопровождаемой смехотворным, сентиментальным вопросом: «Насколько *следует* уступить его требованиям?»), а есть только проблема *силы* («Как далеко *можно* зайти в использовании его требований?»); совершенно то же бывает, когда речь идет о какой-либо природной силе, к примеру, о паре, который либо принуждается человеком служить ему в качестве бога из машины, либо, при сбоях машины, то есть ошибках человеческих расчетов в ее изготовлении, разрушает и ее, и человека. Чтобы разрешить этот вопрос о силе, следует знать, насколько силен социализм, в какой модификации он может быть использован даже как мощный рычаг в игре нынешних политических сил; а при определенных условиях нужно было бы даже сделать все, чтобы усилить его. В отношении любой большой силы, пусть даже самой опасной, человечество должно думать о том, как превратить ее в инструмент для достижения своих целей. – Право социализм

получит лишь тогда, когда между обеими силами, то есть представителями старого и нового, дело уже, кажется, дошло до войны, но умный расчет на оптимальное самосохранение и пользу вызывает в обеих партиях стремление к договору. Нет права без договора. Но до сих пор в названной области нет ни войны, ни договоров, а, стало быть, и никаких прав, никаких «обязательств».

447

Использование самой мелкой нечестности. – Сила прессы заключается в том, что каждый, кто ей служит, чувствует себя обязанным и связанным обязательствами лишь в очень малой степени. Обычно он высказывает *свое* мнение, но может и *не* высказать его, чтобы оказаться полезным своей партии, политике своей страны или, наконец, самому себе. Такие мелкие проступки нечестности или, может быть, лишь нечестного умалчивания нетрудно вынести совести отдельного человека, но очень серьезными бывают их последствия, когда эти мелкие преступления совершаются сразу многими. Каждый из них говорит себе: «Я живу лучше за столь малые услуги, нахожу себе пропитание; а без таких мелких знаков внимания с моей стороны меня терпеть не станут». Поскольку написать лишнюю строчку, да к тому же, бывает, и без подписи, или, наоборот, чего-то не написать – кажется делом чуть ли не нравственно нейтральным, то человек, располагающий деньгами и влиянием, в состоянии сделать публичным любое мнение. Тут человек, который знает, что большинство людей податливо в мелочах, и через эти мелочи стремится достичь собственных целей, всегда бывает опасен.

448

Слишком громкие жалобы. – Когда дают сильно преувеличенное изображение непорядков (к примеру, изъянов в управлении, продажности и кумовства в политических или научных сообществах), то, правда, на людей проницательных

такое изображение не действует, зато действует тем сильнее на людей недалеких (каковые безучастно восприняли бы тщательно взвешенное, сдержанное изображение). Но поскольку последних неизмеримо больше и в них гнездится бо́льшая сила воли, более буйная тяга к действию, то эти преувеличения создают повод для выяснения обстоятельств, наказаний, обещаний и реорганизаций. – В этом смысле полезно изображать непорядки в преувеличенном виде.

449

Мнимые заклинатели дождя в политике. – Насчет людей, хорошо разбирающихся в погоде и умеющих предсказывать ее на день вперед, простой народ втихомолку думает, будто они-то и делают погоду, – вот точно так же даже образованные и ученые люди с издержками суеверных представлений приписывают великим государственным деятелям в качестве их собственноручных творений все важные изменения и конъюнктуры, произошедшие во время их правления, если только очевидно, что те знали о некоторых из них прежде, чем другие, и строили на этом свои расчеты: тогда их тоже считают заклинателями дождя – и эта вера становится немаловажным орудием их власти.

450

Новое и старое понятие правительства. – Проводить различие между правительством и народом так, словно тут вели переговоры и договорились две отдельные сферы власти, более сильная и высокая с более слабой и низкой, – это пережиток наследственного политического чувства, и по сей день в *большинстве* государств точно соответствующий исторически установившемуся соотношению сил. Когда, к примеру, Бисмарк называет конституционную форму правления сделкой между правительством и народом, то он руководствуется принципом, разумность которого обоснована исторически (но именно поэтому, конечно, обоснована и примесь неразумности, без которой не может быть ничего

человеческого). Зато теперь следует усвоить – в соответствии с принципом, который возник исключительно из *головы* и вот уж вроде бы *творит* историю, – что правительство есть не что иное, как некий орган народа, а не заботливый, достопочтенный «верх» в сравнении с приученным к скромности «низом». Прежде чем принять эту поныне неисторическую и произвольную, хотя и более логичную формулировку понятия правительства, стоило бы все же взвесить последствия этого: ведь отношения между народом и правительством – сильнейшее типическое отношение, по образцу которого непроизвольно выстраиваются сношения между учителем и учеником, хозяевами и слугами, отцом и членами семьи, командиром и солдатом, мастером и подмастерьем. Сейчас, под воздействием господствующей конституционной формы правления, эти отношения постепенно перестраиваются: они *становятся* сделками. Но как же им вступать в сношения и торговаться, обмениваться именами и сущностями, когда умами повсюду овладеет упомянутое самоновейшее понятие (для чего, правда, может понадобиться целое столетие)! Здесь не может быть ничего *более* желательного, чем осторожность и постепенность в развитии.

451

Справедливость как рекламный лозунг партий. – Благородные (хотя и не самые проницательные) представители господствующего класса могут, конечно, клясться себе: «Будем относиться к людям как к равным, признаем за ними равные права»; в этом смысле возможен социалистический образ мысли, основанный на *справедливости*, но, как уже сказано, только внутри господствующего класса, который в таком случае *реализует* справедливость путем жертв и самоограничений. А вот *требование* равных прав, которое выдвигают социалисты из угнетенной касты, всегда оказывается проявлением не справедливости, а алчности. – Если подносить кровавые куски мяса поближе к хищному животному, а потом снова отодвигать, пока оно, наконец, не зарычит, – неужто, по-вашему, этот рык и есть справедливость?

452

Владение собственностью и справедливость. – Когда социалисты говорят, что распределение собственности в нынешнем человечестве есть следствие бесчисленных несправедливостей и насилий, и отрицают всякие обязательства в отношении чего-то приобретенного столь неправедным путем, то просто-напросто видят лишь что-то частное. Все прошлое старой культуры построено на насилии, рабстве, обмане, заблуждении; но мы, наследники всех этих условий, даже сгустки всего этого прошлого, не можем отменить сами себя и не должны выдергивать из него отдельные части. Несправедливый строй чувств гнездится и в душах неимущих, они ничем не лучше имущих и не имеют никаких моральных преимуществ, ведь когда-то их предки были имущими. Нужен не насильственный передел собственности, а постепенное преобразование сознания, справедливость должна во всех людях усилиться, а инстинкт насилия – ослабеть.

453

Рулевой страстей. – Государственные деятели возбуждают публичные страсти, чтобы получить выигрыш от порожденной этим ответной страсти. Вот только один пример: некоему немецкому государственному деятелю хорошо известно, что у католической церкви никогда не будет тех же целей, что и у России, мало того – что первая даже скорее связалась бы с турками, чем с нею; равным образом известно ему и то, что вся опасность для Германии исходит от союза Франции с Россией. И если он сумеет подвести дело к тому, чтобы Франция стала очагом и оплотом католической церкви, то надолго устранит такую опасность. В этом смысле он заинтересован в том, чтобы демонстрировать ненависть к католикам и всякого рода недружелюбными проявлениями превращать верующих в авторитет папы в страстную политическую силу, враждебную немецкой политике и естественным образом стремящуюся к союзу с Францией как противником Германии: его целью неизбежно является католизация Франции, точно так же как Мирабо

усматривал благо своего отечества в декатолизации. – Итак, одно государство хочет замутить миллионы умов в другом государстве, чтобы из такого замутнения извлечь для себя выгоду. Это тот самый образ мыслей, который поддерживает республиканскую форму правления в соседнем государстве – le désordre organisé[1], как говорит Мериме, – по одной-единственной причине: потому что предполагает, что она ослабляет народ, разобщает его и делает менее способным воевать.

454

Опасные люди среди революционеров. – Тех, кто умышляет общественный переворот, надо разделять на таких, которые хотят добиться чего-то для себя лично, и таких, что радеют о своих детях и внуках. Последние из них более опасны, ведь у них есть вера и чистая совесть бескорыстия. От других можно отделаться подачками: для этого господствующий класс все еще достаточно богат и умен. Опасность возникает, как только цели становятся неличными; люди, ставшие революционерами из неличных соображений, имеют право рассматривать всех защитников статус-кво как лично заинтересованных в нем, а потому чувствуют свое превосходство над ними.

455

Ценность отцовства в политическом смысле. – Если у человека нет сыновей, то он не имеет полного права участвовать в обсуждении потребностей отдельного государства. Тут нужно самому, вместе с другими, подвергать опасности все наиболее дорогое для себя; только это накрепко связывает человека с государством; тут нужно принимать в расчет благо своих потомков, то есть прежде всего иметь потомков, чтобы обладать своей законной, естественной долей во всех общественных установлениях и их изменениях. Повышение

---

1 Организованный беспорядок (*фр.*).

уровня нравственности зависит от того, есть ли у человека сыновья; это настраивает его на неэгоистический лад или, вернее, это расширяет его эгоизм во времени и дает ему возможность ревностно преследовать цели, выходящие за пределы срока его личной жизни.

456

Дворянская спесь. – Можно по праву гордиться непрерывным рядом *хороших предков* вплоть до отца, – но не самим этим рядом, ведь он есть у всякого. Происхождение от хороших предков создает аристократию крови; значит, один-единственный разрыв в этой цепи, один скверный предок отменяет аристократию крови. Всякого, кто говорит о своем благородном происхождении, следует спросить: а не было ли среди твоих предков человека, творившего насилие, корыстолюбивого, распутного, злобного, жестокого? Если он с чистой совестью ответит, что не было, тогда надо добиваться его дружбы.

457

Рабы и рабочие. – Тот факт, что мы придаем куда большее значение удовлетворению тщеславия, чем любому другому виду хорошего самочувствия (безопасности, устроенности, всякого рода удовольствиям), в смехотворных масштабах обнаруживается, когда каждый (вне политических соображений) желает отмены рабства и питает сильнейшее отвращение к порабощению людей: а ведь каждый должен признать, что рабы во всех отношениях живут более надежно и счастливо, нежели нынешние рабочие, что рабский труд в сравнении с трудом «рабочих» – труд в очень небольшой степени. Во имя «человеческого достоинства» против него протестуют: но ведь это, попросту говоря, то драгоценное тщеславие, в глазах которого неравенство, публичная приниженность – самая злая участь. – Киники относились к этому иначе, потому что презирали честь: потому-то Диоген одно время был рабом, домашним учителем.

458

Лидеры и их инструменты. – Крупные государственные деятели и вообще те, кому приходится использовать многих людей для осуществления своих планов, поступают, как мы видим, или одним, или другим способом: либо скрупулезно и очень тщательно отбирают подходящих для их целей людей и уж тогда предоставляют им сравнительно большую свободу действий, зная, что эти избранники уже по своей природе склонны к тому, чего хотят от них они сами; либо выбирают плохо, да попросту берут, что под руку попадется, но из всякого сорта глины лепят что-то пригодное для своих целей. Последний вид лидеров отличается большей насильственностью, им позарез нужны и более покорные инструменты; обычно они гораздо хуже разбираются в людях и больше их презирают, нежели лидеры первого вида, но построенная ими машина работает, как правило, лучше, чем машина, созданная теми.

459

Необходимость волюнтаристского права. – Юристы спорят о том, какое право должно возобладать у такого-то народа, – то, которое лучше продумано, или то, которое легче понять. Первое, высочайшим образцом коего является римское право, кажется профанам непонятным и потому не выражающим их правосознания. Естественные системы права, к примеру, германские, были грубыми, суеверными, нелогичными, отчасти нелепыми, но зато соответствовали совершенно определенным исконным народным нравам и чувствам. – Там же, где, как у нас, право уже не является традиционным, оно может быть только *предписанием*, принуждением; у нас у всех уже нет традиционного правового чувства, а потому нам приходится мириться с *волюнтаристскими системами права*, выражающими необходимость *существования* права *вообще*. Тогда, конечно, наиболее логичная из них и наиболее предпочтительна, поскольку *наименее предвзята*: даже если согласиться с тем, что наименьшая единица измерения в соотношении преступления и наказания в каждом случае была задана волевым путем.

460

Великий человек во вкусе толпы. – Рецепт для получения того, что́ толпа называет великим человеком, дать нетрудно. Надо во что бы то ни стало раздобыть для толпы то, что ей очень приятно, или сначала внушить ей, что то или другое, наверное, приятно, а уж потом дать ей это. Только ни в коем случае не сразу: нужно с величайшим трудом завоевывать желаемое или создавать видимость трудного завоевания. У толпы должно сложиться впечатление, что тут действует могучая, даже неодолимая сила воли; по крайней мере, должно казаться, что она тут действует. Каждый восхищается сильной волей, потому что ни у кого ее нет, и каждый говорит себе, что вот если бы она у него была, то границ для него и его эгоизма не существовало бы. А когда оказывается, что такая сильная воля добывает что-то весьма приятное для толпы, вместо того, чтобы следовать желаниям своей алчности, то этим восхищаются вдвойне, поздравляя себя с такой удачей. В остальном великий человек должен обладать всеми качествами, присущими толпе: тогда она тем менее стыдится перед ним, а он тем более популярен. Стало быть, он должен быть человеком жестоким, завистливым, хищным, он должен интриговать, льстить, пресмыкаться, проявлять надменность, а по возможности делать все это вместе.

461

Царь и Бог. – Люди во многом относятся к своим царям так же, как к своим богам, как ведь и цари во многом были представителями бога, по меньшей мере его первосвященниками. Это было чуть ли не тяжелое настроение, состоящее из почитания, страха и стыда, которое теперь стало значительно слабее, но иногда разгорается и направляется на могущественных лиц вообще. Культ гениев – отзвук такого почитания царей и богов. Всюду, где есть стремление повысить отдельных людей до сверхчеловеческого ранга, возникает и склонность представлять себе целые слои населения более грубыми, низкими, чем они есть на самом деле.

462

Моя утопия. – При более совершенном общественном устройстве тяжелая работа и житейские заботы будут предоставлены тем, кто меньше всего от них страдает, то есть наиболее тупым людям, и так понемногу вверх, вплоть до тех, кто восприимчивей всего к высшим, утонченнейшим формам страдания, а потому страдает даже при наиболее благоприятных условиях жизни.

463

Одна иллюзия в учении об общественном перевороте. – Есть страстно увлеченные политической и социальной фантастикой люди, которые пламенно и красноречиво призывают к перевороту всех общественных порядков, веря в то, что в таком случае как бы сам собою немедленно воздвигнется самый величественный храм прекрасной гуманности. В этих опасных грезах еще слышны отзвуки суеверия Руссо, который верит в чудесную, изначальную, но как бы *заваленную доброту* человеческой природы, возлагая всю вину за это на установления культуры в обществе, государстве, воспитании. Увы, опыт истории показывает, что каждый такой переворот всякий раз воскрешает самые первобытные энергии в виде давно похороненных ужасов и разнузданности самых отдаленных эпох и что поэтому переворот, правда, может оказаться источником силы для утомленного человечества, но никогда не будет привносить порядок, не будет зодчим, художником, усовершенствователем человеческой природы. – Оптимистический дух революции пробудили к жизни страстные глупости и полуложь *Руссо*, а не умеренная, склонная к упорядочиванию, очищению и перестройке натура *Вольтера*, – тот оптимистический дух, против которого я призываю: «Ecrasez l'infâme!»[1]. Это он надолго отогнал *дух просвещения и постепенного развития*: посмотрим-ка – каждый про себя, – можно ли еще призвать его обратно!

---

1 «Раздавите гадину!» (*фр.*).

464

Мера. – Полная решимость в мышлении и исследовании, то есть свободомыслие, став свойством характера, делает человека умеренным в действиях: ведь она ослабляет напористую алчность, притягивает к себе большое количество наличной энергии, позволяя решать умственные задачи, и вскрывает недостаточную пользу или бесполезность и опасность всех внезапных перемен.

465

Когда воскресает дух. – На политическом одре болезни народ обычно омолаживается сам собой, вновь обретая свой дух, который постепенно утратил в стяжании и укреплении власти. Культура обязана наивысшими своими достижениями временам политической слабости.

466

Новые мнения в старом доме. – Переворот в общественных институтах следует за переворотом во мнениях не сразу – нет, новые мнения долго живут в опустевшем и неуютном доме своих предшественников и даже консервируют его из-за нужды в жилище.

467

Школьное образование. – В больших государствах школьное образование будет самое большее посредственным – по той же причине, по какой в лучшем случае посредственно готовят на больших кухнях.

468

Невинная коррупция. – Во всех учреждениях, куда не доходит свежий воздух публичной критики, вырастает, словно гриб, невинная коррупция (как, к примеру, в научных сообществах и ученых советах).

469

Ученые в качестве политиков. – Ученым, которые становятся политиками, обычно выпадает комическая роль – им приходится быть чистой совестью своего политического направления.

470

Волк в овечьей шкуре. – В известных обстоятельствах почти каждому политику вдруг оказывается до того нужен один честный человек, что он, подобно изголодавшемуся волку, врывается в овчарню: но не затем, чтобы потом сожрать похищенного овна, а чтобы скрыться за его пушистою спиной.

471

Счастливые времена. – Счастливые времена в принципе невозможны потому, что людям по душе только желать их, но не жить в них, и каждому человеку, как только ему выпадают удачные дни, буквально приходится молить о тревогах и лишениях. Судьба человека уготовила ему *счастливые мгновения* – они бывают в каждой жизни, – но не счастливые времена. И все-таки последние продолжают существовать в человеческом воображении в виде представления о том, чтó находится «за горами, за долами», этого наследия праотцев; ведь, вероятно, понятие счастливых времен с древнейшей поры выводилось из того состояния, когда человек предается отдыху, отчаянно устав на охоте и на войне, растягивается на земле и слышит вокруг себя трепет крыльев

сна. Если человек, согласно этой древней привычке, думает, будто и *после целых периодов* нужды и трудов сможет приобщиться к такому состоянию счастья *соответствующей интенсивности и длительности*, то это ошибочное заключение.

472

Религия и правительство. – До тех пор, пока государство, или, точнее, правительство присваивает себе роль опекуна при несовершеннолетней толпе и в ее интересах рассматривает вопрос, сохранять ли религию или покончить с нею, – в высшей степени вероятно, что оно всегда будет решать его в пользу сохранения религии. Ведь религия удовлетворяет потребности отдельных душ во времена утрат, лишений, страха, неуверенности в себе, то есть там, где правительство чувствует себя бессильным сделать что-нибудь непосредственно для облегчения душевных страданий частных лиц: ведь даже тогда, когда разражаются всеобщие, неизбежные и поначалу неотвратимые бедствия (массовый голод, денежные кризисы, войны), религия обеспечивает спокойное, терпеливое, доверчивое поведение толпы. Всюду, где человек проницательный замечает неизбежные или случайные изъяны в управлении государством либо опасные последствия династических интересов и где все это ему претит, люди недалекие увидят перст Божий и терпеливо подчинятся распоряжениям *свыше* (в каковом понятии обыкновенно сплавлены воедино человеческий и божественный образ правления): вот тогда-то и будет сохранено общественное согласие и непрерывность развития. Власть, основанная на единстве народного сознания, на одинаковых для всех мнениях и целях, защищена и санкционирована религией, не считая тех редких случаев, когда клир не может сойтись в цене с правительством и начинает с ним воевать. Как правило, государству удается перетянуть клир на свою сторону, поскольку оно нуждается в приватнейшем и глубочайшем воспитании душ, которым тот занимается, и умеет ценить слуг, по видимости и мнимо преследующих совершенно иную цель, нежели оно само. Без поддержки клира даже в наши дни никакой власти не стать «легитим-

ной»: это понимал и Наполеон. – Таким-то образом абсолютное правление с опекунской функцией и заботливое сохранение религии неизбежно идут рука об руку. При этом можно предположить, что правящие лица и классы просвещены относительно пользы, которую приносит им религия, а, значит, в определенной степени чувствуют свое превосходство над нею, поскольку используют ее как средство: по этой причине здесь и возникло свободомыслие. – А что, если верх начнет брать то совершенно другое представление о правительстве, какое насаждается в *демократических* государствах? Если в нем видят не что иное как инструмент народной воли, не отличая верха от низа, а понимают его исключительно как функцию единственного суверена – народа? Тогда правительство может занять в отношении религии только ту же самую позицию, какую занимает народ; любое распространение просвещения непременно отзовется и на представителях правительства, а использование и эксплуатация религиозных движущих сил и способов утешения в государственных целях станет делом не таким уж легко доступным (разве что могущественные партийные вожди будут какое-то время пользоваться влиянием, напоминающим влияние просвещенного деспотизма). Но когда государство уже не сможет себе позволить извлекать никакой пользы из самой религии или народ станет относиться к религиозным предметам уж очень по-разному, чтобы разрешать правительству один и тот же, единый подход в отношении религии, – то выходом неизбежно будет рассматривать религию как частное дело, доверив ее совести и привычке каждого человека. Первым следствием этого окажется то, что религиозное чувство усилится, поскольку его потайные и подавленные порывы, которые государство сознательно или бессознательно душило, теперь прорываются на поверхность и доходят до крайних проявлений. Позднее получится так, что религия заглушена разросшимися сектами и что драконовы зубы будут в изобилии посеяны в тот момент, когда религию сделают частным делом. Зрелище раздоров, взаимное враждебное разоблачение всех изъянов различных конфессий не оставит в конце концов для всякого, кто получше и одаренней, другого выхода, чем сделать своим частным делом иррелигиоз-

ность: такой образ мыслей возьмет верх и в умах правящих лиц и почти против их воли придаст их распоряжениям враждебный религии характер. Как только это произойдет, настроение все еще остающихся религиозными людей, которые прежде поклонялись государству как чему-то наполовину или полностью священному, превратится в решительно *враждебное государству*; они станут внимательно следить за действиями правительства, пытаться мешать им, пресекать их, сеять смуту, насколько смогут, и таким путем, то есть своим яростным протестом, доведут противную, иррелигиозную сторону до чуть ли не фанатичной *поддержки* государства; а подспудно это усилится еще и тем, что с момента разрыва с религией души в этих кругах чувствуют в себе какую-то пустоту и своей преданностью государству пытаются создать паллиатив, своего рода заполнитель такой пустоты. После этих промежуточных боев, вероятно, весьма длительных, наконец-то определится, достаточно ли еще сильны религиозные партии, чтобы воскресить старое состояние и повернуть назад колесо: в таком случае просвещенный деспотизм (возможно, менее просвещенный и более пугливый, чем прежде) неизбежно приберет к рукам государство, – или же безрелигиозные партии пробьют себе путь, подорвут и в конце концов за несколько поколений (скажем, через школу и воспитание) сделают невозможным распространение враждебного себе направления. Но тогда и у них ослабнет упомянутое стремление поддерживать государство: станет все яснее, что вместе с тем религиозным преклонением, для которого государство было таинством, надмирным установлением, будет подорвано даже самое почтительное, трепетное отношение к нему. Отныне частные лица будут видеть в нем лишь ту сторону, где оно может быть для них полезным либо вредным, и всеми способами стараться приобрести влияние на него. Но вскоре эта конкуренция станет чрезмерной, люди и партии будут сменять друг друга слишком скоро, слишком яростно свергать друг друга с вершины, едва взобравшись наверх. Всем мерам, предпринимаемым правительством, не будет хватать гарантий долговечности; людей будут отпугивать те начинания, которые должны тихо осуществляться десятилетиями, столетиями, чтобы дать созревшие плоды. Никто не станет чув-

ствовать перед законом иного обязательства, кроме того, чтобы на миг подчиниться властной силе, издавшей этот закон: но сразу после этого начнут предприниматься попытки подорвать его с помощью какой-нибудь новой силы, вновь образованного большинства. Напоследок – можно утверждать это с уверенностью – недоверие ко всякому управлению, понимание бесполезности и изнурительности этих одышливых схваток подтолкнут людей к совершенно новому решению: к упразднению понятия государства, к устранению противоположности «частное – общественное». Самодеятельные сообщества мало-помалу возьмут на себя дела государства: даже самый неподатливый элемент, который еще останется от старой административной работы (скажем, те меры, которые должны обезопасить одних частных лиц от других), когда-нибудь в конце концов перейдет под контроль частных предпринимателей. Презрение к государству, его упадок и *смерть государства*, раскрепощение частных лиц (не хочу говорить «индивидуума») – логическое следствие демократического понятия государства; в этом и состоит его миссия. Как только оно выполнит свою задачу – в коей, как и во всем человеческом, скрывается много разумного и неразумного, – исчезнут все рецидивы старой болезни и откроется новая страница в книге басен человечества, где можно будет прочесть всевозможные причудливые истории, а, может быть, и кое-что хорошее. – А теперь кратко подытожим все сказанное: интересы правительства-опекуна и интересы религии идут рука об руку, так что когда последняя начинает отмирать, сотрясаются и основы государства. Вера в божественный порядок политических дел, в таинство, заключенное в существовании государства, – религиозного происхождения: когда исчезнет религия, государство неминуемо потеряет свое древнее покрывало Изиды и перестанет возбуждать почтение к себе. Суверенитет народа при ближайшем рассмотрении оказывается пригодным, чтобы развеять остатки чар и суеверий в сфере этих чувств; современная демократия – это историческая форма *гибели государства*. – Но перспектива, которую открывает эта верная гибель, злосчастна отнюдь не в любом отношении: смышленость и корыстолюбие людей – самые сильные из их свойств; когда государство перестанет

отвечать требованиям этих качеств, хаос наступит с наименьшей вероятностью, – напротив, победу над государством одержит еще более целесообразная выдумка, чем та, какой было государство. Человечество уже видело гибель нескольких организующих властных сил – к примеру, силы половых корпораций, которая на протяжении тысячелетий была куда более могущественной, нежели сила семьи, и правила, вносила порядок уже задолго до ее возникновения. Мы и сами видим, как та важная идея семейного права, семейной власти, которая некогда господствовала всюду в жизни римлян, становится все бледнее и бессильнее. Так и какое-нибудь из будущих поколений увидит, как в отдельных регионах планеты государство теряет свое значение, – идея, которая внушает страх и отвращение у многих современных людей. *Работать* над распространением и реализацией этой идеи – дело, правда, совсем другое: надо с большим самомнением относиться к своему разуму и скверно разбираться в истории, чтобы уже сейчас браться за плуг, – сейчас, когда еще никто не в состоянии показать, какие же семена следует бросить потом во вспоротую почву. Так доверимся же «смышлености и корыстолюбию людей», благодаря которым государство сейчас *пока еще* сохраняется на порядочный срок, а разрушительные попытки слишком ревностных и опрометчивых дилетантов отражаются!

473

Социализм в отношении своих средств. – Социализм – впавший в фантастику младший брат почти уже отмершего деспотизма, которому он хочет наследовать; стало быть, его устремления в глубочайшем смысле слова реакционны. Ведь он жаждет такой полноты государственной власти, какая была когда-то только у деспотизма, мало того, он еще ревностнее всех своих предшественников в том, что добивается прямо-таки уничтожения индивида: последний кажется ему как бы неоправданной роскошью природы, и социализм чувствует себя обязанным исправить его, превратив в целесообразный *орган общества.* В силу родственных связей он всегда крутится возле власти во всех ее крайних проявле-

ниях, как древний типичный социалист Платон – при дворе сицилийского тиранна; он одобряет цезарианское государство силы нынешнего века (а при случае и помогает ему), поскольку, как уже сказано, хотел бы наследовать ему. Но даже этого наследства не хватило бы ему, чтобы добиться своих целей: ему нужно всевернонодданейшее раболепие всех граждан перед абсолютным государством, какому еще не было примеров в истории; а поскольку ему уже не приходится рассчитывать даже на древний религиозный пиетет перед государством, напротив, он невольно вынужден беспрестанно радеть о его устранении – ведь он радеет о устранении всех существующих государств, – то он смеет надеяться лишь на краткое существование там и сям с помощью крайнего терроризма. Поэтому втихомолку он готовится к власти через террор и вбивает полуобразованным массам в голову слово «справедливость», словно гвоздь, чтобы совершенно лишить их рассудка (а этот рассудок уже и так сильно пострадал от полуобразованности) и дать им чистую совесть в грязной игре, которую они должны сыграть. – Социализм может пригодиться для того, чтобы вполне брутально и убедительно показать опасность любой концентрации государственной власти и в этом смысле даже внушить недоверие к государству. Когда его сиплый голос вольется в общий боевой клич «*как можно больше государства*», этот последний поначалу становится громче, чем когда-либо прежде; но вскоре с тем большею силой вместе с ним начинает звучать и противоположный клич: «*как можно меньше государства*».

474

Государство боится умственного прогресса. – Греческий полис, как и всякая организующая политическая власть, недоверчиво отстранялся от роста образованности; его основное властное стремление оказывалось почти парализующим и тормозящим в отношении последнего. Он не желал признавать истории, развития в сфере образования; закрепленное в государственном законе воспитание было обязательным для всех поколений и удерживало их на одной ступени.

Позднее и Платон не предусматривал для своего идеального государства ничего иного. Стало быть, образование развилось *вопреки* полису: правда, косвенно и против своей воли последний тоже содействовал ему, ведь индивидуальное честолюбие поощрялось в полисе в величайшей степени, и гражданин, раз оказавшись на стезе умственного совершенствования, стремился продвинуться как можно дальше и по ней. Ссылаться для опровержения этого на панегирик Перикла нельзя: ведь он – всего лишь великая оптимистическая греза о якобы неизбежной связи полиса и афинской культуры; прямо перед тем, как ночь сошла на Афины (чума и разрыв традиции), Фукидид дал еще раз просиять ей, словно просветляющему закату, заставляющему забыть о предшествовавшем ему скверном дне.

475

Европейцы и упразднение наций. – Торговля и промышленность, обращение книг и писем, общность всей высшей культуры, быстрая смена мест и местностей, нынешняя кочевническая жизнь всех, кто не владеет земельным наделом, – эти условия неизбежно влекут за собою подрыв и в перспективе упразднение наций, по крайней мере европейских: поэтому вследствие постоянных скрещиваний из них из всех должна возникнуть смешанная раса – раса европейцев. Нынче этой перспективе сознательно или бессознательно противодействует обособление наций как результат раздувания *национальной* розни, но тем не менее этот процесс смешения медленно идет вперед вопреки названным временным противоположным тенденциям: этот искусственный национализм, кстати, столь же опасен, как некогда был опасен искусственный католицизм, ведь он по своей сути есть насильно введенное чрезвычайное, осадное положение, объявленное немногими для многих, и чтобы сохранить респектабельность, нуждается в коварстве, лжи и насилии. К этому национализму толкает не интерес многих (то есть народов), как, пожалуй, говорят, а прежде всего интерес определенных монархических династий, затем – определенных торговых и общественных слоев; тот, кто

уже понял это, должен, не робея, показывать себя *хорошим европейцем* и на деле способствовать слиянию наций: а помочь в этом благодаря своей издревле засвидетельствованной способности быть *толмачами и посредниками народов* могут немцы. – Между прочим: вся *еврейская* проблема существует только в рамках национальных государств, поскольку там их энергичность и более высокие умственные способности, капитал ума и воли, скопленный ими из поколения в поколение в исторически длительной школе страданий, повсюду, очевидно, дают им преимущество, возбуждая зависть и ненависть, почему почти во всех теперешних нациях все растет литературное бесчинство – причем чем более национальными они себя опять-таки выставляют – стремление заклать евреев как козлов отпущения за всевозможное явное и тайное зло. Как только речь пойдет уже не о консервации наций, а о возникновении как можно более сильной европейской общей расы, евреи в качестве ее ингредиента будут пригодны для этого и желательны, так же как и остатки любой другой нации. Неприятные, даже опасные качества есть у каждой нации, у каждого человека; было бы жестоко требовать, чтобы евреи составляли тут исключение. У них эти качества могут быть опасными и отталкивающими даже в особенной степени, и, возможно, тип молоденького еврея-биржевика – самое отвратительное изобретение человеческого рода вообще. И все-таки хотел бы я знать, сколь многое следует, подводя итог его истории, простить народу, который, не без нашей общей вины, страдал больше других народов и которому людской род обязан самым благородным человеком (Христом), самым чистым мудрецом (Спинозой), самой могучей книгой и самым действенным нравственным законом в мире. И вот что еще: в мрачнейшие времена средневековья, когда над Европой тяжко нависли азиатские тучи, именно еврейские свободомыслящие, ученые и врачи, невзирая на жесточайший персональный гнет, твердо держали знамя просвещения и духовной независимости и обороняли Европу от Азии; не в последнюю очередь их усилиям мы обязаны тем, что в конце концов снова восторжествовало более естественное, более разумное и уж во всяком случае немифическое объяснение мира и что круг культуры, связывающий нас

сейчас с просвещением греко-римской античности, остался неразорванным. Если христианство сделало все, чтобы превратить Запад в Восток, то еврейская культура много содействовала его постоянному возвращению к себе: а это в определенном смысле значит то же, что превращение задания и истории Европы в *продолжение задания и истории греков.*

476

Мнимое превосходство Средних веков. – Церковь средневековья была институтом с абсолютно универсальной, объемлющей собою все человечество целью, да к тому же такой, которая – иллюзорно – относилась к наивысшим его интересам: в сравнении с нею цели государств и наций, очевидные из новейшей истории, производят гнетущее впечатление; они кажутся мелочными, низменными, материальными, пространственно ограниченными. Но это различное впечатление, производимое на воображение, отнюдь не должно определять наше суждение; ведь названный универсальный институт соответствовал выдуманным, основанным на фикциях потребностям, каковые ему приходилось порождать там, где их еще не было (потребность в спасении); новые институты помогают выходить из реальных бед; и придет время, когда возникнут институты, которые будут служить общим подлинным потребностям всех людей и вытеснят в тень и забвение свой фантастический прообраз – католическую церковь.

477

Войны неизбежны. – Только болезненное мечтательство и прекраснодушие могут ждать от человечества еще многого (а не то и: как раз многого), если оно разучится вести войны. Покамест мы не знаем никакого другого способа, которым можно так же сильно и уверенно, как делает всякая большая война, сообщить утомленным народам такую грубую энергию бивака, такую глубокую безличную ненависть, такое хладнокровие убийцы с чистой совестью, такой коллективный, организующий пыл в уничтожении врага, такое

гордое безразличие к великим утратам, к собственной жизни и к жизням приятелей, такое глубинное, подобное подземным толчкам, потрясение души: пробивающиеся отсюда ручьи и реки, правда, катящие с собою камни и всякого рода нечистоты и уничтожающие луга нежных культур, потом, при благоприятных обстоятельствах, будут с новой силой вращать приводные колеса в мастерских духа. Культура никак не может обходиться без страстей, пороков и зла. – Когда римляне при императорах несколько устали от войн, они попробовали обрести новые силы в травле зверей, гладиаторских боях и гонениях на христиан. Нынешние англичане, которые в общем тоже, кажется, отреклись от войны, хватаются за другое средство, чтобы воскресить эти исчезающие силы: все эти исследовательские экспедиции, мореплаванья, горовосхождения, предпринимаемые как будто бы в научных целях, на самом деле нужны им для того, чтобы в числе прочего привезти домой силу, возросшую во всякого рода приключениях и опасностях. Отыщется еще множество подобных суррогатов войны, но, вероятно, благодаря им будет все яснее, что такое высоко цивилизованное, а потому неизбежно утомленное человечество, которое представляют сегодняшние европейцы, нуждается не просто в войнах, а в войнах величайших и ужаснейших, то есть во временных рецидивах варварства, чтобы, совершенствуя инструменты культуры, не лишиться своей культуры и самого своего существования.

478

Трудолюбие северян и южан. – Трудолюбие возникает двумя совершенно различными способами. На Юге ремесленники становятся трудолюбивыми не из желания разбогатеть, а от постоянной бедности других. Кузнец прилежен, потому что всегда приходит человек, чтобы подковать лошадь или починить телегу. Если бы не пришел никто, он слонялся бы по рынку. Прокормиться в плодородной стране нетрудно, трудиться для этого надо очень немного и уж во всяком случае не нужно трудолюбие; в конце концов, там можно попрошайничать и быть довольным жизнью. – А вот

за трудолюбием английских рабочих стоит стремление заработать больше: оно понимает себя и свою цель и через обладание стремится к силе, через силу – к максимальной свободе и личной респектабельности.

479

Богатство как источник аристократии. – Богатство неизбежно порождает в расе аристократию, потому что позволяет выбирать самых красивых женщин, оплачивать лучших учителей, дает человеку возможность соблюдать опрятность, время для физических упражнений и главным образом помогает избегать отупляющего физического труда. В этом смысле оно создает все условия, чтобы за несколько поколений научить людей благородным и красивым движениям, даже поступкам: у них более свободные чувства, в их поведении нет убогой мелочности, униженности перед работодателем, экономии на грошах. – Именно эти негативные качества – самый щедрый дар судьбы молодым людям; ведь человек совсем уж бедный обычно губит себя душевным благородством, он не преуспевает и ничего не зарабатывает, а потому его род нежизнеспособен. – Тут, правда, надо учесть, что богатство оказывает почти то же воздействие на человека, тратит ли он три сотни или тридцать тысяч талеров в год: тогда благоприятствующие условия уже существенно не улучшаются. Но иметь меньше средств, попрошайничать, словно мальчишка, и унижаться – это ужасно: хотя для таких, что ищут свое счастье в блеске дворов, в подчинении людям могущественным и влиятельным или стремятся стать церковными иерархами, это может быть верным началом пути. (– Тогда они учатся, согнувшись, пролезать в тайные коридоры покровительства.)

480

Зависть и косность в разных направлениях. – Две враждебные партии, социалистическая и националистическая – или как там они еще называются в разных европейских странах,

– друг друга стоят: зависть и леность – движущие силы той и другой. В одном лагере хотят как можно меньше работать руками, в другом – головой; в последнем ненавидят выдающихся, самородных одиночек и завидуют им – одиночкам, которые по своей воле не встанут в общий строй, чтобы усилить массовое воздействие; в первом – лучшую, стоящую в более благоприятных внешних условиях общественную касту, чья подлинная задача, производство высших культурных благ, делает внутреннюю жизнь тем более тяжкой и болезненной. Правда, если удастся сделать упомянутый дух массового воздействия духом высших классов общества, то социалистические толпы будут совершенно правы, если и внешне попытаются уравнять себя с теми, ведь внутренне, умом и душой, они уже уравнялись друг с другом. – Будьте высшими людьми и постоянно творите дела высшей культуры – тогда все живое признает вашу правоту, а общественный порядок, который вы возглавляете, будет неуязвим ни для злого взгляда, ни для злой руки!

481

Большая политика и убытки от нее. – Как народы несут величайшие убытки, какие несет с собою война и подготовка к войне, не вследствие военных издержек, остановок в торговле и жизни вообще, а также не из-за содержания постоянных армий – как бы ни были велики эти убытки теперь, когда восемь европейских государств тратят на это сумму от двух до трех миллиардов, – а в результате того, что огромное число самых дельных, сильных, работящих мужчин каждый год отрываются от своих дел и профессий, чтобы стать солдатами: таким же образом народ, замахивающийся на большую политику, на ведущую роль среди могущественных держав, несет величайшие убытки не в том, в чем их обыкновенно видят. Несомненно, что начиная с этого момента он постоянно жертвует на «алтарь отечества» или в пользу национального честолюбия множество самых отборных талантов, в то время как прежде перед этими талантами, которых теперь поглощает политика, были открыты другие сферы деятельности. Но в стороне от этих

общественных гекатомб идет куда более ужасная, нежели они, драма, беспрестанно разыгрывающаяся одновременно в сотнях тысяч актов: каждым дельным, работящим, умным, честолюбивым мужчиной в таком вожделеющем политических лавров народе овладевает это вожделение, и он уже не отдается своему собственному делу полностью, как раньше: ежедневно возникающие новые проблемы и заботы общественного блага поглощают ежедневную прибыль от умственного и душевного капитала каждого гражданина – и сумма всех этих жертв и убытков индивидуальной энергии и труда настолько чудовищна, что политическое процветание народа почти неизбежно влечет за собою умственное обнищание и утомление, снижает эффективность работы, требующей большой концентрации и специализации. Наконец, можно задаться вопросом: *окупается ли* все это пышное процветание национального коллектива (а ведь оно проявляется лишь в виде страха других государств перед новым колоссом и их принуждения к благоприятствованию национальной торговле и финансам), если этому грубому и пестро-переливающемуся цветку нации должны приноситься в жертву все более благородные, нежные, умственно развитые растения и насаждения, которых доселе в таком изобилии порождала ее земля?

482

Ради повторения. – Разделять общественные мнения – значит лениться душой.

Девятый раздел
Человек наедине с собой

483

Враги истины. – Убеждения – более опасные враги истины, чем ложь.

484

Шиворот-навыворот. – Когда мыслитель выдвигает неприятное для нас положение, его критикуют сильнее; а ведь разумней делать это, когда его тезис нам льстит.

485

С характером. – Куда чаще кажется, что у человека сильный характер, если он всегда следует своему темпераменту, чем если всегда следует своим принципам.

486

То одно, что только и нужно. – Нужно, чтобы было одно: либо характер, легкий от природы, либо характер, полегчавший от искусства и знания.

487

Страсть к делу. – Кто направляет свою страсть на дело (науки, государственное благо, интересы культуры, искусства), тот отнимает много жара у своей страсти к людям (даже если они представляют названные дела, как, скажем, государственные деятели, философы, художники – представители своих творений).

488

Покой в деятельности. – Подобно тому как водопад по мере своего падения становится более медленным и плавным, и великие деятели обычно действуют с *большим* спокойствием, чем можно было ждать, глядя на их бурную жажду дела перед делом.

489

Не слишком глубоко. – Люди, которые постигают свой предмет на всю его глубину, редко хранят ему верность навсегда. Ведь они вывели глубину на поверхность, а в таких случаях всегда становится видно много скверного.

490

Иллюзия идеалистов. – Все идеалисты воображают, будто дело, которому они служат, значительно лучше, чем все другие дела в мире, и не могут поверить, что если бы их делу вообще суждено было сбыться, то для этого понадобился бы точно тот же дурно пахнущий навоз, который необходим и для всех других человеческих начинаний.

491[1]

Самонаблюдение. – Человек очень надежно защищен от самого себя, от разведки и осады себя самого, и обычно в состоянии воспринять не больше, чем свои передовые укрепления. Сама крепость ему недоступна, даже незрима, разве что друзья и враги сыграют роль предателей и проведут его внутрь потайными ходами.

492[2]

Верно выбранная профессия. – Мужчины редко уживаются с профессией, относительно которой не верят или не слишком-то верят, что она, по сути, важнее всех прочих. Так же дело обстоит у женщин с их любовниками.

493

Благородный образ мыслей. – Благородный образ мыслей состоит по большей части из добродушия и дефицита недоверия – значит, он содержит в себе как раз то, о чем так любят с чувством превосходства и с издевкой распространяться люди корыстолюбивые и удачливые.

494

Цель и пути. – Многие упорствуют в отношении однажды проложенного пути, немногие – в отношении цели.

495

Что возмущает в индивидуальном образе жизни. – Все явно индивидуальные поступки в жизни настраивают людей против того, кто их совершает; необычное поведение, которое тот себе позволяет, заставляет их как существ обычных чувствовать унижение.

496

Привилегия великих. – Дать людям почувствовать себя на седьмом небе от счастья, одарив их малым, – вот привилегия великих.

497

Невольно благородный. – Человек даже невольно ведет себя благородно, если привык ничего не требовать от людей, а только давать им.

498

Условие героизма. – Если кто-то решил сделаться героем, то надо, чтобы сначала змея стала драконом, иначе у него не будет настоящего противника.

499

Друг. – Разделять с другим радости, а не сострадать ему, – вот что делает человека другом.

500

Использовать приливы и отливы. – В целях познания нужно уметь использовать тот внутренний поток, который влечет нас к предмету, а через какое-то время – и тот, который нас от предмета уносит.

501

Радость сама по себе. – Говорят: «Радоваться сделанному делу»; но в действительности это просто радость посредством дела.

502

Скромник. – Кто скромен с людьми, тот проявляет тем больше высокомерия к предметам (городу, государству, обществу, эпохе, человечеству). На такой лад он мстит.

503

Зависть и ревность. – Зависть и ревность – срамные части человеческой души. Можно, очевидно, развивать это сравнение и дальше.

504

Самый благородный лицемер. – Никогда не говорить о себе – это очень благородное лицемерие.

505

Досада. – Досада – телесная болезнь, которая отнюдь не проходит только от того, что повод досадовать устранен задним числом.

506

Представители истины. – Правда реже всего находит себе представителей не тогда, когда говорить ее опасно, а тогда, когда делать это скучно.

507

Еще тягостней, чем враги. – Люди, в чьем благосклонном отношении к нам мы уверены не всегда, в то время как некоторые причины (к примеру, благодарность) обязывают

нас поддерживать видимость безусловной симпатии к ним, мучают наше воображение куда сильнее, чем наши враги.

508

На природе. – Мы так любим бывать на природе потому, что у нее нет никакого мнения о нас.

509

Каждый лучше в одном деле. – В условиях цивилизации каждый чувствует себя выше каждого другого хотя бы в одном деле: на этом и основана всеобщая благожелательность, ведь каждый человек – тот, кто при определенных обстоятельствах может помочь, а потому без стыда принимает чужую помощь и сам.

510

Основания для утешения. – Когда умирают близкие, основания для утешения бывают нужны человеку не столько для смягчения властной силы своей боли, сколько для извинения за то, что он утешился с такой легкостью.

511

Верность убеждениям. – Люди очень занятые хранят свои общие взгляды и точки зрения почти неизменными. То же и с каждым, кто служит идее: эту самую идею он не станет проверять никогда, для этого у него нет времени; мало того, идет вразрез с его интересом даже вообще считать ее подлежащей обсуждению.

512

Нравственность и количество. – Более высокая нравственность одного человека в сравнении с нравственностью другого сплошь да рядом состоит только в том, что цели первой количественно больше. А второго оставляют внизу занятия мелочами, в узком кругу жизни.

513

Жизнь как доход от жизни. – Как бы далеко человек ни раздвигал границы своего познания, каким бы объективным ни казался себе, в конце концов он не получает от жизни ничего, кроме собственной биографии.

514

Железная необходимость. – Железная необходимость – это такая вещь, что в ходе истории люди начинают понимать: она ни железная, ни необходимая.

515

Обосновано опытом. – Абсурдность вещи – еще не довод против ее существования, а, скорее, его условие.

516

Истина. – Теперь уж никто не умирает от смертоносных истин: есть слишком много противоядий.

517

Фундаментальное убеждение. – Нет никакой предустановленной гармонии между отстаиванием истины и благом человечества.

518

Человеческий жребий. – Кто мыслит поглубже, тот знает, что всегда не прав, как бы ни поступал и ни судил.

519

Истина как Цирцея. – Заблуждение превратило животное в человека; так может, истина в состоянии снова превратить человека в животное?

520

Угроза для нашей культуры. – Мы живем в эпоху, культуре которой угрожает гибель от инструментария культуры.

521

Быть великим – значит задавать направление. – Нет реки, которая была бы великой и полноводной сама по себе: такой ее делает множество принимаемых и влекомых ею дальше притоков. То же и со всеми великими умами. Важно только, чтобы такой человек задавал направление, которому потом будут следовать многочисленные притоки, а не то, насколько его дар был скуден или изобилен с самого начала.

522

Немощная совесть. – У людей, рассуждающих о своем значении для человечества, совесть немощна в отношении общей гражданской законопослушности в соблюдении договоров и обещаний.

523

Желание быть любимым. – Требование любви к себе – крайняя разновидность высокомерия.

524

Презрение к людям. – Самый недвусмысленный признак неуважения человека к другим людям состоит в том, что каждого он признает только как средство для достижения *своих* целей – или не признает вообще.

525

Сторонники из чувства противоречия. – Тот, кто довел людей до белого каления против себя, тем самым получил и партию своих сторонников.

526

Забвение переживаний. – Кто много мыслит, и притом мыслит объективно, с легкостью забывает собственные переживания, но не с такой же легкостью – мысли, вызванные ими.

527

Устоявшееся мнение. – Один держится за мнение потому, что мнит, будто сам дошел до него, другой – потому, что усвоил

его с трудом и теперь гордится тем, что понял его: стало быть, оба делают это из тщеславия.

528

Светобоязнь. – Хороший поступок так же робко сторонится света, как и плохой: последний боится, что если о нем узнают, это повлечет за собой боль (как наказание), первый – что исчезнет наслаждение (а именно то чистое наслаждение от самого себя, которое прекращается сразу, как только к нему добавляется удовлетворение тщеславия).

529

Долгота дня. – Когда человеку нужно многое рассовать, у дня появляется сотня карманов.

530

Гений тиранства. – Когда у человека в крови пылает неутолимая жажда пробиться в жизни путем тиранства и это пламя не угасает, то даже небольшое дарование (у политиков, художников) мало-помалу превращается в почти неодолимую природную силу.

531

Жизнь врага. – Тому, кто поддерживает в себе жизнь битвой с врагом, необходимо, чтобы тот оставался жив.

532

Что важнее. – Дело темное, необъясненное кажется более важным, нежели светлое, объясненное.

533

Оценка полученных услуг. – Услуги, оказанные нам кем-то, мы ценим по той значимости, какую им придает он, а не по той, какую они имеют для нас самих.

534

Несчастье. – Отличие, которое дает человеку несчастье (как будто чувствовать себя счастливым – признак пошлости, непритязательности, дюжинности) так велико, что мы обыкновенно протестуем, когда нам говорят: «Как же Вы счастливы!».

535

У страха глаза велики. – Воображение страха – тот злобный обезьяноподобный бесенок, что вспрыгивает человеку на спину как раз тогда, когда он уж и так несет тяжелейший груз.

536

Чем ценны пошлые противники. – Иной раз не бросаешь дело только потому, что его противники продолжают быть пошлыми.

537

Ценность профессии. – Профессия делает человека бездумным; и в этом ее величайшее благо. Ведь она – прикрытие, за которое можно законным образом отступить, когда нападают сомнения и заботы общего характера.

538

Талант. – У некоторых людей талант кажется меньшим, чем есть на самом деле, потому что они всегда ставили перед собою слишком большие задачи.

539

Юность. – Юность малоприятна, ведь в эту пору жизни невозможно или не нужно быть продуктивным в том или ином смысле.

540

Непомерные цели. – У того, кто публично ставит перед собой великие цели, но потом молча понимает, что сил у него не хватит, обычно не хватает сил и на то, чтобы публично отказаться от этих целей, и он неизбежно становится лицемером.

541

В потоке. – Сильные потоки волочат с собою много каменьев и веток, сильные умы – много глупых и путаных голов.

542

Опасности освобождения ума. – Когда человек всерьез планирует освободить свой ум, то его страсти и вожделения тоже втихомолку надеются на этом выгадать.

543

Воплощение духа. – Если кто-то мыслит много и умно, то умным становится выражение не только его лица, но и тела.

544

Плохо видеть и плохо слышать. – Кто видит мало, видит все меньше; кто плохо слышит, всегда слышит что-то в придачу.

545

Самодовольство тщеславия. – Человек тщеславный хочет не столько быть выдающимся, сколько чувствовать себя выдающимся, а потому не пренебрегает ни одним способом обмануть себя, перехитрить себя. Для него важнее всего на свете не мнение других, а свое мнение об их мнении.

546

Тщеславие в виде исключения. – Человек, обычно скромный, в виде исключения бывает тщеславным и падким на славу и восхваления, если болен телесно. В той мере, в какой он себя теряет, ему приходится восстанавливать себя из чужого мнения, извне.

547

«Одухотворенные». – Нет духа у того, кто взыскует духовности.

548

Намек для партийных главарей. – Если оказывается возможным подтолкнуть людей к публичным признаниям в пользу чего-то, значит, их уже почти подвели и к внутреннему согласию с этим; ведь теперь они хотят, чтобы их считали последовательными.

549

Презрение. – Презрение других к себе человек переносит хуже, чем собственное презрение к себе.

550

Петля благодарности. – Есть рабские душонки, которые доводят свою признательность за оказанные им благодеяния до того, что сами удушают себя петлею благодарности.

55[1]

Прием для пророков. – Дабы предугадать образ действий обычных людей, нужно знать, что для избавления от неприятностей они всегда тратят минимум ума.

55[2]

Единственное право человека. – Кто отклоняется от традиционного, становится жертвой чрезвычайного; кто хранит верность традиционному, становится его рабом. Гибнет человек в обоих случаях.

553

Опуститься ниже животного. – Когда человек ржет со смеху, в пошлости он превосходит всех животных.

554

Дилетантизм. – Тот, кто плохо говорит на иностранном языке, получает от этого больше наслаждения, чем тот, кто владеет им хорошо. Так что удовольствие – привилегия дилетантов.

555

Опасная услужливость. – Есть люди, стремящиеся усложнить другим жизнь не по иной какой причине, а только чтобы после предложить им свои рецепты облегчения жизни, к примеру, свое христианство.

556

Прилежание и добросовестность. – Прилежание и добросовестность нередко оказываются антагонистами потому, что прилежание хочет сорвать плоды с деревьев кислыми, а добросовестность не трогает их слишком долго, так что они падают сами и разбиваются.

557

Подозревать. – Мы стараемся представить себе подозрительными людей, которых терпеть не можем.

558

Когда нет условий. – Многие всю жизнь ждут случая сделаться добрыми на *свой* лад.

559

Дефицит друзей. – Дефицит друзей у человека заставляет думать о его завистливости или высокомерии. Некоторые обязаны своими друзьями лишь тому счастливому обстоятельству, что не находят поводов для зависти.

560

Опасность избытка. – Обладая одним лишним талантом, человек часто чувствует себя более неуверенно, чем одного

таланта недосчитываясь: вот так и стол лучше держится на трех ножках, чем на четырех.

561

Другим в пример. – Кто хочет дать хороший пример, должен добавлять к своей доблести чуточку шутовства: тогда ему можно подражать и в то же время чувствовать себя выше образца – людям это нравится.

562

Быть мишенью. – Злые слова других о нас часто относятся на самом деле не к нам самим, это проявления досады, раздражения, вызванных совсем иными причинами.

563

Легкое сожаление. – Неутоленные желания вызывают лишь легкое сожаление, если воображение приучилось обезображивать прошлое.

564

В опасности. – Ты только что пропустил перед собой карету – вот тут-то больше всего и рискуешь попасть под другую.

565

По голосу и роль. – Кому приходится говорить громче, чем он привык (скажем, обращаясь к человеку плохо слышащему или к большой аудитории), тот обычно преувеличивает то, о чем ему надо сообщить. – А кое-кто становится заговорщиком, злобным сплетником, интриганом только потому, что его голос лучше всего годится для нашептыванья.

566

Любовь и ненависть. – Любовь и ненависть не слепы – они только ослеплены пламенем, которое несут с собою.

567

Выгодная вражда. – Люди, которые не умеют полностью раскрыть перед миром свои заслуги, пытаются навлечь на себя сильную вражду. Тогда для них утешение думать, что она стоит между заслугами и их признанием – и что некоторые другие тоже так думают: а это очень выгодно для их хорошей репутации.

568

Исповедь. – Исповедавшись другому, человек забывает свою вину, но этот другой ее обычно не забывает.

569

Самодовольство. – Золотое руно самодовольства защищает от палок, но не от шпилек.

570

Тьма в пламени. – Себе пламя светит не так ярко, как другим, для которых горит: то же и с мудрецами.

571

Собственные мысли. – Первая же мысль, которая приходит нам в голову, когда нас неожиданно о чем-то спрашивают, обыкновенно бывает не нашей собственной, а расхожей, свойственной нашей касте, должности, происхождению; собственные мысли всплывают наверх редко.

572

Откуда берется мужество. – Человек дюжинный мужествен и неуязвим, как герой, когда не видит опасности, когда он слеп на нее. И наоборот: единственное уязвимое место у героя – на спине, то есть там, где у него нет глаз.

573

Опасность во враче. – Надо быть рожденным для своего врача, иначе от своего врача и погибнешь.

574

Тщеславие от чудесного. – Кто трижды смело предсказал погоду, и предсказание сбылось, в глубине души немного верит в свой пророческий дар. Мы допускаем чудесное, иррациональное, если оно льстит нашей самооценке.

575

Профессия. – Профессия – костяк жизни.

576

Опасность личного влияния. – Тот, кто чувствует, что оказывает на другого сильное внутреннее влияние, должен предоставлять ему полную свободу, мало того, при случае смотреть сквозь пальцы на его неприязнь к себе и даже вызывать ее: иначе он неизбежно наживет себе врага.

577

Признать наследников. – Кто с самоотверженным чувством заложил основы чего-то великого, заботится воспитать се-

бе наследников. Если во всех возможных продолжателях своего труда человек видит своих врагов и живет в состоянии самообороны, это признак деспотической и неблагородной натуры.

578

Дилетантизм. – Дилетантизм покоряет людей сильнее, чем профессионализм: вещи известны ему более простыми, чем они есть, а потому его мнения оказываются более доходчивыми и убедительными.

579

Не годится в члены партии. – Кто много мыслит, не годится в члены партии: он слишком быстро выйдет из нее своими мыслями.

580

Скверная память. – Преимущество скверной памяти в том, что можно, словно впервые, много раз наслаждаться одними и теми же хорошими вещами.

581

Причинять себе боль. – Беспощадность мышления часто бывает признаком душевного беспокойства, жаждущего наркоза.

582

Мученики. – Последователи мучеников страдают больше, чем сами мученики.

583

Отсталое тщеславие. – Тщеславие некоторых людей, которым не следовало бы быть тщеславными, – это уцелевшая и пошедшая в рост привычка, сохранившаяся с той поры, когда у них еще не было права верить в себя и они по грошику выклянчивали эту веру у других.

584

Punctum saliens[1] страсти. – Тот, кто вот-вот впадет в гнев или в сильный любовный аффект, достигает точки, где душа полна, как сосуд: и все-таки в него суждено влиться еще одной капле воды – доброй воле к страсти (которую обычно называют также и злой). Достаточно этой крошечной точки – и сосуд переполнится.

585

Говорит негодование. – Люди – они что костры углежогов в лесу. Молодые люди становятся *полезными*, лишь после того как отпылают и обуглятся, подобно дровам. Пока они чадят и дымятся, они, возможно, интереснее, но бесполезны и уж слишком часто неприятны. – Человечество без пощады использует каждого индивида как топливо для своих великих машин: но на что тогда и машины, если все индивиды (то есть человечество) нужны только для того, чтобы они работали? Машины как самоцель – не это ли umana commedia[2]?

586

О часовой стрелке жизни. – Жизнь состоит из редких отдельных моментов высочайшей ценности и из бессчетного чи-

1 Суть (*лат.*). См. прим.
2 Человеческая комедия (*ит.*).

сла промежутков между ними, когда в лучшем случае вокруг нас витают лишь тени тех моментов. Любовь, весна, всякая красивая мелодия, горы, луна, море – все только раз говорит сердцу внятно, если вообще внятно говорит. Ведь у многих людей совсем не бывает таких моментов: они сами – промежутки и паузы в симфонии подлинной жизни.

587

Нападать или влиять. – Мы нередко совершаем ошибку, с лютой враждою относясь к тенденции, партии или эпохе, потому что случайно нам стали видны лишь их внешние стороны, их слабости или неизбежно присущие им «грехи их добродетелей», – возможно, по той причине, что мы прежде всего и сами были причастны к ним. Тогда мы отворачиваемся от них и пробуем идти в противоположном направлении; а ведь лучше всего было бы изыскивать в них либо формировать в себе сильные, хорошие стороны. Разумеется, чтобы содействовать становящемуся и несовершенному, требуется более проницательный взгляд и больше доброй воли, чем чтобы разглядеть его несовершенство и отречься от него.

588

Скромность. – Есть на свете истинная скромность (то есть понимание того, что мы не сами себя создали); и больше всего она подобает великому уму, ведь именно он-то и в состоянии постичь мысль о полной безответственности (даже за то хорошее, что он творит). Нескромность великого человека вызывает к себе ненависть не потому, что он сознает свою силу, а по той причине, что лишь хочет испытать свои силы, задевая других, обращаясь с ними, как с холопами, и посмотреть, сколько те будут терпеть. Обыкновенно это даже изобличает нехватку уверенности в своих силах, а потому заставляет людей сомневаться в его величии. В этом смысле нескромность – вещь весьма вредная с точки зрения благоразумия.

589

Первая мысль с утра. – Лучший способ хорошо начинать каждый день таков: проснувшись, подумать о том, нельзя ли за этот день доставить радость хоть одному человеку. Если бы это смогло заменить собою религиозную привычку молиться, ближние от такой замены получили бы только выгоду.

590

Высокомерие как последнее утешение. – Если неудачу, собственный умственный изъян, свою болезнь человек объясняет себе, усматривая в них предначертанную ему судьбу, ниспосланное ему испытание или таинственную кару за содеянное прежде, то тем самым делается интересным в собственных глазах и в своем воображении возвышается над ближними. Возгордившийся грешник – фигура, известная во всех религиозных сектах.

591

Как вырастает счастье. – Прямо возле мировой скорби, а сплошь да рядом на ее вулканической почве, человек разбил свои крошечные садики счастья; и глядеть ли на жизнь глазами того, кто ищет в существовании одного лишь познания, или того, кто капитулировал перед нею и признает свое бессилие, или того, кто радуется, преодолев ее тяжесть, – всюду рядом с бедою он обнаружит несколько всходов счастья – причем счастья будет тем больше, чем более вулканическая под ним почва, – и было бы даже смешно сказать здесь, что этим счастьем оправдано и само страдание.

592

Дорогой предков. – Человек поступает правильно, если развивает в себе *талант*, на который его отец или дед потратили столько усилий, не обращая его на что-то совсем дру-

гое; иначе он лишает себя возможности достичь совершенства в каком-нибудь ремесле. Поэтому пословица и гласит: «Какой дорогой тебе скакать? – Дорогой предков».

593

Тщеславие и честолюбие как воспитатели. – Покуда человек еще не сделался орудием всеобщей человеческой пользы, его может мучить честолюбие; но как только эта цель достигнута, он, словно машина, неизбежно начинает работать на всеобщее благо, и тогда может стать тщеславным; когда честолюбие закончит грубую работу над ним (сделает его полезным), тщеславие сделает его более человечным в мелких масштабах, более общительным, более терпимым, более снисходительным.

594

Новички в философии. – Человек только что усвоил мудрость какого-нибудь философа – и вот уже расхаживает по улицам с чувством, будто родился заново и сделался великим; ведь он видит вокруг только таких, которым эта мудрость неведома, и, стало быть, должен изложить какое-то новое, дотоле неизвестное мнение обо всем на свете: признав свод законов, он теперь думает, будто обязан и держать себя, как судья.

595

Симпатия через антипатию. – Люди, предпочитающие выделяться, вызывая к себе антипатию, жаждут того же самого, что и те, которые не хотят выделяться, но хотят нравиться, – только в гораздо большей степени и косвенно, через этап, когда мнимо отдаляются от своей цели. Они хотят влияния и власти, а потому демонстрируют свое превосходство, даже таким образом, что кажутся неприятными; ведь им известно, что тот, кто наконец оказывается у власти, нравится людям чуть ли не во всех своих делах и

словах, и что даже если не нравится, все равно кажется симпатичным. – Свободные умы, также как и верующие, хотят власти, чтобы когда-нибудь благодаря ей понравиться; если им из-за их доктрины грозят злосчастья, преследования, темница, казнь, они ликуют при мысли о том, что этим путем их доктрина запечатлеется в человечестве навсегда; они примиряются с мучениями как с болезненным, но сильным, хотя и поздно подействовавшим способом все-таки добиться власти.

596

Casus belli[1] *и тому подобное.* – Монарх, изыскивающий какой-нибудь casus belli для уже заранее принятого решения начать с соседом войну, подобен отцу, приводящему к своему ребенку мачеху, которая отныне должна считаться его матерью. А не такие же вот мачехи – и почти все публично объявленные мотивы наших поступков?

597

Страсть и право. – Никто не говорит о своих правах с большею страстью, чем человек, в глубине души сомневающийся в них. Привлекая страсть на свою сторону, он хочет усыпить разум и его сомнения: таким путем он обретает чистую совесть, а с нею вместе и успех среди ближних.

598

Уловка отречения. – Тот, кто протестует против брака на манер католических священников, хочет понимать его в самом низменном и пошлом смысле. Точно так же тот, кто отклоняет от себя воздаваемую современниками честь, придает ей низкий смысл; таким путем он облегчает себе отказ от нее и сопротивление. Да и вообще, тот, кто в целом от-

---

1 повод для объявления войны (*лат.*).

казывает себе во многом, в мелочах с легкостью отпускает себе грехи. Вполне вероятно, что тот, кто поднялся над одобрением современников, все-таки не станет отказывать себе в удовлетворении мелкого тщеславия.

599

Возрастные ступени высокомерия. – У людей одаренных период настоящего высокомерия лежит в возрасте между двадцатью шестью и тридцатью годами; это пора первой зрелости, но еще с очень заметным кислым привкусом. Исходя из своего самоощущения, они требуют почета и смирения от людей, которые мало или вообще ничего не знают об их внутреннем богатстве, и поскольку те поначалу никак не реагируют, то они мстят теми взглядами, теми жестами высокомерия, тем тоном голоса, что тонкий слух и зрение распознают во всех достижениях этого возраста, будь то поэтические, философские, живописные или музыкальные творения. Люди постарше, бывалые, при этом усмехаются, с умилением вспоминая этот прекрасный возраст, когда человек злится на свой удел – *быть* таким значительным и *казаться* таким невзрачным. Позже он и впрямь начинает *казаться* чем-то большим – но утратив добрую веру в то, что *является* чем-то значительным: так пускай же он на всю жизнь останется неисправимым шутом тщеславия.

600

Иллюзия опоры. – Бывает, чтобы пройти по краю пропасти или перейти по доске через глубокий ручей, нужны какие-то перила – но не для того, чтобы ухватиться за них, ведь тогда они обрушатся, и мы вместе с ними, – а чтобы дать глазам ощущение надежной опоры: вот так же в ранней юности нам нужны такие люди, которые бессознательно могут послужить нам такими перилами. Нет никакого сомнения – они не помогли бы нам, если бы мы в минуту большой опасности и впрямь захотели бы на них опереться, но они дают успокоительное ощущение того, что защита близ-

ко (это, к примеру, отцы, учителя, друзья, какими все они обычно и бывают).

601

Учиться любить. – Надо учиться любить, учиться доброте, и притом с юных лет; если воспитание и случай не дают нам возможности развить в себе эти чувства, то душа наша сохнет и становится неспособной даже хотя бы понимать эти нежные выдумки людей мягких. Точно так же нужно обучать и кормить ненависть, если человек хочет стать порядочным ненавистником: иначе мало-помалу погибнет даже зародыш ненависти.

602

Руины как украшение. – Люди, прошедшие через множество духовных трансформаций, сохраняют некоторые взгляды и привычки прежнего состояния своей души, которые потом высятся среди их нового мышления и поведения, словно остатки баснословной древности и замшелых каменных стен: нередко они украшают собою весь ландшафт.

603

Любовь и честь. – Любовь жаждет, страх избегает. Вот почему невозможно, чтобы один и тот же человек зараз любил и почитал другого – по крайней мере, в один и тот же период времени. Ведь тот, кто чтит, признает власть, а это значит, что боится ее: он находится в состоянии почитания. А любовь не признает власти, не признает ничего, что разделяет, выделяет, ставит выше или ниже. Она не знает почтения, и потому честолюбивые люди тайком или открыто противятся тому, чтобы их любили.

604

Предубеждение в пользу холодных людей. – Люди, которые быстро воспламеняются, быстро и остывают, а потому в целом ненадежны. По этой причине сложилось предубеждение, благоприятное для всех, кто неизменно холоден или таким представляется, – будто эти люди внушают сугубое доверие, будто они надежны: их путают с теми, кто воспламеняется долго, но долго и горит.

605

Опасное в свободе мнений. – Легкая доступность свободы мнений сообщает раздражение, как бы некий зуд; если человек поддается ему, он принимается чесаться, пока, наконец, не начешет себе открытую болезненную рану, иными словами, пока свобода мнений не начнет сминать, терзать нашу жизненную позицию, наши человеческие связи.

606

Жажда сильной боли. – Страсть, миновав, оставляет по себе смутную тоску по себе самой и в последний миг бросает взгляд, полный соблазна. Видимо, все-таки это было своего рода наслаждением – испытывать на себе удары ее бича. Ощущения более умеренные в сравнении с нею кажутся пресными; ярая мука нам, вероятно, все же милее, чем вялое наслаждение.

607

Досада на других и на мир. – Когда мы, что случается так часто, вымещаем свою досаду на другом, хотя на самом-то деле досадуем на себя, то, по сути, хотим напустить туману и обмануть собственный разум: мы a posteriori стремимся мотивировать эту досаду ошибками, изъянами других и таким образом не смотреть на себя самих. – Люди истово верую-

щие, себе самим неумолимые судьи, в то же время больше всех говорили о сквернах человечества вообще; не бывало еще на свете ни одного святого, который оставлял за собою право на грехи, а за другими – на добродетели, как не бывало и человека, который, согласно предписанию Будды, скрывал бы от людей свои хорошие стороны и выставлял бы на обозрение только плохие.

608

Смешение причины и следствия. – Бессознательно мы ищем принципы и догмы, соответствующие нашему темпераменту, и дело в конце концов выглядит так, будто эти принципы и догмы создали наш характер, придали ему устойчивость и определенность: а ведь произошло-то как раз обратное. Наше мышление и суждения должны, как нам представляется, сделаться задним числом причиной нашего характера: но фактически наш характер – причина того, что мы мыслим и судим так-то и так-то. – А что принуждает нас играть эту почти бессознательную комедию? Косность и леность, не в последнюю же очередь – тщеславное желание казаться абсолютно цельными, едиными в характере и мышлении: ведь это завоевывает уважение, дает доверие к себе и власть.

609

Возраст и истина. – Молодые люди любят интересное и особенное, все равно, истинно оно или ложно. Умам более зрелым нравится в истине то, что в ней есть интересного и особенного. Наконец, вполне зрелые умы любят истину даже там, где она кажется скромной и простой – и вызывает зевоту у людей дюжинных, – поскольку заметили, что высшее, чем она владеет в уме, истина обыкновенно высказывает с наивным видом.

610

Люди как плохие поэты. – Как плохие поэты во второй половине стиха подыскивают мысль для рифмы, так люди во второй половине жизни, обычно становясь боязливей, выбирают поступки, позиции, отношения, подходящие к поступкам, позициям, отношениям своей прежней жизни, чтобы добиваться внешней благозвучной гармонии: но жизнью их уже не руководит одна сильная мысль, все вновь направляя ее, – место этой мысли заступает желание подыскать рифму.

611

Скука и игра. – Потребность принуждает нас к труду, результатами которого она удовлетворяется; все новое пробуждение потребностей приучает нас к труду. В промежутках же, когда потребности удовлетворены и как бы спят, на нас нападает скука. Что она такое? Это привычка к труду вообще, которая сейчас заявляет о себе как новая, дополнительная потребность; она будет тем сильнее, чем больше человек привык трудиться, а возможно даже – чем больше он страдал от потребностей. Чтобы избежать скуки, человек либо работает больше, чем нужно для удовлетворения его обычных потребностей, либо изобретает игру, то есть труд, призванный удовлетворять никакую иную потребность, как только потребность в труде вообще. Тем, кому надоело играть, а новые потребности не побуждают его к труду, иногда овладевает жажда какого-то третьего состояния, которое относится к игре так же, как парение к танцу, как танец к ходьбе, – жажда блаженно-покойной подвижности: таким художники и философы представляют себе счастье.

612

Чему учат портреты. – Разглядывая ряд своих изображений от раннего отроческого возраста до возраста первой зрелости, с приятным изумлением обнаруживаешь, что мужчина больше похож на ребенка, чем на юношу: так что, ве-

роятно, в соответствии с этим обстоятельством, в промежутке наступало временное отчуждение от собственного природного характера, преодоленное затем сосредоточенной, сжатой в кулак силой мужчины. Этому ощущению соответствует и другое: что все эти сильные влияния страстей, учителей, политических событий, окружавшие нас в юношеском возрасте, позднее вновь оказываются в надежном русле: правда, они живут в нас и продолжают действовать, но наши законные чувства и взгляды все же берут верх и используют их, видимо, как источники энергии, а уже не как основные ориентиры, как это, пожалуй, было в возрасте от двадцати до тридцати. Вот и выходит, что и мышление, чувства зрелого мужчины опять-таки больше похожи на те, которые были у него в детстве, – и этот внутренний факт выражается в упомянутом внешнем.

613

Звук голоса и возраст. – Голос, которым юноши говорят, хвалят, порицают, читают стихи, вызывает антипатию у людей постарше: он слишком громок и в то же время глух, неясен, как голос, раздающийся под куполом и благодаря царящей там пустоте получающий такую вот гулкую звучность; ведь бо́льшая часть юношеских мыслей не проистекает из полноты их собственной натуры, а бывает откликом, отзвуком того, что мыслилось, говорилось, хвалилось, порицалось рядом с ними. Но поскольку чувства (симпатии и антипатии) отзываются в их душах гораздо сильнее, чем обоснования этих чувств, то когда юноши в очередной раз высказывают свое чувство, возникает тот глухой, гулкий звук голоса, который свидетельствует об отсутствии или скудости обоснований. Голос людей постарше звучит строго, четко, умеренно громко, но, как и все, что хорошо артикулировано, весьма солидно. Наконец, в голосе старости часто звучит некоторая мягкость и снисходительность, которая словно добавляет в него сахару: правда, иногда она добавляет туда и кислоты.

614

Люди отставшие и забежавшие вперед. – Характер неприятный, исключительно недоверчивый, с завистью воспринимающий все успехи своих соперников и ближних, проявляющий насилие и вспыльчивость в случае несогласия, свидетельствует о том, что его носитель принадлежит к одной из прежних ступеней культуры, то есть является пережитком: ведь способ, каким он вступает в отношения с людьми, был правильным и подобающим в условиях эпохи кулачного права; такой человек – *отставший*. Другой характер, сочувствующий чужой радости, всюду находит друзей, с любовью воспринимает все, что растет и развивается, радуется вместе с другими их успехам и оказанным им почестям и не претендует на привилегию одному знать правду, а со всею скромностью не доверяет себе, – это человек, забежавший вперед, идущий навстречу более высокой человеческой культуре. Характер неприятный порожден эпохой, когда еще только начал вчерне закладываться фундамент межчеловеческих отношений, другой – живет на их самых высоких этажах, максимально далекий от дикого животного, которое беснуется и ревет в затворе погребов, под самым дном культуры.

615

Утешение для ипохондриков. – Когда на великого мыслителя иногда нападает ипохондрическое самоистязание, он может говорить себе: «Этот паразит питается и растет исключительно за счет моей же собственной великой силы; была б она поменьше, меньше пришлось бы мне и страдать». То же самое может говорить государственный деятель, когда ревность и мстительность, вообще настроение bellum omnium contra omnes[1], к которому он как представитель своей нации непременно должен иметь большой дар, время от времени вторгаются и в его личную жизнь и отравляют ее.

---

1 война всех против всех (*лат.*, Т. Гоббс).

616

Вдали от современности. – Есть большие преимущества в том, чтобы однажды почувствовать очень сильную отчужденность от своего времени, как бы ощутить, что тебя несет вдаль от его берегов, назад в океан мировоззрений прошлого. Глядя оттуда на побережье, ты, вероятно, впервые видишь все его очертания, а приблизившись к нему снова, получаешь преимущество – понимать его как целое лучше, чем те, что никогда его не покидали.

617

Сев и жатва на почве личных изъянов. – Люди, подобные Руссо, знают, как использовать собственные слабости, изъяны, пороки в качестве удобрений для своего таланта. Когда Руссо сетует на испорченность и вырождение общества как плачевный итог культуры, то исходит при этом из личного опыта; горечь этого опыта придает резкость его общему приговору и отравляет стрелы, коими он стреляет; и прежде всего он облегчает себе ношу как личности, думая отыскать какое-то лекарство, которое непосредственно помогло бы обществу, а косвенно и через это общество – и ему самому.

618

Глядеть на жизнь философски. – Люди обычно стараются выработать в себе *единый* строй чувств, *единый* род воззрений для всех жизненных ситуаций и событий – главным образом это-то и называется «глядеть на жизнь философски». Однако для приращения познания, вероятно, полезнее не унифицировать себя на такой манер, а прислушиваться к тихому голосу разных жизненных ситуаций; каждая из них принесет с собою собственные воззрения. Тогда человек будет интеллектуально соучаствовать в жизни многих, поскольку не станет считать себя застывшим, неизменным, всегда одним и тем же индивидом.

619

В огне презрения. – Очередной шаг на пути к самостановлению человек делает, когда отваживается открыто высказывать взгляды, придерживаться которых считается постыдным; тут обычно пугаются даже друзья и знакомые. Натуре одаренной предстоит пройти и сквозь этот огонь; тогда она даже еще больше принадлежит себе.

620

Самопожертвование. – Когда есть выбор, большое самопожертвование мы предпочитаем малому: ведь за большое мы вознаграждаем себя, восхищаясь собой, чего не смогли бы делать при малом.

621

Любовь как уловка. – Тому, кто на самом деле хочет *узнать* что-то новое (будь то человек, событие или книга), лучше всего принимать это новое со всей возможной любовью, быстро закрывать глаза на все, что кажется ему в нем враждебным, возмутительным, превратным, даже забывать об этом: к примеру, давать максимальную фору автору какой-нибудь книги и прямо-таки, словно на скачках, с бьющимся сердцем желать, чтобы он добился своего. Поступая так, мы проникаем в самое сердце новой вещи, в ее прыгающую точку: а именно это-то и значит узнать ее. Если мы это сделали, разум вдогонку производит свои ограничения; а наша прежняя переоценка, прежняя временная остановка маятника критики оказались только уловкой, чтобы выманить душу нового.

622

Переоценивать и недооценивать мир. – Думаем ли о вещах слишком хорошо или слишком плохо, из этого мы всегда извлекаем выгоду большего наслаждения: ведь наше предвзятое

слишком хорошее мнение вкладывает обычно в вещи (переживания) больше сладости, чем они содержат в себе на самом деле. Предвзятое слишком плохое мнение влечет за собою некое приятное разочарование: к тому приятному, что уже и так заключалось в вещах, добавляется приятность, состоящая в неожиданности. – Мрачный темперамент, кстати, в обоих случаях испытывает прямо противоположные ощущения.

623

Люди с глубиной. – Люди, сила которых заключается в том, чтобы делать впечатления глубокими – их обычно называют людьми с глубиной, – при любых внезапных переменах бывают более или менее спокойными и решительными: ведь в первый момент впечатление еще было плоским – оно *станет* глубоким только потом. А вот вещи или лица давно предвиденные, долгожданные волнуют таких людей сильнее всего, делая их почти неспособными хранить присутствие духа, когда те наконец появляются.

624

Отношения с нашим лучшим «я». – В жизни всякого человека бывает счастливый день, когда он находит свое лучшее «я»; и подлинная человечность требует подходить к каждому с оценкой только в этом его состоянии, а не в будни его неволи и порабощения. К примеру, художника надо оценивать и уважать по лучшим образам, какие ему довелось узреть и изобразить. Но сами люди совершенно по-разному вступают в отношения с этим своим лучшим «я» и сплошь да рядом оказываются сами себе актерами, поскольку позже неизменно подражают тому, чем бывают в эти мгновения. Многие живут в страхе и смирении перед собственным идеальным состоянием, они предпочли бы отречься от него: они боятся своего лучшего «я», потому что когда оно говорит, оно говорит требовательно. К тому же оно, словно никому не подотчетное привидение, является и остается, как ему

заблагорассудится; поэтому его нередко называют даром богов, хотя дар богов (то есть случая) на самом деле – все что угодно иное: а здесь это сам же человек.

625

Одинокие люди. – Некоторые люди настолько привыкли быть наедине с собою, что вообще не сравнивают себя с другими, а спокойно и радостно продолжают строить свою монологическую жизнь, ведя с собою мирные разговоры, даже смеясь. А если надоумить их сравнить себя с другими, то они склонны с сомнениями недооценивать себя: поэтому их надо принуждать к тому, чтобы они впервые *узнали* хорошее, справедливое мнение о себе от других: но они неизменно будут стремиться вычесть что-нибудь даже из этого усвоенного мнения, умалить его. – Так что некоторых людей следует предоставлять их одиночеству и не проявлять к ним глупой жалости, как это нередко делают.

626

Без мелодии. – Есть на свете люди, которым до того свойственны постоянная самодостаточность и гармоничное сочетание всех способностей, что им претит всякая целеполагающая деятельность. Они подобны музыке, состоящей из одних только продолжительных гармонических аккордов, в которой нет и намека на артикулированно проведенную мелодию. Всякое внешнее воздействие заканчивается только тем, что челнок тотчас снова выпрямляется в волнах гармонического благозвучия. Современные люди обычно оказываются в безвыходном тупике, встречая такие натуры, из которых ничего не *выходит*, но которым невозможно сказать, что они и *есть* ничто. Однако в некоторых обстоятельствах их вид заставляет задаться странным вопросом: «Да зачем вообще нужна мелодия? Неужто нам не довольно того, чтобы жизнь спокойно отражалась в глубоком озере?». – В средневековье таких натур было куда больше, чем в наше время. Как редко нынче наталкиваешься на челове-

ка, который мирно и радостно может жить, довлея себе, даже в толпе, и приговаривать, подобно Гёте: «Всего лучше глубокая тишина, в которой я живу и расту к миру, обретая то, чего они не могут отнять у меня огнем и мечом».

627

Жизнь и переживание жизни. – Наблюдая, как некоторые люди умеют обращаться со своими переживаниями – своими незначительными будничными переживаниями, – превращая их в пашню, трижды в год приносящую урожай, в то время как других – великое множество других! – влекут бурные волны самых отчаянных судеб, разнообразнейших течений эпохи и общества, но они всегда легки, всегда плывут себе сверху, словно сделаны из пробки, в конце концов начинаешь испытывать искушение разделить человечество на меньшинство (абсолютное) таких, которые из малого умеют сделать многое, и большинство тех, что из многого умеют делать малое; мало того, наталкиваешься на тех чародеев наизнанку, которые из мира творят ничто, вместо того, чтобы творить мир из ничто.

628

Игра всерьез. – В Генуе, в час вечерних сумерек, я слышал, как с башни длительно поют колокола: песнь не желала кончаться и летела, словно не могла вдосталь насладиться собою, над уличным шумом в вечернее небо и воздушную бездну моря, и зловещая, и детски-простая зараз, щемящая душу. Тут припомнил я слова Платона и как-то разом проникся ими до самой глубины: *ничто из человеческих дел не заслуживает особо серьезного к себе отношения; но все же* – –

629

Об убеждении и справедливости. – То, что человек говорит, обещает, решает в горячке страсти, необходимо выполнять

потом, когда он охладится и отрезвеет, – это требование относится к наиболее тяжким ношам, обременяющим человечество. Необходимость навсегда признать справедливыми результаты сделанного во гневе, в пылающей огнем мести, в энтузиазме самоотверженности способна вызвать тем большее ожесточение против этих чувств, чем больше именно перед ними повсюду слепо преклоняются, особенно художники. Последние поощряют и всегда поощряли *высокую оценку страстей*; правда, они прославляют и устрашающие способы утоления страсти, к каким прибегает человек, – порывы мстительности, влекущие за собою смерть, увечье, добровольное изгнание, и отречение разбитых сердец. Как бы там ни было, когда художники поддерживают любопытство к страстям, они словно хотят сказать этим: без страстей вы так ничего и не испытали. – Если мы поклялись кому-то в верности, возможно, и вовсе чисто воображаемому существу, скажем, какому-нибудь богу, если отдали кому-то свое сердце, скажем, монарху, партии, женщине, церковному ордену, художнику, мыслителю, сделав это в состоянии ослепленной иллюзии, вызвавшей в нас восторг и представившей эти существа достойными любого почитания, любой жертвы, – то неужто мы неизбежно оказались в плену? Разве мы не поддались тогда самообману? Не было ли это гипотетическим обещанием, данным, правда, при молчаливой предпосылке, что те существа, которым мы себя посвятили, и на самом деле таковы, какими мы их себе представляем? Обязаны ли мы хранить верность своим заблуждениям, даже осознавая, что этою верностью чиним вред своему лучшему «я»? – Нет, не существует никакого закона, никакого обязательства этого рода, и мы *должны* стать предателями, проявлять неверность, все снова и снова отрекаться от своих идеалов. Нам не перешагнуть из одной поры своей жизни в другую, не причиняя этих страданий предательства, да и самим от этого не страдая. Может быть, нам надо было укрощать порывы нашего чувства, чтобы избежать этих страданий? Но тогда, наверное, мир сделался бы для нас слишком уж безрадостным, слишком призрачным? Нет уж, давайте лучше спросим себя, являются ли эти страдания *неизбежными* при смене убеждений и не зависят ли они от *ошибочного* мнения или оценки.

Почему люди восхищаются тем, кто хранит верность своему убеждению, и презирают того, кто его меняет? Боюсь, ответ должен гласить: потому что каждый думает, что такую смену вызывают лишь соображения низкой выгоды или личного страха. Иными словами: люди, по сути, думают, что никто не меняет своих мнений, покуда они для него выгодны или по крайней мере – покуда они для него безвредны. Но если дело обстоит так, то это свидетельствует далеко не в пользу *интеллектуальной* значимости всех убеждений вообще. Давайте исследуем, как возникают убеждения, и посмотрим, не переоцениваются ли они сверх меры: тогда получится, что и к *смене* убеждений в любом случае прилагается неверная мерка и что доселе мы имели обыкновение страдать от этой смены чрезмерно.

630

Убеждение – это вера в то, что ты обладаешь безусловной истиной в каком-либо виде знания. Стало быть, эта вера предполагает, что бывают безусловные истины, а равно и то, что найдены совершенные методы для их отыскания, и, наконец, что всякий имеющий убеждения пользуется этими совершенными методами. Все эти три утверждения тотчас показывают, что человек убеждений – это не человек научного мышления; он предстает перед нами в возрасте теоретической невинности, он – ребенок, сколь взрослым ни был бы в иных отношениях. А меж тем при таких детских предпосылках прошла жизнь целых тысячелетий, и именно оттуда били мощнейшие ключи энергии человечества. Великое множество людей, пожертвовавших собою за свои убеждения, думали, будто делают это ради безусловной истины. Все они в этом ошибались: вероятно, еще ни один человек не пожертвовал собою за истину; по крайней мере, догматическое выражение его веры было, видимо, ненаучным или полунаучным. А на самом деле люди хотели оказаться правыми, потому что полагали, будто *должны быть* правыми. Дать отнять у себя эту свою веру означало для них, наверное, поставить под вопрос свое вечное блаженство. В деле такой исключительной важности «воля» слиш-

ком явно оказывалась суфлером разума. Каждый верующий любого толка исходил из предпосылки, что опровергнуть его *невозможно*; а уж если контраргументы оказывались очень сильными, то у него всегда оставалась в запасе возможность клеветать на разум вообще, а не то и, может быть, поднять «credo quia absurdum est»[1] как знамя крайнего фанатизма. Историю сделала такой жестокой не битва мнений, а битва веры в мнения, то есть убеждений. А ведь если бы все, кто так гордился своими убеждениями, приносил им любые жертвы, не щадил ради них чести и самой жизни, посвятили только половину своих сил исследованию того, по какому праву они придерживались того или иного убеждения, каким путем они к нему пришли, – то какой миролюбивой выглядела бы тогда человеческая история! Насколько более обильные плоды принесло бы тогда познание! Мы не увидели бы тогда всех этих страшных сцен травли любого вида еретиков по двум причинам: во-первых, потому что расследователи-инквизиторы расследовали бы себя самих и избавились бы от незаконных притязаний на защиту безусловной истины, и, во-вторых, потому что сами еретики, исследовав столь скверно обоснованные положения, каковы положения всех религиозных сектантов и «правоверных», отказались бы их разделять.

631

Со времен, когда люди были приучены верить в обладание безусловной истиной, продолжается глубокое *недовольство* всеми скептическими и релятивистскими установками в отношении к тем или иным вопросам познания; чаще всего люди предпочитают сдаться на милость убеждениям, разделяемым авторитетными лицами (отцами, друзьями, учителями, монархами), а если этого не делают, испытывают своего рода угрызения совести. Эта склонность вполне понятна, а ее результаты не дают никакого права выдвигать

---

1 «Верую, ибо это нелепо» (*лат.*) – высказывание, приписываемое Тертуллиану на основании близких по смыслу слов из его трактата «О плоти Христовой».

суровые упреки эволюции человеческого разума. Но дух науки должен мало-помалу помочь вызреванию в человеке добродетели *осторожной сдержанности*, той мудрой умеренности, что больше знакома нам по практической жизни, чем по теоретической, – ее, к примеру, Гёте показал в образе Антонио как причину озлобленности всех Тассо, то есть натур ненаучного склада и вместе с тем бездеятельных. Человек убеждений субъективно прав, когда не понимает человека осторожного мышления, этого теоретического Антонио; человек же научного склада, со своей стороны, не имеет никакого права порицать за это первого, он смотрит на него сквозь пальцы, в определенном случае зная к тому же, что тот еще будет цепляться за него, как это в конце концов делает Тассо в отношении Антонио.

632

Кто не продрался сквозь различные убеждения, а так и увяз в той вере, в сети которой попался вначале, тот в любом случае – именно в силу своей косной неизменности – представитель *отставших* культур; в соответствии с этим дефицитом образованности (которая всегда предполагает способность получить образование) он человек твердолобый, непонятливый, упрямый, негибкий, вечно во всем сомневающийся, безапелляционный, хватающийся за все способы настоять на своем мнении, поскольку ему и не снилось, что, должно быть, есть и другие мнения; в этом смысле он, возможно, выступает источником энергии, а в культурах слишком распущенных и вялых даже оказывает благотворное действие, но лишь потому, что сильно побуждает противоречить себе: ведь нежные ростки новой культуры, вынужденные бороться с ним, крепнут при этом и сами.

633

Мы во многом все еще те же самые люди, что и люди эпохи Реформации: да и могло ли быть иначе? Однако если мы уже не позволяем себе кое-каких средств добиваться побе-

ды своего мнения, то это отличает нас от той эпохи и доказывает, что мы принадлежим к более высокой культуре. Тот, кто сегодня еще, подобно людям эпохи Реформации, сражается с чужими мнениями и ниспровергает их, подверженный подозрительности и припадкам ярости, явственно показывает, что сжигал бы своих противников, живи он в иные времена, и что, будь он тогда противником Реформации, прибегал бы к любым методам инквизиции. В те времена эта инквизиция была резонной, ведь означала-то она не что иное, как всеобщее осадное положение, вынужденно объявленное на всей территории церкви: как и всякое осадное положение, оно оправдывало самые крайние средства, если исходить из предпосылки (которая нам теперь уже чужда), что человек *обладает* истиной в лице церкви и *обязан* сберечь ее для спасения человечества любой ценою, каких бы жертв это ни стоило. Но в наши дни уже ни за кем так уж легко не признают права на обладание истиной: строгие научные методы посеяли в душах достаточно недоверия и осторожности, и всякий, кто отстаивает свои мнения, применяя насилие словом и делом, воспринимается как враг нашей нынешней культуры или по меньшей мере как человек отсталый. Да и впрямь: пафос обладания истиной сегодня мало что значит в сравнении с, конечно, куда более терпимым и молчаливым пафосом поиска истины, не устающим заново учиться и заново проверять.

634

Правда, и сам методический поиск истины – это плод тех времен, когда враждовали между собой различные убеждения. Если бы отдельным людям не была так важна *своя* «истина», то есть сохранение своей правоты, то никакого исследовательского метода не было бы и в помине; а тут, в вечной борьбе притязаний разных людей на безусловную истину, дело шаг за шагом продвигалось вперед, к отысканию бесспорных принципов, по которым можно установить справедливость притязаний и уладить спор. Поначалу решения ориентировались на авторитеты, позднее началась обоюдная критика путей и способов, какими была най-

дена мнимая истина; в промежутке был период, когда противники доводили чужие тезисы до логического конца и, может быть, придумывали, что они пагубны и злосчастны: тогда отсюда всякий должен был сделать вывод, будто убеждение противника содержит заблуждение. *Личная вражда мыслителей* в конце концов сделала методы столь отточенными, что ими и впрямь стало возможно открывать истины, а плутания прежних методов оказывались ясными, как день, для любого наблюдателя.

635

В целом научные методы – по меньшей мере столь же важный результат исследования, как и всякий другой его итог: ведь дух научности зиждется на понимании метода, и все результаты науки не смогли бы предотвратить нового торжества суеверия и бессмыслицы, если бы эти методы были утрачены. Умные люди могут сколько угодно *усваивать* результаты науки: но по их разговору и особенно по звучащим в его ходе гипотезам все же заметно, что духа науки им не хватает – у них нет того инстинктивного недоверия к ложным путям мышления, которое укоренилось в душе любого человека науки в ходе длительного опыта. Им довольно найти какую-нибудь гипотезу о предмете в общем – и вот они уже с жаром отстаивают ее, думая, будто на этом дело кончено. Иметь мнение – значит у них фанатично упорствовать в нем и впредь твердо держаться его как убеждения. Сталкиваясь с необъясненным делом, они загораются первой же пришедшей им на ум мыслью, которая выглядит похожей на его объяснение: а отсюда беспрестанно проистекают скверные последствия, особенно в области политики. – Поэтому в наши дни каждый должен был бы основательно изучить хотя бы *одну* науку: вот тогда-то он и поймет, что такое метод и насколько необходима крайняя осмотрительность. В особенности это рекомендуется женщинам; ведь они сейчас – беспомощные жертвы всех подряд гипотез, тем более если те производят впечатление блестящих, увлекательных, освежающих душу и укрепляющих дух. Мало того, приглядевшись ближе, можно заметить, что огромное

большинство всех образованных людей даже сегодня жаждет услышать от мыслителей убеждения, и ничего кроме убеждений, и что лишь ничтожно малая их часть требует *достоверности.* Первые стремятся к сильной увлеченности, чтобы и самим ощутить приток сил; последние, немногие, питают тот объективный интерес, которому нет дела до личной выгоды, в том числе и до упомянутого притока сил. На первый, куда более многочисленный класс людей рассчитывают повсюду, где мыслители ведут как *гении* и соответственно преподносят себя, то есть принимают вид некоего высшего существа, наделенного авторитетом. Поскольку гении такого рода поддерживают жар убеждений и недоверие к осторожному и скромному духу науки, они являются врагами науки, как бы ни мнили они себя ее женихами.

636

Конечно, существует и совсем иной род гениальности – гениальность справедливости; и я никак не могу оценить ее ниже, чем любую гениальность в сфере философии, политики или искусства. Ей свойственно с решительным отвращением избегать всего, что ослепляет и туманит суждение о вещах; стало быть, она – *противница убеждений,* ведь она хочет воздать всему своей мерой, будь то живое или мертвое, реальное или идеальное; а для этого ее познание всего должно быть чистым; поэтому она освещает каждую вещь как можно лучше и обходит ее кругом, тщательно осматривая. А в конце концов она даже своему противнику, слепому и близорукому «убеждению» (как его называют мужчины – у женщин оно зовется «верой») воздаст то, чего стоит убеждение, – ради истины.

637

Из *страстей* вырастают мнения; *косный ум* позволяет им оцепенеть, превратившись в *убеждения.* – Но тот, кто чувствует в себе *свободный,* неутомимо живущий ум, может предотвратить такое оцепенение беспрестанными переменами; а ес-

ли он – и вовсе мыслящий снежный ком, то в его уме вообще будут уже не мнения, но лишь достоверности и точно отмеренные вероятности. – Мы же, существа смешанной природы, пронизанные то жаром огня, то холодом ума, хотим преклонять колена перед Справедливостью – единственною богиней, которую признаем над собою. Наш *огонь* делает нас обычно несправедливыми и, на вкус этой богини, нечистыми; в таком состоянии мы не посмеем припасть к ее руке, и не обратится тогда на нас серьезная улыбка ее благосклонности. Мы поклоняемся ей как закутанной покрывалом Исиде нашей жизни; со стыдом преподносим мы ей свою боль в виде покаянной жертвы, когда огонь сжигает нас и вот-вот пожрет. А *ум* – это как раз то, что не дает нам догореть и обуглиться; то и дело он выхватывает нас с жертвенного алтаря Справедливости или укутывает нас в рогожу из асбеста. Тогда, спасшись из огня, мы перешагиваем, влекомые умом, от мнения к мнению, через чехарду партий, становясь благородными *предателями* всего того, что вообще может быть предано, – но делаем это без чувства вины.

638

Странник. – Тот, кто хотя бы в некоторой степени пришел к свободе ума, не может чувствовать себя на этой земле иначе, чем странником, – хотя и не путешественником, добирающимся *до* пункта конечного назначения: ведь такого пункта не бывает. И ему, конечно, хочется с полным пониманием посмотреть, что же, собственно, творится в мире; поэтому у него нет никакого права слишком сильно привязываться ко всему отдельному; в нем самом должно быть что-то странническое, наслаждающееся переменами и бренностью. Правда, в жизни такого человека будут злосчастные ночи, когда он, уставший брести, обнаруживает перед собою закрытыми ворота города, где мог бы найти кров; да еще к тому же, возможно, как на Востоке, пустыня начинается от самых ворот, и хищники рычат то ближе, то дальше, поднимается сильный ветер, а разбойники уводят его вьючных животных. Вот тогда-то его и накрывает страшная ночь, словно вторая пустыня над пустыней, и сердце его устает

от странствий. А взойдет утреннее солнце, пылая, как божество гнева, откроются городские ворота – и в лицах здешних жителей он увидит, возможно, еще больше пустыни, грязи, обмана, опасности, чем их было за воротами, – и день покажется ему чуть ли не хуже ночи. Вот что может однажды случиться со странником; а потом, в виде возмещения, наступают отрадные утра иных мест и дни, когда он уже на рассвете видит, как мимо него, совсем рядом, окутанный горным туманом, в танце проходит сонм муз, а потом, когда он неспешно, в гармонии предполуденного настроения, проходит под деревьями, то с верхушек и из тайников их листвы к нему спадают сплошь хорошие и светлые вещи – дары всех тех свободных умов, для которых родной дом – это горы, лес и уединение и которые, подобно ему самому, на свой то веселый, то задумчивый лад, живут странниками и философами. Рожденные из таинств раннего утра, они размышляют о том, при каких условиях день между десятым и двенадцатым ударами колокола мог бы обрести чистый, прозрачный, просветленно-ясный лик: – они ищут *предполуденной философии.*

Между друзьями
Постлюдия

1

Славно – помолчать с друзьями,
Лучше – с ними посмеяться,
Шелком неба любоваться,
К мшистым букам прислоняться,
Громко вместе посмеяться,
Скалясь белыми зубами.
Сделал я добро – ни слова;
Сделал зло – смеяться будем –
Больше зла тогда разбудим
И все злей смеяться будем
Мы до гроба, вновь и снова.
Мы достигли пониманья?
Ну, аминь и до свиданья!

* *
*

2

Не нужны мне извиненья!
Не нужны мне отпущенья!
Лучше в сердце, полном счастья,
Книге этой безрассудной
Дайте место в стороне!
И поверьте – не злосчастьем
Безрассудство стало мне!

Поиски ее, решенья –
Все *мои* без исключенья!
Чтите в ней игру саму!
Книги этой поученье –
Разум привести – «к уму»!
Так пришли мы к пониманью?
Ну, аминь и до свиданья!

* *
*

Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов

Том второй

Предисловие

1

Говорить надо лишь тогда, когда невмоготу молчать; и говорить лишь о том, с чем ты уже *совладал*, – все прочее болтовня, «литература», расхлябанность. Мои сочинения говорят *лишь* о том, с чем я совладал: в них живу «я сам» – со всем тем, от чего я уже отрекся, *ego ipsissimus*, а не то даже, если прибегнуть к более гордому выражению, *ego ipsissimum*[1]. Нетрудно догадаться, о чем идет речь: уже многое в моих глазах сделалось *ниже меня*... Но охота задним числом вылущивать, выпрастывать, выкладывать на стол, «изображать» (назовите это как угодно) в целях познания нечто пережитое и оставленное за спиной, какой-нибудь личный мой фактум или фатум, всегда начинала шевелиться во мне лишь спустя некоторое время, и для того потребны были выздоровление, отстраненность, дистанция. В этом смысле все мои сочинения, за одним-единственным, но, разумеется, важным исключением, *следует датировать от настоящего к прошлому* – ведь они всегда говорят о том, что у меня «за спиною», – а некоторые, как, к примеру, три первых «Несвоевременных размышления», даже временем прежде периода моей жизни, отмеченного книгою, вышедшей в свет до них (в данном случае – прежде «Рождения трагедии», что будет ясно всякому сколько-нибудь тонкому наблюдателю и толкователю). Яростный выпад против немечества, неуклюжести и языковой измочаленности, свойственных состарившемуся Давиду Штраусу (что и было содержанием первого «Несвоевременного»), дал волю настроениям, владевшим мною задолго до того, еще когда я был студентом в обстановке немецкого образования и образовательного мещанства (я претендую на авторство ныне весьма расхоже-

1 я сам ... само «я» (*лат.*).

го и уже избитого словца «образовательное мещанство» –); и мои слова против «болезни историцизма» были словами того, кто долго и с трудом от нее опра-влялся, но отнюдь не намеревался впредь чураться «духа исторической науки» только потому, что однажды им переболел. Когда позже, в третьем «Несвоевременном размышлении», я выразил почтение своему первому и единственному воспитателю, *великому* Артуру Шопенгауэру – нынче я выразил бы его куда сильнее и к тому же на гораздо более личный лад, – я сам уже оказался глубоко погруженным в стихию морального скепсиса и смятения, *иными словами, оказался настолько же в стихии критики, насколько и углубления всего прежнего пессимизма*, – и не верил отныне «ни во что вообще», как говорят в народе, в том числе и в Шопенгауэра: как раз в ту пору и появился на свет оставленный мною под спудом фрагмент сочинения «об истине и лжи во внеморальном смысле». Даже моя триумфальная и торжественная речь в честь Рихарда Вагнера по случаю его байрейтского триумфа (Байрейт, 1876) равнозначна величайшему торжеству, достигнутому когда-либо художником, – это творение, несущее на себе ярчайшие *видимые признаки* «актуальности», в своей глубине было благодарностью и преклонением перед одним участком пройденного мною пути, перед самым прекрасным, но и самым опасным морским штилем за все мое плавание... а фактически – разрывом, прощаньем. (Питал ли насчет этого иллюзии сам Рихард Вагнер? Не думаю. Пока человек еще любит, он, конечно, не рисует никаких подобных картин; он еще не «размышляет» и потому не отходит на дальнее расстояние, как полагается размышляющему. «Размышлять – это уже значит втайне *враждовать*, как враждуют, гордо встречая кого-то взглядом», говорится на с. 46 самогó же этого сочинения, причем употребляется предательский и меланхолический оборот, который был рассчитан, может быть, далеко не на всякие уши.) Хладнокровие, потребное, чтобы *суметь* заговорить после долгих промежуточных лет глубочайшего уединения и неудовлетворенности, пришло ко мне лишь с книгой «Человеческое, слишком человеческое», которой пусть и будет посвящено это второе за- и предисловие. Эта книга – «для свободных умов», а потому ей свойственна некая чуть ли не веселая и любозна-

тельная холодность психолога, задним числом замечающая и словно *прикалывающая* каким-то игольным острием целую кучу болезненных вещей, оставленных психологом *под* собой, *за* собой: так что же удивительного, если при столь колкой и щекотливой работе подчас выступает и кровь, если кровь сочится тогда у психолога из пальцев, да и не всегда только из пальцев?..

2

«Смешанные мнения и изречения», равно как и «Странник и его тень», вышли первым изданием *по отдельности*, будучи продолжениями и приложениями только что упомянутой человеческой, слишком человеческой «Книги для свободных умов»: а заодно продолжением и удвоением умственного излечения, то есть *антиромантического* самолечения, прямо-таки изысканного для меня, прямо-таки прописанного мне моим незатронутым инстинктом против временного заболевания самой опасною формой романтизма. Так пускай же теперь, спустя шесть лет после начала моего выздоровления, читатель будет получать однородные эти сочинения *вместе*, пусть они составят второй том «Человеческого, слишком человеческого»: может быть, вместе они будут делать свое дело, а именно учить, сильнее и выразительней, – *учить здоровью*, что и можно порекомендовать в видах *disciplina voluntatis*[1] натурам более развитым умственно из состава только что пошедшего в рост поколения. В них звучит голос пессимиста, довольно часто выходившего из своей шкуры, но неизменно влезавшего в нее снова, иными словами, пессимиста с доброй волей *к* пессимизму, а, стало быть, уж во всяком случае больше не романтика. Так что же, неужто ум, опытный в этом змеином знании того, как *менять шкуру*, не может дать урок нынешним пессимистам, над которыми все еще нависает опасность романтизма? И хотя бы показать им, как это *делается*?..

---

1 закаливания воли (*лат.*).

3

– В то время и впрямь настала пора *расставанья*: и уже очень скоро я в этом окончательно убедился. Рихард Вагнер, по видимости победоносный как никто, а на самом деле напрочь прогнивший, отчаявшийся романтик, внезапно, беспомощно и сокрушенно пал ниц перед христианским крестом... Неужто тогда не нашлось ни одного немца, чтобы разглядеть глазами души эту ужасающую драму, чтобы прочувствовать ее всей своей совестью? Неужто я оказался единственным, кто *страдал* от этого зрелища? Как бы там ни было, это неожиданное событие, словно молния, ясно показала мне место, которое я уже оставил, – но заодно внушило мне тот ужас, что прошибает задним числом всякого, кто, сам того не ведая, миновал чудовищную опасность. Когда я продолжил свой путь в одиночестве, меня лихорадило; еще немного, и я оказался болен, даже более чем болен – утомлен от неудержимого разочарования по поводу всего, что еще способно воодушевлять нас, современных людей, по поводу повсеместно *бросаемой на ветер* силы, труда, надежды, молодости, любви; я устал от отвращения к феминистской и горячечно-восторженной распущенности этого романтизма, от всего идеалистического вранья и размягчения совести, которое тут вдруг снова одолело одного из храбрейших; и – последнее, но не самое малое – я устал от беспросветности неумолимого подозрения, говорившего мне, что после такого разочарования я осужден на более глубокое недоверие, более глубокое презрение, более глубокое одиночество, чем когда-либо прежде. Мое *задание* – где оно теперь было? Разве не казалось теперь, будто мое задание отвернулось от меня, будто теперь я надолго утратил на него право? Что было делать, чтобы пережить *эту* величайшую потерю? – Я начал с того, что основательно и радикально *запретил* себе всю романтическую музыку, это двусмысленное, кичливое, одурманивающее искусство, убивающее четкость и радость мысли и заставляющее расти как на дрожжах все сорта смутной тоски, расплывчатых вожделений. *«Cave musicam»*[1] –

---

1 «Берегись музыки» (*лат.*), пародия древнеримской таблички у ворот «cave canem» – «берегись (злой) собаки».

таков и сегодня мой совет всем, у кого достает мужества соблюдать чистоплотность в вопросах умственных; такая музыка развинчивает нервы, размягчает, обабливает, а ее «вечная женственность» сносит *нас* – вниз!... Мое первое подозрение, моя самонужнейшая осторожность развернулись тогда *в направлении* романтической музыки; и если я вообще возлагал еще на музыку какие-то надежды, то лишь в ожидании появления на сцене композитора, достаточно отважного, тонкого, злобного, южного и сверхздорового, чтобы на веки вечные *отомстить* той музыке. –

4

Отныне в одиночестве, в мучительном недоверии к себе и не без ярости я взял на такой вот лад сторону, *противную* моей, сторону *всего того*, что терзало и ставило в тупик именно *меня*: так я снова отыскал дорогу к тому отважному пессимизму, который противоположен всей романтической лживости, а заодно, как мне сдается нынче, и дорогу ко «мне» самому, к *моему* заданию. То потаенное и самовластное Неизвестное, имени которому мы долго не можем найти, покуда наконец оно не выявит себя в качестве нашего *задания*, – этот тиран в нас требует ужасного возмещения за любую нашу попытку уклониться или ускользнуть от него, за любую преждевременную остановку, за любое уравнивание с теми, к кому мы не принадлежим, за любую даже вполне достойную деятельность, если она отклоняет нас от нашего главного дела, мало того, и за любую добродетель, желающую защитить нас от всей суровости, свойственной глубочайшей внутренней ответственности. А если нам вздумается сомневаться в своем праве на *собственное* задание, если мы начинаем искать себе каких-нибудь поблажек, то ответом всякий раз будет болезнь. Как это странно и в то же время страшно! Наше *потакание себе* – вот за что нам приходится расплачиваться самым суровым образом! И когда потом мы хотим вернуть себе здоровье, то у нас не остается выбора: мы должны взвалить на себя *более тяжкий* груз, чем несли когда-либо прежде...

5

– Лишь тогда я стал учиться говорить на тот отшельнический лад, в котором знают толк лишь самые молчаливые и больные: без свидетелей или, скорее, даже не думая о свидетелях, я говорил, чтобы не страдать от молчания, я высказывался исключительно о вещах, до которых мне не было дела, но так, словно дело мне до них было. Тогда я стал учиться искусству *обнаруживать* веселость, объективность, любознательность, но прежде всего здоровье и злобность – а ведь для человека страждущего, сдается мне, это и есть «хороший вкус», не так ли? Но от взгляда и сочувствия более разборчивого все-таки не укроется, в чем, может быть, состоит подлинная прелесть этих сочинений: в них страждущий и нуждающийся говорит так, словно он – *не* страждущий и нуждающийся. Это *должно* обеспечить равновесие, хладнокровие, даже благодарность к жизни, здесь всем правит суровая, гордая, всегда бдящая, всегда отзывчивая воля, выбравшая своим заданием защищать жизнь *наперекор* боли и отсекать напрочь все выводы, которые имеют обыкновение из боли, разочарованности, раздражительности, изолированности и иных болотных причин взращивать одинаково ядовитую плесень. Может быть, это и есть полезное указание, как испытать себя, именно для наших пессимистов? – А ведь им оно и было в то время, когда я раздобыл себе максиму: «Страждущий *еще не имеет никакого права* на пессимизм!», когда назло себе я двинулся в затяжной, терпеливый поход против ненаучной коренной тяги любого романтического пессимизма раздувать, перетолковывать отдельные личные переживания до степени общезначимых суждений, даже мироосуждений... короче говоря, когда я повернулся лицом в *противоположную* сторону. Оптимизм с целью восстановления – чтобы когда-нибудь однажды снова *осмелиться* на пессимизм: в состоянии ли вы понять такое? Как врач перемещает больного в целиком чуждую тому обстановку, дабы он отбросил все свое «былое», свои заботы, своих друзей, свои письма, обязанности, глупости и муки памяти и научился тянуть руки и чувства к новому питанию, новому солнцу, новому будущему, – совершенно так же и я, врач и больной в одном лице, вынудил себя войти

в контрастный, еще неизведанный *душевный климат*, а в особенности в состояние эмиграции на чужбину, во *все* чуждое, в состояние любопытства ко всем разновидностям чуждого... Следствием было то, что я стал бродить, искать, менять место, стал противиться всяческой окончательности, любому безоглядному «да» и «нет»; другим следствием была разборчивость в питании и дисциплина, направленная на создание для духа всех возможностей далеко бежать, высоко летать, а главным образом – неизменно улетать прочь. Фактически сведение жизни к *минимуму*, разрыв со всеми наиболее низменными страстями, независимость в обстановке всяческого внешнего злополучья вкупе с гордостью за то, что при таком злополучье еще *можно* жить; может быть, некоторый цинизм, некоторая «беспардонность», но точно так же и много птичьего счастья, птичьей веселости, много тишины, света, утонченного сумасбродства, тайных горячечных грез – все это наконец дало мне заметно окрепнуть духом, а моему наслаждению жизнью и здоровью произрасти в изобилии. Сама жизнь *вознаграждает* нас за упорное желание жить, за такую затяжную войну, какую я вел тогда с собою против пессимистической усталости от жизни, даже за любой внимательный взгляд благодарности, не упускающий и самых мелких, бренных и эфемерных даров жизни. За все это мы получаем в конце концов ее *великие* дары, а, может быть, и величайший дар, какой она только может преподнести нам: мы получаем наше утраченное *задание*. – –

6

– Суждено ли было моему опыту – истории болезни и выздоровления, поскольку дело-то кончилось выздоровлением, – остаться лишь моим личным опытом? И притом – только чем-то *моим* «человеческим, слишком человеческим»? Нынче я предпочитаю думать, что нет; доверие все снова наводит меня на мысль, что книги моих странствий были написаны все-таки не просто для себя, как порою казалось. – Отважусь ли я теперь, по прошествии шести лет растущей уверенности, попытаться снова послать их в путь? Отважусь

ли предложить их душе и слуху в особенности тех, кто обременен каким-нибудь «прошлым», но в ком еще хватает духа, чтобы болеть хотя бы *духом* своего прошлого? И в первую очередь – *вам*, кому приходится туже всего, самым редким, стоящим под величайшим риском, самым духовным, отважным, призванным быть *совестью* современной души, а в качестве таковых призванным ее *знать*, вам, в ком сошлось воедино то, что только может быть сегодня больного, ядовитого и опасного, – вам, чей жребий требует, чтобы вы были больнее, чем отдельный человек, потому что вы не «*просто* отдельные люди»..., и радость ваша в том, чтобы знать пути к *новому* здоровью, знать и идти к здоровью завтрашнего и послезавтрашнего дня, вы, призванные, победоносные, одолевающие эпоху, самые здоровые, самые сильные, вы, *хорошие европейцы*! – –

7

– И чтобы напоследок свести все-таки в одну формулу то, что я противопоставляю *романтическому пессимизму*, то есть пессимизму обделенных, неудавшихся, низложенных: существует на свете воля к трагическому и к пессимизму, способная быть признаком как суровости, так и силы ума (вкуса, чувства, совести). С такою волей в душе можно не бояться страшного и сомнительного, присущего всякой жизни; можно, напротив, даже вызывать их на себя. За такой волей стоит мужество, гордость, требование *великого* противника. – Такою и была с самого начала *моя* пессимистическая перспектива, – перспектива, сдается мне, новая – она и сегодня еще нова и неизведанна. Я никогда не отклонялся от нее вплоть до нынешней поры, причем, если угодно, обращал ее как *в свою пользу*, так и, по меньшей мере иногда, *против себя*... Может быть, хотите убедиться в этом? А такое длинное предисловие – в чем же еще оно может убедить?

Зильс-Мария, Верхний Энгадин,
сентябрь 1886

Первый раздел
Смешанные мнения и изречения

1

К разочарованным философам. – Если прежде вы верили в высшую ценность жизни, а теперь чувствуете себя разочарованными в ней, неужто надо в одночасье сбывать ее по самой бросовой цене?

2

Избалованность. – Бывает избалованность и в отношении ясности понятий: как омерзительно тогда иметь дело со всем смутным, туманным, томительным, гадательным! Каким смешным, но безрадостным кажется, что они вечно порхают у самой земли и пускаются вдогонку, но так и не могут взлететь и схватить добычу!

3

Женихи реальности. – Тот, кто наконец замечает, как много и как долго его дурачили, из упрямства обнимает даже самую омерзительную реальность: поэтому ей, если поглядеть на историю в целом, во все времена доставались наилучшие женихи – ведь лучшие всегда бывали обмануты лучше всего и оставались обманутыми дольше всего.

4

Прогресс свободомыслия. – Нельзя лучше показать различие между прежним и нынешним свободомыслием, чем процитировав тот тезис, для познания и выражения которого понадобилась вся неустрашимость прошлого столетия и который по меркам современного познания низводится до

уровня невольной наивности, – я имею в виду тезис Вольтера «croyez moi, mon ami, l'erreur aussi a son mérite»[1].

5

Наследный грех философов. – Философы во все времена присваивали и *портили* изречения испытателей сердец (моралистов), поскольку воспринимали их всерьез, пытаясь доказать необходимость того, что для тех было лишь неточным намеком, а то и вовсе сельской или городской вассальной истиной десятилетия, меж тем как они как раз этим думали над ними возвыситься. Например, можно обнаружить, что основу знаменитых Шопенгауэровых учений о примате воли над интеллектом, о неизменности характера, о негативной сущности наслаждения – а все они при его подходе суть заблуждения, – составляют популярные истины, выведенные моралистами. Уже слово «воля», которое Шопенгауэр модифицировал для общей характеристики множества человеческих состояний, заполнив пробел в языке, к великой выгоде для себя самого как моралиста – ведь теперь ему стало дозволено говорить о «воле» в том же духе, в каком говорил о ней Паскаль, – уже Шопенгауэрова «воля» под руками своего творца сделалась бедою для науки из-за философской болезни обобщения: ведь эта воля стала поэтической метафорой в утверждении, будто в природе все наделено волей; наконец, этим словом злоупотребили для ложной конкретизации, чтобы можно было использовать его во всякого рода мистическом бесчинстве, – и вот все модные философы воспроизводят его так, будто бы совершенно определенно знают, что все сущее наделено единой волей, мало того, будто оно и есть эта единая воля (а это в соответствии с тем, как они изображают ту самую всеединую волю, равнозначно желанию во что бы то ни стало сделать своим богом *дурачка*).

---

1 «Поверьте мне, друг мой, и в заблуждении есть своя прелесть» (*фр.*).

6

Против мечтателей. – Мечтатели отрицают правду перед собой, лжецы – только перед другими.

7

Светобоязнь. – Стоит разъяснить кому-нибудь, что он, строго говоря, никогда и никак не мог говорить об истине, а всегда говорил только о вероятности и ее степенях, как по неприкрытой радости вразумленного на такой лад обычно сразу бывает видно, насколько милее людям зыбкость умственного горизонта и насколько в глубине души они *ненавидят* истину из-за ее определенности. – Может быть, все они втайне даже боятся, что кто-нибудь однажды направит на них слишком яркий луч истины? Они хотят чем-то казаться, следовательно, никто не должен точно знать, чем они *являются*? Или они и должны ненавидеть свет только потому, что боятся его слишком ярких лучей, к которым не приучены их сумрачные, немедленно закрывающие глаза души летучих мышей?

8

Скепсис христиан. – Пилата с его вопросом: «Что есть истина?» нынче любят выставлять адвокатом Христа, чтобы поставить под сомнение все познанное и познаваемое в качестве мнимого и воздвигнуть крест на жутком фоне абсолютной невозможности знать.

9

«Закон природы» как суеверие. – Если вы с таким восхищением говорите о закономерности в природе, то уж придется вам либо предположить, что все в природе следует своим законам добровольным повиновением – и тогда вы, значит, восхищаетесь нравственностью природы; либо вас поража-

ет представление о творце-механике, смастерившем искуснейшие часы с богатой отделкою в виде всего живого. – Выражение «закономерность» очеловечивает необходимость в природе, предоставляя последнее убежище для мифологического фантазерства.

10

Во власти истории. – На философов, наводящих на мир туман и помрачающих его, то есть на всех метафизиков мелкого и крупного калибра, нападает глазная, ушная и зубная боль, когда они начинают подозревать, что тезис «вся философия отныне переходит под власть истории» справедлив. Ради их *страданий* им следует простить, что они швыряют камни и нечистоты во всякого, кто это утверждает: но само соответствующее учение может в результате на время оказаться запачканным и неприглядным, а его убедительность ослабнуть.

11

Пессимизм в отношении разума. – Ум истинно свободный будет свободно мыслить даже и о самом уме, не закрывая глаза на кое-что устрашающее в его происхождении и целях. Поэтому другие, вполне возможно, назовут его злейшим врагом свободомыслия и обложат его ругательством и пугательством «пессимист разума»: ведь они привыкли называть человека в соответствии не с отличающими его сильными сторонами и добродетелями, а с тем, что в нем наиболее для них чуждо.

12

В котомке у метафизиков. – Всем тем, кто столь хвастливо вещает о научности своей метафизики, и отвечать-то не следует; достаточно подергать пожитки, которые они несколько робко прячут за спиною; и если получится развер-

нуть их, то на свет дня, к стыду метафизиков, покажутся результаты их научности: крохотный Господь Бог, умилительное бессмертие, может быть, немного спиритизма и, уж конечно, целая тесная связка нищих-грешных-обездоленных и фарисейское высокомерие.

13

Познание иногда вредит. – Польза, которую несет с собою непреклонная разведка истинного, будет постоянно сызнова подтверждаться в таком изобилии, что придется без колебаний мириться с менее заметным и более редкостным вредом, ради нее навлекаемым на себя отдельными людьми. Химики в своих экспериментах неизбежно будут время от времени получать отравления и ожоги. – Что верно для химиков, верно и для всей нашей культуры: отсюда, кстати, со всей очевидностью явствует, что ей надо очень и очень позаботиться о мазях против ожогов и о постоянном наличии противоядий.

14

Естественная надобность филистеров. – Филистерам кажется, будто всего нужнее им – пурпурный лоскут или тюрбан метафизики, и они вовсю стараются, чтобы те с них не сползли: а ведь без этого украшения они выглядели бы не так смешно.

15

Болезненное мечтательство. – Всем, что мечтатели говорят в пользу своего евангелия или учителя, они защищаются, как бы ни выставляли они себя судьями (а не обвиняемыми), поскольку невольно и чуть ли не в каждое мгновение их поведение напоминает о том, что они – исключения, которым надо себя узаконить.

16

Все хорошее соблазняет к жизни. – Все хорошие вещи – сильные возбуждающие средства для жизни, даже всякая хорошая книга, написанная против жизни.

17

Счастье историка. – «Услышав речи хитроумных метафизиков и замирников[1], мы, не такие, правда, почувствуем, что мы – “нищие духом”, но зато почувствуем и то, что наше – царствие небесное перемен, с весной и осенью, зимой и летом, а их царствие – замирье с его седыми, ледяными, бесконечными туманами и тенями.» – Так говорил некто себе самому, прогуливаясь под утренним солнцем: некто, у кого в занятиях историей все снова преображается не только ум, но и сердце, и кто, в противоположность метафизикам, счастлив тем, что в нем находит себе приют не «одна бессмертная душа», а *множество смертных душ.*

18

Три вида мыслителей. – Есть минеральные источники, изливающиеся широким потоком, льющиеся ручейком и сочащиеся по каплям – и соответственно этому есть три вида мыслителей. Профаны оценивают их по объему воды, знатоки же – по ее содержанию, то есть по тому, чтó в них – как раз *не* вода.

19

Картина жизни. – Задача создать *определенную* картину жизни *в целом*, с какою бы настойчивостью ни ставили ее перед собою поэты и философы, тем не менее бессмысленна: даже под руками величайших живописцев-мыслителей всегда

---

1 См. прим.

возникали всего лишь картины и картинки *одной* жизни, а именно их собственной жизни, – да ничего другого и создать нельзя. Становящийся не может отражаться в становящемся как нечто прочное и устойчивое, как некая «определенность».

20

Истина не терпит рядом с собою других богов. – Вера в истину начинается с сомнения во всех «истинах», в которые верили доселе.

21

О чем следует молчать. – Когда о свободомыслии говорят как о крайне опасном путешествии по глетчерам и полярным морям, то те, что не желают идти этим путем, чувствуют себя обиженными, будто им предъявили упрек в робости и слабости ног. О трудных задачах, до которых мы чувствуем себя не доросшими, при нас не следует даже упоминать.

22

Historia in nuce[1]. – Самая серьезная пародия, какую я слышал в своей жизни, звучит так: «В начале был абсурд, и абсурд *был*, ей-богу, и Бог (божественно) был абсурдом».

23

Неисцелимый. – Идеалист неисправим: если сбросить его с неба, он соорудит себе идеал из ада. Разочаруй его и – глядь! – он станет обнимать разочарование не менее страстно, чем еще совсем недавно обнимал надежду. Это его влечение принадлежит к великим неисцелимым влечениям челове-

---

1 Историческая наука в свернутом виде (*лат.*).

ческой природы – потому оно может ввергнуть человека в трагические обстоятельства, а после сделаться сюжетом для трагедий: а они-то как раз и имеют дело со всем неисцелимым, неотвратимым, неизбежимым в человеческой участи и человеческом характере.

24

Аплодисменты как продолжение спектакля. – Лучащиеся глаза и благосклонная улыбка – это своего рода аплодисменты, которыми люди награждают всю великую комедию мира и жизни, – но в то же время это и комедия внутри комедии, которая должна соблазнить других зрителей к «plaudite amici»[1].

25

Решимость быть скучным. – У кого нет решимости на то, чтобы его самого и его труд признали скучными, тот, безусловно, не принадлежит к умам первого ранга, будь то в искусствах или науках. – Какой-нибудь насмешник, который в виде исключения оказался бы заодно и мыслителем, мог бы добавить относительно мира и истории в целом: «У Бога такой решимости не было; он хотел сотворить все вещи слишком интересными – и сотворил».

26

Из самого потаенного опыта мыслителя. – Нет для человека на свете ничего труднее, чем подходить к делу безлично: я хочу сказать – чем видеть в нем именно дело, а *не личность*; мало того, можно даже спросить, а в состоянии ли он вообще хоть на мгновение остановить часовой механизм своей наделяющей личностью, выдумывающей личность склонности. Ведь даже с *идеями*, в том числе и с самыми абстрактны-

---

1 Рукоплещите, друзья! (*лат.*) – по Светонию, последние слова умирающего Августа.

ми, он обходится так, как если бы они были индивидами, так что с ними надо сражаться, к ним надо примыкать, надо охранять их, заботиться о них, вскармливать их. Подкараулим-ка, подслушаем-ка хотя бы себя самих – в те мгновения, когда слышим или обнаруживаем новое для себя положение. Может быть, оно нам не понравится, потому что выглядит таким своенравным, таким самовластным: и мы бессознательно спрашиваем себя, а нельзя ли как-нибудь уравновесить его враждебной противоположностью, нельзя ли добавить к нему какое-нибудь «как знать?», какое-нибудь «не всегда»; нам доставляет удовлетворение даже словечко «вероятно», потому что оно пресекает лично для нас тягостную тиранию безусловного. Если же это новое положение, напротив, подойдет к нам в более мягкой форме, совсем терпимым и кротким, словно отдаваясь в руки противоречию, то мы попробуем испытать свое самовластие по-другому: не получится ли у нас помочь этому слабому созданию, приласкать и накормить его, сделать его сильным и тучным, сделать его истинным и даже безусловным? Не получится ли у нас поступить с ним, как поступают родители, или рыцарски, или проявить к нему сострадание? – Тогда мы снова увидим одно суждение тут, а другое – там, но на таком расстоянии, что им друг друга не увидеть, друг к другу не приблизиться: и вот уж нас щекочет мысль, а нельзя ли их как-нибудь поженить, устроить какой-нибудь *союз*, и мы уже предвкушаем, что если вдруг у такого союза будут какие-нибудь последствия, то в чести окажутся не только оба брачующихся суждения, но и их сват. А вот если с такой идеей ничего не удастся поделать (считая ее *истинной* –) ни на пути сопротивления и недоброжелательства, ни на пути доброжелательства, тогда мы покоряемся ей, тогда присягаем ей на верность как своему вождю и предводителю, сажаем на почетное место и говорим о ней не без пышности и гордости: ведь *ее* блеск бросает свой отблеск и на нас самих. И горе тому, кто захочет ослабить его; разве только в один прекрасный день этот блеск и сам по себе покажется нам сомнительным: тогда мы, неутомимо «проводящие во власть» (king-makers[1]) в ис-

---

1 влиятельные лица (от которых зависит назначение на высокий пост) (*англ.*).

тории духа, свергаем ее с трона и тут же возносим ее противницу. Все это надо взвесить и дополнительно продумать еще кое-что: естественно, тут уже не может идти никакой речи о «познавательном влечении самом по себе»! – Почему же тогда человек *истинное* предпочитает неистинному в этой своей *потаенной* битве с идеями-личностями, в этом по большей части скрытом сватовстве идей, в основании государств из идей, в воспитании идей, в заботе о бедных и больных идеях? По той же самой причине, по какой в сношениях с реальными личностями соблюдает *справедливость*: он делает это *сейчас* – из привычки, исходя из унаследованных и привитых воспитанием форм поведения, а *изначально* – потому что истинное, так же как справедливое и правильное, *полезнее* и *почетнее*, нежели неистинное. Ведь в сфере мышления плохо держатся *власть* и *репутация*, основанные на заблуждении или лжи: ощущение, что такого рода постройка в один прекрасный момент может обрушиться, *снижает* самооценку зодчего; он стыдится хрупкости своего материала и хотел бы – поскольку считает себя *более важным*, чем все остальные, – делать только то, что было бы *долговечнее*, чем сделанное всеми остальными. В своей жажде истины он хватается за веру в личное бессмертие, иными словами, за самую высокомерную и строптивую мысль, какая только бывает на свете, кровно связанную, как это ей свойственно, с задней мыслью «pereat mundus, dum ego salvus sim»[1]! Его труд превратился для него в собственное «я», он и самого себя пытается сделать чем-то непреходящим, ничему не поддающимся. Его непомерная гордыня – это и есть то, что хочет пускать в дело только лучшие, самые твердые камни, иными словами, истины или то, что он принимает за истины. «Пороком мудрецов» во все времена справедливо называли *высокомерие* – и все же без движущих сил этого порока плачевно обстояли бы дела с истиной и ее признанием на земле. В том, что мы *боимся* своих собственных мыслей, но что даже в них *уважаем* себя, невольно приписывая им способность награждать нас, презирать, хвалить и порицать, в том, следовательно, что мы сносимся с ними как со свободными духовными личностями,

---

1 «Пусть погибнет мир, лишь бы я был благополучен» (*лат.*).

с независимыми силами, как равные с равными, – во всем этом коренится тот необычный феномен, который я назвал «интеллектуальной совестью». – Так что и здесь некая нравственность высшего рода дает цвет от черного корня.

27

Обскуранты. – Главное в черной магии обскурантизма – не то, что она стремится помрачить умы, а то, что хочет *очернить* картину мира, *наше представление о существовании.* Для этого она, правда, часто пользуется известным средством – препятствовать просветлению умов: но иногда прибегает и к средству прямо противоположному, путем наивысшего развития интеллекта стараясь вызвать *пресыщенность* его плодами. Хитроумные метафизики, которые готовят почву для скепсиса и своей чрезмерной проницательностью вызывают недоверие к проницательности, – хорошие орудия в руках утонченного обскурантизма. – Может ли быть, что в этих целях можно использовать даже Канта; мало того, может ли быть, что он, по собственному его пресловутому заявлению, *хотел* чего-то в этом роде, по крайней мере, в течение какого-то времени: проторить путь *вере*, положив границы *знанию*? – Это, правда, ему не удалось, ему не больше, чем его последователям на волчьих и лисьих тропах этого крайне утонченного и опасного обскурантизма, даже наиболее опасного: ведь черная магия является здесь под покровами света.

28

От какого рода философии портится искусство. – Когда туманам метафизико-мистической философии удается сделать все эстетические феномены *непрозрачными*, то они становятся *неразличимыми*, поскольку каждый из них оказывается необъясненным. Но если их уже даже нельзя сравнивать друг с другом, чтобы оценивать, то в конце концов возникает состояние полной *некритичности*, слепой неопределенности; а отсюда, в свой черед, – неуклонное снижение

удовольствия от искусства (каковое удовольствие отличается от грубого утоления потребности лишь в высшей степени обостренными вкусовыми ощущениями и различением). А чем сильнее снижается удовольствие от искусства, тем больше жажда искусства преобразуется и обратно превращается в пошлый голод, который художники теперь пытаются унять все более грубой пищей.

29

В Гефсимании. – Наиболее мучительные слова, которые художники могут услышать от мыслителя, гласят: «Разве вы не можете хоть час *бодрствовать со мною*?»

30

У ткацкого станка. – Тем немногим, для кого в радость распутывать узлы вещей и распускать свою ткань, противодействуют многие (к примеру, все художники и женщины), которые все вновь связывают распущенные нити, спутывая их, и таким образом понятое превращают в непонятое, а по возможности – в непонятное. И что бы из этого ни вышло, сотканное и связанное всегда будет поневоле выглядеть как-то неприглядно, ведь над ним работает и теребит его слишком много рук.

31

В пустыне науки. – В скромных и утомительных странствиях, которые довольно часто невольно превращаются в путешествия по пустыне, человеку науки являются те блистающие атмосферные феномены, что зовутся «философскими системами»: с колдовскою силой обмана они показывают решения всех головоломок и свежайший напиток истинной воды жизни поблизости; душа истомленного путника ликует, и он, кажется, вот-вот коснется губами цели всего своего научного терпения и лишений, почему и несется

вперед как бы в самозабвении. Правда, иные натуры, словно оглушенные прекрасным миражом, остаются на месте: их глотает пустыня, и для науки они потеряны. Наконец, третьи натуры, те, что уже не раз переживали такие субъективные утешения, испытывают крайнюю досаду и клянут вкус соли, остающийся во рту от названных феноменов и вызывающий бешеную жажду, – но притом все это ни на шаг не приближает путника к какому-нибудь колодцу.

32

Мнимая «подлинная реальность». – Поэты, изображая представителей разных профессий, скажем, полководца, шелкопрядильщика, моряка, делают вид, будто досконально знают эти предметы, будто они в них *знатоки*; мало того, объясняя человеческие поступки и судьбы, они ведут себя так, словно лично присутствовали при создании всей великой ткани мира: и в этом смысле они – обманщики. Причем обманывают они исключительно людей *несведущих* – а потому обман им удается: последние воздают поэтам хвалы за их подлинное и глубокое знание предмета и тем самым в конце концов склоняют к иллюзии, будто те и впрямь знают дело так же хорошо, как и конкретные знатоки и умельцы, мало того, как сама великая ткань мира. А напоследок обманщик становится честным и верит в собственную правдивость. Люди чувства даже говорят ему прямо в лицо, что он обладает *высшей* истиной и правдивостью, – ведь они порою устают от реальности и воспринимают поэтический вымысел как благодатный отдых и ночь для головы и сердца. Картины этого вымысла кажутся им теперь более *ценными*, поскольку они, как сказано, воспринимают их как благодетельные: да люди и всегда мнили, что чем более ценна видимость, тем более она истинна, тем более реальна. Поэты, *чувствующие за собою* эту власть, намеренно идут на то, чтобы порочить то, что обычно называют реальностью, превращая его в нечто неверное, мнимое, ненастоящее, полное греха, страданий и обмана; они используют все сомнения по поводу границ познания, все эксцессы скептицизма, чтобы набросить на вещи спутанное покрывало не-

надежности: ведь тогда потом, после этого затемнения, их колдовство, их магические манипуляции с душой без всяких колебаний будут поняты как путь к «настоящей истине», к «подлинной реальности».

33

Желание быть справедливым и желание быть судьей. – Шопенгауэр, чья большая осведомленность относительно человеческого и слишком человеческого, чье изначальное чувство фактического понесли немалый ущерб от пестрой леопардовой шкуры его метафизики (каковую шкуру надо с него стянуть, чтобы только потом обнаружить под нею истинный гений моралиста), – Шопенгауэр делает то меткое различение, в котором оказывается прав куда больше, чем сам мог на это рассчитывать: «Понимание строгой необходимости человеческих поступков – та разграничительная линия, которая отделяет *философские* умы от *прочих*». Этому могучему пониманию, что открывалось ему временами, он сам же и противодействовал, давая волю предрассудку, который еще разделял с моральными людьми (а *не* с моралистами), совершенно бесхитростно и доверчиво выражая его таким образом: «Последнее и истинное объяснение внутренней сущности целокупности вещей необходимо должно быть тесно связано с объяснением этической значимости человеческого поведения», – что как раз совершенно не «необходимо», а, наоборот, прямо-таки отменяется положением о строгой необходимости человеческих поступков, иными словами, об абсолютной несвободе и безответственности воли. Стало быть, философские умы отличаются от прочих неверием в метафизическую значимость морали: а это должно разверзнуть между ними такую пропасть, какую вряд ли можно представить себе, глядя на пропасть между «образованными» и «необразованными», о которой сегодня так сетуют. Разумеется, бесполезными следует признать и еще несколько лазеек, которые оставляли для себя «философские умы», подобно самому Шопенгауэру: *ни одна из них* не ведет в просторы, на воздух свободной воли; и за *каждой*, через которую доселе удавалось прошмыгнуть, сно-

ва высилась посверкивающая железом стена рока: мы *живем* в темнице, мы можем только *грезить* о своей свободе, но *сделать* себя свободными не можем. Такому пониманию невозможно долго сопротивляться – об этом говорят отчаянные, немыслимые позиции и выкрутасы тех, что наскакивают на него, все еще продолжая попытки повалить его наземь. – Теперь у них получается примерно так: «Значит, никто не несет ни за что ответственности? Но все пропитано виной и чувством вины? Однако кто-то ведь должен быть грешником: если уже невозможно и не позволено обвинять и судить отдельного человека, эту бедную волну в необходимой игре волн становления, – ну что ж, тогда грешник – сама игра волн, становление: именно тут есть свободная воля, тут возможны обвинение, осуждение, кара и искупление; тогда *грешник – Бог*, а *спаситель – человек*; тогда весь мировой процесс – сам и вина, и самоосуждение, и самоубийство; тогда злодей становится собственным судьей, судья – собственным палачом». – Это *поставленное с ног на голову христианство* – а чем оно еще может быть? – *последний* фехтовальный выпад в битве учения о безусловной моральности с учением о безусловной несвободе, – жуткая вещь, если бы она была чем-то *большим*, нежели *логической гримасой*, большим, чем жалкий жест поверженной мысли, – это что-то вроде конвульсий отчаявшегося и жаждущего спасения сердца, которому безумие нашептывает: «Пойми, ты агнец, грех Бога взявший на себя». – Заблуждение заключается не только в ощущении, гласящем «я несу ответственность», но совершенно таким же образом и в его противоположности – «я-то – нет, но кто-то ведь должен ее нести». – Но это как раз и неверно: а значит, философ, подобно Христу, должен сказать «Не судите!», а окончательное отличие философских умов от прочих состояло бы в том, что первые хотят *быть справедливыми*, а вторые – *судьями*.

34

Самопожертвование. – Вы думаете, что самопожертвование – признак морального поступка? – Поразмыслите-ка о том, не в *любом* ли поступке, который совершается обдуманно,

присутствует самопожертвование, – в самом скверном так же, как в самом хорошем.

35

Против тех, кто испытует утробы на предмет нравственности. – Чтобы судить о том, насколько сильна нравственная природа того или другого человека и насколько она усилилась, надо знать о лучшем и о худшем, на что этот человек способен – и в воображении, и на деле. Но узнать об этом невозможно.

36

Змеиный зуб. – Есть ли у тебя змеиный зуб, ты узнаешь лишь после того, как кто-нибудь попрет тебя своей пятой. Жены или матери сказали бы: после того, как кто-нибудь попрет нашего любимого, наше дитя. – Наш характер куда больше определяет нехватка некоторых переживаний, чем то, что мы реально переживаем.

37

Обман, заключенный в любви. – Мы забываем кое-что из своего прошлого и намеренно выбрасываем это из головы: иначе говоря, мы хотим, чтобы наше представление о себе, опирающееся на прошлое, обманывало нас, льстило нашему самомнению, – и мы постоянно работаем над этим самообманом. – И вот вы, которые так много говорите и шумите о «необходимости забывать себя в любви», о «растворении своего *я* в личности другого», думаете, будто это по своей сути что-то другое? Тогда разбейте зеркало, влезьте в шкуру человека, которым восхищаетесь, и наслаждайтесь новым образом своего «я», хоть назовите его именем другого человека, – и все это *не* должно быть самообманом, не должно быть эгоизмом, вы, чудаки! – Я думаю, те, которые таят *от себя* какие-то части себя самих, и те, которые таят

себя от себя целиком, равны в том, что совершают *кражу* из сокровищницы познания: это проливает свет на то, от какого проступка предостерегает изречение «познай себя самого».

38

К не признающимся в тщеславии. – Тот, кто не признается в тщеславии, обычно наделен им в столь брутальной форме, что инстинктивно закрывает на него глаза, дабы не пришлось презирать себя.

39

Отчего глупые так часто ожесточаются. – На возражения оппонента, отразить которые нам, мы чувствуем, не хватает ума, наше сердце отвечает подозрением относительно мотивов этих возражений.

40

Искусство исключений в морали. – Прислушиваться к искусству, которое изображает и возвеличивает исключительные случаи в мире морали – там, где доброе превращается в скверное, несправедливость оборачивается справедливостью, – стоит очень редко: вот так изредка покупаешь что-нибудь у цыган, но со страхом, не крадут ли они куда больше, чем ты выигрываешь на покупке.

41

Что нравится и не нравится в ядах. – Единственным веским аргументом, во все времена удерживавшим людей от решения выпить яд, было не то, что яд убивает, а то, что он невкусен.

42

Мир без ощущений греховности. – Если бы совершались только такие поступки, которые не вызывают нечистой совести, то человеческий мир все равно выглядел бы довольно скверным и подлым: но зато не таким хворым и жалким, как сейчас. – Во все времена было достаточно злых людей *без* совести – а у множества добрых и честных нет отрадного чувства чистой совести.

43

Совестливые. – Следовать своей совести удобнее, чем рассудку: ведь при любой неудаче у нее наготове извинение и ободрение, – поэтому людей совестливых все-таки куда больше, чем людей рассудительных.

44

Противоположные способы избегать ожесточения. – Людям одного темперамента бывает полезно избавляться от досады с помощью слов: когда они говорят, досада смягчается. Другой темперамент, только выговариваясь, и достигает полного ожесточения: такие люди поступили бы благоразумнее, удержавшись от слов, – если они налагают на себя такие узы перед лицом врагов или начальников, это улучшает их характер, не допуская в нем излишней резкости и кислоты.

45

Не принимать слишком близко к сердцу. – Неприятно смертельно устать от лежания в кровати, но это еще не аргумент против правильности лечения, предписавшего тебе постельный режим. – Люди, которые долго жили вне себя и наконец обратились к философской внутренней, сосредоточенной на себе жизни, знают, что бывает и душевно-умственная смертельная усталость от лежания. Значит, она

– еще не аргумент против избранного человеком образа жизни в целом, но делает необходимыми кое-какие мелкие исключения и мнимые рецидивы.

46

Человеческая «вещь сама по себе». – Вещь самая уязвимая, но и самая непобедимая, – это человеческое тщеславие: ведь, будучи уязвлено, оно только усиливается, а в конце концов может сделаться гигантским.

47

Фарс множества трудолюбцев. – Чрезмерными усилиями они добиваются для себя лишнего досуга, а потом не знают, что с ним делать, кроме как отсчитывать часы, покуда те не выйдут до конца.

48

Много радоваться. – Кто много радуется, тот, вероятно, человек хороший: но, вероятно, не самый смышленый, хотя достигает как раз того же, чего самый смышленый добивается всей своей смышленостью.

49

В зеркале природы. – Не описывают ли какого-то человека довольно точно, говоря, что он любит бродить по желтым полям высокой пшеницы, что краски леса и луга в конце пылающей и уже пожелтевшей осени он предпочитает всем другим, поскольку они свидетельствуют нечто более прекрасное, чем то, что удается природе в другую пору, что под раскидистыми ореховыми деревьями с сочною листвой он чувствует себя совсем как дома, как бы среди ближайших родных, что в горах больше всего он рад, находя малые уе-

диненные озера, из которых, кажется, на него глядит само одиночество, что он любит тот серый покой туманных сумерек, который вечерами осени и ранней весны подкрадывается к окнам, как бы окутывая бархатными завесами любой бездушный шорох, что неотесанные каменья он ощущает и с детских лет почитает как доживших от седой древности до наших дней свидетелей, жаждущих рассказать о ней, и, наконец, что море с его подвижной змеиной шкурой и красотою хищника остается для него чужим? – Конечно, *коечто* от этого человека такое описание ухватывает: но зеркало природы ничего не говорит о том, что этот же самый человек при всей своей идиллической впечатлительности (и даже не «вопреки ей») может быть довольно холодным, мелочным и спесивым. Гораций, знавший толк в подобных вещах, вложил нежнейшую любовь к сельской жизни в уста и душу какого-то римского *ростовщика* – в своем знаменитом «beatus ille qui procul negotiis»[1].

50

Мощь без победы. – Наиболее сильное познание (а именно, полной несвободы человеческой воли) приводит, однако, к самым скромным успехам: ведь против него всегда бьется самый сильный враг – человеческое тщеславие.

51

Наслаждение и заблуждение. – Один непроизвольно воздействует на друзей благотворно самой своей натурой, другой – произвольно и отдельными поступками. Хотя первое *считается* чем-то более высоким, но только второе связано с чистой совестью и с наслаждением – а именно, с наслаждением святости своего дела, которое зиждется на вере в произвольность наших добрых и скверных дел, то есть на заблуждении.

---

1 «Блажен тот, кто вдали от дел...» (*Гораций*, «Эподы», II, 1).

52

Глупо чинить несправедливость. – Несправедливость, которую мы причинили другим, переживается нами куда тяжелее, чем несправедливость, причиненная нам самим (и, кстати, как раз не из моральных соображений –); ведь тот, кто ее совершает, на самом-то деле всегда страдает, *если* он доступен либо для угрызений совести, либо для понимания того, что своим поступком настроил против себя общество и таким образом оказался в изоляции. Поэтому уже хотя бы ради собственного внутреннего благополучия, то есть чтобы не расставаться с хорошим самочувствием, не обращая внимания на все, чего требуют религия и мораль, надо беречься совершать несправедливость еще больше, чем претерпевать ее: ведь это последнее может утешаться чистой совестью, чаяньем мести, сострадания и одобрения со стороны людей справедливых, мало того, со стороны всего общества, опасающегося преступника. – Немалое число людей знают толк в том, как можно нечистоплотно перехитрить себя, чтобы любую собственную несправедливость перетолковать как причиненную им самим и в оправдание того, что сделали сами, оставить за собой право самообороны для исключительных случаев: ведь таким образом гораздо легче нести свое бремя.

53

Зависть с голосом или без. – Зависть обычная имеет привычку начинать кудахтать, как только курица – предмет зависти – сносит яйцо: такая зависть при этом испытывает облегчение и смягчается. Но есть зависть более глубокая: в подобном случае она хранит гробовое молчанье и, желая, чтобы сейчас все рты оказались на замке, все больше бесится оттого, что как раз этого-то и не происходит. Зависть молчаливая в молчании только растет.

54

Гнев как шпион. – Гнев иссушает душу до дна, обнажая и самый ее осадок. Вот почему, если ты не можешь иначе уяснить, как обстоят дела, надо доводить до белого каления своих близких, своих сторонников и противников – тогда ты и увидишь все, что они творят и замышляют против тебя в глубине души.

55

Обороняться нравственно труднее, чем нападать. – Истинный подвиг и шедевр хорошего человека состоит не в том, что он нападает на дело, но продолжает любить защищающую его личность, а в том куда более трудном, что он *защищает собственное* дело, не вызывая и не желая вызывать ожесточенной горечи у того, на кого нападает. Атакующий меч честен и широк, меч обороны на конце обычно бывает не шире иглы.

56

Честно в отношении честности. – Человек, на людях честный в отношении себя, наконец и сам начинает воображать Бог весть что относительно этой честности: ему-то отлично известно, почему он честен, – по той же самой причине, по какой другие предпочитают игру и притворство.

57

Вогнать в краску. – Когда кто-то хочет вогнать другого в краску своим благородством, это, как правило, понимается превратно и потому не удается, ведь другой-то тоже чувствует свое полное право на это и со своей стороны подумывает о том же.

58

Опасные книги. – Вот человек говорит: «По себе знаю – эта книга пагубна». Но подожди он еще – и в один прекрасный день возможно, признается себе, что эта самая книга сослужила ему большую службу, выгнав наружу и явив взору тайную болезнь его сердца. – Если человек меняет свои мнения, это не изменяет его характера (или изменяет его совсем немного): может быть, они заставляют светиться отдельные стороны созвездия его личности, которые прежде, при иной констелляции мнений, оставались темными и неразличимыми.

59

Разыгранное сострадание. – Когда человек хочет *показать*, что возвысился над чувством враждебности, он разыгрывает сострадание: но, как правило, напрасно. Другие замечают это не без значительного прилива как раз этих самых враждебных чувств.

60

Откровенное возраженье часто примиряет. – В тот момент, когда человек публично выражает известному партийному вождю или учителю свое несогласие с догмой, все думают, что он, должно быть, питает к тому злобу. Но бывает, что как раз тогда он и перестает питать злобу: он отваживается стать рядом с тем и избавляется от мучений молчаливой ревности.

61

Видеть, как светит твой свет. – В помраченном состоянии уныния, болезни, долгов нам по нраву замечать, что мы еще светим другим и они видят в нас светлый диск луны. Этим окольным путем мы причащаемся своей собственной способности *озарять*.

62

Радость за других. – Змея, которая нас жалит, думает сделать нам больно и при этом радуется; и самое низкое животное в состоянии представить себе чужую *боль.* А вот представлять себе чужую радость и при этом радоваться – высшая привилегия высших животных, а среди них, в свой черед, доступная лишь избранным особям, – то есть редкостное humanum[1]: потому-то и бывали на свете философы, отрицавшие радость за других.

63

Послеродовая беременность. – Те, что пришли к своим трудам и деяниям, сами не зная как, обыкновенно тем больше бывают беременны ими задним числом: как бы для того, чтобы постфактум доказать, что это их дети, а не дети случая.

64

Бессердечность из тщеславия. – Как справедливость столь часто бывает личиной слабости, так и люди, мыслящие справедливо, но слабые, порой из честолюбия прибегают к притворству – они ведут себя явно несправедливо и жестоко, чтобы произвести на зрителей впечатление силы.

65

Унижение. – Иной человек, находя в куче дареных привилегий хоть крупицу униженья, все равно делает плохую мину при хорошей игре.

---

1 человеческое качество (*лат.*).

66

Верх геростратства. – Возможны герострати – поджигатели собственного храма, в котором поклоняются их изваяниям.

67

Мир уменьшительных форм. – То обстоятельство, что все слабое и нуждающееся в помощи взывает к состраданию, создает привычку называть все, что взывает к состраданию, уменьшительными и ласкательными словами, – то есть *делать* его слабым и нуждающимся в помощи для нашего чувства.

68

Скверное свойство сострадания. – В способности сострадать как наперснице есть какая-то наглость: ведь сострадание во что бы то ни стало хочет помогать, но толком не знает ни способов лечения, ни вида и причины болезни, – вот оно и пускается очертя голову в знахарство за счет здоровья и репутации своего пациента.

69

Фамильярность. – Случается, что люди проявляют фамильярность и к произведениям; и если кто уже юношей, копируя других, к сиятельнейшим творениям всех времен подходит с развязным обращением на ты, то это говорит о полном отсутствии стыда. – Другие фамильярны только по невежеству: они не ведают, с кем имеют дело, – такими нередко бывают молодые и старые филологи в своем отношении к творениям греков.

70

Воля стыдится интеллекта. – Со всею холодностью мы делаем разумные расчеты относительно своих аффектов: а

потом совершаем здесь грубейшие промахи, ведь в тот момент, когда настает пора осуществить свой план, мы часто стыдимся той холодности и рассудочности, с которыми его замышляли. Вот тогда-то мы и творим прямо-таки безрассудство – и движет нами при этом своего рода упрямое великодушие, которое несет с собою каждый аффект.

71

Почему скептики не по нраву морали. – Тот, кто высоко ценит свою нравственность и принимает ее близко к сердцу, сердится на скептиков в сфере морали: ведь в этой сфере, в которую он вкладывает все свои силы, следует *выражать восхищение*, а не исследовать и сомневаться. – Помимо этого, бывают натуры, *последний* остаток нравственности которых – как раз вера в мораль: они относятся к скептикам точно так же, а может быть, даже более пристрастно.

72

Робость. – Все моралисты робки, потому что знают, что их путают с соглядатаями и предателями, когда замечают за ними эту склонность. Тогда они и сами чувствуют, насколько слабы в практической деятельности: ведь в разгар дела мотивы их поступков почти целиком отвлекают их внимание от дела.

73

Опасность, грозящая общественной нравственности. – Люди, благородные и одновременно честные, доводят до обожествления любую чертовщину, которую измышляет их честность, так что стрелка весов моральных суждений замирает на месте.

74

Самое жестокое заблуждение. – До ожесточения оскорбительно обнаружить, что мы думали, будто нас любят, а нас считали только домашней утварью и комнатным убранством, на котором хозяин дома может дать волю своему тщеславию перед гостями.

75

Любовь и двойственность. – Что иное любовь, чем состояние, в котором понимаешь и радуешься тому, что другой живет, трудится и чувствует другим, может быть, прямо противоположным образом, нежели мы сами? Любви, чтобы связывать противоположности через радость, нельзя их устранять, отрицать. – Даже любовь к себе содержит в себе как предпосылку неслиянную двойственность (или множественность) в одном лице.

76

Толкование на основе сновидений. – То, чего в состоянии бодрствования мы подчас не знаем и не чувствуем определенно – а именно, чиста или нечиста у нас совесть в отношении того или иного человека, – совершенно недвусмысленно разъясняет нам сновидение.

77

Разврат. – Мать разврата – не радость, а безрадостность.

78

Кара и награда. – Никто не выступает с обвинениями без задней мысли о каре и мести, даже если обвиняемый – собственная судьба, а то и ты сам. – Всякая жалоба – это обвине-

ние, всякая радость – хвала: и делаем ли мы то или другое, кто-то у нас всегда оказывается ответственным.

79

Дважды несправедливо. – Подчас мы содействуем истине, совершая двойную несправедливость, а именно тогда, когда мы рассматриваем и изображаем одну вслед за другой две стороны дела, которые не в состоянии рассматривать заraз, но делаем это так, что всякий раз не признаем или отрицаем другую сторону, питая иллюзию, будто видимое нами и есть целая истина.

80

Недоверие. – Недоверие не всегда ходит внутри себя неуверенно и робко – подчас оно похоже на бешеную водобоязнь: это значит, оно напилось допьяна, чтобы не дрожать.

81

Философия выскочки. – Хочешь сделаться личностью – уважай и свою тень.

82

Уметь отмыться добела. – Надо научиться, как выбираться из нечистых обстоятельств более чистым, а если нужда заставит – то как умываться и грязною водой.

83

Распускаться. – Чем больше человек распускается, тем меньше его отпускают другие.

84

Невинный подлец. – К пороку и всякого рода мошенничеству, бывает, ведет долгий, шаг за шагом, путь. Того, кто по нему идет, в конце концов совсем оставляют насекомьи рои нечистой совести, и он бредет дальше, хотя и полный скверны, зато невинный.

85

Строить планы. – Строить планы и вынашивать замыслы – занятие очень приятное, и тот, у кого достало бы сил всю свою жизнь только и делать, что строить планы, был бы человеком вполне счастливым: но ведь и ему надо будет иногда отдыхать от этого занятия, выполняя какой-нибудь план, – вот тогда-то и придут досада и отрезвление.

86

Откуда мы глядим на идеал. – Каждый порядочный человек помешан на своей порядочности и не может выглянуть из нее на свободу. И если бы не добрая доля несовершенства в нем, то из-за своей добродетельности он не смог бы прийти к духовно-нравственной свободе. Наши изъяны – вот те глаза, которыми мы глядим на идеал.

87

Недобросовестная хвала. – Недобросовестная хвала оставляет после себя в нас куда больше угрызений совести, чем недобросовестная хула, – и, вероятно, лишь потому, что когда нас перехваливают, мы компрометируем свой ум куда больше, чем когда нас чрезмерно, пусть даже несправедливо порицают.

88

Как умирать, безразлично. – Как человек в разгар своей жизни, в полном цвете сил, думает о своей смерти, – это, конечно, очень симптоматично и многое говорит о том, что называют его характером; но самый его смертный час, его поведение на смертном ложе в этом смысле почти совершенно безразличны. Истощенность нисходящей жизни, особенно когда умирают старые люди, нерегулярное или недостаточное питание головного мозга в это последнее время, порой мучительные боли, неизведанность и новизна всего этого состояния, а очень часто – припадки и рецидивы суеверных впечатлений и запугиваний, гласящих, что момент смерти неимоверно важен, потому что тогда человек должен перейти мосты самого ужасного свойства, – все это не *позволяет* рассматривать умирание как свидетельство о человеке. Неправда и то, что умирающий в целом *честнее* живущего: торжественный вид окружающих, сдерживаемые или текущие ручьи слез и чувств склоняют его разыгрывать то сознательную, то бессознательную комедию тщеславия. Серьезность, с какою обращаются с каждым умирающим, и вовсе бывает для иного презренного бедняги изысканным наслаждением, какого он не испытывал за всю свою жизнь, и своего рода возмещением ущерба и платой за множество лишений.

89

Обычай и его жертвы. – Обычай происходит от двух идей: «Община важнее индивида» и «Длительную выгоду следует предпочесть мимолетной»; а отсюда следует вывод, что длительной выгоде общины безусловно следует отдавать предпочтение перед выгодой индивида, в особенности перед его сиюминутным хорошим самочувствием, но и перед его длительной выгодой и даже перед его дальнейшим существованием. А страдает ли индивид от установления, полезного общине, чахнет ли он от него, гибнет ли из-за него, – обычай должен быть сохранен, жертва должна быть принесена. Но такое умонастроение *возникает* только у тех, ко-

торые *не* бывают жертвой, – ведь если бы они были в ее шкуре, то оказалось бы, что индивид может быть более важным, чем множество, а равно и то, что сиюминутное наслаждение, это райское мгновение, ценится, возможно, больше, чем тусклое продление безбольных и благополучных состояний. Но философия жертвенного животного всегда обретает голос слишком поздно, а потому дело не идет дальше обычая и *нравственности*: а она – всего лишь переработанное в чувство воплощение обычаев, при которых люди живут, в которых они были воспитаны – и воспитаны не как индивиды, а как члены целого, как цифры в составе большинства. – Таким образом беспрестанно получается, что индивид посредством своей нравственности *превращает в большинство* самого себя.

90

Добро и чистая совесть. – Вы думаете, что все доброе во все времена ходило с чистой совестью? – Наука, то есть безусловно что-то очень доброе, явилась в мир без таковой и совершенно лишенной всякого пафоса, скорее тайно, окольными путями, входя с укутанной головою или в маске, словно преступница, и всегда по меньшей мере с *чувствами* контрабандистки. Предварительной ступенью, а не противоположностью чистой, доброй совести была нечистая, злая совесть: ведь всякое добро было некогда новым, а, следовательно, необычным, шедшим вразрез с обычаем, *безнравственным*, и глодало сердце счастливого первооткрывателя, словно червь.

91

Результат оправдывает намерения. – Не стоит бояться пути к той или иной добродетели, даже если хорошо понимаешь, что побудительные мотивы, толкающие на этот путь, не что иное, как эгоизм – то есть польза, личное удобство, страх, оглядка на здоровье, репутацию или славу. Эти мотивы называют неблагородными и эгоистичными: хорошо,

но если они побуждают нас к какой-нибудь добродетели, скажем, самоотверженности, верности долгу, порядку, бережливости, мере и умеренности, то надо им следовать, какими бы эпитетами их ни награждали! Если человек достигает того, к чему они его ведут, то *достигнутая* добродетель беспрерывно *облагораживает* дальнейшие мотивы наших поступков – благодаря чистому воздуху, которым она дает дышать, и душевному благополучию, которое она сообщает, и потом мы совершаем эти поступки, исходя уже не из тех самых, более грубых мотивов, толкавших нас на это прежде. – Поэтому воспитание по мере возможности должно *принуждать* к добродетелям, в зависимости от натуры воспитанника: тогда пусть сама добродетель, этот солнечный и летний воздух души, делает свое дело, добавляя спелости и сладости.

92

Христианисты, а не христиане. – Вот вам ваше христианство! Чтобы досадить людям, вы восхваляете «Бога и святых его»; а уж если хотите *восхвалить* людей, то доводите дело до того, что досадовать приходится Богу и святым его. – Желаю вам научиться хотя бы христианской пристойности, раз уж вам так не хватает учтивости христианского сердца.

93

Душевные ландшафты благочестивых и нечестивых. – Совершенно благочестивый человек должен быть для нас предметом почитания: но то же самое относится и к законченному честному, убежденному нечестивцу. Если вблизи от человека такого типа чувствуешь себя, как вблизи высокогорья, где берут начало самые полноводные реки, то рядом с благочестивым – как под крепкими, тенистыми, спокойными деревьями.

94

Судебные убийства. – Два величайших судебных убийства в мировой истории суть, говоря без околичностей, скрытые, и хорошо скрытые само-убийства. В обоих случаях было желание умереть; в обоих случаях меч направлялся в собственную грудь, будучи вложен в руку человеческой несправедливости.

95

«Любовь». – Тончайшая уловка, в которой христианство превосходит прочие религии, – некое слово: оно говорило о *любви.* Так оно стало *лирической* религией (в то время как в двух других своих творениях семиты подарили миру героико-эпические религии). Есть в слове «любовь» нечто столь многозначительное, волнующее, обращенное к памяти и надежде, что даже нижайший разум и самое холодное сердце чуют какой-то отблеск этого слова. Самая смышленая женщина и самый пошлый мужчина думают при этом о сравнительно наиболее бескорыстных моментах своей совместной жизни, даже если Эрос взлетал у них совсем невысоко; а для тех бесчисленных людей, которым *недостает* любви – со стороны ли родителей, детей или возлюбленных, но в особенности – для людей утонченной сексуальности, христианство – это настоящая находка.

96

Осуществленное христианство. – И в христианстве есть эпикурейское умонастроение, исходящее из идеи, что от человека, своего творения и подобия, Бог может требовать лишь *возможного,* а, следовательно, что христианская добродетельность и совершенство достижимо и нередко достигается. Тогда, к примеру, *вера* в то, что *любишь* своих врагов – даже если это всего лишь вера, плод воображения, а вовсе не психологическая действительность (то есть не сама любовь), – безусловно, дарует *счастье,* покуда человек ее дей-

ствительно питает (а вот почему, на этот счет психологи и христиане, разумеется, будут судить различно). А потому *земная жизнь* посредством такой веры, я имею в виду воображение, хотела бы удовлетворять не только требованию любить своих врагов, но и всем остальным христианским требованиям, и на самом деле усвоить и воплотить в себе божественное совершенство согласно призыву «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», на деле стать *блаженной жизнью.* Стало быть, заблуждение может сделать истиной *обетование* Христа.

97

О будущем христианства. – Можно позволить себе предположение о том, как исчезнет христианство, и о том, в каких местностях оно будет отступать дольше всего, если принять в расчет, по каким *причинам* и где так бурно распространился протестантизм. Как известно, он обещал дать людям все то же самое, что давала старая церковь, но куда дешевле, то есть без дорогостоящих панихид, паломничеств, роскоши и великолепия священников; особенно широко он распространился среди северных народов, не так сильно, как южные, укорененных в символике и наслаждении формами, свойственных старой церкви: ведь у южан в христианстве еще продолжало свою жизнь много более могучее религиозное язычество, в то время как на Севере христианство означало резкий контраст и разрыв с коренной традицией, а потому с самого начала в нем было больше умственного, чем чувственного, но именно поэтому же – в условиях опасности – больше фанатизма и твердолобости. Если удастся лишить христианство почвы в *мышлении*, то очевидно, где оно начнет исчезать: как раз там, где оно и обороняться будет наиболее упорно. В других местах оно будет сгибаться, но не ломаться, терять листву, но снова выпускать новые листья, – потому что там на той же самой стороне были *чувства*, а не мысли. А именно чувства-то поддерживают и веру в то, что со всеми издержками церкви хозяйствовать будет все-таки дешевле и удобнее, чем со строгими условиями труда и вознаграждения: ведь какую только цену не от-

дашь за праздность (или полулень), если уже к ней привык! Чувства протестуют против мира без христианства, потому что в нем нужно слишком много трудиться, а рента праздности слишком мала; они берут сторону магии, иными словами – они предпочитают, чтобы за них работал Бог (oremus nos, deus laboret![1]).

98

Притворство и честность неверующих. – Нет на свете другой книги, которая в таком изобилии содержит, с такой искренностью выражает то, что бывает столь приятно каждому человеку – горячечно-восторженную блаженную задушевность, готовую на жертвы и смерть, в вере и лицезрении *своей* «истины» как последней истины, чем книга, повествующая о Христе: человек смышленый может усвоить из нее все способы, какими книгу можно превратить во всемирную книгу, в неразлучного друга каждого человека, а в особенности – венец всех способов, состоящий в том, чтобы представить все уже окончательно найденным и ничего – становящимся и еще зыбким. Все влиятельные книги пытаются оставить такое же впечатление – будто в них очерчен широчайший умственный и душевный горизонт и будто вокруг сияющего из них солнца должны вращаться все нынешние и будущие видимые светила. – Не обречена ли любая *чисто научная* книга на невлиятельность по той же самой причине, по какой влиятельны названные книги? Не суждено ли ей жить в унижении и среди униженных, а в конце концов претерпеть распятие, но так и не восстать из мертвых? Не являют ли собою все честные люди науки «нищих духом» в сравнении с тем, что́ люди верующие провозглашают о своем «знании», о своем «святом» духе, уме? Может ли какая-нибудь религия требовать большего самоотречения, более неумолимо выталкивать из себя эгоистов, нежели наука? – – Так или подобным образом, но во всяком случае с некоторой долей притворства хотелось бы говорить *нам*, если уж придется защищаться перед лицом веру-

---

1 Нам – молиться, а Богу – трудиться! (*лат.*).

ющих: ведь вряд ли можно защищаться без некоторой доли притворства. А в собственной своей среде мы будем говорить честнее: ведь тут мы пользуемся свободой, которой тем, другим, не понять даже ради соблюдения собственного интереса. Стало быть, долой клобук самоотречения! Мину смирения! Куда больше и куда лучше: так звучит наша истина! Если бы наука не была связана с *наслаждением* от познания, с *пользой* от познания, что толку нам было бы в науке? Что иное влекло бы нас к науке, если бы нашу душу не вела к познанию чуточка веры, любви и надежды? И хотя «я» в науке не должно значить ничего, но в республике людей науки очень многое означает находчивое, удачливое «я», да что там, уже даже любое честное и прилежное «я». Уважение со стороны уважающих, радость тех, кто нам симпатичен или кого мы почитаем, подчас слава и умеренное бессмертие личности – приемлемая цена за обезличенность, не говоря уж о более скромных перспективах и наградах, хотя большинство как раз ради них-то и присягнуло законам упомянутой республики и науки вообще и имеет обыкновение присягать им постоянно. Если бы мы в какой-то мере не оставались людьми *ненаучными*, какой прок был бы для нас и в науке! В общем и целом, если выражаться кругло, гладко и откровенно: *для существа чисто познающего познание было бы безразлично.* – От благочестивых и верующих нас отличает не количество, а качество веры и благочестия: мы бываем довольны куда меньшим. А если те станут увещевать нас – так и будьте довольны, ну и ведите себя, как довольные! – то на это нам было бы легко ответить: «На самом деле мы не относимся к самым недовольным! А вы, если ваша вера дает вам блаженство, и ведите себя, как блаженные! Ваши лица всегда вредили вашей вере больше, чем наши доводы! Если бы благая весть вашей Библии была написана на ваших лицах, не пришлось бы вам так упорно требовать веры в авторитет этой книги: ваши слова, ваши поступки должны были бы постоянно делать Библию излишней, и благодаря вам постоянно должна была бы возникать некая новая Библия! А так вся ваша апология христианства коренится в вашем нехристианстве; защищая христианство, вы пишете свое собственное обвинительное заключение. Но если вам будет угодно выбраться из этой вашей

неудовлетворенности христианством, то примите во внимание опыт двух тысячелетий: каковой, если облачить его в скромную вопросительную форму, звучит так: “Если Христос действительно собирался спасти мир, неужели это у него получилось?”»

99

Поэты как указатели пути в будущее. – Вся избыточная энергия поэтического творчества, еще оставшаяся у современных людей, энергия, которая не уходит на организацию жизни, без остатка должна быть посвящена одной цели – не копированию настоящего, не воскрешению и консервации прошлого, а указанию пути к будущему: и не в том смысле, что поэт, словно какой-то фантазирующий политэконом, должен предвосхищать в образе более благоприятные для народа и общества условия жизни и способы их добиться. Напротив, подобно тому, как художники прошлого неустанно работали над созданием образов богов, он будет *неустанно работать над созданием* прекрасного образа человека, чутко улавливая те случаи, где *посреди* нашего современного мира и реальности, где без какой бы то ни было искусной обороны и уклонения от них, еще возможна прекрасная великая душа, там, где она еще и сегодня в состоянии воплотиться в гармоничных, соразмерных формах, где она благодаря им обретает зримый образ, долговечность и качество модели для будущего, а, значит, помогает созидать будущее, возбуждая стремление подражать и зависть. Творения таких поэтов отличались бы тем, что представали бы закрытыми для воздуха и жара *страстей* и защищенными от них: неисправимая ошибка – дробление звука целостного человеческого инструмента, язвительный смех и зубовный скрежет, да и все трагическое и комическое в старом, привычном смысле слова – вблизи этого нового искусства воспринималась бы как докучливое архаизирующее огрубление человеческого образа. Сила, доброта, снисходительность, чистота и безыскусная, врожденная мера в характере действующих лиц и в их поступках; хорошо утоптанная земля, дающая ногам ощущение покоя и наслаждение; сияющее

небо, отражающееся на лицах и событиях; знание и искусство, слившиеся в новом единстве; дух без высокомерия и ревности, сожительствующий со своей сестрою, душой, и выманивающий из антагонизмов грацию весомости, а не ожесточенность раздора: – все это было бы чем-то объемлющим, всеобщим, составляющим золотой фон, на котором лишь тогда нерезкие различия воплощенных идеалов составили бы настоящую *картину* – картину неуклонно растущего человеческого величия. – В эту поэзию будущего ведет некоторый путь от *Гёте*: но нужны хорошие разведчики такого пути и прежде всего – куда большая сила, чем у нынешних поэтов, то есть законченных изобразителей полуживотного и незрелости, неумеренности, принимаемых за силу и природу.

100

Муза в качестве Пентесилеи. – «Уж лучше погибнуть, чем быть *непривлекательной* женщиной». Если уж так мыслит Муза, то снова близок конец ее искусства. Однако развязка бывает не только у трагедий, но и у комедий.

101

Каков окольный путь к прекрасному. – Если прекрасное равнозначно отрадному – а ведь некогда так и пели Музы, – то полезное нередко бывает *окольным путем*, с необходимостью приводящим к *прекрасному*, и в состоянии с полным правом отвести близорукий упрек живущих только сегодняшним днем людей, не желающих ждать и думающих получить все хорошее без окольных путей.

102

В извинение кое-какой вины. – Безусловная воля к созиданию и пристальное внимание ко всему внешнему, свойственные художникам, не дают им стать прекрасней и лучше как лич-

ностям, то есть созидать *самих себя*, – пусть даже их честолюбие достаточно велико, чтобы вынуждать их и в общении с другими всегда проявлять себя доросшими до растущей красоты и величия своих творений. В любом случае им дана лишь строго определенная мера силы: сколько ее они используют на *себя* – а как это могло бы пойти на пользу и их *творениям*? – И наоборот.

103

Удовлетворять вкусам элиты. – Если чьим-то искусством «довольны лучшие его эпохи», то это верный признак того, что вкусам лучших следующей эпохи оно *не удовлетворит*: правда, он «жил для всех времен» – одобрение лучших гарантирует славу.

104

Из одного куска. – Если в своей книге или творении искусства автор предстает как бы сделанным из одного куска, он совершенно искренне верит, что это превосходно, и бывает оскорблен, когда другие находят это отвратительным, пересоленным или хвастливым.

105

Язык и чувство. – Язык дан нам не для того, чтобы передавать *чувство* – это видно по тому факту, что все простые люди стыдятся подыскивать слова для выражения своих самых сильных волнительных состояний: они передают их только с помощью действий, да и тут краснеют, если другие, как им кажется, угадывают их мотивы. Среди поэтов, которым божество в общем отказало в такого рода стыде, наиболее благородные очень скупы на слова в выражении чувства, и можно заметить у них некоторую принужденность, в то время как те, которые и пишут-то ради чувства, в практической жизни, как правило, бывают бесстыжими.

106

Заблуждение по поводу одного лишения. – Кто не отходил надолго от какого-нибудь искусства целиком и полностью, а постоянно жил в нем, тот не может даже примерно представить себе, *сколь малого* лишается человек, живущий без этого искусства.

107

В три четверти силы. – Автор, создавая творение, которое хочет производить впечатление здорового, должен вкладывать в него самое большее три четверти своей силы. А вот если он подошел к крайним пределам этой силы, то творение возбуждает воспринимающего и отпугивает его своей напряженностью. Все хорошие вещи немного небрежны и лежат, словно коровы на лугу.

108

Выпроваживать голод из дому. – Тончайшие яства для голодного ничем не отличаются от самой грубой пищи – поэтому художники более притязательные не станут и думать о том, чтобы приглашать на свои трапезы голодающих.

109

Жизнь без искусства и вина. – С творениями искусства дело обстоит так же, как с вином: а еще лучше оно обстоит, если не нуждаться ни в том, ни в другом, пить только воду и если вода сама по себе все вновь превращается в вино из внутреннего огня, из внутренней сладости души.

110

Гений-хищник. – Хищный гений в искусствах, способный вводить в заблуждение даже самые тонкие умы, появляется,

когда кто-то смолоду без колебаний смотрит на все хорошее как на предоставленную любому охотнику добычу, если только оно прямо не защищено законом как собственность определенного лица. А ведь все хорошее, что создали прежние времена и мастера, свободно лежит кругом, огороженное и охраняемое только почтительной робостью немногих понимающих: этим немногим в силу нехватки стыда и дает отпор такой гений, собирая в кучу богатство, которое уже само по себе в свою очередь вызывает почтение и робость.

111

К поэтам, воспевающим большие города. – По садам нынешней поэзии можно заметить, как близко от них находятся клоаки больших городов: к аромату цветов тут примешано то, что говорит о мерзости и гнили. – Я с болью задаю вопросы: так ли уж нужно вам, поэты, все время приглашать в крестные отцы язвительные остроты и грязь, когда крестить должны какое-нибудь невинное и прекрасное ощущение? Неужто надо непременно нахлобучивать на вашу благородную богиню шутовской, балаганный колпак? Но почему эта нужда, эта необходимость? – Как раз потому, что вы живете слишком близко от клоак.

112

О соленой речи. – Еще никто не объяснил, почему греческие писатели употребляли выразительные средства, в столь неслыханном изобилии и силе находившиеся в их распоряжении, с такою невероятной скупостью, что в сравнении с ними любая написанная после греков книга кажется кричащей, пестрой и натянутой. – Говорят, что в местах возле льдов Северного полюса, так же как и в самых жарких странах, солью пользуются более скупо, зато жители равнин и морских побережий в зонах, умеренней нагреваемых солнцем, употребляют ее в очень больших количествах. Так, может быть, и грекам соль и приправы нужны были не в такой степени, как нам, по двойной причине – потому что

хотя их интеллект был холоднее и яснее, но их страстный природный характер – намного более тропическим, нежели наши?

113

Самый свободный из писателей. – Как же можно в книге для свободных умов оставить без упоминания Лоренса Стерна, его, которого Гёте чтил как свободнейший ум своей эпохи! Пусть же он довольствуется здесь честью быть названным свободнейшим из писателей всех времен, в сравнении с которым все остальные кажутся неповоротливыми, неотесанными, нетерпимыми и мужицки-прямолинейными. И достохвальна в нем, пожалуй, не законченная, ясная, а «бесконечная мелодия» – если этим словом обозначить стилистическое направление в искусстве, в котором определенная форма постоянно ломается, сдвигается, переводится в неопределенную, а потому означает одно, но в то же самое время и другое. Стерн – великий мастер *двусмысленности*, если это слово, как и следует, понимать гораздо шире, чем делают обычно, подразумевая отношения между полами. Можно считать пропавшим того читателя, который в любой момент хочет точно знать, чтó Стерн думает о том или ином предмете на самом деле, смеется ли он над ним или сохраняет серьезную мину: он-то ведь умеет выразить то и другое одной складкой своего лица; он и сам это понимает и даже хочет быть одновременно и правым и неправым, связать в один узел глубокомыслие и фарс. Его отступления от темы – зараз продолжение рассказа и дальнейшее развитие истории; его сентенции содержат в себе одновременно иронию по поводу всего сентенциозного, его отвращение ко всему серьезному связано со склонностью избегать поверхностного, верхоглядного подхода к любой теме. Поэтому у настоящего читателя он вызывает чувство неуверенности в том, идет ли он, стоит или лежит: чувство, больше всего похожее на ощущение парения. Самый гибкий из авторов, он сообщает гибкость и своему читателю. Мало того, Стерн внезапно меняет роли и тут же превращается в читателя, не переставая быть автором; его книга подобна

спектаклю внутри спектакля, театральной публике, сидящей напротив другой театральной публики. Читателю приходится отдаваться на милость или немилость Стерновского настроения – хотя, впрочем, можно ожидать, что оно будет милостивым, всегда будет милостивым. – Странно и поучительно отношение к этой коренной двусмысленности Стерна такого большого писателя, как Дидро: оно тоже было двусмысленным – а как раз это и есть подлинно Стерновский сверх-юмор. Подражал ли он ему в своем «Жаке-фаталисте», восхищался ли им, издевался ли над ним, пародировал ли его? – этого до конца не разобрать, да, возможно, как раз этого и хотел автор. Именно такое сомнение внушает французам *несправедливость* в отношении этого творения их первого мастера (которому не приходится краснеть перед лицом любого древнего и нового). Именно юмор – и в особенности это юмористическое отношение к самому юмору – французы воспринимают слишком серьезно. – Надо ли добавлять, что среди всех великих писателей Стерн – наихудший образец и истинно неподражаемый автор и что даже Дидро пришлось поплатиться за свою отважную попытку подражания? То, чего хотели и что умели хорошие французы, а до них – некоторые греки как прозаики, прямо противоположно тому, чего хотел и что умел Стерн: как именно мастерское исключение он возвышается над тем, чего требовали от себя все художники в литературе: дисциплины, законченности, характера, неизменного плана, обозримости, простоты, сдержанности в походке и выражении лица. – Увы, человек Стерн, кажется, был только родственником писателя Стерна: его беличья душа скакала с ветки на ветку с необузданной возбужденностью; ему было знакомо все, что лежит между возвышенным и подлым; он сиживал на всяком месте, всегда с бесстыжими водянистыми глазами и сентиментальным выраженьем лица. Он обладал, если язык не устрашится такого словосочетания, жестоким добродушием и в усладах затейливого, даже испорченного воображения отличался чуть ли не слабоумной грацией невинности. Такой плотской и душевной двусмысленности, такого свободомыслия, доходящего вплоть до всех жилок и мускулов тела, как у него, не было, наверное, ни у одного другого человека.

114

Отборная реальность. – Как хороший прозаик употребляет только те слова, что входят в обиходный язык, но далеко не все входящие в него слова, – именно благодаря этому и возникает отборный стиль, – так и хороший поэт будущего станет изображать только *реальное*, целиком откинув все фантастические, полные суеверий, наполовину достоверные, ослабшие сюжеты, на которых прежние поэты пытали свои силы. Только реальность, но далеко не всякая реальность! А лишь отборная реальность!

115

Подвиды искусства. – Наряду с подлинными видами искусства – искусством великого покоя и искусством великого движения – есть еще его подвиды: ищущее покоя, чванное искусство и искусство возбужденное; оба хотят, чтобы их слабость принимали за силу, а их самих – за виды подлинного искусства.

116

Нынешняя нехватка красок для героического. – Истинные поэты и художники современности любят писать свои картины на фоне, переливающемся красной, зеленой, серой и золотой красками – на фоне *возбужденно-нервозной чувственности*: уж в ней-то дети века сего знают толк. И в этом есть отрицательная сторона – конечно, если глядеть на их картины *не* глазами века сего, – ведь так и кажется, что в величайших из изображенных ими образов присутствует нечто мелькающее, подрагивающее, мельтешащее: вот и не веришь, что эти герои способны на героические деяния, – в лучшем случае они способны на героизирующие, хвастливые злодеяния.

117

Перегруженный стиль. – Перегруженный стиль в искусстве – результат оскудения организующей силы при расточительном изобилии средств и замыслов. – В первоначальной стадии искусства иногда можно обнаружить прямую противоположность этому.

118

Pulchrum est paucorum hominum[1]. – Историческая наука и опыт говорят нам, что все многозначительно-чудовищное, таинственно возбуждающее фантазию и уносящее ее за пределы реального и будничного, *старше* и растет изобильнее, чем прекрасное в искусстве и преклонение перед ним, – и что оно снова распускается в преизбытке, как только помрачается чувство прекрасного. Видимо, для подавляющего большинства оно представляет собою более сильную потребность, чем прекрасное: и, вероятно, оттого, что оказывает более сильное наркотическое воздействие.

119

Истоки удовольствия от произведений искусства. – Если задуматься о самых первых зародышах художественного вкуса и задаться вопросом о том, какие различные виды наслаждения порождали первенцы искусства, к примеру, у первобытных народов, то первым делом обнаруживается наслаждение от *понимания* того, что *имеет в виду* другой; искусство тут – своего рода предложение загадок, которое дает отгадывающему насладиться своей быстрой сообразительностью и проницательностью. – Затем, рассматривая самое примитивное произведение искусства, вспомним о том, что́ человеку *было* приятно при его восприятии, а потому вызывало у него наслаждение, – к примеру, когда художник

1 Понимать прекрасное дано немногим (*лат.*) – *Гораций.* Сатиры, I 9, 44.

указывал на охоту, победу, свадьбу. – С другой стороны, изображенное вызывает чувства возбуждения, растроганности, воодушевления – скажем, если воспевается мщение и опасность. Тогда наслаждение заключается в самом возбуждении, в победе над скукой. – Нам может доставлять большое наслаждение, которое мы в таком случае относим на счет искусства, и воспоминание о неприятности, оставшейся позади, или если она как тема произведения искусства представляет нас самих слушателям интересными (например, когда певец описывает злоключения отважного морехода). – Более тонкий вид наслаждения – уже та радость, что возникает при виде всего правильного и симметричного в линиях, моментах, ритмах; ведь благодаря известному подобию пробуждается чувство всего упорядоченного и правильного в жизни, а только ему одному мы и обязаны хорошим самочувствием: в культе симметрии человек, стало быть, бессознательно почитает правило и равномерность как источник всего полученного в жизни счастья; это наслаждение – своего рода благодарственная молитва. Лишь при известном пресыщении этим последним видом наслаждения возникает еще более тонкое чувство того, что радость может доставлять и нарушение симметрии и упорядоченности; это бывает, к примеру, когда соблазняет поиск разумного в том, что кажется абсурдом, – тогда, как форма эстетического разгадывания загадок, возникает какой-то более высокий вид упомянутого вначале наслаждения от искусства. – Тот, кто продолжит эти размышления, поймет, от *какого типа гипотез*, призванных объяснить эстетические явления, здесь совершен радикальный отказ.

120

Не вплотную. – Хорошим мыслям вредит, если они следуют друг за другом слишком скоро; тогда они заслоняют друг другу перспективу. – Поэтому величайшие художники и писатели так обильно пользовались посредственным.

121

Грубость и слабость. – Художники всех эпох обнаруживали, что в *грубости* заключается какая-то сила и что не всякий может быть грубым, даже если этого хочет; и точно так же на чувство сильно воздействуют некоторые формы *слабости.* Отсюда возникло немало суррогатных эстетических приемов, полностью удержаться от которых бывает трудно даже самым великим и добросовестным художникам.

122

Хорошая память. – Иной человек только потому не становится мыслителем, что его память слишком хороша.

123

Возбуждение голода вместо утоления. – Великие художники мнят, будто целиком и полностью захватывают и удовлетворяют своим искусством душу: а на самом деле, и сплошь да рядом, к их горестному разочарованию, эта самая душа благодаря их трудам становится тем более широкой и неудовлетворенной, так что десяток самых больших художников могут броситься в ее глубины, но так и не насытить ее.

124

Чего боятся художники. – Страх перед тем, что в *жизненность* их персонажей не поверят, может соблазнить художников с пониженным вкусом на создание таких типов, которые ведут себя как *бешеные:* так же как, с другой стороны, греческие художники начального периода в искусстве, движимые тем же самым страхом, даже умирающих и тяжелораненых изображали с тою улыбкой, что казалась им живейшим признаком жизни, – не заботясь о том, какие черты придает природа людям с еле теплящейся жизнью, уже почти расставшимся с нею.

125

Круг должен замкнуться. – Тот, кто следует путями какой-нибудь философии или вида искусства до самого их конца, да еще и обдумывает этот конец, на основании своего внутреннего опыта понимает, почему последующие мастера и наставники отвращались от них к какому-то новому пути, и нередко с пренебрежительным выраженьем лица. Ведь круг обязан замкнуться, – но отдельные люди, пусть даже самые великие, прочно сидят на своей точке окружности с неумолимою миной упорства, словно этот круг замкнуться не имеет права.

126

Старое искусство и современная душа. – Каждое искусство становится все более пригодным для выражения душевных состояний – более взволнованных, более нежных, более решительных, более страстных, – а потому более поздние художники, избалованные этими выразительными средствами, ощущают некоторое неудобство, имея дело с творениями искусства прежних эпох, словно древним не хватало как раз только средств ясного выражения своей души, а может быть, даже некоторых технических предпосылок; и они полагают, что обязаны тут помочь делу, – потому что верят в подобие, даже тождество душ. В действительности же души самих этих старых мастеров еще были какими-то другими, может быть, и *более великими*, но более холодными и еще питавшими отвращение ко всему возбуждающе-оживленному: мера, симметрия, пренебрежение ко всеми милому и прелестному, бессознательная терпкость и утренняя свежесть, уклонение от страсти, словно искусству суждено от нее погибнуть, – все это составляет образ мыслей и нравственность всех старых мастеров, отбиравших свои выразительные средства и одухотворявших их в рамках этой же нравственности не случайным, а необходимым образом. – Но можно ли, понимая все это, отказывать всем более поздним художникам в праве одушевлять древние творения на лад своей собственной души? Нет, ведь те способны про-

должать свою жизнь лишь потому, что мы наделяем их своей душою: только *наша* кровь и подталкивает их к тому, чтобы заговаривать с *нами*. Их истинно «историческое» прочтение обращалось бы к призракам на языке призраков. – Воздать честь великим художникам прошлого можно, не столько проявляя ту неплодотворную робость, которая старается точно воспроизвести каждое слово, каждую ноту так, как они были написаны, сколько делая энергичные попытки помогать им все снова возвращаться к жизни. – И то сказать: представим себе, что Бетховен вдруг явился среди нас и слушает одно из своих произведений, исполняемое в манере новейшей проникновенности и нервной утонченности, прославившей наших мастеров интерпретации, – вероятно, он долго стоял бы, не зная, что сказать и поднять ли руку для проклятья или для благословения, но наконец, возможно, произнес бы: «Да-а, ну и дела... Это ни мое, ни не мое, а что-то третье, – по мне, так есть в этом и кое-что верное, хотя это не *то верное*. Но смотрите сами, как с этим быть, ведь слушать в любом случае вам, – а правы-то живые, как говорит наш Шиллер. Ну так и *будьте* себе правыми, а мне позвольте ретироваться».

127

Против порицающих краткость. – Краткословие может быть плодом и урожаем обильного долгомыслия; но читатель, если он новичок на этой ниве и еще совсем не размышлял тут, видит во всяком краткословии что-то подобное эмбриону – не без укоризненного жеста в сторону автора: а зачем тот ставит ему на пиршественный стол еще и что-то недоросшее, незрелое?

128

Против близоруких. – Уж не думаете ли вы, что если вам все дают (и должны давать) по кусочкам, так, значит, и никакого целого нет?

129

Читатели сентенций. – Самые плохие читатели сентенций – друзья их автора, в том случае, если они ревностно стараются из всеобщего догадкою вывести особенное, которому сентенция обязана своим возникновением: ведь таким разнюхиваньем они сводят на нет все усилия автора; вот они и получают в награду – и по заслугам – не философское настроение и поучение, а в лучшем или худшем случае не больше, чем удовлетворение вульгарного любопытства.

130

Читательская невоспитанность. – Двойная невоспитанность читателя в отношении автора заключается в том, чтобы вторую его книгу хвалить (или наоборот) за счет первой, да еще и ждать от него за это благодарности.

131

Захватывающие моменты в истории искусства. – Изучая историю какого-нибудь искусства, к примеру, историю греческого красноречия, и переходя от одного мастера к другому, при виде этой неуклонно усиливающейся рассудительности и при необходимости выслушать старые законы и самоограничения ораторов вкупе с вновь появившимися, в конце концов оказываешься в мучительно-напряженном состоянии: понимаешь, что лук *должен* сломаться и что так называемая неорганическая композиция, занавешенная и замаскированная самыми удивительными средствами выражения – в данном случае затейливый азианский стиль, – некогда была необходимостью и чуть ли не *благодеянием.*

132

К великанам искусства. – Из-за той страстной увлеченности каким-нибудь предметом, которую ты, великан, вносишь в

мир, *уродуется* разум множества людей. И знать об этом тебе горестно. Но с гордостью и наслаждением носит свой горб увлеченный тобою человек: посему утешься тем, что благодаря тебе счастья в мире *стало больше.*

133

Эстетически бессовестные. – Истинные фанатики той или иной партии в искусстве – это те совершенно нехудожественные натуры, которым недоступны даже элементарные основы искусствознания и ремесленной стороны искусства, но которых сильнейшим образом захватывают все *элементарные* воздействия искусства. Для них не существует эстетической совести – а потому нет ничего, что могло бы удержать их от фанатизма.

134

Как в современной музыке должна двигаться душа. – Эстетическую задачу, которую современная музыка пытается решить в том, что нынче очень внушительно, но туманно называют «бесконечной мелодией», можно уяснить себе, если входить в море, постепенно теряя дно под ногами и наконец предавшись на волю волнующейся стихии: тут уж нужно *плыть.* Во всей прежней, старой музыке, нужно было *плясать,* грациозно, торжественно или страстно двигаясь в более быстром или более медленном ритме, причем нужное для этого мерило – соблюдение определенных уравновешивающих темповых и динамических соотношений – вынуждало душу слушателя к постоянной *рассудительности:* и очарование той музыки зиждилось на контрасте этого прохладного сквознячка, которым тянуло от такой рассудительности, и согревающего дыхания, исходившего от восхищения музыкой. – Рихард Вагнер выбрал иной род *движения души,* который, как уже сказано, родствен плаванию и парению. Это, вероятно, важнейшая из всех его новаций. Его знаменитое художественное средство, возникшее от такого выбора и ему соответствующее – «бесконечная мелодия»,

– стремится нарушать всякую темповую и динамическую соразмерность, порою даже поиздеваться над нею, и он неистощим в изобретении таких эффектов, которые на слух прежних времен звучали бы как ритмический абсурд и кощунство. Он страшится застывания, кристаллизации, превращения музыки в архитектуру – и вот сталкивает двухтактный ритм с трехтактным, нередко вводя пяти- и семитакты, сразу повторяет фразу, но в увеличении, растягивая ее во времени в два или в три раза. Некритическое подражание такому искусству может поставить музыку в очень опасное положение: одичание, упадок ритмики всегда ждали своего часа в тайнике рядом с чрезмерно развитым чувством ритма. Эта опасность станет особенно большой, если такая музыка будет все теснее смыкаться с не воспитанным и не пронизанным более высокой выразительностью сценическим искусством и языком жестов, лишенным всякой меры, да и не способным сообщить никакой меры льнущей к нему стихии – *слишком женской* сущности музыки.

135

Поэт и действительность. – Муза поэта, не *влюбленного* в действительность, и сама не будет действительностью – она родит ему детей с пустыми глазами и уж слишком худосочных.

136

Средства и цель. – Цель в искусстве не оправдывает средства: но оправданные средства могут здесь оправдать цель.

137

Самые скверные из читателей. – Самые скверные из читателей – те, которые ведут себя, как мародерствующие солдаты: они отбирают себе то, что им нужно, мажут грязью и переворачивают вверх дном оставшееся, а потом еще сквернословят по поводу всего вместе.

138

Признаки хорошего писателя. – Всем хорошим писателям присущи два качества: они предпочитают, чтобы их понимали, а не дивились на них; и они не пишут для читателей колких и слишком острых.

139

Смешанные жанры. – Смешанные жанры в искусствах – свидетельства недоверия, какое их творцы испытывали в отношении своих сил; они искали вспомогательных сил, заступников, укрытий; таковы поэты, которые призывают на помощь философию, композиторы – драму, мыслители – риторику.

140

Помалкивать. – Автор должен держать язык за зубами, когда открывает рот его творение.

141

Знак различия. – Все поэты и писатели, влюбленные в превосходную степень, хотят большего, чем могут.

142

Холодные книги. – Хороший мыслитель рассчитывает на читателей, способных разделить чувством счастье, заключенное в хорошем мышлении: при таком условии книга, которая выглядит холодно и трезво, если глядеть на нее под нужным углом, играет в солнечном блеске светлого умственного веселья и может оказаться истинной отрадою души.

143

Уловка неуклюжих. – Неуклюжий мыслитель обычно выбирает в наперсницы болтливость или напыщенность: с помощью первой он думает придать себе подвижность и легкую поступь, с помощью второй создает видимость, будто его натура есть проявление свободной воли, художественного замысла, – чтобы не терять достоинства, требующего медлительности движений.

144

О барочном стиле. – Если мыслитель и писатель не чувствует себя рожденным или воспитанным для диалектики и четкой артикуляции идей, он непроизвольно хватается за *риторику* и *драматические приемы*: ведь в конечном счете речь для него идет о том, чтобы сделать себя *понятным* и посредством этого обрести власть, все равно как – то ли ведя к себе чувство гладкою тропой, словно пастух, то ли внезапно нападая, словно разбойник. Это относится как к изобразительным, так и к мусическим искусствам, где ощущение нехватки диалектики или слабости выразительных и повествовательных возможностей вместе с избыточным, напирающим инстинктом формообразования извлекают на свет божий тот род стиля, который называют *барочным стилем.* – Впрочем, это слово сразу вызывает пренебрежительное чувство только у людей мало осведомленных и высокомерных. Барочный стиль возникает всякий раз в пору упадка всякого большого искусства, когда непомерно возрастают требования к классическим выразительным средствам искусства, это – естественное событие, и смотреть на него надо, конечно, с печалью – ведь оно предшествует ночи, но одновременно восхищаясь свойственными ему выразительными и повествовательными возможностями. Сюда относится уже хотя бы выбор сюжетов и тем высшей драматической напряженности, которые заставляют биться сердце и без искусства, ведь чувству поразительно близки небеса и преисподняя; затем – красноречие сильных аффектов и жестов, возвышенно-ужасного, больших масс, во-

обще количества как такового, как все это возвещает о себе уже у Микеланджело, отца или деда итальянских художников барокко: сумрачные, просветленные или пламенные блики на таких крепко сбитых формах; помимо этого, беспрерывные новации в сфере средств и целей, новаций, которые энергично акцентируются художниками для художников, тогда как профану приходится воображать, будто он видит перед собою беспрестанное непроизвольное излияние всех рогов изобилия какого-то исконного, естественного искусства: все эти качества, которыми славится барочный стиль, невозможны, непозволительны в более ранние, предклассическую и классическую эпохи каждого вида искусства – такого рода изысканные лакомства долго висят на дереве запретными плодами. – Как раз в наши дни, когда *музыка* вступает в эту последнюю эпоху, можно ознакомиться с феноменом барочного стиля в его сугубой пышности и путем сравнения узнать отсюда многое о прежних эпохах: ведь начиная с времен греков барочный стиль появлялся уже не раз, в поэзии, красноречии, прозе, скульптуре, а также в известном смысле и в архитектуре, – и всякий раз этот стиль, хотя ему не хватает высшего благородства, благородства невинного, бессознательного, победоносного совершенства, доставлял удовольствие и многим из числа лучших и серьезнейших людей своей эпохи: потому-то, еще раз будь сказано, было бы высокомерием без околичностей судить о нем пренебрежительно, каким бы счастливым ни считал себя всякий, чей вкус благодаря ему не оказался невосприимчивым к стилю более чистому и значительному.

145

Ценность честных книг. – Честные книги внушают читателю честность – по меньшей мере тем, что вызывают на себя его ненависть и отвращение, которые в противном случае хитрое благоразумие предпочло бы припрятать. Можно ведь ополчиться против книги, изо всех сил удерживаясь от этого в отношении человека.

146

Каким образом искусство создает партию. – Отдельные красоты, общий волнующий ход действия, увлекательные и потрясающие настроения финала – столь *многое* в художественном произведении будет еще доступно и большей части профанов: и в эпоху искусства, когда большую массу профанов стараются *перетянуть* на сторону художников, то есть создать партию, возможно, чтобы сохранить искусство, натурам творческим лучше всего будет *большего* и не давать – они не должны разбрасывать свои силы на поприще, где никто не скажет им спасибо. Выходить *за* эти пределы – подражать природе, *органически* допускающей формообразование и рост, – означало бы в данном случае бросать семена на камни.

147

Как величие достигается в ущерб истории. – Каждый более поздний мастер, вовлекающий вкус ценителей искусства в *свою* орбиту, невольно становится причиной отбора и переоценки прежних мастеров и их творений: то, что в них созвучно и близко *ему*, то, что в них предвосхищает и предвозвещает *его*, считается отныне по-настоящему *значительным* в них и в их творениях – плод, в котором обычно скрывается червь великого *заблуждения*.

148

Как искусство ловит на крючок эпоху. – Стоит только с помощью всех ухищрений художников и мыслителей обучить людей испытывать почтение к своим изъянам, к своей умственной нищете, к своим бессмысленным иллюзиям и страстям – а это можно сделать, – стоит только показывать им лишь возвышенную сторону преступления и безумия, сентиментальное и душещипательное – в состоянии слабости всех безвольных и слепо преданных, а довольно часто бывало и такое, – и вот уже применен способ внушить даже эпохе, совершенно чуждой искусству и философии, горячечную

любовь к философии и искусству (а особенно – к художникам и мыслителям как личностям), а при скверных обстоятельствах это, может быть, и единственный способ сохранить существование столь нежных и уязвимых созданий.

149

Критика и радость. – Критика, односторонняя и несправедливая, равно как и разумная, доставляет критикующему так много удовольствия, что каждому делу, каждому поступку, вызывающему много критики со стороны множества людей, мир обязан благодарностью: ведь за критикой тянется блистательный шлейф из радости, остроумия, восхищения собой, гордости, нравоучения, желания исправить. – Бог радости сотворил плохое и посредственное по той же самой причине, что и хорошее.

150

Прыгнуть выше головы. – Когда художник хочет быть больше чем художником, к примеру, набатом нравственности для своего народа, то в конце концов, себе в наказание, влюбляется в чудовище из морали – и Муза смеется над ним: ведь из ревности эта вообще-то очень добродушная богиня может и осерчать. Вспомним о Мильтоне и Клопштоке.

151

Стеклянный глаз. – Направленность таланта на *моральные* темы, личности, мотивы, на прекрасную душу произведения искусства – это порой всего лишь стеклянный глаз, который вставляет себе художник, *лишенный* прекрасной души: результат оказывается весьма странным – этот глаз в конце концов становится-таки живою природой, хотя и глядящей как-то криво, но и обычным такой результат оказывается тоже – все думают, будто видят перед собою природу, а не холодное стекло.

152

Писательство и воля к победе. – Писательство, очевидно, всегда свидетельствует о победе, а точнее, о преодолении *себя*, которое нужно сообщить другим для их пользы; есть, правда, авторы-диспептики, пишущие как раз только потому, что не могут чего-то переварить или даже потому, что оно уже навязло у них в зубах: своим раздражением они непроизвольно пытаются вызвать досаду и у читателя, а, значит, подчинить его себе; это говорит о том, что и они хотят побеждать – но только других.

153

«Хорошая книга спешки не любит». – У любой хорошей книги терпкий вкус, когда она выходит в свет: на ней лежит грех новизны. К тому же книге вредит ее живой автор, если он известен и о нем говорят: ведь все обычно путают автора с его произведением, аромату, сладости и золотому блеску которого предстоит проявиться лишь спустя годы – от заботливого попечения со стороны нарастающего, потом старого и наконец традиционного почитания. Не один час должен пролететь над книгой, не один паук – соткать на ней свою паутину. Хорошие читатели делают книгу все лучше, а хорошие противники дают ей отстояться, словно вину.

154

Необузданность как художественный прием. – Художники хорошо понимают, что значит использовать необузданность как художественный прием, чтобы создать впечатление богатства. Это входит в число невинных хитростей для соблазнения душ, хитростей, в которых должны знать толк художники: ведь в их мире, ориентированном на видимость, и приемы создания видимости тоже не обязательно должны быть настоящими.

155

Спрятанная шарманка. – Гении лучше, чем таланты, разбираются в том, как прятать шарманку, поскольку располагают более пышной драпировкой: но, в сущности, и они могут только переигрывать заново все те же свои старые семь пьес.

156

Имя на титульном листе. – Если имя автора напечатано на книге, то это, конечно, нынче обычай и чуть ли не долг, но это и главная причина того, что книги так мало воздействуют на умы. Ведь коли они хороши, то они более ценны, нежели личности, будучи квинтэссенциями последних; но как только автор дает о себе знать через титульный лист, эта квинтэссенция снова разбавляется со стороны читателя стихией личного, даже слишком личного, а, значит, книга не достигает своей цели. Честолюбие интеллекта проявляется в том, чтобы казаться уже неличным.

157

Самая острая критика. – Острее всего та критика человека или книги, которая показывает их идеал.

158

Недостаток и отсутствие любви. – Всякая хорошая книга написана для определенного читателя и его характера и как раз поэтому не пользуется расположением всех остальных читателей, подавляющего их большинства: вот почему у ее доброго имени узкая опора, и для укрепления ему нужно много времени. Книга посредственная и плохая такова именно потому, что хочет нравиться многим – и нравится им.

159

Музыка и болезнь. – Опасность новой музыки заключается в том, что она подносит к нашим губам чашу блаженства и великолепия с такой настойчивостью и с видимостью нравственного экстаза, что даже люди умеренные и благородные всегда отпивают из нее на несколько капель больше, чем следовало бы. Такое минимальное излишество, повторяясь постоянно, в конце концов может, однако, привести к более глубокому потрясению и подрыву духовного здоровья, чем какой-нибудь грубый эксцесс: поэтому не остается ничего другого, как только в один прекрасный день бежать из этого грота нимф, через морские волны и опасности держа путь к дыму Итаки и объятьям более простой и человечной супруги.

160

Выгода для противников. – Книга, полная ума, сообщает его и своим противникам.

161

Юность и критика. – Критиковать книгу – для юношей это значит всего лишь не подпускать к себе ни одной ее продуктивной мысли, защищаясь руками и ногами. Юноши живут в состоянии самообороны от всего нового, чего они не могут полюбить целиком и полностью, и при этом всякий раз, как только у них есть такая возможность, совершают ненужное преступление.

162

Эффект количества. – Величайший парадокс в истории поэтического искусства заключается в том, что во всем составлявшем славу древних поэтов иной поэт может быть варваром, то есть полным изъянов и кривым с головы до

пят, и все-таки остается величайшим поэтом. Ведь так дело и обстоит с Шекспиром, который в сравнении с Софоклом подобен руднику, ломящемуся от золота, свинца и гальки, тогда как тот – не просто золото, а золото благороднейших очертаний, почти заставляющих забыть о его ценности как металла. Но количество в своих высших проявлениях *действует* как качество – и это идет Шекспиру на пользу.

163

Всякое начало опасно. – У поэтов есть выбор: либо поднимать чувство со ступени на ступень и, наконец, вознести его очень высоко – либо попытать счастья в атаке и сразу же со всею силой потянуть за веревку колокола. В том и другом есть свои опасности: в первом случае слушатели, возможно, сбегут от него от скуки, во втором – от ужаса.

164

В пользу критиков. – Насекомые кусаются – не из злобы, а потому, что тоже хотят жить: то же и наши критики; им нужна наша кровь, а не боль.

165

Успех сентенций. – Люди неопытные всегда думают, будто если какая-то сентенция сразу понятна им благодаря простоте своей истины, то, значит, она старая и известная, и при этом косятся на их авторов, словно те хотят похитить общее достояние: зато они восхищаются соленым полуправдам, давая знать об этом автору. А уж тот умеет оценить такой намек и без труда угадывает, где у него все вышло хорошо, а где плохо.

166

Жажда победы. – Если художник во всем, что бы он ни делал, работает сверх своих сил, то в конце концов увлечет за собою толпу зрелищем тяжкой борьбы: ведь успех не всегда приносит сама победа – подчас его дает уже одна только жажда победы.

167

Sibi scribere[1]. – Автор благоразумный пишет не для иных каких потомков, а для своих собственных, иными словами, для своей старости, чтобы получать от себя удовольствие даже в этом возрасте.

168

Похвала сентенции. – Хорошая сентенция – для зубов времени материал слишком твердый, не дающийся и тысячелетиям, хотя служит питанием всем эпохам: поэтому она – великий парадокс в литературе, непреходящее среди перемен, всегда высоко ценимая пища, словно соль, и, подобно ей, никогда не приедается.

169

Второсортная потребность в искусстве. – У народа, конечно, есть нечто такое, что можно назвать потребностью в искусстве, но удовлетворять ее следует скупо и дешево. В сущности, для этого достаточно упадка искусства: необходимо честно в этом себе признаться. Надо подумать, к примеру, хотя бы только о том, в каких мелодиях и песнях находят нынче свою великую отраду наиболее энергичные, неиспорченные, чистые душой слои нашего населения, надо пожить среди пастухов, горцев-крестьян, крестьян вообще,

---

1 Писать для себя (*лат.*). См. прим.

охотников, солдат, моряков, – и дать себе ответ. А разве самую плохую музыку, какую вообще производят в наши дни, любят, даже лелеют, не в глубокой провинции, и именно в домах, где угнездилась старинная бюргерская добродетель? Кто в применении к народу, *как он есть*, говорит о глубокой потребности, о неудовлетворенной жажде искусства, тот мелет вздор или врет. Давайте будем честными! – *Высокая* потребность в искусстве есть сейчас лишь у *людей, составляющих исключение*, – ведь искусство в целом снова идет на спад, а человеческие способности и надежды на некоторый срок вложены в другие вещи. – Помимо этого, и притом вне народа, в высоких и высших слоях общества, существует еще, правда, некоторая более широкая и емкая потребность в искусстве, но она *второсортна*: тут намечается что-то вроде эстетического сообщества, принимающего ее всерьез. Но присмотримся к составляющим его элементам! Это в общем утонченного склада неудовлетворенные люди, не находящие в себе подлинной радости: образованные, которые стали свободными недостаточно для того, чтобы отречься от утешений религии, но находят ее елей не слишком благоуханным; наполовину облагородившиеся, которые слишком слабы, чтобы перечеркнуть главный изъян своей жизни или губительные склонности своего характера, совершив героический поворот к лучшему либо отказ; высоко одаренные, ощущающие себя слишком благородными, чтобы приносить пользу скромной деятельностью, и слишком вялые для большой и самоотверженной работы; девушки, которые не умеют найти для себя удовлетворительный круг обязанностей; женщины, которые связали себя легкомысленным или неестественным браком, но не чувствуют себя достаточно связанными им; ученые, врачи, купцы, служащие, которые преждевременно отдались конкретному делу, так и не дав в себе ходу полноте своих способностей, но зато с занозою в душе все-таки добросовестно выполняющие свою работу; и, наконец, все неполноценные художники – все они *сейчас* испытывают все еще подлинную потребность в искусстве! А чего они так страстно хотят от искусства? Оно должно на несколько часов или мгновений отогнать от них недовольство и скуку, наполовину нечистую совесть и насколько можно придать основ-

ному пороку их жизни и характера величественный смысл порочности мировых судеб – совсем не так, как греки, видевшие в своем искусстве излияние и бьющую через край полноту собственного благополучия и здоровья и любившие *еще раз* увидеть свое совершенство вне себя: их вело к искусству наслаждение собою, а наших современников приводит к нему недовольство собой.

170

Немцы в театре. – Первостепенным театральным талантом у немцев был Коцебу; он составлял одно нерасторжимое целое со своими немцами – немцами и из высшего общества, и из среднего сословия, и современники имели полное право всерьез говорить о нем: «Мы им живем, им дышим и без него жить не можем». Тут не было ничего навязанного, усвоенного, всунутого в рот и в глотку: все, чего он хотел и что он делал, зрители понимали – мало того, и до сего дня *честный* театральный успех на немецких сценах принадлежит стыдливым или бесстыжим наследникам приемов и эффектов Коцебу, и притом в той степени, в какой комедия еще кое-как процветает; отсюда следует, что многое от тогдашнего немецкого духа все еще продолжает жить, главным образом вне больших городов. Добродушные, не знающие удержу в мелких удовольствиях, легко проливающие слезы, рассчитывающие хотя бы в театре избавиться от врожденной трезвости, основанной на строжайшем чувстве долга, и проявить там улыбчивую, даже смеющуюся терпимость, смешивающие и сплавляющие воедино доброту и сострадание – а это и есть самая суть немецкой сентиментальности, – чувствующие себя на седьмом небе от счастья при виде прекрасного, великодушного поступка, а в остальном пресмыкающиеся перед властью, завидующие друг другу, но в глубине души довольствующиеся собой – вот такими они были, таким был он. – Вторым театральным талантом был Шиллер: он открыл класс слушателей, которых до той поры в расчет не брали; он обнаружил их среди представителей незрелого возраста – среди немецких девушек и юношей. Своей драматургией он пошел навстречу

их более высоким, более благородным, более бурным, хотя и более смутным порывам, их наслаждению звоном нравственных слов (обыкновенно пропадающему после тридцати) и в силу пылкости и пристрастности, присущих этому возрасту, добился успеха, постепенно к его выгоде распространившегося и на более зрелые возрасты: Шиллер в целом *омолодил* немцев. – Гёте во всех отношениях стоял над немцами, стоит над ними и до сей поры: он никогда к ним не принадлежал. Да и мог ли целый народ дорасти до гётевской *духовности* в ощущении *внутреннего благополучия и благожелательности*! Как Бетховен творил музыку над головами немцев, как Шопенгауэр философствовал над их головами, так же и Гёте сочинял своего «Тассо», свою «Ифигению» над головами немцев. За ним следовал *очень узкий* круг высокообразованных людей, воспитанных древностью, жизнью и путешествиями, переросших немецкий характер: да он и сам не хотел, чтобы было иначе. – Когда затем романтики учредили свой сознательный культ Гёте, когда их изумительная ловкость в запихивании в глотку перешла потом к ученикам Гегеля, подлинным воспитателям немцев этого столетия, когда пробуждающееся национальное честолюбие сыграло на руку и к славе немецких поэтов, а истинный показатель того, может ли народ *честно любоваться* чем-то, неумолимо подчинился суждению отдельных людей и названному национальному честолюбию – иными словами, когда люди ощутили *обязанность* любоваться, – тогда и появилась на свет та лживость и поддельность немецкого образования, которая устыдилась Коцебу, которая вывела на сцену Софокла, Кальдерона и даже продолжение гётевского «Фауста» и которая из-за своего обложенного языка, своего испорченного желудка в конце концов уже не знает, что ей по вкусу, а что вызывает скуку. – Блаженны те, у кого есть вкус, хотя бы даже и плохой вкус! – А благодаря уже одному этому свойству можно стать не только блаженным, но и мудрым: поэтому греки, знавшие толк в подобных вещах, называли мудреца словом, которое означает *человека со вкусом*, а мудрость, как художественную, так и познавательную, именовали просто «вкусом» (sophia).

171

Музыка как поздний плод всякой культуры. – Из всех искусств, имеющих обыкновение всякий раз вырастать на определенной культурной почве, при определенных социальных и политических условиях, музыка является на свет *последним* из всех растений, в осеннюю пору, в пору увядания относящейся к ней культуры: в это время обычно уже становятся заметными первые предвестия и признаки новой весны; мало того, иногда музыка звучит в удивленном и новом мире, как язык исчезнувшей эпохи, доходя до нее с запозданием. Душа христианского средневековья зазвучала в полную силу лишь в искусстве нидерландских композиторов: их музыка-зодчество – посмертно рожденная, но настоящая и полноправная сестра готики. Лишь в музыке Генделя отозвалась лучшая часть духа Лютера и родственных ему душ, великая иудейско-героическая тенденция, создавшая все реформаторское движение. Лишь Моцарт вернул эпохе Людовика Четырнадцатого, искусству Расина и Клода Лоррена сдачу *звучащим* золотом. Лишь в музыке Бетховена и Россини допелось до конца восемнадцатое столетие, столетие горячечного мечтательства, разбитых идеалов и мимолетной удачи. Поэтому иной любитель чувствительных сравнений сказал бы, что всякая по-настоящему значительная музыка – это лебединая песнь. – Музыка – вовсе *не* всеобщий, вневременный язык, как часто утверждали к ее чести; нет, она точно соответствует мере чувства, теплоты и времени, которую в качестве внутреннего закона несет в себе совершенно определенная, отдельная, ограниченная в пространстве и времени культура: музыка Палестрины была бы абсолютно недоступна грекам, а Палестрина, в свой черед, ничего не услышал бы в музыке Россини. – Вполне вероятно, что за короткий срок станет непонятной и наша новейшая немецкая музыка, хоть она и властвует, и властолюбива: ведь возникла-то она из недр культуры, обреченной на скорое исчезновение; ее почва – тот период реакции и реставрации, когда, разливая над Европой смешанный аромат, расцвета достигли как известный *католицизм чувства*, так и наслаждение всем, что связано *с почвеннически-национальным характером и исконной сущностью*: оба направ-

ления чувства, воспринятые в их максимальной интенсивности и доведенные до самых последних границ, в конце концов зазвучали в искусстве Вагнера. Приверженность Вагнера стародавним отечественным сказаниям, его облагораживающее самовластие среди их столь чуждых богов и героев – каковые на самом деле суть никому не подвластные хищники с приступами глубокомыслия, великодушия и пресыщенности жизнью, – наделение новой жизнью этих фигур, которым он придал еще одно качество, христианско-средневековую жажду экстатической чувственности и бесчувствия, все вагнеровское творчество в области сюжетов, душ, действующих лиц и слов ясно выражают и *дух его музыки*, если та, как и всякая музыка, не может говорить о себе совершенно недвусмысленно: этот дух предводительствует *самым последним* походом войны и реакции против духа просвещения, которым веяло из прошлого столетия на нынешнее, равно как и против наднациональных идей французской революционной горячки и англо-американской трезвости в перестройке государства и общества. – Но разве не очевидно, что круги мыслей и ощущений, здесь – у Вагнера и его поклонников – кажущиеся еще оттесненными, уже давно снова обрели могущество и что этот запоздалый музыкальный протест против них направлен, как правило, в уши тем, кто предпочитает иные, противоположные звучания? И что в один прекрасный день это чудесное и высокое искусство внезапно может сделаться совершенно непонятным и обрасти паутиной и забвением? – Относительно такого положения дел нельзя давать сбивать себя с толку тем мимолетным колебаниям, которые предстают как реакция внутри реакции, как временное падение гребня волны посреди всеобщего волнения; и нынешнее десятилетие национальных войн, ультрамонтанного мученичества, страхов по поводу социализма может, в качестве одного из своих утонченных последствий, облечь внезапной славой и названное искусство – отнюдь не гарантируя этим, что «будущее за ним» или даже что у него вообще есть *какое-нибудь будущее*. – Неотъемлемая черта музыки – то, что плоды ее великих урожайных сезонов культуры рано становятся несъедобными и портятся быстрее, чем плоды изобразительного искусства, не говоря уж о тех,

что выросли на древе познания: среди всех произведений человеческого художественного чутья именно *мысли* – произведения наиболее долговечные и стойкие.

172

Поэты – уже не учители. – Как ни странно это прозвучит в наше время, но жили на свете поэты и художники, чьи души были выше страстей, их судорог и экстазов, а потому наслаждались более опрятными сюжетами, более достойными людьми, более тонкими завязками и развязками. Если нынешние великие художники по большей части – люди, расковывающие волю, и подчас именно поэтому освободители жизни, те были укротителями воли, они преображали животное, творили человека и вообще придавали жизни форму, пересоздавали ее, вели ее все выше: нынешние же славятся тем, что распрягают, снимают путы, разбивают вдребезги. – Греки самой древней поры требовали от художника, чтобы он был учителем взрослых: а разве не пришлось бы теперешнему поэту устыдиться, если бы этого потребовали от него, который не был хорошим учителем для себя и потому не сделал из себя хорошую поэму, прекрасный образ, а в лучшем случае стал робкой, привлекательной кучей развалин храма, но в то же время логовищем страстей, поросшим цветами, терновником, ядовитыми травами, обитаемым и посещаемым змеями, червями, пауками и птицами, – предметом для печальных раздумий о том, почему сегодня все самое благородное и ценное обречено сразу вырастать в виде руины, без прошлой и будущей цельности? –

173

При взгляде вперед и назад. – Искусство, каким оно *излучается* от Гомера, Софокла, Феокрита, Кальдерона, Расина, Гёте, как *сверхполнота* мудрого и гармоничного образа жизни, вот верное мерило, которым мы в конце концов научаемся пользоваться, сами став мудрее и гармоничнее, – в отличие

от того варварского, хотя пока столь восхитительного извержения всего горячечного и беспорядочного из необузданного, хаотического состояния души, прежде, в юношеском возрасте, принимавшегося нами за искусство. И все же само собой понятно, что искусство, несущее в себе экстравагантность, возбужденность, протест против всего упорядоченного, однообразного, простого, логичного, – это в определенном возрасте необходимая потребность, которую художники *обязаны* удовлетворять, чтобы психика в этом возрасте не находила себе разрядку на ином пути – во всякого рода бесчинстве и безобразии. Поэтому в таком искусстве восхитительного беспорядка нуждаются юноши, какими они обыкновенно бывают, – полные сил и внутреннего брожения, для которых нет *горшей* муки, чем скука, – нуждаются женщины, лишенные хорошей, дающей пищу для души работы: тем больше их терзает жгучая тоска по удовлетворенности без перемен, по счастью без дурмана и хмеля.

174

Против искусства произведений искусства. – Искусство должно прежде всего и в первую очередь делать жизнь *более красивой*, а, значит, делать *нас* самих сносными, а лучше приятными для других: выполняя эту задачу, оно смягчает нас, держит в узде, создает формы общения, обуздывает невоспитанных законом приличия, опрятности, учтивости, умения говорить и молчать в нужное время. Кроме того, искусство должно *прикрывать* или *перетолковывать* все безобразное, то мучительное, отпугивающее, отвратительное, что, несмотря на все усилия, все снова прорывается наружу в силу особенностей человеческой природы: оно должно это делать главным образом в виду страстей, душевных терзаний и страхов, позволяя *значительному* проглядывать сквозь неизбежно или непреодолимо отвратительное. В сравнении с этой великой, даже величайшей задачей искусства так называемое «собственно» искусство, *представленное произведениями искусства*, – всего лишь *придаток*: человек, ощущающий в себе избыток таких облагораживающих, прикрывающих и перетолковывающих способностей, в конце концов

попытается найти разрядку для этого избытка и в произведениях искусства; то же, при особых условиях, делают и целые народы. – Но в наши дни искусство обычно начинает с конца, оно хватает себя за хвост и думает, будто искусство произведений искусства и есть нечто настоящее, а на его основе жизнь должна улучшиться и преобразиться. А мы-то, глупцы! Если мы начинаем трапезу с десерта, жадно поглощая одну сладость за другой, то разве удивительно, что мы портим себе желудок и даже аппетит для хорошей, укрепляющей, питательной трапезы, к которой нас приглашает искусство!

175

Дальнейшее существование искусства. – За счет чего, в сущности, искусство произведений искусства продолжает нынче свое существование? За счет того, что большинство тех, у кого есть досуг – а ведь такое искусство существует только для них, – не знают, что делать со своим временем без музыки, посещения театров и галерей, без чтения романов и стихов. А если, предположим, *не давать* им удовлетворять эту потребность, то либо они перестали бы так жадно стремиться к досугу, и богачи *куда реже* вызывали бы зависть своим видом – большой плюс для общественной стабильности; либо у них был бы досуг, но они стали бы учиться *размышлять* – в той мере, в какой можно научиться и разучиться, – к примеру, о своей работе, о своих связях, об удовольствиях, которые они могут доставить; все люди, за исключением художников, в обоих случаях от этого не прогадали бы. – Есть, конечно, иные полные сил и мыслящие читатели, которые смогли бы выдвинуть тут сильное возражение. Ну а читателям неповоротливым и злонамеренным надо уж все-таки сказать, что здесь, да и довольно часто в этой книге вообще, автору важны как раз возраженья, и что надо читать в книге много такого, чего в ней как раз и не написано.

176

Рупор богов. – Поэты высказывают общие мнения высшего порядка, имеющие хождение в народе; они – его рупоры и флейты, но высказывают они их, в силу применения метра и всех других художественных приемов, так, что народ воспринимает их как нечто совершенно новое и дивное, и вполне серьезно думает о поэтах, будто те – рупоры богов. Мало того, в пылу творчества и сами поэты забывают, откуда почерпнули всю свою духовную премудрость, – от отца и матери, от учителей и из книг всякого рода, на улице, а особенно от священников; собственное искусство вводит их в заблуждение, и они, в минуты душевной простоты, действительно мнят, будто их устами вещает *какой-то бог*, будто они творят в состоянии религиозного озарения: а на самом-то деле они говорят лишь то, чему научились, народную мудрость и народную глупость вперемешку. Итак: в той мере, в какой поэт и впрямь *являет собою* vox populi[1], его *считают* vox dei[2].

177

Чего хочет и не может всякое искусство. – Самая трудная и высшая задача художника – изображение неизменного, самодовлеющего, высокого, простого, абсолютно равнодушного к конкретным прелестям; поэтому те художники, что послабее, избегают высочайших образов нравственного совершенства прямо-таки как нехудожественных тем и дискредитируют их, ведь один только вид этих плодов совершенно невыносим для их честолюбия: они видят их блеск из самых нижних веток искусства, но у них нет приставной лестницы, мужества и хватки, чтобы рискнуть забираться так высоко. Какой-нибудь новый Фидий *как поэт* сам по себе вполне возможен, но, принимая во внимание силы наших дней, чуть ли не только в том смысле слова, в каком говорят, что для Бога нет ничего невозможного. Ведь уже одно желание быть каким-нибудь Клодом Лорреном в поэзии вы-

---

1 глас народа (*лат.*).

2 гласом Божьим (*лат.*).

глядит нынче нескромностью, как бы сильно сердце этого ни жаждало. – До сих пор ни одному художнику не было по силам изобразить высшего человека, *то есть наиболее простого и в то же время наиболее цельного*; может быть, из всех живших доселе людей только грекам, *создавшим идеал Афины*, довелось бросить на него самый глубокий взгляд.

178

Искусство и реставрация. – Попятные движения в истории, так называемые периоды реставрации, пытающиеся дать новую жизнь духовному и социальному состоянию, *непосредственно предшествовавшему* только что пройденному, которым, кажется, и впрямь удается на короткий срок воскресить мертвых, обладают прелестью трогательного воспоминания, страстной тоски по почти уже утраченному, торопливого прижимания к груди минутного счастья. В силу этой странной концентрации настроения искусство и поэзия находят для себя естественную почву как раз в таких ускользающих, почти баснословных временах – так самые деликатные и редкостные цветы растут на самых крутых горных склонах. – Итак, иногда бывают хорошие художники, которых незаметно тянет к реставраторскому образу мыслей в политической и общественной сфере, – для него они на свой страх и риск готовят у себя тихие уголки и садики: там они собирают вокруг себя человеческие реликты родной для них исторической эпохи и играют на своих струнах исключительно для мертвых, полумертвых и смертельно уставших – возможно, с упомянутым результатом краткосрочного воскрешения мертвых.

179

Счастье эпохи. – Нашу эпоху следует провозгласить счастливой в двух отношениях. В отношении *прошлого* мы вкушаем все культуры и их плоды, впускаем в себя благороднейшую кровь всех эпох, мы еще находимся достаточно близко от сил, из недр которых они родились, чтобы на время под-

чиниться им с наслаждением и ужасом: а прежние культуры были в состоянии наслаждаться лишь самими собою и не выглядывали за свои края – они, напротив, были как бы накрыты колпаком большего или меньшего размера: он, правда, излучал на них свет, но был совершенно непроницаем для взглядов вовне. В отношении *будущего* перед нами впервые в истории раскрываются необозримые перспективы человечески-экуменических, охватывающих всю населенную Землю целей. В то же время мы чувствуем, что способны без высокомерия и сами справиться с этой новой задачей, не нуждаясь в сверхъестественной поддержке; пусть наше предприятие окончится чем угодно, пусть мы переоценили свои силы – в любом случае нет никого, кому мы были бы обязаны отчетом, кроме нас самих: отныне человечество может уверенно делать с собою все, что захочет. – Правда, существуют особого сорта люди-пчелы, знающие толк в том, как всегда высасывать из цветочных чашечек всех вещей только самое горькое и неприятное на вкус; но ведь во всех вещах и впрямь содержится и кое-что отнюдь не медовое. Пусть такие люди на свой лад чувствуют изображенное здесь счастье нашей эпохи, летая над нею, и продолжают работу над своим ульем недовольства.

180

Видение. – Уроки и часы самостоятельных занятий для взрослых, созревших и полностью зрелых, на которые ходит каждый, ежедневно, без принуждения, а просто повинуясь заповеди обычая; церкви как самые достойные и насыщенные памятью места для этого; словно бы каждодневные торжественные празднования достигнутого и достижимого достоинства человеческого разума; какие-то более новые и полные расцвет и отцветание идеала учителя, идеала, в котором слились воедино духовник, художник и врач, знаток и мудрец, так же как их отдельные достоинства должны проявиться в качестве общего достоинства и в самом учении, в его преподавании, в его методике, – вот какое видение встает у меня перед глазами все снова и снова, и я твердо уверен в том, что оно подняло краешек покрывала с будущего.

181

Воспитание как искривление. – Неимоверная ненадежность всего учебного дела, в силу которой у каждого взрослого в наши дни остается чувство, что его единственным воспитателем был случай, – и если педагогические методы и цели подобны флюгеру, то это объясняется тем, что самые древние и самые новые силы культуры хотят нынче быть больше услышанными, чем понятыми, словно в первобытном народном собрании, и своим голосом, своими воплями любой ценою доказать, что они *еще существуют* либо что они *уже существуют.* Такой бессмысленный шум сначала оглушает бедных учителей и воспитателей, потом заставляет их говорить тише и, наконец, совсем умолкнуть, терпеливо снося всё, как, в свой черед, сейчас они заставляют терпеливо сносить всё своих воспитанников. Они и сами не воспитаны – так как же им воспитывать других? Они и сами совсем не похожи на прямые, мощные, полные соков стволы: поэтому тот, кто захочет к ним прислониться, будет непременно гнуться и искривляться, а напоследок окажется искривленным и скрюченным.

182

Философы и художники эпохи. – Распутность и хладнокровие, пожар страстей, охлаждение сердца – такую отвратительную мешанину можно обнаружить в картине современного высшего общества Европы. Тут художникам кажется, что они уже сделают много, если *рядом* с пожаром страстей своим искусством заставят пылать и пожар сердца: таков же удел и философов, если, нося в своей груди холодное сердце, то же, что и у эпохи, они своими мироотрицающими выводами охлаждают жар страстей в себе и в этом самом обществе.

183

Не быть солдатом культуры без необходимости. – Наконец, наконец-то мы учимся понимать то, незнание чего приносит

человеку так много неприятностей в юные годы: что сначала надо *делать* что-то прекрасное, а уж потом *допытываться*, что такое прекрасное, где бы и под какими именами оно ни встречалось; что нужно без колебаний избегать всего скверного и посредственного, *не борясь с ним*, и что одно только сомнение в добротности дела – а оно при тренированном вкусе возникает скоро – может служить для нас аргументом против него и поводом совершенно от него уклоняться, – рискуя при этом иной раз и ошибиться, спутать трудно различимую добротность со скверным и несовершенным. Кто не может ничего лучшего, должен наброситься на все скверны мира, как солдат культуры. Но если он захочет взяться за оружие и тревогами, ночными бдениями и зловещими сновидениями обратить мир своей профессии и дома в тревожное безмирие, то пропадет его способность кормить и учить.

184

Как следует излагать естественную историю. – Естественную историю как историю войны и победы нравственно-умственной силы в походе против страхов, фантазий, косности, суеверий, глупости следовало бы излагать так, чтобы каждый слушатель неудержимо стремился к умственному и телесному здоровью и цветению, к радостному чувству, что он наследник и продолжатель человеческого начала в человеке, и к потребности совершать все более благородные дела. Она еще не обрела своего верного языка, ведь созидающие язык и красноречивые люди искусства – а здесь-то они и нужны – не избавились от закоренелого недоверия к ней и прежде всего не желают основательно учиться у нее. Правда, надо признать за англичанами, что в своих учебниках естествознания для низших слоев населения они сделали достойный восхищения шаг в направлении указанного идеала: но ведь в этом участвуют и их самые отборные ученые – натуры цельные, полные и наполняющие, – а не посредственные исследователи, как у нас.

185

Гениальность человечества. – Если гениальность, согласно замечанию Шопенгауэра, заключается в связном и живом воспоминании о пережитом собственном опыте, то, вероятно, в стремлении к познанию всей прошедшей истории – которое все резче отделяет новое время от всех предшествующих эпох и впервые снесло древние стены, стоявшие между природой и духом, человеком и животным, моралью и физикой – можно распознать стремление к гениальности человечества в целом. История, продуманная до конца, была бы космическим самосознанием.

186

Культ культуры. – Великим умам присущи отталкивающие слишком человеческие свойства, проявляющиеся в их характере, их слепых пятнах, их неверных оценках, их необузданных страстях – они даны им для того, чтобы мало-помалу, путем недоверия, которое вызывают эти качества, ограничивать их мощное, легко становящееся слишком мощным воздействие. Ведь система всего того, в чем человечество нуждается для своего дальнейшего существования, столь всеобъемлюща и требует столь многообразных и многочисленных сил, что за всякое *одностороннее* предпочтение, будь то предпочтение науки, государства, искусства или торговли, к которому его толкают эти личности, человечеству как целому приходится платить слишком большую пеню. Величайшим проклятьем культуры всегда было преклонение перед людьми: в таком смысле можно даже почувствовать что-то верное в изречении Моисеева закона, которое запрещает поклоняться другим богам, кроме Бога. – Культу гениев и властной силы в качестве дополнения и лекарства всегда нужно приводить на помощь культ культуры, который способен даровать разумное достоинство и грубому, невзрачному, низменному, непризнанному, слабому, несовершенному, однобокому, половинчатому, неверному, мнимому, даже злому и ужасающему, и согласиться с тем, *что все это необходимо*; ведь гармония и мелодия всего челове-

ческого, достигнутые удивительными трудами и счастливыми случаями – работа циклопов и муравьев в не меньшей степени, чем гениев, – не должны быть утрачены: и разве можем мы тут обойтись без общего, глубокого, часто жуткого басового голоса, без которого никакая мелодия не может быть мелодией?

187

Древний мир и радость. – Люди древнего мира умели *радоваться* лучше: а мы – мы умеем *меньше печалиться*; первые, вооружившись всеми своими богатыми запасами проницательности и мысли, постоянно изыскивали новые причины, чтобы чувствовать себя хорошо и отмечать праздники: мы же тратим весь свой ум на решение задач, нацеленных скорее на безбольное существование, на устранение источников неудовольствия. Древние старались забыть моменты страдания в своей жизни или как-то повернуть чувство в сторону приятного: стало быть, они искали в этом паллиативной помощи, в то время как мы беремся за причины страданий и в целом предпочитаем действовать профилактически. – Может быть, мы лишь закладываем фундамент, на котором грядущие поколения вновь отстроят храм радости.

188

Музы как лгуньи. – «Мы знаем толк в том, как говорить много лжи» – так некогда пели Музы, когда предстали перед Гесиодом. Посмотрев однажды на художников как на обманщиков, можно прийти к важным открытиям.

189

Насколько парадоксальным может быть Гомер. – Есть ли на свете что-нибудь более отважное, жуткое, невероятное, что, подобно зимнему солнцу, бросает свои лучи на человеческую судьбу, чем мысль, которую можно найти у Гомера:

Боги назначили эту судьбу им и выпряли *гибель*
Людям, чтоб *песнями стали они и для дальних потомков.*

Значит, мы страдаем и гибнем, чтобы у поэтов не было недостатка в *сюжетах*, – и устраивают это именно так боги Гомера, которым, казалось бы, было важно увеселение грядущих поколений, но совсем не было дела до нас, нынешних. – И как только подобные мысли могли прийти в голову греку!

190

Оправдание существования постфактум. – Иные мысли пришли в мир как заблуждения и вымыслы, но стали истинами, потому что задним числом люди снабдили их реальным субстратом.

191

Необходимость про и контра. – Кто не понял, что всякого великого человека следует не только поощрять, но и *бороться* с ним – ради общего благополучия, тот, конечно, все еще большой ребенок – или сам великий человек.

192

Несправедливость гения. – Наиболее несправедливо гений относится к другим гениям, если они – его современники: во-первых, он думает, что ему они не нужны, а потому рассматривает их как ненужных вообще, ведь без них он есть то, что он есть; во-вторых, их влияние уничтожает эффективность *его* электрического тока: по этой причине он считает их прямо-таки *пагубными.*

193

Самая злая судьба пророка. – Он двадцать лет работал над тем, чтобы обратить в свою веру современников, – и наконец

это ему удалось; но меж тем это же удалось и его противникам: потому что веру в себя он успел потерять.

194

Три мыслителя, подобных пауку. – В любой философской секте три мыслителя сменяют друг друга в такой последовательности: первый выделяет из себя соки и семя, второй вытягивает их в нити и плетет хитроумную сеть, третий подкарауливает с этой сетью жертв, которые в ней запутываются, и хочет жить за счет философии.

195

Кое-что об общении с авторами. – Схватить автора за нос – столь же скверный способ общаться с ним, как и схватить его за рога, – ведь у каждого автора есть свои рога.

196

Два коня в упряжке. – Неясное мышление и горячечное фантазерство чувства столь же часто бывают связаны с беззастенчивым стремлением любыми способами пробиться в жизни наверх, считаться только с собой, как искреннее желание помочь, доброжелательство и благосклонность – с инстинктивным влечением к ясности и опрятности мышления, к умеренности и сдержанности чувства.

197

Связующее и разделяющее. – Разве не в уме заключено то, что связует людей, – взаимопонимание по поводу общей пользы и общего вреда, а в душе – то, что их разделяет, – слепой выбор и нашаривание в любви и ненависти, предпочтение одного за счет всех и возникающее отсюда презрение к всеобщей пользе?

198

Стрелки и мыслители. – Есть на свете курьезные стрелки – хотя они не поражают цель, но покидают стрельбище с тайной гордостью за то, что их пуля все-таки залетела далеко (конечно, за цель) или за то, что они попали пусть и не в цель, так во что-то другое. Есть и точно такие же мыслители.

199

С двух сторон. – Мы проявляем враждебность к духовным направлениям и движениям, если превосходим их или отвергаем их цели, либо если эти цели слишком высоки и неразличимы для наших глаз, то есть если они превосходят нас. Поэтому одну и ту же партию можно атаковать с двух сторон – сверху и снизу; и атакующие, руководимые общей ненавистью, нередко заключают между собою союз, более отвратительный, нежели все то, что они ненавидят.

200

Оригинальность. – Истинно оригинальные умы отличает не то, что они первыми видят что-то новое, а то, что они *по-новому* видят старое, давным-давно известное, виданное и перевиданное. Первооткрывателем же вообще-то бывает совершенно банальный и неумный выдумщик – случай.

201

Заблуждение философов. – Философы думают, что ценность их философии заключена в ее целом, в системе; потомки видят ее в камне, из которого она построена и из которого отныне можно строить еще не раз и лучше: иными словами, в том, что систему можно разрушить, но она *все равно* будет представлять собою ценность как материал.

202

Острóта. – Острóта – это эпиграмма на смерть чувства.

203

За миг до решения. – В науке то и дело случается, что кто-нибудь останавливается перед решением в полной уверенности, будто вот сейчас все его усилия пошли прахом, – подобно тому, кто, развязывая петлю, медлит в тот миг, когда она вот-вот распустится: ведь как раз тут она больше всего похожа на узел.

204

Побывать в обществе мечтателей. – Рассудительный и уверенный в своем разуме человек может с пользою для себя с десяток лет повращаться в кругу фантастов, предаваясь в этом горячем местечке скромному сумасбродству. Тем самым он проделает добрую часть пути, приводящему в конце концов к умственному космополитизму, который имеет право без высокомерия сказать: «Вот теперь ничто умственное мне не чуждо».

205

Морозный воздух. – Лучшее и наиболее здоровое в науке, как и в горах, – это морозный воздух, веющий в них. – Люди духовно изнеженные (к примеру, художники) боятся науки и бранят ее из-за этого воздуха.

206

Почему ученые благороднее художников. – Наука требует натур *более благородных*, чем поэзия: они должны быть более простыми, менее честолюбивыми, более сдержанными, спо-

койными, меньше жаждать посмертной славы и самозабвенно предаваться вещам, которые в глазах большинства редко предстают достойными подобного жертвоприношения личности. К тому же есть и другой недостаток, который они знают за собой: род их занятий, постоянное требование величайшей трезвости ослабляет их *волю*, огонь поддерживается не таким сильным, как в очаге поэтических натур: а потому они часто теряют свою наибольшую и лучшую силу в более ранние годы жизни, чем те, – и, как уже сказано, *знают* об этой опасности. Во всяком случае, они *покажутся* менее одаренными, поскольку меньше блистают, и будут слыть за меньшее, чем они суть.

207

Насколько пиетет затемняет дело. – Люди последующих столетий дарят великим деятелям прошлого все великие качества и добродетели своего века – и потому все лучшее постоянно *затемняется* пиететом, глядящим на него как на священное изваяние, на которое навешивают всевозможные жертвенные дары, пока, наконец, оно не скрывается под ними полностью, заслоняется ими и впредь выступает больше предметом поклонения, чем лицезрения.

208

Стоя на голове. – Переворачивая истину на голову, мы обыкновенно не замечаем, что наша голова тоже стоит не там, где должна стоять.

209

Происхождение и польза моды. – Явно выраженная удовлетворенность *отдельных людей* своим внешним видом возбуждает подражание и мало-помалу создает внешний вид *многих*, то есть моду: эти многие посредством моды стремятся как раз к той самой благотворной удовлетворенности своей

внешностью и добиваются ее. – Если подумать о том, как много оснований для робости и боязливой стыдливости есть у каждого человека, и о том, что три четверти его энергии и доброй воли могут быть парализованы и стерилизованы этими основаниями, то надо сказать моде большое спасибо, ведь она раскрепощает эти три четверти, сообщает веру в себя и радостное взаимопонимание у людей, ощущающих, что связаны друг с другом ее законами. Свободу и уверенность в себе дают даже глупые законы, если только им подчиняются многие.

210

Что развязывает языки. – Ценность некоторых людей и книг заключается только в одном их свойстве – они могут всякого заставить высказать самое свое тайное и заветное, потому что развязывают языки и разжимают наиболее крепко стиснутые зубы. Той же ценностью и пользой обладают даже иные события и злодеяния, происходящие, казалось бы, лишь на беду человечества.

211

Умы, не связанные местом. – Кто из нас отважился бы назвать себя свободным умом, если бы на свой лад, принимая на свои плечи часть бремени общественного неодобрения и поношения, не хотел выразить свое почтение тем людям, которым это имя присваивают, чтобы *оскорбить* их? Но все же мы, наверное, имеем право всерьез (и без этого высокомерного и великодушного упрямства) называть себя «умами, не связанными местом», поскольку чувствуем тягу к свободе как сильнейший инстинкт своего ума и в противоположность разумам связанным и прочно укорененным видим свой идеал как бы в некоем умственном кочевничестве – пользуясь выражением скромным и чуть ли не пренебрежительным.

212

Такова благосклонность Муз! – То, что говорит об этом Гомер, хватает за душу, настолько оно правдиво и страшно: «Муза его возлюбила, но злом и добром одарила: зренья лишила его, но дала ему сладкие песни». – Для человека мыслящего это текст без конца: она дает зло *и* добро, такова уж *ее* сердечная любовь! И каждый по-своему объяснит себе, почему мы, мыслители и поэты, *должны* пожертвовать своими *глазами.*

213

Против попечения о музыке. – Эстетическое развитие зрения с детских лет посредством занятий рисованием и живописью, ландшафтных, портретных и жанровых набросков несет с собою, помимо всего прочего, неоценимую для жизни выгоду – оно делает глаз *острым, спокойным* и *терпеливым* в наблюдении людей и ситуаций. Подобная побочная выгода не следует за эстетическим попечением о слухе: вот почему народные школы поступят в целом правильно, отдавая предпочтение искусству зрения перед искусством слуха.

214

Открыватели тривиальностей. – Утонченные умы, для которых нет ничего более чуждого, чем тривиальность, нередко, после всяческих блужданий и горных тропинок, натыкаются на какую-нибудь из них и, к изумлению умов не утонченных, этим наслаждаются.

215

Нравственность ученых. – Правильный и быстрый прогресс наук возможен, лишь если каждый ученый *не слишком недоверчив*, чтобы перепроверять любое вычисление и утверж-

дение других в областях, не столь уж ему близких: но тут существует и условие, что в своей собственной области у каждого есть конкуренты, *крайне недоверчивые* и ревностно следящие за ним. Из такого сочетания «не слишком большой недоверчивости» и «крайнего недоверия» в республике ученых рождается порядочность.

216

Причина бесплодия. – Есть на свете умы чрезвычайно одаренные, но неизменно бесплодные только потому, что по слабости своего темперамента они слишком нетерпеливы, чтобы дождаться разрешения от бремени.

217

Извращенный мир слез. – Многочисленные неудобства, которые доставляют человеку требования высшей культуры, в конце концов извращают природу настолько, что он по большей части начинает вести себя скованно и стоически, оставляя слезы разве что для редких наплывов счастья, мало того, настолько, что иные люди плачут, видимо, уже только от наслаждения отсутствием боли: их сердце бьется лишь от счастья.

218

Греки как толмачи. – Рассуждая о греках, мы в то же время поневоле рассуждаем о сегодняшнем и вчерашнем дне истории: их общеизвестная история – это чистое зеркало, которая всегда отражает то, чего нет в самом зеркале. Свободой говорить о них мы пользуемся для того, чтобы иметь возможность промолчать о других, – в надежде, что они сами шепнут что-нибудь на ухо вдумчивому читателю. Поэтому греки облегчают современному человеку разговор о некоторых неудобосказуемых и сомнительных вещах.

219

О приобретенном характере греков. – Знаменитые греческие светозарность, прозрачность, простота и порядок, кристальная естественность и одновременно кристальное искусство их творений без труда соблазняют нас думать, будто все это упало грекам с неба: они, к примеру, не умели писать иначе, чем хорошо, как однажды заметил Лихтенберг. Но нет ничего более опрометчивого и несостоятельного. История прозы от Горгия до Демосфена свидетельствует о труде и борениях выбраться из неясности, перегруженности, безвкусицы к свету, труде и борениях, напоминающих об усилиях героев, прокладывавших первые пути через леса и болота. Трагический диалог из-за своей необычайной прозрачности и определенности в условиях национальной предрасположенности к наслаждению символами и намеками, к тому же еще нарочно закреплявшейся великой хоровой лирикой, – настоящий *подвиг* драматургов: так же как подвигом Гомера было освобождение греков от азиатской помпезности и неопределенности и достижение прозрачности структуры в целом и в частностях. Сказать что-нибудь совершенно правильно и ярко отнюдь не считалось легким делом, иначе трудно объяснить огромное восхищение эпиграммами Симонида, которые выглядят такими непритязательными, без раззолоченных кружев, без арабесок острот, но говорят то, что хотят сказать, ясно, с покоем солнца, а не с погоней за эффектом молнии. Напряженное стремление к свету из словно врожденного сумрака – черта сугубо греческая, вот почему народ ликовал, выслушивая лаконичные сентенции, элегические декламации, изречения семи мудрецов. Поэтому предписания, дававшиеся к стихам, для нас возмутительные, оказались так милы эллинскому уму, будучи для него подлинно аполлоновской задачей – одержать победу над опасностями метра, над темнотою, вообще свойственной поэзии. Простота, гибкость, трезвость были *силой вырваны* для национальной предрасположенности, а не были даны ей изначально – опасность скатиться назад, в азиатчину, постоянно грозила грекам, да и впрямь время от времени нависала над ними, словно темный широкий разлив мистических

ощущений, элементарной дикости и темноты. Мы видим, как они погружались в него, мы видим, как Европу словно смывало, захлестывало – ведь тогда Европа была очень маленькой, – но они всякий раз снова выплывали, эти хорошие пловцы и ныряльщики, этот народ Одиссея.

220

Подлинное язычество. – Для того, кто бросает взгляд на мир греков, нет, может быть, ничего более странного, чем обнаружить, что греки время от времени словно устраивали праздники всем своим страстям и темным естественным склонностям и даже налаживали своего рода государственную организацию празднований своего слишком человеческого начала: это и есть подлинное язычество их мира, которое христианство не понимало и понимать не хотело, а всегда сурово с ним боролось и третировало его. – Они относились к этому слишком человеческому как к чему-то неизбежному и предпочитали не оскорблять его, а наделять, так сказать, второстепенными правами, включая его в обиходную жизнь общества и в культ: мало того, они считали божественным и возводили на высшую ступень все, что обладает в человеке *силой.* Природное влечение, которое выражается в скверных качествах, они не отвергали, а встраивали в целое и ограничивали определенными видами культа и днями, придумав достаточно мер предосторожности, чтобы отвести эти бушующие воды в как можно более безобидное русло. Вот где корень всего нравственного либерализма античности. Злому и опасному, животно-отсталому, так же как варвару, догреческому автохтону и азиату, еще жившим в глубинах греческой души, греки предоставляли возможность умеренной разрядки и не стремились к их полному уничтожению. Государство, построенное в расчете не на отдельных индивидов или на отдельные касты, а на обычные человеческие качества, включало в себя всю систему подобных установлений. Строя его, греки продемонстрировали то изумительное чутье на все типически-фактическое, которое позже позволило им сделаться естествоиспытателями, историками, географами и философа-

ми. При учреждении государства и культа государства решающую роль должен был сыграть не ограниченный – жреческий или кастовый – нравственный закон, а широчайший учет *всего человеческого в его реальности.* – Откуда же взяли греки эту свободу, это чутье на реальность? Может быть, от Гомера и догомеровских поэтов; ведь как раз те поэты, которые обычно обладают характером не самым справедливым и мудрым, проявляют зато это наслаждение *всякого рода* действительным, действующим и не хотят целиком отвергнуть даже зло: им хватает того, чтобы оно не бушевало, губя все подряд, или чтобы не отравляло изнутри, – иными словами, они мыслят примерно так же, как греческие ваятели государства: они-то и были их наставниками и пролагателями путей.

221

Греки-исключения. – Умы глубокие, основательные, серьезные были в Греции исключением: инстинкт народных масс сводился скорее к тому, чтобы переживать серьезность и основательность как своего рода извращение. Заимствовать формы издалека, не созидать, а только придавать прекрасную видимость – это по-гречески: подражать не для практических дел, а для художественного обмана, все снова одерживать верх над навязанной серьезностью, упорядочивать, приукрашивать, выравнивать – все это продолжается от Гомера до софистов третьего и четвертого веков нового летоисчисления, всецело представлявших собою поверхность, напыщенное слово, театральный жест и обращавшихся исключительно к душам изнуренным, падким на видимость, звучание и эффекты. – А теперь отдадим должное величию тех греков-исключений, которые создали *науку*! Кто из них повествует, тот повествует самую героическую историю человеческого ума!

222

Простое – не первое и не последнее по времени. – В историю религиозных представлений привносится много придуман-

ной эволюции и постепенности относительно вещей, на самом деле выросших не друг из друга и не другом вслед за другом, а рядом и по отдельности; простое в особенности все еще слишком серьезно считается старейшим и изначальным. Немало человеческого возникает в результате вычитания и деления, а как раз не удвоения, прибавления, сращивания. – К примеру, все еще верят в постепенную эволюцию *изображения богов* от грубых кусков дерева и камней вплоть до полного человекоподобия: но дело все-таки обстоит как раз так, что в те времена, когда люди мысленно помещали богов в деревья, куски дерева, камни и животных и ощущали их там, они страшились очеловечивать их образы, словно это безбожие. Лишь поэтам, остававшимся в стороне от культа и от чар религиозного *стыда*, приходилось приучать к этому очеловечиванию глубинную фантазию людей, заставлять их соглашаться с ним: но как только снова перевешивали более религиозные настроения и состояния, это освобождающее воздействие поэтов вновь отступало, и переживание священного, как и прежде, оставалось на стороне чудовищного, жуткого, истинно нечеловеческого. Но даже многое из того, что отваживается создавать для себя глубинная фантазия, все-таки еще вызывало бы неприятные ощущения, если бы оказалось переведенным во внешнее, телесное изображение: внутреннее зрение куда более отважно и менее стыдливо, чем внешнее (отсюда возникает известная трудность и отчасти невозможность превращения эпических сюжетов в драматические). Религиозная фантазия в течение долгого времени вообще не *желает* верить в тождество бога с каким-нибудь образом: образ должен дать нумену божества проявиться здесь некоторым таинственным способом, который невозможно выдумать полностью, в качестве действующего, в качестве привязанного к данному месту. Древнейшее изображение бога должно *оберегать и одновременно прятать* бога – возвещать о нем, но не выставлять на обозрение. Ни один грек никогда внутренне не *рассматривал* своего Аполлона как деревянный обелиск, своего Эрота как каменную глыбу; это были символы, которые должны были вызывать прямо-таки страх перед наглядным представлением. Точно так же дело обстоит еще с теми кусками дерева, в которых

самой грубой резьбой обозначались отдельные члены, иногда в чрезмерном количестве: таков лаконский Аполлон о четырех руках и четырех ушах. В неполноте, в намеке или в излишней полноте заключено нечто ужасающе священное, которое, очевидно, *отвергает* всякую мысль о человеческом, человекоподобном. Ступень искусства, на которой творят нечто похожее, отнюдь не является эмбриональной: разве в эпохи, когда люди поклонялись таким образам, они не *могли бы* говорить более ясно, создавать более осмысленные изображения? Тут, напротив, пугает только одно: прямое высказывание. Целла скрывает святое святых, настоящий нумен божества, и прячет его в таинственном полумраке, *но не целиком*; периптерический храм, в свою очередь, скрывает целлу, словно защищает ее от нескромных взглядов ширмой и покрывалом, *но не целиком*: то же относится к образам божеств, одновременно выступающим укрытиями для божеств. – И лишь когда вне культа, в профанном мире состязательности, ликование, относившееся к победителям в борьбе, поднялось так высоко, что поднятые им волны перехлестнулись в озеро религиозных чувств, лишь когда изваяния победителей начали выставляться в храмовых дворах, а благочестивым посетителям храма волей-неволей приходилось приучать свои глаза и души к этому неизбежному зрелищу *человеческой* красоты и превосходящей обычную силы, так что почитание людей и богов в условиях пространственного и душевного соседства отзывались друг в друге эхом, – начала исчезать и робость перед настоящим очеловечиванием божественных образов и открылась великая арена для великой пластики: но еще и тогда действовало ограничение – всюду, где должно быть истовое *поклонение*, сохранялись и осторожно воссоздавались исконно-древние формы и уродливость. Но теперь эллины, *приносившие жертвы и дары*, могли блаженно предаваться своей страсти превращать бога в человека.

223

Куда надо путешествовать. – Прямого самонаблюдения далеко не достаточно, чтобы себя узнать: нам нужна история,

ведь прошлое множеством струй вливается в нас и течет дальше; да и сами-то мы – не более чем то из этого дальнейшего течения, что мы ощущаем в каждый момент. Но изречение Гераклита «нельзя войти в одну реку дважды» справедливо даже здесь, когда мы хотим войти в реку нашей якобы самой сокровенной и личной сущности. – Это мудрость, которая, правда, уже постепенно зачерствела, но тем не менее осталась все такой же крепкой и питательной, какой и была: точно так же, как и та, что, дабы постичь историю, надо отыскивать живые остатки исторических эпох, – что следует *путешествовать*, посещать разные народы, как путешествовал патриарх Геродот, ведь народы – это всего лишь застывшие более древние *ступени культуры*, на которые можно *стать* ногами, а в особенности посещать так называемые дикие и полудикие племена, обитающие там, где человек снял или еще не надел европейское платье. Но существуют и другие, более утонченные искусство и цель путешествий, не всегда заставляющие переезжать с места на место за тысячи миль. Очень вероятно, что три последних тысячелетия во всех своих нюансах и преломлениях культуры еще продолжают жить даже *вблизи нас*: их надо только *открыть*. В некоторых семьях, даже в отдельных людях эти слои все еще во всей чистоте и обозримости лежат друг над другом: в иных же местах сбросы пород распознать труднее. Правда, в отдаленных местностях, в редко посещаемых горных долинах, в более закрытых общинах достопочтенный образец много более древних ощущений мог сохраниться легче, тут его и надо искать – в то время как сделать подобные открытия, к примеру, в Берлине, где человек является на свет выщелоченным и ошпаренным, невозможно. Кто после длительных упражнений в этом искусстве путешествовать превратился в стоглазого Аргуса, тот в конце концов будет всюду сопровождать свою Ио – я хочу сказать, свое *эго* – и вновь открывать для себя авантюру странствий этого становящегося и преображающегося эго в Египте и Греции, в Византии и Риме, во Франции и Германии, во временах кочевников и оседлых народов, в Ренессансе и Реформации, дома и на чужбине, даже в море, в лесу, среди растений и в горах. – Так самопознание становится универсальным познанием в отношении всего про-

шлого: и так же после некоей другой череды созерцаний, на которую здесь можно только намекнуть, определение задач для себя и самовоспитание в умах самых свободных и проницательных может когда-нибудь стать универсальным определением задач в отношении всего будущего человечества.

224

Бальзам и яд. – Сколько ни думай, не исчерпаешь до дна вот какую мысль: христианство есть религия состарившейся античности, а его предпосылка – выродившиеся старые культурные народы; оно могло действовать и действовало на них, как бальзам. В эпохи, когда уши и глаза «полны ила» и потому уже не могут расслышать голоса разума и философии, разглядеть мудрость во плоти, какое бы имя она ни носила – Эпиктета или Эпикура: тут, чтобы толкнуть подобные народы к хоть сколько-нибудь *пристойному* существованию, могут подействовать, может быть, разве только отвесно стоящий крест мученичества да «трубы Страшного Суда». Вспомним о Риме времен Ювенала, об этой ядовитой жабе с глазами Венеры: вот тогда-то и понимаешь, что значит распинаться перед «всем миром», тогда-то и начнешь уважать смиренную христианскую общину и говорить спасибо за то, что она, разросшись, покрыла собою всю греко-римскую почву. Если в те времена большинство людей сразу рождалось с рабской душою, со стариковской чувственностью, то какое блаженство встретить создания, которые были скорее душами, чем телами, и которые, казалось, воплотили в жизнь греческое представление о душах в Аиде: робкие, улепетывающие, тонко стрекочущие, безобидные фигуры, ждущие вакансии на «лучшую жизнь» и потому сделавшиеся такими непритязательными, полными такого молчаливого презрения, такой гордой терпеливости! – Это христианство как вечерний звон *хорошей* античности на треснувших, усталых, но все-таки благозвучных колоколах, – бальзам все еще даже для слуха того, кто в наши дни лишь как историк бродит по тем столетиям: а чем же оно, должно быть, казалось самим людям той эпохи! Зато для юных,

свежих варварских народов христианство было *ядом*; к примеру, внедрить в героические, детские и звериные души древних германцев учение о грехопадении и проклятии значило не что иное, как отравить их; следствием этого должно было стать совершенно чудовищное химическое брожение и разложение, чехарда чувств и суждений, буйное разрастание и формирование всего самого рискованного, а в дальнейшем, стало быть, - серьезное ослабление таких варварских народов. - Правда, надо признать - что у нас осталось бы от греческой культуры без такого ослабления? Что осталось бы от всего культурного прошлого человеческого рода? Ведь *незатронутые* христианством варвары очень основательно умели разбираться со старыми культурами: это, к примеру, с ужасающей ясностью доказали языческие завоеватели романизированной Британии. Христианству против своей воли пришлось помочь в увековечении античного «мира». - Но и тут, опять-таки, еще остается встречный вопрос и возможность встречного расчета: а что, если те или иные из упомянутых свежих племен, скажем, германские, и без этого ослабления названным выше ядом оказались бы в состоянии мало-помалу самостоятельно обрести высшую культуру, какую-то свою собственную, новую? О которой, стало быть, человечество утратило бы и малейшее представление? - Дело тут, как и всюду, обстоит так: неизвестно, говоря на христианский лад, кто кого должен больше благодарить за то, что все случилось так, как оно случилось: Бог черта или черт Бога.

225

Вера дает благословение и проклятье. - Христианин, примерившийся к недозволенным ходам мысли, мог бы, вероятно, однажды спросить себя: а *нужно* ли, в сущности, чтобы на самом деле *существовал* какой-то Бог, да еще и замещающий его агнец отпущения, если одной *веры в бытие* этих существ достаточно, чтобы вызывать те же следствия? А если они все же, положим, существуют, то не являются ли *излишними*? Ведь все благодетельное, утешительное, укрепляющее нравственность, равно как и все омрачающее и удруча-

ющее, что дает человеческой душе христианская религия, исходит от указанной веры, а не от объектов этой веры. Дело здесь обстоит не иначе, чем в известном случае: хотя никаких ведьм на свете не было, но ужасающие последствия веры в ведьм были точно такими же, как если бы ведьмы и впрямь существовали. Во всех делах, в которых христианин ждет прямого вмешательства Бога, но ждет тщетно – ведь никакого Бога нет, – его религия достаточно изобретательна в лазейках и причинах для успокоения: тут эта религия уж точно умна. – Вера, правда, до сей поры не смогла сдвинуть с места ни одной настоящей горы, хотя это и утверждал незнамо кто, – но сумела взгромоздить горы туда, где нет ни одной горы.

226

Регенсбургская трагикомедия. – Там и сям можно с ужасающей ясностью видеть балаганный фарс фортуны – она привязывает канат, ведущий в следующие столетия, к нескольким дням, к одному месту, к внутренним состояниям и настроениям одного ума и хочет, чтобы они, эти столетия, на нем плясали. Так злосчастные судьбы новой истории Германии заложены в днях, когда разыгрался известный Регенсбургский религиозный диспут: казалось, уже обеспечен мирный исход церковных и нравственных проблем, без религиозных войн, контрреформации – а, значит, обеспечено и единство немецкой нации; над бранью теологов какой-то момент победоносно парил глубокий и кроткий дух Контарини – представитель более зрелого итальянского благочестия, на крылах которого отражалась утренняя заря духовной свободы. Но ему противилась костяная голова Лютера, полная подозрений и тайных страхов: поскольку оправдание верой казалось ему *собственной* величайшей находкой и девизом, он не верил тому же тезису, звучащему из уст итальянцев, а ведь они, как известно, обнаружили его куда раньше и в глубокой тишине разнесли по всей Италии. В этом мнимом согласии Лютер видел козни дьявола и как только мог препятствовал мирному соглашению: благодаря этому он серьезно содействовал целям врагов империи. – А теперь,

чтобы еще усилить впечатление жуткой балаганности, дополнительно предположим, что истины или хотя бы только следа истины нет ни за одним из тезисов, о которых спорили тогда в Регенсбурге, – за положением о наследном грехе, о спасении через посредничество, об оправдании верой, и что все они нынче признаны не заслуживающими обсуждения: и все равно из-за них весь мир оказался в огне – из-за мнений, которым не соответствуют никакие вещи и реальности, в то время как относительно чисто филологических вопросов, к примеру, объяснения интерполяций в тексте о тайной вечере, по крайней мере дозволены споры, потому что здесь можно высказать истину. А где ничего нет, там теряет свои права и истина. – В конечном счете остается сказать лишь одно: тогда, правда, забили *родники энергии*, и столь мощно, что без них все мельницы современного мира работали бы не так сильно. И, значит, все дело в первую очередь в силе и только во вторую – в истине, да и то далеко не сразу, – не так ли, дорогие любители современности?

227

Заблуждения Гёте. – Среди великих художников Гёте – великое исключение в том, что он не жил *в ограниченности своих реальных возможностей*, так, будто они должны быть главным и определяющим, безусловным и окончательным в нем самом и для всех остальных. Он думал, что обладает чем-то вдвое более высоким, чем на самом деле, – а во *второй* половине своей жизни, когда он был полностью проникнут этим убеждением, заблуждался, считая, будто представляет собою одного из величайших открывателей и светочей в *науке*. Но так же дело обстояло уже в *первой* половине его жизни: он *ждал* от себя чего-то более высокого, нежели то, чем ему казалось искусство, – и уже в этом заблуждался. Природа хотела сделать из него художника в *изобразительной* сфере – это была тайна, пылавшая и сжигавшая его изнутри и пославшая его в конце концов в Италию, чтобы он как следует отбушевал в этой своей иллюзии, принеся ей все возможные жертвы. Наконец он, человек осмотрительный, которому искренне претило в себе всё образующее иллю-

зии, обнаружил, что морочащий бес алчности подтолкнул его к вере в это призвание и что он обязан избавиться от своего величайшего страстного желания и *распрощаться* с ним. Болезненно режущее и гложущее убеждение в необходимости *распрощаться* полностью выражено в настроениях его Тассо: над ним, «Вертером вдвойне», витает предчувствие чего-то похуже, чем смерть, словно человек говорит себе: «Ну вот и все – прощание позади; как же жить дальше, не сойдя с ума!» – Оба этих главных заблуждения его жизни дали Гёте, если говорить о чисто литературном отношении к поэзии, а мир знал тогда только его, столь непринужденную, но кажущуюся чуть ли не сознательной манеру держаться. Не говоря о времени, когда Шиллер – бедный Шиллер, у которого времени не было и который спешил, – выгнал его из воздержанной робости перед поэзией, из страха перед любой литературной деятельностью и перед литературным ремеслом, Гёте предстает подобным какому-то греку, там и сям навещающему очередную возлюбленную в сомнениях, не богиня ли это, для которой он только не находит верного имени. Во всем его поэтическом творчестве заметна дышащая близость пластики и природы: черты этих парящих перед ним образов – а он, видимо, всегда представляет себе, что идет по следам перевоплощений какой-нибудь богини, – без его воли и ведома стали чертами всех чад его искусства. Без *окольных путей заблуждения* он не стал бы Гёте: иными словами, единственным и по сей день не устаревшим немецким художником слова – именно потому, что он так же мало хотел быть писателем, как и немцем по профессии.

228

Путешественники и их ранги. – Среди путешествующих следует различать пять рангов: путешественники первого, низшего ранга – это те, что ездят и при этом их *видно*: по сути, их возят, но они как бы слепы; следующий ранг – те, что и впрямь сами глядят на мир; третий ранг, увидев, что-то переживает; четвертый принимает пережитое в свою жизнь и несет его с собою дальше; наконец, есть на свете немногочисленные люди высшей силы, которые, пережив и впу-

стив в свою жизнь все увиденное, в итоге непременно должны еще и выпустить его наружу в виде поступков и произведений, как только возвращаются домой. – Подобно этим пяти видам путешественников совершают свое странствование по жизни все люди вообще – низший их ранг как чистые passiva, высший – как действующие и без остатка выпускающие в жизнь уже пережитые внутренние процессы.

229

Поднимаясь все выше. – Человек, который поднимается выше тех, что прежде им восхищались, именно им-то и кажется теперь опустившимся и упавшим: ведь они при любых обстоятельствах мнили, будто доселе были *на одной высоте с* нами (пусть даже и благодаря нам).

230

Мера и середина. – Люди избегают говорить о двух очень важных предметах: мере и середине. Их силы и признаки известны немногим избранным, прошедшим по тропинкам мистерий внутренних переживаний и обращений: эти чтят в них нечто божественное и потому страшатся говорить вслух. Все остальные пропускают разговор о них мимо ушей, думая, будто речь идет о скуке и посредственности: исключение составляют разве что те, которые однажды расслышали дальний отзвук из того царства, но заткнули уши, не желая слушать дальше. А воспоминание об этом злит их и выводит из себя.

231

Гуманность дружбы и учительства. – «Если ты пойдешь на восток, то я двинусь на запад»: такой образ мыслей – высокий признак гуманности в тесном общении людей. Без этого образа мыслей любая дружба, любое ученичество рано или поздно превращается в лицемерие.

232

Глубокие. – Люди, мыслящие глубоко, в общении с другими кажутся себе комедиантами, ведь чтобы в этих случаях их понимали, им всегда приходится прикидываться поверхностными.

233

Презирающим «стадное человечество». – Того, кто глядит на людей как на стадо, убегая от него изо всех сил, это стадо наверняка догонит и забодает.

234

Главное преступление против тщеславия. – Тот, кто в обществе дает другому возможность блеснуть своими знаниями, чувствами, опытом, ставит себя над ним и таким образом, если только тот не воспринимает его как безусловно вышестоящего, совершает покушение на его тщеславие – а ведь он-то как раз думал это тщеславие удовлетворить.

235

Разочарование. – Если долгая жизнь и деятельность, включая речи и письма, оставляет о какой-то личности публичное свидетельство, то общение с нею обыкновенно разочаровывает по двойной причине: во-первых, потому что от краткого времени общения люди ждут слишком многого, а именно всего того, что делают зримым лишь тысячи житейских событий, и, во-вторых, потому что всякий признанный человек не дает себе труда домогаться признания еще и в мелочах. Он слишком равнодушен – а мы слишком нетерпеливы.

236

Два источника доброты. – Обращаться со всеми людьми с одинаковой доброжелательностью и проявлять доброту невзирая на лица – с равным успехом это может быть следствием как глубокого презрения к людям, так и настоящего человеколюбия.

237

Странствующий по горам – самому себе. – Есть верные признаки того, что ты ушел вперед и выше в гору: теперь вокруг тебя стало свободнее, а перспектив – больше, чем прежде, тебя овевает воздух более прохладный, но менее резкий, – ведь ты отучился от глупости путать смягчение с теплотой, – твоя поступь стала энергичнее, тверже, слились воедино мужество и осторожность: по всем этим причинам путь твой станет теперь, наверное, более одиноким и уж во всяком случае более опасным, чем оставленный тобою за спиной, хотя, конечно, и не в такой степени, как думают те, что из чадной долины видят тебя, странник, шагающим по горам.

238

За исключением ближнего. – Моя голова явно плохо держится только на моей собственной шее; ведь, как известно, любой другой лучше знает, что мне делать, а чего не делать: а я, бедняга, ничем не могу помочь только себе самому. Так, может, *все* мы – как бы постаменты, на которые взгромоздили не те головы? – не правда ли, милый мой сосед? – Ах нет, ведь как раз ты – исключение!

239

Осторожность. – Не следует вступать в общение с людьми, которые не робеют перед всем личностным, – или же перед общением следует неумолимо надевать на них наручники общепризнанной дозволенности.

240

Желание казаться тщеславным. – Высказывать в разговоре с незнакомыми и малознакомыми людьми только избранные мысли, говорить о своих громких знакомствах, важных переживаниях и поездках – признак того, что такой человек не страдает гордыней или по меньшей мере что он не хотел бы произвести подобное впечатление. Тщеславие – это маска вежливости, которую носит человек гордый.

241

Хорошая дружба. – Хорошая дружба складывается, когда один сильно уважает другого, и притом больше, чем себя самого, если он его еще и любит, хотя и не так сильно, как себя, и если, наконец, умеет добавить тонкую *окраску* и налет близости – чтобы облегчить общение, но в то же время мудро воздерживается от настоящей и полной близости и смешения *я* и *ты.*

242

Призрачные друзья. – Когда мы сильно изменяемся, наши не изменившиеся друзья становятся призраками нашего собственного прошлого: голоса их доносятся до нас искаженно-нечеткими, будто мы слышим себя самих – только более молодых, более негибких, более незрелых.

243

Одна пара глаз и два взгляда. – Те же самые люди, чей взгляд от природы создает впечатление заискивающего, из-за частых унижений и мстительных побуждений, которые они испытывают, обычно смотрят наглым взглядом.

244

Голубая даль. – «Большой ребенок» – это звучит весьма трогательно, но так можно судить только издалека; а если разглядеть и почувствовать человека вблизи, то это всегда означает «большой глупец».

245

Равное непонимание выгод и невыгод. – Смущенное молчание умного человека человек неумный обычно толкует как молчаливое превосходство и очень сильно пугается: а ведь смущенный вид должен вызывать благожелательные чувства.

246

Мудрец, выдающий себя за дурака. – Человеколюбие мудрого иногда толкает его на то, чтобы *выставить себя* возбужденным, разгневанным или обрадованным, чтобы не обидеть окружающих холодностью и разумностью своей *подлинной* сути.

247

Вынуждать себя к любезности. – Как только мы замечаем, что в обращении и разговорах с нами кому-то приходится *принуждать* себя к любезности, нам становится окончательно ясно: этот человек нас не любит или успел разлюбить.

248

Путь к одной христианской добродетели. – Учиться у своих врагов – лучший способ их полюбить: ведь тогда мы начинаем питать к ним благодарность.

249

Военная хитрость фамильярных. – Фамильярные люди дают сдачу на нашу монету условности чистым золотом, желая задним числом принудить нас смотреть на условности как на ошибку, а на них – как на исключения.

250

Причина для отвращения. – Мы начинаем испытывать антипатию к иному художнику или писателю не потому, что наконец замечаем, что он нас обманул, а потому, что он не счел необходимыми более тонкие способы поймать нас в свои сети.

251

Разлучаясь. – Родство и единодушие одной души с другой я вижу не в том, как она с ней сближается, а в том, как от нее отдаляется.

252

Silentium[1]. – О своих друзьях говорить не надо: иначе чувство дружбы уйдет через разговоры.

253

Неучтивость. – Неучтивость часто бывает признаком неловкой скромности, которая теряет голову от какой-нибудь неожиданности и пытается скрыть это грубостью.

---

1 Молчание (*лат.*).

254

Встречный расчет на честность. – Когда мы о чем-то до поры умалчивали, первыми узнают о нем подчас именно наши самые недавние знакомые: при этом мы глупейшим образом думаем, будто проявление доверия с нашей стороны – крепчайшие оковы, которыми мы можем их сдержать, – но они-то знают о нас недостаточно, чтобы полностью оценить жертву, какую мы принесли своей откровенностью, и выдают наши тайны другим, не думая о предательстве, а мы, бывает, теряем из-за этого своих давних знакомых.

255

В приемной расположенности. – Все люди, которых долго заставляют ждать в приемной своей расположенности, начинают бродить или скисают.

256

Совет презираемым. – Если кто-то явно погрузился в пучины людского презрения, то в общении должен крепко держаться зубами за стыд: иначе он покажет другим, что упал и в собственном мнении. Цинизм в общении – признак того, что наедине с собою человек смотрит на себя как на собак..

257

Порой облагораживает и неведение. – В смысле уважения тех, кто оказывает уважение, предпочтительнее намеренно *не* понимать некоторых вещей. Неведение тоже дает преимущества.

258

Противники грации. – Люди нетерпимые и высокомерные не любят грацию, воспринимая ее как зримый укор себе; ведь грация – это терпимость сердца в движении и жесте.

259

При встрече. – Когда старые друзья встречаются после долгой разлуки, часто бывает так, что они показывают себя заинтересованными вещами, к которым уже совершенно утратили всякий интерес: иногда оба это и замечают, но не отваживаются снять покрывало – из какого-то печального сомнения. Так рождаются разговоры словно в царстве мертвых.

260

Выбирать трудолюбивых друзей. – Праздные люди опасны для своих друзей: ведь, не будучи достаточно занятыми, они обсуждают, чем заняты и чем не заняты их друзья, наконец вмешиваются в их дела и становятся обременительными. Поэтому умно поступит тот, кто будет вступать в дружбу только с трудолюбивыми.

261

Одно оружие вдвое сильнее, чем два. – Неравная битва завязывается, когда один отстаивает свое дело умом и душой, а другой – одним лишь умом: первый словно сражается с солнцем и ветром, и оба его оружия мешают друг другу; он теряет в цене – в глазах *истины*. Зато, правда, победа второго, одержанная с помощью его единственного оружия, редко приходится по сердцу всем *другим* зрителям и вызывает у них антипатию.

262

Глубина и муть. – Публика с легкостью путает того, кто ловит рыбу в мутной воде, с тем, кто черпает из глубины.

263

Показывать свое тщеславие друзьям и врагам. – Один из тщеславия терзает даже своих друзей, если рядом свидетели, которым он хочет продемонстрировать свое превосходство, – а другой преувеличивает значение своих врагов, чтобы с гордостью указать на то, что таких врагов достоин.

264

Охлаждение. – Нагревание сердца бывает обычно связано с болезнью ума и мышления. Кому на какое-то время становится важным здоровье последнего, тому следует знать о том, чтó он должен охладить – не заботясь о будущем сердца! Ведь если уж человек вообще способен к нагреванию, он непременно снова нагреется и обретет свое лето.

265

О смешении чувств. – Женщины и эгоистичные художники испытывают к науке антипатию, составленную из зависти и сентиментальности.

266

В наибольшей опасности. – Покуда человек с трудом бредет по жизни вверх, он редко ломает себе ноги, но опасность растет для него, когда он начинает облегчать себе жизнь, выбирая более удобные пути.

267

Не слишком рано. – Нужно следить за тем, чтобы не стать острым слишком рано, – ведь в этом случае становишься заодно и слишком тонким.

268

Когда можно радоваться упрямству. – Хорошим воспитателям случается гордиться тем, что их воспитанники остаются верными себе *им вопреки*: это бывает, когда юноша не смеет понять мужчину или смог бы понять его только себе в ущерб.

269

Попытка быть честным. – Юноши, которые хотят стать более честными, чем были, ищут себе в жертву какого-нибудь общепризнанно честного человека и первым делом на эту жертву нападают, пытаясь бранью дотянуться до его высот, – а про себя лелеют мысль, что эта первая попытка, конечно же, не опасна: ведь не может же тот наказать за наглость человека честного.

270

Вечное дитя. – Мы думаем, будто сказка и игра принадлежат к миру детства: но как же мы наивны! Разве мы можем жить без сказки и игры хоть в каком-нибудь возрасте? Мы, правда, называем и ощущаем их иначе, но как раз это-то и свидетельствует о том, что оно – то же самое: ведь и ребенок ощущает игру как свою работу, а сказку – как свою правду. Краткость жизни должна бы предостеречь нас от педантичного различения возрастов, словно каждый из них несет с собою что-то новое, а какой-нибудь поэт – показать нам человека двухсот лет от роду, который и впрямь живет без сказки и игры.

271

Всякая философия есть философия своего возраста. – Возраст жизни, в котором философ сформулировал свое учение, сказывается на этом последнем, и он не может тут ничего поделать, сколь бы поднявшимся над своей эпохой и момен-

том он себя ни чувствовал. Так философия Шопенгауэра остается зеркальным отражением горячей и меланхоличной *юности* – этот образ мыслей не для людей более зрелого возраста; так философия Платона ассоциируется с возрастом между тридцатью и сорока, когда обыкновенно горячее и холодное течения с силой сталкиваются друг с другом, вызывая к жизни водяную пыль и легкие облачка пара, а при благоприятных условиях и солнечных лучах – очаровательную радугу.

272

О женском уме. – Умственные способности женщин лучше всего проявляются в том, что из любви к мужчине и его уму они приносят в жертву свой собственный ум, но несмотря на это, у них *тотчас* вырастает *второй ум* – в той изначально чуждой им области, в которую их влечет умственный склад мужчины.

273

Возвышение и унижение в сфере пола. – Буря страстей иногда увлекает мужчину на высоту, где смолкает всякая страсть: туда, где он действительно *любит* и живет скорее более сильным бытием, чем более сильным желанием. А хорошая женщина, в свой черед, нередко, испытывая настоящую любовь, нисходит к страсти и тем *унижает* себя в своих глазах. Главным образом последнее относится к числу наиболее трогательных вещей, которые может вызвать представление об удачном браке.

274

Женщина исполняет, мужчина обещает. – Женщиной природа показывает, с чем она уже управилась к этому моменту, работая над образом человека; мужчиной она показывает, чтó ей при этом надо еще преодолеть, но еще и все остальное, чтó

она *задумала* сделать с человеком. – Совершенная женщина каждой эпохи – праздность творца в каждый седьмой день культуры, отдых художника в работе над произведением.

275

Пересадка. – Если человек употребляет свой ум, чтобы стать хозяином над безудержностью аффектов, то тут возможен и досадный исход: безудержность переносится на ум и впредь бесчинствует в мышлении и жажде познания.

276

Смех как предательство. – Как и когда смеется женщина, – это говорит о ее образовании: но в звучании смеха ее природа обнажается, а у очень образованных женщин обнажаются, возможно, даже последние не разрушенные остатки ее природы. – Поэтому испытатель человеческой природы скажет, подобно Горацию, но по другой причине: ridete puellae[1].

277

Кое-что о юношеской душе. – В отношении одного и того же человека юноши проявляют то преданность, то заносчивость: ведь, по сути дела, они чтут и презирают в другом только себя, и им приходится колебаться между двумя этими чувствами в отношении себя самих, покуда они на опыте не найдут верную меру желаемого и возможного.

278

Об исправлении мира. – Если бы некогда предотвратили размножение недовольных, брюзжащих и ворчащих, то жизнь на земле, как по волшебству, теперь уже стала бы райским

---

1 Смейтесь, девушки! (*лат.*). См. прим.

садом. – Это положение входит в учебник практической философии для женского пола.

279

Отринуть недоверие к чувству. – Женственное выражение, гласящее, что следует отринуть недоверие к своему чувству, означает не многим большее, чем максима: надо есть то, что нравится. Оно может быть также хорошим житейским правилом, особенно для натур умеренных. Но другие натуры должны жить по другому правилу: «Ты должен есть не только ртом, но и головой, чтобы не испортить себе способности лакомиться ртом».

280

Зверское озарение любви. – Всякая большая любовь несет с собою лютую мысль – убить предмет любви, чтобы раз и навсегда спасти его от страшной игры перемен: ведь перемен любовь боится больше, чем уничтожения.

281

Двери. – Во всем, что он переживает, чему научается, ребенок, так же как и взрослый, видит двери: но для него они – *входы*, а для взрослого – всегда только *проходы*.

282

Сердобольные женщины. – Женское сострадание, когда оно болтливо, выносит одр болезни на рыночную площадь.

283

Ранняя заслуга. – Тот, кто уже в юности добивается заслуги, обыкновенно забывает из-за этого о стыде перед старостью

и старшими и тем самым, к своей величайшей невыгоде, исключает себя из общества людей зрелых, помогающих созреть, так что, несмотря на свою раннюю заслугу, дольше других остается зеленым, фамильярным и инфантильным.

284

Огульные души. – Женщины и художники думают, будто если им в чем-то не противоречат, то, значит, противоречить им в этом нельзя; полное почтение и молчаливое неодобрение, тоже полное, кажутся им несовместимыми, поскольку их души умеют принимать все только огульно.

285

Молодые таланты. – С молодыми талантами нужно обращаться, строго следуя максиме Гёте, гласящей, что нередко не стоит наносить ущерб заблуждению, чтобы не нанести ущерба истине. Их состояние похоже на недомогания во время беременности и вызывает странные прихоти: эти их прихоти нужно по возможности удовлетворять и смотреть на них сквозь пальцы ради результата, которого от них ждут. Конечно, если уж ты – санитар, присматривающий за этими странными больными, ты должен знать толк в трудном искусстве добровольного самоуничижения.

286

Отвращение к правде. – Так уж устроены женщины, что всякая правда (о мужьях, любви, детях, обществе, смысле жизни) вызывает их отвращение, а потому они стараются мстить любому, кто открывает им глаза.

287

Источник большой любви. – Откуда берутся внезапные страстные чувства мужчины к женщине, глубокие, истинные? Мень-

ше всего из одной только чувственности: но когда мужчина обнаруживает слитыми в одном существе слабость, нужду в помощи и одновременно шаловливость, в нем начинается такое, что душа его словно вот-вот выплеснется наружу, – в один и тот же миг он и растроган, и уязвлен. Из этой-то точки и бьет источник большой любви.

288

Опрятность. – Нужно развивать у ребенка вкус к опрятности, доводя его до страсти: позднее он, преображаясь всякий раз заново, возвысится чуть ли не до любой добродетели и в конце концов, будучи компенсацией за отсутствие таланта, даст как бы море света, состоящего из чистоты, умеренности, доброты, характера, – неся в себе счастье, излучая счастье.

289

О тщеславии старых мужчин. – Глубокомыслие принадлежит юности, ясность мысли – старости: и если, несмотря на это, старые мужчины иногда говорят и пишут в глубокомысленной манере, то делают это из тщеславия, думая, будто таким способом обретают прелесть юности, мечтательности, роста, полного предчувствий и надежд.

290

Как используют новое. – Мужчины пользуются только что усвоенным или пережитым как лемехом, а бывает, и как оружием; женщины же тотчас делают себе из него наряд.

291

Чувство своей правоты у мужчин и у женщин. – Если согласиться с женщиной в том, что она права, то она не откажет себе в удовольствии с торжеством попрать выю поверженного,

– она должна насладиться своей победой; мужчина же в таком случае обыкновенно испытывает стыд перед другим мужчиной за то, что оказался прав. Зато мужчина привык побеждать, для женщины же такое переживание – исключение.

292

Самоограничение в жажде красоты. – Чтобы стать прекрасными, женщины не должны стремиться слыть хорошенькими: иными словами, в девяноста девяти случаях, когда они могли бы понравиться, им следует делать все, чтобы не понравиться, дабы в одном только случае стяжать восхищение того, врата души которого достаточно велики для приема чего-то великого.

293

Непонятливый, несносный. – Иной юнец не может понять, как это старший уже умудрился оставить за спиной свои восторги, утренние зори чувства, перипетии и взлеты мысли: ему обидно хотя бы представить себе, что они могут повторяться, – но полную его враждебность вызовет идея о том, что не быть ему *плодотворным*, если он не сбросит эти цветы, не лишится их аромата.

294

Партия с обиженным выражением лица. – Всякая партия, умеющая придавать своему лицу обиженное выражение, привлекает к себе сердца людей добродушных и в результате сама получает мину добродушия – к своей величайшей выгоде.

295

Утверждения надежнее доказательств. – Утверждение воздействует сильнее, чем аргумент, – по крайней мере, на боль-

шинство людей; ведь аргументы возбуждают недоверие. Поэтому демагоги стараются защитить аргументы своих партий утверждениями.

296

Лучшие укрыватели краденого. – Всем людям, постоянно добивающимся успеха, свойственна глубоко коренящаяся в них хитрость: они неизменно преподносят свои ошибки и слабости как якобы свои сильные стороны – в силу чего создают впечатление, будто очень хорошо знают и понимают их.

297

Время от времени. – Он уселся у городских ворот и заявил человеку, который как раз через них проходил, что это – не что иное, как городские ворота. Тот отвечал: «Допустим, так оно и есть, но если хочешь, чтобы тебе сказали спасибо, вовсе не обязательно так явно показывать, что ты прав». «Да я и не жду никакой благодарности, – сказал первый; – но все-таки время от времени бывает чертовски приятно не только быть правым, но и заставить других это признать».

298

Доблесть придумали не немцы. – Аристократизм и отсутствие зависти Гёте, благородный отшельнический пессимизм Бетховена, душевное изящество и грация Моцарта, непреклонная мужественность и обузданная законом свобода Генделя, углубленная внутренняя жизнь Баха, невозмутимая и просветленная, которой даже не нужно отказываться от блеска и успеха, – разве все это *немецкие* качества? – А если нет, то это по меньшей мере показывает, к чему немцы должны стремиться и чего они способны достичь.

299

Pia fraus[1] *или что-то другое.* – Я могу ошибаться, но мне кажется, что в нынешней Германии для каждого человека ежеминутным долгом сделался двойной вид ханжества: из имперско-политических опасений требуют немечества, а из страхов социального порядка – христианства, того и другого – лишь на словах и в плоскости жестов, но главным образом в способности молчать. И все это – *видимость*, которая столь многого стоит, так дорого обходится; и все это – *зрители*, ради которых нация корчит немецко-христианскую мину.

300

Насколько и в хорошем половина может быть больше целого. – Во всем, что организуется в расчете на долгий срок и постоянно требует участия множества людей, что-то *не слишком хорошее* должно стать *правилом*, хотя организатору прекрасно известно и лучшее (а заодно более трудное): он, однако, рассчитывает на то, что никогда не будет недостатка в людях, *способных* соответствовать требованиям правила, – а он знает, что правило – это способности среднего уровня. – Юноши редко это понимают и потому, оказываясь в роли новичков, думают, будто они невесть как правы, и удивляются слепоте других.

301

Член партии. – Истинный член партии уже не учится – он только разузнает и судит: а вот Солон, никогда не бывший членом партии, но добивавшийся своей цели обок партий и над ними или вопреки им, характерным образом является отцом той скромной фразы, в которой выражаются здоровье и неисчерпаемые возможности Афин: «Я состарился, но не перестал учиться».

---

1 благочестивая ложь (*лат.*).

302

Что, по Гёте, присуще немцам. – Только поистине невыносимые люди, в которых невозможно даже представить себе ничего хорошего, обладают *свободой убеждений*, не замечая, что у них нет *свободы вкуса* и *ума*. Но именно это, согласно хорошо взвешенному суждению Гёте, и присуще немцам. – Его голос и его пример указывают на то, что немцы должны *быть* чем-то *большим*, чем просто немцами, если хотят стать полезными или хотя бы выносимыми для других наций, – и *в каком направлении им* нужно двигаться, чтобы подняться над собою и выйти за свои пределы.

303

В каком случае следует остановиться. – Когда массы начинают бесчинствовать, а разум помрачается, лучше всего, если ты не вполне уверен в своем душевном здоровье, спуститься в подворотню и посмотреть, какая там на дворе погода.

304

Умы бунтарские и умы собственнические. – Единственное средство против социализма, какое еще у вас осталось, таково: не дразнить его, иными словами, самим жить умеренно и скромно, всеми силами противиться демонстрациям изобилия и содействовать государству, когда оно облагает чувствительными налогами всяческие излишества и все напоминающее роскошь. Не хотите такого средства? Тогда, богатые мещане, называющие себя «либеральными», вам остается только признать: то, что вы находите в социалистах столь страшным и угрожающим, а в себе самих считаете законным, будто там это что-то совсем другое, – не что иное, как ваш собственный глубинный образ мыслей. Если бы у вас, каковы вы сейчас, не было *достатка* и забот о его сохранении, то этот ваш образ мыслей сделал бы вас социалистами: вас отличает от них только собственность. И если вы хотите как-нибудь одолеть врагов своего благосо-

стояния, то вам надо сначала победить самих себя. – Если бы это благосостояние и впрямь было благосостоянием! Тогда оно было бы не столь броским, не так вызывало бы зависть, оно было бы более открытым, благожелательным, более уравнивающим, покровительственным. Но фальшь и лицедейство ваших увеселений, состоящих больше в ощущении контраста (в ощущении, что другие их лишены и завидуют вам), чем в ощущении игры сил и роста сил, – ваши жилища, одежды, экипажи, витрины, потребности утробы и стола, ваше шумное восхищение оперными спектаклями и музыкой, наконец, ваши женщины, хорошо вылепленные и образованные, но из металла неблагородного, раззолоченные, но без золотого звона, выбранные вами как образцы для витрины и сами преподносящие себя как образцы для витрины: все это сеющие заразу разносчики той народной болезни, которая нынче все быстрее овладевает массами как социалистический душевный зуд, но которая впервые возникла и вызрела *в вас*. И разве кто-нибудь еще сможет сейчас остановить эту чуму? –

305

Партийная тактика. – Когда какая-нибудь партия замечает, что прежний приверженец из безусловного подданного сделался условным, то это для нее настолько невыносимо, что, всячески провоцируя и оскорбляя его, она пытается довести его до полного отпадения, сделать его своим врагом: ведь она питает подозрение, что стремление видеть в ее вероисповедании нечто *относительно* ценное, допускающее доводы за и против, взвешивание и отбрасывание, для нее более опасны, чем огульная вражда.

306

Об укреплении партий. – Тот, кто хочет укрепить свою партию изнутри, пусть предоставит ей повод претерпеть явную *несправедливость*: тем самым она обретет чистую совесть, которой ей, возможно, прежде не хватало.

307

Заботиться о своем прошлом. – Люди по-настоящему уважают только все возникшее в старину, прошедшее долгую историю – поэтому тот, кто хочет, чтобы память о нем не стерлась после смерти, должен заботиться не только о грядущих поколениях, но еще больше о *прошлом*: вот почему тираны всякого рода (в том числе тиранствующие художники и политики) любят чинить над историей насилие, дабы она предстала как подготовка и постепенное восхождение к ним самим.

308

Партийный писатель. – Удар литавр, которым молодой писатель снискал к себе такую симпатию на службе партии, для того, кто к ней не принадлежит, звучит, как звон цепей, и возбуждает скорее сострадание, чем восхищение.

309

Выступать против себя. – Наши последователи не прощают нам, когда мы выступаем против себя самих: ведь в их глазах это значит не только отвергнуть их любовь, но и скомпрометировать их разум.

310

Богатство – это опасность. – *Собственностью* должен обладать лишь тот, у кого есть *ум*: иначе собственность становится *общественно опасной*. А собственник, не умеющий распорядиться свободным временем, которое может дать ему обладание собственностью, всегда будет *продолжать* стремиться к обладанию: это стремление становится его развлечением, его военной хитростью в битве со скукой. Так в конце концов из небольшой собственности, которой хватило бы человеку разумному, возникает настоящее богатство: и притом как блистательный результат умственной несамостоятельности и нищеты. Вот только *кажется* оно чем-то совсем дру-

гим, нежели позволяет ожидать его жалкое происхождение, поскольку умеет маскироваться образованием и искусством: точнее, оно умеет *покупать* себе эту маску. Этим оно возбуждает зависть у более бедных и необразованных – а они, в сущности, всегда завидуют образованности и в маске не видят маски, – и мало-помалу готовит социальный переворот: ведь раззолоченная грубость и лицедейское чванство в мнимом «потреблении культуры» внушают социалистам мысль о том, что «все дело только в деньгах», – в то время как, разумеется, от денег зависит *кое-что*, но *куда большее* зависит от *ума*.

311

Радость приказывать и подчиняться. – Приказывать доставляет такую же радость, как и подчиняться, – первое, когда оно еще не превратилось в привычку, второе, наоборот, когда оно вошло в привычку. Старые слуги среди новых начальников невольно помогают друг другу испытывать радость.

312

Честолюбие безнадежного дела. – Есть честолюбие безнадежного дела, заставляющее партию идти на крайний риск.

313

Когда без ослов не обойтись. – Толпу можно довести до кликов «осанна», только въехав в город верхом на осле.

314

У партий в обычае. – Каждая партия старается выставить чем-то незначительным то значительное, что явилось на свет не в ней самой; а если уж это у нее не получается, то она нападает на значительное тем более ожесточенно, чем более оно превосходно.

315

Опустошение. – По мере того как человек посвящает себя текущим делам, от него остается все меньше. Поэтому великие политики могут сделаться людьми абсолютно пустыми, хотя некогда были полными и богатыми.

316

Желанные враги. – Социалистические порывы нынче все же скорее возбуждают у династических правительств симпатию, чем страх, потому что благодаря им эти правительства получают в свои руки *право* и *меч* для экстраординарных мер, а уж с их помощью могут покарать настоящие свои пугала – демократов и антидинастические движения. – Ко всему, что такие правительства публично ненавидят, они теперь питают тайную приязнь и задушевные чувства: ведь им приходится скрывать свое подлинное нутро.

317

Владение овладевает. – Владение собственностью делает человека более независимым, свободным лишь до известной степени; один шаг дальше – и владение становится хозяином, владелец – рабом: он должен приносить в жертву владению свое время, свои раздумья и отныне чувствует себя обязанным вступать в отношения, пригвожденным к месту, принадлежащим государству: и все это, возможно, вопреки своей глубочайшей и главнейшей потребности.

318

О господстве знающих. – Легко, до смешного легко представить образчик для выбора какой-нибудь законодательной коллегии. Сначала честные и заслуживающие доверия люди этой страны, а одновременно – мастера и знатоки в каком-нибудь деле, должны, разузнавая друг о друге и признавая друг друга, произвести конкурсный отбор: а из их

более узкого круга, в свой черед, должны выбрать друг друга специалисты и сведущие люди первого ранга в каждой отдельной отрасли, опять-таки путем взаимного признания и поручительства. Если они образуют законодательную коллегию, то, наконец, в каждом отдельном случае решающими должны быть только голоса и суждения самых сведущих специалистов, а честность *всех* остальных – достаточно велика, став просто делом приличия, чтобы предоставить голосование по этим вопросам тоже лишь им: тогда закон в строжайшем смысле слова возник бы из разума наиболее разумных. – Нынче голосуют партии: и в любом голосовании должны участвовать сотни людей с очень нечистой совестью – с нечистой совестью плохой осведомленности, неспособности строить заключения, стремления повторять за другими, несамостоятельности мышления, желания плыть по течению. Ничто не унижает достоинство любого нового закона так, как эта стойкая краска стыда за нечестность, которую вызывает всякое партийное голосование. Но, как уже сказано, легко, до смешного легко представить образчик чего-то подобного: нет сейчас в мире власти, достаточно сильной, чтобы провести в жизнь что-нибудь получше, – пусть даже вера в высшую *полезность науки и людей науки* осенит, наконец, и самых упрямых, количественно превзойдя господствующую нынче веру. Пусть дух такого будущего и выразит наш лозунг: «Больше почтения знающим! И долой все партии!»

319

О «народе мыслителей» (или плохого мышления). – Неясность, незавершенность, склонность к предчувствиям, ко всему элементарному, интуитивному (если вещи неясные неясно же и выразить), то, что говорят о немецком характере, – если бы и впрямь еще существовало, служило бы доказательством того, что немецкая культура отстала на много шагов и все еще остается в русле и в атмосфере средневековья. – Правда, в такой отсталости заключены и кое-какие преимущества: обладая этими качествами – если, повторю, они еще ими действительно обладают, – немцы были бы способны на некоторые вещи, и главным образом на понимание некоторых вещей, для понимания которых другие

нации потеряли всякую способность. И многое, несомненно, утрачивается, когда утрачивается *нехватка разумности* – то есть именно то общее, что входит во все названные качества: но тут нет и никакой потери без величайшего ответного выигрыша, так что нет и никакой причины для стенаний – конечно, если мы не хотим, подобно детям и лакомкам, одновременно наслаждаться плодами всех времен года.

320

Лить воду в колодец. – Правительства крупных государств имеют в своем распоряжении два средства держать свои народы в зависимости от себя, в страхе и послушании: более грубое – армию и более мягкое – школу. С помощью первого они привлекают на свою сторону *честолюбие* высших и *силу* низших слоев общества, насколько те и другие обычно располагают энергичными и крепкими мужчинами средних и низших способностей: а с помощью второго средства они получают *одаренную* бедноту, в особенности взыскательную в умственном отношении полубедноту средних сословий. Прежде всего из учителей всех рангов они делают интеллектуальных придворных, ориентирующихся на «верхи»: вставляя палку за палкой в колеса частной школы, не говоря уж о вовсе неугодном частном воспитании, они обеспечивают себе распоряжение весьма значительным числом учительских мест, на которые неизменно устремлены взоры голодных и преданных глаз, числом наверняка раз в пять больше, чем имеется свободных мест. Но эти должности могут давать своим обладателям лишь *скудное* пропитание: поэтому у них постоянно держится лихорадочная жажда *продвижения*, еще прочнее привязывая их к целям правительства. Ведь поддержание умеренного недовольства всегда выгоднее, чем удовлетворенности, этой матери мужества, бабушки свободомыслия и задиристости. При помощи этого телесно и умственно прирученного учительского сословия вся молодежь страны по возможности поднимается на некоторую высоту образованности, полезную для государства и целесообразно ранжированную: но прежде всего на незрелые и честолюбивые умы во всех сословиях почти незаметно распространяется образ мыслей, подразумеваю-

щий, что только признанное и одобренное государством направление жизни сразу же влечет за собою *общественное* отличие. Воздействие этой веры в государственные экзамены и звания заходит так далеко, что даже независимые, поднявшиеся благодаря торговле или ремеслу мужчины чувствуют в душе укол неудовлетворенности до тех пор, пока и их место в обществе не будет замечено и признано свыше благосклонным дарованием рангов и орденов, – пока будет «не стыдно выйти на люди». Наконец, государство связывает все эти сотни и тысячи принадлежащих ему должностей и доходных мест *обязательством* получать образование и аттестаты в государственных школах, если они хотят когда-нибудь попасть на эти места: общественный почет, кусок хлеба, возможность завести семью, защита со стороны властей, чувство общности получивших одинаковое образование – все это образует сеть чаяний, в которую попадает каждый молодой человек: так откуда же возьмется у него недоверие? А если напоследок обязанность несколько лет послужить в *армии* и вовсе станет для каждого, по смене двух-трех поколений, автоматической привычкой и условием, на которое человек с юных лет ориентирует свои жизненные планы, то государство может отважиться даже на мастерский трюк – через выгоды переплести *друг с другом* школу *и* армию, способности, честолюбие и силу, то есть, предоставляя более благоприятные условия, приманивать в армию *более способных и образованных* и внушать им воинский дух восторженного послушания, чтобы они, возможно, так и остались на военной службе и заслужили своим дарованием новую, еще более светлую славу. – Тогда для больших войн будет не хватать только одного – повода: а уж об этом профессионально, то есть с совершенно *невинным видом*, похлопочут дипломаты вместе с газетами и биржами. Ведь у «нации», если она – нация солдат, во время войны всегда чистая совесть, ее даже не надо ей заранее внушать.

321

Пресса. – Если подумать, что и сейчас все великие политические процессы тайком и скрытно прокрадываются на

представление, что они заслоняются незначительными событиями и рядом с ними кажутся мелкими, что их глубинное воздействие сказывается и сотрясает почву лишь спустя много времени после того, как они прошли, – то какую же роль следует признать тогда за прессой, нынешней прессой с ее ежедневным истошным воплем, призванным перекричать, поразить, ужаснуть, – не равна ли она просто *перманентному отвлекающему шуму*, ориентирующему слух и умы людей в ложном направлении?

322

После великого события. – Народ и человек, чьи души вышли на яркий свет во время великого события, обычно чувствует после этого потребность в *ребячестве* или в *жестокости*, как из стыда, так и для того, чтобы прийти в себя.

323

Быть хорошим немцем значит перестать им быть. – То, в чем усматривают национальные различия, есть нечто большее, чем понималось до сих пор, – а именно, это различие между разными *ступенями культуры* и в минимальной степени – что-то неизменное (да и то не в строгом смысле слова). Поэтому всякая аргументация, исходящая из национального характера, столь мало обязательна для того, кто работает над *пересозданием* убеждений, то есть над культурой. Если, к примеру, задуматься над тем, что уже *было* немецким, то теоретический вопрос: «Что *является* немецким?» тотчас должен быть поправлен встречным вопросом: «Что *является* немецким сейчас?», – и любой *хороший* немец разрешит его на практике, а именно преодолевая свои немецкие качества. Ведь когда народ идет вперед и растет, он всякий раз разрывает на себе пояс, дотоле придававший ему *национальный* вид: но если он остается в прежнем виде, отстает в росте, то его душу охватывает еще один пояс; все больше застывающая корка как бы выстраивает вокруг него темницу, стены которой постоянно растут. Стало быть, если в на-

роде есть так много жесткого, неизменного, то это говорит о том, что он стремится окаменеть и целиком и полностью хотел бы превратиться в *памятник*: это в определенный исторический момент и произошло с египтянами. Поэтому тот, кто желает немцам блага, должен подумать о том, как ему самому все больше расти за пределы того, что является немецким. Вот почему *поворот в сторону не немецкого* всегда был признаком всех дельных людей нашего народа.

324

Суждения иностранца. – Один иностранец, путешествовавший по Германии, вызывал к себе антипатию и симпатию некоторыми своими мнениями в зависимости от местности, в которой останавливался. Все умные швабы, говаривал он, кокетливы. – Но другие швабы все еще полагали, что Уланд был поэт, а Гёте был безнравственным. – Самое большое достоинство немецких романов, получивших нынче известность, говорил он, состоит в том, что их не надо читать: их содержание уже и так известно. – Берлинцы-де кажутся более добродушными, чем южные немцы, потому что уж слишком насмешливы, а потому сносят насмешки и сами: а у южан такого не найдешь. – Ум немцев подавляется, по его мнению, их пивом и газетами: он-де рекомендует им чай и памфлеты, разумеется, в виде лечения. – Присмотримся, советовал он, к различным народам состарившейся Европы на предмет того, как каждый из них с особым достоинством выставляет напоказ определенное качество старости, к удовольствию тех, что сидят перед этой великою сценой: как удачно представляют французы присущие старости благоразумие и любезность, англичане – ее опытность и сдержанность, итальянцы – невинность и непринужденность. Куда же девались другие маски старости? Где старость высокомерная? Где – властолюбивая? Где – алчная? – Самая опасная местность в Германии, по его мнению, – Саксония и Тюрингия: нигде нет большей умственной подвижности и знания людей наряду со свободомыслием, и все это так скромно прикрыто ужасным языком и истовой услужливостью тамошних жителей, что и не замечаешь: ведь они –

интеллектуальные фельдфебели Германии и ее наставники в хорошем и в плохом. – Высокомерие северных немцев, говорил он, сдерживается их склонностью к послушанию, южных – склонностью к уюту. – Далее, ему показалось, что немецкие женщины достались немецким мужчинам в качестве домохозяек, неумелых, но очень самоуверенных: они-де так упорно говорят о себе только хорошее, что чуть ли не весь мир и уж во всяком случае их мужья убеждены в существовании специфически немецкой доблести домохозяек. – Когда разговор затем переходил к немецкой внешней и внутренней политике, он имел обыкновение рассказывать – в его устах это звучало как «выдавать», – что величайший государственный деятель Германии не верит в великих государственных деятелей. – Будущее немцев он нашел опасным для них и для других: ведь они разучились *радоваться* (что так хорошо удается итальянцам), зато в результате великой карточной игры войн и династических революций *приучились к эмоции*, а, значит, в один прекрасный день у них будет восстание. Ведь это последнее-де – самая сильная эмоция, какую может раздобыть себе народ. – Потому-то, по его словам, немецкие социалисты – самые опасные из всех: ведь ими не движет никакая *определенная* нужда; их недуг – не знать, чего они хотят; поэтому, даже добиваясь больших успехов, они будут томиться от жажды и в самом наслаждении, совсем как Фауст, хотя, вероятно, как Фауст очень плебейский. «Ведь *Фауста-дьявола*, – воскликнул он напоследок, – которым были так измучены образованные немцы, Бисмарк из них изгнал: тогда дьявол вселился в свиней и стал хуже, чем когда бы то ни было.»

325

Мнения. – Подавляющее большинство людей суть ничтожества и считаются ничтожествами, покуда облачаются в общепринятые убеждения и публичные мнения согласно философии портных: платье делает человека. А о людях-исключениях нужно говорить: *платье создает тот, кто его носит*; мнения тут перестают быть публичными и становятся чем-то иным, нежели маски, уборы и облицовки.

326

Два рода трезвости. – Чтобы не путать трезвость от умственной усталости с трезвостью из сдержанности, надо обратить внимание на то, что первой свойственно скверное настроение, а второй – радостное.

327

Поддельная радость. – Не одобрять вещь ни днем больше, чем она кажется нам доброй, но прежде всего – *ни днем раньше,* – вот единственный способ поддерживать в себе подлинную *радость:* иначе она слишком легко становится пресной и гнилой на вкус, а в наше время относится к поддельным продуктам питания для целых слоев народа.

328

Козел добродетели. – Во всем наилучшем, что делает человек, другие, благоволящие ему, но не доросшие до его дела, немедля начинают искать какого-нибудь козла, чтобы принести его в жертву, думая, будто это козел отпущения, – но это козел добродетели.

329

Суверенность. – Чтить даже плохое и признавать свою связь с ним, если оно *нравится,* не имея никакого понятия о том, как можно стыдиться того, что доставляет удовольствие, – вот признак суверенности в большом и в малом.

330

Воздействие – фантом, а не действительность. – Человек значительный мало-помалу усваивает, что когда он *оказывает воздействие,* то оказывается *фантомом* в головах других людей и, возможно, подвергает себя изощренной душевной пыт-

ке – задавать себе вопрос, не стоит ли ему поддерживать существование этого своего фантома ради *блага* ближних.

331[1]

Брать и давать. – Когда у человека отнимают (или выхватывают перед его носом) пустяк, он не замечает, что ему дали куда большее, а может, и самое большое.

332[2]

Быть хорошим землепашцем. – Всякое отклонение и отрицание говорит о нехватке плодотворности: в сущности, если бы мы только были хорошей пашней, у нас все шло бы в дело без остатка, и в любой вещи, в любом событии или человеке мы видели бы желанные удобрения, дожди или теплые лучи солнца.

333

Общение как наслаждение. – Если человек с чувством отрешенности в душе намеренно держится одиночества, то благодаря этому он может сделать редкое удовольствие от общения с людьми изысканным лакомством для себя.

334

Уметь страдать на людях. – Надо афишировать свое злополучье и время от времени вздыхать так, чтобы было слышно вокруг, лить слезы так, чтобы было видно: ведь если показывать другим, как ты уверен в себе и счастлив несмотря на боль и лишения, то спровоцируешь их на зависть и злобу! – А нам следует заботиться о том, чтобы не портить своих ближних; да и, кроме того, в названном случае они заставили бы нас жестоко поплатиться, так что если мы выносим свои страдания на *публику*, то это в любом случае дает нам и *личные* выгоды для себя.

335

Теплота вершин. – На вершинах теплее, чем полагают внизу, и особенно теплее зимой. Мыслящим людям понятно, что означает эта парабола.

336

Хотеть доброго, уметь прекрасное. – Делать *добро* – этого еще недостаточно, нужно иметь желание делать добро и, по выражению поэта, воспринять Божество в свою *волю.* Но *прекрасного* хотеть нельзя, надо *уметь* его, в невинности и слепоте, без всякой душевной жажды новизны. Кто зажигает свой фонарь, чтобы найти совершенных людей, пусть обращает внимание на такой вот признак: это те, которые всегда действуют ради добра и при этом всегда создают что-то прекрасное, не думая об этом. Множество людей превосходных и благородных со всей их доброй волей и всеми их добрыми делами по неспособности и нехватке прекрасной души неизменно выглядят безотрадно и безобразно; их вид отталкивает и вредит самой добродетели из-за отвратительных одеяний, которыми облекает ее их скверный вкус.

337

Опасность для отрешившихся. – Надо остерегаться строить свою жизнь на слишком узкой основе алчности: ведь если отказывать себе в радостях, которые несут с собою должности, знаки почета, связи, чувственные наслаждения, комфорт, искусства, то наступит день, когда ты увидишь, что вместо *мудрости* в результате отречения получил в соседи *пресыщенность жизнью.*

338

Окончательное мнение о мнениях. – Следует либо скрывать свои мнения, либо скрываться за своими мнениями. Кто посту-

пает иначе, тот не умеет жить или принадлежит к ордену святых сорвиголов.

339

«Gaudeamus igitur»[1]. – Радость, верно, дает освежающие и исцеляющие силы и для нравственной природы человека: иначе почему душа наша, нежась в солнечных лучах радости, невольно решается «быть доброй» и «достичь совершенства», и при этом ее охватывает, подобно трепету блаженства, предчувствие совершенства?

340

Когда тебя хвалят. – Пока тебя хвалят, думай только о том, что ты еще не на своей собственной дороге, а на дороге того, кто хвалит.

341

Любовь к мастеру. – Подмастерье любит мастера так, мастер мастера – иначе.

342

Слишком прекрасное и человеческое. – «Природа слишком прекрасна для тебя, несчастного смертного» – такое чувство встречается в людях нередко: но несколько раз, пристально созерцая все человеческое, его полноту, силу, нежность, сложность, я испытывал чувство, будто должен со всем смирением заявить: «Да и *человек* слишком прекрасен для того, кто его рассматривает!» – причем не только человек нравственный, а всякий.

---

1 «Итак, будем веселиться!» (*лат.*).

343

Подвижная собственность и латифундия. – Если жизнь обошлась с человеком прямо-таки как грабитель и, сколько могла, отняла у него честь, радость, близких, здоровье, имущество любого рода, то, возможно, задним числом, после первого испуга, он обнаружит, что стал *богаче*, чем дотоле. Ведь только теперь он и узнает, какая собственность принадлежит ему настолько, что ни один грабитель и пальцем до нее не сможет дотронуться: тогда, возможно, он выйдет из любого грабежа и смятения с гордо поднятой головою крупного латифундиста.

344

Невольно возникающие идеальные образы. – Самое неловкое чувство, какое бывает на свете, – обнаружить, что тебя неизменно принимают за нечто более возвышенное, чем ты есть. Ведь надо признаться себе в том, что нечто в тебе – ложь и обман: твои слова, выражение лица, жесты, взгляды, действия, и это обманчивое нечто, столь же неизбежное, как и твоя честность во всем остальном, мало-помалу упраздняет ее действующую силу и ценность.

345

Идеалист и лжец. – Нельзя давать в себе воли и самому утонченному удовольствию – возведению вещей в идеал: иначе в один прекрасный день истина покинет нас с проклятьем на устах: «Ты лжец с головы до ног, я и знать тебя не желаю!»

346

Быть превратно понятым. – Когда тебя превратно понимают в целом, невозможно окончательно устранить какое-нибудь отдельное недоразумение. Это надо понимать, если не хочешь тратить лишних сил на свою защиту.

347

Слова трезвенника. – Пей себе свое вино, услаждавшее тебя всю жизнь, – какое тебе дело до того, что мне приходится быть трезвенником? Разве вино и вода – не миролюбивые, братские стихии, уживающиеся без перекоров?

348

В стране людоедов. – В одиночестве одинокий пожирает сам себя, на людях его пожирают люди. Вот и выбирай.

349

В точке замерзания воли. – «В конце концов он когда-нибудь все же наступит – тот час, который укутает тебя золотым облаком безбольности, когда душа наслаждается собственной усталостью и в терпеливой игре со своим терпением уподобляется морским волнам, что плещутся о берег тихим летним днем, в отблесках цветного вечереющего неба, плещутся и снова стихают – без конца, без цели, без утоления, без нужды, – вся покой в радости от перемен, вся прилив и отлив в пульсирующей жизни природы.» Так чувствуют и говорят все больные: но как только этот час для них настает, так, после кратковременного наслаждения, приходит скука. Однако эта скука – теплый ветер для заледеневшей воли: воля пробуждается, шевелится и снова рождает одно желание за другим. – Испытывать желания – вот первый признак выздоровления или улучшения.

350

Отвергнутый идеал. – В виде исключения бывает, что человек достигает вершин лишь после того, как отвергнет свой идеал: ведь прежде этот идеал подгонял его слишком быстро, так что он всякий раз сбивался с дыхания и невольно останавливался в середине пути.

351

Предательская склонность. – Признак человека завистливого, но стремящегося подняться выше, возьмем себе это на заметку, – что его притягивает мысль, будто в столкновении с другим, превосходящим его, есть только один выход – любовь.

352

Лестничное счастье. – Как остроумие иных людей не поспевает за случаем, так что случай уже ускользнул в дверь, а остроумие все еще стоит на лестнице, – так у других людей встречается своего рода лестничное счастье, бегущее слишком медленно, чтобы всегда поспевать за быстротекущим временем: лучшее, чем они могут насладиться от какого-нибудь переживания, от целого этапа жизни, выпадает им на долю лишь долгое время спустя, нередко лишь как слабый пряный аромат, пробуждающий тоску и печаль, – как будто когда-нибудь можно было как следует напиться в этой стихии. Но теперь слишком поздно.

353

Пунктики. – Если у человека есть несколько пунктиков, это еще не признак его умственной незрелости.

354

Сидеть с победоносным видом. – Если ты хорошо сидишь на лошади, то противник теряет мужество, зритель отдает тебе свое сердце – так зачем же еще и нападать? Сиди себе, как человек, одержавший победу!

355

Опасность восхищения. – Слишком сильно восхищаясь чужими добродетелями, можно утратить вкус к своим собствен-

ным, а в конце концов, по неопытности, утратить и их самих, а чужие как замену своим не сохранить.

356

Польза от слабого здоровья. – Кто часто болеет, тот не только из-за частых выздоровлений куда больше наслаждается здоровьем, но и обладает в высшей степени обостренным чутьем на все здоровое и болезненное в произведениях и поступках, своих и чужих: поэтому, к примеру, именно хворые писатели – а почти все великие, увы, среди них – обычно выдерживают в своих сочинениях много более уверенный и ровный тон здоровья, ведь они лучше, чем люди крепкие телом, знают философию душевного здоровья и выздоровления, а также ее наставников: предполуденного часа, солнечного света, леса и родника.

357

Измена, условие мастерства. – Тут уж ничего не поделаешь: у каждого мастера есть лишь один ученик – да и тот ему изменяет: ведь ему тоже суждено стать мастером.

358

Никогда не бывает напрасным. – На горы истины ты никогда не взбираешься напрасно: либо уже сегодня ты подымешься еще выше, либо укрепишь силы, чтобы подняться выше завтра.

359

За мутным стеклом. – Неужели та часть мира, которую вы видите через это окно, так прекрасна, что вы ни за что не желаете смотреть в любое другое, – и, мало того, даже пытаетесь воспрепятствовать в этом другим людям?

360

Признак больших перемен. – Когда человек обращается в мечтах к давно забытым или умершим, то это знак того, что он пережил большую перемену в себе и что почва, на которой он живет, полностью перерыта: тогда воскресают мертвые, а наша старина становится новью.

361

Лекарство для души. – Лежать в покое и мало думать – общедоступное лекарственное средство для всех болезней души, и если ты применяешь его добросовестно, то оно час от часу становится только приятнее.

362

К иерархии умов. – Много ниже другого тебя ставит то, что ты стараешься устанавливать исключения, а он – правило.

363

Фаталист. – Ты *должен* верить в фатум – к этому тебя может принудить наука. А уж что вырастет в тебе из этой веры – трусость и смирение или величие и прямодушие, – будет свидетельствовать о той почве, в какую было посеяно то семя, но не о самом семени: ведь оно может стать чем угодно.

364

Причина большой досады. – Тот, кто всю жизнь красивое предпочитает полезному, в конце концов, словно ребенок, предпочитающий пирожные хлебу, испортит себе желудок и будет глядеть на окружающее с кислой миной.

365

Избыточность как лекарство. – Собственное дарование можно снова сделать для себя привлекательным, долгое время сверх всякой меры почитая противоположное и наслаждаясь им. Пользоваться избыточностью как лекарством – один из самых утонченных приемов в искусстве жить.

366

«Желай подлинного я». – Натуры деятельные и успешные действуют не согласно изречению «познай себя», а так, словно ощущают неслышный приказ: «*Желай* подлинного я – и *станешь* подлинным я». – Судьба, кажется, все еще предоставляет им выбор; а вот натуры недеятельные и созерцательные размышляют о том, как они *сделали* свой единственный выбор, вступая в жизнь.

367

Жить по возможности без последователей. – Как мало должны значить последователи, понимаешь лишь после того, как перестаешь быть последователем своих последователей.

368

Облечься мрачностью. – Нужно уметь облекаться мрачностью, чтобы избавляться от комариных роев слишком назойливых почитателей.

369

Скука. – Есть скука, какую терпят умы самые утонченные и образованные, – лучшее, что предлагает земля, потеряло для них всякий вкус: привыкнув вкушать лишь изысканные и все более изысканные блюда, а от более грубых воротить нос, они оказываются в опасности умереть с голоду. Ведь

отборное встречается крайне редко, а подчас оно недоступно или уже сделалось черствым, как камень, так что его не разгрызть и самым крепким зубам.

370

Опасность восхищения. – Восхищение каким-нибудь качеством или искусством может достичь в нас такой силы, что будет удерживать нас от стремления им обладать.

371

Чего ждут от искусства. – Один посредством искусства хочет наслаждаться собою, другой с его помощью хочет на время подняться над собой, выйти за свои пределы. Двум этим потребностям отвечают два рода искусства и художников.

372

Измена. – Тот, кто нам изменяет, возможно, не оскорбит нас этим, но уж точно оскорбит этим наших последователей.

373

После смерти. – Обыкновенно мы лишь спустя долгое время после смерти человека обнаруживаем, что его не хватает: если это люди безусловно великие, то, бывает, лишь спустя десятилетия. Кто честен, тот обычно думает на похоронах, что на самом деле потеря не так уж и велика, а оратор, произносящий надгробную речь, – ханжа. Лишь нужда внушает, что ушедший нам нужен, а истинная эпитафия ему – запоздалый вздох.

374

Оставить в Аиде. – Множество разных вещей следует оставлять в Аиде полуосознанных ощущений и не стремиться вызволять из их призрачного существования, ведь иначе они в качестве мысли и слова станут нашими демоническими хозяевами, люто жаждая нашей крови.

375

Под угрозой нищенства. – Даже самый богатый ум, бывает, теряет ключ от комнаты, где хранятся накопленные им сокровища, и тогда ничем не отличается от последнего бедняка, вынужденного попрошайничать ради сохранения своей жизни.

376

Цепной мыслитель. – Человеку, много мыслившему, всякая новая мысль, которую он услышит или прочтет, тотчас предстает в виде цепи.

377

Сострадание. – В золоченых ножнах сострадания порою прячется клинок зависти.

378

Что такое гениальность. – Стремление к высокой цели *и* к средствам ее достижения.

379

Тщеславие борцов. – Кто потерял надежду победить в схватке или уже явно повержен, тем сильнее жаждет, чтобы зрители восхищались его манерой борьбы.

380

Жизнь философа толкуется превратно. – В тот самый миг, когда человек начинает принимать философию всерьез, все думают об этом прямо противоположное.

381

Подражание. – Подражая, плохое зарабатывает авторитет, а хорошее его теряет, – особенно в искусстве.

382

Последний урок истории. – «Эх, если б я жил в те времена!» – это речи людей глупых и несерьезных. Напротив, *серьезно* рассмотрев каждый этап истории, пусть даже это обетованный край былого, надо в конце концов воскликнуть: «Только бы оно не повторилось! Дух той эпохи стал бы давить на тебя весом в сотню атмосфер, ты не смог бы усвоить ее добрые и прекрасные стороны, не смог бы переварить все плохое в ней». – Потомки наверняка будут точно так же судить о нашей эпохе: она-де невыносима, а жить в ней было невозможно. – Но ведь все-таки каждый человек выдерживает жизнь в своей эпохе? – Да, и притом потому, что дух его эпохи не только лежит *на* нем, но и заключен *в* нем самом. Дух эпохи сам себе оказывает сопротивление, сам себя и поддерживает.

383

Великодушие как маска. – Великодушным поведением люди ожесточают своих врагов, завистью, которую дают заметить, почти замиряют их: ведь зависть уравнивает, ставит на одну доску, зависть – вынужденная и ноющая разновидность скромности. – Не применялась ли там и сям, ради упомянутого преимущества, зависть как маска – теми, кто не были завистниками? Возможно; но великодушное по-

ведение определенно нередко используется как маска зависти – людьми честолюбивыми, которые предпочтут потерпеть ущерб и нарочно ожесточить своих врагов, чем дадут заметить, что в душе они стали с ними на одну доску.

384

Непростительно. – Ты дал ему повод проявить великодушие, а он им не воспользовался. Этого он тебе никогда не простит.

385

Тезисы-антиподы. – Самое старческое, что когда-либо мыслилось о человеке, заключается в знаменитом тезисе «"Я" всегда достойно ненависти»; самое детское – в еще более знаменитом «Возлюби ближнего своего, как себя самого». – В одном знание людей уже прекратилось, в другом еще и не начиналось.

386

Отсутствующие уши. – «Покуда человек всегда перекладывает вину на других, он еще плебей; человек на пути мудрости, если всегда берет ответственность на себя; мудрый же не винит никого, ни себя, ни других.» – Кто это говорит? – Эпиктет, восемнадцать столетий тому назад. – Это расслышали, но позабыли. – Нет, этого не расслышали и не позабыли: не всякая вещь забывается. Просто не было ушей, чтобы расслышать это, ушей Эпиктета. – Так, значит, он сказал это для собственных ушей? – Так оно и есть: мудрость – это шушуканье одинокого с самим собою на многолюдном рынке.

387

Изъян точки зрения, а не глаз. – Человек всегда видит себя с расстояния на несколько шагов ближе, чем надо, а ближ-

него – на несколько шагов дальше, чем надо. Поэтому и получается, что о нем он судит чересчур огульно, а о себе самом – слишком ревностно принимая в расчет отдельные случайные и незначительные черты и происшествия.

388

Вооруженное невежество. – С какою легкостью мы предполагаем, что кто-то разбирается в чем-то или не разбирается, – в то время как он панически боится уже одной мысли, что его сочтут в этом деле невежей. Мало того, встречаются исключительные дураки, постоянно расхаживающие с колчаном, полным анафем и приказов, и готовые застрелить всякого, кто даст понять, что есть вещи, в которых тот ничего не смыслит.

389

За пиршественным столом опыта. – Лица, которые из врожденной умеренности любой стакан оставляют наполовину недопитым, не хотят признать, что у каждой вещи в мире есть свое дно и свои подонки.

390

Певчие птицы. – Последователи великих людей обычно ослепляют себя, чтобы лучше петь свои хвалы.

391

Не доросшие. – Хорошее нам не нравится, если мы до него не доросли.

392

Правило как мать или как дитя. – Одно дело – положение, порождающее правило, другое – им порождаемое.

393

Комедия. – Подчас мы пожинаем любовь и честь за дела или творения, которые мы уже давным-давно сбросили с себя, словно кожу: тогда мы с легкостью поддаемся соблазну разыгрывать из себя комедиантов собственного прошлого и снова натягивать на себя старую шкуру – и не только из тщеславия, но и из расположенности к нашим поклонникам.

394

Ошибка биографов. – Малую силу, которая нужна, чтобы столкнуть челнок в реку, не следует путать с силой самой реки, отныне несущей челнок: однако так поступают авторы почти всех жизнеописаний.

395

Покупать не слишком дорого. – То, что куплено за слишком дорогую цену, обычно и используют плохо, поскольку делают это без любви и с заставляющей краснеть памятью, – вот и несут от этого двойной ущерб.

396

Какая философия всегда нужна обществу. – Столп общественного порядка зиждется на том основании, что каждый весело смотрит на то, что он есть, что делает и к чему стремится, на свое здоровье или болезнь, бедность или состоятельность, видное или скромное положение, испытывая при этом ощущение «*а все-таки я не поменяюсь местами ни с*

кем». – Тому, кто рассчитывает на общественный порядок, надо только постоянно вселять в души эту философию веселого отказа от обмена и отсутствия зависти.

397

Признаки благородной души. – Благородная душа – не та, что способна на высочайшие порывы, а та, что поднимается и падает не намного, но *всегда* живет в более открытых и пронизанных лучами воздухе и высоте.

398

Великое и его зритель. – Наиболее ценное воздействие великого состоит в том, что оно дает зрителю глаза, которые увеличивают и сообщают увиденному завершенность.

399

Ограничивать себя. – Достигнутая человеком зрелость ума выражается в том, что он больше не ходит туда, где посреди ужасно колючих изгородей познания стоят редкие цветы, и довольствуется садом, лесом, лугом и полем, принимая во внимание, что жизнь чересчур коротка для редкого и необычного.

400

Преимущество лишения. – Тому, кто всегда живет в теплоте и полноте сердца и как бы в летнем воздухе души, невозможно и представить себе ту дрожь восторга, какая охватывает более зимние натуры, которых в виде исключения касаются лучи любви и слабое тепло солнечного февральского дня.

401

Рецепт для страдальцев. – Бремя жизни стало слишком тяжелым для тебя? – Так приумножь бремя своей жизни. Если страдалец наконец жаждет и ищет реки Леты, ему придется стать *героем*, чтобы наверняка ее найти.

402

Судья. – Кто увидел чей-то идеал, тот становится его неумолимым судьей и как бы его нечистой совестью.

403

Польза от великого отречения. – Самая большая польза, заключенная в великом отречении, состоит в том, что оно дает нам ту оправданную гордость, с которой мы отныне с легкостью добиваемся от себя множества малых отречений.

404

Как позолотить чувство долга. – Способ превратить в глазах всех твой железный долг в золотой таков: всегда выполняй немного больше, чем обещаешь.

405

Молитва к человеку. – «Прости нам добродетели наши» – так следует молиться человеку.

406

Творцы и потребители. – Каждый потребитель думает, что для дерева самое важное – фрукт; а важно для него было семя. – В том-то и заключается разница между всеми творцами и потребителями.

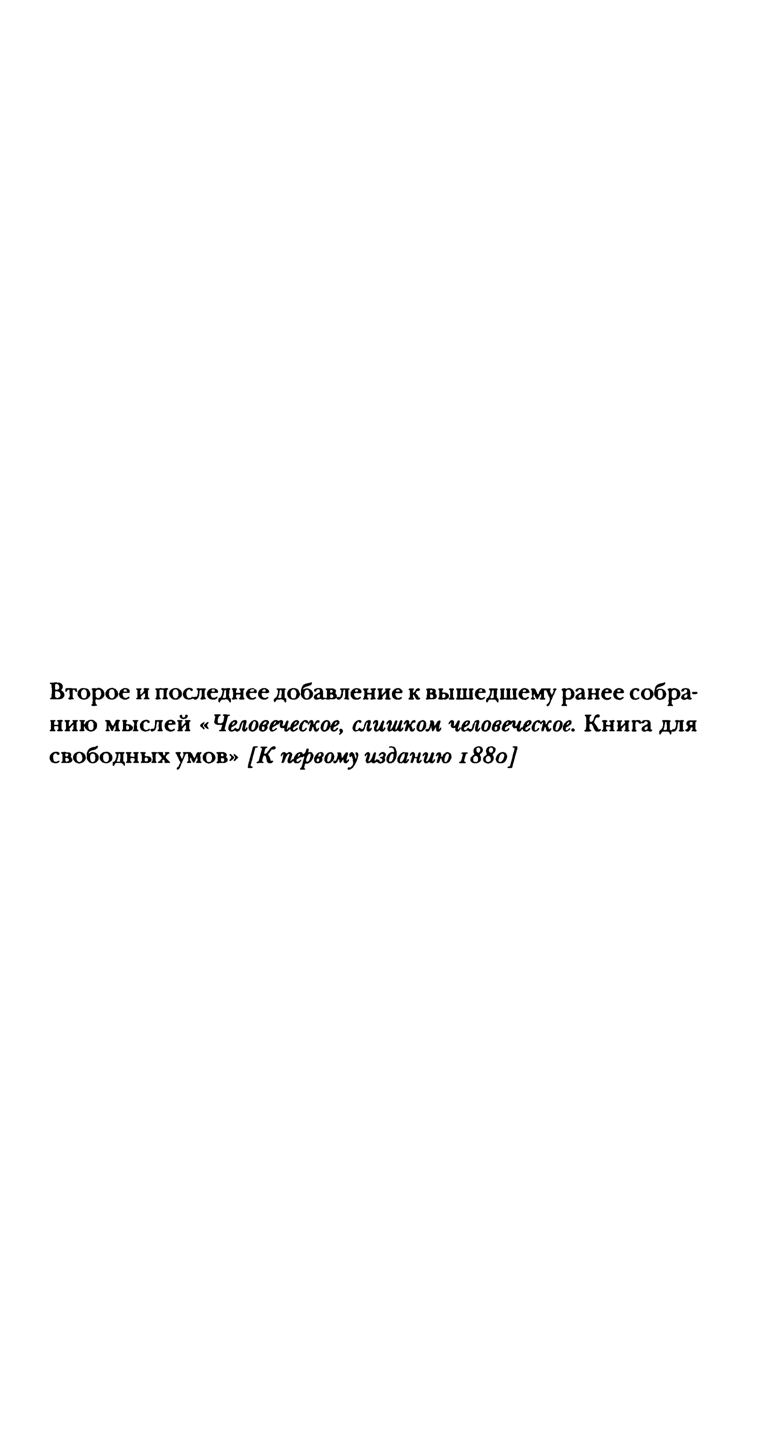
407

Слава всего великого. – Какой толк был бы от гения, если бы он не давал изучающим и почитающим его такую свободу и высоту чувства, что гений был бы им уже не нужен! – *Сделать себя излишним* – вот что составляет славу всего великого.

408

Сошествие в Аид. – И я спускался в преисподнюю, подобно Одиссею, не раз буду спускаться туда и впредь; а чтобы говорить с несколькими мертвецами, я принес в жертву не только барана, но и собственной крови не пощадил. Было их четыре пары, тех, что не отказали мне, жертвователю: Эпикур и Монтень, Гёте и Спиноза, Платон и Руссо, Паскаль и Шопенгауэр. С ними мне и придется вести споры, после долгих одиноких блужданий, от них я жду суда, справедливого и несправедливого, их хочу внимательно выслушать, если при этом они и друг о друге судят справедливо и несправедливо. Что бы я ни говорил, какие бы выводы ни делал, какие бы выходы для себя и других ни намечал, – я устремляю взгляд на тех восьмерых и вижу устремлённый на меня их взгляд. – Да простят мне живые, если подчас *они* кажутся мне как бы тенями, такими тусклыми и досадными, такими беспокойными и – увы! – исполненными такой похоти к жизни, в то время как те представляются мне столь живыми, как будто теперь, *после* смерти, уже никогда не устанут от жизни. Но речь-то и идет *о вечной жизненности*: разве дело было в «вечной жизни» или в жизни вообще!

Второй раздел
Странник и его тень



Второе и последнее добавление к вышедшему ранее собранию мыслей «*Человеческое, слишком человеческое.* Книга для свободных умов» *[К первому изданию 1880]*

* *
*

Тень: Давненько я тебя не слышала – вот и решила дать тебе повод поговорить.

Странник: Она говорит – но где? и кто это? Так и кажется, будто говорю я сам, только более тихим голосом.

Тень (выждав немного): А тебя разве не радует, что появился повод поговорить?

Странник: Богом клянусь – и всем, во что я не верю, – это говорит моя тень; слышу ее, но поверить в это не могу.

Тень: А ты потерпи и больше об этом не раздумывай – через какой-нибудь час все кончится.

Странник: Именно так я себе и представлял, когда в лесу под Пизой видел сначала двух, а потом пятерых верблюдов.

Тень: Славно, что оба мы так одинаково снисходительны друг к другу, когда у обоих ум одинаково за разум заходит: потому мы и в разговоре не станем друг на друга сердиться и сразу приставать с ножом к горлу, если чьи-то слова вдруг окажутся непонятны другому. А если кто-то не будет знать, что ответить, то достаточно сказать хотя бы что-нибудь: это справедливое условие, на котором я вообще веду разговор с человеком. И если беседа затягивается, то и самый мудрый успеет стать однажды дураком и трижды – простофилей.

Странник: Твоя скромность не льстит тому, кому высказана.

Тень: А я разве льстила?

Странник: Я-то думал, тень человека – это его тщеславие; а уж оно никогда не спросит, льстило ли оно.

Тень: Человеческое тщеславие, насколько мне известно, не осведомляется, как я делала это дважды, и о том, можно ли ему вступить в разговор: оно просто вступает в него.

Странник: Да, неучтиво я с тобой разговаривал, дражайшая моя тень: ведь я еще ни словом не обмолвился о том, как *рад* тебя слышать, а не просто видеть. Так знай, я

люблю тени, как люблю и свет. Тень не меньше, чем свет, нужна, чтобы лицо было красиво, речь – ясна, характер – добротен и стоек. Они друг другу не враги, напротив, они нежно держатся за руки, и если свет исчезает, то вслед за ним скрывается и тень.

Тень: И я ненавижу то же, что и ты, – ночь; я люблю людей, поскольку они – ученики света, и наслаждаюсь сиянием их глаз, когда они узнают новое и открывают, не уставая узнавать и открывать. Та тень, которую отбрасывают все вещи, когда на них падает солнечный луч познания, – это тоже я.

Странник: Кажется, я тебя понимаю, хотя сейчас ты и выразилась несколько призрачно. Но ты правду сказала: хорошие друзья там и сям обмениваются темными словами как знаками общего знания, которое должно остаться загадкой для любого постороннего. А мы с тобой хорошие друзья. Поэтому довольно предисловий! Несколько сотен вопросов давят мне на душу, а времени, отпущенного тебе на ответы, нам, может быть, и не хватит. Давай же посмотрим, насчет чего мы с тобой сойдемся со всей поспешностью и миролюбием.

Тень: Но ведь тени застенчивее людей: так не сообщай же никому о том, как мы с тобою говорили!

Странник: О том, *как* мы с тобою говорили? Да хранит меня небо от долгого плетения письменных бесед! Если бы Платон не так сильно увлекался хитросплетениями, его читатели сильнее увлекались бы Платоном. Беседа, восхитительная в жизни, будучи записанной и прочитанной, становится картиной со сплошь неверными перспективами: все или слишком близко, или чересчур далеко. – Но вот *о чем* мы с тобой договоримся-то, мне можно будет сообщить?

Тень: На это я согласна, ведь все увидят тут только твои взгляды: о тени же никто и не подумает.

Странник: Ты, вероятно, ошибаешься, дружище! Покамест в моих взглядах видели скорее мою тень, а меня самого – нет.

Тень: Твою тень, а не свет? Как это так?

Странник: Давай серьезно, милый мой шут! Серьезности потребует уже мой первый вопрос. –

1

О древе познания. – Правдоподобие, но не правда; свободоподобие, но не свобода – по этим двум плодам можно безошибочно отличить древо познания от древа жизни.

2

Разумность мироустройства. – Что мир *не* является воплощением некоей вечной разумности, можно окончательно доказать так: та *часть мира*, которую мы знаем – я имею в виду наш человеческий разум, – не слишком-то разумна. А если *она* не всегда и не всецело мудра и рациональна, то таков же и весь остальной мир; тут имеет силу вывод a minori ad majus, a parte ad totum[1], причем силу обязывающую.

3

«В начале было». – Возвеличивать самое начало – это остаточное метафизическое влечение, снова пускающее ростки при изучении истории и во что бы то ни стало велящее думать, будто в начале всех вещей всегда бывает что-то самое ценное и самое подлинное.

4

Мерило ценности истины. – Трудность восхождения – отнюдь не мерило высоты гор. А в науке должно быть не так! – говорят нам некоторые, желающие прослыть посвященными в нее, – как раз трудность достижения истины и должна быть решающей в определении ее ценности! Эта сумасшедшая мораль отталкивается от мысли, что «истины» – не более

---

1 от меньшей части к большей, от части к целому (*лат.*).

чем физкультурные снаряды, с которыми нам пришлось честно упражняться до одури, – мораль для атлетов и силачей от ума.

5

Словоупотребление и реальность. – Существует деланое пренебрежение ко всем тем вещам, которые люди воспринимают на самом деле как важнейшие для себя, – ко всем насущнейшим вещам. К примеру, утверждают, что положение «человек ест лишь для того, чтобы жить» – это гнусная *ложь*, как и то, что зачатие – подлинная цель всякого сладострастия. И наоборот, почтение к «важнейшим вещам» почти никогда не бывает вполне непритворным: священники и метафизики, правда, хорошо приучили нас в этих сферах к лицемерно-преувеличивающему *словоупотреблению*, но не перенастроили чувство, которое эти важнейшие вещи воспринимает не такими важными, как те, презираемые насущнейшие вещи. – Плачевным следствием этого двойного лицемерия, однако, всегда бывает то, что эти насущнейшие вещи, к примеру, еда, жилье, одежда, половые сношения, не становятся объектом постоянного непредвзятого *всеобщего* обдумыванья и изменения, а, поскольку это считается унизительным, изымаются из сферы серьезного интеллектуального и эстетического изучения; вот почему привычка и фривольность без труда берут верх над людьми легкомысленными, в особенности над неопытной молодежью. А с другой стороны, наши постоянные прегрешения против простейших законов тела и ума приводят всех нас, и молодых и старых, к постыдной зависимости и неволе – я имею в виду ту, по сути, ненужную зависимость от врачей, учителей и духовников, гнет которой и сейчас все еще лежит на всем обществе.

6

Земная бренность и ее главная причина. – Куда ни глянешь, всюду видишь людей, которые всю жизнь ели яйца, не замечая,

что продолговатые – самые вкусные, которые не знают, что гроза полезна для чрева, что ароматы благоухают сильнее в прохладном тихом воздухе, что чувство вкуса неодинаково в разных местах рта, что всякая трапеза, во время которой остро говорят или внимательно слушают, чинит вред желудку. Можно воротить нос от этих примеров нехватки наблюдательности, но тем больше причин сознаться в том, что большинство людей очень плохо видят, очень редко замечают *наинасущнейшие вещи*. А разве это должно быть безразлично? – Тогда подумаем о том, что из такой нехватки проистекают *почти все телесные и душевные людские недуги*: не знать, что нам полезно, а что вредно; быть *неразборчивым* и близоруким в *мелочах повседневной жизни* – в организации образа жизни, распорядка дня, времени и выборе партнеров для общенья, в работе и отдыхе, в приказывании и подчинении, в ощущении природы и искусства, в еде, сне и умственной деятельности – все это то самое, что для столь многих превращает землю в «юдоль слез». И пусть не говорят, что дело здесь, как и везде, в человеческом *неразумии*: напротив, разума тут более чем достаточно, просто он *неверно* ориентирован и *искусственно отвращен* от упомянутых насущнейших мелочей. Священники и учителя, а также утонченное властолюбие идеалистов любого сорта, и более грубых, и более возвышенных, уже ребенку внушают, что важно что-то совсем другое: спасение души, государственная служба, содействие науке либо же престиж и собственность – как средства оказать услугу всему человечеству, а вот личные потребности, крупные и мелкие нужды человека в каждый час суток – это нечто презренное или безразличное. – Уже Сократ всеми силами ополчился против этого высокомерного пренебрежения всем человеческим в пользу человека и любил, перефразируя выражение Гомера, напоминать о реальном круге и воплощении всех человеческих забот и раздумий: важно оно, и только оно, говорит он, – то, «что в твоем доме плохого ль, хорошего ль было».

7

Два средства утешения. – Эпикур, утолитель душ для поздней античности, обладал чудной проницательностью, которая

в наши дни все еще очень редка и которая гласит, что для успокоения чувств совсем не нужно решать последние и самые острые теоретические вопросы. К примеру, ему достаточно было сказать тем, кого мучил «страх перед богами»: «Если боги и есть, они о нас не заботятся» – вместо того, чтобы бесплодно и издалека обсуждать последний вопрос о том, есть ли боги вообще. Такая позиция куда более удобна и сильна: отход на несколько шагов от слушателя заставляет его быть внимательней и благосклонней. Но как только слушатель собирается доказать противоположное – что боги о нас заботятся, – в какие только недоразумения и дебри не приходится забраться ему, бедолаге, совершенно самостоятельно, без всякого коварства со стороны собеседника, которому нужно проявлять немало гуманности и понимания, чтобы, наблюдая эту драму, скрывать свое сострадание! Наконец бедолагой овладевает отвращение, этот сильнейший довод против любого тезиса, отвращение к собственному утверждению: он успокаивается и уходит прочь в том же настроении, какое свойственно и чистому атеисту: «Да что мне за дело до этих богов! Черт бы их всех побрал!» – В других случаях, особенно когда душу слушателей омрачала какая-нибудь наполовину физическая, наполовину моральная гипотеза, он эту гипотезу не опровергал, а, напротив, признавал, что, должно быть, так оно и есть, но что для объяснения того же самого явления существует *и еще одна* гипотеза, а потому, возможно, стоило бы подойти к делу как-то иначе. И в наши дни достаточно наличия *нескольких* гипотез, скажем, о происхождении угрызений совести, чтобы снять с души тень, которая с такой легкостью возникает от тяжких раздумий над одной-единственной умещающейся в поле зрения и потому чрезмерно переоцененной гипотезой. – Итак, тот, кто желает дать утешение людям в беде, злодеям, ипохондрикам, умирающим, пусть вспомнит о двух успокоительных приемах Эпикура, применимых в решении столь многих проблем. В своей простейшей форме они звучали бы так: во-первых: если дело и обстоит так, то нас это не касается; во-вторых: может быть так, но может быть и иначе.

8

В ночи. – Спускается ночь – и мы начинаем иначе ощущать все окружающее. Вот ветер, ходящий как бы запретными путями, шепчущий: он словно чего-то ищет, никак не находит и оттого сердится. Вот лампа, дающая тусклый красноватый свет, глядящая утомленно, неохотно противостоящая ночи, нетерпеливая рабыня неспящего человека. Вот дыхание спящих с его жутким ритмом, к которому, кажется, подсвистывает свою мелодию какая-то неутихающая забота, – мы ее не слышим, но когда вздымается грудь спящего, наше сердце стесняется, а когда грудь его падает, а дыхание замирает как бы в смертной тишине, мы говорим про себя: «Отдохни немного, несчастная, истерзанная душа!» – и всем живущим, чья жизнь так тяжела, мы желаем вечного покоя: ночь соблазняет к смерти. – Если бы у людей не было солнца и они боролись бы с ночью лунным светом и ламповым маслом, то что за философия окутала бы их своим покрывалом! Ведь уже слишком очевидно, что умственное и душевное существо человека в целом наполовину закрыто тьмой и отсутствием солнца, отуманивающим взор жизни.

9

Где возникло учение о свободе воли. – *Необходимость* распоряжается одним человеком в образе его страстей, другим – в виде привычки слушать и слушаться, третьим – как логика совести, четвертым – как каприз и озорное удовольствие от интрижек. Но каждый из этих четверых ищет *свободу* своей воли как раз там, где каждый из них закабален сильнее всего: это похоже на то, как если бы гусеница шелкопряда искала свободу своей воли как раз в плетении паутины. Отчего это так? Очевидно, оттого, что каждый считает себя свободным по большей части там, где сильнее всего его *ощущение жизни*, то есть, как уже сказано, то в страсти, то в долге, то в познании, то в озорстве. То, благодаря чему силен тот или иной человек, в чем его жизненные силы расширяются, всегда должно быть, как он непроизвольно думает, и стихией его свободы: зависимость и отупляющая скука,

независимость и яркость жизни для него – неизбежно связанные друг с другом пары. – Жизненный опыт, полученный человеком в общественно-политической сфере, здесь ошибочно переносится на сферу последних метафизических вопросов: ведь в первой из них сильный человек – это свободный человек, а яркое ощущение радости и горя, взлета надежд, отважного желания, могучей ненависти – неотъемлемые признаки людей властвующих и независимых, в то время как человек подчиненный, раб, живет жизнью придавленной и тусклой. – Учение о свободе воли – изобретение *господствующих* сословий.

10

Не чувствовать новых цепей. – Покуда мы не *чувствуем*, что от чего-то зависим, мы и считаем себя независимыми: ложное заключение, показывающее, насколько горд и властолюбив человек. Ведь он думает об этом, будто при любых обстоятельствах заметит и распознает зависимость, как только начнет ее испытывать, считая за верное, что *обыкновенно* живет в независимости и почувствует противоположное состояние сразу же, как только в виде исключения ее потеряет. – А что, если верно как раз обратное: что он *постоянно* живет в многообразной зависимости, но считает себя *свободным*, когда в силу укоренившейся привычки *больше не чувствует*, как давит на него цепь? Страдает же он от *новых* цепей: – обладать «свободной волей» значит на самом деле всего лишь не чувствовать новых цепей.

11

Свобода воли и обособление фактов. – Обычное наше неточное наблюдение воспринимает группу явлений как некоторое единство и называет ее фактом: а между ним и другим фактом оно домысливает про себя некое пустое пространство – каждый факт оно *обособляет*. Но в действительности все, что бы мы ни делали и ни узнавали, – вовсе не следствие фактов и пустых промежутков, а непрерывный поток. Так

вот, вера в свободу воли несовместима именно с представлением о непрерывном, однородном, нераздельном и неделимом течении: она предполагает, что *всякое отдельное действие обособленно и неделимо*; это своего рода *атомистика* в области воления и познания. – Если мы неточно понимаем характеры, то так же поступаем и с фактами: мы говорим об одинаковых характерах, об одинаковых фактах, *но ни того, ни другого не бывает*. Но ведь хвалим-то мы и порицаем, исходя лишь из той ложной предпосылки, что существуют *одинаковые* факты, что *виды* фактов упорядочены по категориям и что такому порядку соответствует некоторая иерархия ценностей: иными словами, мы *обособляем* не только отдельные факты, но и группы мнимо одинаковых фактов (добрых, злых, сострадательных, завистливых поступков и т.д.), – и в обоих случаях впадаем в заблуждение. Термин и понятие – очевиднейшая причина того, что мы верим в эту обособленность групп фактов: мы не только *обозначаем* ими вещи, но думаем, будто изначально постигаем с их помощью *суть* этих вещей. Слова и понятия и сейчас постоянно соблазняют нас представлять себе вещи более простыми, чем они есть, обособленными друг от друга, неделимыми, существующими независимо друг от друга. В *языке* скрыта философская мифология, прорывающаяся из него все снова, несмотря на всю предусмотрительность. Вера в свободу воли, то есть *одинаковых* фактов и *обособленных* фактов, в языке обретает своего неизменного евангелиста и заступника.

12

Фундаментальные заблуждения. – Человеку, чтобы чувствовать какое-либо душевное удовольствие или неудовольствие, необходимо впадать в одну из двух иллюзий: *либо* он верит в *одинаковость* некоторых фактов, некоторых ощущений – и тогда испытывает какое-либо душевное удовольствие или неудовольствие, сравнивая нынешние свои состояния с предшествующими и устанавливая их одинаковость или неодинаковость (зафиксированные всей его памятью); *либо* верит в *свободу воли*, думая: «Не надо мне было этого делать», «Это могло кончиться иначе», и тоже получает от

этого удовольствие или неудовольствие. Человечество не возникло бы без этих заблуждений, участвующих во всяком душевном удовольствии или неудовольствии, – ведь исходным переживанием человечества было и остается то, что человек – свободное существо в мире несвободы, вечный *чудотворец*, что бы он ни делал, добро или зло, изумительное исключение, сверхживотное, почти бог, смысл творения, отсутствие которого попросту невозможно, ключ к загадке космоса, великий повелитель природы, попирающий ее с презрением, существо, именующее свою историю *мировой историей*! – Vanitas vanitatum homo[1].

13

Сказать дважды. – Хорошо и правильно сразу же говорить об одной вещи надвое, давая ей левую и правую ногу. Истина, конечно, может стоять и на одной ноге, но с двумя ногами она может ходить и узнавать много нового.

14

Человек, комедиант мира. – Если бы в мире были существа поумнее человека, то они хотя бы могли насладиться юмором, заключенным в том, что человек считает себя конечным пунктом всего мироздания, а человечество по-настоящему довольствуется лишь мыслью о своей космической миссии. Если мир сотворил Бог, то человека он сотворил *обезьяною Бога*, как неизменный объект для увеселения в своих затяжных эонах. Тогда музыка сфер, звучащая вокруг Земли, – это, вероятно, издевательский смех всех остальных созданий, звучащий вокруг человека. Этот заскучавший бессмертный щекочет свое животное-любимчика *болью*, чтобы потешить себя его трагически-гордыми жестами и толкованиями своих страданий и вообще умственной изобретательностью самого тщеславного из созданий – будучи изобретателем этого изобретателя. Ведь тот, кто при-

1 Ничтожнейшее существо – человек (*лат.*).

думал человека для потехи, был умнее его, а заодно и больше наслаждался умом. – Но даже тут, где наша человечность вдруг собралась смириться по своей собственной воле, наше тщеславие играет с нами шутку, поскольку мы, люди, хотим быть чем-то вполне несравненным и восхитительным хотя бы в *этом* тщеславии. Наше уникальное место в мире! Ах, это дело в высшей степени невероятное. Астрономы, которым иногда в действительности становится доступным поле зрения далеко за пределами Земли, дают понять, что капля *жизни* в мире ничего не значит в общем существовании чудовищного океана становления и гибели, что в бессчетных созвездиях имеются те же условия возникновения жизни, что и на Земле, то есть очень многие, – и это, уж конечно, всего лишь горсточка в сравнении с бесконечно многими, никогда не имевшими ни малейших признаков жизни или давным-давно выздоровевшими от нее; что жизнь на каждом из этих созвездий в сравнении со сроком их существования есть миг, мгновенная вспышка, а между ними – долгие, долгие промежутки, то есть никак не цель и окончательный замысел их бытия. Может быть, муравьи в лесу так же охотно воображают себе, будто они – цель и замысел леса, как это делаем мы, почти невольно связывая в своей фантазии конец человечества с гибелью всей земли: мало того, мы еще проявляем скромность, когда на этом и останавливаемся, не пытаясь дать распоряжение об общей гибели мира и богов, чтобы отметить ею поминки по последнему человеку. Даже самый хладнокровный астроном может представить себе Землю без жизни только в качестве сияющего и парящего в пространстве могильного холма для человечества.

15

Человеческая скромность. – Как мало удовольствия хватает большинству, чтобы находить жизнь хорошей, насколько же скромен человек!

16

В каких делах требуется безразличие. – Нет ничего более превратного, чем выжидать, пока наука не выведет когда-нибудь окончательное решение относительно начала и конца каждой вещи на свете, а покуда мыслить (и особенно верить) на *традиционный* лад – как это столь часто нам рекомендуют. Влечение, состоящее в желании иметь в этой сфере сплошь одни *гарантии*, есть остаточное *религиозное влечение*, не более того, – скрытая и лишь мнимо скептическая разновидность «метафизической потребности», спаренная с задней мыслью, что никаких перспектив получить эти окончательные гарантии еще долгое время не будет, а до той поры «верующий» вправе не тревожиться обо всей этой сфере. Нам совсем не *нужны* эти гарантии относительно крайних пределов, чтобы вести полную и дельную человеческую жизнь, точно так же как не нужны они муравью, чтобы быть хорошим муравьем. Напротив, мы должны уяснить себе, откуда, собственно, берется то фатально большое значение, какое мы так долго придавали этим вещам, а для этого нам нужна *история* моральных и религиозных чувств. Ведь упомянутые острейшие вопросы познания сделались для нас столь значительными и ужасными только благодаря воздействию этих чувств: такие понятия, как вина и кара (и притом вечная кара!), протащили в самые крайние области, *куда* еще стремится проникнуть, но не проникает умственный взор, – и оказались в этом тем менее предусмотрительны, чем темнее были эти области. Люди издревле отчаянно фантазировали там, где невозможно установить ничего определенного, убеждая потомков с полной серьезностью воспринимать свои фантазии как истину, напоследок козырнув отвратительным доводом: что вера обладает большею ценностью, нежели знание. Лишь теперь в отношении этих последних вопросов требуется не знание о вере, а *равнодушие к вере и к мнимому знанию* в этих областях! – Нам должно быть важнее *все* другое, а не то, что доселе нам усердно преподносили как наиважнейшее – я имею в виду вопросы: «для чего существует человек?», «каков его удел после смерти?», «как ему примириться с Богом?» и другие подобные курьезы. Столь же мало, как эти вопросы верующих,

нас касаются и вопросы философов-догматиков, кем бы они ни были – идеалистами, материалистами или реалистами. Все они так и думают, как бы толкнуть нас к выбору в областях, где не нужны ни вера, ни знание; даже для самых отчаянных любителей познания полезнее, если все, что можно исследовать, все доступное разуму будет окружать источающее туманы, обманное болото, зона непроницаемого, постоянно текущего и неуловимого. Светлый и близкий, насущнейший мир знания неизменно растет в ценности именно через сравнение с царством тьмы на краю земель знания. – Мы снова должны стать *добрыми соседями насущнейшим вещам* и не глядеть с таким презрением к ним, как прежде, поверх них, разинув рот, на облака и ночных чудищ. В лесах и пещерах, в болотистых местностях и под сумрачными небесами – там, как на ступенях культуры целых тысячелетий, человек жил слишком долго, и жил скудно. Там он *научился презирать* настоящее, соседнее, жизнь и себя самого – а мы, обитатели *более светлых* полей природы и духа, и до сих пор по наследству носим в своей крови частицу этого яда презрения ко всему насущному.

17

Глубокие объяснения. – Тот, кто дает какому-то месту из автора «более глубокое объяснение», чем тот имел в виду, не разъясняет автора, а *затемняет*. Так, только еще хуже, наши метафизики относятся к тексту природы. Ведь чтобы пристроить свои глубокие объяснения, они нередко сначала прилаживают текст для себя : иными словами, они его *портят*. В качестве курьезного примера порчи текста и затемнения автора можно привести здесь мысли Шопенгауэра о беременности женщин. Признак постоянного наличия воли к жизни, говорит он, это соитие; признак света познания, снова присоединившегося к этой воле и оставляющего возможность спасения, причем света в высшей степени ясного, это возобновляющееся вочеловечение воли к жизни. Знак такого вочеловечения – беременность, которая поэтому и не скрывает себя, а даже с гордостью показывает, в то время как соитие прячется, словно преступник. Он утверж-

дает, что *всякая женщина*, застигнутая при совокуплении, от стыда готова провалиться сквозь землю, но *«свою беременность выставляет напоказ без малейших следов стыда, мало того, с какою-то гордостью»*. Прежде всего, это состояние не так-то легко выставлять напоказ *больше*, чем оно выставляется напоказ само; но поскольку, однако, Шопенгауэр подчеркивает как раз *только* преднамеренность этого выставления напоказ, то он готовит для себя текст, чтобы тот подходил к уже выбранному «объяснению». Кроме того, то, что он говорит об универсальности объясняемого феномена, неверно – ведь он ведет речь о «всякой женщине»; но многие женщины, особенно те, что помоложе, в этом состоянии даже перед ближайшими родственниками часто страдают мучительной стыдливостью; и если женщины более зрелого и самого зрелого возраста, а особенно из низших слоев народа, и впрямь гордятся таким состоянием, то они, видимо, дают этим понять, что *все еще* желанны для своих мужей. Когда, завидев ее, сосед, соседка или случайный прохожий говорит или думает: «Господи, да неужели...», – то женское тщеславие при низком умственном уровне все еще охотно принимает такую милостыню. И наоборот, если бы утверждения Шопенгауэра были верны, то как раз самые умные и духовно развитые женщины, как правило, публично выражали бы ликование по поводу своего состояния: ведь в большинстве случаев они собираются родить вундеркинда интеллекта, человека, в котором «воля» вдруг снова может «отказаться от себя» в пользу общего блага; зато у глупых женщин были бы все основания скрывать свою беременность с еще большей стыдливостью, чем все, что они скрывают. – Нельзя сказать, что ничего этого в реальной жизни не бывает. Но если бы, положим, в целом Шопенгауэр был совершенно прав в том, что в состоянии беременности женщины показывают свое самодовольство больше, чем делают это обычно, то все-таки сподручней было бы взять другое объяснение, чем его. Можно было бы осмыслить квохтанье курицы даже еще *до* кладки яйца, содержания, как восклицание: «Глядите, глядите! Я сейчас снесу яйцо! Я сейчас снесу яйцо!»

18

Современный Диоген. – Прежде чем искать человека, найди фонарь. – Может, это будет фонарь циника? –

19

Имморалисты. – Нынешним моралистам придется смириться с бранной кличкой имморалистов: ведь они вскрывают мораль. Но кто хочет вскрывать, должен убивать: однако лишь для того, чтобы лучше знать, лучше делать выводы, лучше жить, а не для того, чтобы просто заниматься вскрытием. Однако люди, увы, все еще думают, будто всякий моралист – пример для подражания и во всех своих поступках: они путают моралистов с проповедниками морали. Моралисты прежних времен недостаточно занимались вскрытием и слишком много проповедовали: поэтому упомянутая путаница и названное неприятное следствие и относятся к нынешним моралистам.

20

Не следует путать. – Моралисты, которые рассматривают великодушный, сильный, самоотверженный характер, скажем, такой, как у героев Плутарха, или чистое, просветленное, дышащее теплом душевное состояние по-настоящему добрых мужчин и женщин как сложные проблемы познания и исследуют их зарождение, обнаруживая простоту в мнимой сложности и направляя взор на сплетение мотивов, на вплетенные в них тонкие подмены понятий и от века наследственные, постепенно закрепляющиеся индивидуальные и групповые чувства, – эти моралисты по большей части *отличаются* как раз от тех, с кем их тем не менее по большей части *путают*: от умов мелкотравчатых, вообще не верящих в подобные характеры и душевные состояния и мнящих, будто спрятали собственное убожество за блеском величия и чистоты. Моралисты говорят: «Тут есть проблемы», а те убожества говорят: «Тут обманщики и об-

маны»; стало быть, они *отрицают существование* именно того, что те пытаются *объяснить*.

21

Человек как измеряющий. – Возможно, вся нравственность человечества берет свое начало от того чудовищного внутреннего возбуждения, которое охватило первобытных людей, когда они открыли меру и измерение, весы и взвешивание (ведь слово «человек» означает «измеряющий», и им захотелось *именовать* себя согласно своему величайшему открытию!). Овладев такими представлениями, они взобрались в сферы, совершенно не поддающиеся измерению и взвешиванию, но изначально такими не казавшиеся.

22

Принцип равновесия. – Разбойники и могущественные люди, сулящие общине защиту от разбойников, вероятно, в сущности, очень похожи, разве что вторые извлекают свою выгоду иначе, чем первые: а именно регулярной данью, которую платит им община, а уже не шантажируя ее пожаром. (Это те же самые отношения, что и между купцами и пиратами, которые долгое время занимались одним и тем же: когда один род деятельности кажется им нецелесообразным, они выбирают другой. Вообще-то даже и сейчас вся купеческая мораль – всего лишь *более хитрая версия* пиратской морали: купить как можно дешевле, по возможности за цену, меньшую, чем предпринимательские затраты, – а продать как можно дороже.) Суть дела вот в чем: люди могущественные обещают поддерживать *равновесие* в отношениях с разбойниками; с точки зрения слабых людей, это возможность хоть как-то жить. Ведь им либо приходится самим объединиться в *уравновешивающую* силу, либо подчиниться кому-то уравновешивающему (и оказывать ему услуги за его дела). Последнему способу отдают предпочтение, поскольку он, по сути, держит под постоянной угрозой *два* вида опасных существ: первых посредством вторых, вто-

рых – соображениями их выгоды; ведь последним выгодно обращаться с подчиненными милостиво или сносно, чтобы те могли кормить не только себя, но и своих владык. На самом деле и тогда в какой-то мере не исключаются суровость и жестокость, но если сравнить с всегда возможным прежде полным *уничтожением*, при таких обстоятельствах люди все-таки уже дышат с облегчением. – Вначале община – это организация слабых для поддержания *равновесия* с угрожающими опасностью силами. Организация, предназначенная для перевеса в силах, была бы целесообразнее, если бы оказалась настолько сильной, чтобы навсегда *уничтожить* противостоящую силу: а если речь идет об одном отдельно взятом могущественном вредителе, то такие *попытки* и предпринимаются. Но если этот один – вождь племени или у него много сторонников, то его быстрое, окончательное уничтожение немыслимо, и тогда следует ожидать длительной, затяжной *распри*: она, однако, приносит с собой общине менее всего желательное состояние, потому что из-за нее она теряет время, нужное, чтобы с необходимой регулярностью заботиться о своем пропитании, и постоянно ощущает угрозу для всех результатов своего труда. Поэтому община предпочитает поднять свою способность обороняться и нападать на точно такую же высоту, на какой стоит сила опасного соседа, и дать ему понять, что на ее чаше весов сейчас ровно столько же меди: так почему бы не сделаться добрыми друзьями? – Итак, *равновесие* – очень важное понятие в истории древнейших учений о праве и морали; равновесие – основа справедливости. Когда в эпохи более примитивные последняя говорит: «око за око, зуб за зуб», она предполагает достигнутое равновесие и стремится *сохранить* его посредством такого возмещения: поэтому если теперь кто-то совершает проступок в отношении другого, этот другой уже не осуществляет свою месть со слепой яростью. А благодаря jus talionis[1] нарушенное равновесие сил *восстанавливается*: ведь в тогдашних первобытных условиях глаз, кисть руки – это *скорее* элемент силы, скорее вес на весах. – В общине, где все считают себя в равновесии, к проступкам, то есть к нарушениям принципа

---

1 право на равное возмездие (*лат.*).

равновесия, применяются *позор* и *кара*: позор – это вес, поставленный на весы против индивида, хватившего через край и этим добывшего себе выгоды: теперь позор заставляет его потерпеть ущерб, упраздняющий и *перевешивающий* его былые выгоды. Точно так же дело обстоит и с наказанием: против перевеса, который присваивает себе любой преступник, она выставляет куда больший противовес: против насилия – тюрьму, против воровства – компенсацию ущерба плюс штраф. Так нарушителям *напоминают*, что своим деянием они отмежевались *от* общины и ее моральных *выгод*: она рассматривает их как неравных, слабых, отброшенных в сторону; поэтому наказание – это не только возмещение ущерба, оно несет с собой нечто *большее*, элемент *суровости естественного состояния*; именно о *нем-то* община и хочет *напомнить*.

23

Имеют ли право наказывать приверженцы учения о свободе воли? – Люди, которые осуждают и наказывают в силу своей профессии, в каждом таком случае пытаются установить, несет ли вообще преступник ответственность за свое злодеяние, *мог* ли он действовать разумно, руководствуясь какими-либо *основаниями* – или же действовал бессознательно либо под принуждением. Если его наказывают, то наказывают за то, что худшие основания он предпочел лучшим: стало быть, он должен был их *знать*. Там, где такого знания нет, человек, согласно господствующему воззрению, несвободен и невменяем: но допустим, что его незнание, скажем, ignorantia legis[1], есть следствие преднамеренного нежелания знать; тогда, значит, он предпочитал худшие основания лучшим уже в то время, когда не желал узнать то, что должен был узнать, а теперь обязан поплатиться последствиями своего неверного выбора. Но вот если он не понимал этих лучших оснований, скажем, по тупоумию или идиотизму, то его обычно не наказывают: у него, как говорят в таком случае, не было выбора, он действовал, как живот-

1 незнание закона (*лат.*).

ное. Умышленный отказ от благонамеренной разумности поступка – критерий, с которым подходят нынче к подлежащим наказанию преступникам. Но каким образом кто-то может быть умышленно более неразумным, чем должен быть? Откуда берется его решение, когда на чашах весов лежат хорошие и плохие мотивы? Значит, не из заблуждения, не из слепоты, не из внешнего, а также и не из внутреннего принуждения (кстати, подумаем о том, что любое так называемое «внешнее принуждение» – это не что иное, как внутреннее принуждение посредством страха и боли). Так откуда же (спрашивают снова и снова)? Значит, дело, видимо, не в *разуме*, если он и не мог выбрать лучшие основания? Вот тут-то и призывают на помощь «свободную волю»: выбирает, должно быть, *полный произвол*, наступает, видимо, момент, когда не действует никакой мотив, когда деяние происходит чудесным образом, из ничего. В случае, где не должно быть никакого произвола – ведь разум, осведомленный о законе, о запрещенном и разрешенном, не мог, как полагают, оставить никакого выбора, а должен был сработать как принуждение и высшая власть, – наказывают эту мнимую *произвольность*. Стало быть, преступника наказывают, потому что он воспользовался «свободной волей», то есть потому что действовал без оснований, хотя должен был действовать на каких-то основаниях. Но *почему* же он это сделал? Вот об этом-то нельзя даже и *спрашивать*: это был поступок без «потому», без мотива, без истории, нечто бесцельное и бессмысленное. – Но *за такой поступок*, согласно первому из упомянутых условий всякой наказуемости, *даже нельзя наказывать*! Нельзя признать и такой вид наказуемости, который предполагает, будто тут что-то *не* было сделано, что-то не исполнено, а разум *не* был использован; ведь неисполнение в любом случае произошло *без умысла*, а наказуемым считается только умышленное неисполнение требований закона. Преступник действительно предпочел плохие основания хорошим, но *без* основания и умысла; он действительно не воспользовался своим разумом, но не для того, *чтобы* им не пользоваться. Критерий, по которому оценивают наказуемость преступника – умышленный отказ от разумности поступка, – как раз он-то и упраздняется гипотезой «свободной воли». Приверженцы

учения о «свободной воле», вы *не имеете права* наказывать – согласно своим же собственным принципам! – А эти принципы – в сущности, не что иное, как очень странная понятийная мифология; курица же, которая ее высидела, сидела на своих яйцах в стороне от всякой реальности.

24

Об оценке преступника и его судьи. – Преступник, знающий весь ход событий, не считает свое деяние таким уж выходящим за пределы порядка и нормальной жизни, как те, кто его судят и порицают; но наказание они определяют ему, исходя из степени *удивления*, охватывающего их при виде этого деяния как чего-то ненормального. – Если сведения, имеющиеся у адвоката преступника относительно всего дела и его предыстории, достаточно обширны, то так называемые смягчающие обстоятельства, которые он приводит одно за другим, в конце концов *должны* смягчить всю вину без остатка. Или, выражаясь еще яснее: адвокат шаг за шагом будет *смягчать* упомянутое осуждающее и определяющее наказание *удивление* и наконец совершенно его устранит, вынуждая всякого честного слушателя дела сказать себе: «Ему пришлось действовать так, как он действовал; если мы его накажем, то наказана будет вечная необходимость». – Определять степень наказания по *степени осведомленности* об истории преступления или по в принципе *достижимой степени осведомленности вообще*, – разве это не противоречит всякой справедливости? –

25

Обмен и справедливость. – Обмен будет честным и законным, лишь если каждый из его участников будет запрашивать столько, насколько ценной ему кажется его вещь, насколько он включает в свой счет усилия, которых она ему стоила, ее редкость, затраченное время и т. д., а также цену для любителей. Но если он запрашивает цену, думая о *максимуме, какой сможет заплатить другой*, то он – изощренный разбой-

ник и вымогатель. – Если объект обмена – деньги, то надо принять во внимание, что один и тот же франконский талер в руках богатого наследника, батрака, купца, студента – совершенно разные вещи: каждый будет иметь право получить за него много или мало смотря по тому, сколько он сделал, чтобы его добыть, – почти ничего или много: это было бы справедливо; в действительности же, как известно, все наоборот. В великом мире денег талер самого ленивого богача дает больше прибыли, чем талер человека бедного и работящего.

26

Правовые состояния как средства. – Право, основанное на соглашении *равных*, существует, пока сила договорившихся сторон в точности или примерно равна; право создано благоразумием, чтобы положить конец вражде и *бесполезному* расточительству примерно равных силами. Но *столь же непреложно* ему кладется конец, когда одна сторона *оказывается* заметно *слабее* другой: тогда она подчиняется, а право *прекращается*, но результат будет тот же, что и достигнутый посредством права. Ведь теперь *благоразумие* взявшего верх советует ему *щадить* силы подчинившегося и не расточать их понапрасну: и положение подчинившегося нередко бывает более благоприятным, чем было во времена равновесия. – Стало быть, правовые состояния суть временные *средства*, продиктованные благоразумием, а вовсе не цели. –

27

Объяснение злорадства. – Злорадство возникает оттого, что каждый в каком-нибудь хорошо известном ему отношении чувствует себя плохо, ощущая тревогу, раскаяние или боль: зло, касающееся другого, *уравнивает* его с нами, утоляет нашу зависть. – А если мы чувствуем себя хорошо, то все равно накапливаем в себе несчастья другого, словно капитал, чтобы, если уж беда постигнет нас самих, погасить ее им; мы и тут испытываем «злорадство». Умонастроение,

ориентированное на равенство, прикладывает, стало быть, свои мерки к сфере удачи и случая: злорадство – самое обыкновенное проявление торжества и восстановления равенства, даже в пределах высшего миропорядка. Злорадство существует лишь с той поры, когда человек научился видеть в другом человеке равного себе, то есть со времен появления общества.

28

Произвол в определении наказаний. – Большинство преступников относятся к своему наказанию, как женщины – к зачатию своих детей. Они проделали то же самое и десять, и сто раз, не подозревая о худых последствиях: но вот их ловят, а потом наказывают. Привычка как будто должна была бы сделать более извинительной вину, за которую их наказывают; ведь речь идет о постоянной склонности, а ей противиться труднее. Однако если возникло подозрение в рецидивизме, преступника, наоборот, наказывают более сурово; привычка считается основанием для отказа от снисходительности. Образцовый образ жизни, который преступник вел до совершения своего деяния и на фоне которого его преступление предстает тем более ужасным, должно, как будто бы, повышать меру наказания! Но он обычно его смягчает. Таким образом, все мерки подгоняются не к преступнику, а к обществу, к его ущербу и опасности: прежняя полезность человека погашается вредом, нанесенным им один раз, прежний вред суммируется с обнаруженным теперь, а потому и наказание определяется максимальное. Но если уж на такой манер прошлое человека наказывают или награждают (это относится к первому случаю, где меньшее наказание – награда) вместе с настоящим, то надо было пойти еще дальше в прошлое, наказывая и награждая за причину того или иного прошлого, – я имею в виду родителей, воспитателей преступника, общество, в котором он рос, и т. д.; тогда во множестве случаев обнаружилась бы та или иная причастность к вине и *судей.* Произвол – останавливаться только на преступнике, наказывая прошлое: уж если нет желания признать абсолютную простительность

всякой вины, то нужно останавливаться на каждом конкретном случае, не заглядывая дальше в прошлое: иными словами, *изолировать* вину, никак не связывая ее больше с прошлым, – в противном случае будет совершен грех против логики. Вы, свободно волящие, – вам, напротив, следует сделать необходимый вывод из своего учения о «свободной воле» и отважно заявить: *«Ни одно преступное деяние не имеет прошлого»*.

29

Зависть и ее более благородный брат. – Там, где равенство обосновалось действительно прочно и надолго, возникает та склонность, в целом слывущая безнравственной, которая была бы немыслима в естественном состоянии: *зависть*. Завистник чувствует любое возвышение другого над уровнем общей массы и хочет, чтобы тот понизился до этого уровня – либо хочет подняться до него сам. Отсюда – два различных образа действия, которые Гесиод описал как добрую Эриду и злую. Точно так же в состоянии равенства возникает возмущение по поводу того, что кому-то приходится худо, потому что он оказался *ниже* подобающего ему равного уровня, а другому живется привольно потому, что он оказался выше равных себе: это аффекты натур *более благородных*. В вещах, не зависящих от человеческого произвола, они видят отсутствие права и справедливости, иными словами, они требуют, чтобы равенство, признаваемое человеком, было признано природою и случаем, и досадуют, что людям равного положения достается неравная участь.

30

Зависть богов. – «Зависть богов» возникает, когда человек менее уважаемый в чем-то уравнивает себя с вышестоящим (подобно Аяксу) или же *уравнивается* с ним благодаря милости судьбы (подобно Ниобе, этой более чем плодовитой матери). В рамках *общественной* иерархии эта зависть предъявляет требование, чтобы заслуги каждого *не превышали* уро-

вень его сословия, мало того, чтобы в таком же положении была его удача, а в особенности – чтобы его самооценка не выходила за пределы этих границ. «Зависть богов» часто выпадает на долю генералов-победителей, а также учеников, создавших мастерское произведение.

31

Тщеславие как остаточное влечение необщественного состояния. – Поскольку люди установили между собой *равенство* ради собственной безопасности, чтобы основать общину, однако такой подход к делу, по сути, направлен против природы индивида и является чем-то навязанным, то, по мере того как всеобщая безопасность становилась все более гарантированной, добивались перевеса новые ростки старого влечения: это проявляется в размежевании сословий, в притязаниях на профессиональные звания и привилегии, в тщеславии вообще (манеры, костюм, язык и т. д.). Но как только снова начинает ощущаться опасность, грозящая обществу, более многочисленные индивиды, не сумевшие добиться перевеса в состоянии всеобщего спокойствия, снова пытаются установить состояние равенства: тогда абсурдные исключительные права и проявления тщеславия на некоторое время исчезают. Но когда общество рушится совершенно и все оказывается в анархии, тотчас вырывается наружу естественное состояние – беспечное и беззастенчивое неравенство, как, согласно сообщению Фукидида, случилось на Коркире. Не существует ни естественного права, ни естественного бесправия.

32

Нравственная справедливость. – Нравственная справедливость – это усовершенствованная правовая справедливость, возникающая среди людей, не нарушающих равенства в общине: на те случаи, для которых закон не предусматривает ничего, переносится та тонкая осторожность равновесия, что оглядывается назад и заглядывает вперед; ее максима

гласит: «Как ты со мной, так и я с тобой». Aequum[1] означает в точности вот что: «дело *соответствует нашему равенству*; таковое смягчает и наши маленькие различия до видимости равенства и требует, чтобы мы прощали друг другу многое из того, чего прощать не *должны*».

33

Составные части мести. – Слово «месть» такое короткое – так и кажется, что в него не может уместиться ничего, кроме единого корня понятия и чувства. Вот люди все еще и стараются найти такой корень: так, к примеру, наши экономисты еще не устали вынюхивать такое единство в слове «ценность», разыскивая изначальное корневое понятие ценности. А ведь на самом деле все слова – карманы, куда можно вдруг засунуть то одно, то другое, то сразу многое! Так и «месть» – то одно, то другое, то нечто очень сложносоставное. Надо различать в нем, во-первых, тот оборонительный ответный удар, который мы почти непроизвольно наносим даже неживым предметам, причинившим нам вред (например, движущимся машинам): смысл нашего ответного движения в том, чтобы предотвратить повреждение, остановив машину. Иногда, чтобы добиться этого, ответный удар должен быть настолько силен, что неизбежно разрушает машину; но если она слишком крепка, чтобы один человек мог разрушить ее сразу, тот все равно нанесет самый сильный удар, на какой только способен, – как бы совершая последнюю попытку. Так же люди ведут себя и в отношении других людей, наносящих им вред, при непосредственном ощущении этого вреда; если угодно, можно назвать это действие актом мести; только нужно помнить, что здесь приводит в действие свой разумный механизм исключительно самосохранение и что при этом человек думает на самом деле не о вредящем ему, а только о самом себе: мы поступаем так, *не* желая нанести ответный вред, а лишь для того, чтобы без вреда для здоровья и жизни *выбраться из передряги*. – Требуется *время*, если человек переносит мысли с себя

---

1 ровное место; правда, справедливость (*лат.*).

на противника, решая вопрос о том, как можно нанести ему наиболее чувствительный удар. Так бывает при втором виде мести: его условие – мысленное определение того, насколько раним и уязвим другой; тут человек хочет сделать другому больно. Зато предохранение себя от дальнейшего вреда так мало занимает мысли мстящего, что он чуть ли не систематически допускает нанесение себе вреда и дальше, очень часто хладнокровно идя ему навстречу. Если при первом виде мести ответный удар, предваряющий следующий из возможных, делал максимально сильным страх, то здесь царит почти полное равнодушие к тому, что *сделает* противник; сила ответного удара определяется только тем, что он нам *сделал*. – А что же он сделал? И что нам толку от того, если он сейчас страдает, заставив страдать нас прежде? Речь идет о некоем *восстановлении*, в то время как акт мести первого рода служит лишь *самосохранению*. Скажем, действия противника отняли у нас имущество, звание, друзей, детей – эти потери не вернешь назад местью, и восстановление касается только какой-то *побочной потери*, не затрагивая всех упомянутых. Месть для восстановления не предохраняет мстителя от получения дальнейшего вреда, она не заглаживает перенесенного вреда – за исключением одного случая. Если в результате действий противника пострадала наша *честь*, то месть может *восстановить* ее. Однако она претерпевала ущерб в каждом случае, когда нас заставляли страдать умышленно: ведь противник доказывал этим, что он нас не *боялся*. Осуществляя месть, мы доказываем, что тоже его не боимся: в этом и заключается выравнивание, восстановление. (Намерение продемонстрировать полное отсутствие *страха* у некоторых лиц идет так далеко, что опасность мести (потеря здоровья, жизни или иной какой ущерб) для них же самих они считают неизбежным условием всякой мести. Поэтому они идут путем дуэли, хотя суды дают им возможность получить удовлетворение за оскорбление: но восстановления чести в условиях безопасности им недостаточно, поскольку оно не может показать их бесстрашие.) – В первой из упомянутых разновидностей мести именно страх заставляет нанести ответный удар: а здесь это бесстрашие, которое, как уже сказано, хочет *проявить себя* через ответный удар. – Нет, стало быть, казалось

бы, ничего более различного, чем внутренняя мотивировка того и другого образа действия, которую называют одним словом «месть»: тем не менее очень часто случается, что мстящему не ясно, что именно толкнуло его совершить соответствующий поступок; может быть, он нанес удар из страха и ради самосохранения, но потом, когда у него появилось время поразмышлять о позиции ущемленной чести, убеждает себя, что должен был отомстить ради своей чести: – этот мотив, кстати, во всяком случае *более благороден*, чем другой. При этом еще важно, воспринимает ли он свою честь оскорбленной в глазах других (света) или только в глазах оскорбившего: в последнем случае он предпочтет тайную месть, в первом же – публичную. В зависимости от того, мыслит ли он себя сильным или слабым в восприятии оскорбителя и свидетелей, месть его будет более жестокой или более мягкой; если же он лишен всякого воображения на этот счет, то он вообще не будет думать о мести; ведь тогда у него не будет чувства «чести», а, значит, это чувство невозможно будет и оскорбить. Не думал бы он о мести и в том случае, если бы *презирал* оскорбителя и свидетелей оскорбления: ведь они, будучи презренными, не могут дать ему чести, а потому не смогут ее и лишить. Наконец, он откажется от мести в том не таком уж и редкостном случае, если любит нанесшего оскорбление: правда, тогда он потеряет честь в его глазах и, возможно, в результате станет менее достойным ответной любви. Но ведь и отказ от всякой ответной любви – это жертва, на которую готова любовь, если только *запрещает себе причинение боли* любимому человеку: это значило бы причинить себе самому больше боли, чем причиняет ее такая жертва. – Подведем итог: мстить будет всякий человек, если он не бесчестен, или не презирает причинившего ему вред и оскорбившего его, или не любит от всего сердца. А если он обращается в суд, то ищет там мести как частное лицо: но, кроме того, будучи дальновидным и предусмотрительным членом общества, – ищет мести со стороны общества человеку, который общество не *уважает*. Таким образом судебное наказание *восстанавливает* как личную, так и общественную честь: это значит, что наказание есть мщение. – В наказании, безусловно, заключен и другой, названный первым элемент мести: ведь

с его помощью общество достигает *самосохранения* и наносит ответный удар ради *необходимой самообороны*. Наказание призвано предотвращать *дальнейший* ущерб, *остужать головы*. На такой лад наказание и впрямь связывает между собой два столь различных элемента мести – это-то, наверное, как правило, и поддерживает упомянутую путаницу в понятиях, в силу которой мстящий человек обычно не знает, чего хочет добиться на самом деле.

34

Добродетели ущерба. – Как члены общества мы не позволяем себе практиковать некоторые добродетели, которые нам как частным лицам приносят величайшую честь и кое-какое удовольствие, к примеру, проявление милости и снисходительности в отношении людей, совершивших промахи всякого рода, – в принципе любой образ действий, при котором выгода для общества пострадала бы от нашей добродетели. Никакая судейская коллегия перед лицом своей совести не может позволить себе актов милости: такой привилегией наделен лишь король *как личность*; отрадно, когда он ею пользуется, давая пример того, что оказывать милость – дело желательное, но только не для общества. Последнее, стало быть, признает лишь выгодные для себя или хотя бы безвредные добродетели (которые не наносят ущерба, а то и приносят проценты, – такова, к примеру, справедливость). Упомянутые добродетели ущерба, значит, не могли возникнуть *в обществе*, ведь еще и в наши дни, стоит только сложиться любому крохотному обществу, их встречают там в штыки. Стало быть, это добродетели, присущие людям, не стоящим в равном с другими положении, изобретенные человеком высокопоставленным, обособленным, это добродетели господские, с задней мыслью, гласящей: «Я достаточно могуществен, чтобы позволить себе претерпеть очевидный ущерб, это доказательство моей власти», – иными словами, добродетели, родственные *гордости*.

35

Казуистика выгоды. – Если бы на свете не было казуистики выгоды, то не существовало бы и казуистики морали. Нередко случается, что и самого свободного и утонченного разума не хватит, чтобы из двух вещей безошибочно выбрать ту, которая несет наибольшую выгоду. В таких случаях выбирают потому, что выбирать приходится, а после страдают своего рода морской болезнью чувства.

36

Как становятся лицемером. – Лицемером становится всякий нищий; так же бывает с каждым, кто делает своей профессией какой-нибудь изъян, какое-нибудь бедственное положение (личной или общественной природы). – Нищий воспринимает этот изъян далеко не так остро, как ему приходится *заставлять* воспринимать его же других, если он хочет кормиться нищенством.

37

Разновидность культа страстей. – Вы, очковтиратели и философские ящерицы, отбрасывающие хвост, говорите об *ужасном характере* человеческих страстей, чтобы обвинить характер всего мироздания. Уж будто бы всюду, где имела место страсть, имело место и нечто ужасающее! Уж будто бы в мире неизменно должен иметь место этот тип ужасного! – Это вы сами своим пренебрежением *к мелочам*, своей нехваткой самонаблюдения и наблюдения над теми, которые подлежат воспитанию, дали страстям превратиться в таких чудовищ, что теперь одно только слово «страсть» приводит вас в ужас! Вашим делом было – а сейчас это наше дело – *лишить* страсти их ужасающего характера и этим помешать им сделаться опустошительным горным потоком. – Не стоит раздувать свои ошибки до масштабов неизбежной фатальности; лучше давайте честно поучаствуем в разрешении задачи – превратить все страсти человечества в радости.

38

Угрызения совести. – Когда нас грызет совесть, это такая же глупость, как когда собака грызет камень.

39

Происхождение прав. – Права восходят в первую очередь к *обычаю*, обычай – к однажды достигнутому *соглашению*. Две стороны когда-то остались довольны итогами заключенного соглашения, но, с другой стороны, слишком ленивы, чтобы формально возобновлять его; так вот люди и жили, словно оно непрестанно возобновлялось, и мало-помалу, когда его происхождение укутал туман забвения, они стали верить, что достигли священного, незыблемого состояния, которое *должно* служить основой для каждого следующего поколения. Теперь обычай стал *принуждением*, даже если уже не приносил той пользы, ради которой соглашение и было заключено изначально. – *Люди слабые* нашли здесь себе надежное убежище на все времена: им хочется *увековечить* единожды достигнутое соглашение как дарованную благодать.

40

Значение забвения в моральном чувстве. – Те же поступки, которые в изначальном обществе прежде всего внушали мысль об общей *пользе*, позже совершались другими поколениями по другим мотивам: из страха или почтения перед теми, что их требовали или рекомендовали, или из привычки, поскольку каждый с детства видел, как их совершают другие, или из доброжелательности, поскольку они были причиной общей радости и одобрения на лицах, или из тщеславия, поскольку за них хвалили. Такие поступки, глубинный мотив которых – *польза* – оказался забыт, были впоследствии названы *моральными*: и не потому, что они совершались из названных *других* мотивов, а потому, что они *не* совершались с осознанием их полезности. – Откуда берется эта *ненависть* к пользе, ставшая явственной *здесь*, где всякое по-

хвальное поведение прямо-таки отрывается от поведения, ориентированного на пользу? – Очевидно, что обществу, этому очагу всяческой морали и всяческих славословий в адрес морального поведения, пришлось слишком долго и слишком сурово сражаться со своекорыстием и эгоизмом отдельных людей, чтобы *любой другой* мотив в итоге оценивать в нравственном отношении выше, чем пользу. Так возникает видимость того, что мораль выросла *не* из пользы: а ведь изначально она есть общественная польза, приложившая немало сил, чтобы взять верх над всякой частной пользой и приобрести больший вес.

41

Богатые наследники нравственности. – Свое *наследственное* богатство есть и в сфере нравственности: им обладают люди кроткие, добродушные, сердобольные, милосердные, получившие от своих предков добрый *образ действий*, но не разум (их источник). Отрадная сторона этого богатства состоит в том, что оно принципиально осязаемо, только если его преподносят и раздают, и что таким образом оно невольно способствует сокращению дистанций между людьми нравственно богатыми и нравственно бедными: причем – и это самое замечательное и ценное в нем – *не* в пользу будущего нивелирования богатства и бедности, а в пользу *всеобщего* обогащения и сверхобогащения. – Изложенным можно подытожить господствующий взгляд на нравственное наследственное богатство: но мне кажется, такой взгляд исповедуют больше in majorem gloriam[1] нравственности, чем в честь истины. По крайней мере, опыт выдвигает положение, которое надо считать если не опровержением, то во всяком случае существенным ограничением названной всеобщности. Не обладая отборным разумом, говорит нам этот опыт, не обладая способностью к точнейшему выбору и *сильной тягой к соблюдению меры*, богатые наследники нравственности становятся расточителями нравственности: безудержно предаваясь своим сердобольным, мило-

---

1 к вящей славе (*лат.*).

сердным, примиряющим, успокоительным влечениям, они делают всех вокруг себя более распущенными, алчными и сентиментальными. Поэтому дети таких в высшей степени нравственных расточителей легко становятся – и, как, к сожалению, приходится сказать, в лучшем случае – приятными слабосильными негодниками.

42

Судья и основания для снисходительности. – «Даже с чертом надо быть честным и платить ему свои долги, – сказал один старый солдат, когда ему в подробностях изложили историю Фауста. – Место Фауста в пекле!» – «Ох уж эти ужасные мужчины! – воскликнула его жена. – Ну разве так можно? Да ведь он ничего и не сделал, у него только не нашлось в чернильнице ни капли чернил! Писать кровью, конечно, грешно, но зачем же из-за этого гореть в аду такому прекрасному мужчине?»

43

Долг говорить правду как проблема. – Долг – принуждающее, толкающее к поступкам чувство, которое мы называем хорошим и считаем, что обсуждать тут нечего (– мы не желаем говорить сами и не хотим, чтобы другие говорили о его происхождении, границах и правомочности). Но человек мыслящий считает, что у всего есть своя история и что всякую историю можно обсуждать, стало быть, он ни к чему не обязан – покуда, конечно, он мыслит. Будучи мыслящим, он не признает и долга видеть и говорить правду, не испытывает и самого этого чувства; он задается вопросами: «Откуда взялся долг? Для чего он нужен?», но и сами эти вопросы считает подлежащими обсуждению. Однако не вызовет ли такая позиция сбой в работе мыслительной машины, раз мыслитель, совершая акт познания, и впрямь смог *почувствовать себя ни к чему не обязанным?* В этом смысле кажется, что для *топки* здесь необходим тот самый элемент, который должен исследоваться посредством машины. – Ре-

шением тут могло бы быть вот что: *положим*, существовал бы долг познавать правду, – что гласила бы тогда правда относительно любого другого вида долга? – Но не является ли абсурдом гипотетическое чувство долга? –

44

Ступени морали. – Мораль – это прежде всего способ сохранить общину вообще и предотвратить ее гибель; во-вторых, это способ поддерживать общину на определенном уровне жизни и в определенной доброкачественности. Ее движущие мотивы – *страх* и *надежда*: и они бывают тем более напористыми, могучими и грубыми, когда еще слишком сильна тяга ко всему извращенному, однобокому, личностному. До тех пор, пока не срабатывают способы более мягкие и названного двойного сохранения не удается достичь иными (к наиболее сильнодействующим из них относятся изобретение потустороннего мира с вечным пеклом), здесь должны идти в ход самые ужасные средства устрашения. А для этого нужны палачи души со своими помощниками. Следующие ступени морали и соответственно способы достижения указанной цели – приказы какого-нибудь бога (как, например, закон Моисея); дальнейшие, более высокие – приказы абсолютного понятия долга с его «ты должен». Все это еще довольно грубо вырубленные, но зато *широкие* ступени, поскольку люди пока не умеют стать на ступени потоньше, поуже. Затем появляется мораль *склонности*, *вкуса*, а наконец и мораль *понимания*, которая выходит за рамки всех иллюзорных мотивов морали, уяснив себе, что человечество на протяжении долгих эпох и не могло иметь никаких других.

45

Мораль сострадания в устах не знающих меры. – Все люди, недостаточно владеющие собой и незнакомые с нравственностью как постоянным самообладанием и самопреодолением в большом и малом, невольно начинают возвеличи-

вать добрые, сострадательные, благожелательные порывы души, ту инстинктивную нравственность, что живет без головы, а состоит, кажется, лишь из сердца и готовых помогать рук. Мало того, в ее интересах – с подозрением относиться к нравственности разумной, а другие ее виды представлять единственно существующими.

46

Клоаки души. – И в душе неизбежно имеются известные клоаки, в которые она сливает свои нечистоты: для этого годятся люди, отношения, сословия, или родина, или весь мир, или, наконец, для тех, чье самомнение неизмеримо (я имею в виду наших драгоценных современных пессимистов), – Господь Бог.

47

Какими бывают покой и созерцательность. – Берегись, чтобы твои покой и созерцательность не были похожи на чувства собаки, сидящей перед мясной лавкой: страх не дает собаке подойти поближе, а алчность – уйти; вот она и разевает глаза, будто это две пасти.

48

Запрет без причины. – Запрет, причину которого мы не понимаем или не признаем, – это чуть ли не приказание не только для упрямцев, но и для жаждущих познания: дело тут доходит до попытки нарушить его, чтобы таким путем узнать, ради *чего* он введен. Нравственные запреты, каковы, к примеру, запреты Десятословия, годятся лишь для эпохи порабощенного разума: в наши дни запрет «не убий», «не прелюбодействуй», введенный без причины, привел бы скорее к вредному, чем к полезному результату.

49

Портрет. – Каков же на самом деле человек, способный сказать о себе: «Я очень склонен презирать, но никогда не поддаюсь ненависти. В каждом человеке я сразу выделяю то, что стоит уважать и за что я его уважаю; и меня мало привлекают так называемые приятные качества»?

50

Сострадание и презрение. – Проявления сострадания воспринимаются как знак презрения, поскольку человек явно перестает быть объектом *страха*, как только ему начинают сострадать. Он опускается ниже уровня равновесия, а ведь его уже недостаточно человеческому тщеславию, потому что самое желанное из всех чувств оно испытывает, лишь ощущая превосходство и внушая страх. Поэтому нерешенным остается вопрос о том, как появилось *уважительное отношение* к состраданию, а также, как объяснить, почему в наши дни хвалят бескорыстие: ведь изначально его *презирали* или *боялись* как проявления коварства.

51

Уметь быть маленьким. – Надо быть близкими к цветам, травам и бабочкам, хотя бы как дети, которые едва возвышаются над ними. А мы, взрослые, переросли их, и нам приходится снисходить к ним; думаю, травы нас *ненавидят*, когда мы признаемся в своей любви к ним. – Кто хочет быть причастным ко *всему* хорошему, должен уметь хотя бы на время становиться маленьким.

52

Из чего состоит совесть. – Содержанием нашей совести является все то, чего в детские наши годы от нас без оснований регулярно *требовали* люди, которых мы уважали или

боялись. Значит, совесть возбуждает в нас то чувство обязанности («это я обязан делать, а того обязан не делать»), которое не спрашивает: «*Почему* я обязан?» – Во всех случаях, когда человек делает дело, исходя из «поскольку» и «почему», он действует *без* совести; но это еще не значит, что он действует вопреки ей. – Вера в авторитеты – вот источник совести: стало быть, она – не глас Божий в сердце человеческом, а звучащий в нем голос некоторых людей.

53

Победа над страстями. – Человек, победивший свои страсти, становится владельцем плодороднейшей земли – он словно колонист, одолевший леса и болота. Тогда его настоятельной ближайшей задачей становится *посев* добрых дел ума в почву укрощенных страстей. Само преодоление – не цель, а только *средство*; если оно понимается не так, то на распаханной жирной земле быстро вырастают всевозможные сорняки и чертовщина, и скоро на ней все становится еще гуще и пуще, чем когда-либо прежде.

54

Способность быть слугой. – Все так называемые деловые люди обладают способностью служить: именно это и делает их деловыми, будь то в отношении других или себя самих. Робинзон имел слугу еще получше Пятницы: то был Крузо.

55

Опасность языка для умственной свободы. – Всякое слово есть предрассудок.

56

Ум и скука. – Пословица «венгры слишком ленивы, чтобы скучать» заставляет задуматься. Скуку испытывают лишь

самые хитроумные и активные животные. – Упреком в адрес великого художника была бы *скука Творца* в седьмой день творения.

57

Обращение с животными. – Возникновение морали еще можно наблюдать в нашем отношении к животным. Там, где в соображение не принимаются польза и вред, мы полностью чувствуем себя безответственными; к примеру, мы убиваем и калечим насекомых или не трогаем их, обыкновенно вообще ни о чем при этом не думая. Мы настолько неуклюжи, что уже наше любезное поведение в отношении цветов и мелких созданий почти всегда для них смертельно, что ничуть не вредит удовольствию, которое мы получаем от них. – Нынче праздник для мелких тварей, самый знойный день в году: они кишат и копошатся вокруг нас, и мы, не желая этого, *но и* не обращая на это никакого внимания, то там, то сям раздавливаем червячка или крылатого жучка. – Если же животные причиняют нам вред, то мы любым способом стараемся их *уничтожить*, часто применяя при этом довольно лютые средства, по-настоящему этого и не желая: мы проявляем бездумную жестокость. Если они полезны, то мы *эксплуатируем* их: пока более тонкое благоразумие не научит нас, что некоторые животные обильно вознаграждают за какое-то другое обращение, а именно то, которое имеет в виду уход за ними и их разведение. Лишь тут возникает ответственность. Мы избегаем мучить домашних животных; один человек возмущается, когда другой жестоко обращается со своей коровой, в полном соответствии с моралью первобытной общины, которая чувствует угрозу для *общей* пользы, как только проступок совершает отдельный ее член. Тот из членов общины, кто усматривает в чем-нибудь проступок, боится косвенного ущерба для себя: так и мы, видя плохое обращение с животными, боимся за качество мяса, земледелия и транспорта. К тому же тот, кто жесток к животным, возбуждает подозрение, что он жесток и с людьми слабыми, нижестоящими, не способными отомстить за себя; такой слывет человеком низким, лишенным гордости высокого толка. Так возникает зачаток мораль-

ных суждений и чувств: а суеверие делает всю остальную работу. Некоторые животные взглядами, звуками и жестами соблазняют людей *придумывать о себе сказки*, а некоторые религии говорят, что животные иногда становятся обиталищем душ богов и людей, а потому и вообще рекомендуют более благородную осмотрительность, даже почтительную робость в обращении с животными. Даже когда это суеверие исчезает, пробужденные им чувства продолжают воздействовать, дозревают и расцветают. – Христианство в этом отношении, как известно, проявило себя как религия бедная и отсталая.

58

Новый актерский состав. – Нет среди человеческих дел большей банальности, чем смерть; на втором месте стоит рождение, ведь если умирает каждый, то рождаются не все; затем следует женитьба. Но все эти маленькие отыгранные трагикомедии все снова разыгрываются новым актерским составом в каждой из своих бесчисленных и неисчислимых постановок, а потому не перестают привлекать интерес зрителей, – а ведь следовало бы думать, что все зрители этого земного театра давным-давно повесились от наводимой им скуки. Значит, их интересуют новые актеры, а не сама пьеса.

59

Что значит «быть упорным». – Кратчайший путь – не тот, что прямее всех, а тот, на котором наши паруса раздуваются самыми благоприятными ветрами: так говорит наука кораблевождения. Не следовать ей и значит быть *упорным*: твердость характера тут загрязняется глупостью.

60

Слово «тщеславие». – Как досадно, что некоторые слова, без которых нам, моралистам, никак не обойтись, уже заклю-

чают в себе своего рода нравственную цензуру, идущую от тех эпох, когда очернялись насущнейшие и естественнейшие человеческие побуждения. Так глубинное убеждение, что по волнам общества мы плывем благополучно или терпим крушение гораздо скорее благодаря тому, чем мы *слывем*, нежели тому, что собою *представляем* – убеждение, которое должно быть кормилом всякого поведения в обществе, – обозначается и клеймится распространеннейшим словом «тщеславие», «vanitas»[1], иначе говоря, одно из самых значительных и интересных явлений – выражением, придающим ему смысл настоящей пустоты и ничтожности, нечто крупное – именем уменьшительным, мало того, примитивной карикатурой. Тут уж ничего не поделаешь, нам приходится пользоваться такими словами, но при этом затыкать уши от внушений древней привычки.

61

Фатализм турка. – Коренной порок в фатализме турка состоит в том, что он противопоставляет друг другу человека и рок как две разные вещи: человек, говорит он, может противиться року, пытаться избежать его, но в конце концов рок все равно одержит верх; а потому самое разумное – смириться или жить, как придется. На самом же деле всякий человек сам несет в себе часть рока; если он думает противиться року заданным образом, то именно этим и дает року свершиться; борьба с ним существует лишь в воображении, но равным образом является и упомянутым смирением перед его лицом; все эти виды воображения заключены в самом роке. – Страх, который большинство людей испытывают перед учением о несвободе воли, это страх перед фатализмом турка: им кажется, будто человек, не в состоянии изменить что-либо в своем будущем, так и застынет перед ним бессильным, смирившимся, с покорно сложенными на груди руками, либо будто он даст полную волю своим страстям, поскольку и это не приведет к худшему, чем заранее предопределено. Глупости человеческие

1 бесплодность, бесцельность, пустое дело (*лат.*).

– такая же часть рока, как и благоразумие: рок – это в том числе и названный страх перед верой в рок. Ты сам, несчастный трус, и есть царящая и над богами неумолимая Мойра для всего, что с тобою свершится; ты – благословение или проклятье, а уж в любом случае – цепи, которыми связан и сильнейший; в тебе предначертано все будущее человеческого мира, и бесполезно ужасаться, глядя на себя.

62

Адвокат дьявола. – «Человек *учится* только на своих ошибках, а благодаря чужим ошибкам *добреет*» – так гласит та странная философия, которая выводит всякую нравственность из сострадания, а всякую разумность – из изоляции: тем самым она бессознательно защищает интересы всех человеческих ошибок. Ведь для сострадания нужно страдание, а для изоляции – презрение других.

63

Моральные характерные маски. – В эпохи, когда сословные характерные маски считались совершенно незыблемыми, как сами сословия, моралисты поддаются соблазну считать и называть абсолютными и *моральные* характерные маски. К примеру, Мольер естествен как современник Людовика XIV; в нашем же обществе переходных состояний и средних школьных классов он показался бы гениальным занудой.

64

Самая благородная добродетель. – В первую эпоху развития высшей человечности самой благородной из добродетелей считалась храбрость, во вторую – справедливость, в третью – умеренность, в четвертую – мудрость. В какой эпохе живем мы? В какой – ты?

65

Что необходимо в первую очередь. – Человек, не желающий стать хозяином своим вспышкам гнева, своей язвительности и мстительности, своего сладострастия, но пытающийся стать хозяином чего-то другого, так же глуп, как землепашец, распахавший землю рядом с горным потоком, но не оградивший ее от затопления.

66

Что есть истина? – *Шварцердт* (Меланхтон): «Свою веру нередко проповедуют так, будто потеряли ее и ищут по всем закоулкам, – и уж тогда проповедуют ее не худшим образом!» – *Лютер*: «Нынче, брат, ты говоришь, прямо как ангел!» – *Шварцердт*: «Но это идея твоих недругов, и они используют ее против тебя.» – *Лютер*: «Так то была ложь дьявольская.»

67

Привычка видеть контрасты. – Всюду распространенное неточное наблюдение везде в природе видит противоположности (к примеру, теплого и холодного), в то время как там нет противоположностей, а есть лишь различия в степени. Эта скверная привычка соблазнила нас понимать и стараться расчленять в соответствии с такими противоположностями и внутреннюю природу, духовно-нравственный мир. Вместо переходов люди видели контрасты – поэтому человеческие чувства впитали в себя неимоверно много всего мучительного, самомнения, жестокости, отчужденности, холодности.

68

Можно ли прощать? – Как *можно* вообще им прощать, если они не ведают, что творят! Не *надо* прощать ровным счетом

ничего. – Но разве человек когда-нибудь *осознает полностью*, что творит? И если даже это всегда остается по меньшей мере *под вопросом*, то, значит, люди никогда не должны прощать друг другу ничего, а для самого разумного из них акт милосердия – вещь невозможная. И напоследок: *если бы* злодеи действительно ведали, что творят, – то и мы имели бы право *прощать*, если бы имели право обвинять и наказывать. Но такого права у нас нет.

69

Привычный стыд. – Почему мы чувствуем стыд, когда нам делают добро и награждают отличием, которых мы, как говорится, «не заслужили»? Тогда нам кажется, будто мы вторглись в область, где мы чужие, откуда нас должны прогнать, – как бы в святилище или в святая святых, куда мы не имеем права входить. Но нас все-таки пустили туда по недосмотру: и теперь нами владеет то страх, то почтение, то смущение, и мы не знаем, бежать ли нам или наслаждаться блаженным мигом и его милостями. Всякий стыд сопровождается неким таинством, оскверняемом нами или словно находящимся под угрозой осквернения; всякая *милость* порождает стыд. – Но как задумаешься над тем, что мы вообще никогда ничего «не заслужили», то чувство *стыда* станет *привычным*, если предаваться ему в рамках общего христианского понимания вещей: ведь, по-видимому, такому стыду *неизменно* должны доставаться благословения и милость Бога. Однако и вне пределов этого христианского толкования состояние *привычного стыда* возможно и для мудреца совершенно безбожного, уверенного в принципиальной безответственности и незаслуженности любого действия и любого существа: если к нему отнесутся так, *словно* он заслужил то или другое, то ему покажется, будто он занесся в какой-то высший порядок существ, в принципе *заслуживающих* чего-то, существ свободных и действительно способных нести ответственность за свои желания и возможности. И когда кто-то скажет ему «ты это заслужил», то он услышит в этом «ты не человек, а бог».

70

Самый неумелый воспитатель. – У одного все его подлинные добродетели растут на почве духа противоречия, у другого – на почве неспособности сказать нет, которая для него будет духом согласия; вся нравственность третьего происходит от его одинокой гордости, четвертый растит свою на основе сильного стадного инстинкта. А теперь допустим, что из-за неумелых воспитателей и случайностей семена добродетели у этих четверых не были засеяны в почву их натур, в их отборный и жирный чернозем: тогда они были бы лишенными всякой нравственности, слабыми и неприятными людьми. А кто оказался бы тогда самым неумелым из всех воспитателей и злым роком для этих четырех людей? Моральный фанатик, полагающий, что добро может вырасти только из добра, на почве добра.

71

Манера писать, присущая осторожности. – А: Но если бы *все* это знали, то вышел бы вред для *большинства.* Ведь ты и сам называешь эти мысли опасными для лиц из группы риска, но все равно публикуешь их? В: Я пишу так, чтобы меня не хотелось читать ни черни, ни populi[1], ни партиям любого толка. Следовательно, эти мысли никогда и не будут публичными. А: Но как же ты пишешь? В: Ни для пользы, ни для удовольствия – этих трех.

72

Божественные посланцы. – Вот и Сократ чувствует себя божественным посланцем: но я не знаю, не следует ли тут улавливать какого-то налета аттической иронии и даже глумливости, которые смягчают это полное рока и надменности понятие. Он говорит об этом без прикрас: выбранные им образы овода и коня просты и лишены жреческой пыш-

---

1 широким массам (*лат.*).

ности, а собственно религиозная задача, которую он чувствует как свою – подвергнуть бога разнообразнейшей *проверке* на предмет того, сказал *ли* он правду, – позволяет догадываться об отваге и прямодушии, с которыми миссионер переходит здесь на сторону своего бога. Это испытание бога – один из тончайших компромиссов между благочестием и свободой ума, какие когда-либо выдумывались. – Теперь нам не нужен и такой компромисс.

73

Честная живопись. – Рафаэль, которому важнее была церковь (насколько она могла платить), чем, как и лучшим людям его эпохи, предметы церковной веры, ни на шаг не уступал требовательному экстатическому благочестию многих своих заказчиков: он не терял своей честности, даже в той картине-исключении, которая изначально была задумана как хоругвь, – в «Сикстинской Мадонне». Здесь ему вдруг захотелось написать видение – но такое, которое могло быть и было *и* у молодых дворян без «веры», видение будущей супруги, женщины умной, с благородною душой, молчаливой и очень красивой, держащей на руках их первенца. Пускай старики, привыкшие молиться и преклоняться, чтят в этом образе, подобно старцу слева, нечто сверхчеловеческое: а мы, что помоложе – так, кажется, взывает к нам Рафаэль, – станем по правую руку, подле прекрасной девушки, которая своим приглашающим, отнюдь не подобострастным взглядом говорит зрителям: «Не правда ли – эта мать и ее дитя являют собою зрелище приятное и притягательное?» Этот лик и этот взор отражают радость, возникшую в лицах зрителей; создавший все это художник наслаждается на такой лад и сам, добавляя свою радость к радости адресатов искусства. – Что касается черт «спасителя» в лице младенца, то Рафаэль, честный человек, который не желал писать душевное состояние, в существование которого не верил, учтиво обманывает своих *верующих* зрителей; он написал игру природы, не такую уж и редкую – взгляд мужчины, идущий из глаз младенца, и притом взгляд честного, готового прийти на помощь мужчины, видящего бедствен-

ное положение. Такой взгляд обычно сочетается с бородой; если бороды тут нет и одно и то же лицо несет на себе выражения двух разных возрастов жизни, то это приятный парадокс, который верующие растолковали себе в духе своей веры в чудеса, – чего и следовало ожидать художнику от их искусства толкования и вкладывания.

74

Молитва. – Всякое моление – этот еще не совсем угасший обычай древних времен – имело смысл лишь при двух условиях: надо было думать, что можно расположить к себе божество или изменить его настроение, и надо было думать, что молящийся и сам лучше всех знает свою нужду, то, чего ему и впрямь следует желать. Оба условия, принятые и установившиеся во всех других религиях, были, однако, отвергнуты как раз христианством; если оно тем не менее сохраняет молитву при своей вере во все знающий и все предвидящий разум Бога, благодаря которым эта молитва как раз и становится, по сути, бессмысленной, даже кощунственной, – то и тут оно еще раз проявляет свою достойную изумления змеиную премудрость; ведь ясно выраженный запрет «ты не должен молиться» привел бы христиан через скуку к нехристианству. В христианском «ora et labora»[1] ora заменяет собою *удовольствие*: чем же без этого ora было бы заняться тем несчастным, которые отказались от labora, святым, – а вот беседовать с Господом, домогаться от него разных приятных вещей, самим немного потешаться над тем, как можно быть таким глупым, чтобы при таком превосходном Отце еще иметь желания, – для святых это было отличнейшим изобретением.

75

Святая ложь. – Ложь, с которой на устах умерла Аррия (Paete, non dolet[2]), омрачает все истины, когда-либо высказан-

---

1 Молись и трудись (*лат.*).

2 Пет, это не больно (*лат.*). См. прим.

ные умирающими. Это единственная святая *ложь*, которая была прославлена, тогда как дурная слава святости во всех остальных случаях досталась лишь *заблуждениям.*

76

Самый нужный из апостолов. – Среди двенадцати апостолов лишь одному нужно было всегда быть твердым, как камень, дабы на нем могла быть построена новая Церковь.

77

Что более бренно – дух или плоть? – В правовых, моральных и религиозных феноменах наиболее *долговечно*, как правило, самое внешнее, зримое, то есть обычай, жест, церемония: все это – *плоть*, в которую постоянно привходит *новая душа.* Культ все снова истолковывается как неизменный словесный текст; понятия и чувства играют роль жидкого элемента, обычаи – твердого.

78

Вера в болезнь как болезнь. – Лишь христианство накликало на мир беду; лишь христианство ввело в мир грех. Но вот вера в лекарство, которое оно предложило от греха, мало-помалу оказалась подорвана до глубочайших своих корней: и все-таки еще существует *вера в болезнь*, вера, которую оно внушило и распространило.

79

Как говорят и пишут верующие. – Если человека *верующего* не выдают уже его священнический стиль и общий тон, как в разговоре, так и на письме, то с его мнениями о религии и в ее пользу считаться уже не стоит. Они *не имеют силы* для самого их обладателя, если ему, как о том говорит его стиль,

присущи ирония, надменность, злоба, ненависть и все перипетии настроений, – в точности как человеку самому неверующему. – Так насколько же не имеющими силы они покажутся его слушателям и читателям! Короче говоря, он будет делать их еще более неверующими.

80

Опасность, заключенная в личности. – Чем больше Бога считали личностью как таковой, тем меньше хранили ему верность. Человек куда больше привержен своим мысленным образам, чем самым любимым из людей: потому-то он и способен жертвовать собой за государство, за церковь, даже за Бога – в той мере, в какой последний выступает именно *его* порождением, *его* идеей, а не воспринимается человеком в слишком личностном ключе. В последнем случае человек почти всегда ссорится с Богом: ведь и с уст самого благочестивого из людей сорвался горький возглас: «Боже мой, для чего Ты оставил Меня!»

81

Мирское правосудие. – Есть возможность перевернуть мирское правосудие вверх дном – с помощью учения о полной безответственности и невинности каждого человека: шаг в том же направлении уже и был сделан, и притом на основе противоположного учения о полной ответственности и подсудности каждого. Основатель христианства был тем, кто хотел искоренить мирское правосудие и уничтожить суд и наказание. Ведь всякую вину он понимал как «грех», то есть как кощунство против *Бога*, а *не* против мира, с другой же стороны каждого человека считал грешником величайшего масштаба и почти во всех отношениях. Но виновные не должны быть судьями над равными себе – так решила его справедливость. Поэтому *все* судьи, отправлявшие мирское правосудие, были в его глазах так же виновны, как и те, кого они осуждали, а их мина невинности казалась ему ханжеством и фарисейством. Кроме того, он смотрел

на мотивы поступков, а не на их результаты, а для осуждения за мотивы считал достаточно проницательным только одного: самого себя (или, как он выражался, Бога).

82

Аффектация при расставании. – Человек, желающий расстаться с партией или религией, думает, что теперь ему необходимо их опровергнуть. Но такое намерение очень высокомерно. Нужно только, чтобы он ясно представлял себе, какие скрепы соединяли его до сих пор с этой партией или религией, а теперь больше не соединяют, что за цели привели его туда, а теперь ведут в другом направлении. Мы примыкаем к партиям и религиям, *не* стоя на *почве строгого познания*: поэтому, расставаясь с ними, мы не должны и *аффектировать* это.

83

Спаситель и врачеватель. – Как знаток человеческих душ основатель христианства был, как само собой понятно, не без величайших изъянов и предрассудков, а как врачеватель душ исповедовал пользующуюся столь дурной славой и дилетантскую веру в панацею от всех бед. Своими методами он иногда напоминает зубного врача, который любую боль лечит удалением зуба; так, например, он борется с чувственностью советом: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его». – Однако между ними все-таки есть кое-какая разница: упомянутый дантист хотя бы достигает своей цели – пациенту больше не больно; правда, его метод туп до смехотворности; тогда как христианин, который следует названному совету, думая умертвить этим свою чувственность, как нельзя больше промахивается: она продолжает жить в нем на какой-то жутко-вампирический лад, терзая его отвратительными масками.

84

Узники. – Однажды утром узники вышли на работный двор; а стража не было. Некоторые по своей привычке сразу приступили к работе, другие праздно стояли и строптиво оглядывались. Тут один из них вышел вперед и громко сказал: «Работайте, сколько хотите, или ничего не делайте: это все равно. Ваши тайные крамольные замыслы раскрыты – надзиратель недавно вас подслушал и в ближайшие дни учинит над вами ужасный суд. Вы его знаете – он жесток и злопамятен. А теперь слушайте: до сих пор вы не за того меня принимали; я не тот, кем кажусь, а куда важнее: я – сын надзирателя, который души во мне не чает. Я могу вас спасти и хочу вас спасти; но, учтите, я спасу только тех из вас, которые *верят* моим словам, что я сын надзирателя; все прочие пусть пожинают плоды своего неверия». «Ну, – сказал, немного помолчав, старший из узников, – и какой же тебе может быть прок от того, поверим мы тебе или не поверим? Коли ты и впрямь тот самый сын и можешь сделать то, о чем говоришь, тогда замолви за нас за всех доброе словечко: вот и взаправду сделаешь хорошее дело. А болтовню о вере и неверии оставь-ка лучше при себе.» «А я, – встрял узник помоложе, – вообще ему не верю: он просто вбил себе что-то в голову. Бьюсь об заклад, и через неделю с нами будет так же, как и сейчас, а надзиратель *ничего* не знает». «А если он о чем-то и знал, то больше не знает, – сказал последний из узников, который лишь сейчас вышел на двор. – Надзиратель только что внезапно умер.» – «Эй, эге-гей, господин сын, господин сын! – завопило тут наперебой множество голосов. – А как насчет прав наследования? Мы что, теперь *твои* узники?» – «Я уже сказал вам, – кротко отвечал спрошенный, – я отпущу на свободу всякого, кто верит в меня, и это так же верно, как то, что отец мой жив.» – Узники смеяться не стали, а просто пожали плечами и отвернулись.

85

Гонитель Божий. – Эту идею выдумал Павел, а Кальвин выдумал ее снова, – идею, что бесчисленные люди с самого

начала мира осуждены на проклятье и что этот чудный промысл сооружен для того, чтобы через него открылось величие Божье; стало быть, небеса, преисподняя и человечество существуют, дабы потрафить Божьему тщеславию! Какое же лютое и ненасытное тщеславие должно было гореть в душе того, кто выдумал нечто подобное в первый или во второй раз! – Стало быть, Павел все-таки так и остался Савлом – *гонителем Божьим.*

86

Сократ. – Если все пойдет хорошо, то настанет время, когда, чтобы подняться в нравственно-интеллектуальном отношении, люди будут брать в руки лучше уж воспоминания о Сократе, чем Библию, и когда Монтеня и Горация будут использовать как предварительные ступени и путевые знаки для понимания самого простого и непреходящего мудреца-посредника – Сократа. Назад к нему ведут дороги самых разных философских образов жизни, каковые, по сути, являются образами жизни различных темпераментов, установленными разумом и привычкой, – и все они без исключения нацелены на возможность радоваться жизни и своему подлинному «я». Отсюда хотелось бы сделать вывод, что самой характерной чертой Сократа была его сопричастность ко всем темпераментам. – Преимущество Сократа перед основателем христианства – серьезность на веселый лад и та *полная проделок мудрость*, которая бывает лучшим состоянием человеческой души. Кроме того, он был намного умнее.

87

Учиться хорошо писать. – Время хороших ораторов прошло, потому что прошло время городских культур. Крайний предел, который Аристотель допускал для большого города – глашатая, согласно ему, должна была слышать вся собравшаяся община – этот предел заботит нас так же мало, как городские общины вообще, нас, не желающих замечать массы и добиваться их понимания. Поэтому в наши дни всякий,

кто благонамерен на европейский лад, должен учиться *писать хорошо и все лучше*: и неважно, если он родился даже в Германии, где плохое умение писать рассматривают как национальную привилегию. Но писать лучше значит в то же время и лучше мыслить; это значит уметь находить что-то все более интересное и доносить его до других; это значит быть доступным для перевода на языки соседних народов, для понимания тех иностранцев, что учат наш язык; содействовать тому, чтобы все хорошее стало всеобщим достоянием и все было в распоряжении людей свободных; наконец, заниматься *подготовкой* того пока еще далекого от нас положения вещей, когда хорошим европейцам попадет в руки их великая задача: руководить всей земной культурой и охранять ее. – Кто проповедует противоположное – не думать о хорошем письме и хорошем чтении (а обе эти добродетели неотделимы друг от друга и вместе переживают упадок), – тот фактически указывает народам путь к тому, как стать еще более *национальными*: он усугубляет болезнь этого столетия и выступает врагом хороших европейцев, врагом свободных умов.

88

Учение о совершенном стиле. – Учение о стиле может, во-первых, быть учением о том, как находить выражение, с помощью которого до читателя и слушателя дойдет *всякое* настроение; во-вторых, учением о том, как выразить самое ценное для человека настроение, сообщить о котором и передать его – тоже по большей части дело желательное: настроение человека с энергичной душой, с неунывающим умом, ясного и искреннего, преодолевшего свои страсти. Это и будет учением о совершенном стиле: а он соответствует хорошему человеку.

89

Следить за связностью изложения. – Связь между фразами показывает, утомился ли автор писать; отдельные выражения

все-таки могут быть сильными и пригодными независимо от этого, поскольку раньше он нащупал их отдельно – в тот момент, когда мысль впервые забрезжила перед автором. Это нередко встречается у Гёте, слишком часто прибегавшего к диктовке в минуты усталости.

90

Уже и еще. – А: «Немецкая проза еще очень молода: Гёте полагал, что ее отцом был Виланд». В: «Так молода и уже так безобразна!» С: «Простите – насколько мне известно, немецкую прозу писал еще епископ Ульфила; стало быть, ей уже около тысячи пятисот лет.» В: «Так стара, но все еще так безобразна!»

91

Исконно немецкое. – Немецкая проза, которая не скроена по какому-то готовому образцу и, видимо, должна считаться оригинальным творением немецкого вкуса, ревностным адвокатам некоей будущей оригинальной немецкой культуры могла бы дать намек насчет того, как приблизительно будет выглядеть настоящая немецкая национальная одежда, немецкая манера общения, немецкая домашняя обстановка, немецкий обед, не следующие никаким образцам. – Некто, немало поломавший голову над подобными перспективами, наконец в полном ужасе воскликнул: «Господи Боже ты мой, да у нас, видимо, уже *есть* эта оригинальная культура, – только о ней не любят говорить!»

92

Запрещенные книги. – Никогда не читать того, что пишут те надменные всезнайки и путаники, у которых имеется эта отвратительная манера создавать логические парадоксы: они применяют *логические* приемы именно там, где все, по сути, дерзко сымпровизировано и висит в воздухе. («Сле-

довательно» у них, видимо, значит: «Читатель, осел, для тебя этого "следовательно" не существует, зато оно существует для меня». Ответ на это таков: «Писатель, осел, зачем ты тогда пишешь?»)

93

Показывать свое остроумие. – По всякому, кто стремится показать свое остроумие, заметно, что он обильно наделен и противоположным качеством. Эта дурная манера остроумных французов придавать своим самым удачным мыслям оттенок dédain[1] идет от желания казаться богаче, чем они есть: им нравится небрежно одаривать, словно они уже устали беспрестанно раздавать богатства из переполненных сокровищниц.

94

Немецкая и французская литература. – Беда немецкой и французской литературы последних ста лет состоит в том, что немцы слишком рано сбежали *из* школы французов – а французы впоследствии слишком рано пришли *в* немецкую школу.

95

Наша проза. – Ни у одного из нынешних культурных народов нет такой плохой прозы, как у немцев; и если остроумные и избалованные французы говорят, что никакой немецкой прозы *нет*, то сердиться, в общем-то, не стоит, ведь сказано это более вежливо, чем мы того заслуживаем. А если поискать причины этого, то в конце концов придешь к странному выводу: *немцам известна лишь импровизированная проза*, а о любой другой они и представления не имеют. И когда итальянцы говорят, что проза труднее поэзии ровно настолько же, насколько изображение обнаженной красоты

---

1 презрения (*фр.*).

дается ваятелю труднее, чем изображение красоты одетой, то немцы просто не понимают этого. Честно корпеть над стихом, образом, ритмом и рифмой – это понятно и немцам, хотя они и не склонны как-то особенно высоко ценить импровизацию в стихах. Но работать над одной страницей прозы, как над статуей? – Тут им кажется, будто кто-то описывает какую-то сказочную страну.

96

Величественный стиль. – Величественный стиль возникает, когда прекрасное одерживает победу над чудовищным.

97

Объезды. – В чем изюминка такого-то выражения и оборота у кого-то из умов выдающихся, понимаешь, только определив, каким словом неминуемо воспользовался бы любой посредственный писатель, чтобы выразить то же самое. Все великие художники, правя своим экипажем, обнаруживают склонность к объездам, к отклонениям, – но отнюдь не к опрокидыванию.

98

Наподобие хлеба. – Хлеб нейтрализует вкус других кушаний, стирает его; поэтому он необходим при любой длительной трапезе. Во всех произведениях искусства должно быть что-то наподобие хлеба, чтобы в них могли проявляться различные эффекты: а вот следуя друг за другом непосредственно, без такого рода периодов отдыха и покоя, они вызывали бы быстрое утомление и отвращение, и сколько-нибудь длительная трапеза искусства была бы невозможна.

99

Жан-Поль. – Жан-Поль знал очень много, но у него не было науки, он разбирался во всевозможных приемах множества искусств, но у него не было искусства, он почти все пробовал, но у него не было вкуса, он обладал чувством и искренностью, но, угощая ими, выливал на них отвратительный отвар слез; у него был даже юмор – но, к сожалению, в слишком малых количествах для его волчьего голода по юмору: почему он и доводит читателя до отчаяния своей угрюмостью. В целом он был цветастым, сильно пахнущим сорняком, за ночь вымахавшим на мягких плодородных нивах Шиллера и Гёте; он был приятным и хорошим человеком, но все-таки злым роком – роком в домашнем халате.

100

Умение пробовать и противоположное. – Чтобы насладиться произведением прошлого так, как его воспринимали современники, нужно иметь на языке господствовавший тогда вкус, с которым оно шло вразрез.

101

Спиртовые авторы. – Иные писатели – ни дух, ни вино, а винный дух: они могут загореться и тогда дают тепло.

102

Чувство-посредник. – Чувство вкуса как истинное чувство-посредник нередко убеждало другие чувства принять свое ви́дение вещей и внушало им свои законы и привычки. Сидя за столом, можно раскрыть для себя сокровеннейшие таинства искусства: надо внимательно наблюдать, что́ вкусно, когда оно вкусно, после чего оно вкусно и как долго сохраняется его вкус.

103

Лессинг. – Лессингу свойственна чисто французская добротность, да и вообще как писатель он усерднейшим образом учился у французов: он хорошо умеет расставить свои товары на обозрение в витрине. Без этого самого настоящего *искусства* его мысли, равно как и их предметы, оставались бы довольно неясными, причем без заметного ущерба для читателей. Но его *искусство* учило многих (особенно последние поколения немецких ученых) и дало отраду неисчислимому множеству людей. – Правда, этим ученикам не стоило бы, как это часто бывало, усваивать у него и его неприятную манерность тона, состоящую из сварливости и простодушия. О Лессинге как лирике уже сложилось единое мнение: как драматурга все его тоже скоро оценят. –

104

Нежеланные читатели. – Как мучат авторов те молодцеватые читатели с раздобревшими, неуклюжими душами, которые, натыкаясь на что-нибудь, сразу падают и всегда вопят от боли!

105

Мысли поэтов. – Настоящие мысли настоящих поэтов всегда ходят закутанными, как египтянки: а сквозь покрывало выглядывает только глубинный *глаз* мысли. – Мысли поэтов в среднем не настолько ценны, как считается: ведь люди переплачивают за покрывало да собственное любопытство.

106

Пишите просто и для пользы. – Переходы, разработки темы, красочные игры аффектов – все это мы дарим автору, потому что все это есть у нас, и мы украшаем этим его книгу, если и сам он доставляет нам какое-то удовольствие.

107

Виланд. – Виланд лучше всех других писал по-немецки и испытывал при этом подлинное удовольствие и недовольство мастера (его переводы писем Цицерона и вещей Лукиана – лучшие немецкие переводы); но его мысли не дают нам совсем никакой пищи. Его веселые морали для нас так же невыносимы, как и его веселые прегрешения против морали: это у него одно и то же. Люди, которые ими наслаждались, были, наверное, все же получше нас – но и куда неповоротливее нас: им был *необходим* именно такой писатель. – *Гёте* не был необходим немцам, потому-то они и не знали, что с ним делать. В этом смысле достаточно приглядеться к лучшим нашим государственным деятелям и художникам: все они не получили Гёте в свои воспитатели – не могли получить.

108

Редкие праздники. – Ядреная сжатость, покой и зрелость – там, где ты обнаружишь у автора эти качества, сделай привал и справляй долгий праздник посреди пустыни: так хорошо тебе не будет тут еще долго.

109

Сокровища немецкой прозы. – Если не считать сочинений Гёте и особенно «Разговоров Гёте с Эккерманом», лучшей немецкой книги, какая только есть, то что же заслуживающего постоянного перечитывания, собственно, останется от немецкой литературной прозы? Афоризмы Лихтенберга, первая книга автобиографии Юнг-Штиллинга, «Бабье лето» Адальберта Штифтера и «Люди из Зельдвилы» Готфрида Келлера – да вот пока что и все.

110

Стиль письма и стиль речи. – Искусство писать требует прежде всего способности заменять те виды выразительности, что свойственны лишь говорящему человеку, то есть жесты, ударения, тон голоса, взгляд. Поэтому стиль письма радикально отличается от стиля речи и дается намного труднее – ему приходится объясняться так же понятно, но более скупо. Демосфен произносил свои речи иначе, чем мы их читаем сейчас; и только для чтения с листа он их перерабатывал. – Речи Цицерона демосфенизировались для той же цели: а нынче в них куда больше римского Форума, чем может вынести читатель.

111

Осторожность в цитации. – Молодым авторам неизвестно, что хорошее выражение, хорошая мысль выглядят хорошо лишь среди себе подобных, что превосходная цитата способна уничтожить целые страницы, даже всю книгу, словно предостерегая читателя таким обращением: «Вникни: я – самоцвет, а вокруг меня все сплошь свинец, бледный, постыдный свинец». Любое слово, любая мысль хочет жить только в *обществе равных*: вот это и есть мораль отменного стиля.

112

Как надо высказывать заблуждения? – Можно спорить о том, что вреднее – высказывать заблуждения нескладно или так же хорошо, как самые чистые истины. Ясно одно – что в первом случае они наносят уму двойной вред и их труднее искоренить; но зато они действуют не так сильно, как во втором случае, потому что не так заразительны.

113

Ограничить и увеличить. – Гомер ограничил и уменьшил свой сюжет в объеме, но вырастил и увеличил отдельные сцены – позднейшие трагики тоже поступают так все снова и снова: каждый дробит сюжет на все *меньшие* кусочки, чем его предшественники, но каждый добивается более *обильного* цветения внутри этих отмежеванных, отгороженных участков сада.

114

Литература и нравственность бросают свет друг на друга. – На примере греческой литературы можно показать, благодаря каким способностям развернулся греческий ум, как он пошел различными путями и отчего обессилел. Все это дает картину того, что, в сущности, случилось и с греческой *нравственностью* и что случается с любой нравственностью: как сначала она была принуждением, и суровым принуждением, как потом мало-помалу смягчилась, как, наконец, возникло удовольствие от некоторых поступков, некоторых соглашений и форм поведения, а отсюда, в свой черед, – тяга к их исключительному использованию, к единоличному обладанию ими: как этот путь заполняется и переполняется конкурентами, как наступает перенасыщение и отыскиваются новые объекты для борьбы и честолюбия, а в устаревшие вливаются новые силы, как все представление повторяется, а зрители устают и смотреть на происходящее, потому что теперь, кажется, весь круг уже замкнулся, – а потом наступает затишье, передышка: ручьи теряются в песке. И это конец, по крайней мере *какой-то* конец.

115

Какие ландшафты долго дарят отрадой. – У этой местности есть важные черты, уподобляющие ее картине, но я не могу отыскать для такой картины формулу, и в целом она остается для меня непостижимой. Я замечаю, что всем местностям, которые постоянно мне нравятся, при всем их разно-

образии свойственна какая-то простая геометрически-линейная схематичность. Без такого математического субстрата никакая местность не сможет стать эстетической отрадой. И вполне возможно, что это правило в некотором метафорическом смысле применимо и к людям.

116

Чтение вслух. – Умение читать вслух предполагает умение *исполнять вещь*: везде нужно пользоваться бледными красками, но при этом определять точные соотношения градаций бледности с общей картиной, всегда удерживаемой в уме и дирижирующей, окрашенной в яркие и глубокие тона, а это значит – определять их в соответствии с *исполнением* этой же части. Вот этим-то последним и надо, стало быть, овладеть.

117

Драматическое чувство. – Если у человека нет четырех более тонких чувств, необходимых в искусстве, то он старается подойти ко всему на основе самого грубого из них, пятого: это-то и есть драматическое чувство.

118

Гердер. – Гердер – все что угодно, только не то, чем он хотел представляться другим (да и себе самому тоже): то есть отнюдь не великий мыслитель и новатор, не плодородная целина, полная нетронутых, первобытно-свежих сил. Зато он обладал в высшей степени острым чутьем, он замечал и пожинал первенцы всех времен года раньше всех остальных, предоставляя им думать, будто он-то их и вырастил: ум его лежал в засаде, подобно охотнику, между светлым и темным, старым и молодым и вообще повсюду, где были переходы, ослабления, потрясения – признаки внутреннего набухания и роста: брожение весны заставляло его но-

ситься туда и сюда, но сам он весною не был! – Иногда, наверное, он это смутно чувствовал, но не хотел себе верить – он, честолюбивый жрец, которому так хотелось быть папой римским для всех умов своей эпохи! В том-то и была его печаль: казалось, он долго вел жизнь претендента на множество царских титулов, даже титула монарха какой-то вселенской империи, имея приверженцев, которые в него верили, – среди них был и молодой Гёте. Но всюду, где в конце концов действительно раздавались короны, ему ничего не доставалось: Кант, Гёте и настоящие немецкие историки и филологи первого ранга отнимали у него то, что он чаял навсегда оставить за собой, – хотя часто в самой глубине души и *не* чаял. Как раз тогда, когда Гердер в себе сомневался, от отбрасывал свою сановность и свой энтузиазм: слишком часто они бывали у него одеяниями, которые много чего прикрывали, обманывали его же самого и были призваны утешать. У него и впрямь был и энтузиазм, и огонь, но честолюбие его было куда больше! Оно нетерпеливо раздувало этот огонь, и тот метался, трещал и чадил – мечется, трещит и чадит его *стиль*, – но ему-то хотелось *великого* пламени, а оно так и не разгорелось! Он не сидел за трапезой подлинных творцов: его честолюбие же не допускало, чтобы он скромно уселся среди тех, кто только вкушает творчество. Так что был он беспокойным гостем, который первым отведывал все умственные яства, за половину столетия собранные немцами из всех мировых империй и мировых эпох. Никогда не испытывая настоящей сытости и довольства, Гердер к тому же слишком часто болел; в такие моменты его ложе порою навещала зависть, захаживало в гости и лицемерие. В его натуре есть что-то болезненное и скованное: и больше, чем кому-либо из наших так называемых классиков, ему не хватает простой порядочной мужественности.

119

Запах слов. – Всякое слово пахнет по-своему: существует гармония и дисгармония запахов, а, значит, и слов.

120

Изысканный стиль. – Стиль найденный – это оскорбление для друзей изысканного стиля.

121

Зарок. – Я больше не стану читать ни одного автора, если будет заметно, что он хотел создать книгу: стану читать лишь тех, чьи мысли нежданно-негаданно сделались книгой.

122

Эстетическая конвенция. – Три четверти Гомера – это конвенция; примерно так же дело обстоит и у всех греческих художников, не имевших никаких оснований испытывать современную жажду оригинальности. Конвенциональность их ничуть не страшила, ведь благодаря ей они вступали в связь со своей публикой. Конвенции – это же художественные приемы, *завоеванные* художниками для понимания слушателей, с трудом усвоенный общий язык, с помощью которого художник действительно может *передать* свое послание. К тому же если он, как было принято у греческих поэтов и музыкантов, стремится *тотчас* добиться победы каждым из своих произведений, поскольку привык публично бороться с одним или двумя другими соискателями, то первое условие такой победы – *мгновенное* понимание: а оно возможно лишь благодаря конвенции. А то, что художник сочиняет помимо конвенции, он раздает по своему почину, на свой страх и риск, в лучшем случае с тем результатом, что *создает* новую конвенцию. Оригинальному обыкновенно изумляются, подчас даже поклоняются, но редко понимают его; упорно избегать конвенций значит не желать, чтобы тебя понимали. Так на что же, стало быть, указывает нынешняя жажда оригинальности?

123

Аффектированная научность у художников. – Шиллер, подобно другим немецким художникам, думал, будто если у человека есть ум, то он может позволить себе *импровизации пером* по поводу всевозможных трудных предметов. Отсюда и его прозаические статьи – эти во всех отношениях образцы того, как *не* надо подходить к научным проблемам эстетики и морали, а заодно опасный соблазн для молодых читателей, которые, восхищаясь Шиллером как поэтом, никак не наберутся духа низко оценить Шиллера как мыслителя и писателя. – Искушение, которое овладевает художниками так легко и так понятно, – хотя бы разок пройтись по лугу, запретному как раз для *них*, сказав свое слово в *науке* – ведь самые дельные из них временами находят свое ремесло и свои мастерские невыносимыми, – это искушение заводит художников так далеко, чтобы показывать всем то, чего никому видеть не нужно, а именно, что в каморке их мышления теснота и беспорядок – а почему бы и нет? ведь они там не живут! –, что в закромах их познаний, с одной стороны, пустота, а с другой, они забиты всяким хламом – а почему бы и нет? ведь это, в сущности, ничуть не вредит художнику-ребенку –, но в особенности, что их суставы слишком непривычны и неуклюжи даже для простейших приемов научного метода исследования, которыми отлично владеют и новички, – но и этого им, ей-богу, стыдиться нечего! – Зато они частенько прикладывают немало искусных стараний в *подражании* всем ошибкам, дурным манерам и скверным ученым привычкам, встречающимся в научном цеху, думая, что как раз это-то и требуется если не для дела, так хоть для видимости дела. В подобных трактатах художников то-то и увеселительно, что художники, сами того не желая, все равно делают именно свое профессиональное дело: они *пародируют* натуры научные, нехудожественные. И если художник хочет быть только художником, то у него и не должно быть никакого другого отношения к науке, кроме пародийного.

124

Идея «Фауста». – Маленькую швею соблазняют и делают несчастной; злодей же – большой ученый всех четырех факультетов. Могло ли тут дело быть чистым? Разумеется, нет! Без поддержки черта во плоти большому ученому с таким было не совладать. – Так вот это и есть величайшая немецкая «трагическая идея», как можно слышать в разговорах немцев? – Но в глазах Гёте и эта идея была все же слишком страшной; его мягкая душа не могла обойтись без того, чтобы не поместить поблизости от святых после ее недобровольной смерти «эту неповинную, в жизни только раз единый согрешившую по незнанью»; мало того, посредством шутки, сыгранной с чертом в решающий момент, он как раз в нужное время приводит на небеса даже большого ученого, «чистую душу в ее исканье смутном»: и там-то, на небесах, любящие встречаются вновь. – Гёте однажды сказал, что для настоящей трагедии его натура была слишком обходительной.

125

Существуют ли «немецкие классики»? – Сент-Бёв однажды заметил, что слово «классики» совсем не подходит к характеру некоторых национальных литератур: кому-де пришло бы в голову говорить, к примеру, о «немецких классиках»! – Что скажут на это наши немецкие книготорговцы, собирающиеся к пятидесяти немецким классикам, в которых мы уже должны верить, добавить еще пятьдесят других? Так и кажется, что требуется лишь лет этак тридцать побыть мертвым и полежать на публике в виде дозволенного трофея, чтобы нежданно услышать трубный звук восстания из мертвых, вдруг сделавшись классиком! И это в такую эпоху и среди такого народа, что даже из шестерых великих родоначальников литературы пятеро недвусмысленно устаревают или устарели – а эпоха и народ именно этого *не* стыдятся! Ведь те шестеро отступили перед лицом *силачей* этой эпохи – только поразмыслим над этим, полностью соблюдая справедливость! – Гёте, как я дал понять, из их числа исключается: он принадлежит к виду литератур, более вы-

сокому, нежели «национальные»; поэтому он и со своей *нацией* никак не соотносится ни в смысле жизни, ни в смысле новизны, ни в смысле устарелости. Он жил лишь для немногих – живет для немногих и сейчас: для большинства же он – не более чем фанфара тщеславия, звуки которой время от времени разносятся и за пределы Германии. Гёте, не просто хороший и великий человек, но целая *культура*, Гёте в истории немцев – инцидент без последствий: да разве смог бы кто-нибудь, скажем, в немецкой политической жизни последних семидесяти лет навести на след Гёте! (А вот след Шиллера и даже край следа Лессинга в ней уж точно были.) Но что же с теми, другими пятью? Клопшток весьма достопочтенным образом устарел еще при жизни, да так основательно, что глубокомысленную книгу его поздних лет, «Республику ученых», вплоть до наших дней так никто всерьез и не воспринимал. Гердер имел несчастье всегда писать книги либо новые, либо устаревшие; для умов более утонченных и сильных (например, для Лихтенберга), скажем, даже главное творение Гердера, «Идеи к истории человечества», устарело, только что выйдя в свет. Виланд, который более чем достаточно жил сам и жить давал другим, будучи человеком разумным, собственной смертью опередил утрату своего влияния. Лессинг, возможно, жив и до сих пор – но только среди молодых и все более молодых ученых! А Шиллер в наши дни из рук юношей уже перешел в руки мальчиков, всех немецких мальчиков! Ведь если книга постоянно спускается по лестнице возрастов жизни к ее началу, то это значит, что она тоже на некоторый лад устаревает. – А что потеснило эту пятерку, почему люди хорошо образованные и работящие их уже не читают? Лучший вкус, лучшие знания, большее внимание ко всему правдивому и реальному; иными словами, сплошь добродетели, опять же впервые *насаженные* в Германии именно этой пятеркой (а также десятью или двадцатью другими, менее именитыми умами); эти добродетели, превратившись нынче в высокий лес, наряду с тенью почтения бросают на их могилы что-то вроде тени забвения. – Но *классики* – не *насадители* интеллектуальных и литературных добродетелей, а их *завершители* и высочайшие освещенные вершины, продолжающие стоять над народами, даже когда те гибнут: ведь они легче,

свободней, чище народов. Возможно, человечество когда-нибудь окажется в высоком состоянии – Европа нынешних наций погрузится в полное забвение, но Европа будет еще *жива* в тридцати очень древних, никогда не устаревающих книгах: в классиках.

126

Интересно, но не прекрасно. – Эта местность скрывает свой смысл, но есть в ней такой, который хочется разгадать: там, куда я смотрю, я читаю слова и намеки на слова, но не знаю, где начинается фраза, способная дать разгадку всех этих кивков, и превращаюсь в вертишейку в смысле поисков того, где начинать чтение – здесь или там.

127

Против языковых новаторов. – Новаторствовать или архаизировать в языке, предпочитать редкостное и экзотическое, стремиться к обогащению словарного запаса, а не к его ограничению, – это всегда бывает признаком незрелого или испорченного вкуса. Греческих художников речи отличает благородная скудность, но мастерская свобода в рамках небогатых запасов: они хотели владеть *меньшим*, чем народ – ведь его язык битком набит и старым и новым, – но зато владеть этим меньшим *лучше.* Без труда можно подсчитать их немногочисленные архаизмы и заимствования, но нет конца изумлению, если умеешь оценить легкость и изящество их обращения с обыденными и, казалось бы, давно затертыми словами и оборотами.

128

Авторы печальные и авторы серьезные. – Тот, кто переносит на бумагу свои *страдания*, становится печальным автором; но тот, кто говорит нам о том, чтó *перестрадал* и почему сейчас отдыхает от страданий в радости, – это автор *серьезный.*

129

Здоровье вкуса. – Почему состояния здоровья не так заразительны, как болезненные, – и вообще, и в особенности в сфере вкуса? Или, может быть, существуют эпидемии здоровья? –

130

Решение. – Больше не читать ни одной книги, которая одновременно появилась на свет и была крещена (чернилами).

131

Правка мыслей. – Править стиль – значит править мысли, и ничего больше! – Кто не согласится с этим немедля, того никогда уже в этом не убедить.

132

Классические книги. – Наиболее слабая сторона любой классической книги – это то, что она уж чересчур написана на родном языке ее автора.

133

Плохие книги. – Книга должна требовать пера, чернил и письменного стола: но обычно перо, чернила и письменный стол требуют книги. Потому-то сейчас с книгами так плохо.

134

Присутствие чутья. – Публика, размышляя над картиной, становится от этого поэтом, а размышляя над стихотворением, – исследователем. В тот миг, когда художник апелли-

рует к ней, ему всегда не хватает *верного* чутья, то есть не присутствия духа, а присутствия чутья.

135

Изысканные мысли. – Изысканный стиль значительной эпохи изыскивает не только слова, но и мысли, причем то и другое – из *ходового* и *господствующего*: мысли рискованные и пахнущие слишком свежо претят зрелому вкусу не меньше, чем новые, неслыханно смелые образы и выражения. Позже то и другое – изысканные мысли и изысканный слог – с легкостью приобретают запах посредственности, ведь изысканный аромат быстро улетучивается, и в них остается лишь привкус ходового и будничного.

136

Главная причина порчи стиля. – Желание *показать*, что чувствуешь вещь сильнее, чем *делаешь* это в действительности, портит стиль – и в языке, и во всех искусствах. Всякое великое искусство питает, скорее, обратную склонность: оно, подобно всякому нравственно значительному человеку, любит задерживать чувство на его пути, не давая ему сразу добежать до конца. Лучше всего этот стыд наполовину скрытого чувства можно наблюдать у Софокла; это словно просветляет черты чувства, когда оно представляет себя более трезвым, чем есть.

137

В извинение тяжеловесных стилистов. – Легко сказанное редко проникает в уши с той же весомостью, какой предмет действительно обладает – но все дело тут в плохо вышколенных ушах, которым следует перейти из заведения, где учат тому, что до сих пор звалось музыкой, в школу высшего композиторского искусства, то есть *речи*.

138

С высоты птичьего полета. – Здесь с разных сторон в пропасть низвергаются горные потоки: их падение так бурно, с такою силой оно приковывает к себе глаз, что голые и заросшие лесом горные склоны кругом, кажется, не снижаются, а *сбегают вниз.* Зрелище заставляет напрягаться в страхе, словно за всем этим скрыто что-то враждебное, от которого все должно бежать, а единственную защиту предоставляет нам бездна. Эту местность нельзя написать красками на холсте, разве что художник будет парить над нею в воздухе, как птица. Уж здесь-то так называемая птичья перспектива – не художественный произвол, а единственная возможность.

139

Рискованные сравнения. – Если рискованные сравнения – не доказательства озорства писателя, тогда они – доказательства его исчерпанной фантазии. Но в обоих случаях они – доказательства его плохого вкуса.

140

Танец в цепях. – Говоря о любом греческом художнике, поэте и прозаике, следует задаться вопросом: каковы *новые ограничения*, которые он налагает на себя, увлекая ими своих современников (так что находятся и подражатели)? Ведь то, что называют находкой (к примеру, в области метрики), – это всегда такие вот наложенные на себя оковы. «Танцевать в цепях», усложняя себе задачу, и создавать на этой почве иллюзию легкости – вот фокус, который они хотят нам показать. Уже у Гомера можно увидеть множество традиционных формул и законов эпического повествования, *в рамках которых* ему приходилось танцевать: но и сам он создал для потомков новые конвенции. То была воспитательная школа греческих поэтов: сначала принять на себя от прежних поэтов многообразные ограничения, а потом

изобрести еще какое-нибудь новое ограничение, наложить его на себя и грациозно преодолеть: так, чтобы все заметили и ограничение, и победу, и восхитились ими.

141

Писательская полнота. – Последнее, что обретают хорошие писатели, – это полнота; тому, кто с нее начинает, никогда не стать хорошим писателем. Самые резвые скаковые лошади худы, пока не получают право *отдохнуть* от своих побед.

142

Пыхтящие герои. – Поэты и художники, страдающие узкогрудостью чувства, как правило, заставляют своих героев пыхтеть от натуги: в легком дыхании они ничего не смыслят.

143

Полуслепые. – Полуслепые читатели – заклятые враги всех авторов, которые не знают никаких границ. Последним следовало бы понимать ту ярость, с какой такие читатели закрывают книгу, убедившись в том, что ее автору понадобилось пятьдесят страниц для изложения пяти мыслей: ярость из-за того, что им пришлось подвергнуть остаток своего слабого зрения опасности, взамен почти ничего не получив. – Один полуслепой читатель сказал: «*Все* авторы не знают никаких границ». – «Что, даже Святой Дух?» – «Даже Святой Дух. Но он мог себе это позволить – ведь и писал-то он для совсем слепых.»

144

Стиль бессмертия. – Фукидид, равно как и Тацит, – оба они, задумывая свои творения, рассчитывали на их неумирающую жизнь: об этом, даже не зная точно, можно догадаться

уже по их стилю. Первый хотел придать своим мыслям долговечность, засаливая их, второй – вываривая; и оба, сдается, в этом не просчитались.

145

Против образов и уподоблений. – Образами и уподоблениями можно убедить, но не доказать. Поэтому люди науки и питают такую неприязнь к образам и уподоблениям; в науке *избегают* как раз всего убедительного, заставляющего *поверить*, и посредством хотя бы уже только стиля и голых стен вызывают, напротив, самый холодный скепсис: ведь скепсис – это пробный камень для золота достоверности.

146

Осторожность. – Кому не хватает основательных познаний, тому в Германии лучше поостеречься писать. Ведь нормальные немцы не скажут: «Он невежда», они скажут: «У него сомнительный характер». – Это опрометчивое заключение, кстати, делает немцам честь.

147

Размалеванный костяк. – Размалеванный костяк: это те писатели, которые неестественными красками стремятся возместить нехватку у себя плоти.

148

Монументальный стиль и возвышенное. – Писатели скорее усваивают манеру писать в монументальном стиле, нежели в стиле легком и простом. Причины этого явления затеряны в области нравственности.

149

Себастьян Бах. – Если мы слушаем музыку Баха, *не* будучи совершенными и умудренными знатоками контрапункта и всех видов фугированного стиля, а потому вынуждены обходиться без подлинного артистического наслаждения, то нам как слушателям его музыки будет казаться (выражаясь на торжественный лад вместе с Гёте), будто мы присутствовали при *сотворении мира Богом.* Иными словами: мы чувствуем, что здесь появляется, но еще не появилось что-то великое: это наша *великая* современная музыка. Она уже преодолела мир, преодолев церковь, нации и контрапункт. В Бахе еще слишком много сырой христианскости, сырого немечества, сырой схоластики; он стоит на пороге европейской (современной) музыки, но оглядывается оттуда на средневековье.

150

Гендель. – Гендель, в тематическом сочинении своей музыки отважный, новаторский, правдивый, мощный, родственный и близкий тому героическому, на что способен *народ,* – в разработке часто бывал скован и холоден, даже уставал от самого себя; тогда он применял некоторые опробованные методы проведения темы, писал быстро и много и вздыхал с облегчением, закончив, – но это не была радость того рода, какую испытывали Бог и другие творцы вечером, после рабочего дня.

151

Гайдн. – Насколько гениальность может вселяться в исключительно *хорошего* человека, она была присуща Гайдну. Он вплотную подходит к границе, отделяющей нравственность от интеллекта; он пишет только ту музыку, у которой «нет прошлого».

152

Бетховен и Моцарт. – Музыка Бетховена часто кажется глубоко взволнованным переживанием человека, вновь слушающего «невинность в звуках», будто бы уже давным-давно утраченную; это музыка, *рассказывающая* о музыке. В песнях нищих и детей на улицах, в монотонных напевах странствующих итальянцев, в танцевальных ритмах деревенских кабачков или карнавальных ночей – вот откуда он черпал свои «мелодии»: он приносит их отовсюду, подобно пчеле, подслушивая там и сям то один звук, то короткий мотив. Для него это – преображенные *воспоминания* о «лучшем мире»: так и Платон представлял себе свои «идеи». – Моцарт стоит к своим мелодиям в совсем другом отношении: он черпает вдохновение не в звуках музыки, а в наблюдении за жизнью, оживленнейшей *южной* жизнью – он грезил об Италии всегда, когда там не был.

153

Речитатив. – Прежде речитатив был сухим; сейчас мы живем в эпоху *влажного речитатива:* он свалился в воду, и волны влекут его по своей воле.

154

«Веселящая» музыка. – Если человек долго не слышал музыки, то потом она неимоверно быстро всасывается в кровь, подобно крепкому южному вину, сообщая душе наркотический дурман, полусон, желание заснуть; и в особенности таково действие как раз *веселящей* музыки, дающей зараз горечь и раны, пресыщение и ностальгию и заставляющей пить все это снова и снова, как приправленный сахаром ядовитый напиток. При этом зал весело шумящей радости, кажется, съеживается, люстры расплываются в море света, а пламя их свечей темнеет: наконец, чувствуешь, что звуки словно летят в темницу, где какой-то бедолага никак не может заснуть от ностальгии.

155

Франц Шуберт. – Франц Шуберт, художник менее значительный, чем другие великие композиторы, все же *унаследовал* от всех них величайшее музыкальное *богатство.* Он разбрасывал его полными пригоршнями и от доброго сердца, так что музыканты будут *питаться* его мыслями и находками еще несколько столетий. Для нас его творения – сокровищница *неисчерпаемых* находок; другие изведают ее величину, черпая из нее. – Если Бетховена можно назвать идеальным слушателем народного музыканта, то Шуберт сам имеет право зваться идеальным народным музыкантом.

156

Новейшая манера музыкального исполнения. – Великая трагико-драматическая манера музыкального исполнения отмечена своеобразием благодаря подражанию жестам *великого грешника*, каким его предпочитает представлять себе христианство: медлительно шагающего, мучительно размышляющего, мечущегося от угрызений совести, в ужасе убегающего, лихорадочно хватающего, в отчаянии застывающего – и какие там есть еще признаки, присущие великим грешникам. Можно оправдать применение этого исполнительского стиля ко *всей* музыке, лишь исходя из христианской предпосылки, гласящей, что все люди – великие грешники и ничем иным не занимаются, кроме греха: тогда музыка была бы отражением всей человеческой деятельности и как таковая должна была бы беспрестанно говорить на языке жестов великого грешника. Слушатель, если он проникнут христианством недостаточно, чтобы понять эту логику, после такого исполнения мог бы, пожалуй, испуганно вскричать: «Ради всего святого, каким это образом грех проник в музыку!»

157

Феликс Мендельсон. – Музыка Феликса Мендельсона – это музыка хорошего вкуса во всем хорошем, что было: она всегда

указывает на то, что позади. Разве у нее может быть много чего впереди, какое-то большое будущее! – Но *хотел* ли он, чтобы оно было? Он обладал одной добродетелью, которая редко встречается у художников – добродетелью благодарности без задних мыслей: эта добродетель тоже всегда указывает на то, что позади.

158

Тоже мать искусств. – В нашу скептическую эпоху для настоящей *покорности* нужен чуть ли не зверский героизм *честолюбия*; фанатичного опускания глаз и преклонения колен уже не хватает. И вполне возможно, что это честолюбивое желание быть последним на все времена в покорности породит некую последнюю католическую церковную музыку, как оно уже породило последний церковный зодческий стиль (его называют иезуитским).

159

Свобода в цепях – царская свобода. – Последний из композиторов нового времени, который созерцал красоту и поклонялся ей, подобно Леопарди, – поляк Шопен, Неподражаемый – ни один композитор до и после него не имеет права на этот титул, – Шопен обладал тем самым царским благородством конвенции, какое Рафаэль обнаруживает в обращении с традиционными простейшими красками, – но в отношении не красок, а традиционных мелодических и ритмических приемов. Он воспринимает их как *порождения церемониала*, но играет и пляшет в этих оковах как самый свободный и грациозный ум – и притом нимало над ними *не* издеваясь.

160

«Баркарола» Шопена. – Почти во всех душевных состояниях и образах жизни есть свой момент *блаженства.* Хорошие

художники умеют *его* вылавливать. Такие моменты есть даже в жизни приморских местечек, жизни такой скучной, грязной, нездоровой, проходящей поблизости от самой шумной и алчной черни; – эти-то моменты блаженства Шопен воплотил в звуках своей «Баркаролы» так, что мог бы даже богам внушить желание полежать в лодке долгими летними вечерами.

161

Роберт Шуман. – Тип «юноши», о котором грезили писавшие стихи для песен романтики Германии и Франции в первой трети нынешнего столетия, – этот тип целиком выражен вокально-инструментальными средствами, и сделал это Роберт Шуман, вечный юноша, покуда он чувствовал себя в полном обладании своими силами: но бывают моменты, когда его музыка напоминает о вечной «старой деве».

162

Певцы драматического жанра. – «Зачем этот нищий поет?» – «Вероятно, он не умеет стенать.» – «Тогда он правильно делает: ну а наши драматические певцы, которые стенают, потому что не умеют петь, – они тоже правильно делают?»

163

Драматическая музыка. – Для человека, который не видит, что происходит на сцене, драматическая музыка – это абсурд; точно так же был бы абсурдом непрекращающийся комментарий к утерянному тексту. Она совершенно недвусмысленно требует, чтобы наши уши были на том же месте, где и наши глаза; но это явное насилие над Евтерпой: несчастной музе хотелось бы, чтобы ее уши и глаза оставили бы там же, где они и у всех других муз.

164

Победа и разум. – К сожалению, и в эстетических войнах, которые художники развязывают своими произведениями и их апологиями, дело в конечном счете решает сила, а не разум. Нынче все воспринимают как исторический факт, что Глюк был *прав* в споре с Пиччини: ведь во всяком случае он *победил*; сила стояла на его стороне.

165

О принципе музыкального исполнения. – Неужели нынешние художники музыкального исполнения и впрямь думают, будто высочайшая заповедь их искусства – придавать каждой пьесе как можно большую *выпуклость* и любою ценой заставить ее говорить на языке драмы? Если применить такой принцип, скажем, к Моцарту, то разве это не настоящий грех против духа, ясного, солнечного, нежного, легкомысленного духа Моцарта, серьезность которого была добродушной, а не страшной, образы которого не выскакивали из стен, чтобы повергнуть зрителя в ужас и бегство? Или вам кажется, что моцартовская музыка – это всегда «музыка Каменного гостя»? Да и не только моцартовская, а всякая музыка? – Но вы возражаете, что в пользу вашего принципа говорит более сильное *воздействие* – и вы были бы правы, если бы только не оставался встречный вопрос, *на кого* же оказано это воздействие и на кого вообще *имеет право желать* воздействовать художник аристократического толка! Только не на народ! Только не на людей, не созревших для искусства! Только не на людей сентиментальных! Только не на людей болезненных! Но прежде всего: только не на людей отупевших!

166

Музыка наших дней. – Эта современная музыка с ее сильными легкими и слабыми нервами всегда пугает в первую очередь самое себя.

167

Где музыка чувствует себя как дома. – Музыка добивается наибольшей власти лишь среди людей, которые не умеют или не имеют права спорить. Поэтому ее покровители первого ранга – монархи, которые хотят, чтобы поблизости от них не занимались слишком много критикой и даже чтобы не слишком много думали. Во вторую очередь это различные общества, которым под каким-нибудь давлением (монарха или религии) приходится привыкать к молчанию, но искать тем более сильные палочки-выручалочки против скуки чувства (обыкновенно это «вечная влюбленность» и «вечная музыка»); в третью – целые народы, в которых нет никакого «общества», но тем больше отдельных личностей с тягой к одиночеству, к сумеречным мыслям и к почитанию всего невыразимого: это и есть подлинные музыкальные души. – Поэтому греки, будучи любителями поговорить и поспорить, выносили музыку только как *гарнир* к искусствам, о которых можно по-настоящему поговорить и поспорить, в то время как о музыке невозможно *мыслить* четко. – Пифагорейцы, во многом исключения среди греков, как известно, были и великими музыкантами: это они изобрели пятилетнее молчание, а *не* диалектику.

168

Сентиментальность в музыке. – Человек, до глубины души растроганный серьезной и богатой музыкой, порой, может быть, подпадает под власть и очарование ее антипода, почти целиком в нем растворяясь; я имею в виду: под власть тех простейших мелизмов итальянских опер, которые, несмотря на все их ритмическое однообразие и гармонический примитивизм, так и кажется, порой поют для нас, как душа самой музыки. Согласитесь ли вы, фарисеи хорошего вкуса, или нет, но *это так*, а мое дело теперь – посоветовать вам разгадать загадку того, почему это так, и немного постараться над этим самому. – Еще в детстве мы впервые попробовали мед множества вещей, и мед этот никогда не был так сладок, как в то время, он манил нас к жизни, к самой

долгой жизни, принимая вид первой весны, первых цветов, первых бабочек, первой дружбы. Тогда – это было, наверное, на девятом году нашей жизни – мы впервые услышали музыку, и это была та музыка, которую мы впервые *поняли*, то есть простейшая и детская, не слишком далекая от развития тем колыбельных или песен уличных музыкантов. (Нужно все-таки сначала получить *подготовку* и *выучку* для восприятия даже самых примитивных «откровений» искусства: ведь никакого «непосредственного» воздействия искусства не бывает, какие бы красивые сказки ни рассказывали об этом философы.) К тем первым музыкальным восторгам, самым сильным в нашей жизни, и обращается наше чувство, когда мы слышим итальянские мелизмы: блаженство детства и утрата детства, ощущение невосполнимости как ценнейшего нашего достояния – все это трогает тогда струны нашей души так сильно, как их не тронуть самому богатому и серьезному искусству. – Такая смесь эстетической радости с нравственной печалью, которую обыкновенно называют теперь просто «сентиментальностью», несколько, как мне кажется, слишком помпезно – смесь, характерная для настроения Фауста в конце первой сцены, – эта «сентиментальность» слушателя играет на руку итальянской музыке, которую иначе предпочли бы игнорировать бывалые гастрономы искусства, чистые «эстеты». – Кстати, почти всякая музыка оказывает *волшебное* воздействие, лишь когда мы слышим в ней звуки речи нашего собственного *прошлого*: в этом смысле профанам кажется, будто вся старая музыка становится все лучше, а только что написанная – малозначительна: ведь она еще не пробуждает чувства «сентиментальности», каковое, как уже говорилось, есть важнейший элемент счастья в музыке для каждого, кто не в состоянии наслаждаться этим искусством исключительно как художник.

169

Скажем это как друзья музыки. – В конце концов, мы храним и будем хранить верность музыке, как храним ее лунному свету. Ведь оба они не метят на место солнца – они только

хотят освещать наши *ночи* так хорошо, как могут. Но разве, несмотря на это, мы не имеем права шутить и смеяться над ними? Ну хоть немножечко? Хоть иногда? Смеяться над человеком на луне! Над женщиной в музыке!

170

Искусство в век труда. – В нас живет совесть трудолюбивого века: и это не позволяет нам посвящать искусству лучшие часы перед полуднем, каким бы великим и почтенным ни было само это искусство. Мы считаем его делом досуга, отдыха: поэтому уделяем ему *остатки* нашего времени, наших сил. – Таков общий для всех факт, изменивший отношение искусства к жизни: предъявляя свои *великие* требования к времени и силам любителей искусства, оно обратило *против* себя совесть людей трудолюбивых и старательных и теперь вынуждено довольствоваться бессовестными и ленивыми, которым, однако, по самой их природе, нет дела до *большого* искусства, и его требования они воспринимают как незаконные. Поэтому, вероятно, оно обречено, ведь ему перекрыт воздух для дыхания; другая возможность такова – большое искусство пытается приютиться в своего рода огрублении и маскировке, прижиться в том другом воздухе (или хотя бы не умирать в нем), который, собственно, является естественной стихией только для *мелкого* искусства, для искусства, рассчитанного на отдых, на восхитительное увеселение. В наши дни это происходит повсюду; даже художники большого искусства сулят отдых и увеселение, даже они обращаются к усталым, даже они выпрашивают у них вечерние часы их рабочего дня – совсем как художники развлекающего искусства, довольствующиеся победами, одержанными над каменной серьезностью лиц, над померкшими взглядами. А к каким же уловкам прибегают их более великие сотоварищи? В их жестяных кружках – самые мощные стимуляторы, способные вызвать дрожь даже у умирающих; они запаслись оглушающими, опьяняющими, потрясающими, исторгающими рыдания средствами: с их помощью они одолевают усталых, повергая их в состояние лихорадочно возбужденной бледности бессонных

ночей, заставляя их проявлять внешние признаки восторга и ужаса. Можно ли сердиться на большое искусство наших дней, живущее в опере, трагедии и музыке, из-за того, что эти средства опасны, а их применение – коварный грех? Конечно, нет: ведь оно и само явно предпочло бы жить в чистой стихии утренней тишины, обращаясь к ожидающим, свежим, полным сил утренним душам зрителей и слушателей. Так будем же благодарны ему за то, что оно предпочитает жить так, а не бежать прочь; но согласимся и с тем, что *наше* большое искусство будет непригодно для века, который снова введет в жизнь привольные дни, полные праздника и радости.

171

Служащие от науки и другие. – Ученых по-настоящему дельных и успешных можно назвать в целом «служащими» в ней. Если в молодости такой ученый развил в себе достаточно сообразительности, достаточно многое усвоил, когда добился надежной работы своих рук и глаз, то старшие ученые ставят его на такое место в науке, где его качества могут принести пользу; позже, когда ученый сам начинает замечать в своей науке пробелы и провалы, он самостоятельно занимает место, где в нем есть нужда. Все такие натуры занимаются наукой ради нее самой: но есть и натуры более редкие, редко реализующие себя, но полностью зрелые, «ради которых существует наука» – по крайней мере, так кажется им самим: это люди часто неприятные, часто с большим самомнением, часто строптивые, но почти всегда в той или другой степени обаятельные. Это не служащие, но и не те, кто определяют на службу, они пользуются тем, что первыми разработано и точно установлено, с какою-то царской небрежностью, редко и мало хваля их, словно те относятся к какому-то низшему виду существ. И все-таки они наделены только теми же качествами, которые присущи тем, другим, да и эти качества иногда бывают развиты у них недостаточно: к тому же им свойственна *ограниченность*, какой лишены те, почему их невозможно поставить на ту или иную должность и разглядеть в них полезные инстру-

менты, – они могут жить только в *своем собственном воздухе*, на своей собственной почве. Благодаря этой ограниченности они отбирают для себя как «относящееся к ним» все, что есть в их науке, иными словами все, что они могут забрать к себе, в свой воздух и свое жилище; они думают, что только собирают свою рассеянную «собственность». Если им не дают свить собственное гнездо, они гибнут, как птицы, оставшиеся без крова; неволя для них что чахотка. Если они и возделывают отдельные местности науки на манер тех, других, то только такие, на которых урождаются как раз нужные им плоды и семена; какое им дело до того, что в науке как целом останутся невозделанные или плохо ухоженные местности? Они совершенно лишены чувства *безличной* причастности к той или иной проблеме познания: если сами они – в высшей степени личности, то и все их понятия и познания сливаются в одну личность, в единое живое многообразие, отдельные части которого зависят друг от друга, проникают друг в друга, вместе получают питание, и у этого целого есть собственная атмосфера, собственный запах. – Такие натуры, производя эти свои *личностные* продукты познания, вызывают *иллюзию* того, что отдельная наука (а не то и вся философия) завершена или достигла своего предела; это волшебство творит *жизнь* в их облике: в одни эпохи оно бывало роковым для науки и сбивало с толку вышеописанных, по-настоящему дельных работников ума, в другие же, когда царили засуха и истощение, оно действовало как освежающий напиток и словно бы дыхание прохладного, отрадного оазиса. – Подобных людей обыкновенно называют *философами*.

172

Признание таланта. – Когда я проходил через деревню З., какой-то мальчишка принялся изо всех своих сил щелкать бичом – видно, он уже далеко продвинулся в этом искусстве и знал об этом. Я бросил ему взгляд признания – но на самом деле мне было *очень больно*. – Так мы поступаем, признавая множество талантов. Мы делаем им добро, когда они делают нам больно.

173

Смех и улыбка. – Чем больше ум человека полон радости и уверенности в себе, тем больше он отучается от громкого смеха; зато на его устах неизменно витает умная улыбка, знак его удивленного приятия бесчисленных потайных радостей своей добротной жизни.

174

Поддержка для больных. – Если, испытывая душевное горе, человек рвет на себе волосы, бьет себя по лбу, расцарапывает щеки или, подобно Эдипу, выкалывает себе глаза, то при сильных телесных страданиях он иногда призывает себе на помощь сильное чувство горечи, вспоминая о тех, кто его оклеветал и поверил клевете, с безнадежностью думая о своем будущем, посылая в уме молнии и нанося удары кинжалом отсутствующим. И подчас это срабатывает: ведь тут одного дьявола изгоняют с помощью другого – но это же значит, что другой дьявол есть в человеке. – Поэтому больным лучше обращаться к другому утешению, при котором их страдания, возможно, смягчатся: размышлять о благодеяниях и любезностях, которые они могут оказать друзьям и врагам.

175

Посредственность как маска. – Посредственность – самая удачная маска, какую может надеть на себя ум выдающийся, – ведь она не вызывает мыслей о маскировке у огромного множества людей, то есть у посредственности: но надевают-то ее как раз ради посредственности, чтобы не раздражать ее, а нередко даже из сострадания и милосердия.

176

Терпеливые. – Пиния, кажется, прислушивается, ель – ожидает; но ни та, ни другая не проявляют нетерпеливости:

они не думают о маленьком человеке внизу, пожираемом нетерпением и любопытством.

177

Самые веселые шутки. – Самая желанная шутка для меня – та, что приходит на смену тяжелой, полной сомнений мысли, и подобна жесту пальца и подмигиванью.

178

Непременный атрибут почтения. – Всюду, где почитают прошлое, должно запрещать вход чистым и чистящимся. Пиетет не будет полным без толики пыли, грязи и нечистот.

179

Великая опасность, грозящая ученым. – Как раз самые дельные и основательные из ученых находятся в опасности увидеть, как все менее значительной становится цель их жизни, и, предчувствуя это, делаться все более угрюмыми и несносными. Сначала они вплывают в свою науку с обширными надеждами, определяя себе задачи посмелее, конечные цели которых порой уже предвосхищают своей фантазией: потом наступают моменты, какие бывают в жизни великих мореплавателей-первопроходцев, – знание, предчувствие и сила подымают друг друга все выше, пока вдали вдруг не замаячит новый берег. Но тогда человек требовательный от года к году все глубже понимает, насколько важно как можно сильнее ограничивать отдельные задачи исследования, чтобы появилась возможность разрешить их *без остатка*, избежав того немыслимого расточения сил, от которого страдали ранние периоды науки: тогда все работы повторялись десять раз, а последнее и самое верное слово всегда принадлежало только одиннадцатому. Но чем больше ученый узнает и практикует это разрешение загадки без остатка, тем сильнее и его наслаждение от этого: однако

вместе с тем растет и строгость его требований к тому, что названо здесь «разрешением без остатка». Он отметает в сторону все то, что в этом смысле не может обрести завершенный вид, у него появляется какое-то отвращение и какое-то чутье ко всему, что можно решить только наполовину, – ко всему, что способно дать какую-то достоверность лишь в общем и очень неопределенно. Его юношеские планы рушатся у него на глазах: из них осталось лишь несколько узлов и узелочков, развязывание которых сейчас доставляет удовольствие мастеру, дает ему проявить свою силу. И вот, в разгар этих столь полезных, столь неустанных трудов, на него, состарившегося, внезапно, а потом все чаще и все вновь наваливается глубокое недовольство, своего рода терзания совести: он глядит на себя как на заколдованного, как будто он уменьшен, унижен, превращен в искусного *карлика*, и его мучает мысль, не является ли это мастерское хозяйничанье в мелочах проявлением тяги к покою, попыткой увильнуть от призыва к величию в жизни и творчестве. Но он уже не может *вырваться* из этого заколдованного круга – его время ушло.

180

Учителя в век книг. – Самообразование и самостоятельное совместное обучение все больше входят в нашу жизнь – поэтому учителя в их теперешнем обычном виде становятся чуть ли не излишними. Пытливые мыслью друзья, стремящиеся овладеть знанием совместно, в наш книжный век находят к нему более короткий и естественный путь, чем «школа» и «учитель».

181

Великая польза тщеславия. – Сильные одиночки первобытной эпохи не только на природу, но и на общество и на более слабых одиночек смотрят как на объект хищнической эксплуатации: они выжимают их досуха и идут себе дальше. В условиях ненадежности, то голодая, то не зная, куда деть

излишки, они убивают больше животных, чем могут съесть, грабят и истязают людей больше, чем необходимо. Проявления их власти – это в то же самое время и проявления мести за мучительное, полное страха состояние; кроме того, они хотят казаться более могущественными, чем есть, и потому используют обстоятельства, чтобы творить зло: внушая больше страха, они получают больше власти. Они быстро усваивают: им помогает быть на коне или валит их землю не то, что они *есть*, а то, чем *кажутся*. Отсюда и происходит *тщеславие*. Люди могущественные всеми способами стремятся укрепить *веру* в свое могущество. – А угнетенные, дрожащие перед могущественными и служащие им, в свой черед знают, что ценны в глазах тех ровно настолько, насколько *кажутся* им ценными: потому-то они и стремятся к такой внешней ценности, а не к собственному одобрению самих себя. Тщеславие известно нам лишь в его самых ослабленных формах, в утонченном виде и малых дозах, поскольку мы живем в развитых и сильно смягченных общественных условиях: но изначально оно приносило *величайшую пользу* и было мощнейшим средством самосохранения. Причем тщеславие будет тем большим, чем умнее его носитель, – ведь укрепления веры в свое могущество ему добиться легче, чем укрепления самого могущества: но это относится лишь к *тем*, у кого хватает на это духу, или, как, наверное, считали в первобытную эпоху, – к людям *хитрым* и *коварным*.

182

Погодные признаки культуры. – На свете так мало несомненных погодных признаков культуры, что надо радоваться, если в руки тебе попадет хотя бы *один* верный признак для дома и сада. Чтобы проверить, принадлежит ли кто-нибудь к нам – я имею в виду к свободным умам, – надо испытать его отношение к христианству. Если он относится к нему иначе, чем *критически*, то мы обращаем к нему тыл: он приносит с собой несвежий воздух и плохую погоду. – Теперь уже не *наша* задача учить таких людей, что такое сирокко; у них есть свои Моисеи и предсказатели погоды и просвещения: если они не желают их слушать, то –

183

Хватит сердиться и наказывать. – Мы получили гнев и кару в подарок от своей животной природы. Человек созреет, лишь когда вернет животным этот колыбельный дар. – Здесь таится одна из величайших мыслей, на которые только способны люди, – мысль о прогрессе всех прогрессов. – Мысленно пройдемте вместе вперед, на несколько тысячелетий, друзья! Людей ждет впереди еще *очень много* радости, о которой мы, нынешние, не имеем ни малейшего представления! Причем мы вправе уже сейчас сулить себе эту радость, даже предсказывать ее как нечто неизбежное и поклясться в том, что это сбудется, – правда, лишь в том случае, если развитие человеческого разума *не остановится*! На совершение *логического* греха, скрытого в гневе и каре, будь то индивидуальных или общественных, когда-нибудь никто уже *не решится в сердце своем*: когда-нибудь, когда голова и сердце научатся так же жить во взаимной близости, как сейчас они еще очень далеки друг от друга. Что они *уже не так далеки* друг от друга, как было изначально, довольно хорошо заметно при взгляде на весь ход человеческой истории; и человек, которому придется сделать обзор внутренней работы своей жизни, с гордой радостью осознает, что преодолел их отчуждение и достиг сближения достаточно, чтобы смотреть вперед с еще большими надеждами.

184

Происхождение «пессимистов». – Смотрим ли мы в будущее потухшим взором или с радостной надеждой, нередко решает кусок хорошей еды: он поднимает нас в высшие сферы интеллекта. Недовольство и пессимизм *унаследованы* нынешним поколением от голодавших предков. Глядя и на наших художников и поэтов, пусть даже сами они живут в роскоши, нередко можно заметить, что они ведут свой род не от хороших семей, что от предков, живших в угнетении и плохо питавшихся, в их кровь и мозг перешло многое, воскресающее в сюжетах их произведений и в выбранных ими красках. Греческая культура – это культура людей со-

стоятельных, и притом состоятельных издавна: на протяжении нескольких столетий греки жили *лучше* нас (лучше в любом смысле, а особенно куда проще в еде и питье) – и в конце концов их мозг заполнился и в то же время достиг утонченности, тогда кровь потекла через него так быстро, подобно светлому вину радости, что хорошее и самое хорошее стало проявляться у них уже не в мрачности, экстазе и насилии, а в красоте и солнечном свете.

185

О разумной смерти. – Что разумнее – остановить машину, когда она сделала свое дело, или оставить ее работать, покуда она не остановится сама, то есть покуда она не разрушится? Разве это последнее – не разбазаривание средств, затраченных на ее содержание, не злоупотребление силами и вниманием работающего на ней? Разве тут не бросается на ветер то, что могло бы очень пригодиться где-нибудь в другом месте? Разве не распространяется даже своего рода неуважение к машинам вообще, если многие из них содержатся и обслуживаются столь бесполезно? – Я говорю о недобровольной (естественной) и добровольной (разумной) смерти. Смерть естественная никак не зависит от разума, это смерть абсолютно *неразумная*, при которой жалкая субстанция оболочки решает, какой срок существования отпущен ядру, и при которой, стало быть, всем заправляет чахлый, нередко больной и тупоумный тюремный сторож, определяющий тот миг, когда должен умереть его благородный узник. Естественная смерть – это самоубийство природы, то есть уничтожение разумного существа неразумным, привязанным к первому. Лишь в свете религии может казаться, что все наоборот: ведь тогда, как водится, высший разум (Божий) отдает приказ, которого должен слушаться разум низший. Вне религиозного образа мыслей естественная смерть не стоит никакого восславления. – Мудрое решение о смерти и его выполнение входят в сферу той нынче совершенно непостижимой и звучащей безнравственно нравственности будущего, увидеть утреннюю зарю которой – должно быть, несказанное счастье.

186

Двигаясь вспять. – Все преступники заставляют общество отступать назад, к более ранним ступеням культуры, чем та, на которой оно стоит: они способствуют его попятному развитию. Вспомним об инструментах, которые обществу приходится создавать и поддерживать для самообороны: о хитрых полицейских, о тюремщиках, о палачах; не забудем и об общественных обвинителях и защитниках; наконец, спросим себя: разве сами судьи, судебные наказания и судебная система в целом не оказывают скорее гнетущее, нежели возвышающее воздействие на тех, кто преступлений не совершает? Ведь самообороне и мщению никогда не удастся придать невинный вид; и всякий раз, как человека используют и приносят в жертву в качестве средства для достижения целей общества, всякая высшая человечность об этом скорбит.

187

Война как лекарство. – Народам, которым грозит истощение и убогая жизнь, в качестве лекарства можно рекомендовать войну: правда, если они вообще хотят еще существовать – ведь для чахоточных народов есть и зверские методы излечения. Но уже само желание жить вечно и никогда не умирать – признак старческого жизнеощущения: чем более насыщенной и дельной жизнью живет человек, тем скорее он готов отдать ее за одно-единственное ценное переживание. Народу, который живет и чувствует жизнь так, войны не нужны.

188

Пересадка души и тела как лекарство. – Различные культуры – это различные духовные климаты, каждый из которых преимущественно губителен или целителен для того или иного организма. *История* в целом как знание о различных культурах есть *фармакология*, но не сама медицинская наука. Тем более нужен *врач*, который пользуется этой фармако-

логией, чтобы посылать каждого в наиболее благоприятный для него климат – на время или навсегда. Жить в настоящем, в пределах одной-единственной культуры, – такого принципа недостаточно, чтобы быть рецептом для всех: тогда вымерло бы слишком много в высшей степени полезных типов людей, здоровье которых не предназначено для атмосферы настоящего. Создавать для них *воздух* и пытаться его сохранять – это и есть дело исторической науки; по-своему ценны и люди отсталых культур. – Такое лечение для душ будет способствовать человечеству с помощью некоей медицинской географии пробовать догадаться, к каким уродствам и болезням в телесном отношении дает повод каждая местность и, наоборот, какие целительные факторы она предоставляет: а уж тогда, вероятно, народы, семейства и отдельные люди мало-помалу будут подвергаться пересадке так долго и на столь долгий срок, покуда не получат власть над наследственными физическими недугами. И в конце концов вся планета станет сплошной сетью санаториев.

189

Дерево человечества и разум. – Перенаселенность земли, которой вы боитесь в своей старческой близорукости, даст человеку, глядящему на мир с большей надеждой, именно эту великую задачу: когда-нибудь человечество должно стать одним деревом, осеняющим всю землю и покрытым многими миллиардами цветов, которым суждено превратиться в плоды, не мешая друг другу, а сама земля должна быть подготовлена, чтобы обеспечить это дерево питанием. Сделать так, чтобы нынешние *еще малые* зачатки этого дела получали все больше соков и сил, чтобы по бесчисленным каналам заструился сок для питания и всего дерева, и каждой его частицы, – эти ли и им подобные задачи ставит перед собою отдельный нынешний человек, позволяет *определить*, полезен он или бесполезен. Задача неизмеримо велика и отважна, и все мы должны делать все, чтобы это дерево не загнило раньше срока! Историкам хорошо удается представлять себе человеческую природу и деятельность в масштабах всей истории так же, как все мы можем видеть перед

собой жизнь муравьев в их искусно построенном муравейнике. Если мыслить поверхностно, то и вся человеческая природа, как и природа муравьиная, позволяет как будто бы говорить об «инстинкте». Но, заглянув глубже, мы увидим, как целые народы, целые столетия неутомимо стараются отыскать и *испробовать* новые средства, несущие благополучие человечеству как великому целому, а в конечном итоге великому общему плодовому дереву человечества; и какой бы ущерб при таких пробах ни несли отдельные люди, народы и эпохи, отдельные люди всякий раз от такого ущерба становились более *сообразительными*, и эта сообразительность медленно переходила от них на меры, предпринимаемые целыми народами, целыми эпохами. Заблуждаются, выбирая не то, и муравьи; человечество преспокойно может раньше времени испортиться и зачахнуть из-за глупых средств – безошибочно ведущего вперед инстинкта не существует ни для тех, ни для него. И все-таки мы должны *глядеть в лицо* великой задаче – *подготовить* землю для великого растения, максимально плодородного и радостного, – задаче, которую разум задал разуму.

190

Восхваление бескорыстия и его происхождение. – Уже несколько лет вожди двух соседних племен враждовали между собой: затаптывались посевы, сводился скот, сжигались дома, а решающего перевеса не было ни на одной стороне – силы племен были примерно равны. Наконец, вождь третьего племени, который мог держаться в стороне от этой распри, потому что его владения были расположены в недоступном месте, но имел основания опасаться того дня, когда один из этих задиристых соседей получит решающий перевес, благожелательно и торжественно взялся мирить стороны, став между ними: но в глубине души он придавал важное значение своему мирному предложению, дав понять каждой из сторон, что объединится с другой стороной против того, кто будет противиться миру. Оба вождя подошли к нему, оба, помедлив, вложили в его руки свои, доселе бывшие орудиями и очень часто – причиною ненависти: и действительно, оба сделали серьезную попытку помириться.

Каждый с удивлением убедился в том, что его благосостояние и хорошее самочувствие внезапно возросли, что сосед теперь из коварного или открыто издевающегося злодея сделался готовым продавать и покупать торговцем и даже что при непредвиденных трудностях соседи вытаскивают друг друга из беды, вместо того, чтобы, как прежде, использовать бедственное положение соседа и доводить его до крайности. Мало того, стало казаться, будто в этих местах с той поры начала облагораживаться человеческая порода: заблестели глаза, разгладились лбы, доверие к будущему поселилось во всех сердцах – а ведь нет ничего более благотворного для людских душ и тел, чем такое доверие. В годовщину заключения мира вожди вместе со свитами сходились для встреч, и делали это в присутствии посредника: и чем большей оказывалась польза, которой они были обязаны его образу действий, тем больше они изумлялись этому последнему и чтили его. Они назвали его *бескорыстным* – и слишком пристально направляли свои взоры на полученную с того времени пользу, чтобы разглядеть в образе действий соседа больше, чем то, что его положение вследствие этого образа действий изменилось не настолько, насколько изменилось их собственное: оно, скорее, осталось тем же, вот и казалось, будто тот не обращал на пользу никакого внимания. В первый раз они сказали себе, что бескорыстие – это добродетель: правда, в мелких и частных делах подобные вещи могли случаться у них не раз, но внимание на эту добродетель они обратили лишь тогда, когда она впервые оказалась написанной на стене очень большими буквами, доступными для прочтения всей общине. Понятые как добродетели, получившие добрую славу, уважаемые, рекомендуемые для усвоения, нравственные качества существуют лишь с того мгновения, когда они стали *зримой* причиной счастья или злого рока для обществ в целом: именно тогда чувства и возбуждение внутренних творческих сил у *множества людей* достигли такого высокого уровня, что каждый начал отдавать этому качеству лучшее, чем владел. Серьезный подносит ему свою серьезность, достойный – свое достоинство, женщины – свое мягкосердечие, юноши – все свои запасы надежд и мечтаний о будущем; поэты наделяют его словами и именами, включают его в хоровод сходных качеств, придумывают для него родословное древо

и в конце концов, как подобает художникам, поклоняются образу собственного воображения, словно новому божеству, – они *учат* других поклоняться ему. Так добродетель, поскольку всеобщая любовь и благодарность работают над нею, словно над изваянием, в конце концов становится *суммой* всего хорошего и достопочтенного, своего рода храмом и божественной личностью зараз. Отныне она высится как единственная добродетель, как некое самостоятельное создание, которым дотоле не была, пользуясь правами и властью освященной сверхчеловечности. – Греческие города поздней эпохи были битком набиты такими обогочеловеченными abstractis[1] (да простится мне необычное слово ради необычного понятия); народ на свой лад соорудил себе на своей земле некое платоновское «небо идей», и я не думаю, что он чувствовал его обитателей менее живо, чем какое-нибудь древнегомеровское божество.

191

Полярные ночи. – «Полярными» в Норвегии называют такие ночи, когда солнце весь день остается ниже линии горизонта: при этом температура все время медленно падает. – Прекрасная метафора для всех мыслителей, которым порою кажется, будто солнце человеческого будущего исчезло.

192

Философ роскоши. – Садик, смоквы, немного сыру и три-четыре хороших друга – вот и вся роскошь для Эпикура.

193

Эпохи жизни. – Настоящие эпохи в жизни – это те короткие моменты затишья, которые наступают между подъемом и спадом какой-нибудь руководящей мысли или чувства. Здесь

---

1 отвлеченными сущностями (*лат.*). См. прим.

вдруг появляется ощущение *насыщенности*: все иное есть жажда и голод – или пресыщенность.

194

Сновидение. – Наши сновидения, если уж они в виде исключения удаются, оказываясь отшлифованными до блеска (а обыкновенно сновидение – работа халтурщика), это цепочки символических сцен и картин, но не речь искусного рассказчика; они описывают наши переживания, ожидания или отношения с поэтической отвагой и точностью, – и по утрам мы неизменно дивимся себе, вспоминая свои сновиденья. Во сне мы издерживаем слишком много художнического огня – потому-то днем нам так часто его не хватает.

195

Природа и наука. – Совсем так же, как в природе, в науке сначала хорошо возделываются те местности, что похуже, покаменистей – ведь как раз для этого примерно достаточно средств *молодой* науки. Обработка местностей самых плодородных предполагает хорошо сформировавшуюся, огромную силу методов, полученные отдельные результаты и организованное войско рабочих, прекрасно обученных рабочих; все это образуется лишь на поздних ступенях. – Часто нетерпение и честолюбие слишком рано набрасываются на эти самые плодородные местности; но тогда результаты бывают равны нулю. В природе такого рода попытки кончились бы тем, что колонисты стали бы умирать с голоду.

196

Жить в простоте. – Вести простой образ жизни нынче трудно: для этого требуется куда больше раздумий и изобретательности, чем те, которыми располагают даже люди весьма толковые. Самые честные из них скажут, пожалуй, разве что: «У меня нет времени размышлять об этом так долго.

Простой образ жизни для меня – цель слишком уж высокая; я лучше подожду, пока его не найдут люди помудрее меня».

197

Горные пики и зубцы. – В общем хозяйстве человечества важную роль играют меньшая плодовитость, частое безбрачие и вообще половая холодность высочайших и наиболее развитых умов, а также относящихся к ним классов; в крайней точке умственного развития весьма велика опасность *нервного* потомства, разум это познает и делает выводы: такие люди суть *горные пики* человечества – и они не вправе заканчиваться зубцами.

198

Никакая природа не делает скачков. – Как бы далеко ни шел человек вперед в своем развитии, создавая видимость перескакивания из одной противоположности в другую, при более точном наблюдении все же обнаруживаются *места скрепления* там, где новое здание выросло из старого. Вот задача всякого биографа: он должен мыслить о жизни согласно ее основному закону, гласящему, что никакая природа не делает скачков.

199

Хотя и чисто. – Если человек одевается в хорошо отстиранные лохмотья, он одевается, правда, чисто, но все-таки в лохмотья.

200

Речь одинокого. – В виде награды за пресыщение, отвращение, скуку, которые невольно несет с собою одиночество без друзей, книг, обязанностей и страстей, человеку на какие-

нибудь четверть часа достается иногда полное погружение в себя и в природу. Кто надежно отгородился от скуки, тот отгородился и от самого себя: ему никогда не напиться крепчайшим живительным напитком из собственного глубочайшего родника.

201

Ложная слава. – Ненавижу те мнимые красоты природы, которые на самом деле что-то значат лишь благодаря познаниям, главным образом в географии, но сами по себе мало что дают чувству, жаждущему красоты: так, к примеру, вид на Монблан со стороны Женевы – нечто незначительное без спешащего на помощь энтузиазма, порожденного знанием; все горы там, что поближе, выглядят живописней и выразительней, – но они «далеко не так высоки», как, чтобы ослабить впечатление от них, спешит добавить это абсурдное знание. Зрение противоречит тут знанию: и разве оно может по-настоящему наслаждаться, противореча!

202

Путешествующие ради развлечения. – Они, как животные, карабкаются на гору, в глупости и поту; им позабыли сказать, что по дороге встречаются красивые виды.

203

Слишком много и слишком мало. – Все люди теперь слишком много переживают и слишком мало передумывают: они страдают от волчьего голода и от переедания зараз, а потому постоянно худеют, сколько бы ни съедали. – Кто в наши дни говорит: «Я ничего не пережил», слывет дураком.

204

Конец и цель. – Не всякий конец – это цель. Конец мелодии – это не ее цель, и тем не менее: если мелодия не дошла до конца, то она не достигла и своей цели. Парабола.

205

Безразличие великих природных явлений. – Безразличие великих природных явлений (в горах, на море, в лесу и пустыне) нам нравится, но лишь ненадолго: вскоре мы начинаем испытывать раздражение. «Неужто все эти явления не хотят *нам* ничего сказать? Неужто *мы* для них не существуем?» И у нас появляется чувство crimen laesae majestatis humanae[1].

206

Забвение замыслов. – Путешествуя, люди обычно забывают о конечном пункте поездки. Почти всякую профессию избирают как средство достижения какой-то цели; такова она и вначале, но затем превращается в самоцель. Забвение замыслов – глупость, которую совершают чаще всего.

207

Солнечная орбита идеи. – Когда идея только восходит над горизонтом, душа обычно еще холодна к ней. И лишь восходя выше, идея постепенно начинает излучать все больше тепла, а наивысшего жара достигает (то есть оказывает наиболее сильное влияние), когда вера в идею уже снова падает.

208

Чем можно настроить всех против себя. – Если в наши дни кто-то отважится сказать: «Кто не со мной, тот против меня»,

---

1 оскорбления человеческого величия (*лат.*).

то все немедленно ополчатся против него. – Такое чувство делает честь нашей эпохе.

209

Стыдиться своего богатства. – Наша эпоха мирится лишь с одним-единственным видом богачей – с теми, что *стыдятся* своего богатства. Если о ком-то говорят: «Он очень богат», то немедленно испытываешь при этом такое же чувство, как при виде какой-нибудь отвратительно раздувшейся болезни, ожирения или водянки: приходится насильственно призывать себя к гуманности, чтобы в общении с ним такой богач не заметил, что вызывает наше отвращение. А уж если он кичится своим богатством, то к нашему чувству примешивается чуть ли не сострадательное изумление по поводу столь высокой степени человеческого безрассудства, так что хочется воздеть руки к небу и воскликнуть: «Несчастный калека, обремененный непосильной ношей, закованный сотнею цепей, которому каждый час приносит или вот-вот принесет что-то неприятное, в руках и ногах которого *любое* событие, случившееся в одной из двадцати стран, отзывается дрожью, неужто ты можешь заставить нас поверить, что чувствуешь себя в своем положении хорошо! Как только ты появляешься в обществе, мы сразу понимаем: для тебя это – все равно что пройти через строй под взглядами, выражающими лишь ледяную ненависть, назойливость или молчаливую издевку. Пусть ты получаешь свои деньги легче, чем другие, – но это деньги излишние, они доставляют тебе мало радости, и уж во всяком случае *сохранить* все свои деньги тебе *сейчас* куда тяжелее, чем прежде было их добыть. Ты *постоянно* страдаешь, потому что постоянно тратишь. И если в тебя вливают все новую, искусственную кровь, то это тебе не помогает: ведь сидящие у тебя на загривке кровососы, неизменно сидящие там, причиняют тебе боли не меньше! – Но будем справедливы: тебе трудно и, наверное, невозможно *не* быть богатым – ты *вынужден* сохранять свое богатство, *вынужден* постоянно приумножать его, наследственная склонность твоей природы для тебя – ярмо; но поэтому не обманывай нас, а честно и

открыто *стыдись* ярма, которое на себе несешь, ведь в глубине своей души ты устал и больше не хочешь его нести. Такой стыд – не позор».

210

Необузданность в высокомерии. – Некоторые люди настолько высокомерны, что не умеют иначе хвалить что-то ценное, которому выражают публичное восхищение, чем изображая его первым шагом, переходом к *самим себе.*

211

На почве позора. – Человек, который стремится отнять у людей какое-либо представление, обычно не довольствуется его опровержением и изгнанием сидящего в нем червя нелогичности: нет, он, убив червя, еще и швыряет яблоко в грязь, чтобы сделать его непривлекательным для людей и внушить им отвращение к нему. Действуя так, он думает, будто нашел способ сделать невозможным столь обычное «воскресение на третий день» опровергнутых представлений. – Но он заблуждается, ведь плодовое семя представления быстро выпускает новые ростки как раз на *почве позора*, посреди нечистот. – Следовательно: надо отнюдь не глумиться над тем, что хочешь окончательно искоренить, не осквернять его, а с уважением *класть его на лед*, принимая во внимание, что представления очень упорно цепляются за жизнь. Здесь нужно действовать согласно максиме: «Одно опровержение – это вообще не опровержение».

212

Жребий нравственности. – Когда несвобода умов слабеет, то, несомненно, слабеет и их нравственность (наследственный, традиционный, инстинктивный образ действий, основанный на *нравственных чувствах*), – но не отдельные добродетели (умеренность, справедливость, спокойствие): ведь

наибольшая свобода сознающего себя ума прямо-таки непроизвольно подводит его к ним, а уж тогда объясняет ему и то, что они *полезны.*

213

Фанатик недоверия и его ручательство. – *Старик:* Ты замахнулся на неслыханное – хочешь поучать людей в целом? А в чем твое ручательство? – *Пиррон:* Вот в чем: я буду предостерегать людей от себя самого, я буду публично признаваться во всех пороках своей природы и на глазах у всех разоблачать свои опрометчивые выводы, противоречия и глупости. Не слушайте меня, скажу я им, пока я не сравняюсь с самым ничтожным из вас, пока не стану даже более ничтожным, чем он; отвергайте истину, насколько можете, из отвращения к ее заступнику. Я буду вашим соблазнителем и обманщиком, если вы увидите во мне хоть что-нибудь достойное почтения и уважения. – *Старик:* Ты обещаешь слишком много; не вынести тебе такое бремя. – *Пиррон:* Тогда я скажу людям и об этом – что я слишком слаб и не смогу сдержать своих обещаний. Чем менее я буду достойным в их глазах, тем большее недоверие у них будет вызывать истина, выходящая из моих уст. – *Старик:* Так ты хочешь сделаться проповедником недоверия к собственной истине? – *Пиррон:* Да, недоверия, какого еще и на свете не бывало, недоверия ко всему и вся. Это единственный путь к истине. Правый глаз пусть не верит левому, а свет пусть некоторое время зовется тьмою: вот тот путь, которым вы должны идти. Не думайте, что он приведет вас к плодовым деревьям и прекрасным пастбищам. Мелкие затвердевшие зернышки – вот что вы на нем найдете: это и есть истины – десятками лет вам придется пригоршнями глотать ложь, чтобы не умереть с голоду, хотя вам и будет известно, что это ложь. Но те зернышки будут посеяны и посажены, и может быть, может быть, однажды наступит день жатвы: *обещать,* что он наступит, не посмеет никто, кроме фанатиков. – *Старик:* Друг мой, да ты и сам говоришь, как фанатик! – *Пиррон:* Ты прав! Я не собираюсь верить ни одному слову. – *Старик:* Тогда придется тебе молчать. – *Пиррон:* Я скажу людям, что дол-

жен молчать и чтобы они не доверяли моему молчанию. – *Старик*: Так, значит, ты отказываешься от своего намерения? – *Пиррон*: Напротив – ты только что показал мне ворота, через которые мне надо пройти. – *Старик*: Не знаю, понимаем ли мы еще друг друга вполне... – *Пиррон*: Вероятно, нет. – *Старик*: Да ты сам-то понимаешь себя вполне? – *Пиррон* отворачивается и смеется. – *Старик*: Ах, дружище, молчать и смеяться – вот теперь и вся твоя философия? – *Пиррон*: Да и не самая скверная. –

214

Европейские книги. – Читая Монтеня, Ларошфуко, Лабрюйера, Фонтенеля (особенно его dialogues des morts[1]), Вовенарга, Шамфора, оказываешься ближе к античности, чем при чтении любой группы из шести писателей других народов. Благодаря первым шести воскрес дух *последних столетий до* нашей эры – они образуют важное звено в великой и еще не прерванной цепи Возрождения. Их книги возвышаются над перипетиями национальных вкусов и оттенков философии, которыми сейчас обыкновенно переливается и обязана переливаться каждая книга, чтобы получить известность: они содержат в себе больше *подлинных мыслей*, чем все книги немецких философов, вместе взятые, – это мысли того рода, которые порождают другие мысли и которые... я стесняюсь сформулировать до конца; достаточно того, что они кажутся мне авторами, писавшими ни для детей, ни для мечтательных идеалистов, ни для девственниц, ни для христиан, ни для немцев, ни для... я снова стесняюсь завершить мой список. – Но чтобы высказать похвалу яснее: если бы эти книги были написаны по-гречески, их поняли бы и греки. А многое ли вообще *смог бы* понять даже какой-нибудь Платон из сочинений наших лучших немецких мыслителей, к примеру, Гёте, Шопенгауэра? Не говоря уж об отвращении, которое внушил бы ему их стиль, его неясность, преувеличенность, а иногда и пересушенность – пороки, которыми последние страдают меньше, чем кто

---

1 «Dialogues des Morts» («Диалоги мертвых»), 1683.

бы то ни был из немцев, и все-таки еще слишком много (Гёте как мыслитель обнимал облака больше, чем нужно, а Шопенгауэр почти неизменно бродит среди метафор вещей, а не среди самих вещей, что не проходит ему безнаказанно). – Зато какая ясность и искусная определенность у тех французов! Их искусство одобрили бы даже греки с самым тонким слухом, а кое-чему восхитились и преклонились бы перед ним – французскому стилистическому остроумию: такое они очень *ценили*, не будучи, правда, особенно сильны в нем.

215

Мода и модное. – Всюду, где еще в ходу невежество, неопрятность, суеверие, где плохо с путями сообщения, где жалкое сельское хозяйство, а клир могуществен, все еще есть место *национальным костюмам.* Зато там, где есть признаки противоположного, царит *мода.* Значит, моду можно найти рядом с *добродетелями* современной Европы: так разве может она быть их теневой стороной? – Прежде всего, *мужская* одежда, если она модная, уже не национальная, говорит о том, кто ее носит, что европеец не хочет бросаться в глаза ни как *отдельная личность*, ни как *представитель сословия* или *народа*, что он вменил себе в обязанность намеренное ослабление этих видов тщеславия; затем – что он трудолюбив и не тратит много времени на одежду и прихорашивание, а на все драгоценное и роскошное в ткани и драпировке смотрит как на помеху работе; наконец, что его костюм указывает на профессии, больше связанные с ученостью и умом, как на *такие*, к которым он в качестве европейца ближе всего или хотел бы быть как можно ближе: а вот сквозь еще носимые национальные костюмы разбойник, пастух или солдат проглядывают как занятия самые желательные и задающие тон. В рамках этого общего характера мужской моды встречаются и те мелкие отклонения, которые производит на свет тщеславие молодых людей, щеголей и бездельников больших городов, то есть *тех, что еще не созрели в качестве европейцев.* – Европейские женщины еще *куда менее зрелы*, а потому и отклонения у них куда более заметны: они

тоже избегают всего национального, они ненавидят, если по платью их опознают как немок, француженок, русских, но им очень хочется бросаться в глаза в качестве отдельных личностей; и никто в их представлении, глядя только на их одежду, не смеет сомневаться в их принадлежности к уважаемым общественным классам (к «хорошему», «лучшему» обществу или к «большому свету»), причем они желают подчеркнуть эту сторону тем более пристрастно, чем менее принадлежат к тем классам или совсем к ним не принадлежат. Но главным образом молодые женщины не хотят носить то, что носят женщины постарше, поскольку думают, будто их станут меньше ценить, подозревая, что они старше; а те, что постарше, в свой черед, хотят, одеваясь, как молодые, продлить обман, насколько могут так одеваться, – такое соперничество постоянно порождает временную моду, подчеркивающую настоящую молодость совершенно недвусмысленно и неподдельно. Если юные искусницы какое-то время поупражняют свою изобретательность в такого рода разоблачениях юности или, чтобы уж сказать всю правду: если когда-нибудь они обратятся к изобретательности старых придворных культур, равно как и еще существующих наций и всей одевающейся земли вообще, соединив для демонстрации красивой плоти, скажем, испанцев, турок и древних греков, то в конце концов все снова будут обнаруживать, что не там искали свою выгоду и что производить на мужчин наиболее выгодное впечатление куда лучше, играя в прятки красивой плоти, а не честно обнажая ее почти полностью или наполовину. Вот тут-то колесо вкуса и тщеславия вдруг опять начнет крутиться в обратном направлении: те молодые женщины, что постарше, почувствуют себя хозяйками положения, и соперничество самых миловидных и самых нелепых созданий разгорится сызнова. Но *чем большей* будет душевная зрелость женщин, чем меньше они будут признавать первенство незрелых возрастов, как делали это прежде, тем меньшими будут и отклонения в их одежде, тем проще их уборы: о них по справедливости надо судить не по античным образцам, то есть *не* по меркам одеяний жительниц средиземноморских побережий, а учитывая климатические условия средней и северной Европы, иными словами, тех мест, которые сей-

час стали самыми родными для умственного и изобретающего формы гения Европы. – В целом, следовательно, характерным признаком *моды* и *модного* будет как раз *не изменчивость*, поскольку именно перемены суть нечто отсталое, отличающее еще *незрелых* мужчин и женщин Европы, – а отказ от национального, сословного и индивидуального тщеславия. Соответственно похвально (поскольку бережет силы и время), что отдельные города и местности в Европе думают и изобретают в области модной одежды за все остальные, если принять во внимание, что обычно чувством формы наделен не каждый: да и не такое уж это на самом деле большое честолюбие, если, к примеру, Париж – до тех пор, пока еще существуют отклонения в моде, – претендует на место единственного изобретателя и новатора в этой сфере. Если какой-нибудь немец, принимающий в штыки подобные притязания какого-нибудь французского города, захочет одеваться иначе, скажем, так, как Альбрехт Дюрер, то пусть поразмыслит о том, что в таком случае у него будет такой костюм, какие немцы в прежние времена носили, но не сами их придумали, – наряд, характерный только для немцев, не существовал *никогда*; кстати, пусть он посмотрит, как выглядит в этом костюме и гармонирует ли с Дюреровым одеянием совершенно современное лицо со всей письменностью черт и складок, оставленной на нем девятнадцатым столетием. – Тут, где понятия «современный» и «европейский» почти равнозначны, под Европою понимается куда большее пространство, чем географическая Европа, занимающая маленький полуостров Азии: в особенности сюда относится Америка – в той мере, в какой она является дочерней страной именно нашей культуры. С другой стороны, далеко не вся Европа подпадает под понятие «европейская культура», а лишь те народы и части народов, общее прошлое которых восходит к греко-римской античности, иудаизму и христианству.

216

«Немецкая добродетель». – Невозможно отрицать, что с конца прошлого столетия по Европе побежал ток нравственного

пробуждения. Лишь тогда добродетель снова заговорила в полный голос; она научилась находить непринужденные жесты, соответствующие возвышенным и умиленным состояниям души, она перестала стыдиться себя и стала выдумывать для самовозвеличения философские теории и поэмы. Если поискать источники этого тока, то, во-первых, можно обнаружить Руссо – но Руссо мифического, которого сочинили, исходя из впечатления от его произведений (так и хочется сказать: его мифически истолкованных произведений) да из указаний, оставленных им самим (он и его публика постоянно работали над этой идеальною фигурой). Другой источник заключен в том воскрешении стоически-величественного римского духа, благодаря которому французы достойнейшим образом продолжили дело Ренессанса. От воспроизведения античных форм они с отменным успехом перешли к воспроизведению античных характеров, навсегда сохранив за собой право на высшие почести как народ, давший современному человечеству пока что лучшие книги и лучших людей. Как этот двойной образец для подражания – мифический Руссо и вновь проснувшийся римский дух – воздействовал на более слабых соседей, особенно хорошо видно на примере Германии: она вследствие своего нового и совсем непривычного для нее порыва к серьезности и величию волеизъявления и моральной автономии в конце концов сама же изумилась своей новой добродетели и пустила гулять по миру понятие «немецкая добродетель», так, словно ничего более исконного, коренного, нежели эта ее добродетель, и быть не могло. Первые великие мужи, которые усвоили тот исходивший от французов импульс к величию и осознанности нравственного волеизъявления, были честнее и не забывали о благодарности. Морализм Канта – откуда он взялся? Он дает это понять все снова и снова: из Руссо и возрожденного стоического Рима. Морализм Шиллера: тот же источник, то же восславление источника. Морализм Бетховена в звуках: это вечная хвалебная песнь Руссо, античным французам и Шиллеру. И лишь «немецкий юноша» забыл о благодарности, в то время как немцы склонили свой слух к проповедникам франкофобии: это тот немецкий юноша, который временно вышел на первый план с большей самоуве-

ренностью, чем считается дозволенным у других юношей. Если бы он чуял, от каких отцов явился на свет, то по праву мог бы думать о близости Шиллера, Фихте и Шлейермахера: но дедов своих ему пришлось бы искать в Париже, в Женеве, и было большой наивностью верить в то, во что верил он: что добродетель родилась не более чем за тридцать лет до того. Тогда-то немцы и приучились ожидать, что под словом «немецкий» как-то так, кстати, подразумевается заодно и добродетель, – и не разучились этому вполне вплоть до сего дня. – Попутно замечу, что последствиями вышеназванного нравственного пробуждения для *познания* моральных явлений, как нетрудно догадаться, были только ущерб и регресс. Что такое вся немецкая философия морали начиная с Канта со всеми ее французскими, английскими и итальянскими отрогами и отростками? Наполовину теологическое покушение на Гельвеция, отказ от завоеванных с таким длительным упорством перспектив или указующих знаков верного пути, которые тот в конце концов так удачно выразил и свел воедино. Из всех хороших моралистов и хороших людей Гельвеций в Германии вплоть до наших дней подвергается самой суровой брани.

217

Классическое и романтическое. – Умы, настроенные как классически, так и романтически, какими оба эти типа все еще существуют, носятся со своей химерой будущего: но первые выражают в ней *силу* своей эпохи, а вторые – ее *слабость*.

218

Машина как наставница. – Машины учат своим примером тому, как людям взаимодействовать в больших скоплениях, во время тех акций, когда каждый должен делать только какое-то свое дело: они служат образцами партийной организации и ведения войны. Зато они не учат суверенности индивида: из множества они делают *одну* машину, а из каждого индивида – орудие для достижения *одной* цели. Наи-

более общее воздействие машин – внушать пользу централизации.

219

Без прочных корней. – Мы любим жить в маленьких городах; но время от времени именно они гонят нас в самую дикую, незнакомую природу: это бывает, когда те однажды снова становятся слишком хорошо знакомыми. В конце концов мы возвращаемся в большой город, чтобы снова *отдохнуть* от этой природы. Сделав несколько глотков, мы догадываемся, что́ там, на дне его чаши, – и круговорот, начавшийся с маленького города, возвращается к своей исходной точке. – Вот так живут современные люди, которые во всем чересчур *основательны*, чтобы быть *оседлыми*, как люди других эпох.

220

Реакция на машинную культуру. – Машина, сама продукт напряженнейшей интеллектуальной работы, почти всегда заставляет обслуживающего ее человека работать низшими, бездумными силами души. Она освобождает неимоверные силы вообще, силы, которые иначе оставались бы втуне, – это верно; но она не дает стимулов к развитию, к совершенствованию, к превращению человека в художника. Она заставляет его *работать*, и работать *монотонно*, – но это вызывает у него стойкую ответную реакцию, отчаянную скуку души, внушающую жажду разнообразного досуга.

221

Опасность Просвещения. – Все полубезумное, лицедейское, зверски-жестокое, сладострастное, а особенно сентиментальное, самоопьяняющееся, что в совокупности составляет подлинно *революционную субстанцию* и что перед революцией воплотилось в Руссо, – весь этот характерный тип с подлым энтузиазмом принял на свою фанатичную голову

еще и *Просвещение*, так что благодаря ему эта голова начала испускать как бы блеск просветленности: Просвещение, по своей сути столь чуждое этому характеру и, взятое отдельно, само по себе, подобно солнечному свету тихо проходило бы сквозь облака, долгое время довольствуясь лишь преобразованием отдельных личностей; заодно оно преобразовывало бы нравы и институты целых народов, но только очень постепенно. Теперь же, будучи привязано к характеру, полному насилия и буйства, Просвещение и само сделалось насильственным и буйным. Потому-то и исходящая от него опасность стала чуть ли не большей, чем исходящая от него же и доставшаяся великому революционному движению польза, состоящая в освобождении и освещении. Кто это понимает, тот поймет и то, от какой смеси его следует отделить, от какого загрязнения очистить, чтобы потом, приняв его *в собственную душу*, *продолжить дело* Просвещения и задним числом удушить революцию в колыбели, сделать ее небывшей.

222

Страсть в Средние века. – Средневековье – эпоха сильнейших страстей. Ни античность, ни современность не знают такого расширения души: никогда ее *пространство* не было таким емким, никогда она не измерялась столь большими мерами. Физическая первобытная телесность варварских народов – и потусторонний, бдительный, ярко сияющий взгляд адептов христианских мистерий, нечто младенческое – и в то же самое время перезрелое, старчески-утомленное, грубость хищника – и умственная изнеженность, утонченность поздней античности: все это тогда нередко соединялось в одной и той же личности. Потому-то, если уж эту личность охватывала страсть, то излияние чувства было мощнее, его водоворот – бурнее, а низвержение – глубже, чем когда-либо. – Нам, современным людям, впору быть довольными потерей, которую мы понесли в этой области.

223

Грабить и копить. – Успешно развиваются все умственные течения, вследствие которых великие могут надеяться *грабить*, а малые – *копить*. Поэтому, например, имела успех немецкая Реформация.

224

Веселые сердца. – Когда хотя бы издали намекали на хмель, опьянение и какой-нибудь зловонный вид нечистот, сердца немцев прежних времен веселились; в остальное время они были удрученными, тут же на свой лад испытывали задушевное понимание.

225

Эти развратные Афины. – Даже когда на рыбном рынке Афин появились свои мыслители и поэты, греческий разврат все равно выглядел более идиллическим и утонченным, чем разврат римский или немецкий в любую эпоху. Голос Ювенала прозвучал бы там, как глухая труба: ответом ему был бы вежливый, почти детский смех.

226

Сообразительность греков. – Поскольку желание победить и выделиться – неискоренимое природное качество человека, более древнее и исконное, чем почтение и радость равенства, то греческое государство санкционировало гимнастические и мусические соревнования для равных, то есть обозначило границы арены, где тот первый инстинкт мог находить себе разрядку, не угрожая политическому порядку. С окончательным упадком гимнастических и мусических соревнований непорядок и разложение затронули и греческое государство.

227

«Вечно живущий Эпикур». – Эпикур жил во все времена и все еще живет, оставаясь неизвестным тем, что называли и называют себя эпикурейцами, и не пользуясь признанием у философов. Да он и сам позабыл, как его зовут: это была самая тяжкая ноша, какую он когда-либо с себя сваливал.

228

Стиль превосходства. – Студенческий немецкий язык, манера выражаться, свойственная немецким студентам, зародились среди тех студентов, которые не учатся; эти пытаются добиться своего рода превосходства над своими более серьезными товарищами, показывая всю маскарадность образованности, благовоспитанности, учености, порядка, умеренности и всегда произнося слова из этих сфер так же, как это делают более успешные и ученые, но с вызовом в глазах и сопроводительной гримасой. На таком языке превосходства – единственном, что есть в Германии оригинального, – нынче бессознательно заговорили и государственные деятели, газетные критики: это беспрестанное ироническое цитирование, беспокойная, задиристая стрельба глазами направо и налево, это немецкий язык кавычек и гримас.

229

Зарытые в землю. – Мы отступаем в неизвестность: но не по причине личного недовольства чем-нибудь, как если бы нас не удовлетворяли современные политические и социальные условия, а потому что своим отступлением хотим сберечь и скопить силы, которые когда-нибудь *позже* будут позарез нужны культуре, и нужны тем больше, чем больше это настоящее является *этим* настоящим и как таковое выполняет *свою* задачу. Мы образуем капитал и хотим надежно его вложить: но, как и в любую эпоху повышенного риска, делаем это, зарывая его в землю.

230

Тираны в сфере ума. – Всякого, кто в наше время совершенно воплощал бы собою какое-нибудь одно моральное качество, как это делают герои Теофраста и Мольера, сочли бы больным и говорили бы, что у него «навязчивая идея». Если бы мы могли погостить в Афинах третьего века, нам показалось бы, что они населены идиотами. Теперь в каждой голове царит демократия *понятий* – властвуют сразу *многие*: а *одно* отдельно взятое понятие, которое захотело бы царить безраздельно, называется нынче, как уже сказано, «навязчивой идеей». Это *наша* манера убивать тиранов – мы отсылаем их в сумасшедший дом.

231

Самый опасный вид эмиграции. – В России существует эмиграция интеллигенции: люди едут за границу, чтобы читать и писать там хорошие книги. Но этим они способствуют тому, что их покинутая умом родина все больше превращается в разинутый зев Азии, жаждущий проглотить маленькую Европу.

232

Одураченные идеей государства. – Чуть ли не религиозная любовь к царю перешла у греков на полис, когда с царями было покончено. А поскольку понятие переносит любовь лучше, чем личность, и, главное, не так часто обижает любящих, как это делают любимые люди (– ведь чем больше они уверены в чужой любви к себе, тем, как правило, больше наглеют, пока в конце концов не теряют право на любовь и наступает настоящий разлад), то почитание полиса и государства было у них больше, чем их прежнее преклонение перед монархом. Греки были в древней истории сильнее других *одурачены идеей государства* – в новой истории эту роль играют другие народы.

233

Не пренебрегать своим зрением. – Нельзя ли доказать, что каждые десять лет у образованных классов Англии, читающих «Таймс», ухудшается зрение?

234

Большие дела и большая вера. – Один вершил большие дела, а второй питал большую веру в эти дела. Они были неразлучны: но первый явно полностью зависел от второго.

235

Общительный. – «Мне от себя нету прока», – сказал один человек, чтобы объяснить свою тягу к обществу. «У общества желудок крепче моего – он меня переваривает».

236

Смыкание глаз ума. – Если человек привык размышлять о совершенных поступках и поднаторел в этом, то, совершая сами поступки (будь то даже просто писание письма или еда и питье), нужно закрывать глаза ума. Мало того, в разговоре с человеком посредственным нужно уметь *думать* с закрытыми глазами мышления – как раз для того, чтобы спуститься до посредственного мышления и понять его. Это смыкание глаз – акт, который можно почувствовать и выполнить волевым усилием.

237

Самая страшная месть. – Если хочешь сполна *отомстить* своему врагу, то жди до тех пор, пока твои руки не наполнятся истинами и законными правами, – тогда ты сможешь хладнокровно пустить их против него в ход, и мщение станет

равнозначно правосудию. Это самый страшный вид мести, потому что над нею нет никакой инстанции, к которой можно было бы апеллировать. Так Вольтер отомстил Пирону – пятью строками, в которых вынесен приговор всей его жизни, творчеству и устремлениям: и сколько было в них слов, столько было и истин; так он же отомстил Фридриху Великому (в одном письме к нему из Фернея).

238

Налог на роскошь. – Люди покупают в лавках необходимое и насущное и вынуждены переплачивать, потому что платят заодно и за то, что хотя и выставлено на продажу, но покупается редко: это предметы роскоши, товары для любителей. Так роскошь облагает постоянным налогом простого человека, который вообще-то без нее обходится.

239

Почему еще есть нищие. – Если бы милостыню подавали только из сострадания, все нищие умерли бы с голоду.

240

Почему еще есть нищие. – Самую щедрую милостыню раздает трусость.

241

Как мыслители используют разговор. – Можно многое услышать, не вслушиваясь, – если умеешь хорошо видеть, но на время терять из виду самого себя. Но люди не умеют использовать разговор; слишком много внимания они тратят на то, что говорят сами и чем хотят возразить, в то время как настоящий *слушатель* нередко довольствуется тем, чтобы ответить скупо, *сказав* что-нибудь вообще в виде дани

вежливости, но удержать в чуткой памяти все, что произнес другой, вместе с его манерой интонировать и жестикулировать, с тем, *как* он это произнес. – В обычном разговоре каждый мнит ведущим себя, как если бы два корабля, плывя рядом и то и дело слегка сталкиваясь бортами, простодушно полагали бы, что сосед плывет следом или даже тащится за ним на буксире.

242

Искусство извиняться. – Когда кто-то перед нами извиняется, он должен делать это очень хорошо: иначе у нас появляется соблазн считать виноватыми себя и испытывать неприятные чувства.

243

Неловкость в общении. – Корабль твоих мыслей сидит в воде слишком глубоко, чтобы ты мог на нем плавать по водам этих дружелюбных, порядочных, предупредительных людей. Там слишком много мелей и песчаных банок: тебе пришлось бы крутиться и вертеться, постоянно смущаясь, а те тоже сразу же смутились бы – из-за твоего смущения, причин которого они никак не могли бы понять.

244

Лиса из лис. – Настоящая лиса называет кислым не только тот виноград, которого не может достать, но и тот, который достает из-под носа у других.

245

В самом тесном общении. – Как бы тесно ни были люди связаны друг с другом, а все равно в их общем горизонте останутся все четыре стороны света, и подчас они это чувствуют.

246

Молчать из отвращения. – Вот кто-то как мыслитель и человек претерпевает глубокие и болезненные изменения, а потом публично в этом признается. А слушатели ничего не замечают! Думают, будто он ничуть не изменился! – Это обычное зрелище у иных писателей уже вызывало отвращение: они слишком высоко оценили человеческую разумность и, поняв свою ошибку, дали обет молчания.

247

Серьезность в делах. – Для иных богатых и знатных людей дела – своего рода *отдых* от слишком долгой и вошедшей в привычку *праздности*: потому-то они и относятся к делам так серьезно и со страстью, как другие люди – к своим редким часам досуга и любимых занятий.

248

Двойной смысл взгляда. – Как бывает, что на воды у твоих ног внезапно набегает чешуйчатая рябь, так и в человеческом взгляде встречается такая внезапная зыбкость и двусмысленность, замечая которые, спрашиваешь себя: что это – ужас? улыбка? или то и другое вместе?

249

Позитивное и негативное. – Этому мыслителю не нужны ничьи возражения: для такого дела ему достаточно самого себя.

250

Месть пустых сетей. – Надо быть осторожным со всеми людьми, которыми владеет горькое чувство рыбака, после трудного дня возвращающегося домой с пустыми сетями.

251

Не заявлять о своих правах. – Проявлять свою власть – это стоит труда и требует отваги. Поэтому многие люди не заявляют о своих совершенно законных правах, ведь эти права – своего рода *власть*, а они слишком ленивы или трусливы, чтобы пустить ее в ход. Добродетели, прикрывающие этот порок, называются *снисходительностью* и *терпимостью.*

252

Светочи. – В обществе не было бы солнечного света, если бы его не приносили прирожденные подлизы, я имею в виду так называемых угодников.

253

Всего милосерднее. – Только что снискав себе почет и немного поев, человек бывает всего милосерднее.

254

К свету. – Люди теснятся к свету не для того, чтобы лучше видеть, а чтобы ярче сиять. – Перед кем они сияют, того и считают светом.

255

Ипохондрики. – Ипохондрик – это человек, у которого как раз достаточно ума и желания пускать его в ход, чтобы глубоко вникать в свои страдания, свои потери, свои ошибки: но лужок, на котором он кормится, слишком мал; он объедает на нем всю траву, так что в конце концов вынужден искать отдельные стебельки. Тогда он превращается в завистника и скрягу – и становится совершенно невыносим.

256

Возмещение. – Гесиод советует сразу, как только у нас появляется возможность, вдоволь и как можно обильней отдаривать соседа, выручившего нас из беды. Тогда сосед очень доволен – ведь единожды проявленная доброта приносит ему проценты; доволен и тот, кто отдаривает, поскольку как даритель небольшим избытком выкупает небольшое унижение от единожды принятой посторонней помощи.

257

Тоньше, чем нужно. – Мы проявляем куда более тонкую наблюдательность относительно того, замечают ли другие наши слабости, чем относительно слабостей этих других: отсюда следует, что она тоньше, чем нужно.

258

Светящаяся тень. – Совсем рядом с людьми, темными, как ночь, почти всегда находится, словно привязанная к ним, светлая душа. Она – как бы негативная тень, которую те отбрасывают.

259

Можно ли не мстить за себя? – Существует так много утонченных видов мести, что человек, у которого есть повод к мщению, может, в сущности, делать что угодно или не делать ничего: все равно спустя какое-то время все сойдутся в мнении, что он за себя *отомстил.* Стало быть, вряд ли человек волен не мстить за себя: он даже не смеет сказать, что не *хочет* этого, ведь пренебрежение к мести истолкуют и *почувствуют* как некую утонченную, весьма чувствительную месть. – Откуда следует, что не стоит делать ничего *сверх необходимого* – –

260

Заблуждение почитателей. – Каждый думает, будто выражает мыслителю приятное для него почтение, показывая, как самостоятельно пришел к точно такой же мысли и даже к точно такому же ее выражению; и все же, выслушивая подобные сообщения, мыслители редко приходят в восхищение, зато часто начинают испытывать недоверие к собственной мысли и ее выражению: про себя они решаются их пересмотреть. – Если хочешь выразить кому-нибудь свое почтение, надо удерживаться от выражений единомыслия: они ставят на один уровень. – Во множестве случаев дело пристойного поведения в обществе выслушать мнение так, как будто оно не совпадает с нашим собственным, мало того, как будто оно выходит за пределы нашего кругозора: к примеру, когда человек старый, бывалый вдруг в виде исключения раскрывает перед слушателями ларец своих познаний.

261

Письмо. – Письмо – это визит без приглашения, а почтальон – посредник неучтивых набегов. Каждую неделю надо бы один час уделять приему корреспонденции, а потом принимать ванну.

262

Предвзятый. – Некто сказал: «У меня *предвзятое* отношение к себе с самого детства: поэтому в любом порицании я вижу что-то верное, а в любой похвале – что-то глупое. Похвалы я обычно ценю слишком мало, а порицания – слишком высоко».

263

Путь к равенству. – Несколько часов восхождения в горы – и вот уже негодяй и святой становятся довольно похожими

друг на друга существами. Усталость – кратчайший *путь* к *равенству* и *братству*, а сон наконец добавляет к ним *свободу*.

264

Клевета. – Если ты почувствуешь, что тебя касается по-настоящему подлое подозрение, не ищи его источник у своих честных и простодушных *врагов*; ведь если бы они наплели о нас что-то подобное, то как наши враги не нашли бы себе ни у кого веры. А вот те, которым мы долгое время приносили наибольшую пользу, но которые по какой-то причине тайком могут быть уверены в том, что больше ничего от нас не получат, – такие люди в состоянии пустить о нас подлый слух: и им поверят, во-первых, потому что невозможно представить себе, чтобы они причиняли вред самим себе, а, значит, и выдумывать им о нас нечего; во-вторых, потому что они знают нас лучше. – Человек, которого так подло оклеветали, может утешиться, говоря себе: клевета – это чужая болезнь, разразившаяся в моем теле; она доказывает, что общество – это единое (моральное) тело, так что я могу опробовать *на себе* лечение, которое должно пойти впрок *другим*.

265

Царствие небесное детства. – Блаженное состояние детей – точно такой же миф, как и блаженство гиперборейцев, о котором рассказывали греки. *Если* на земле вообще есть блаженство, думали они, то уж, конечно, где-то как можно дальше от нас, где-то там, на краю земли. Точно так же думают и люди постарше: *если* уж человек вообще может быть счастлив, то уж, конечно, в возрасте, как можно более далеком от *нашего*, у самого порога жизни. Кое для кого из людей величайшее счастье, которого он может сподобиться, – вид детей *сквозь* покрывало этого мифа: он сам доходит тогда до преддверия царствия небесного, говоря: «пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Божие». – Миф о царствии небесном детей в ходу повсюду, где в нынешнем мире есть место сентиментальности.

266

Нетерпеливые. – Именно растущие не хотят роста: они для этого слишком нетерпеливы. Подростки не хотят ждать момента, когда, после долгих занятий, страданий и лишений, их картина людей и вещей достигнет полноты; поэтому они принимают на веру какую-нибудь другую, уже стоящую наготове, напрашивающуюся, – как будто линии и краски *их* картины должны быть даны им заранее; они бросаются на грудь какому-нибудь философу или поэту, после чего вынуждены долго отрабатывать барщину, изменяя себе. Тут они многое усваивают, но часто забывают из-за этого самое достойное изучения и познания – самих себя; на всю жизнь они остаются приверженцами какой-нибудь партии. Ах, как много скуки надо перетерпеть, как много пота пролить, пока не найдешь свои краски, свою кисть, свой холст! – Да и тогда ты еще далеко не мастер в искусстве своей жизни – но по крайней мере уже хозяин в своей мастерской.

267

Воспитателей не бывает. – Человек мыслящий может говорить только о самовоспитании. Воспитание молодежи со стороны взрослых – либо эксперимент над кем-то еще неизвестным, непознаваемым, либо полное нивелирование, предназначенное для того, чтобы приспособить новое существо, каким бы оно ни было, к господствующим привычкам и обычаям: стало быть, в том и другом случае нечто недостойное мыслителя, творение родителей и учителей, то, что один из отважно-честных мыслителей назвал nos ennemis naturels[1]. – В один прекрасный день, когда, по общему мнению, человек уже давно воспитан, он *открывает самого себя*: тогда-то и начинается дело мыслителя, тогда-то и настает пора звать его на помощь – не в качестве воспитателя, а как воспитавшего себя человека, обладающего опытом.

---

1 наших естественных врагов (*фр.*). См. прим.

268

Сострадание юности. – Нам бывает жалко, когда мы слышим, что у одного юноши уже выпадают зубы, а другой слепнет. А если бы мы знали обо всем необратимом и безнадежном во всей его натуре – насколько же велико было бы тогда наше сожаление! – Но отчего мы при этом, в сущности, *страдаем*? Оттого, что юность должна продолжать то, что *мы* начали, а всякий вред и надлом ее сил, того и гляди, нанесет ущерб *нашему* делу, которое вот-вот перейдет в ее руки. Это сожаление о плохой гарантии нашему бессмертию: или, если мы чувствуем себя лишь исполнителями миссии, возложенной на нас человечеством, сожаление о том, что эта миссия перейдет в руки более слабые, чем наши.

269

Возрасты жизни. – Сравнение четырех времен года с четырьмя возрастами жизни – это достопочтенная глупость. Никакому времени года не соответствуют ни первые, ни последние двадцать лет жизни – если, конечно, проводя такое сравнение, не довольствоваться представлением о белизне волос и снега и подобными играми красок. Первые двадцать лет – это подготовка к жизни вообще, ко всему году жизни, своего рода затяжной новогодний праздник; а последние двадцать лет оглядываются, осознают, приводят к строю и гармонии все пережитое до сих пор: вот так же, только в миниатюре, мы делаем в каждый новогодний праздник с ушедшим годом. Но между ними и впрямь простирается время, которое напрашивается на сравнение с временами года: время между двадцатью и пятьюдесятью годами (если вести счет целыми десятилетиями, хотя само собой понятно, что каждый должен уточнить для себя эти грубые рамки, сообразуясь со своим опытом). Эти три десятилетия соответствуют трем временам года: лету, весне и осени – зимы в человеческой жизни не бывает, если только не называть зимой, увы, нередко наступающие суровые, холодные, одинокие, мало обещающие, бесплодные *полосы болезни*. Годы от двадцатого до тридцатого: горячие, душные, грозовые,

пышно произрастающие, утомляющие, годы, когда человек восхваляет прожитый день, утирая со лба пот: годы, когда работа кажется нам тяжелой, но такой нужной, – эти годы от двадцати до тридцати суть *лето* жизни. Зато следующие десять – это *весна*: воздух то слишком тепел, то слишком холоден, постоянно движется и возбуждает, повсюду течет сок, дружно растут листья, благоухают цветущие деревья и кусты, много пленительных утр и ночей, работа, для которой нас пробуждают птичьи песни, настоящая работа по душе, своего рода наслаждение собственным здоровьем, усиленное предвкушающими надеждами. И, наконец, годы от сорока до пятидесяти: таинственные, как все замершее; подобные высокой и широкой горной равнине, по которой гуляет свежий ветер; ясное безоблачное небо над нею, неизменно глядящее с тою же кротостью весь день вплоть до ночи: время урожая и глубочайшего веселья – это *осень* жизни.

270

Женский ум в нынешнем обществе. – Как женщины нынче думают о мужском уме, можно судить по тому, что при всем своем умении украшаться они думают сначала о чем угодно, только не о том, чтобы специально подчеркнуть присутствие ума в выражении своего лица или его отдельных чертах: наоборот, они все это прячут, зато хорошо умеют придавать себе выражение жадной чувственности и глуповатости, к примеру, зачесывая волосы на лоб, – особенно если этих качеств им не хватает. Их уверенность в том, что ум в женщине отпугивает мужчин, доходит до того, что они сами предпочитают отрицать у себя остроту ума и нарочно навлекать на себя славу недалеких; этим они, вероятно, пытаются сделать мужчин более доверчивыми: тогда вокруг них словно ширится мягкий приглашающий сумрак.

271

Величие и бренность. – Наблюдающего трогает до слез мечтательно-блаженный взгляд, которым молодая красивая жена

смотрит на своего супруга. При этом его охватывает осенняя грусть – по поводу как величия, так и бренности человеческого счастья.

272

Жертвенность. – Иные женщины обладают intelletto del sacrifizio[1] и не рады жизни, если супруг не хочет приносить их в жертву: ведь тогда они не знают, что делать со своим разумом, – и неожиданно из жертвенного животного превращаются в жреца, творящего жертвы.

273

Неженское. – «Глупа, как мужчина», говорят женщины; «труслив, как баба», говорят мужчины. Глупость в женщине – *неженское* качество.

274

Мужской и женский темпераменты и смертность. – У мужского пола темперамент хуже, чем у женского, – это следует из того, что дети мужского пола больше подвержены смертности, чем дети женского пола, очевидно, потому, что они с большей легкостью «выходят из себя»: их необузданность и неуживчивость обостряют любой недуг, и он становится смертельным для них.

275

Эпоха циклопических построек. – Европа неудержимо демократизируется, и кто этому противится, все равно использует здесь те самые средства, которые каждому предоставила лишь идея демократии, делая такие средства даже более

---

1 разум (душевный склад) жертвы (*ит.*). См. прим.

удобными и сильными: а самые заклятые враги демократии (то есть революционные умы), кажется, существуют только для того, чтобы страхом, который они внушают, все быстрее подгонять различные партии вперед по пути демократии. Да и впрямь можно струхнуть перед теми, кто теперь сознательно и честно готовит такое будущее: есть в их лицах что-то безотрадное и однообразное и, кажется, даже их мозг занесен серой пылью. И все же может случиться, что потомки когда-нибудь посмеются над этими нашими страхами, думая о демократической работе ряда поколений примерно так же, как мы – о строительстве каменных дамб и оборонительных стен, – как о деятельности, которая неизбежно оставляет на одеждах и лицах много пыли и неминуемо делает немного тупоумными и самих рабочих; но кто из-за этого захочет, чтобы такое дело осталось несделанным? Кажется, что демократизация Европы – звено в цепи тех чудовищных *профилактических мероприятий*, какие представляет собою идея нового времени и какими мы отличаемся от средневековья. Вот и настала эпоха циклопических построек! Наконец-то стал надежным фундамент для безопасного строительства будущего! Плодоносные поля культуры впредь не могут быть смыты за одну ночь дикими и бессмысленными горными потоками! Идет постройка каменных дамб и оборонительных стен против варваров, против эпидемий, против *телесного и умственного порабощения*! И все это поначалу понимается буквально и грубо, но мало-помалу начинает пониматься во все более возвышенном и духовном виде, так что все указанные здесь мероприятия предстают глубокомысленными общими приготовлениями наилучшего мастера садового искусства, который сможет приступить к своей настоящей задаче лишь тогда, когда будут полностью решены те задачи! – Правда, при огромных временных расстояниях, отделяющих тут средство от цели, при отчаянном, неимоверном труде, напрягающем силы и ум целых столетий, труде, нужном уже только для того, чтобы создать или раздобыть каждое отдельное средство, нельзя предъявлять нынешним рабочим слишком суровых требований, если они во всеуслышание заявляют, что стена и шпалеры уже и *есть* предел и последняя цель; ведь пока никто не видит садовника и плодовые деревья, *ради которых* существуют эти шпалеры.

276

Право всеобщего голосования. – Народ не давал себе права на всеобщее голосование: всюду, где оно действует, он его получил и принял на время. Но в любом случае у него есть право отказаться от этого права, если оно не отвечает надеждам народа. Кажется, сейчас это всюду и происходит: ведь когда при решении какого-нибудь вопроса, где оно применяется, к избирательным урнам приходит едва две трети имеющих право голоса, а иногда не является и простое большинство голосующих, то это – вотум недоверия *ко всей* системе голосования. – Тут надо судить даже еще намного строже. Закон, гласящий, что простое большинство выносит окончательное решение по вопросам общественного блага, не может стоять на том же фундаменте, который благодаря ему же еще только должен быть построен: он безусловно нуждается в фундаменте более широком, а таким фундаментом выступает *полное единогласие.* Всеобщее избирательное право не может быть только выражением воли простого большинства: изъявить свою волю должна вся страна. Поэтому чтобы снова отказаться от него как негодного, достаточно уже несогласия ничтожного меньшинства: и как раз таким несогласием является *неучастие* в голосовании, которое рушит всю систему голосования. «Абсолютное вето» отдельного человека, или, чтобы уж не мелочиться, вето нескольких тысяч человек нависает над этой системой, как непреклонность правосудия: пользуясь им, каждый раз следует, в соответствии с долей голосующих от общего числа избирателей, сперва доказать, что эта система еще *легитимна.*

277

Скверная логика. – Как скверно люди пользуются логикой в незнакомых им областях, даже если, будучи учеными, они прекрасно освоились с нею в своей! Это просто позор! Вот почему именно этой *плохой логике* принадлежит последнее слово во всемирных процессах, в политике, во всем неожиданном и настоятельном, что приносит с собою почти каж-

дый день: ведь никто досконально не разбирается в том новом, что появилось за ночь; все политические спекуляции, даже если в них пускаются величайшие государственные деятели, – не более чем импровизации на авось.

278

Предпосылки машинного века. – Пресса, машина, железные дороги, телеграф – предпосылки, извлечь из которых выводы на тысячу лет вперед еще никто не отваживался.

279

Тормоз для культуры. – Когда мы слышим, что там у мужчин нет времени на продуктивные занятия; учения и парады отнимают у них весь день, а остальное население должно их кормить и одевать, их же костюмы крикливы, часто пестры и нелепы; там признаются лишь немногие отличительные особенности, а люди подобны друг другу больше, чем где-либо еще, либо же с ними обращаются как с подобными; там требуют послушания и слушаются без рассуждений: отдают приказы, но как огня боятся убеждать; там немного наказаний, но эти немногие суровы и быстро доходят до последнего, самого страшного; величайшим преступлением там считается предательство, а критиковать недостатки решаются только самые смелые; отдельные человеческие жизни ценятся там дешево, а честолюбие нередко принимает такие формы, что угрожает жизни; – тот, кто все это услышит, тотчас скажет: «Это картина *общества варварского, находящегося в опасности*». Возможно, кто-то добавит: «Тут изображена Спарта»; но кто-нибудь призадумается и сделает ошибочный вывод, будто тут описана *наша современная армия*, какой она существует посреди нашей культуры и общества, имеющих другую природу, – как живой анахронизм, как изображение варварского, находящегося в опасности общества (которое уже упоминалось), как посмертное творение прошлого, способное послужить колесам настоящего лишь тормозом. – Между тем и тормоз для культуры бы-

вает в высшей степени необходим: а именно, когда все дело слишком быстро катится под гору или, как, возможно, в данном случае, слишком быстро идет *в гору*.

280

Больше уважения к знающим! – При конкуренции труда и продавцов *публика* сделалась судьей над ремеслом: но у нее нет строгой компетентности, и она судит по *внешнему виду* товаров. Следовательно, при господстве конкуренции будет возрастать искусство видимости (и, возможно, вкуса), зато, вероятно, упадет качество всех продуктов. Следовательно, если только разум не упадет в цене, когда-нибудь такой конкуренции будет положен конец, а победу над нею одержит какой-то новый принцип. О ремесле должен судить лишь мастер-ремесленник, а публика должна зависеть от своей веры в личность и честность того, кто выносит суждение. Поэтому не должно быть никакой анонимной работы! Поручителем за нее должен быть как минимум какой-нибудь знаток дела, и если имени производителя на товаре не будет или оно ни о чем не говорит публике, он должен в виде залога ставить *свое* имя. *Доступность* продукта – еще одна разновидность видимости и обмана для профанов, ведь только *долговечность* решает, что вещь доступна – и насколько она доступна; но судить о ней трудно, а уж профану в ремесле и подавно невозможно. – Итак: приоритет нынче отдается тому, что бьет в глаза и стоит недорого, – а это, естественно, продукты машинной работы. Зато машина со своей стороны как причина величайшей скорости и небрежности изготовления благоприятствует самым *продаваемым* товарам: в противном случае она не дала бы заметной прибыли; она употреблялась бы слишком мало и слишком часто останавливалась бы. Но что будет самым продаваемым – об этом, как уже сказано, судить публике: оно должно быть как можно более обманчивым, то есть тем, что сначала *кажется* хорошим, а затем *кажется* и доступным. Стало быть, и в сфере труда нашим лозунгом должно быть: «Больше уважения к знающим!»

281

Опасность для монархов. – У демократии есть способ сделать *бессмысленной* королевскую и императорскую власть без всякого насилия, только с помощью постоянного законного давления, – оно будет оказываться до тех пор, пока от этой власти не останется нуль, или, возможно, если *угодно*, пока она не будет иметь смысл любого нуля, который, сам по себе будучи ничем, в десятки раз *увеличивает* число, если подставить его к нему с правой стороны. Императорская и королевская власть останется в таком случае роскошным украшением на простом и функциональном одеянии демократии, красивым излишком, который она себе позволяет, пережитком всего исторически достопочтенного убранства праотцев, даже символом самой истории, – и это ее уникальное положение окажется чем-то в высшей степени действенным, если, как уже сказано, она не останется сама по себе, а будет *поставлена* на правильное место. – Чтобы избежать опасности такого обессмысливания, нынешние короли прочно держатся зубами за свое положение *военных князей*: а для этого им нужны войны, то есть исключительные условия, при которых не действует упомянутое медленное законное давление демократических властей.

282

Учителя – необходимое зло. – Между умами продуктивными и голодными, воспринимающими должно быть как можно меньше людей! Ведь *посредники* почти непроизвольно фальсифицируют питание, которое передают: кроме того, за свое посредничество они хотят слишком большого вознаграждения *для себя*, и этот излишек, стало быть, отнимается у оригинальных, продуктивных умов, а заключается он в интересе, восхищении, времени, деньгах и прочем. – Итак: *учителей* надо считать на худой конец необходимым злом, точь-в-точь как торговцев: злом, которое следует *уменьшать*, насколько возможно! – И если главная причина нынешнего бедственного состояния Германии состоит, видимо, в том, что слишком многие живут и хотят жить хорошо торговлей (то есть стремятся насколько возможно снизить цену для

производителя и насколько возможно увеличить ее для потребителя, чтобы извлечь прибыль от как можно большего ущерба для обоих), то главную причину бедственного состояния в сфере интеллекта, безусловно, можно усматривать в преизбытке учителей: из-за него-то они и учат так мало и так плохо.

283

Налог на уважение. – Людям, которых мы лично знаем и уважаем, будь то врачи, художники, ремесленники, которые делают какую-то работу для нас, мы охотно платим так много, как только можем, а нередко даже больше, чем можем: зато людям неизвестным – так мало, как только получится. Тут идет борьба, в которой каждый борется и заставляет бороться с собой за пядь земли. Когда *для нас* работают знакомые, в их работе есть что-то *неоплатное* – чувство и изобретательность, вложенные в нее *ради нас*: и нам кажется, что мы не можем выразить свое признание этого иначе, чем своего рода *самопожертвованием* с нашей стороны. – Самый большой налог – это *налог на уважение.* Чем больше воцаряется конкуренция и люди покупают у незнакомых, работают для незнакомых, тем этот налог ниже, – а ведь именно он-то и является показателем высокого уровня, на котором *общаются* человеческие души.

284

Средство для достижения подлинного мира. – Ни одно правительство нынче не признается, что содержит армию, чтобы удовлетворять свои случайные завоевательские прихоти; оно хочет показать, что армия нужна ему для обороны. В качестве адвоката оно призывает мораль, которая санкционирует самооборону. Но это означает: себе мы приписываем нравственность, а соседу – безнравственность, потому что его нужно представить охочим до нападений и завоеваний, в то время как нашему государству неминуемо приходится думать о средствах самообороны; кроме того, мы, объясняя, почему нам нужно войско, объявляем его, точно

так же, как и наше государство, отрицающего наступательную политику и в свой черед содержащего армию якобы только в оборонительных целях, лицемером и коварным преступником, который спит и во сне видит, как бы *напасть* на невинную и неловкую жертву без всяких сражений. Вот так нынче все государства и противостоят друг другу: они предполагают плохой образ мыслей у соседа и хороший – у себя. Но такая предпосылка *бесчеловечна*, она так же плоха, как война, и даже еще хуже: мало того, в своей основе она – уже призыв к войне и ее причина, ведь, как говорилось выше, она приписывает соседу безнравственность, а потому, видимо, провоцирует враждебное к нему умонастроение и враждебность на деле. От доктрины армии как средства самообороны необходимо отречься так же основательно, как и от завоевательских поползновений. И, возможно, придет когда-нибудь великий день, когда народ, отличившийся в войнах и победах, в самой эффективной постановке военного дела и военной науки и привыкший приносить всему этому самые тяжелые жертвы, по собственной воле воскликнет: *«Мы ломаем свой меч!»* – и вся его военная организация рухнет до последних оснований. *Добровольно лишиться обороны, быв самой обороноспособной нацией*, и сделать это совершенно *сознательно* – вот средство для достижения *подлинного* мира, который неизменно должен зиждиться на мирном образе мыслей: в то время как так называемый вооруженный мир, который теперь популярен во всех странах, есть образ мыслей раздора, не доверяющий ни себе, ни соседям и не кладущий оружия и из ненависти, и из страха. Лучше погибнуть, чем ненавидеть и бояться, и *вдвойне лучше погибнуть, чем заставлять ненавидеть и бояться себя*, – когда-нибудь это должно стать даже самым категоричным правилом для каждого общества, обладающего государством! – У наших народных избранников, как известно, не хватает времени на раздумья о природе человека: иначе они поняли бы, что трудятся напрасно, когда трудятся над «постепенным снижением бремени вооружений». Наоборот: лишь когда такого рода нужда обостряется до предела, ближе всего становится и своего рода Бог – только он и может тут помочь. Знамя войны может быть уничтожено лишь одним махом, ударом молнии: но молнии, как вам известно, падают из облаков – и с вышины. –

285

Компенсируется ли собственность справедливостью. – Когда люди начинают остро переживать несправедливость, порождаемую собственностью – а стрелка великих часов регулярно возвращается на то же место, – то говорят о двух способах помочь этой беде: это, во-первых, равное распределение собственности и, во-вторых, упразднение частной собственности и ее обобществление. Последнее средство особенно по нраву нашим социалистам, которые никак не могут простить одному древнему иудею слов «не укради». Согласно их учению, седьмой закон, наоборот, должен звучать так: «не обладай». – Попытки воспользоваться первым рецептом часто предпринимались в старые времена – правда, всегда только в миниатюре, но зато так неудачно, что и мы можем извлечь из этого поучительные выводы. Легко сказать «равные земельные наделы»; но сколько ожесточенности порождают необходимые для этого разделы и межевания, потеря издавна почитавшегося владения, сколько священных чувств получают при этом жестокие раны и приносятся в жертву! Перекапывая межевые камни, люди перекапывают и нравственность. И, опять-таки, сколько новой ожесточенности среди новых владельцев, сколько ревности и косых взглядов, ведь двух по-настоящему равных наделов не бывает, а если бы и были, то человеческая зависть к соседу не поверила бы в их равенство. А ведь как долго сохранялось это отравленное уже в корне и нездоровое равенство! На протяжении немногих поколений в одном месте один надел, переходя по наследству, приходился на пять человек, в другом – пять наделов на одного: а в случае, если благодаря жестким законам о наследовании таких неполадок удавалось избежать, хозяева равных земельных наделов хотя и встречались, но между ними были бедные и недовольные, у которых не было ничего, кроме зависти к родственникам и соседям, а также страстного желания перевернуть порядок вещей. – А если, следуя *второму* рецепту, *обобществить* частную собственность, превратив отдельного человека всего лишь во временного арендатора, то пахотная земля пропадет вообще. Ведь ко всему, чем человек владеет лишь на время, он относится без заботы и самоотдачи, он обра-

щается с такой собственностью эксплуататорски, как хищник или как безалаберный мот. Если Платон думает, будто корысть исчезнет вместе с собственностью, то ему надо возразить, что после упразднения корысти у человека в любом случае не останется и его четырех кардинальных добродетелей, и приходится сказать: самая страшная чума не нанесла бы человечеству такого вреда, как тот, что в один прекрасный день причинило бы ему исчезновение тщеславия. Без тщеславия и эгоизма – чем были бы человеческие добродетели? Это прозрачный намек на то, что последние – лишь имена и маски первых. Платонов утопический основной мотив, на который все еще продолжают петь нынешние социалисты, зиждется на недостаточном знании человека: ему не хватало знания истории моральных чувств, понимания происхождения хороших, полезных качеств человеческой души. Добро и зло представлялись ему, как и всей древности, наподобие черного и белого, то есть он верил в радикальное отличие добрых и злых людей, хороших и плохих качеств. – Чтобы внушить на будущее больше доверия к собственности, чтобы сделать ее более нравственной, нужно дать возможность приобретать *небольшой* достаток путем труда, но препятствовать быстрому обогащению без усилий; нужно забрать все виды транспорта и торговли, благоприятствующие накоплению *большого* достатка, а это значит, главным образом – торговлю деньгами, из рук частных собственников и частных обществ, и считать угрозой обществу как чрезмерно имущих, так и неимущих.

286

Стоимость труда. – Если определять стоимость труда, исходя из того, сколько на него затрачено времени, прилежания, добросовестности или небрежности, упорства, находчивости или лености, честности или показного усердия, то найденная стоимость никогда не будет *справедливой*; ведь на чашу весов нужно поставить всю личность человека, а это невозможно. Тут вполне уместно сказать «не судите». Но ведь оценкой труда недовольны те, чье требование справедливости мы слышим сегодня. Размышляя дальше, мы

обнаружим, что ни один человек не несет ответственности за свой продукт – свой труд: стало быть, отсюда никак не следует и *заслуга*, а всякий труд хорош или плох настолько, насколько и должен быть при таком-то или таком-то соотношении сил и слабостей, знаний и потребностей. Рабочий не выбирает, *работать ли* ему и если работать, то *как*. Высокая оценка труда создана лишь более широким и более узким пониманием *пользы*. То, что мы нынче называем справедливостью, в этой области весьма уместно как хорошо усовершенствованная полезность, не только учитывающая момент и эксплуатирующая обстоятельства, но думающая и об устойчивости всех условий, а потому имеющая в виду и благо рабочих, их телесную и душевную удовлетворенность, – с тем, *чтобы* они и их потомки хорошо работали и на наших потомков, оставаясь надежными на время, превышающее срок одной человеческой жизни. *Эксплуатация* рабочих, как сейчас понимают, была глупостью, хищническим отношением за счет будущего, угрозой обществу. Теперь уже дело чуть ли не дошло до войны: и во всяком случае издержки на поддержание мира, на заключение соглашений и достижение доверия отныне будут очень велики, поскольку была очень велика и длилась очень долго глупость эксплуататоров.

287

Об изучении общества как тела. – Для тех, кто сейчас в Европе, а особенно в Германии, хочет изучать экономику и политику, самое скверное состоит в том, что фактические условия иллюстрируют не *правила*, а *исключения* или *переходные* и *начальные стадии*. Поэтому нужно сначала научиться закрывать глаза на фактическое положение вещей и, к примеру, направлять взгляд вдаль, на Северную Америку, туда, где еще можно видеть своими глазами и застать на месте начальные и нормальные движения общественного тела, если будет на то *желание*, – в то время как в Германии для этого потребуются трудные исторические разыскания или, как уже упоминалось, бинокль.

288

В каком смысле машина унижает. – Машина безлична, она лишает труд чести, того индивидуально *удачного* и *ошибочного*, что присуще любому ручному труду, то есть заключенной в нем капли человечности. Прежде любая покупка ремесленных товаров была *отличием* изготовивших их *ремесленников*, знаками которых мы себя окружали: домашняя утварь и одежда становились поэтому символическим выражением взаимного уважения и личной связи – а нынче мы живем, сдается, исключительно в условиях анонимного и безличного рабства. – Не следует платить слишком дорого за облегчение труда.

289

Карантин на столетия. – Демократические институты – это карантины против старой чумы тиранических влечений: в качестве таковых они чрезвычайно полезны и чрезвычайно скучны.

290

Самый опасный из сторонников. – Самый опасный из сторонников – тот, отпадение которого проведет к гибели всей партии: иными словами, это наилучший сторонник.

291

Судьба и желудок. – Одним бутербродом больше или меньше в желудке жокея – и, бывает, от этого зависят результаты скачки и ставок, то есть счастье или несчастье для тысяч людей. – Покуда судьбы народов зависят от дипломатов, желудки дипломатов всегда будут предметом патриотических забот. Quousque tandem[1] –

---

1 Доколе же <, о Катилина?> (*лат.*) – См.: *Цицерон.* Против Катилины, I, 1.

292

Победа демократии. – В наши дни все политические силы пытаются эксплуатировать страх перед социализмом, чтобы укрепить собственные позиции. Но длительную выгоду отсюда извлекает все же только демократия: ведь *все* партии вынуждены сейчас льстить «народу», предоставляя ему всяческие льготы и свободы, благодаря чему он в конце концов сделается всемогущим. Народ как нельзя более далек от социализма как учения об изменении условий приобретения собственности: а если только он когда-нибудь подавляющим большинством голосов в своих парламентах получит инструмент для завинчивания налоговых гаек, то с помощью прогрессивного налога набросится на верхушку капиталистов, купцов и биржевиков и действительно постепенно создаст среднее сословие, которое сможет *забыть* о социализме, как о побежденной болезни. – Практическим результатом этой распространяющейся демократизации будет прежде всего союз европейских народов, в котором каждый отдельный народ получит границы, соответствующие географической целесообразности, и будет иметь положение кантона с его особыми правами: а с историческими воспоминаниями прежних народов при этом будут считаться очень мало, поскольку пиетет по отношению к ним мало-помалу будет до основания искоренен при господстве демократического принципа с его страстью к нововведениям и экспериментам. Исправления границ, которые окажутся при этом необходимыми, будут проводиться так, чтобы идти на *пользу* больших кантонов и одновременно на пользу всего союза, а не ради памяти о какой-нибудь седой старине. Найти основания для таких исправлений будет задачей будущих *дипломатов*, которые в то же время должны быть исследователями культуры, агрономами, экспертами в области сообщений и опираться не на армии, а на причины и соображения пользы. Лишь тогда *внешняя* политика будет неразрывно связана с *внутренней*: в то время как сейчас последняя все еще поспевает вслед за своей гордой повелительницей, собирая в жалкую корзинку отдельные колосья, оставшиеся после жатвы первой.

293

Цель и средство при демократии. – Демократия стремится создать и гарантировать *независимость* для как можно большего количества человек – независимость мнений, образа жизни и заработка. Для этого ей необходимо отказать в политическом праве голоса как неимущим, так и сверхбогатым, этим двум незаконным классам людей, над устранением которых она должна постоянно работать, поскольку они все снова ставят под вопрос решение ее задачи. Равным образом она должна препятствовать всему, что, как кажется, нацелено на организацию партий. Ведь три великих врага независимости в указанном тройном значении суть неимущие, богачи и партии. – Я говорю о демократии будущего. То, что называется так уже сейчас, отличается от более старых государственных форм лишь тем, что едет с *новыми лошадьми*: улицы все еще старые, и колеса тоже еще старые. – Действительно ли опасность для народного блага уменьшилась при езде на *таких* экипажах?

294

Благоразумие и успех. – Благоразумие, великое качество, в сущности, добродетель всех добродетелей, их прабабка и царица, в обычной жизни отнюдь не всегда пользуется успехом, и жених, который домогался бы этой добродетели лишь ради успеха, почувствовал бы себя обманутым. А люди *практические* считают его подозрительным и путают с коварством и ханжеской хитростью: а тот, кому благоразумия, напротив, явно не хватает – человек, который без раздумий берется за дело да и промахивается, – пользуется славой честного, надежного малого. Стало быть, практические люди не любят благоразумных, считая, что те представляют для них опасность. С другой стороны, благоразумных часто воспринимают как людей боязливых, робких, педантичных – непрактичные сибариты находят их как раз неприятными, *поскольку* те не живут, подобно им самим, на авось, не думая о своем поведении и об обязанностях: благоразумные появляются в среде непрактичных как их воплощенная со-

весть, и ясный день при виде первых меркнет в глазах вторых. И когда успех и любовь окружающих обходят благоразумных людей стороной, они всегда могут говорить себе в утешение: «Такие уж высокие *налоги* приходится мне платить за обладание самым ценным благом среди людей – но дело того стоит!»

295

Et in Arcadia ego[1]. – Я глядел вниз, поверх волнующихся складок холмов, на молочно-зеленое озеро, сквозь пихты и мрачные от старости ели: всевозможного вида обломки скал вокруг меня, пестреющая цветами и травами земля. Стадо двигалось передо мной, растягиваясь и рассыпаясь; отдельные коровы и их группы подальше, в резком свете вечерней зари, рядом с хвойником; другие ближе, темнее; всё – в спокойствии и вечерней сытости. Часы показывали половину шестого. Бык стада вошел в белопенный ручей и медленно двинулся по его бурному току, противясь и поддаваясь: так он, видно, доставлял себе какое-то яростное удовольствие. Пастухами были два спаленных солнцем создания с Бергамских Альп: девочка одета почти так же, как мальчик. Слева стены скал и снежные поля над широкими полосами леса, справа два чудовищных обледенелых зубца, высоко надо мною, плывущих в дымке солнечного воздуха, – все велико, тихо и светло. Вся эта красота вызывала дрожь и немое благоговение перед моментом своего откровения; невольно, так, будто нет ничего более естественного, мысленно видишь в этом чистом, четком мире света (в котором нет никакого томления, ожидания, где не надо глядеть ни в прошлое, ни в будущее) греческих героев; тут нужно ощущать ту же атмосферу, что ощущал Пуссен, ощущать как его ученик, – героическую и в то же время идиллическую. – Вот так некоторые люди и *жили*, так они постоянно *вчувствовались* в мир, а мир *вчувствовали* в себя, и был среди них один из величайших людей, открывший героико-идиллический вид философствования: Эпикур.

---

1 И я был в Аркадии (*лат.*). См. прим.

296

Считать и измерять. – Видеть сразу много вещей, соотносить их друг с другом, подводить им общий баланс и быстро извлекать из них вывод, достаточно надежно высчитывая их конечный итог, – такое умение составляет решающее качество великих политиков, полководцев, купцов: коротко говоря, это умение быстро считать в уме. Видеть пред собой *одно* дело, находить в нем единственный мотив своих поступков и судью всех остальных – это решающее качество героев, равно как и фанатиков; иными словами, это сноровка в измерении одною меркой.

297

Не смотреть не вовремя. – Пока что-то переживаешь, надо полностью отдаваться переживанию, закрывая глаза, то есть не быть *внутри* переживания еще и наблюдателем. Ведь это нарушит хорошее пищеварение переживания, и вместо мудрости ты получишь только индижестию.

298

Из практики мудрецов. – Чтобы стать мудрым, нужно *намеренно* идти на некоторые переживания, иначе говоря, бросаться им в пасть. Разумеется, это куда как опасно; иные «мудрецы» оказывались при этом съеденными.

299

Умственное переутомление. – Бывает, мы проявляем к людям равнодушие и холодность, что воспринимается как жестокость, как изъян характера, но часто оказывается только результатом умственного переутомления: из-за него нам безразличны или противны и другие, и мы сами.

300

«Одно только нужно». – Если ты умен, для тебя важно только одно: сохранять веселие души. – Эх, добавил некто, если ты умен, то лучше всего тебе быть мудрым.

301

Проявление любви. – Некто сказал: «Я никогда не размышлял глубоко о двух людях: и это говорит о моей любви к ним».

302

Как люди пытаются исправлять плохие аргументы. – Иные подбрасывают вслед своим плохим аргументам частицы своей личности, словно благодаря этому те пойдут более верным путем, превратившись в аргументы прямые и хорошие: совсем как игроки в кегли, которые, бросив шар, стараются подправить его траекторию, жестикулируя и размахивая руками.

303

Законность. – Мало быть образцовым человеком в отношении прав и собственности, к примеру, если мальчишка не крадет фрукты в чужом саду, а взрослый не бегает по некошеным лугам, – чтобы привести здесь мелочи, которые, как известно, дают лучшие демонстрации образцовости этого рода, чем вещи более важные. Этого мало: тогда человек – все еще «юридическое лицо», обладающее той степенью нравственности, на какую способно даже «общество», то есть сбитая воедино людская куча.

304

Человек! – Что такое тщеславие самого тщеславного человека в сравнении с тщеславием самого скромного, ког-

да он чувствует себя «человеком» посреди природы и общества!

305

Самонужнейшая гимнастика. – Способность быть себе хозяином в больших делах дробится и исчезает, если человеку не хватает ее в малых. Каждый день испорчен и грозит порчей следующему, если хотя бы раз в день не отказываешь себе в какой-нибудь мелочи: такая гимнастика необходима, если хочешь доставлять себе удовольствие быть себе хозяином.

306

Способность терять себя. – Как только ты себя нашел, нужно научиться время от времени себя *терять* – а потом находить снова: если, конечно, ты человек мыслящий. Ведь такому вредно навсегда быть привязанным к одной и той же личности.

307

Когда необходимо расставаться. – Надо уметь хотя бы на время расставаться с тем, что ты хочешь познать и измерить. Лишь отойдя от города, ты увидишь, насколько его башни возвышаются над домами.

308

В полдень. – Странная мания покоя, которая может длиться месяцы и годы, в полдень жизни овладевает тем, кому было даровано ее кипучее и бурное утро. Вокруг него ширится тишина, голоса звучат глухо, все глуше; отвесные лучи солнца падают на него. На укромной лесной лужайке он видит спящего великого Пана; все вещи природы заснули вместе с ним, храня на лицах выражение вечности, – так ему кажет-

ся. Он ничего не хочет, он ни о чем не заботится, сердце его замерло, и только глаза его живут – это смерть с неспящими глазами. Тогда человек видит много такого, чего прежде не видел, и на все, что он видит, наброшена сеть из света, под которой оно словно погребено. Он ощущает при этом счастье, но счастье это тяжелое-тяжелое. – Тут, наконец, деревья начинает шевелить ветер, полдень минует, *жизнь* снова становится для него привлекательной, жизнь с незрячими глазами, а за нею шумно несется ее свита: желания, обман, забвение, наслаждение, уничтожение, тление. И вот уж наступает вечер, еще более кипучий и бурный, чем утро. – Длительные состояния познания кажутся человеку подлинно деятельному почти жуткими и болезненными, но никак не неприятными.

309

Остерегаться своего портретиста. – Большому живописцу, схватившему и изобразившему в портрете лицо и глаза человека в их наивысшей выразительности, в жизни, позднее, этот же человек почти всегда представляется всего лишь карикатурой.

310

Два основных закона новой жизни. – *Первый основной закон*: следует ориентировать жизнь на самое надежное, доказуемое, а не на самое отдаленное, неопределенное, расплывающееся облаками на горизонте, как делалось прежде. *Второй основной закон*: прежде чем наладить свою жизнь, придав ей окончательное направление, необходимо установить *градацию* ближайшего и близкого, надежного и менее надежного.

311

Опасная возбудимость. – Люди одаренные, но *вялые*, всегда кажутся несколько возбужденными, увидев, что кто-то из их друзей справился с порядочной работой. У них пробуж-

дается ревность, они стыдятся своей лености – или, наоборот, боятся, что человек деятельный теперь станет презирать их еще *больше*, чем всегда. В таком настроении они критикуют их новую работу – и критика их превращается в месть, к величайшему изумлению ее автора.

312

Разрушение иллюзий. – Иллюзии – конечно, удовольствия дорогостоящие: но разрушение иллюзий – вещь еще более дорогостоящая, если смотреть на него как на удовольствие, которым оно, несомненно, для некоторых людей и является.

313

Монолитность мудрого. – У коров бывает иногда выражение удивления, застывшего на пути к *вопросу.* А в глазах разума более высокого можно увидеть сплошное nil admirari[1], похожее на монолитность безоблачного неба.

314

Быть больным не слишком долго. – Избегайте слишком долго быть больными: ведь зрителям скоро надоест отдавать свой обычный долг – проявлять сострадание, потому что долго поддерживать в себе это состояние стоит им слишком больших усилий; потом они просто начнут презирать ваш характер, сделав вывод: «Вы *заслуживаете* того, чтобы быть больными, и нам больше не нужно носиться вокруг вас со своим состраданием».

315

Совет энтузиастам. – Кому по нраву увлекаться и с легкостью возноситься к небесам, тот должен остерегаться че-

---

1 ничему не удивляться (*лат.*) – См.: *Гораций.* Послания. I, 6, 1.

ресчур *отяжелеть*, то есть, к примеру, слишком много учиться и особенно *наполнять* себя наукой. Наука делает ум неповоротливым – мотайте на ус, энтузиасты!

316

Заставать себя врасплох. – Кто хочет видеть, каков он на самом деле, должен научиться *заставать себя врасплох* – с факелом в руке. Ведь с умственным началом в человеке дело обстоит так же, как и с телесным: тот, кто привык смотреться в зеркало, постоянно забывает о своем безобразии, и только живописец способен вернуть ему эту память. Но он привыкает и к портрету, забывая о своем безобразии еще раз. – Тут действует общий закон: человек *не переносит* неизменного безобразия, разве только на мгновение; он забывает о нем или отрицает в каждом случае. – Моралистам следует улавливать это мгновение, чтобы успеть преподнести свои истины.

317

Мнения и рыбы. – Своими мнениями человек владеет так же, как владеет рыбами, – если, конечно, у него есть рыбный пруд. Достаточно пойти ловить рыбу и действовать удачно – и получишь *свою* рыбу, *свои* мнения. Я говорю здесь о живых мнениях, о живой рыбе. Другие люди довольствуются посещением музея ископаемых – и соответственно, в своей голове, «убеждениями». –

318

Признаки свободы и неволи. – Удовлетворять свои насущные потребности самому, насколько можешь, пускай и не до конца, – это путь к *свободе ума и личности.* Если ты допускаешь, чтобы множество твоих потребностей, в том числе и не насущных, удовлетворяли другие, и притом так хорошо, как только возможно, – то это заводит тебя в *неволю.* Софист Гиппий, который сам добыл, сам изготовил все, что носил

и на себе, и в себе, именно поэтому шел по пути к высочайшей свободе ума и личности. И не нужно, чтобы все было сработано одинаково хорошо и совершенно: гордость уж как-нибудь залатает прорехи.

319

Вера в себя. – В наше время люди не доверяют всякому, кто верит в себя; в иные времена было достаточно заставить поверить в себя других. Рецепт получения веры *сейчас* гласит: «Не щади себя! Если хочешь, чтобы твое мнение явилось другим в свете достоверности, сначала подожги свою хижину!»

320

Богаче и беднее зараз. – Я знаю одного человека, который с детства привык хорошо думать о человеческом уме, то есть о подлинном интересе людей к умственным предметам, о бескорыстном предпочтении, отдаваемом ими тому, что они познали как истину, и ему подобном, но о своем собственном уме (логическом мышлении, памяти, присутствии духа, фантазии) имевшего скромное, даже низкое мнение. Он ничего о себе не воображал, сравнивая себя с другими. Но вот с течением времени он был вынужден переучиваться в этом отношении – сначала один раз, а потом постоянно; можно было бы подумать, к своей величайшей радости и удовлетворению. Что-то подобное у него и впрямь было; но, как он однажды сказал, «сюда примешивалась горечь самого горького сорта, какой я не знал во всю мою прежнюю жизнь: ведь с тех пор как я начал более справедливо судить об умственных потребностях людей и своих собственных, мой ум стал казаться мне мало пригодным; не думаю, что способен сделать с его помощью что-то хорошее, поскольку ум других людей не может его воспринять: сейчас я постоянно вижу перед собою ужасающую пропасть между людьми щедрыми на помощь и нуждающимися в помощи. Потому-то и мучает меня необходимость скрывать

свой ум и наслаждаться им в одиночку, насколько им можно наслаждаться. Но блаженнее *давать*, нежели *принимать*: и что такое самый богатый в одиночестве пустыни!»

321

Как следует атаковать. – Основания, на которых держится вера или неверие во что-то, сильны настолько, *насколько возможно*, у очень и очень немногих людей вообще. Обычно, чтобы потрясти какую-либо веру, отнюдь не требуется сразу прибегать к тяжелым наступательным орудиям; многим достаточно атаковать, произведя не слишком большой шум, нередко просто хлопушкой. В обхождении с людьми очень тщеславными бывает довольно сделать мину, выражающую самую ожесточенную атаку: они видят, что к ним относятся весьма серьезно, и легко уступают.

322

Смерть. – Более точный взгляд на смерть мог бы подмешать в каждую жизнь драгоценную, благоухающую каплю легкомыслия – а теперь вы, диковинные аптекарские души, сделали из смерти зловонную каплю яда, отравляющую всю жизнь!

323

Раскаяние. – Никогда не давать места раскаянию, а тотчас говорить себе: это значило бы послать вдогонку первой глупости вторую. – Если ты причинил вред, подумай о том, как сделать что-то хорошее. – Если ты за свои поступки понес наказание, переноси его с чувством, что оно уже само заключает в себе что-то ценное: твое наказание предостерегает других от совершения подобной глупости. Всякий наказанный злодей вправе чувствовать себя благодетелем человечества.

324

Научиться мыслить. – Как человек может научиться мыслить, если он не будет как минимум третью часть каждого дня проводить без страстей, людей и книг?

325

Лучшее лекарство. – Время от времени немножечко здоровья – вот лучшее лекарство для больных.

326

Не прикасаться! – Есть на свете ужасные люди, которые не решают, а только запутывают и делают более трудной проблему для всех, кто хочет участвовать в ее решении. Того, кто не может попасть молотком по шляпке гвоздя, нужно попросить вообще не прикасаться к молотку.

327

Забытая природа. – Мы говорим о природе, забывая при этом о себе: а ведь мы и сами – природа, quand même[1]. – Следовательно, природа есть нечто совершенно другое, чем то, что мы чувствуем, произнося «природа».

328

Глубокие и скучные. – То, что падает в глубоких людей, как и в глубокие колодцы, падает очень долго, прежде чем достигнет самого дна. Зрители, которые обычно не могут дождаться конца, весьма склонны считать таких людей неповоротливыми и косными – а то и скучными.

---

1 несмотря ни на что (*фр.*).

329

Когда пора клясться в верности себе. – Бывает, мы движемся в направлении ума, которое никак не соответствует нашему дарованию; какое-то время мы героически плывем против ветра и волн, а, в сущности, против себя самих: мы теряем силы, задыхаемся; то, чего мы достигаем, не доставляет нам настоящей радости, и нам кажется, что эти достижения обошлись нам слишком дорогой ценой. Мало того, мы *отчаиваемся* в своей плодотворности, в своем будущем – иногда, наверное, и в разгар своего торжества. И вот наконец-то мы *поворачиваем в обратную сторону* – теперь ветер дует *в* наши паруса, направляя нас в *наше* русло. Какое счастье! Как мы *уверены* в своей *победе*! Только теперь мы понимаем, кто мы и чего хотим – и клянемся теперь уже не изменять себе, да и *вправе* не изменять себе – как знающие.

330

Предсказатели погоды. – Как облака подсказывают нам, куда высоко над нами дуют ветры, так и умы самые легкие и свободные, двигаясь по своим направлениям, заранее указывают нам погоду будущего. Ветры долин и рыночные суждения на злобу дня что-то значат лишь для того, что было, а не для того, что будет.

331

Постоянное ускорение. – Люди, которые медленно начинают дело и с трудом в него втягиваются, затем подчас демонстрируют качество постоянного ускорения – так что в конце концов никто уже не знает, куда понесет их поток.

332

Три хороших вещи. – Величие, покой, солнечный свет – эти три вещи заключают в себе все, чего мыслитель для себя

желает и чего от себя требует: его надежды и обязанности, его притязания в интеллектуальной и моральной сфере, даже в повседневной жизни и ландшафтных условиях его жилища. Им соответствуют, во-первых, *возвышенные* мысли, во-вторых, мысли *умиротворяющие*, в-третьих, *просветляющие*, – но, в-четвертых, мысли, причастные ко всем трем качествам, в которых преображается все земное: это сфера, где царит великая *троица радости*.

333

Умереть за «истину». – Мы не позволили бы сжечь себя за свои мнения: не настолько уж мы в них уверены. Но, возможно, позволили бы сжечь себя за то, чтобы иметь право на свои мнения и на то, чтобы их изменять.

334

Иметь свою цену. – Если человек хочет, чтобы его *расценивали* как именно то, чем он *является*, он должен быть чем-то, что имеет *свою цену*. Но цену имеет только обыкновенное. Значит, названное желание – следствие либо проницательной скромности, либо глупой нескромности.

335

Мораль для строителей домов. – Когда дом построен, надо убрать строительные леса.

336

На лад Софокла. – Кто больше греков доливал воды в вино! Соединять трезвость с грацией – это была привилегия афинской знати во времена Софокла и после него. Попробуй делать так же, кто может! В жизни и в творчестве!

337

Героизм. – Героизм состоит в том, чтобы совершать великие дела (или величественно *отказываться* от чего-нибудь), не чувствуя, что соревнуешься *с* другими, *перед* другими. Куда бы ни пошел герой, его всегда окружает глушь и священно-закрытая пограничная область.

338

Двойничество природы. – В иных уголках природы мы с приятным ужасом вновь обнаруживаем себя, и это прекраснейший вид двойничества. – Насколько же счастливым, наверное, может быть тот, кто чувствует это именно здесь, в этом неизменно солнечном октябрьском воздухе, в этой плутовской, беззаботной игре сквознячков с утра до вечера, в этой чистейшей ясности и мягчайшей прохладе, в общем изящно-серьезном характере этой высокогорной долины с ее холмами, озерами и лесами, в местности, которая бесстрашно расположилась рядом с ужасами вечных снегов, здесь, где сошлись, чтобы заключить союз, Финляндия и Италия, и которая кажется родиной всех оттенков серебра, – насколько же счастлив тот, кто может сказать: «В природе есть, конечно, много более величественного и прекрасного, но к *этому* я чувствую близость и родство, кровное родство, и даже более того».

339

Снисходительная приветливость мудрого. – В общении с другими людьми мудрый невольно проявляет снисходительную приветливость, словно князь, и весьма склонен обходиться с ними совершенно одинаково, не глядя на все различия в их способностях, положении и воспитанности: а люди, заметив это, очень обижаются на него.

340

Золото. – Все, что золото, не блестит. Самые благородные металлы испускают мягкое сияние.

341

Колесо и тормоз. – У колеса и у тормоза задачи разные, но одна все-таки общая – делать друг другу больно.

342

Помехи мышлению. – На все, что прерывает течение мыслей (как говорится, мешает), нужно смотреть добродушно, как на новую модель, которая показалась в дверях, чтобы предложить себя живописцу. Такие перерывы – во́роны, что приносят еду отшельнику.

343

Много ума. – У кого много ума, тот сохраняет *молодость*: но именно из-за этого ему приходится мириться со славой человека более *старого*, чем он есть. Ведь люди воспринимают печать ума на лице как следы *житейского опыта*, то есть множества пережитых хороших и плохих событий, страданий, заблуждений, сожалений. Стало быть, если человек наделен большим умом и он его не скрывает, то люди считают его как более старым, так и более *скверным*, чем он есть.

344

Как надо побеждать. – Не следует стремиться к победе, если рассчитываешь обогнать соперника только на *волосок*. Хорошая победа должна внушать побежденному радость, в ней должно быть что-то божественное, избавляющее от *стыда*.

345

Иллюзия выдающихся умов. – Выдающиеся умы изо всех сил стараются избавиться от одной иллюзии: они воображают, будто люди посредственные им завидуют и воспринимают их как исключительных. Но на самом-то деле те воспринимают их как нечто лишнее, как то, отсутствие чего осталось бы незаметным.

346

Требование опрятности. – Если человек меняет свои мнения, то для одних натур это такое же требование опрятности, как и смена белья; для других же – всего лишь требование их тщеславия.

347

Тоже достойно героя. – Вот герой, который всего-то и сделал, что потряс дерево, на котором уже созрели плоды. Вам кажется, этого мало? Тогда сперва поглядите на дерево, которое он потряс.

348

Чем можно измерить мудрость. – Рост мудрости можно точно определить по убавлению желчи.

349

Неприятный способ высказывать заблуждения. – Не всякому по нраву, если кто-то высказывает истину в приятной форме. Но пусть по крайней мере никто не думает, что заблуждение превратится в истину, если высказать его в неприятном виде.

350

Золотое решение. – Много цепей наложено на человека, чтобы он отучился вести себя, как животное: человек и впрямь стал более милосердным, умным, дружелюбным, рассудительным, чем любое животное. Но и теперь он еще страдает от того, что слишком долго носил свои цепи, что ему так долго не хватало свежего воздуха и движения на воле: – цепи же эти, я повторяю снова и снова, суть тяжелые и осознанные заблуждения в сфере моральных, религиозных, метафизических представлений, заблуждения, о которых здесь шла речь. Лишь когда мы победим и *болезнь* этих *цепей*, будет полностью достигнута первая великая цель: отделение человека от животных. – Сейчас наша работа по избавлению от цепей в самом разгаре, и в ней нам требуется наивозможнейшая осторожность. *Свобода ума* может достаться лишь *человеку облагороженному*; лишь к нему подойдет *облегчение жизни* и смажет его раны; он первым будет вправе сказать, что живет на свете, чтобы *радоваться*, и больше ни для чего; и в любых других устах будет опасным его девиз: *мир вокруг меня и благоволение всему насущному.* – Обращая эти слова к одиночкам, он вспомнит одно древнее, величественное и трогательное выражение, относящееся ко *всем* и оставшееся стоять над всем человечеством как некий девиз и символ, от которого должен погибнуть каждый, кто раньше времени украсит им свое знамя, – от которого погибло христианство. Все еще, кажется, *не настала пора*, когда со *всеми* людьми может случиться подобное тому, что случилось с теми пастухами, которые увидели над собою в небе сияние и услышали эти слова: «и на земле мир, в человеках благоволение!» – Сейчас все еще *время одиночек.*

* *
*

* *
*

Тень: Из всего, что ты тут высказал, мне *больше всего* по нраву обетование: вы хотите снова стать добрыми соседями всем насущным вещам. Это пойдет на пользу и нам, бедным теням. Ведь, стоит признать, до сей поры вам нравилось только очернять нас.

Странник: Очернять? А почему вы никогда не защищались? Ведь наши уши всегда были поблизости от вас.

Тень: Нам-то казалось, что мы как раз слишком близки к вам, чтобы говорить о себе.

Странник: Деликатно! Очень деликатно! Ах, вижу я, что вы, тени – более «совершенные люди», чем мы.

Тень: А вы еще называете нас «навязчивыми» – нас, которые хорошо умеют делать по крайней мере одно: молчать и ждать – ни один англичанин не сумеет этого лучше. Верно – нас часто, очень часто видят в хвосте у человека, но все-таки не в рабстве у него. Если человек чурается света, то мы чураемся человека: вот насколько хватает нашей свободы.

Странник: Эх, куда чаще свет чурается человека, а уж тогда и вы его оставляете.

Тень: Я часто оставляла тебя с болью: мне, такой любознательной, многое в человеке осталось неясным, ведь я не всегда могу быть возле него. Я хотела бы быть и твоей рабыней, только для того, чтобы целиком познать человека.

Странник: Да разве ты знаешь, да разве я знаю, не превратишься ли ты внезапно из рабыни в госпожу? Или, хотя и останешься рабыней, но из презрения к своему господину станешь жить в унижении, в мерзости? Так будем же оба довольны свободой, насколько ее тебе хватает, – тебе *и* мне! Ведь вид невольника отравил бы мне все мгновения моей высшей радости; и самое сладостное мне опротивело бы, если бы кто-то *был вынужден* делить его со мною, – я не хочу видеть возле себя рабов. Поэтому не нужна мне и собака, эта ленивая, обмахивающаяся хвостом прихлебательница,

которая, будучи слугою человека, сначала сделалась «собачьи преданной» ему, а потом люди еще обыкновенно и хвалят ее за то, что она хранит верность своему хозяину и следует за ним, как –

Тень: Как тень – так ведь у вас говорят? Может быть, сегодня я тоже слишком долго следовала за тобой? Это был самый долгий день, но мы уже на его исходе, ты уж еще немного потерпи. Трава в росе, и меня знобит.

Странник: Ох, так уже время расставаться? А я напоследок еще тебя невольно обидел – я видел, ты от этого потемнела.

Тень: Я покраснела, приняв тот цвет, на который только способна. Мне пришло в голову, что я часто ложилась у твоих ног, как собака, и что ты тогда –

Странник: А я не мог как можно быстрее оказать тебе какую-нибудь любезность? Есть у тебя сейчас какое-нибудь желание?

Тень: Нет, никакого, кроме, пожалуй, того, какое выразила «собака»-философ Александру Великому: немного отойди, не заслоняй мне солнце, а то я мерзну.

Странник: Что я могу для тебя сделать?

Тень: Зайди под сень вон тех елей и погляди на горы вокруг; солнце садится.

Странник: – Эй, куда ты пропала? Где ты?

* *
*

Примечания

Первый том «Человеческого, слишком человеческого» вышел в свет в конце апреля 1878 г. в Хемнице в издательстве Э. Шмайцнера. В 1886 г. книга вышла вторым изданием; для него Ницше добавил предисловие и заключительное стихотворение, но убрал посвящение Вольтеру и «Вместо предисловия». Текст афоризмов остался во втором издании тем же, поскольку оно не печаталось заново, а было сброшюровано из складских остатков первого издания. Второй том книги выходил в свет двумя частями (обе в том же издательстве, что и первый том): первая — в начале марта 1879 г. под названием «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. Приложение: Смешанные мнения и изречения», вторая — в середине декабря того же года (хотя годом издания в ней указан 1880-й) под названием «Странник и его тень» как «второе добавление». В 1886 г. складские остатки обеих частей были переплетены под одной крышкой и вышли в свет с предисловием Ницше как «новое издание с вводным предисловием» второго тома «Человеческого, слишком человеческого».

Настоящий перевод выполнен по тексту 2-го тома издания Дж. Колли и М. Монтинари. Примечания в основном написаны переводчиком, который ввиду большого объема книги и ограниченных сроков работы опирался в них на примечания из указанного выше издания крайне редко. Приятный долг переводчика — выразить свою благодарность за помощь в работе С. В. Казачкову и А. Н. Романову и, разумеется, редактору этого тома И. А. Эбаноидзе.

В. Бакусев

Список сокращений

А – «Антихрист».

ВН – «Веселая наука».

ЕН – «Ессе homo».

ПСДЗ – «По ту сторону добра и зла»

ТГЗ – «Так говорил Заратустра».

УЗ – «Утренняя заря».

ЧСЧ – «Человеческое, слишком человеческое» (первый том).

ЧСЧ(*СЕТ*) – приложение к ЧСЧ «Странник и его тень».

ЧСЧ(*СМИ*) – приложение к ЧСЧ «Смешанные мнения и изречения».

ПСС – Ф. Ницше. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., «Культурная революция», 2005– .

КиМ – Д. Колли и М. Монтинари.

Том первый

[**Посвящение**]. – Обращено к Вольтеру (Н. указал здесь дату именно его смерти). Эта фраза написана в нарочито безличной форме, отсюда ее стилистическая искусственность. Как и текст «Вместо предисловия», посвящение Вольтеру было снято Н. во втором издании *ЧСЧ* (возможно, Н. заметил, что выставленный здесь мотив теряет свой смысл для всех последующих изданий). Оба текста отсутствуют во всех изданиях перевода С. Л. Франка.

Вместо предисловия. – Цитата из латинского перевода «Рассуждения о методе» (гл. 3) Р. Декарта. Н. дает немецкий перевод, и мой русский перевод местами, естественно, расходится с имеющимися прямыми русскими переводами с французского оригинала. Н. отказался от этого текста во 2-м издании *ЧСЧ*, вероятно, потому, что иначе вслед за «Вместо предисловия» у него шло бы «Предисловие».

Предисловие, 1: ... *«Пролога к философии будущего»*. – То есть *По ту сторону добра и зла* (1886).

Предисловие, 7: ... *бессознательной беременности*. – Ср. *УЗ*, 552.
... *длинная лестница*. – Здесь и ниже (аф. 20, а особенно аф. 292 и 368 1-го тома) Н. пользуется образом приставной или веревочной лестницы (и соответствующими словами *Leiter* и *Sprossen*) – предназначенной для штурма, а не для плавного подъема.

18. ... *светом: «Изначальный*. – Цитата из книги Африкана Шпира (1837–1890) Denken und Wirklichkeit: Versuch einer Erneuerung der kritischen Philosophie. Leipzig, 1877. Bd. 2, S. 177.

19. ... *Кант говорит: «Рассудок*. – См. 36-й параграф Кантовых «Пролегомен». У Канта после «законы» стоит в кавычках и скобках («a priori»), далее текст набран вразрядку.

27. ... *объявляя ее*. – Вариант в чистовой рукописи: *объявляя ее, как это делает Ф. Майнлендер с Шопенгауэровской философией*.

36. *«Sentences ... ce qu'on veut»*. – Речь идет о первом издании книги (1664); второе (1665) носило измененное название «Моральные размышления, или изречения и максимы»; эпиграф к нему тоже звучал иначе.
... *автор «Психологических наблюдений»*. – Пауль Ре (1849–1901), философ, одно время друг Н.; его книга вышла в свет в 1875 г.

39. *...морально двузначные.* – Двузначные (*zweideutig*) в *логическом* смысле, то есть «дизъюнктивные» – *либо* добрые, *либо* злые – стало быть, абсолютно *определенные.*

44. *...общество людей благородных.* – Одно и то же слово «gut» здесь и ниже перевожу по-разному в зависимости от смысла, задаваемого контекстом: «добрый», «хороший», «благородный», а иногда двумя словами зараз («хороший, добрый»).

Свифт обронил. – На самом деле фраза принадлежит соотечественнику и младшему современнику Свифта Александру Попу.

69. ... *Библии ... праведников.* – Мф 5, 45.

71. В черновом варианте этот афоризм заканчивался словами: *Так Гесиод понимал надежду; но филологи не поняли этого старого беотийца. Ну так кто же теперь беотиец?* [(У Н. игра слов: в немецком «беотиец», то есть житель Беотии, означает также «простофиля»). – *Ред.*]

92. *...афинских и мелосских послов.* – Точнее, афинских послов и мелосских уполномоченных (*История,* кн. 5, 85 слл.).

100. *...адитоном.* – Адитон в древнегреческой традиции – сакрально недоступное для непосвященных место.

109. *Sorrow ... of life.* – Байрон. Манфред, Акт первый, сцена 1. Перевод И. А. Бунина.

quid ... jacentes. – Гораций. Оды. Кн. 2, 11, 11–14. Перевод Г.Ф. Церетели.

110. *...в ее немифической форме.* – В издании К. Шлехты и всех основанных на нем изданиях – «в мифической форме».

Все мудрецы ... считать. – Строки из стихотворения И.В. Гёте «Коптская песнь». Перевод ad hoc мой.

111. *...согласно Лаббоку.* – Сэр Джон Лаббок (1834–1913), английский историк.

112. *...предметы ... культов.* – Н. имеет в виду сцены, изображенные на сосудах соответствующего назначения.

113. *...позор креста.* – См. Гал. 5, 11 (*τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ*).

114. *...симмахия.* – Военный союз у греков.

...новинки. – В издании К. Шлехты и всех основанных на нем изданиях – «ощущения» (результат опечатки: *Empfindungen* вместо нужного *Erfindungen*).

120. *...доказательство от силы.* – Ср. 1 Кор. 2:4. В греческом оригинале: *ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως*. Апостол имеет

в виду не доказательство в логическом смысле, а «предъявление» духа и силы путем рассказа о них, «свидетельствование духа и силы». По-гречески «апóдейксис» значит не только «доказательство», но и «рассказ, повествование, свидетельство»; немецкая Библия употребляет тут не «Beweis», как запомнилось Н., а «Beweisung»; латинский перевод критического места точен — *ostensio*, «показ». Русский синодальный перевод — «в явлении духа и силы» — также точен, если подразумевать в слове «явление» смысл «явить (кому — что), показать». Н. вообще часто приводит это выражение, всегда понимая его неправильно (в *А* 50 он, что-то заподозрив, даже добавляет «если я не ослышался»).

131. ...*«целом ... Рафаэлевых мадонн»* – Шопенгауэр. Мир как воля и представление (Собр. соч. в 6 тт. М., 2011. Т. 1, с. 349).
...*ради первых.* – Это, вероятно, либо никем не замеченная опечатка (возможно, основанная на описке Н.), либо стилистическая ошибка Н. (*um der ersteren [sc. den Dogmen] willen*): по смыслу (в переводе) должно быть «в пользу своего негодования», то есть «им досадно отказываться от религиозного чувства, что должно было бы иметь место, раз уж они отвергают сами догмы». «Ради догм» отказываться от чувства свободные умы никак не могут — ведь догмы вызывают у них негодование.
...*даже логики.* – Н. опять, как и в афоризме 18 (см. прим.) цитирует Африкана Шпира.

137. ...*spernere se sperni.* — Ницше заимствовал это выражение из «Итальянского путешествия» Гёте, который, рассказывая о «забавном святом» XVI века Филиппо Нери, в свою очередь, цитирует св. Бернарда (в новейшем издании Собрания сочинений Ницше под редакцией Петера Пютца утверждается, что сентенция *spernere se sperni* принадлежит Хильдеберту Лаварденскому, 1056–1134, — *Carmina miscellanea* CXXIV). См. также *УЗ*, аф. 56.

141. *человека величайший ... родился* – Из пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон», акт I, сцена 2. Цитируется в 3-й книге «Мира как воли и представления».
...*лугу злополучья.* — См. фр. 121 Эмпедокла (DK) — *Ἄτησὰν λειμῶνα*, «лугами Аты» (Ата — божество злополучия у греков). Это выражение, приблизительно эквивалентное выражению «юдоль скорби», Н. (в немецком переводе с гре-

ческого) приводит в своих сочинениях не раз (см. *ЧСЧ*, 141; *ЧСЧ(СМИ)*, 2; *ЧСЧ(СЕТ)*, 6; *УЗ*, 77).

161. ...*тот ритор.* – Гегесий из Магнесии (3-й в. до н.э.). Азианский (то есть азиатский, от лат. «asianus» с таким значением) стиль – на «азиатский», варварский лад переусложненный, напыщенный и искусственный.

...*после Демосфена.* – Противопоставление *аттическому* стилю красноречия (Демосфен – его главный представитель), отличавшемуся простотой и естественностью.

...*два столетия.* – До Цицерона, подвергшего азианский стиль уничтожающей критике.

162. ...*звездой далекой высоты.* – У Гёте «звезда прекрасной высоты» (стихотворение «Меж двух миров»).

...*«Звезды ... не томятся».* – Строка из стихотворения Гёте «Утешение в слезах».

...*оно.* – «Es» в оригинале – явная и никем (кроме как в переводе С. Л. Франка под ред. К. А. Свасьяна) не исправленная ошибка; следует читать «sie» (die Kunst), иначе подлежащим окажется «мысль о становлении».

164. [...*исступление ... блага* – в русском переводе Платона (А.Н. Егунов) употребляется слово «неистовство» (Федр, 244а). – *Ред.*]

170. ...*добрая Эрида.* – Эрида – богиня раздора в греческой мифологии (от греческого существительного со значением «спор, вражда, раздор»). У Гесиода («Труды и дни», 11 слл.) речь идет о двух Эридах – доброй и злой.

196. ...*дактилической этике.* – «Дактилический» – пальцевый (от греч. *дактюлос* – палец).

215. *«Абсолютная музыка».* – Термин, введенный Р. Вагнером (1846) для обозначения музыки как самодовлеющего искусства, призванного выражать «бесконечное».

217. ...*темперации тонов ... ре-бемоль.* – В современном равномерно-темперированном строе различия между названными Н. тонами нет; но оно существовало, например, в более древнем пифагоровом строе.

219. *Мурильо.* – в переданной в типографию рукописи и корректурных гранках корректуры вместо *Мурильо* значился *Каррачи,* [он же поименован вместе с Караваджо в издании 1894 г., причем в таком виде (*Каррачи и Караваджо*) это место воспроизводится в некоторых немецких изданиях по сей день. – *Ред.*]

221. ... *«преимуществами варварства».* – См. у Гёте в «Замечаниях по поводу лиц и предметов, выведенных в диалоге «Племянник Рамо».

222. *«Какой бы ... она хороша!»* – заключительная строка стихотворения Гёте «Жених».

226. В черновом варианте этого афоризма вместо *Англия* и *англичанин* стояло *Германия* и *немец*.

236. *Метафорически ... поясам.* — Формальным прототипом этой метафоры можно, вероятно, считать рассуждения Витрувия о «климатах» (см.: Десять книг об архитектуре. Кн. 6, гл. 1, 2 слл.).

251. ...*два мозговых желудочка.* — *Hirnkammer.* это ошибка Н. — желудочков в одном головном мозге четыре. Возможно, Н. имел в виду «два набора желудочков» или, скорее, что-то другое — эти желудочки не имеют прямого отношения к процессам восприятия.

252. ... *паренетическое сочинение.* — Увещевательное, назидательное, то есть педагогическое (имеется в виду *Шопенгауэр как воспитатель*) (от греч. *paraenesis* — увещевание, указание).
... *«нужно ... влеченьиц».* — Эта и следующая цитаты — из упомянутой выше работы Н., гл. 6.

258. ... *Челлини ... софта.* — Во время отливки «Персея» бронза грозила застыть, не залив форму полностью; чтобы сделать расплав более жидким, Челлини спешно побросал туда всю свою домашнюю оловянную посуду. Статуя была отлита — не вышла только пятка Персея.

259. ... *«ведь смертный ... с любовью щедрой».* — Ф. Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла. Действие первое. Сцена четвертая. Пер. Е. Эткинда. Реплика Эмпедокла.

261. *Тиранны.* — В отличие от принятой формы этого слова (с одним «н») и в соответствии с греческой его формой, означает захватчиков верховной власти (узурпаторов) у греков, о которых идет тут речь.

263. ...*становятся ... являются.* — Это часто цитируемое Н., а здесь слегка перефразированное изречение принадлежит Пиндару (II Пифийская песнь, 72): *γένοι, οἶος ἐσσὶ μαθών*. Соответствующее место у Пиндара можно понимать по-разному. Ф.Ф. Зелинский переводит: «Сделайся тем, что ты есть, узнав это». М. Л. Гаспаров переводит: «Будь, каков есть: а ты знаешь, каков ты есть». К. П. Янц переводит: «Стань таким, каким ты учишься быть» и указывает на то,

что Н. в своем переводе опускает и не учитывает последнее слово (именно так – *γένοι οἷος ἐσσὶ* – он цитирует место в своих ранних письмах), получая смысл: «Стань тем (таким), кто (каков) ты есть». Этот смысл он не раз воспроизводит в своих сочинениях (в *ВН*, аф. 335, в подзаголовке *ЕН* и в других местах), между тем как смысл изречения Пиндара в его полном виде таков: «Будь таким, каким себя представляешь» (видишь, знаешь), т. е. «оставайся таким, каков есть», «*не изменяй себе*» (это льстивое обращение поэта к всемогущему тиранну Гиерону Сиракузскому, а не абстрактное увещевание). Ср. *ЧСЧ(СМИ)*, 366; *ЧСЧ(СЕТ)*, 329.

265. *«ум ... могуч»*. – *Гёте*. Фауст. Часть первая. Кабинет Фауста 2. Пер. Н.А. Холодковского. Реплика Мефистофеля.
...фон Бэр. – Карл Эрнст фон Бэр (1792–1876).

282. *...vita contemplativa*. – Представление, парное к *vita activa* – деятельности, деятельной жизни. Распространенное средневековое сопоставление жизни созерцательной и деятельной восходит к Августину (см. «О Граде Божьем», VIII, 4). Ср. *УЗ*, 41.

284. *...otium*. — одна из важнейших практических установок римского стоицизма.

354. *родственников ... «друг»*. – В черновом варианте: *Φίλτατοι – родственники!*

359. *«У каждого человека своя цена»*. – Высказывание Оливера Кромвеля (1599–1658).

374. *...басовый голос*. – Музыкальный термин – то же, что цифрованный бас. Н. имеет в виду идеальный (*неслышный*) опорный звук гармонии, определяющий ее структуру. Поэтому следует понимать «*подразумеваемый* басовый голос». Ср.: *ЧСЧ(СЕТ)*, 186.

376. *«Друзья ... живой*. – Цитата из басни французского поэта Ж. П. Флориана (1755 –1794).

402. В этом афоризме Н. перефразирует реплику Ганса Закса из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера: «Хорошо ли правило, узнаешь по тому, что оно может разок вытерпеть и исключение».

408. *...одного ученого*. – Немецкий историк-востоковед Пауль де Лагард (1827–1891) в своей книге «Über die gegenwärtige lage des deutschen reichs. Ein bericht, erstattet von Paul de Lagarde» (Göttingen, 1876. S. 44–45).

...его урчанье. – Нем. *rumoren*, обозначающее сравнительно грубые звуки и здесь явно употребленное ради иронии: *не* «чувствовали в своей груди» (С. Л. Франк). Вполне мыслим даже перевод «бурчанье».

412. *...Гесиода.* – «Теогония», 585–602.

418. *В виде исключения ... абсурдных сцен.* – Вместо этой фразы в чистовике рукописи в скобках значилось: *(Морето, Судья)*, – Н. имеет в виду пьесу испанского драматурга Морето-и-Каванья (1618–1669) «Доблестный кастильский судья».

433. *...сравнить себя ... покоя.* – См.: Платон. *Апология Сократа*, 30е. Ср. также *ЧСЧ(СЕТ)* 72.

436. *Ceterum censeo.* – «А кроме того, я утверждаю (что Карфаген должен быть разрушен)» – начало знаменитой (гипотетической) фразы Катона Старшего, который после взятия Карфагена завершал ею все свои речи в сенате («Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» – см. Плутарх, «Катон Старший», 27).

437. *«Критон ... женщин!»*. – Платон. *Федон*, 60а. «Критон, пусть кто-нибудь уведет ее домой» (Ксантиппу), пер. С. Маркиша.

455. В этом афоризме Н. излагает и по-своему обосновывает традиционную точку зрения римлян, закрепленную в их праве: гражданин, не имеющий детей, особенно сыновей, относительно неполноправен – он не имеет права занимать некоторые государственные должности; многодетные граждане, напротив, поощряются («право троих сыновей»).

482. *Разделять ... душой.* – Н. повторяет здесь свою мысль из *Несвоевременных размышлений* (*Шопенгауэр как воспитатель*, *1*). Указание *КиМ* на подзаголовок «Басни о пчелах» Мандевиля не представляется убедительным.

498. *...змея ... противника.* – См.: А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление, пар. 27 (serpens, nisi serpentem comederit, non fit draco).

508. Ср. письмо П. Ре конца июня 1877 (Ф. Ницше. Письма. М., 2007. С. 133).

522. *Немощная совесть.* – Выражение из Нового Завета (по-немецки – в переводе Лютера; см. 1 Кор. 8:7; здесь – русский синодальный перевод).

584. *Punctum saliens.* – Н., очевидно, обыгрывает здесь буквальное значение этого выражения – «прыгающая точка» (по Аристотелю, кровяная точка, образующаяся в птичьем

яйце, «которая прыгает и движется, как нечто одушевленное», — это зародыш птицы). См. *ЧСЧ* 621.

603. ...*почитания.* — В оригинале здесь игра слов, основанная на том, что слово «почитание» (*Ehrfurcht*) в немецком языке состоит из элементов со значениями «честь» (*Ehre*) и «страх» (*Furcht*) и этимологически имеет исходный смысл «честь ради страха».

621. ...*прыгающую точку.* — См. *ЧСЧ* 584 и прим. Здесь Н. переводит на немецкий латинское *punctum saliens*, видимо, не желая употреблять слово «сущность».

626. *«Всего лучше ... мечом».* — См.: И.В. Гёте. Дневниковая запись от 13 мая 1780 г.

628. ...*ничто ... но все же.* — Контаминация двух мест из Платона: «Законы» 803b и «Государство» 604b (здесь в переводе А.Н. Егунова). Два тире у Н. намекают, видимо, на опущенное им продолжение второго из этих мест: «(*но все же*) необходимо о них заботиться, хотя счастья в этом нет». Этот афоризм первоначально носил заголовок *Эпилог* и должен был завершать книгу.

630. ...*credo ... est.* — «верую, ибо это нелепо» (*лат.*) — высказывание, приписываемое Тертуллиану на основании близких по смыслу слов из его трактата «О плоти Христовой».

Между друзьями. — Два стихотворных наброска, из которых составлена эта *Постлюдия*, сочинены Н. летом 1882 г., а переработаны и объединены осенью 1884 г. Под «книгой» здесь исходно подразумевалось не *ЧСЧ*, а планировавшееся в 1882 г. собрание стихов и афоризмов, из которого затем родилась *Прелюдия* к *ВН Шутка, хитрость и месть*. При переводе этого стихотворения мне пришлось отказаться от выполнения обычных требований версификационной точности (а именно, пойти на локальное нарушение системы рифм и добавление лишней строки), предпочтя ей смысловую точность. Причины этого отказа — сжатый метр (4-стопный хорей), большая монотонность рифм в оригинале и обязательность передачи смысла.

Том второй

Первый раздел

Предисловие, 1. ... *«образовательное мещанство».* – Это выражение, хотя и стало нарицательным благодаря Н., встречается в немецкой литературе уже в 60-х годах XIX века (в этимологическом словаре немецкого языка под ред. Ф. Клуге в качестве одного из первых примеров использования приводится фраза из «Исследований» Й. Шерра, датированных 1866 г.: «Люди, для которых придумано удачное выражение “мещанин от образования”».

... *«об истине и лжи во внеморальном смысле».* – Большой фрагмент с таким названием (написанный в 1873 г.) был опубликован только в 1903 г. («Großoktav-Ausgabe»).

...*речь в честь ... триумфа (Байрейт, 1874).* – То есть четвертое *Несвоевременное размышление.*

«Размышлять ... взглядом». – *Несвоевременные размышления*, IV, 7. Н., цитируя себя, переставил местами слова, выделил курсивом слово «враждовать», а главное, опустил начальное слово этой части фразы, несколько, но определенно изменяющее ее общий смысл, – слово «даже». Вот как это место звучит там: *...и всякому, кто заглянет в себя поглубже, станет ясно, что даже для размышления потребна тайная вражда, вражда встречного взгляда* (перевожу по-разному из-за разных контекстов).

... *предательский.* – Сохраняю (и обращаю внимание на) всю двусмысленность этого слова у Н.

... *долгих ... предисловие.* – Между последним из *Несвоевременных* и первым томом *Человеческого, слишком человеческого* прошло меньше четырех лет, так что эпитет «долгие» выражает скорее их внутреннюю интенсивность, чем число.

... *пусть и будет посвящено.* – Возможно, лишь здесь Н. решил, как распорядиться начатым текстом: в поздние годы у него была манера начинать писать, руководствуясь лишь расплывчатым замыслом (к примеру, один из черновиков он озаглавливает «Предисловие к чему-нибудь» – см.: *ПСС* 13, 15 [13]). Набросок к данному предисловию, сперва задуманный как предисловие к *ПСДЗ*, см. в *ПСС* 12, 6 [4]. Предисловие это – *второе*, поскольку первое было написано Ницше тогда же (1886) для первого тома *ЧСЧ*.

...за- и предисловие. – Игра слов, основанная на устаревшем значении слова «Fürwort» (*ходатайство*: «за» в смысле «в пользу»).

Предисловие, 3. *«Cave musicam».* – «Берегись музыки» (*лат.*), пародия древнеримской таблички у ворот «cave canem» – «берегись (злой) собаки».

...сносит нас – вниз! – Пародия двух последних стихов из «Фауста» Гёте («Вечная женственность // Ввысь нас влечет», пер. мой) и игра слов («сносит вниз» по-немецки звучит как «губит»). Н. не был первым, кто пародировал знаменитые строки: Р. Вагнер в 1849 г. в шуточном стихотворении («Лола Монтес») сделал примерно то же («вечная женственность // изводит нас»).

Предисловие, 6. *...совестью ... знать.* – Н. обыгрывает однокорневость немецких слов со значениями «совесть» и «знание», очевидную по-латыни (*conscientia – scientia*) и по-русски, если заменить слово «знание» архаичным «вéдение».

3. *...обнимает ... реальность.* – Возможно, намек на место из Платона («Софист» 246a), где говорится о материалистах, которые «как бы обнимают руками дубы и скалы».

5. *...дурачка.* – Игра слов: букв. «глупого черта».

17. *...замирников.* – Эта калька не передает всей замысловатой игры ницшевского *Hinterweltler*, которое может мыслиться, во-первых, как пародия слова «Hinterwäldler» (провинциал, деревенщина), во-вторых, как возможный *игровой* (поэтический) буквальный перевод слова «метафизика» (если на правах ассоциации предположить исходным в его составе не *physikā*, а *physis* в обобщительном значении «бытие, мир»). Сам Н. в *ТГЗ* (ПСС 4, с. 209) говорит, что «замирники» – это те, что видят мир *с задней стороны* (*sehen die Welt von hinten*), в силу чего перевод Ю. Антоновского *мечтающие об ином мире* представляется более красивым, но несколько менее точным.

[Следует заметить, что редакторы перевода Антоновского также пытались решить поставленную Н. языковую задачу с помощью неологизмов. Так в редакции К.А. Свасьяна мы видим слово *потусторонники* (см. также его прим.: Ф. Ницше. Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 774), а в редакции Е.В. Ознобкиной в 4-м томе данного собрания сочинений используется как оборот *грезящие об ином мире*, так и слово *иномирники*, придуманное Я.Э. Голосовкером для его соб-

ственного перевода «Заратустры». Таким образом у наших читателей есть уже три варианта неологизмов для ницшевского *Hinterweltler*. – *Ред.*]

19. ...*«определенность»*. — Продолжение в рукописном варианте: *Наука [?] стремится получить не образ, а законы, по которым те образы возникли [?].*

22. Пародия заимствована из письма Карла Фукса к Н. (конец июня 1878 г.). «Ей-богу» — то есть «у Бога» (игра слов: «bei Gott»).

26. ...*от черного корня.* — Собственно говоря, это растение *козелец* (нем. *Schwarzwurzel*), корень которого считается съедобным овощем. Н. смещает акцент на смысл, кроющийся в звучании слова.

27. ...*проторить путь ... знанию.* – См. Предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума».

29. ...*бодрствовать со мною?* — См.: Мф. 26:38.

36. ...*змеиный зуб ... пятой.* — Этот образ обыгрывает текст Быт. 3: 14–15.

[*Жены ... пятой.* – переписчицей черновой рукописи *Смешанных мнений и изречений* была знакомая Н. Мария Баумгартнер. Именно с ее подсказки перед самой отправкой книги в типографию была добавлена эта фраза. В письме Н. от 13 ноября 1878 г. она пишет: «К Вашему замечательному изречению ... я бы охотно прибавила: «Жена или мать сказала бы: после того, как кто-нибудь попрет их любимого или их дитя». Потому что в отношении них она бы не стерпела того, что в большинстве случаев молча терпит в отношении себя». – *Ред.*]

57. Этот афоризм — пародия текста Рим. 12:20, основанная на обыгрывании буквального значения («собрать уголья на чью-л. голову») употребленного там выражения, а здесь — фразеологизма с переносным значением «заставить покраснеть кого-л., показав свое благородство».

95. ...*уловка ... любви.* — В черновике после этой фразы стояла следующая: *Как это было уже уловкой Платона в "Пире".*

96. *«Итак ... Небесный».* — См. Мф. 5:48.

99. По словам немецкого германиста и писателя, много писавшего о Н., Эрнста Бертрама (1884–1957), этот афоризм, «вне всякого сомнения, написан под впечатлением "Бабьего лета" Штифтера» (см.: Ariadne. Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft. München, 1925. S. 8).

100. *...Пентесилеи.* – Пентесилея в греческой мифологии – царица амазонок, убитая под Троей Ахиллом, который восхитился красотой мертвой.

101. *...отрадному.* – Снова филологическая игра слов, основанная на одном из значений глагола «(sich) erfreuen» (*пользоваться* в смысле «вкушать» – славу, почести и т.п.), от которого образовано существительное, выбранное Н. (*das Erfreuende*).

103. *... «жил для всех времен».* – «Ведь кем довольны лучшие <люди> его эпохи», «тот жил для всех времен». – Цитаты из Ф. Шиллера («Лагерь Валленштейна», Пролог; пер. мой).

113. *...его книга.* – Это, несомненно, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (а не «Сентиментальное путешествие»).

...именно юмор ... серьезно. – Вариант в черновике: *Рационалистический дух французов не позволяет такой свободы письма; они слишком серьезно относятся к юмору, – что первым открыл Ст<ендаль>.*

126. *...смотрите ... быть.* – Эта распространенная в немецкой литературе цитата (здесь неточная) – из стихотворения Гёте «Beherzigung» («На заметку»).

...правы-то ... Шиллер. – В стихотворении «К друзьям».

134. *...современная музыка.* – В черновике: *Вагнер.*

153. *«Хорошая ... спешки».* – Парафраз немецкой пословицы «gut Ding will Weile haben», отсюда кавычки.

167. *Sibi scribere.* – Н. заимствовал этот оборот у Валентина Розе (в *Aristoteles pseudepigraphus.* Leipzig, 1863, S. 717: «sibi quisque scribit» – «каждый пишет для себя»). Он несколько раз комментировал и цитировал его уже в заметках осени 1867 – весны 1868 гг. В это же время он записал себе цитату из Эмерсона: «Тот, кто пишет для себя, пишет для бессмертной публики».

170. *...sophia.* – Более детально Н. разъясняет это слово еще в своем сочинении «Философия в трагический век эллинов» (1873), гл. 3.

171. *...ультрамонтанного мученичества.* – Ультрамонтанами называли проводников политического влияния католической церкви в Германии; против них боролся Бисмарк.

188. *Мы ... Гесиодом.* – См.: Теогония, 22–28.

189. *Боги ... потомков.* – Одиссея, VIII, 579–580. Пер. В.А. Жуковского.

211. *...не связанные местом.* – Дополнительное значение этого слова (freizügig) – «не связанный условностями (морали)».
212. *«Муза ... песни».* – Одиссея, VIII, 63–64. Пер. В.А. Жуковского.
222. *...нумену.* – Нумен – воля богов (*лат.*).
...целла. – В античных храмах – внутреннее святилище, где хранились изображения божеств.
...периптерический. – Окруженный рядом колонн.
226. *...оправдание верой.* – Одно из главных положений богословия Лютера – принцип «sola fide» (спасение одной только верой и милостью Божьей, а не делами). Лютер, однако, не участвовал в Регенсбургском диспуте (5 апреля – 22 мая 1541); протестантскую сторону представляли на нем Мартин Буцер, Кальвин, Меланхтон и Писториус, католическую – Иоганн Экк, Иоганн Гроппер и Юлиус фон Пфлуг; кардинал Гаспаро Контарини (1483–1542) участвовал в диспуте на правах папского легата.
227. *«Вертером вдвойне».* – Цитата из Гёте («Разговоры с Эккерманом», 3 мая 1827), который, в свою очередь, приводит выражение Ж.Ж. Ампера.
228. *...passiva.* – Страдательные (пассивные) грамматические формы, каковы намеренно употребленные Н. выше обороты, переведенные здесь безличными конструкциями «их видно», «их возят».
231. *«Если ты ... на запад».* – Ср.: Быт. 13, 9.
244. *«Большой ребенок».* – В черновике: *«Гений всю жизнъ остается ребенком».* Неточная цитата из «Мира как воли и представления».
256. *Цинизм ... собаку.* – Игра слов: название греческой философской школы киников (циников) происходит от слова *κύων* (*собака*).
276. *...ridete puellae.* — Неточная цитата из Горация (Песни I, 9, 21) и несколько более точная – из цитирующего Горация Шопенгауэра (Parerga 2, 454).
285. *...максиме Гёте.* – См.: Максимы и размышления, 149.
301. *«Я состарился ... учиться».* – См.: Солон, фр. 22, 7 (Diehl).
302. *...суждению Гёте.* – См.: Максимы и размышления, 978.
323. *«Что является немецким?»* – Вероятно, подразумевается статья Р. Вагнера с таким названием, вышедшая в «Байройтских листках» в феврале 1878.

324. *...эмоции ... восстание.* – Игра слов: для «восстания» Н. использует французское слово *emeute*, этимологически связанное со словом *emotion*.
...дьявол ... в свиней. – См.: Мф. 8, 32.
336. *...воспринять ... волю.* – Шиллер, стихотворение «Идеал и жизнь» (1795).
351. *...в столкновении ... любовь.* – Ср. Гёте, Максимы и рефлексии, 45: «Перед лицом большого превосходства есть только одно спасительное средство – любовь».
384. Ср. в письме Г. Кезелицу: *Прекрасную возможность проявить благородство натуры Вагнер оставил неиспользованной.* (Ф. Ницше. Письма. М., 2007. С. 145).
385. *«"Я" ... ненависти».* – Паскаль. Мысли. Часть первая. Гл. II, 4, 136: «Пристрастие к собственному "я" заслуживает ненависти».

Второй раздел

[**Вступление**]. *...мою тень ... а не свет?* – Игра слов, основанная на повторе слов и (неточной) рифме, в оригинале несколько более очевидных (*mich – Licht*).
6. *...Сократ ... человека.* – См. Диоген Лаэртский II, 21.
«что ... было». – Одиссея, IV, 392 (пер. В. А. Жуковского).
17. *«свою ... гордостью».* – Шопенгауэр, «Parerga» 2, 338 слл.
21. *...слово ... «измеряющий».* – Н. устанавливает здесь связь между нем. «Mensch» и «messen». Современная филология предполагает таковую между «Mensch» и древневерхненемецкими *mannisco, man* (означавшего «мыслящий», ср. лат. *mens*, «ум»). То и другое объяснения, однако, не противоречат, а дополняют друг друга (ср. лат. *mensura*, «мера»).
25. *...франконский талер.* – Монета стоимостью пять марок.
29. *...Гесиод ... злую.* – См. *ЧСЧ* 170 и прим.
31. *...согласно ... на Коркире.* – См.: Фукидид. История. Книга третья, 70–85.
58. *...банальности ... женитьба.* – См. письмо К. фон Герсдорфу от 21 дек. 1877 г. (Ф. Ницше. Письма. М., 2007. С. 142).
66. *Шварцердт (Меланхтон).* – Мела́нхтон – псевдоним знаменитого гуманиста, являющийся переводом на греческий его настоящей фамилии (*Schwartzerdt*); то и другое по-русски означает «черная земля».

72. *...овода и коня.* – См. *ЧСЧ* 433 и прим.

75. *Paete, non dolet.* – Слова Аррии, жены Кекины Пета, которому грозила смерть за участие в заговоре против императора Клавдия (42 г.), – Аррия пыталась ободрить мужа и подала ему пример, заколовшись кинжалом (см.: *Плиний Младший.* Письма, III, 16).

76. *...Церковъ.* – См.: Мф. 16, 18.

83. *«Если ... вырви его».* – См.: Мф. 18, 9.

90. *Гёте ... Виланд.* – См.: «Разговоры с Эккерманом», 18 января 1825 г.

...епископ Ульфила. – Западноготский епископ (ок. 310–383 гг.) Ульфила (Вульфила) – переводчик Библии на готский язык (первый перевод на один из языков германской группы).

124. *«эту ... по незнанью».* – «Фауст», 12065 сл. (пер. Б. Пастернака).

«чистую ... смутном». Там же, 328 (пер. Н. Холодковского).

Гёте ... обходительной. – В письме к Цельтеру от 31 октября 1831.

125. *Сент-Бёв ... классиках!* – См.: Les Cahiers de Sainte-Beuve. Paris, 1876, p. 108–109.

«Республику ученых». – «Немецкая республика ученых» (1774), созданная в жанре утопии, вышла по подписке, но не встретила понимания публики, и запланированное продолжение написано не было. Из именитых авторов до Н. сочинение Клопштока упоминают только Жан-Поль и Теодор Мундт.

«Идеи к истории человечества». – То есть «Идеи к философии истории человечества», 1784–1791 (4 части).

128. *...кто ... страдания.* – См.: Гёте. «Торквато Тассо», V 5, 3431 сл.

140. *«Танцевать в цепях».* – Выражение заимствовано Н. у Вольтера (из его письма к Деодати де Товацци от 24 января 1761): в ницшевском экземпляре оно дважды подчеркнуто.

152. *... «невинность в звуках».* – Вероятнее всего, отсылка к В.Г. Вакенродеру – см. его «Фантазии об искусстве для друзей искусства» (1797), разд. 2, гл. 2 (у Н. цитата неточная).

...речитатив ... влажного. – «Сухой речитатив» (*recitativo secco*) – итальянский музыкальный термин, означающий характер исполнения в диалогических оперных сценах, в музыкальном смысле построенных на напевной рецитации певцов

в сопровождении аккордов чембало и лишенных собственно мелодического начала. Кроме *secco*, применялся *recitativo accompagnato* (аккомпанированный, или, у Н., «влажный»), когда диалог сопровождался аккомпанементом оркестра. Эту тему Н. повторяет в *ВН*, 80 (особенно в зачеркнутом им окончании черновика).

163. *...драматическая музыка.* — В черновике: *музыка Вагнера.*

190. *...abstractis.* —Имеются в виду, очевидно, святилища и алтари, посвященные отдельным добродетелям — Справедливости, Правосудию и т. п.; в 346 г. до н. э. в Афинах был учрежден даже культ Демократии (и Харит!).

191. *Полярные ночи.* — Mørketiden (*норв.*); Н. перевел это слово на немецкий буквально как «темные времена».

216. *...немецкий юноша.* — Выражение из стихотворения Макса Шнекенбургера «Стража на Рейне» (1840), положенного на музыку Карлом Вильхельмом (1854) и ставшего неофициальным немецким гимном. Стихотворение отражает стремление тогдашней Германии перенести границы с Францией за Рейн, по которому они в то время проходили, и связанный с этим стремлением националистический энтузиазм многих немцев. Ссылка на соответствующее выражение Р. Вагнера, относящееся к Шиллеру, которую делают *КиМ*, может иметь здесь лишь второстепенное значение, поскольку не учитывает всего контекста, в особенности авторского указания «не более чем за тридцать лет до того» (см. следующее примеч.).

...добродетель ... до того. — То есть во время наполеоновской оккупации Германии, вызвавшей общенациональное освободительное движение немцев (1810–1813).

217. *Классическое и романтическое.* — Ср.: Гёте. Максимы и рефлексии, 1031 («Классическое — это здоровое, романтическое — больное»).

237. *...в одном ... из Фернея.* — В письме Вольтера к Фридриху II от 21 апреля 1760 (отправлено из Турне, а не из Фернея).

256. *Гесиод ... из беды.* — См.: *Труды и дни*, 349–351.

265. *«пустите ... Божие».* — Мк. 10, 14.

267. *...nos ennemis naturels.* — Один из афоризмов Стендаля, согласно указанию Проспера Мериме («Наши родители и учителя, говорил он, суть наши естественные враги, когда мы входим в мир»).

272. ...*intelletto del sacrifizio.* — Выражение образовано Н. от распространенного итальянского оборота *sacrifizio dell'intelletto* («жертвоприношение разума»).

285. ...*четырех ... добродетелей.* — Кардинальными добродетелями в европейской этике называются сформулированные Платоном в «Государстве» (427e–432b) качества: мудрость, мужество, умеренность и справедливость.

295. *Et in Arcadia ego.* —Выражение, которое первым употребил итальянский художник Бартоломмео Шидоне (ок. 1559–1615); Н. имеет в виду аналогичное название двух картин Никола Пуссена (1593–1665), упоминаемого им ниже. На всех этих картинах изображены череп или могилы.

297. ...*индижестию.* — Легкое несварение (*фр.*) — в русском и немецком языках архаизм с ироническим оттенком.

300. «*Одно только нужно*». — См.: Лк. 10, 42.

320. ...*блаженнее ... принимать.* — Деян., 20, 35. В тексте Н. вместо «принимать» синодального перевода — «иметь», повторяющее оборот из начала этой фразы, переведенный тут как «скрывать свой ум» (в буквальном переводе «иметь свой ум для себя»).

350. *Золотое решение.* — *Die goldene Loosung,* перевожу как *Lösung,* основываясь на черновиках, где смысл однозначен (*загадка* и ее *решение*) и где Н. несколько раз пишет именно *lösen, Lösung* (в старину эти два написания могли быть вариантами одного и того же слова). В окончательном тексте смысл, правда, двузначен: второй — «разрешение от цепей». Возможны и еще два смысла: слово *Losung* имеет и значения «лозунг, девиз» (о котором у Н. идет речь в конце афоризма) и «библейская цитата на определенный день» (выбранная из Библии наугад — у гернгутеров). Н., скорее всего, хотел обыграть в одном слове все эти смыслы.

«*и на земле ... благоволение!*». — Лк. 2, 14.

Фридрих Ницше
Полное собрание сочинений
Том 2

Научный редактор
И.А. Эбаноидзе
Оформление и верстка
И.Э. Бернштейн
Корректор
А.Б. Клюева

Подписано в печать 16.08.2011.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура NewBaskervilleC. Печать офсетная.
Печ. л. 21. Тираж 2000 экз. Заказ № 4374.

Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Новосущёвская, д. 19б
Телефон (499)973 1662, e-mail editor@kultrev.ru

При участии ООО Агентство печати «Столица»
тел.: (495) 331-14-38; e-mail: apstolica@bk.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: pto@gipp.kirov.ru